

84/2Poc=Pyc/1  
с 16.

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ  
СОЧИНЕНИЙ

М. Е. САЛТЫКОВА

[Н. ЩЕДРИНА].

ИЗДАНИЕ ПЯТОЕ.

-64640-1

с «Материалами для биографии М. Е. Салтыкова»,  
Арсеньева, и с двумя портретами М. Е. Салтыкова»

Центральная библиотека  
СОЕКО

ТОМЪ ДЕСЯТЫЙ

КОНДИНСКИЙ РАЙОН  
Населенческая  
Библиотечка  
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение к журналу „Искра“ за 1906 г.

С. ПЕТЕРБУРГЪ,  
Изданіе А. Ф. МАРКОВА

1906.

Муниципальное учреждение  
Кондинская межпоселенческая  
Библиотечка  
Библиотечка № 125502

110

110



Артистическое издательство А. Ф. МАРСА, Немайн. пр., № 29.



# ПИСЬМА О ПРОВИНЦИИ.

(1868—1870 гг.).

### Письмо первое.

Съ нѣкотораго времени жизнь въ провинціи измѣняется. Мало-по-малу въ эту жизнь входятъ новые элементы, которые захватываютъ болѣе значительную массу дѣятелей. Образуются зачатки жизни умственной, и хотя еще далеко до самостоятельности, но, по крайней мѣрѣ, нѣтъ того повального бездѣльничества, которое, въ буквальномъ смыслѣ слова, сокрушало провинціальное общество лѣтъ двѣнадцать-тринадцать тому назадъ.

Даже центры дѣятельности сдвинулись съ прежнихъ мѣздъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ измѣнились и роли самихъ дѣятелей. Дѣятельность органическая видимо отделяется отъ старыхъ центровъ и скромно приурочивается къ новымъ. Совѣтники разныхъ палатъ и управленій, конечно, еще существуютъ, но прежде они ходили, окруженные свѣтоварнымъ облакомъ, теперь же путешествуютъ по административнымъ лажкамъ, болѣею частью инкогнито и въ значительномъ сокращенномъ видѣ.

Какъ и водится, такое перемѣшеніе дѣятельныхъ центровъ производитъ немалый переполохъ и въ самихъ дѣятеляхъ. Въ однихъ оно возбуждаетъ зависть и худо скрываемую досаду, въ другихъ — чувство робкой недовѣрчивости, смѣшанное съ нѣкоторымъ удивленіемъ. На одной сторонѣ сцены стоятъ люди, которые надревле привыкли понимать себя прирожденными историографами Россіи и вѣждителями ея судебъ; на другой сторонѣ — люди новые, которыхъ девизомъ еще такъ недавно была знаменитая поговорка: «язба моя съ краю, ничего не знаю». Середку занимаютъ такъ-называемые фюфаны, то-есть вымирающіе остатки эпохи богатыхъ. Понятно, съ какимъ чувствомъ смотрятъ исконные историографы на пришельцевъ,

которые отныне обязываются раздѣлять ихъ труды по части сочиненія русской исторіи.

Съ призывомъ новыхъ сочинителей на поприще русской исторіи, старые исторіографы чувствуютъ себя неловко. Во-первыхъ, имъ стыдно, что исторію, которую они до сихъ поръ сочиняли, имѣетъ несомнѣнное сходство съ яичницей; во-вторыхъ, они боятся, что пришельцы, пожалуй, догадаются, что это не исторія, а яичница, и вълѣдствіе того не выдадутъ имъ квитанціи; въ-третьихъ, имъ сдается, что пришельцы наступаютъ имъ на ноги, и хотя говорятъ: pardon, но съ замѣтною въ голосѣ ироніей; въ-четвертыхъ, они чувствуютъ, что имъ нечего дѣлать, что празднаго времени остается пропасть, а дѣвать его рѣшительно некуда. Поэтому истинный исторіографъ съ раннего утра мучится подозрѣніями и беспокоится мыслью, какъ бы ему на кого-нибудь такъ наѣхать, чтобъ отъ наѣзда этого громъ прокатился отъ одного конца вселенной до другого, и чтобы разумѣли языцы, что зубоскрушающая сила отнюдь еще не упразднилась.

Сдается, однако, что опасенія старыхъ исторіографовъ чрезчуръ преувеличены и пронеходятъ оттого, что послѣдніе, погружившись исключительно въ сочиненіе русской исторіи, недостаточно обогатили свой умъ знакомствомъ съ политической экономіей. Если-бъ этотъ пробѣлъ въ ихъ воспитаніи былъ пополненъ, они поняли бы, что первое условіе успѣшности всякаго труда есть его раздѣленіе, и что появленіе на сцену новыхъ сочинителей по части русской исторіи представляетъ собой не чтѣ иное, какъ ближайшее послѣдствіе этого условія. Чтобы изготавить надлежащую яичницу, необходимо, во-первыхъ, затопить печь, во-вторыхъ, выпестить сковороду, въ-третьихъ, выбрать и выпустить яйца и т. д. Каждая изъ этихъ операцій требуетъ особаго спеціалиста, ибо, ежели выпускать яйца придется истопнику, то онъ легко можетъ помять желтки. Слѣдовательно стряпать яичницу силами совокупными не только не предосудительно, но даже пріятно. Работа на людяхъ идетъ спорѣе и веселѣе; истопникъ подстрекаетъ судомойку, судомойка поощряетъ повара; поютъ пѣсни, перебрасываются невинными шутками, а яичница между тѣмъ поспѣваетъ да поспѣваетъ. Не ясно ли, что такого рода зрѣлище ничего, кромѣ отрады, возбуждать не должно?

И дѣйствительно, наплывъ пришельцевъ отнюдь не означаетъ ни злоумышленія, ни посягательства, а есть просто

послѣдствіе признанія принципа раздѣленія труда. Высшія формы труда безспорно видоизмѣнились, но сущность его осталась столь же обильною разнаго рода случайностями, какъ и въ то время, когда еще не было исторіи, а были мракъ и время. Конечно, тутъ, кромѣ сущности труда, можетъ возникнуть еще вопросъ о томъ, кому-то придется съѣсть устроенную общими силами яичницу, но, по мнѣнію людей благомыслящихъ, такого рода вопросъ, по малой мѣрѣ, преждевременно. Подобное забѣганье впередъ можетъ самаго кипучаго дѣятеля заставить опустить руки, можетъ тлетворно подѣйствовать на успѣхъ дѣла самаго несомнѣннаго. Политическая мудрость всѣхъ вѣковъ и народовъ убѣждаетъ, что цѣли ближайшія и непосредственныя суть, въ то же время, и наиболѣе желанныя; а какъ въ настоящемъ случаѣ ближайшую цѣль составляетъ производство яичницы, а не потребленіе ея, то примемъ за это дѣло вкушѣ и не будемъ раздражать нашу мысль опасеніями будущаго. Ибо съѣсть яичницу, навѣрное, тотъ, кому съѣсть ее надлежитъ.

Мысль объ отдавленіи ногъ, объ ироническомъ выраженіи рта и носовъ, есть именно пороженіе подобныхъ бесполезныхъ забѣганій впередъ. Всякій согласится, что не избобрѣнено еще тѣхъ чувствительныхъ вѣсовъ, съ помощью которыхъ можно было бы взвѣсить вещь столь неуловимую, какъ выраженіе лица. Можно даже утверждать, что самое представленіе о томъ или другомъ выраженіи лица есть представленіе почти субъективное. Вы раздражены, ваша мысль напугана неизвѣстностью будущаго, и вотъ вамъ кажется, что всѣ носы иронизируютъ, что всѣ ноги направлены къ тому, чтобъ злоумышлять противъ вашихъ мозолей. Но успокойтесь на минуту; оторвите вашу мысль отъ сомнительнаго будущаго, и вы убѣдитесь, что глаза ваши жесовидѣльствовали, что уши были съ ними заодно въ заговорѣ, чтобъ отравить ваше душевное спокойствіе. Безчисленные свидѣтельства людей опытныхъ и компетентныхъ удостовѣряютъ васъ, что въ провинціяхъ нашихъ могутъ быть выраженія лицъ почтительныя, безопасно-преданныя, исполнительныя, на все готовыя, но выраженій ироническихъ нѣтъ и никогда не бывало. Этого мало: въ провинціи даже положеніе человѣческаго гѣла невольнымъ образомъ принимаетъ характеръ усуремительный, но никакъ не улирающійся или угрожающій, — ужели этихъ свидѣтельствъ не достаточно?

Нѣсколько болѣе основательными кажутся опасенія насчетъ сокращенія способовъ умерщвлять избытокъ празднаго времени. Опасенія эти возникли еще въ то время, когда возбужденъ былъ вопросъ о сокращеніи переписки. Уже тогда многимъ казалось, что власть значительно потрясется, ежели вмѣсто: «имѣю честь покорнѣйше просить» будутъ писать просто: «прошу», а вмѣсто: «о послѣдующемъ прошу не оставить увѣдомленіемъ» — «прошу увѣдомить». Ожидали, что экономія труда произведетъ праздность, праздность породитъ неуваженіе, неуваженіе — бунтъ. Впослѣдствіи къ этимъ ожиданіямъ присоединились соображенія еще болѣе пѣскія. Припомнили, что время каждаго дѣятеля распределяется съ такою точностью, что всякое нарушеніе однажды введеннаго порядка не можетъ не произвести въ организмѣ законнаго безпокойства. Если приобрѣтена привычка въ извѣстный часъ дня строчить, въ другой распекать и т. д., то нельзя себѣ представить, «какая истомо овладѣваетъ человѣкомъ при наступленіи урочнаго часа. Вотъ-вотъ, кажется, такъ бы и изстрочилъ насквозь всю природу, и вдругъ — о, ужасы! — въ ту самую минуту, когда всѣ фибры ваши натянуты, когда длани ваши уже простерты, вамъ докладываютъ, что все уже выстрочено и перестрочено... Что тутъ дѣлать? что предпринять?

Нельзя не согласиться, что эти опасенія и вопросы далеко не безосновательны. Время — это издревле страшнѣйшій нашъ врагъ. Мы неустанно боремся съ нимъ, мы употребляемъ и коварство и хитрость, чтобы восторжествовать надъ этимъ призракомъ, всегда стоящимъ передъ нами, и постоянно изнемогаемъ въ неравной борьбѣ. У насъ положительно нѣтъ ресурсовъ, и если мы всегда довольно охотно беремся за всякую профессію, то единственно потому, что съ профессіей этой въ умѣ нашемъ соединяется понятіе совѣсть не о дѣлѣ, а о властномъ положеніи въ обществѣ, о безгнѣбности и прощаль. Всѣ условія прошлаго были такъ направлены, чтобы сдѣлать изъ насъ самолюбивыхъ тунеядцевъ и развить въ насъ одну страсть — страсть къ существованію на чужой счетъ. Понятно, какого рода идеалы при подобныхъ условіяхъ жизни могли обольщать наши умы, и какое озлобленное негодованіе должно кипѣть въ нашихъ сердцахъ, когда обстоятельства напоминаютъ, что время даровыхъ утѣхъ миновалось, и что ежели мы желаемъ продолжать жить, то обязываемся устроить нашу дѣятельность на иныхъ основаніяхъ.

Какъ бы то ни было, въ провинціальной жизни чувствуется разладъ, но разладъ, такъ сказать, односторонній. Собственно, нападаетъ и раздорствуетъ только одна сторона — исторіографы; другая сторона даже не обороняется, а только молится Богу, чтобы объ ней на время забыли. Это время ей нужно, чтобы доказать, что она левинна.

Извѣстно, что Россія съ древнѣйшихъ временъ периодически подвергается дѣйствию различнаго рода пионеровъ, которые обрабатываютъ ее всесторонне и съ старательностью, заслуживающею величайшей похвалы. Но небезизвѣстно также, что пионеры всѣхъ странъ и временъ встрѣчали и встрѣчаютъ пріемъ непривѣтливый. Во-первыхъ, не всякому лестно, что его вотъ-вотъ сейчасъ начнутъ обрабатывать; во-вторыхъ, пионеры почти всегда являются на сцену снабженные прекраснѣйшими окладами, на которые очень многие заглядываются. Уже на что благонамѣренными пионерами явили себя акцизные чиновники, а какого переполоха надѣлало ихъ появленіе! «Нигилисты!» — кричали одни; «коммунисты!» — кричали другіе, и нужно было цѣлую массу нечеловѣческихъ усилій, чтобы доказать вселенной, что это совсѣмъ не нигилисты, а такіе же исторіографы и столпы, какъ и всѣ прочіе. Точно такой же фактъ совершился на нашихъ глазахъ съ пионерами контрольными: ихъ до тѣхъ поръ упрекали въ тайныхъ наклонностяхъ къ конституціонализму, пока они добрымъ своимъ поведеніемъ побѣдоносно не доказали, что за ними не только къ конституціонализму, но и къ счетоводству наклонностей никакихъ не водится.

Но пионеры слѣдуютъ за пионерами съ быстротою изумительною, и быстрота эта такъ вредно дѣйствуетъ на ясность понятій, что рѣшительно не знаешь, кого въ данную минуту называть пионеромъ, а кого столпомъ. Тѣ люди, которые еще вчера въ глазахъ всѣхъ казались завѣтными пионерами, сегодня именуютъ уже себя столпами и ни откуда не встрѣчаютъ на это возраженія. Въ настоящую минуту, сколько можно понять, пионеры самые свѣжіе — это земство и новый судъ.

Будеко было озлобленіе противъ акцизниковъ и контрольныхъ, но невозможно рѣши, какіе оно приняло размѣры и до какой дошло ядовитости относительно людей суда и земства. Въ виду этихъ новыхъ пришельцевъ, исторіографы становятся въ карѣ и показываютъ рѣшимость бодаться; они забываютъ взаимные между исторіографскіе раздоры и

подають другъ другу руку примиренія; околоточные торжественно лобызалотъ акцизниковъ и очищаютъ единство кассы отъ обвиненій въ либерализмѣ и конституціонализмѣ. И все для того только, чтобы противопоставить новому врагу армию сильную, способную поразить его на всѣхъ пунктахъ.

Способы дѣйствія исторіографовъ извѣстны достаточно; это—отчасти глганье, отчасти клевета. Лгутъ исторіографы простодушные, клеветаютъ—злоумышленные; первые были бы подчасъ даже забавны, если бы въ большинствѣ случаевъ не служили вреднымъ орудіемъ въ рукахъ послѣднихъ.

Можно себѣ представить, какую богатую пищу представили для этихъ скудныхъ умовъ новыя судебныя и земскія учрежденія!

Прежде всего ихъ поражаетъ переменна-вѣннихъ формъ обращенія. Завелось какое-то «вы», какое-то неслыханное саканіе на «судъ»;— все это признаки революціи. Не то что прежніе орлы — налетятъ, бывало: «а лу, растакія-то дѣти! расносывайтесы!» Потомъ поражаетъ преданность дѣлу (пѣсколько, впрочемъ, кропотливая), не позволяющая мѣнять его съ бездѣльемъ, — опять признакъ революціи; ибо издревле замѣчено, что человѣкъ необщественный, человѣкъ, не принимающій участія въ провинціальныя *foiles journées*, непременно долженъ быть человѣкомъ неблагонамѣреннымъ и злоумышляющимъ. Въ-третьихъ, поражаетъ скромность образа жизни—новый признакъ революціи; ибо опытъ доказываетъ, что въ обществахъ благоустроенныхъ и богобоязненныхъ сановники должны быть представительные и прикармливать около себя толпу губернскихъ дариюфдовъ. Въ-четвертыхъ, поражаетъ извѣстная доля начитанности и образованности; въ-пятыхъ...

Но нужно ли высчитывать всѣ такъ-называемые признаки революціи, которые заставляютъ блѣднѣть и трепетать архистратиговъ нашего болотнаго воинства? Въ сущности, они столько же понимаютъ значеніе слова «революція», какъ и та простодушная дама, которая увѣрила, что революцію развозятъ по деревнямъ разносчики; но исторіографы злоумышленные цѣлко хватаются за хлесткое словечко и дѣйствуютъ неукоснительно, чтобы популяризировать его обращеніе между исторіографами престоудущими. И начинается тутъ то неслыханное глганье, которое могутъ выносить только крѣпкія обывательскія натуры.

У какого-нибудь болотнаго чибиса пропали старыя портянки, а онъ уже повѣствуетъ, что въ этихъ портянкахъ спрятана была тысяча рублей и женины приданныя ложки.

— И представьте себѣ, хоть бы воръ не сознался!—ораторствуетъ чибисъ въ порывѣ сочпнительства: —сознался, сударь, и пойманъ, и уличенъ! да нигилиты-то, голубчикъ-то наши... Какъ же, молъ, это такъ — вѣдь воръ-то, чай, свой братъ!.. Ну, и отпустили! ступай, молъ, голубчикъ, воровать на всѣ четыре стороны!

— Слышали? слышали?—стопомъ-стонеть, проснувшись, болото.

— Нѣтъ, вы мнѣ вотъ что скажите: съ которыхъ это поръ завелось у насъ равенство?—вопеть другой чибисъ:—прихожу я давеча къ «нашему», только, вижу, и Фенька моя тутъ!—Ну-съ, спрашиваю, что угодно вашему высокородію?—А вотъ, говоритъ, сейчасъ будетъ разбираться ваше дѣло съ крестьянской дѣвицей Федосьей Павловной (это съ Фенькой-то!).—Слушаю-съ, говорю (разсказчикъ, произнося это, иронически шаркаетъ ножкой). Только началось у насъ разбирательство; я—слово, Фенька такъ и сыплетъ! Не вытерпѣлъ:—Прикажите, говорю, замолчать этой поскудѣ!—Что-жъ бы вы думали, онъ-то?—«Во-первыхъ, говоритъ, Федосья Павловна имѣетъ такое же право объяснять свое дѣло, какъ и вы, а во-вторыхъ, за то, что вы ее въ присутствіи моемъ оскорбили (это Феньку-то!), штрафую, говоритъ, вась тремя рублями». Хороша штукака-съ?

Исторій въ этомъ родѣ не оберешься, ибо чибисы вѣрно наблюдаютъ за каждымъ шагомъ пришельцевъ и каждое ихъ дѣйствіе подвергаютъ немедленному оболганію. Но изъ тьмы всякаго рода небылицъ и нелѣпыхъ претензій ярче другихъ выступаетъ впередъ претензія на такъ-называемое бездѣйствіе власти, на то, что подсудимыхъ не бьютъ по скуламъ и не сгибаютъ въ бараній рогъ. Припоминаются тутъ всякіе лихіе исправники и неслыханныхъ разгнѣвъ городничіе. Повѣствуется, какъ нѣкоторый Порфирій Порфирычъ того-то засѣкъ, тому-то ребра переломалъ, того-то на всю жизнь оглушилъ.

— У этого, братъ, запоешь!—восторженно вопіютъ разомъ всѣ кулики:—этому, братъ, того наскажешь, чего никогда и не бывало! Ужъ это такъ.

Злоумышленные исторіографы съ удовольствіемъ прислушиваются къ этому повальному глганью и отъ времени до времени подогрѣваютъ его изобрѣтеніями своей фабрики.

Это тѣмъ для нихъ легче, что жизнь дѣйствительно представляет факты, по наружности подтверждающіе эти изобрѣтенія. Въ мірѣ не безъ воровства, не безъ грабежей и не безъ убійствъ, въ мірѣ не безъ скверныхъ дорогъ и неисправныхъ переправъ,—все это такія житейскія невзгоды, которыя бывали, бываютъ и будутъ во все времена. Но въ былое время невзгоды эти утопали въ безднѣ безмолвія и безответственности и потому не поражали, не возбуждали ничьихъ протестовъ. Нѣтъ сомнѣнія, что въ былое время кара настигала преступника еще рѣже, нежели нынче, но такъ какъ судъ и расправа были, такъ сказать, дѣломъ домашнимъ, то слѣдственные неудачи и судебная безнаказанность не порождали ни толковъ, ни недоговораній. Теперь дѣло иное. Теперь судъ есть нѣчто для всѣхъ осязаемое; теперь—это общее достояніе, на которое устремлены все взоры. И столпы съ большою ловкостью воспользовались этимъ обстоятельствомъ, чтобы сдѣлать изъ него злонамѣренное орудіе. Попробуйте-ка не уличить, не поймать, не открыть во что бы то ни стало, попробуйте ошибиться, увлечься, упустить изъ вида подробность—и вы увидите, какой вдругъ гвалтъ поднимутъ столпы, и какъ, слѣдомъ за ними, застонутъ и захлопаютъ крыльями протодушные кулики!

— Нѣтъ, это такъ не дѣлается! *ça ne se fait pas ainsi!*—вопіеть, сверкая глазами, какой-нибудь столпъ, пользуясь между куликами особеннымъ авторитетомъ.

— Возьмите однако въ соображеніе...

— Да нѣтъ, поймите меня, такъ не дѣлается!—долбитъ столпъ и тутъ же, обращаясь къ толпящимся вокругъ него чибисамъ, прибавляетъ:—и увѣрять, что будь это дѣло въ рукахъ моихъ прежнихъ... моихъ вѣрныхъ!!!—ужъ давно было бы все раскрыто!

Этого достаточно, чтобы поддать масла въ огонь, котлымъ пламенютъ сердца куликовъ. Опять выступаютъ на сцену Порфиры-реброломатели, Кузьмы-оглушители, Фомы-зубокрушители, а «революція», словно живая, такъ и смотреть въ глаза каждому чибису, какъ будто говорить: а вотъ я тебя сейчасъ на сковороду да въ печку!

Вотъ какого рода разладъ существуетъ въ современномъ провинціальномъ обществѣ, и какого рода непрерывнымъ шиканствомъ подвергается тамъ пионерное ремесло. Что же за люди эти пионеры, и въ чемъ состоитъ ихъ вина передъ исторіографами?

Въ самомъ началѣ настоящаго письма выражена мысль, что жизнь въ провинціи измѣняется къ лучшему. Несмотря на то, что многое въ дальнѣйшемъ изложеніи условій этой жизни какъ будто противорѣчитъ этому завіренію, оно все-таки остается въ своей силѣ. Къ чести новыхъ пришельцевъ нужно сказать, что, ежели въ современную провинціальную жизнь начинаютъ вторгаться умственные интересы, то этимъ она обязана исключительно имъ.

Путникъ, случайно забравшійся въ современную провинцію, не рискуетъ уже, какъ въ бывавшія времена, заблудиться въ ней, какъ въ дремучемъ лѣсу, или очутиться въ положеніи Робинзона на необитаемомъ острову. Конечно, нельзя утверждать, чтобы карты и доселѣ не играли преимущественной роли въ жизни провинціала, по это почти единственный обломокъ древней славы, уцѣлѣвшій на развалинахъ прежняго развеселаго житія. Ужъ одно то, что прежде постоянно кого-нибудь гдѣ-нибудь зашнали, что прежде вы не могли сдѣлать шагу, не рискуя услышать: «багюшки! не буду!», что мысль объ этомъ новальномъ заушеніи не могла не терзать существованія честнаго чело-вѣка, и что теперь честный чело-вѣкъ несравненно рѣже подвергается подобнаго рода опасенію, — ужъ одно это представляетъ такую отраду, которую взвѣсить и достойно оцѣнить могутъ только люди, бывшіе непосредственными зрителями стариннаго столпотворенія. Метаморфоза, которая произошла на нашихъ глазахъ, поистинѣ заслуживаетъ удивленія; вы видите мастодонтовъ, которые, еще на вашей памяти, били въ ярости копытами землю, которые ревомъ своимъ заставляли содрогаться природу, которые безъ малѣйшихъ усилій обращали въ прахъ чело-вѣчскія челюсти,—и что-жъ? теперь эти самые мастодонты удивляютъ міръ своимъ кроткимъ поведеніемъ и все свое ехидство ограничиваютъ невиннымъ судаченіемъ по части судебныхъ и земскихъ учреждений. Отчего эта метаморфоза? Отчего это превращеніе яростныхъ остатковъ допотопной формации въ безвредныхъ и оципаныхъ куликовъ? А все оттого, милостивые государи, что явились новые люди, съ прекраснѣйшими манерами, и убѣдили всееленную, что сквернословіе отнюдь не составляетъ фаталистической принадлежности русской рѣчи. Да, нельзя не согласиться, что пришельцы оказались изрядными насадителями граціозныхъ манеръ и изящнаго обращенія! Ни одинъ танцмейстеръ, при самыхъ упорныхъ усиліяхъ, конечно, никогда не могъ

достигнуть такихъ результатовъ, какихъ они достигли въ самое короткое время и почти безъ усилій.

Сверхъ того, рядомъ съ картами, въ провинціи уже зарождается потребность чтенія и даже потребность мышления. Конечно, опытѣннѣе историографы и теперь утверждаютъ, что мышленіе во всё времена представляло, такъ сказать, оппозицію исполнительности, а слѣдовательно и благоустройству; но позволительно думать, что если однажды насъ уже постигла потребность разсуждать, то лучше искренно примириться съ этимъ прискорбнымъ фактомъ, нежели подкапываться подъ него. Это примиреніе дастъ намъ, по крайней мѣрѣ, возможность направить фактъ по усмотрѣнію, тогда какъ вражда непремѣнно оставитъ насъ съ носомъ.

Въ этомъ отношеніи пришельцы представляютъ класъ безцѣнный, не требующій даже направленія. Мысли у нихъ не только благонамѣренныя; но, такъ сказать, очищенныя. Какъ люди милые и образованные, они, конечно, не могутъ временами не озабочиваться извѣстіями объ успѣхахъ или неуспѣхахъ Гарибальди, но не подлежатъ сомнѣнію, что пренія такого рода занимаютъ въ ихъ бесѣдахъ мѣсто весьма ограниченное. У нихъ такъ много своего насущнаго дѣла, притомъ ихъ до такой степени поглощаетъ забота о томъ, какъ бы послужить, услужить и заслужить, что, въ виду этихъ капитальныхъ интересовъ, невольно ступшевается даже вопросъ объ исправленіи французской границы на Рейнѣ.

И дѣйствительно, въ настоящее время мы присутствуемъ при такого рода внутренней работѣ, что насъ долженъ болѣе занимать вопросъ объ иныхъ поглощеніяхъ, нежели о поглощеніи Пруссіей маленькихъ государствъ Германіи. Шукъ развелось въ провинціи такъ много, и притомъ съ такимъ циническимъ желаніемъ глотать, глотать и глотать, что даже вчужѣ становится какъ-то не по себѣ. Извѣстно, что щука, во время жора, глотаетъ что ни попаало, заглатываетъ даже собственныхъ шуритъ, эту надежду и цвѣтъ всего щучьяго рода, — мудроно ли, что прочія рыбы, плавающія въ мелкой и прѣсной водѣ, слышавъ приближеніе ужаснаго хищника, мгновенно прекращаютъ невинныя забавы и устремляются къ своимъ порамъ?

Итакъ, пришелецъ благонамѣренъ, учтивъ, прилеженъ, кротокъ, занятливъ, почтителенъ и послушливъ. Онъ даже не огрызается, когда на него нападаютъ, хотя нападенія

эти нерѣдко бываютъ свойства довольно циническаго. Сверхъ того, онъ читаетъ книжки, а относительно исполненія того, что называется долгомъ, не имѣетъ себѣ равнаго. Это просто левъ. Казалось бы, что при видѣ такого соединенія драконьибнѣйшихъ качествъ щука самая прожорливая должна бы съ довѣріемъ повторять стихи Пушкина:

Въ надеждѣ славы и добра,  
Идемъ впередъ мы безъ боязни...

А выходитъ совсѣмъ напротивъ...

Не ясно ли теперь, что разладъ, замѣаемый въ провинціальномъ обществѣ, есть разладъ односторонній; что онъ возбуждается и питается исключительно историографами, которые, безъ всякой надобности, волнуютъ провинціальное общество своими личными тревогами и опасеніями, и что на долю пришельцевъ досталась въ этой распрѣ роль, хотя и симпатичная, но далеко не выгодная въ стратегическомъ смыслѣ? Не ясно ли также, что самая эта распрѣ имѣетъ паразитическое сходство съ еглой знакомымъ и столь любезнымъ нашему сердцу дѣломъ о пререканіяхъ; на обложкѣ котораго читалась крупно начертанная надпись: «сіе дѣло есть дѣло о выведенномъ яйцѣ»?

Но письмо о провинціальномъ житіи будетъ далеко не полно, если не упомянуть въ немъ о нашемъ beau sexe. Прежде всего должно отдать полную справедливость нашимъ дамамъ, въ томъ смыслѣ, что вопросъ объ эманципации женщинъ, о женскомъ трудѣ и проч. трогаетъ ихъ въ самой умѣренной степени. Въ этомъ отношеніи онѣ представляютъ олотъ и притомъ весьма благоладежный. Существуетъ по этому поводу даже очень трогательный анекдотъ. Рассказываютъ, что когда одна юная дамочка, отъ лица всѣхъ женщинъ, заявила однажды претензію на фельдмаршальскій жезлъ, то присутствовавшій при этомъ предводитель въ упоръ спросилъ ее: «ну, а родить кто будетъ?» Этому простодушнаго вопроса было достаточно, чтобы покончить съ вопросомъ о женскомъ трудѣ, и чтобы дамы, даже судейскія, сдѣлались въ поступкахъ своихъ осмтрительнѣе и принялись родить нуще прежняго. Тѣмъ не менѣе разладъ, огорчающій мужское провинціальное общество, не могъ не отразиться и на дамскомъ. Не только жены и сестры, но даже племянницы охотно принимаютъ участіе въ турбирѣ и этимъ участіемъ нѣсколько смягчаютъ елвшкомъ суровые тоны распри. Но сія послѣдняя и тутъ



поражает своимъ неравенствомъ. Тогда какъ жены исторіографовъ отличаются несдѣланымъ великолѣпиемъ одеждъ, необычайными размѣрами шляпокъ и бѣлизною и округлостью бюстовъ, жены пришелицъ, напротивъ, представляются слегка опципанными и даже какъ бы не совсемъ кормленными. Посему, когда эти два полка стоятъ другъ противъ друга въ безмолвіи, то симпатія проходящихъ невольно склоняется на сторону исторіографовъ. Кажется, что при подругахъ голодныхъ и мысли должны быть голодными; напротивъ того, при подругахъ сытыхъ и мысли непременно должны быть сытыя. Но, когда печать безмолвія упадаетъ, когда голодные и сытыя начинаютъ чувствовать потребность провѣщать, то симпатія измѣняютъ характеръ и обращаются отъ послѣднихъ къ первымъ. Сколько сытыя блистаютъ тѣлами и шляпками, столько голодные пѣвнютъ основательностью и либеральною умѣренностью своихъ сужденій. Тогда какъ первыя бесѣдуютъ о различіи любви и дружбы и о другихъ предметахъ, рѣшительно не приносящихъ никакой пользы для отечества, послѣднія повѣствуютъ о гражданской честности и непреоборимой гѣрности. Случается даже слышать весьма удачныя сужденія по слѣдственной части и по части судебныхъ ошибокъ, и любопытно видѣть, какъ пламенѣютъ, внимая этимъ рѣчамъ, юнѣйшіе изъ пришелицъ мужского пола, и какъ исчезаетъ въ ихъ глазахъ весь суетный міръ съ его бюстами и шляпками, въ виду одного ни съ чѣмъ несравнимаго блаженства... въ виду судейской ошибки!

Но еще любопытнѣе, что и сытыя по временамъ выходятъ изъ рамки невинныхъ размышленій о дружбѣ и любви и выступаютъ на скользкую арену судейскихъ ошибокъ. Вотъ тогда-то собственно и начинается такъ-называемый турниръ.

— Мы все съ своей стороны сдѣлали!—кричатъ жены, дочери и племянницы исторіографовъ:—мы открыли слѣды, мы указали виновныхъ... Ужъ если и послѣ этого...

Сытыя съ презрѣніемъ пожимаютъ полными и бѣлыми плечами.

— Подите! — не менѣе крикливо возражаетъ женскій штатъ пришелицъ:—сейчасъ видно, что вы не читали дѣла Лезюрка!

— Какого Лезюрка? Какого такого Лезюрка? — наивно вопрошаютъ полногрудыя, сытыя и бѣловѣлыя.

Голодные язвительно хохочутъ и, какъ нѣкогда расколь-

ники, восклицая: «посрамихомъ! посрамихомъ!» — торжествуютъ побѣду.

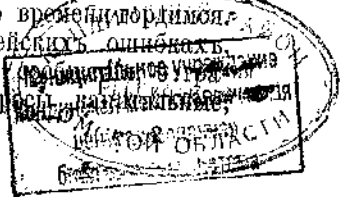
Увы! они забываютъ, что возгласъ «посрамихомъ!» не помѣшалъ раскольникамъ и до сихъ поръ называться раскольниками...

И дѣйствительно, какъ ни грустно, а приходится сознаться, что шармы тѣлесныя рѣшительно подавляютъ и, вѣроятно, долго еще будутъ подавлять шармы умственные. Оттого ли, что мы, провинціалы, не умѣемъ еще относиться какъ слѣдуетъ къ петлѣннымъ красотама ума и сердца, или оттого, что въ самыхъ сихъ красотахъ скрывается нѣкоторый изъянъ,—какъ бы то ни было, но взоры наши непримѣрно охотнѣе обращаются въ ту сторону, гдѣ блеститъ тѣлесная красота. Да и самое начальство наше какъ будто преимущественнѣе туда заглядывается... Да и въ самомъ дѣлѣ, женщина, которая не сіяетъ брилліантами, женщина, которая не докольтирована до тѣхъ предѣловъ, за которыми исчезаетъ всякое представленіе о неизвѣстномъ, женщина, которая, вмѣсто тонкаго анализа чувствъ любви и дружбы, идетъ напроломъ съ дѣломъ Лезюрка... скажите на милость, ужели это женщина?

На первый разъ однако-жъ довольно, тѣмъ болѣе, что сказанное выше объ изъянахъ, скрывающихся въ нашихъ петлѣнныхъ красотахъ, представляетъ намъ естественный выходъ для заключенія настоящаго письма. Отчего въ самомъ дѣлѣ, несмотря на всѣ усовершенствованія и преуспѣванія, въ провинціи все продолжаетъ царствовать тотъ же тонкій запахъ скуки, противъ котораго мы такъ безнадежно боремся съ незамысленныхъ временъ? Отчего провинція не перестаетъ быть центромъ того безконечнаго переизливанія изъ пустого въ порожнее, бездну котораго мы тщетно усиливаемся наполнить? Откуда это самоощипство, самоподслушваніе, самонаушничество, эти вѣчно гноящіяся три язвы, которыя неустанно точатъ провинціала и отравляютъ каждую минуту его незатѣйливаго существованія? Откуда эта распри о выгденномъ яйцѣ?

Какъ ни запутаны эти вопросы, но, какъ кажется, они могутъ быть разрѣшены съ успѣхомъ, если мы внимательнѣе присмотримся къ тѣмъ упомянутымъ выше петлѣннымъ краскамъ, которыми съ нѣкотораго времени обрѣтается

Нельзя отрицать, что вопросы о судейскихъ ошибкахъ, объ уликахъ, объ улучшенныхъ путяхъ гражданск. честности и проч. суть вопросы



64640-1

что интересоваться ими несомненно согласнее с человеческим достоинством, нежели потихоньку погрязать в так-называемом милом распутивьи. Но, очевидно, тут кроется какой-нибудь пробьль, какая-нибудь вредная подмьсь, которая даже у лучших намьреній и проявленій отнимает ихъ жизненный характеръ и силу.

Искусственность и неискренность—вотъ первая вредная подмьсь, которая губитъ насъ и распространяетъ вокругъ насъ атмосферу скуки. Подобно провинціальнымъ актерамаъ, мы постоянно играемъ кожей, а не внутренностями. Въ насъ не волнуется кровь, не болитъ сердце; въ лучшихъ словахъ нашего лексикона не слышится ни внутренней силы, ни рьшимости поддерживать ихъ. Чувствуется ньчто рыхлое, легко поддающееся всякимъ влиянмямъ, безъ борьбы уступающее всякимъ напорамъ. Конечно, ужъ и то немалая заслуга, что мы, имьля свободный выборъ, все-таки прильбнулись именно къ хорошимъ словамъ, а не къ растльбннымъ и ехиднымъ, но заслуга эта значительно бльднеть передъ вопросомъ: что-жъ дальше? Самые убьжденные люди провинции съ трудомъ выдерживаютъ призывъ къ дьлу, который такъ и напращивается на языкъ себебьднику. Мысль останавливается передъ своими естественными выводами и оттого получаетъ характеръ прискорбной недоношенности. Чувствуется какой-то изъянъ, какая-то неслышная недосказанность, которую отнюдь, впрочемъ, нельзя обвинить въ преднамьренной сдержанности. Ньтъ, это сдержанность естественная, наивная; это немнземый плодъ недостатка внутреннего огня, это посльдствие закореньлой привычки вращаться въ заколдованномъ кругь, это замысловатая алгебраическая формула безъ мальшихъ приложений и выводовъ.

Другая вредная подмьсь нашей жизни—это несправильная ограниченность кругозоровъ. Какъ ни возставайте противъ так-называемыхъ утопій, бьезъ нихъ истинно плодотворная умственная жизнь все-таки невозможна. Разумъ человеческій не удовлетворяется безвозвратно, но испытуетъ все дальше и дальше. Въ этомъ вся тайна успьха человеческихъ обществъ, и ежели правда, что утопія не имьетъ права заявлять претензю на немедленное практическое осуществленіе, то несомненно и то, что плодотворное ея дьйствіе на инициаторскія силы человеческого разума все-таки остается внь всякаго спора. Въ этомъ отношении провинція представляетъ совершенно тьслный и за-

мкнутый кругъ, въ которомъ мысль окончательно теряетъ свою смьлость и энергію. Теоретическія поползновенія (если таковыя существовали) слишкомъ скоро позабываются и покрываются плтьсенью; потребность инициативы дьблается ничтожною. Умственный запасъ, всльдствие скудости и безпрестаннаго самоповторенія, до такой степени быстро изнашивается, что даже вчужь становится совьстно. Какъ ни стара истина, что только въ большихъ центрахъ человекъ можетъ смьло мыслить и свободно дышать, но въ провинци она даетъ себя чувствовать съ поразительною наглядностью и потому никогда не утрачиваетъ характера насущной новизны. Мысль, со всьхъ сторонъ стьсененная, ничьмъ не питаемая, невольно бросается на мелочи и погрязаетъ въ нихъ. вмьсть съ нею погрязаетъ и весь человекъ...

Мы забываемъ, что, покуда будемъ играть только кожей, историографы и столпы не перестанутъ быть историографами и столпами.

Мы забываемъ, что покуда будемъ, вмьсть съ историографами, ратовать противъ так-называемыхъ увлеченій (и гдь они, эти увлеченія?), покуда будемъ сдерживать и безъ того несмьлую нашу мысль, мы останемся все тьми же евузами въ нравственномъ и умственномъ отношеніяхъ какими являли себя до сихъ поръ...

## Письмо второе.

Опять о раздорь. Дрянное это явленіе до того усилилось, что сдьблалось почти исключительнымъ содержаніемъ нашей жизни; оно отравляетъ всь наши удовольствія; оно поражаетъ даже пресловутое наше гостепримство. Ньтъ болье блиновъ красныхъ, гречневыхъ, со сметками, съ припекой—ихъ замьнили блины полицейскіе, акцизные, судебные и земскіе! Ньтъ болье той карточной игры, которая во всь времена ни о чемъ иномъ не свидьтельствовала, кромь невинности играющихъ,—ее замьнила иная игра, изъ которой участвующие во что бы ни стало хотятъ сдьблать орудіе для демонстрацій и преткновеній! Ни блины, ни преферансъ не избьгли раздорнаго вьлпя, которое грозитъ надолго утвердиться въ нашемъ обществь.

Странно звучать для слуха выраженія въ родь: «блины

административный», «блинъ судебный» и т. д., а между тѣмъ выраженія эти отнюдь не выдуманы, а прямо выхвачены изъ нашей печальной дѣйствительности. И что всего грустнѣе—выраженія эти отнюдь не фигуральныя, а согласныя съ истиной даже по существу. Съѣшьте блинъ административный—и вы убѣдитесь, что онъ жиренъ, вкусенъ, хотя ложится нѣсколько комомъ; съѣшьте блинъ судебный—и увидите, что онъ тощъ и какъ будто припахиваетъ розовымъ масломъ. Очевидно, что здѣсь раздоръ уже перестаетъ быть просто раздоромъ, но оказываетъ свое пагубное вліяніе на самое блинное вещество.

Извѣстно, что никакія жизненные отправления не требуютъ такого спокойствія духа, такой твердой увѣренности во взаимномъ доброжелательствѣ соревнующихся, какъ обѣденныя увеселенія и игра въ карты. Это совсѣмъ не то, что засѣданія академій или иныхъ ученыхъ обществъ, гдѣ примѣрные раздоры въ извѣстномъ случаѣ даже необходимы, потому что изъ нихъ, какъ слышно, рождается истина. Тутъ, напротивъ того, собираются люди, которые уже умудрились, которые никакого интереса въ отысканіи истины имѣть не могутъ, по той причинѣ, что она уже давно найдена. Поэтому въ этихъ случаяхъ не только неумѣстное гадливье, но даже простое сомнѣніе относительно благонамѣренности кого-либо изъ партнеровъ можетъ произвести въ остальныхъ лишь желудочную смуту, послѣдствія которой трудно даже предупредить. Представьте себѣ, напримѣръ, что на обѣдъ исторіографовъ по какому-нибудь случаю затесался пионеръ,—что хорошаго можетъ изъ этого выйти? Во-первыхъ, пионеръ будетъ пожирать нѣжнѣйшія суфлѣ съ трюфелями точно такъ, какъ бы пожиралъ трихинную углециковую колбасу; во-вторыхъ, ни одинъ исторіографъ все-таки ни за что не повѣритъ, что пионеръ ѣсть взаправду, а непременно будетъ думать, что онъ злоумышляетъ. И, весь отданный своимъ предубѣжденіямъ, онъ, какъ и слѣдуетъ ожидать, утратитъ на время всякую способность наслаждаться и смаковать.

Все это такъ, все это правда, и если мы видимъ, что исторіографы ѣдятъ блины въ своемъ кругу, а пионеры—въ своемъ, то удивляться тутъ нечему. Ихъ обижываетъ къ тому чувство самосохраненія, которое заставляетъ человѣка усунуть все, что противно интересамъ его желудка.

Спрашивается однако-жъ, достигается ли въ дѣйствитель-

ности та цѣль, которую предположили себѣ при этомъ оба враждующіе лагеря? Обезпечивается ли обособленіемъ сторонъ то безмятежнѣе обжорства, къ которому онѣ стремятся? Какъ ни прискорбно, но должно сознаться, что результаты въ этомъ случаѣ болѣе нежели сомнительны. Раздоръ, въ теченіе какого-нибудь года, уже такъ крѣпко вѣлся въ наши нравы, что, гдѣ бы и въ какихъ бы обстоятельствахъ мы ни находились, онъ никогда не оставляетъ нашу мысль свободною. Даже въ сотрудничествѣ съ исторіографами, несомнѣнно заматерѣлыми, мы уже не отдадимся наслажденію съ тою беззаветною ребяческою рѣзвостью, съ которою отдавались ему лѣтъ двѣнадцать-тринадцать тому назадъ. Да, не предадимся, ибо въ тотъ самый моментъ, когда мы будемъ уже протирать руки, будемъ обонять и предвкушать, передъ нами внезапно, какъ грозный призракъ, встанетъ мысль, что подъ однимъ съ нами небомъ обитаетъ нѣкто, который также ѣсть блины, но блины далеко не столь жирныя, какъ наши, и который эту сравнительную тощестъ ставитъ себѣ даже въ заслугу (у меня, дескать, на первомъ планѣ погрѣбности духа и т. д.). Ужели одной этой мысли недостаточно, чтобъ отравить їду самую обольстительную? Но ежели мы пойдемъ еще далѣе, то увидимъ, что систематическое отмѣтаніе нашихъ конкурентовъ по части исторіографіи отъ общенія мало того, что не умаляетъ нашей горечи, но даже значительно усугубляетъ ее. Въ самомъ дѣлѣ, ежели бы эти ненавистные конкуренты были налицо, то насъ, по крайней мѣрѣ, хоть на это время не тревожила бы неизвѣстность, не терзали бы послѣдныя предположенія о наущничествѣ, судаченьѣ и сплетняхъ. Взвѣсивъ на ихъ ненавистныя фізіономіи, мы были бы, по крайней мѣрѣ, увѣрены, что они тутъ налицо, что они не дѣлаютъ болѣе того, что дѣлаютъ, что они жуютъ или хоть притворяются жуками. Теперь же, когда мы ѣдимъ блины врозь, намъ поневолѣ думается: что-то дѣлается тамъ? какіе-то измышляются тамъ подвохи? И, откуда мы задаемъ себѣ подобныя незамысловатые вопросы, блины стынуть да стынуть и, лежась комьями на наши желудки, производятъ дизентерію.

И выходитъ у насъ нѣчто совершенно нелѣпое: съ одной стороны, мы не можемъ сойтись, потому что этому препятствуетъ чувство самосохраненія; съ другой стороны, расходясь и обособляясь, мы это чувство самосохраненія попираемъ самымъ неразумнымъ для себя образомъ. Въ обоихъ

случаяхъ мы, стало-быть, дѣйствуемъ явно въ ущербъ себѣ...

Такимъ образомъ расколъ политической, проникая въ наши повседневныя отношенія, окрашивая ихъ и, въ конечномъ результатѣ, производя расколъ въ нищѣ, питія и играхъ, не только не упадаетъ, но разжигается съ каждымъ днемъ больше и больше. Изъ явленій, повидимому, даже не имѣющихъ мірового значенія, какъ, напримѣръ: блины, ступока, преферансъ и т. д., мы сумѣли выработать нѣчто въ родѣ знаменъ. На одномъ знамени пишется: изящный вкусъ, утопченныя манеры и наслажденіе благами жизни; на другомъ — чиновническій аскетизмъ, подъ которымъ скромно подразумѣвается обиліе духовныхъ силъ. А въ сущности все это та же ступока и тотъ же преферансъ — никакъ не болѣе. И вотъ объ партіи начинаютъ хвалиться своими знаменами и даже какъ будто пошалаиваютъ ими и взаимно другъ друга поддразниваютъ. — «Даже удовольствія у нихъ какія-то глупыя!» говорятъ одни; «даже удовольствія у нихъ мужицкія!» говорятъ другіе, — и въ такихъ бесплодныхъ разговорахъ тратятъ золотое время, которое съ пользой могли бы употребить за общимъ столомъ!

Справедливость требуетъ однако-жъ сознаться, что пионеры злоупотребляютъ этою игрою въ знамена гораздо болѣе, нежели историографы. Начнемъ хоть съ той же фды. Историографы — люди по большей части грѣшные и подъ веселую руку даже не скрываютъ этого. У нихъ залежались еще кое-какіе остаточки отъ тѣхъ избытковъ, которые, въ бывалыя времена, невзначай прилипали къ ладонямъ, — мудрено ли, что вмѣстѣ съ остаточками сохранились и изящный вкусъ, и привычка подмасливать? Напротивъ того, пионеры, хотя и снабженные прекрасными окладами, паѣзжаютъ въ губерніи почти *au naturel*, т. е. въ однихъ вицмундирахъ, никакихъ остаточковъ прежнихъ лѣтъ не вѣдаютъ и не признаютъ, и смѣху занимаютъ такихъ неслыханныхъ кухарокъ, передъ трудами которыхъ даже кухонные тараканы останавливаются въ смущеніи. Въ переводѣ на удобопонятный языкъ, оба эти положенія могутъ быть выражены такъ: историографы ѣдятъ вкусно и притомъ изобильно; пионеры же невкусно и въ обрѣзъ, — казалось бы, что можетъ быть проще этого, и есть ли тутъ поводъ къ какому-либо пререканію? Историографы приблизительно такъ и смотрятъ на это положеніе; они не принасаются къ пионерской трапезѣ потому просто, что она

невкусна, а ежели обзываютъ пионеровъ людьми, не имѣющими понятія о *savoir vivre*, то дѣлаютъ это не съ злобой, а съ сожалѣніемъ. Совѣтъ иначе относится къ этому дѣлу пионеры: какъ человѣкъ духа, онъ въ эпикуреизмѣ историографа видитъ не просто предпочтеніе вкуснаго невкусному, но посяганіе на челоѳическое достоинство и непозволительное политическое чревоугодіе. И вотъ фда, этотъ законнѣйшій, простѣйшій, независимѣйшій изъ актовъ челоѳической жизни, вдругъ, благодаря страстямъ, возводится на степень принципа нравственнаго, соціальнаго и политическаго и, облеченная въ этотъ санъ, становится сѣменемъ раздоровъ и поводомъ для всевозможныхъ взаимныхъ обзваній.

То же самое можно сказать и объ игрѣ въ карты. Любимая игра историографовъ — это ступока; любимая игра пионеровъ — преферансъ, и притомъ съ мизерами и легкимъ подсаживаньемъ. Надо сознаться, что ступока — игра глупая по преимуществу; играется она въ три карты, и единственное соображеніе, которое при этомъ нужно имѣть, заключается въ томъ, чтобы, обладая козырнымъ королемъ, имѣть такую морду, какъ будто на рукахъ три семерки фоски. Ясно, что хитрость такого рода и для непрозорливаго ума весьма доступна. Благодаря этой простотѣ, историографы предаются ступоцкѣ до самозабвенія и, начиная стучать съ утра, кончаютъ лишь поздней ночью. Что же касается до преферанса, то, конечно, это игра болѣе сложная, но, говори по совѣсти, ужели же можно утверждать, чтобы челоѳикъ, предающийся ей, тѣмъ самымъ доказывалъ преобладаніе духа надъ плотію, какъ это дѣлаютъ пионеры? А тѣмъ болѣе — придавать столь невиннымъ занятіямъ, какъ преферансъ и ступока, значеніе нравственно-соціально-политическое и устраивать изъ нихъ предметъ для междоусобій и болѣе или менѣе кровопролитныхъ битвъ?

Но, при извѣстномъ настроеніи общества, всякое лыко пишется въ строку. Одни умѣютъ округлять руки — это признакъ благовоспитанности; другіе, видя это, нарочно начинаютъ махать руками, какъ мельничными крыльями, — это признакъ независимости; одни хвастаютъ своими связями въ высшихъ сферахъ; другіе, напротивъ, хвастаютъ тѣмъ, что у нихъ никакихъ связей въ высшихъ сферахъ нѣтъ. Всякая дрянь дѣлается предметомъ распри, которая такимъ образомъ грозитъ продлиться безъ границъ.

Пионеры въ этомъ случаѣ, конечно, болѣе виноваты, не-

жели историографы. Они виноваты уже тѣмъ, что ни къ какому дѣлу не приступаютъ просто, а все какъ бы священнодѣйствуютъ. И при этомъ тычуть въ глаза: посмотри, какой я умный, какой я честный, какой я развитой и какъ твердо знаю уложеніе о наказаніяхъ! Историографы видятъ это и выходятъ изъ себя. Они втайнѣ сами сознаютъ превосходство пионеровъ; по секрету они даже ропщутъ. «Господи! да отчего же мы такіе глупые?» восклицаютъ они по временамъ; но существенно ихъ огорчаетъ совѣмъ не то, что они глупы, а то, зачѣмъ имъ такъ явно тычуть въ глаза ихъ недалекостью. Скажите имъ это же самое обинякомъ, отнеситесь снисходительно къ ихъ слабости и безпомощности, и тогда, бытъ-можетъ, и для васъ, о, пионеры, отверзнутся ихъ объятія, и для васъ сдѣлаются доступными ихъ жирные блины.

Но, въ ожиданіи вожделѣнной минуты самообниманія, нельзя умолчать объ одномъ явленіи, хотя и довольно извѣстномъ, по которое въ послѣднее время въ особенности огорчительно вліяетъ на жизнь провинціального общества. Явленіе это—такъ-называемыя «складныя души», число которыхъ, благодаря раздору, день ото дня возрастаетъ съ быстротою понсгннѣ изумительною.

«Складныя души» — явленіе не новое; дѣятелями этой категоріи издревле изобиловали всѣ профессіи человѣческой дѣятельности, всѣ отрасли человѣческаго знанія. Издревле существовали сплетники политическіе, литературные, государственные и научные; тѣмъ не менѣе явленіе это настолько важно, что тотъ оказалъ бы немаловажную услугу, кто прослѣдилъ бы участіе «складныхъ душъ» въ исторіи человѣческой цивилизаціи, кто изложилъ бы то ученіе, въ силу котораго человѣческая душа, нимало не стыдись, дѣлается складною. Не претендуя на выполнение такой обширной задачи, мы займемся собственно современными и притомъ провинціальными «складными душами».

Если вы видите челоѣка, который мечется, какъ угорѣлый, между двумя враждебными лагерями и называетъ это метаніе мудростью, будьте увѣрены, что это «складная душа»; если вы видите челоѣка, который, называя себя пионеромъ, не прочь иногда въ сумерки забѣгать покалякать съ историографами насчетъ пионерскихъ дѣлъ и называетъ это дипломатіей, — будьте увѣрены, что это «складная душа»; если вы видите челоѣка, который утверждаетъ, что въ иныхъ случаяхъ ломанная линия можетъ быть ко-

роче прямой, и называетъ это постепенностью въ преуспѣяніи, — будьте увѣрены, что это «складная душа».

Если намъ кажется мелкою распря, существующая между историографами и пионерами, если мы не можемъ безъ нѣкоторой ироніи отнестись къ тѣмъ потугамъ, при помощи которыхъ пионеры слятся доказать, что Россія достигла зенита своего благополучія, то это нимало не распространяетъ нашего недовольства на самыя личности пионеровъ, личности во всякомъ смыслѣ честныя. Мы въ этомъ случаѣ только задаемъ себѣ вопросъ: возможно ли видѣть въ пионерскомъ ремеслѣ что-либо дѣйствительно обновляющее (а не просто обязанность состоять лишь при исправленіи должности пионера), когда въ основаніи этого ремесла нѣтъ никакихъ необходимыхъ гарантій, которыя ограждали бы его будущность? И, задавши этотъ вопросъ, невольножимаемъ плечами. Но этого мало: при всей исключительности нашихъ симпатій къ пионерамъ, мы и къ ремеслу историографа относимся безъ ожесточенія, хотя и не пытаемъ къ нему положительно никакихъ симпатій. Ужъ это такъ самимъ Богомъ устроено, чтобъ были на святой Руси пионеры и были историографы, и чтобъ они взаимно пресирались. На чтѣ же тутъ претендовать? И такимъ образомъ объ *великія партіи*, раздирающія въ настоящую минуту наши губерніи, если не въ равной степени привлекаютъ наши симпатіи, то, по крайней мѣрѣ, находятъ себѣ нѣкоторую экспликацію.

Совсѣмъ другое дѣло — «складныя души». Ихъ дѣятельность есть именно та дрянная дѣятельность, о которой нельзя говорить безъ чувства гадливости. Не негодованія, а именно гадливости.

Во всѣ времена провинціи наши изобиловали «складными душами»; во всѣ времена водились въ ней охочіе люди, готовые по первому знаку травить на чужой счетъ хорошую бду. Въ бывающее время въ особенности суетились и оживлялись эти люди передъ наступленіемъ дворянскихъ выборовъ. Смирные и заспаные незадолго передъ тѣмъ, они внезапно оживали и, словно сурки подъ вліяніемъ лучей весенняго солнца, вылезали изъ своихъ норъ. И начиналась у нихъ тутъ суета, бѣготня и то безмѣрное жранье, передъ размѣрами котораго робѣетъ самая смѣлая челоѣческая мысль. Здѣсь продавались за рюмку водки старые благодѣтели и покупались новые, и тутъ же сряду, за другую рюмку, продавались новые благодѣтели и вновь

покупались старые. «Складные души» носились по улицам как озаренные; глаза их блестели, носы раздувались, уста источали слюну, утробы ныли.

Это было зрелище не весьма приятное для глаз, но оно выкупалось простодушием своего содержания. Как бы гадливо ни относились вы к этим слоноточивым героям, вы все-таки могли быть уверены, что за их бѣготнею ничего нѣтъ и не может быть, кромѣ ѣды. Хватали съ изумительною ловкостью бросаема подачки, эти люди продавали, сплетничали и згали такъ нескучно, что никому даже и на умъ не входило заподозрѣть ихъ въ умыслѣ. Но съ усовершенствованіемъ нравовъ усовершенствовались и «складные души». Это не прежніе халатники, едва не падавшіе въ обморокъ при видѣ куса колбасы; нѣтъ, это люди очень приличные, которыхъ помыслы хотя и вертятся около пироговъ, но около пироговъ, такъ сказать, невещественныхъ, около пироговъ почестей, славолюбія и карьеры.

Нынѣшняя «складная душа», по положенію своему, въ большинствѣ случаевъ принадлежитъ къ пионерамъ. Но, обуреваемая жаждою почестей и постигнувъ въ совершенствѣ духъ вѣка сего, она скоро догадывается, что пионерское поле—безплодное поле, и что пироги заправскіе, румяные пироги съ начинкой, пекутся совсѣмъ не тутъ, а индѣ. Въ самомъ дѣлѣ, какъ ни безпутничай, какую безлѣвину ни твори исторіографъ, ему все какъ съ гуся вода. Для всѣхъ видимо, что онъ и невѣжественъ, и бесполезенъ, и ни на что неспособенъ, что онъ только мутитъ общество нескончаемыми сплетнями и навязчивою праздношью. Кажется, мало въ преисподней пропасть такому человѣку—анъ нѣтъ! строить себѣ какъ столбъ и даже не покачивается! «Стало-быть, сила-то еще тамъ!» говоритъ, замѣчая это, «складная душа» и въ то же время обдумываетъ, какъ бы такимъ манеромъ сыграть Іуду-предателя, чтобы никто этого не примѣтилъ. И, не откладывая дѣла въ дальній ящикъ, начинаетъ подливать.

Сначала дѣло идетъ хорошо, потому что пионеры на этотъ счетъ просты. Развѣ у самаго прозорливаго вырвется слово: «чудакъ!» при видѣ, какъ неуклюжая «складная душа» тщетно старается вытанцовать какое-то граціозно-исторіографическое па, какъ она округляетъ руки, въ знакъ благосклонности, какъ усиливается придать своимъ взорамъ умильно-почтительно-преданное выраженіе. «Складная

душа» всячески скрываетъ свою игру какъ можно долѣе и нерѣдко объясняетъ ее даже цѣлями пользы и дальновидности. Нужно, дескать, видѣть врага лицомъ къ лицу, нужно подробно знать его средства, чтобы съ успѣхомъ отражать наносимые имъ удары и разрушать его козни. И дѣйствительно, мелькнувъ между исторіографами, «складная душа» черезъ минуту опять поворачивается къ пионерамъ и вновь подтанцовываетъ имъ.

— Въ самомъ дѣлѣ, какіе они чудакъ!—говоритъ она, позѣывая и потягиваясь—даже разговоръ у нихъ словно дѣтскій. Обрывки какіе-то!

Пионеры слушаютъ это и восхищаются. Имъ лестно, что даже тотъ человѣкъ, который всѣхъ болѣе изъ нихъ оказываетъ способностей къ почтительно-умильному выраженію лица,—и тотъ сознается, что, въ виду этихъ поалуудей, не можетъ быть рѣчи о какомъ-либо общеніи. «Складная душа» даже приобретаетъ нѣкоторую популярность между пионерами; ей не только не вмѣняется въ порокъ подвигливалье передъ исторіографами, но даже усатривается въ этомъ какое-то доказательство «симпатичности» характера.

Но вотъ мало-по-малу на горизонтѣ показываются тучи, въ лагерѣ исторіографовъ слышится безмозглый шопотъ, видѣются загадочныя улыбки, произносятся нелѣпныя односложныя слова. Пионеры начинаютъ чувствовать себя неловко; они стараются проникнуть въ смыслъ односложныхъ словъ, но слова эти такъ глупы, что проникнуть въ нихъ невозможно. Сдается однако-жь, что въ нихъ скрывается какое-то смутное обвиненіе и едва ли не обвиненіе въ заговорѣ. И вдругъ—открытие! Одному изъ пионеровъ-застрѣльщиковъ удалось сослѣдить «складную душу» и изловить ее на мѣстѣ преступленія. Онъ собственными глазами видѣлъ, какъ «складная душа» перемитивалась и перешептывалась, и какъ вслѣдъ за этимъ перешептываньемъ въ исторіографическомъ лагерѣ сдѣлались извѣстными нѣкоторыя пионерскія провинности. Пионеръ-застрѣльникъ не слышитъ подъ собой земли при мысли, какую услугу Богъ привелъ ему оказать достолюбезному пионерскому дѣлу; онъ дѣлается краснорѣчивъ, онъ представляетъ факты, доказываетъ и убѣждаетъ.

— Прочь измѣнника!—рѣшаютъ хоромъ пионеры...

«Складной душѣ» нѣкоторое время не совсѣмъ ловко; сначала ей даже сдается, какъ будто ее побили; но такъ какъ она прежде всего имѣетъ природу общительную, такъ

как она минуты отдохнуть не может без общества людей, хотя бы дрянных, то никакия жизненные невзгоды не ставят ее въ затрудненіе и не заставляют долго задумываться. И дѣйствительно, не успѣло еще остыть негодование, возбужденное открытіемъ пioniра-застрѣльщика, какъ «складная душа» уже всецѣло предалась исторіографамъ.

Для исторіографовъ подобныя перебѣжки всегда драгоценны. Во-первыхъ, какъ ни остерегаются передъ ними пioniры, но такъ какъ, говоря выраженіями пословицы, отъ своего вора уберечься нельзя, то всякое праздное слово, произнесенное въ пioniрекомъ кружкѣ, неминуемо перескакивается исторіографамъ до точности. Во-вторыхъ, «складная душа» знаетъ слабыя стороны пioniрскаго дѣла и потому можетъ нанести удары болѣе дѣйствительныя и злохитрыя, нежели тѣ, которые наносятся исторіографами. Въ-третьихъ, люди эти, хотя и съ подлинною, все-таки имѣютъ внѣшніе признаки людей современныхъ и развитыхъ, и слѣдовательно присутствіе ихъ значительно сращиваетъ общество исторіографовъ.

А посему, когда «складная душа» перебѣгаетъ къ исторіографамъ, то она нѣкоторое время катается какъ сыръ въ маслѣ. Обороченные мужья кормятъ ее, потчуютъ наливками и охотно вѣряютъ ей все интересы, оставляя за собой только стуколку; бѣлотѣлыя жены сверкаютъ передъ глазами счастливица обнаженными бюстами, какъ будто говоря: «ну, скажи, дурашка, видалъ ли ты что-нибудь подобное у вашихъ некормленныхъ?»

«Складная душа», упоенная, пламенѣющая и алчущая, не ходитъ, а носится по стогнамъ града, какъ будто у нея выросли сзади невидимыя крылья.

Но увы! «складная душа», рассчитывая на пироги, обыкновенно упускаетъ изъ виду одно: великую глупость исторіографовъ. Это промахъ тѣмъ болѣе непростительный, что исторіографъ глупъ очевидно, глупъ по призванію, глупъ безъ уменьшающихъ вину обстоятельствъ, глупъ какъ чуланъ. Онъ отъ природы такъ устроенъ, чтобъ быть глупымъ, и потому чѣмъ неглупѣе исторіографъ, тѣмъ онъ исторіографичнѣе. Заручившись перебѣжникомъ, исторіографъ, какъ сказано выше, сторяча всячески ублажаетъ его, — это первый періодъ или, лучше сказать, медовый мѣсяцъ этого незаконнаго союза. Затѣмъ, замѣчая, что «складная душа» идетъ ходко, исторіографъ мало-по-малу начинаетъ думать, что

туть съ ея стороны не принесено никакой жертвы, и что измѣна «складной души» есть не что иное, какъ должная дань превосходнымъ его, исторіографу, душевнымъ качествамъ. Поэтому онъ начинаетъ обходиться съ перебѣжникомъ съ панибратскою откровенностью, вываливаетъ передъ нимъ пахучій хламъ своей души и, въ заключеніе, требуетъ, чтобы «складная душа» разыгрывала передъ нимъ, исторіографомъ, комедіи. Это періодъ второй. «Складная душа», упоенная и счастливая, сначала не только не огорчается подобными поползновеніями, но даже въ угоду благодѣтелямъ выкидываетъ нѣкоторые колѣнца. Но чѣмъ больше выкидываетъ она колѣнцевъ, тѣмъ непасытнѣе дѣлается относительно сего рода зрѣлищъ исторіографъ; избалованный угодливіею своего кліента, онъ начинаетъ предъявлять свои требованія безпрестанно, предъявлять ихъ даже тогда, когда «складной душѣ» вовсе не хочется откидывать колѣнца. Наступаетъ минута, когда несчастный кліентъ начинаетъ смутно понимать, что онъ изъ политическаго перебѣжника сдѣлался просто увеселителемъ и шуткомъ, и вслѣдствіе этого дѣлаетъ попытку надуть губы — это періодъ третій. Видя это, на него начинаютъ дулься въ свою очередь; мало того: въ глазахъ, передъ его носомъ, безъ всякаго зазрѣнія совѣсти, подыскиваютъ, на переѣмъ ему, другую «складную душу», — это періодъ четвертый...

«Складная душа» содрогается, ибо ее преслѣдуетъ представленіе о потерянномъ рабѣ. Видя себя одинокою и не будучи въ состояніи сносить одиночество, она начинаетъ роптать на Провидѣніе. «Природа-мать! — вопить какой-нибудь смальный перебѣжчикъ: — зачѣмъ ты надѣлила меня душою складною, а не неуклонною? зачѣмъ ты направила стопы мои по стезѣ шаловливости, а не по стезѣ добродѣтели?» И, пороптавши такимъ манеромъ съ минуточку, онъ тщательнѣе прежняго складываетъ свою удобопереносную душу и предпринимаетъ цѣлую серію такихъ удивительныхъ извивовъ и зигзаговъ, что постороннему зрителю остается только восклицать: «экъ его ломасты!» Онъ легкими, чуть замѣтными прыжками перебѣгаетъ сцену и осторожно приближается опять къ тому лагерю, который былъ свидѣтелемъ его перваго грѣхопаденія, все озираясь, все обольщая себя надеждою, что никто его не замѣтитъ. Надежда тщетна! прежде, нежели успѣлъ онъ выполнить первое антраша, исторіографы уже заволновались. Они припоминаютъ весь хламъ, который такъ добродушно выбра-

сывался передъ «складной душою», и справедливо заключаютъ, что изъ этого хлама можно выработать безподобнѣйшій увеселительный матеріалъ.

— Прочь измѣнника!—воспеваютъ они въ свою очередь, и горе «складной душѣ», если она въ эту гибельную минуту не успеетъ провалиться сквозь землю; но исторіографы, будучи постоянно глупы, перѣдко бываютъ и пьяны.

Тогда наступаетъ новый фазисъ въ жизни «складной души», все еще не вѣрящей постигнутому ее несчастію, все еще надѣющейся и колеблющейся. Приходитъ она, напримеръ, въ общественное собраніе, гдѣ за однимъ столомъ ужинаютъ пионеры, за другимъ—исторіографы. Подходить она къ столу пионеровъ,—и вдругъ все общество, какъ-бы по данному знаку, смолкаетъ. «Складная душа» однако-жъ не робѣетъ и начинаетъ заигрывать; она какъ-нибудь усаживается бочкомъ за общую трапезою (большую частью около того изъ пионеровъ, который подобрѣе) и изъясляетъ намѣреніе рассказать нѣсколько безцѣнныхъ анекдотовъ изъ жизни знаменитѣйшихъ исторіографовъ. Но никто не внимаетъ, никто не улыбается; собесѣдники хранятъ упорнѣйшее молчаніе и нетерпѣливо между собой переглядываются. Во рту у «складной души» дѣлается скверно; въ эту минуту она поцѣловала бы ручку у того изъ пионеровъ, который бы хоть крошечку, хоть изъ жалости улыбнулся ей. Тщетно. Нѣсколько времени «складная душа» продолжаетъ ораторствовать, и новые безцѣнные анекдоты одинъ за другимъ льются изъ ея усть... И вдругъ голосъ ея прерывается на половинѣ анекдота. «Складная душа» понимаетъ, «складная душа» чувствуетъ. Неслышными шагами она ретируется отъ непріязненнаго ей стола и столь же неслышно, даже робко приближается къ другому столу. И опять подсаживание бочкомъ, опять заигрыванье, опять анекдоты, но на сей разъ уже изъ жизни пионеровъ, и опять гробовое молчаніе, прерываемое отрывистыми возгласами: «водки! уксусу! горчицы!»

Кончается тѣмъ, что «складная душа» ужинаетъ по-средній залы, и ужинаетъ одна-одинешенька.

Дѣти! прочтите внимательно настоящей правдивый рассказъ и всякій разъ, какъ васъ будетъ соблазнять легкое ремесло «складной души», представьте себѣ мѣки, которыя ожидаютъ этихъ несчастныхъ въ семь вѣкъ и въ будущемъ! И, размысливъ о семъ, снѣшите, скорѣе снѣшите прижмнуть или къ исторіографамъ, симъ пионерамъ про-

шедшаго, или къ пионерамъ, симъ исторіографамъ будущаго!

Но такъ какъ въ жизни вообще не существуетъ положеній вполне безнадежныхъ, то нѣтъ резона, чтобы это общее правило не примѣнялось и къ опальнымъ «складнымъ душамъ». Да, и онѣ могутъ ласкать себя надеждами, и онѣ имѣютъ право разсчитывать на лучшее будущее. Въ самомъ дѣлѣ, источникъ «складныхъ душъ» такъ изобилуетъ, что невозможно даже провидѣть, чтобы онъ когда-нибудь иссякнулъ. Предположите теперь, что съ каждою изъ этого легіона душъ произойдетъ тотъ самый процессъ превращеній, который описанъ выше, а именно, что каждая изъ нихъ будетъ сначала наверху славы и величія, а въ концѣ концовъ все-таки не минуешь общей участи «складныхъ душъ», то-есть опалы и отчужденія. Очевидно, что число отверженцевъ должно будетъ постепенно возрастать и наконецъ образуетъ массу достаточно компактную, чтобы обнаружить признаки нѣкоторой самостоятельности. Вотъ тогда-то къ двумъ великимъ корпораціямъ исторіографовъ и пионеровъ прибавится еще третья великая корпорація—«складныхъ душъ». И будутъ организованы «складные души» жениться и посягать, какъ и прочіе губернскіе люди, будутъ ужинать и танцовать на всей своей волѣ, будутъ принимать визиты и отдавать ихъ, будутъ мириться и враждовать... Однимъ словомъ, народится въ провинціи новая сила...

### Письмо третье.

Съ 19-мъ февраля въ понятіи русскаго человѣка всегда соединяется представленіе о чемъ-то весьма доброкачественномъ. Въ особенности же оцутительно доброе вліяніе 19-го февраля въ провинціи. Тутъ 19-е февраля дѣйствовало непосредственно и воочію всѣхъ; тутъ оно и въ самой жизни провело черту, до такой степени яркую, что то, что стоитъ надъ чертою, не имѣетъ почти ничего общаго съ тѣмъ; что стоитъ подъ чертою. А такъ какъ надъ чертою хорошаго стояло мало, то весьма понятно, куда должны тяготѣть общія симпатіи.

Тѣмъ не менѣе нельзя не сознаться, что и въ провинціальномъ обществѣ существуютъ извѣстные слои, въ которыхъ 19-е февраля отозвалось послѣдствіями свойства



довольно неожиданного. Въ противность всякимъ соображеніямъ, оно выдвинуло впередъ въ этихъ слояхъ совсѣмъ не тѣхъ, кого слѣдовало видѣ дѣятельности поставить. Однимъ словомъ, вышла какая-то безпримѣрная и только у насъ возможная путаница, вслѣдствіе которой вліятельными практически дѣятелями на почвѣ 19-го февраля явились люди, не могущіе и даже не дающіе себѣ труда воздержаться отъ судорожнаго подергиванія при малѣйшемъ намекѣ на эту почву; люди же, всецѣло преданные дѣлу, вѣрящіе въ его будущность, очень часто не только отстраняются отъ всякаго вліянія на правильный исходъ его, но даже, къ великой потѣхѣ многочисленнаго сонмища фофановъ и праздношатающихся, обзываются коммунистами, нигилистами, революціонерами и демагогами.

И дѣйствительно, взглянитесь нѣсколько въ нашихъ вліятельнѣйшихъ провинціальнхъ исторіографовъ, въ тѣхъ, которые и о сю пору еще нишутъ вольнымъ духомъ нашу исторію, что составляетъ язву, непрестанно точащую ихъ существованіе? Эту язву составляютъ: упраздненное крѣпостное право, гласные суды, земство, то-есть именно то, въ чемъ замыкается существенный смыслъ 19-го февраля. Въ чемъ состоитъ самая яркая, характеристичная сторона ихъ дѣятельности? Эта сторона состоитъ въ жалкихъ усиліяхъ во что бы то ни стало подорвать тѣ плодотворныя послѣдствія, которыя заключаютъ въ себѣ намѣренія 19-го февраля...

Какъ ни маловѣроятенъ кажется такой фактъ, но онъ составляетъ явленіе до того общезвѣстное, что сомнѣваться въ его дѣйствительности нѣтъ ни малѣйшей возможности. Ненавистничество до такой степени подняло голову, что самое слово «ненавистникъ» сдѣлалось чѣмъ-то въ родѣ рекомендательнаго письма. Ненавистники не вздыхаютъ по угламъ, не скрежещутъ зубами втихомолку, но авторитетно, публично, при свѣтѣ дня и на всѣхъ діалектахъ изрыгаютъ хулу и, не опасаясь ни отпора, ни возраженій, сулятъ покончить въ самомъ ближайшемъ времени съ тѣмъ, что они называютъ «гнусною закваскою нигилизма и демагогіи» и подѣ чѣмъ слѣдуетъ разумѣть отнюдь не демагогію и нигилизмъ, до которыхъ ненавистникамъ нѣтъ никакого дѣла, а преобразованія послѣдняго времени.

Торжество ненавистничества есть фактъ недавній, происшедшій на нашей памяти въ какія-нибудь послѣднія

пять-шесть лѣтъ. Много метаморфозъ испытала провинція, много видѣла она видовъ, много вынесла на спинѣ своей всякихъ рукавицъ, а преимущественно ежовыхъ, по ничего подобнаго происходящему на нашихъ глазахъ не испытывала, не видала и не выносила. Цѣлые легионы ничтожнѣйшихъ шалопаевъ рыскаютъ по градамъ и всякимъ любезнаго отечества съ спеціальною цѣлью явно и тайно уничтожать и подрывать дѣйствіе 19-го февраля... скажите на милость, бывало ли когда-нибудь слышано подобное чудовищное дѣло? Даже обидно становится, когда посмотримъ на эту повальную непросвѣтлую галиматью, и именно потому обидно, что ни подѣ какимъ видомъ ничего нельзя понять. Нельзя понять, почему все это ничтожество, которое еще такъ недавно жалось около стѣнъ, смиренно-мудричало и притворялось, вдругъ всплыло наверхъ, заняло самую середину сцены и, какъ весенняя мошкара, кружится на солнцѣ, готовое замѣпить и глаза, и носъ, и уши всякому проходящему. Нельзя понять, почему вся эта неспособность, которая еще такъ недавно сама сознавала себя ни на что не годною, вдругъ загадѣла о какихъ-то высшихъ соображеніяхъ, о какихъ-то священныхъ интересахъ и правахъ. Что такое произошло? невольно спрашиваетъ себя. Что могло вызвать этихъ слѣпорожденныхъ изъ темныхъ ихъ норъ? Ужъ, полно, все ли спокойно въ любезномъ отечествѣ? ужъ нѣтъ ли гдѣ признаковъ, которые бы предвѣщали хоть какое-нибудь, хоть отдаленное замѣшательство?

Можно поручиться, что сами ненавистники затруднятся дать сколько-нибудь удовлетворительные отвѣты на эти вопросы, а если и укажутъ на какіе-нибудь признаки, по мнѣнію ихъ — зловердые, то въ этихъ указаніяхъ всего замѣчательнѣе будетъ не сущность ихъ (всегда ребячески пошлая и живая), а то злорадство, съ которымъ они дѣлаются. Нельзя себѣ представить того наслажденія, съ которымъ ненавистникъ хватается за всякую поруху, за всякую фальшивую ноту, которою случайно зазвучитъ неприятное ему дѣло. Прослышитъ ли онъ, что народъ бѣднѣетъ, онъ ликуетъ; вычитаетъ ли, что въ дѣлахъ застой, — онъ торжествуетъ всею утробой; дойдетъ ли до него, что города и села опустошаются пожарами, — нѣтъ предѣла, нѣтъ границъ его поганымъ восторгамъ. Онъ всякую народную бѣду готовъ приурочить къ 19-му февраля, потому что въ

дурацкой его головѣ имѣть ни одной мысли, кромѣ мысли объ обидѣ, нанесенной ему этимъ ужаснымъ для него числомъ. И можно быть увѣреннымъ, что, случись когда-нибудь всероссійское землетрясеніе, онъ съ радостью согласится погибнуть подъ развалинами, лишь бы имѣть случай лишній разъ прокричать: «это оно, это 19-е февраля!»

Да; ненавистникъ—существо жалкое, почти помѣшанное отъ злобы. Подобною злобою бываютъ одержимы только люди совершенно глупыя, и именно потому, что въ ихъ нѣтуго-забитыя головы не можетъ проникнуть никакая связанная мысль, никакое общее представленіе. Въ этомъ смыслѣ ненавистникъ представляетъ собой психологическое явленіе весьма замѣчательное; онъ, такъ сказать, не различаетъ ни прошедшаго, ни будущаго; онъ не можетъ отыскать начала, не можетъ предвидѣть конца; онъ не постигаетъ связи вещей, и потому существующее представляется ему произвольнымъ и разбросаннымъ, въ видѣ мелкихъ оазисовъ, раздѣленныхъ непроходимыми песками. Врядъ ли онъ даже имѣетъ ясное представленіе о томъ, что называется отечествомъ. Единственное впечатлѣніе, завѣщанное ему прошедшимъ, это впечатлѣніе дарового куска, который некогда тѣшилъ его утробу; единственное стремленіе его въ будущемъ—это стремленіе къ тому же даровому куску...

И за всѣмъ тѣмъ надо жить среди этихъ людей, чтобы убѣдиться, какіе у нихъ здоровые зубы и какъ ловко они умѣютъ врываться въ тѣла ненавистныхъ имъ субъектовъ!

Говорятъ, будто бы Россія изнемогаетъ подъ бременемъ либеральныхъ поплзновеній; говорятъ, что эти поплзновенія обуреваютъ ее до такой степени, что даже заставляютъ опасаться за ея драгоценное здоровье. Вотъ, дескать, та причина, въ силу которой дѣлается необходимымъ появленіе такихъ дѣятелей, которымъ небезызвѣстна теорія жевыхъ рукавицъ. Но спросите, гдѣ доказательства этого мнимо-либеральнаго изступленія, потребуйте, чтобы вамъ указали факты, свидѣтельствующіе объ основательности подобнаго рода опасенія; и вы, вмѣсто фактовъ и доказательствъ, получите цѣлый рядъ трогательно-нелѣпныхъ рассказовъ объ экипажахъ, мчащихся съ горы въ пропасть, о лошадяхъ, вырвавшихся на свободу и умирающихъ съ голоду, и пр. и пр. Мы, провинціалы, охотно прибрѣгаемъ

къ образамъ (забывая, что это доказываетъ только нашу непривычку мыслить), до того охотно, что даже не даемъ себѣ труда провѣрить, имѣютъ ли эти образы какое-нибудь отношеніе къ данной мысли. Это даетъ намъ возможность уклониться отъ отвѣта; это позволяетъ намъ безнаказанно клеветать, сколько дунѣ угодно. Въ самомъ дѣлѣ, что вы можете предпринять послѣ трогательной исторіи объ экипажѣ, мчащемся съ горы въ пропасть? Что, кромѣ того, чтобы вновь потребовать фактовъ и доказательствъ? И вотъ, въ отвѣтъ вамъ, уже готова легенда о вырвавшейся на свободу и умирающей съ голоду лошади!.. Не правда ли, какъ все просто и незатѣйливо въ этомъ заколдованномъ кругѣ, и какъ хорошо должно житься въ немъ глупцамъ-ненавистникамъ?!

Дѣло въ томъ, что фактовъ нѣтъ и представлено быть не можетъ, по той простой причинѣ, что ихъ не существуетъ въ натурѣ. Нелѣпные рассказы о какихъ-то «дѣвкахъ-иоганкахъ», требующихъ конституціи, объ отставныхъ солдатахъ и разносчикахъ, посѣвающихъ сѣмена революціи по деревнямъ и селамъ, свидѣлствуютъ только о крайнемъ умственномъ убожествѣ самихъ рассказчиковъ. Намъренія 19-го февраля падали на такую благодарную почву и укоренились въ ней такъ просто и естественно, что тутъ не можетъ быть мѣста для опасеній. Россія не только не мечется въ либеральной горячкѣ, не только не требуетъ лѣченія посредствомъ жевыхъ рукавицъ, но даже относится къ этому лѣченію не безъ изумленія, хотя и принимаетъ его безъ ропота. Кажется, этого послѣдняго факта одного уже черезчуръ достаточно, чтобы опровергнуть какую угодно систему доказательствъ въ пользу появленія дантистовъ и ненавистниковъ. И между тѣмъ несомнѣнно, что эти дантисты и ненавистники существуютъ и даже сознаютъ себя призванными къ чему-то высшему. Что за притча сія?

Чтобы понять, какъ трудно и какъ необходимо разрѣшить эту загадку, потрудитесь, читатель, изъ міра интесовъ общественности перенестись мыслью въ тотъ тѣсный міръ, въ которомъ замыкаются ваши частные интересы. Предположите, что вы задумали предпріятіе, которое не можетъ быть приведено къ концу одними личными вашими усилиями, а требуетъ сотрудничества многихъ другихъ лицъ. Къ кому вы прежде всего обратитесь? не къ тѣмъ ли, которые относятся къ вашему предпріятію сочувственно? не

къ тѣмъ ли, которые обладаютъ надлежащей суммой способностей и силъ, необходимыхъ для успѣха вашего дѣла? не къ тѣмъ ли, наконецъ, которыхъ вы, во всякомъ случаѣ, не имѣете повода заподозрѣть въ лукавствѣ или въ намѣреніи подкопаться подъ васъ? Да, конечно, къ нимъ, къ этимъ способнымъ и сочувствующимъ людямъ, вы и обратитесь; этого требуетъ и здравый смыслъ, и прямая ваша выгода. Законъ, направляющій въ этомъ случаѣ ваши движенія, до такой степени непроизволенъ, что, если вы, напримеръ, затѣваете дѣло хорошее, то избираете для него и сотрудниковъ хорошихъ; а ежели затѣваете дѣло дрянное, или, лучше сказать, не дѣло, а только изворотъ, то и дѣятелей для него избираете изворотливыхъ, а отчасти и гнусныхъ.

Все это до такой степени очевидно, общепонятно и общепринято, что нѣтъ угла въ цѣломъ мірѣ, гдѣ какое-нибудь дѣло дѣлалось бы иначе, какъ при содѣйствіи людей, его понимающихъ, ему сочувствующихъ и къ нему подготовленныхъ. И вдругъ однако-жъ оказывается, что существуютъ такія сферы человѣческой дѣятельности, гдѣ теорія самодѣянія признается не только полезною, но даже необходимымъ!

Не правда ли, что мы имѣли полное основаніе назвать такое положеніе загадочнымъ?

Но ежели извѣстное явленіе не подходитъ ни подъ какое логическое объясненіе, то изъ этого слѣдуетъ, что для раскрытія его необходимо прибѣгнуть къ путямъ неестественнымъ. Такъ мы и дѣлаемъ.

Если бы у ненавистниковъ не было за душой ничего, кромѣ ненавистничества, то дѣло кончилось бы тѣмъ, что они пожрали бы другъ друга и сами себя, и такимъ образомъ вопросъ о достославной ихъ дѣятельности вскорѣ упряднился бы самъ собою. Однако-жъ дѣятельность эта продолжается и заставляетъ предполагать, что тутъ пригнѣшались кой-какія другія данныя, которыя, въ глазахъ поверхностнаго наблюдателя, смягчаютъ самое ненавистничество и позволяютъ взирать на него безъ негодованія. Даныя эти, какъ увидимъ ниже, чисто виѣшняго свойства и имѣютъ весьма слабое отношеніе къ сущности 19-го февраля; но такъ какъ у насъ виѣшность и до сихъ поръ еще всегда на первомъ планѣ, то нѣтъ ничего удивительнаго, что тѣбніе, которое за нею стоитъ, ускользаетъ отъ анализа неопытнаго и неискуснаго большинства.

Первое преимущество, которое ненавистникъ охотно выставляетъ впередъ, — это приличная и, такъ сказать, дисциплинированная виѣшность. И дѣйствительно, взирая на открытое и розовое лицо какого-нибудь ненавистника, вслушиваясь въ его умѣренно-пошловатую рѣчь, весь смыслъ которой резюмируется словами: «какъ прикажете?», видя этотъ учтивый пося и эти ласковые, слегка закатывающіеся глаза, которые, кажется, такъ и говорятъ: «навѣкъ я твой и даже больше!», всматриваясь въ его плавную, преданно-спѣшащую походку, въ его мягкой, нѣсколько безцвѣтный жестъ, и не усматривая притомъ въ положеніи его тѣла ничего, кромѣ благодарно-устремляющагося и готовно-державшаго, — вамъ даже въ голову не придетъ сказать: «вотъ человѣкъ, у котораго въ сердцѣ завелось укушеное гнѣздо, у котораго въ головѣ засѣла каверза, у котораго внутренности поражены гноящимися струями!» Напротивъ того, вы скажете: «вотъ обворожительный мальчикъ, который отлично владѣетъ французскимъ діалектомъ и у котораго притомъ изъ всѣхъ поръ сочтена потъ готовности и признательности!» И однажды, сказавъ себѣ это, вы непременно почувствуете къ этому человѣку влеченіе и начнете относиться къ нему съ упорнымъ пристрастіемъ. Развитость его вы назовете наивностью, невежество — простодушіемъ, незнаніе дѣла — неопытностью; даже въ его лукавствѣ вы будете видѣть не то вредное качество, которое и въ животныхъ низшаго разряда возбуждаетъ отвращеніе, а милую изобрѣтательность не очень обширнаго, но благонамѣренно-направленнаго ума. Вы не замѣтите ни той судороги, которая по временамъ мгновенно пробѣгаетъ по его лицу, ни тѣхъ подергиваній, ни того воздыманія ноздрей, въ которыхъ собственно и заключается ключъ къ его сердцу. Передъ вами только человѣкъ съ мягкими, смѣющимися глазами, съ устремленнымъ впередъ корпусомъ, однимъ словомъ, человѣкъ, котораго можно и намотать на клубокъ, и опять размотать — какъ угодно! Не кладь ли такой субъектъ? И возможно ли сравнить его съ тѣми угрюмыми личностями, которыя не только не устремляются, но даже какъ будто назадъ опрокидываются? Нѣтъ, ни сравнить, ни промѣнять ни на что подобное невозможно, — это ясно какъ день. Это тѣмъ болѣе ясно, что каверзы, которыя выкидываетъ очаровательный ненавистникъ, совершаются не на глазахъ вашихъ, а тамъ, за кулисами, на какомъ-то заднемъ дворѣ...

И вотъ, благодаря граціознымъ манерамъ, прахъ, простой и ничтожнѣйшій прахъ, столбомъ кружится по градамъ и весямъ любезнаго отечества, залѣпляя глаза и носы изумленнымъ обывателямъ!

Другой фактъ, на который сильно упираютъ ненавистники и которымъ они въ особенности отводятъ глаза, заключается въ буквальномъ соблюденіи обрядной части 19-го февраля. Насчетъ обрядовъ ненавистникъ просто левъ, и ему тѣмъ легче геройствовать на этомъ поприщѣ, что самое пониманіе его не идетъ дальше обряда, что все воспитаніе его исключительно основано на обрядѣ, и что у него пропасть свободного времени, избытокъ котораго позволяетъ ему слѣдить за обрядомъ съ пунктуальностью изумительною. Мундиры, парады, обѣды, молебны — вотъ почва, на которой твердо стоитъ ненавистникъ, и плохо придется тому, кого проникательный взоръ его усмотритъ на этой почвѣ небрежнымъ или неисправнымъ. Нужды нѣтъ, что тутъ же, въ этомъ самомъ мундирѣ, ненавистникъ измышляетъ пакость тому самому дѣлу, въ пользу котораго онъ парадно вырядился, — повторяемъ: эта пакость совершится за кулисами, на заднемъ дворѣ; на сценѣ же будутъ красоваться все видѣніе признаки преданности дѣлу, на сценѣ будетъ обрядъ; — а много ли найдется людей, которые сумѣютъ отличить обрядъ отъ сущности? Итакъ: горе тому, кто оплошаетъ въ мундирный день! горе тому, кто въ день сей страдаетъ головною болью или коликами! горе тому, кто просто позабылъ о происходящемъ торжествѣ, а усмотрѣтъ былъ во время онаго гуляющимъ! Тысячи обвиненій, одно другого нещепѣе, одно другого зловреднѣе, посылаются на его голову и, ежели не поразятъ окончательно, то навредятъ и нагадятъ настолько, что человѣку опротивѣетъ не только провинція, но и самая дѣятельность, на которую онъ въ ней осужденъ.

Да; вотъ и дрянные, повидимому, людишки, а подите-ка, уберегитесь отъ ихъ бѣлыхъ, поганыхъ зубовъ! Устойте-ка противъ ихъ козней, несмотря на лживую нещепѣе и глупость послѣднихъ!

Читателю петербургскому все эти неудобства и каверзы провинціальной жизни могутъ показаться паршивыми дрягями — не больше. Многачо изъ нихъ онъ не пойметъ, о многомъ скажетъ, что все это дѣла, не стѣянція плевка. Конечно, съ своей точки зрѣнія, петербургскій читатель будетъ правъ; но представьте себя, такъ сказать, водво-

реннымъ среди этихъ паршивостей, представьте, что вы вошли въ тучу комаровъ, которые и жужжаніемъ, и жаленіемъ до того одождываютъ васъ, что даже парализуютъ самую вашу мысль, — какъ отнесетесь вы къ подобному положенію? Прибѣгнете ли вы къ тѣмъ высшимъ соображеніямъ, въ виду которыхъ это положеніе не стоитъ плевка? Назовете ли его именемъ дряговъ?.. Да, это дѣйствительно не больше, какъ дряги, но потому-то именно они такъ больно и вліяютъ на человѣка, что ужъ черезчуръ паршивы. Смиритесь передъ ними — нѣтъ резона; уединитесь среди нихъ — тѣмъ дряннѣе и омерзительнѣе встанетъ передъ вами картина этой властной и торжествующей паршивости. Однимъ словомъ, для провинціи это вопросъ совсемъ не пустой, а вполнѣ жизненный и совершенно неизбежный. Шпіонство, наушничество и вольный доносъ до того одождываютъ ее, что некуда дѣваться порядочному человѣку, нельзя совершить самаго простого акта, чтобы не подвергнуться всякаго рода зловреднымъ толкованіямъ.

И сверхъ того, не надо забывать, что эта паршивость не потому только вредна, что она забдаетъ того или другого субъекта, но и потому, что она врѣзывается въ самую жизнь и растѣваетъ нащупанія намѣренія. Не надо забывать, что это паршивость, не лишняя атрибутовъ силы, а потому дѣйствующая самоувѣренно и почти безъ возраженій. Но это-то именно и не понимается въ Петербургѣ, и потому всякое, даже слабое, противодѣйствіе ненавистничеству представляется тамъ какою-то неумѣстною строптивостью.

Вообще Петербургъ не охотникъ до такъ-называемыхъ пререканій: они кажутся ему вредными; они тревожатъ его олимпийское спокойствіе; они мѣшаютъ ему думать, что въ любезномъ отечествѣ все обстоитъ благополучно. Петербуржцу кажется, что стѣдить какому-нибудь Ивану Иваничу хорошенько пощловаться съ Иваномъ Никифоричемъ, — и все пойдетъ какъ по маслу. «Помилуйте! вѣдь это все преувеличенія! вы тамъ деретесь, а мы должны изъ-за вашихъ ничтожныхъ дракъ оставлять наши общія соображенія!» — вотъ что обыкновенно слышится страдалецъ-провинціалъ отъ любого петербуржца, которому издумаетъ повѣдать новость своихъ провинціальныхъ затрудненій. И никакъ не убѣдится глубокомысленный петербуржецъ, что есть же причина, которая обуславливаетъ эту организованную драку, и что ежели тутъ на первомъ планѣ пустяки,

то это именно тѣ пустяки, которые загораживаютъ живое и кровное дѣло, которое дѣлается отнюдь не въ Петербургѣ, а въ провинціи.

Надо сознаться, что въ послѣдніе три-четыре года въ провинціальной жизни выработалось много не весьма хорошаго, и между прочимъ явилась на свѣтъ цѣлая система обвиненій, противъ которыхъ предполагаются невозможными никакія возраженія. Таковы, напримѣръ, обвиненія въ ингилизмѣ, въ коммунизмѣ, въ демократизмѣ, въ безвѣрїи и т. п. Обвиненія, при извѣстныхъ условіяхъ и при общей сбивчивости понятій объ истинномъ смыслѣ ихъ, очень вѣскія. Спросите любого ненавистника, что онъ разумѣетъ подѣ этими выраженіями, которыми онъ сыплеть направо и налево, — онъ, наизѣрное, разинетъ ротъ или понесетъ совершеннѣйшую чепуху. Но дѣло въ томъ, что ему совсѣмъ и не важно знать, какое значеніе имѣетъ то или другое выраженіе; для него достаточно быть увѣреннымъ, что есть на свѣтѣ такіе сладкіе термины, которые позволяютъ ему стрѣлять въ упоръ, и вотъ онъ пострѣливаетъ да пострѣливаетъ себя полегоньку, отнюдь не сомнѣваясь, что выстрѣлы его рано или поздно достигнутъ—таки надлежащей цѣли. Положимъ, напримѣръ, вы доказываете ненавистнику, что недозволительно доводить крестьянъ до разоренія подѣ благовиднымъ предлогомъ казеннаго интереса, съ дѣйствительною же цѣлью—пущай, дескать, знаютъ поганцы, какова сладка хвалоная ихъ свобода! — и вотъ, вмѣсто отвѣта, въ васъ стрѣляютъ обвиненіемъ въ коммунизмѣ! Или, положимъ, вы доказываете необходимость и пользу независимости судовъ, пользу, признанную закономъ, а въ васъ, вмѣсто отвѣта, стрѣляютъ обвиненіемъ въ неуваженіи къ власти! Что предпримете вы противъ такихъ обвиненій? Станете ли возражать, что между коммунизмомъ и правильнымъ ходомъ крестьянской реформы, между неуваженіемъ власти и независимостью судовъ нѣтъ никакой связи? но развѣ тутъ можетъ быть рѣчь о какой бы то ни было связи? Развѣ тутъ что-нибудь требуется, кромѣ гнуснаго голоблдоваго обвиненія? Да, это положеніе почти безнадежное...

Есть, впрочемъ, одна сила, которая могла бы удерживать ненавистниковъ въ предѣлахъ благопристойности, ежели бы ей было дано надлежащее развитіе и ежели бы она сама сознавала, какъ много она значитъ и какъ много можетъ. Эта сила—печатъ.

Не можно измыслить тѣхъ проклятій, которыми осмѣяется въ провинціи бѣдное печальное русское слово, но въ то же время трудно себя представить трепеть болѣе почтительный, нежели тотъ, съ которымъ ожидаетъ ненавистникъ печатной кары своимъ злоумышленіемъ. Совершивши свинство, ненавистникъ долгое время проводитъ въ весьма нелегкихъ терзаніяхъ. Съ тѣхъ поръ, какъ завелась такъ называемая спасительная гласность, жизнь значительно опостыѣла ненавистнику. Гг. Катковъ, Аксаковъ, Скворцовъ и проч. кажутся ему не просто смертными, а какими-то дремлющими волшебниками, которые невидимо присутствуютъ при всякомъ паскудномъ дѣяніи и отъ которыхъ бесполезно было бы даже что-нибудь таить. Они все видятъ, все знаютъ, все предугадываютъ. И вотъ, въ виду этого всевѣдѣнія, за содѣяннымъ свинствомъ всегда наступаетъ для ненавистника рядъ дней томительнаго ожиданія кары, ожиданія болѣе тяжкаго, нежели самая кара. «Не можетъ быть, чтобъ меня не сказанили?» резонно твердить себя ненавистникъ, и содѣянное свинство во всѣхъ малѣйшихъ подробностяхъ встаетъ въ его воображеніи, а дни полученія газетъ становятся днями трепета и невыносимѣйшихъ нравственныхъ истязаній.

Само собою разумѣется, что, въ большинствѣ случаевъ, эти ожиданія только трепетомъ и разрѣшаются; но велико бываетъ смѣненіе въ тѣ рѣдкіе и памятные дни, когда и въ самомъ дѣлѣ въ одной изъ газетъ появляется краткое извѣстіе о нашихъ секретныхъ и явныхъ дѣяніяхъ.

Представьте себя фізіономію ненавистника, который вдругъ вычитываетъ изъ газетъ, напримѣръ, слѣдующее извѣстіе:

*Наилучшій способъ употребленія пожарныхъ лошадей.* Изъ города Окова пишутъ: «Пожары въ нашемъ городѣ, благодареніе Богу, рѣдки, и вотъ мѣстные распорядители, чтобъ не лишить пожарныхъ лошадей полезнаго моціона, придумали ссужать ихъ подѣ кавалькады туземнымъ аристократамъ. Недавно одна изъ такихъ кавалькадъ красовалась по улицамъ города, и обыватели имѣли случай убѣдиться, что лошади эти выѣзжены подѣ верхъ весьма удовлетворительно».

Или:

*Особенный видъ благотворительности.* Изъ Окова пишутъ: «Недавно цвѣтъ нашего аристократическаго общества лавалъ съ благотворительною цѣлью любительскій спек-

такъ. При этомъ способъ привлеченія публики былъ избранъ хотя и не новый, но весьма оригинальный: билеты навязывались обывателямъ подъ угрозой мести; сказываютъ даже, будто нѣкоторые извозчики получили по нѣскольку билетовъ и были въ большомъ затрудненіи, въ какихъ костюмахъ явиться на драматическій фестиваль. Однимъ словомъ, явился новый, неожиданный налогъ».

Нельзя, конечно, сказать, чтобы замѣтки эти были очень ядовиты или глубоко захватывали наши провинціальныя немощи, тѣмъ не менѣе и онѣ, несмотря на свою невинность, производятъ дѣйствіе довольно существенное. Видя себя застигнутымъ, ненавистникъ нѣкоторое время смотритъ евершеннымъ именинникомъ. Онъ чаще обыкновеннаго появляется въ публику и, хотя старается игнорировать о поднесенномъ сюрпризѣ, но въ то же время озирается и ищетъ. Онъ перебираетъ въ умѣ своемъ личности, которыхъ можно заподозрѣть въ знаніи ортографіи и знаковъ пренипаниа; онъ подслушиваетъ, подсматриваетъ, подсылаетъ; онъ то нападаетъ на слѣдъ, то теряетъ его. Конечно, ежели виновникъ обнаружится, то онъ, въ свою очередь, не останется безъ сюрпризовъ весьма существенныхъ; тѣмъ не менѣе можно поручиться навѣрное, что кавалькады уже не повторятся, и что аристократкамъ города Окова уже не придется щегольнуть передъ извозчиками богатствомъ блонды и кружевъ. Что-жь, и это результатъ хоть куда! По крайней мѣрѣ извозчики за насъ, бѣдныхъ антераторовъ-обывателей, Богу помолятъ!

Но ежели таковъ результатъ обличеній мелкихъ и случайныхъ, то можно себя вообразить, во сколько кратъ онъ былъ бы дѣйствительнѣе, если-бъ эти обличенія повторялись почаще (этакъ черезъ день по ложкѣ), или—что гораздо важнѣе—если-бъ эти обличенія затрогивали самый строй провинціального быта и выводили наружу тѣ немислимыя ни въ какомъ цивилизованномъ обществѣ творенія, въ которыхъ мы путаемся на каждомъ шагу.

#### Письмо четвертое.

Въ прошломъ письмѣ было мимоходомъ упомянуто, что историографы наши снабжены бѣлыми и острыми зубами, которыми они ловко врѣзываются въ ненавистныхъ ихъ субъектовъ. Считаю великимъ подтвердять этотъ фактъ

и даже остановиться на немъ, такъ какъ чрезмѣрное развитіе плотоядныхъ инстинктовъ можетъ наконецъ привести къ совершенному обезлюденію нашихъ провинцій и превратить ихъ въ пустынные пастбища, на которыхъ будутъ пастись лишь ожирѣвшіе фофаны, стрегомые бдительными историографами.

Въ провинціи до сихъ поръ пользуется большимъ авторитетомъ то совершенно неосновательное мнѣніе, въ силу котораго могущество и величіе общества зиждутся исключительно на фофанахъ. Чѣмъ гуще въ извѣстной мѣстности фофанское пасажденіе, — говоритъ это диковинное ученіе, — тѣмъ та мѣстность счастливѣе, тѣмъ болѣе представляется залогомъ для обезпеченія будущаго благоденствія страны...

Основанія, изъ которыхъ вышло подобное убѣжденіе, понять довольно трудно; тѣмъ не менѣе можно догадываться, что главную роль тутъ играетъ едва ли не пресловутое фофанское смиренство. Предполагается, что человѣкъ, который вообще не имѣетъ наклонности къ мысленію, не можетъ мыслить худо; что человѣкъ, который ничего не дѣлаетъ, или же съ утра до вечера хлопаетъ себя по ляжкамъ, не можетъ дѣлать худа; что человѣкъ, который аккуратно каждый день напивается пьянъ, спитъ глубже, нежели человѣкъ, который пьянъ не напивается, а слѣдовательно не только противообщественныхъ, но и никакихъ снова видѣть не можетъ. Отсюда умозаключаютъ, что жить съ фофанами невпримѣръ удобнѣе, и это заставляетъ многихъ смотрѣть на фофановъ, какъ на какую-то каменную стѣну, подъ защитой которой можно радѣть и ревновать на всей своей волѣ.

Съ другой стороны, если человѣкъ имѣетъ видъ незаспаннй и не сонитъ, то весьма естественно, что къ нему нельзя подойти съ тою бойкостью и развязностью, съ какой подходятъ къ мертвому тѣлу. Нельзя поставить его въ уголь носомъ, чтобы онъ этого не слышалъ, нельзя ушибить, чтобы онъ этого не почувствовалъ, нельзя замазать ротъ скверностью, чтобы онъ этимъ не стѣснился. То-есть, коли хотите, все это сдѣлать можно, но насъ приводитъ въ негодованіе уже одно то, что вотъ человѣка пришибаютъ, а онъ еще, каналья, стѣснился!

Но этого мало; не все же ушибать и замазывать рты; иногда необходимость заставляетъ побесѣдовать, посовѣтоваться и вообще поразмыслить. Какъ бы мы ни старались

избѣгать преткновеній, требующихъ работы мозгового вещества, но жизнь съ замѣчательнымъ упорствомъ становится ихъ передъ нами и дѣлаетъ умственный трудъ неизбѣжнымъ даже для самаго легкомысленнаго изъ исторіографовъ. Вотъ тутъ-то, среди этихъ преткновеній, собственно и познается, что разница между фофаномъ и человѣкомъ несопящимъ существуетъ несомнѣнная и притомъ весьма ощутительная.

Исторіографъ, съ внутренней стороны, очень мало чѣмъ отличается отъ фофана: онъ такъ же невѣжественъ, такъ же мало развитъ, нравственныя его убѣжденія и правила почерпнуты изъ того же классическаго источника, то-есть изъ романовъ Поль-де-Кока. Ихъ взаимное различіе чисто внѣшнее и заключается единственно въ томъ, что исторіографъ можетъ распорядиться дѣлательно, а фофанъ имѣетъ право распорядиться лишь исполнительно. Слѣдовательно, если исторіографъ обращаетъ свое слово къ фофану, то онъ заранее увѣренъ, что слово это будетъ по инстинкту понято и принято безъ возраженій; мало того, онъ увѣренъ даже, что фофану непременно покажется, что у него, исторіографа, вылетаютъ изъ устъ совсѣмъ не тѣ глупыя и пошлыя слова, которыя вылетаютъ на самомъ дѣлѣ, а огненные языки. Совсѣмъ другимъ характеромъ отличается слово, обращенное къ человѣку незаспанному и несопящему. Къ великой досадѣ исторіографовъ, этотъ послѣдній имѣетъ неудобную привычку усвоивать себѣ то, что ему говорятъ, и потому на вѣру ничего понимать не умѣетъ. Такъ, напримеръ: если ему говорятъ: «*mais ça ne se fait pas ainsi!*», то онъ, стремясь уяснить себѣ, что именно не *se fait pas ainsi*, непременно объ этомъ спроситъ, и когда получить объясненіе: «*mais c'est impossible!*», то, пожалуй, и опять спроситъ.

Надо думать, что это дѣлается само собой, безъ всякаго дурного умысла. Человѣкъ незаспанный не только самъ желаетъ понять, что ему говорятъ, но хочетъ, чтобы и говорящій былъ не совсѣмъ чуждъ этому пониманію. Исторіографъ, объясняющій свои намѣренія и предначертанія—вѣдь это такое любопытное существо, что самое обыкновенное чувство человѣколюбія предписываетъ употребить все мѣры, дабы развить его, по крайней мѣрѣ, въ той степени, чтобы онъ позналъ самого себя. Спрашивается: гдѣ тутъ злокозненность? Согласитесь, читатель, что если мы предложимъ даже самое дурное, если мы посмотримъ на

это дѣло даже съ предупрежденіемъ, то и тутъ врядъ ли отыщемъ что-нибудь иное, кромѣ неопытности. Мы охотно допускаемъ, что піонеръ, какъ и всякій другой человѣкъ, пускаясь въ опасное плаваніе между подводными камнями, носящими названіе исторіографовъ, обязанъ заранее подготовиться къ этому подвигу; что онъ прежде всего долженъ основательно изучить Поль-де-Кока и прочихъ классиковъ, потому выслушать курсъ наукъ въ заведеніи минеральныхъ водъ и затѣмъ уже, пришибивъ себѣ слегка голову, явиться въ міръ кормчимъ добрымъ и благонадежнымъ. Если онъ не исполнилъ этого—онъ виловатъ; но именно потому-то, что тутъ есть вина безспорная и несомнѣнная, самая простая справедливость требуетъ, чтобы вопросъ былъ ограниченъ его естественными предѣлами, а не усложнялся обвиненіями въ неблагонамѣренности. Затѣмъ прибѣгать къ уголовницѣ, когда преступленіе подходит къ категоріи дѣяній, вызывающихъ лишь дисциплинарное взысканіе? Не понимаетъ человѣкъ—надо его вразумить; а если вразумлять некогда—надо напомнить кратко, что пониманіе вредно, и указать, для лучшей видимости, на фофановъ, которые никогда ничего не понимаютъ, но живутъ.

Оказывается однако-жъ, что подобное ограниченіе вопроса не такъ легко, какъ можно было бы ожидать съ перваго взгляда; оказывается, что наивная піонерская пылливость до такой степени сразу огорошиваетъ исторіографа, что всякіе компромиссы дѣлаются невозможными. Его поражаетъ безконечно, что слова его не только не кажутся вылетающими изъ устъ въ видѣ огненныхъ языковъ, но даже принимаются съ нѣкоторою недоувѣрчивостью относительно смысла, въ нихъ содержащагося. Ему кажется это предумышленнымъ притворствомъ. Онъ пробуетъ прибѣгнуть къ разъясненіямъ, но каждое новое толкованіе приводитъ за собою новую путаницу, а вмѣстѣ съ тѣмъ и новый поводъ кипятиться и негодовать. Раздраженное воображеніе начинаетъ рисовать разнообразнѣшія картины, въ которыхъ по одну сторону стоятъ фофаны, все понимающіе и все исполняющіе, а по другую—піонеры, ничего не понимающіе и всему противодѣйствующіе. Разгоряченный непрощенною пылкостью, исторіографъ забываетъ даже свое знаменитое «*parlez moi de ça!*» и сразу озадачиваетъ своего собесѣдника восклицаніемъ: «а позвольте вамъ, милостивый государь, попросить быть осторожнѣе въ

важных выраженіях!» И такимъ образомъ тайна словъ: «mais ça ne se fait pas ainsi!» остается неразъясненною и нерѣдко даже уносится историографомъ въ могилу.

И вотъ начинается странный походъ за непониманіе «parlez moi de ça». Поднимается генеральная пальба; въ воздухѣ пахнутъ допосомъ; на небѣ собираются тучи, изъ которыхъ, подобно молніямъ, изрыгаются извѣщенія. Внизу стоятъ фофаны, выдаютъ вверхъ шапки и кричатъ: «ви-вать!» Близорукъ и легкомысленно самопадьблять будетъ тотъ, кто не пойметъ этихъ предназначеній и не поспѣшитъ во-время уложить свой багажъ!

Ни клевета, ни ложь, ни даже свой собственный срамъ не останавливаютъ историографа въ борьбѣ съ человекомъ, который не умѣетъ понять сразу значенія «mais c'est impossible». Не имѣя иныхъ желаній и помысловъ, кромѣ стремленія безпрепятственно расправлять локти, историографъ тѣмъ съ большою яростью нападаетъ на ненавистнаго ему субъекта, чѣмъ болѣе встрѣчаетъ въ немъ сознанія права и законности, чѣмъ болѣе усматриваетъ въ немъ сомнѣній относительно необходимости и полезности безграничной игры локтями. Законность — это тотъ многоглавый Минотавръ, съ которымъ сей новый Тезей искони ведетъ неустанную борьбу и ведетъ далеко не безуспѣшно...

Конечно, нельзя не сознаться, что въ безпрепятственности отношеній имѣется немалая доля привлекательности, и что этимъ весьма достаточно объясняется ненависть къ тѣмъ людямъ, которые не скоро поворачиваются и не идутъ навстрѣчу ушибаніямъ; но не слѣдуетъ забывать и того, что привлекательность эта чисто личная, и что для дѣла собственно тутъ пользы ни въ какомъ смыслѣ не предвидится. Мы желаемъ расправлять наши локти на всей своей волѣ — нѣтъ ничего пріятнѣе; но подумаемъ однако, не рискуемъ ли мы при этомъ, что намъ, въ конечномъ результатѣ, придется расправлять эти локти въ пустотѣ, что намъ некого будетъ современемъ даже задѣвать ими?

Взглянемъ ближе на эту странную теорію, въ силу которой благополучіе общества ставится въ зависимость отъ размноженія фофановъ, — мы убѣдимся, что выгода, представляемая покладистостью и смиренствомъ фофановъ, есть та кажущаяся выгода, которая на дѣлѣ сейчасъ же сводится къ нулю. Прежде всего, передъ нами обнаружится совершенная неспособность фофановъ къ какой бы то ни было производительности, исключая уваживанія

полей; потомъ обнаружится, что, при всей неспособности и непроизводительности, фофаны въ высокой степени прожорливы и не прочь погулять въ золотканыхъ одеждахъ, что обходится странѣ довольно дорого; наконецъ обнаружится, что, несмотря на смиренность и послушность, ихъ исполнительныя качества не стоятъ ломанаго гроша, ибо, даже въ этомъ смыслѣ, они могутъ только шарахаться изъ стороны въ сторону, убивать, ушибать, а не исполнять. А потому, если мы захотимъ представить себѣ среду, исключительно составленную изъ фофановъ, съ полнымъ устраненіемъ какихъ бы то ни было живыхъ элементовъ (чего именно и вождѣлютъ столь пламенно нѣкоторые историографы), то въ самомъ ближайшемъ будущемъ убѣдимся, что подобная среда не только не изображаетъ пресловутой каменной стѣны, но представляетъ несомнѣннѣйшую пустоту, въ которой одиноко бѣшуютъ историографы.

Позволительно усомниться въ назидательности подобнаго зрѣлища, хотя и нельзя отказать ему въ нѣкоторой грандіозности. Опытъ съ достаточною убѣдительною доказываетъ, что успѣхъ какой бы то ни было страны находится въ зависимости совѣмъ не отъ страдательнаго и безсмысленнаго присутствованія въ ея исторіи фофановъ, а отъ дѣятельнаго участія въ ней живыхъ и сознательныхъ силъ. Истина эта стара, какъ міръ, и только одни историографы до сихъ поръ остаются ей чуждыми. Какъ ни вредны науки, но совершенно упразднить ихъ нельзя, потому что

Науки юношей питаютъ,  
Отраду старцамъ подаютъ...

и слѣдовательно позволяютъ и тѣмъ и другимъ проводить время безъ ущерба для благочинія. Какъ ни неумѣстною кажется сознательность, но безъ нея обойтись невозможно, потому что только то дѣло прочно, которое дѣлается съ сознаниемъ. Метайте, сколько угодно, изъ края въ край, устрашайте, угрожайте, огушайте, преслѣдуйте систематически всякое помысловеніе на обладаніе мыслью и убѣжденіемъ, — вы не получите въ результатѣ даже того смрепства, котораго такъ страстно добиваетесь, а будете имѣть только мертвенность.

Предположимъ, въ самомъ дѣлѣ, что какой-нибудь остервенившійся историографъ второй или третьей руки все совершилъ, что совершить ему надлежало, то-есть: нигилистовъ истребилъ, коммунистовъ разорилъ, демократовъ разгромилъ,



науку упразднить, а Поль-де-Кока водворить; что онъ, весь потный отъ трудовъ смертнаго боя, почилъ наконецъ на лаврахъ, и лицо его сіяетъ удивленною глупостью. Онъ сидитъ, окруженный своими Шерами, Анатолями, Жоржами, Симономъ и прочими бонвиванами польдекоковскаго закала; сидитъ и ведетъ благодушную бесѣду о томъ, какъ отвратительно жить въ Россіи, какъ развратенъ русскій народъ, и какъ должно быть теперь привольно тамъ, въ Петербургѣ, на минералкахъ, подъ крылышкомъ у И. И. Излера...

— Je suis solide au poste,  
Car j'ai un fier temperament!

испускаетъ исторіографъ-побѣдитель, подражая несравненной M-lle Lafourcade.

Приносится мадера, являются исторіографскія жены, исторіографскія помпадурши, исторіографскіе прихвостни и прихвостницы и присутствіемъ своимъ усугубляютъ блескъ торжества.

Таковы первые плоды побѣды. Исторіографы счастливы безконечно.

— Je m'en fiche, contrefiche...—

раздается изъ края въ край, съ такимъ мастерствомъ исполненія, что даже станомы—и тѣ вдали канканируютъ.

Но не забудемъ, что за первыми плодами всегда слѣдуютъ вторые. Пикантные разговоры имѣютъ ту слабую сторону, что не представляютъ никакого разнообразія, и потому немедленно изсыкаютъ. Да и атмосфера въ провинціи какъ-то слишкомъ густа для канкана. Вольно и естественно танцуются этотъ танецъ только на минералкахъ; мы же, провинціалы, слишкомъ тяжелы на подъемъ, слишкомъ стѣснены окружающими символными мужиками, чтобъ имѣть возможность поднимать ноги до надлежащаго уровня. Такимъ образомъ неожиданно-негаданно наступаетъ время для плодовъ иного рода, и плоды эти оказываются уже далеко не столь сочными и пріятными, какъ плоды пумера перваго.

Возникаютъ преткновенія, требующія непремѣнной и безотлагательной работы мозговъ; возбуждаются вопросы, тоже безъ участія мозговъ отнюдь не разрешимые; среда символныхъ даетъ себя чувствовать все стѣснительнѣе и стѣснительнѣе. Въ какую сторону ни обернется исторіографъ—вездѣ видитъ препятствіе, вездѣ чуетъ сердцемъ противо-

дѣйствіе. Давно ли, казалось, онъ разорилъ нигилистовъ и истребилъ коммунистовъ, а противодѣйствіе не только не унимается, но угрожаетъ принять невеселые размѣры. Окажется на повѣрку, что исторіографъ понимаетъ подъ противодѣйствіемъ все то, что имѣетъ ненавистное свойство заставлять его двигать мозгами.

— Что дѣлать? какъ поступить?—мечется онъ отъ Симона къ Пьеру, отъ Анатоля къ Жоржу.

Увы! Симонъ только сосетъ палецъ въ отвѣтъ. Пьеръ молчитъ, потому что продолжаетъ страдать собачьею старостью; Анатоль хотя и стоитъ la loi à la main, но и въ этомъ трогательномъ положеніи усматриваетъ только фигу; что касается до Жоржа, то онъ, какъ малый скоропалительный, предлагаетъ перепоротъ всѣхъ до единого, не взирая даже на особъ.

— Mais ce n'est pas pratique, mon cher, ce que vous proposez là!—восклицаетъ въ отчаяніи исторіографъ-побѣдитель и, съ угрызеніемъ впервые проснувшейся совѣсти, вспоминаетъ о разоренныхъ имъ коммунистахъ, которые въ данномъ случаѣ все-таки могли бы подать полезный совѣтъ и, пожалуй, даже оградить его отъ ожидаемыхъ въ будущемъ головомокъ.

— Господи! да вѣдь это дураки!—въ первый разъ въ жизни дѣлаетъ онъ остроумное и притомъ несомнѣнно правдивое опредѣленіе окружающихъ его бонвивановъ.

Въ первый разъ онъ раскаивается; въ первый разъ онъ чувствуетъ, какъ несостоятельна и даже опасна теорія безпрепятственной игры локтями.

Читатели не радуясь слишкомъ скоро этому вынужденному обращенію исторіографа къ чувствамъ болѣе или менѣе человѣческимъ, помни твердо, что онъ самъ малый со взломомъ, что для него самого всякое явленіе, заставляющее шевелить мозгами, есть явленіе противное, которое во что бы то ни стало слѣдуетъ исторгнуть вонъ съ корнемъ.

А такъ какъ явленій этихъ много, и дѣло вырванія корней—дѣло не легкое, то исторіографъ, не находя ни въ себѣ, ни въ своихъ согражданикахъ никакихъ мало-мальски практическихъ указаній, дѣлается на время угрюмъ и задумчивъ. Онъ ищетъ глазами, не найдется ли гдѣ какого-нибудь завалющаго пионера, котораго онъ позабылъ второпяхъ разорить; но оказывается, что таковыхъ не обрѣтается. Вездѣ тишь да гладь да Божья благодать, вездѣ

усмтвенная нищета и изнурительное нравственное убожество; вездѣ погромъ, вездѣ безсміе... Вдали пасутся откормленные фофаны, стрегомые сосущимъ палецъ Симономъ и подстегиваемые, для порядка, скоропалительнымъ Жоржемъ.

— Чѣмъ-то сегодня насъ будутъ кормить: бардой или жмыхами?—гливно урчатъ фофаны.

Сердце исторіографа сжимается.

— Хотѣ бы молчали, подлецы!—ворчитъ онъ, досадливо закусывая усы.

И вотъ онъ прибѣгаетъ къ средству самому простому и вѣстѣ съ тѣмъ очень рѣшительному. Не находя возможности овладѣть жизнью съ помощью собственныхъ средствъ, онъ воздвигаетъ укрѣпленія за укрѣпленіями, окопы за окопами, и уводитъ туда за собой своихъ сотрапезниковъ. «Ужъ тамъ-то,—думаетъ онъ:—не найдетъ меня никто, и я могу свободно показывать носъ всевозможнымъ вопросамъ!»

Не думайте однако-жъ, чтобъ это были укрѣпленія настоящія, выстроенныя изъ гранита, кирпича и т. п. Нѣтъ, это укрѣпленія бросовыя, пнаскоро слѣпленные изъ такихъ же бросовыхъ и давно повсюду признаанныхъ негодными матеріаловъ. Тутъ есть и наслѣе, и самоуправство, и безответственность поступковъ, и безцеремонное отношеніе къ человеческой личности. И весь этотъ хламъ, весь этотъ бракъ кое-какъ слѣплены собственными силами исторіографовъ.

Оградивши себя и присныхъ своихъ этими нелѣпыми твердынями, исторіографъ мнитъ, что безсрочно окопался отъ всевозможныхъ запросовъ, и что въ крайнемъ случаѣ онъ будетъ имѣть возможность сокрушить безпокойныхъ и противляющихся посредствомъ пальбы.

И дѣйствительно, первое время въ этомъ укрѣпленномъ лагерѣ живетъ отлично. Поощренный кажушеюся безопасностью, исторіографъ не только не остепеняется, но съ каждымъ днемъ все больше и больше предается нагубнымъ страстямъ. Мало-по-малу онъ упрощаетъ свои приемы до того, что только фыркаетъ, брыкается и ржетъ.

Все это хорошо; все это такъ, какъ и быть надлежитъ, но, говоря откровенно, какъ-то плохо вѣрится въ силу возводимыхъ исторіографами укрѣпленій. Вообще мы, русскіе, никогда не отличались особенною смѣтливостью по части сооруженія твердынь. Оттого-ли, что наши инженеры недостаточно сообразительны, или отъ иной какой-либо причины. Но какъ-то всегда оказывается: или что укрѣпленія

выстраиваются совсѣмъ не тамъ, гдѣ слѣдуетъ, или же что подѣ видомъ укрѣпленій воздвигаются дрянные карточные домики. А потому, когда намъ приходится палить, то мы либо палимъ по своимъ, либо убѣждаемся, что безъ пороху палить невозможно. Было время (ужъ памятно же оно намъ!—да и гдѣ наконецъ тѣ времена, которыя были бы намъ не памяты!), когда мы укрѣплялись и окапывались съ особеннымъ рвеніемъ, когда мы думали даже, что вотъ-вотъ окопаемся отъ дѣлага міра—и что же?—въ ту самую минуту, когда мы мечтали, что дѣло окапыванія наконецъ завершилось, когда мы уже простирали руки, чтобы плотно-на-плотно закупорить себя какъ въ бутылкѣ... въ эту самую минуту оказалось, что инженеры наши по всей линіи сплеховали!

Это было зрѣлище потрясающее и въ то же время вполне поучительное. Сколько рухнуло разомъ надеждъ, сколько вырвалось криковъ изумленія! Мы до сихъ поръ не можемъ забыть изумленія одного учителя географіи, который до того понадѣялся на прочность твердынь, что даже въ учебникѣ своемъ написалъ: «Россія есть бутылка, со всѣхъ сторонъ осмотрительно и благонадежно закупоренная»—и вдругъ долженъ былъ сознаться, во-первыхъ, что Россія совсѣмъ не бутылка, и, во-вторыхъ, что она закупорена очень неплотно, хотя денегъ на закупку пошло съ три пропаста. Припоминается намъ много и другихъ изумленій, отчаяній и воплей, раздавшихся по поводу незакупоренности нашего отечества, и, сознаемся откровенно, съ тѣхъ поръ нами овладѣло сомнѣніе.

Вотъ, думаемъ мы, уничтожены шлагбаумы—и сердце Россіи не дрогнуло; упразднилось крѣпостное право—и помѣщики возвеселились сугубо; еданъ въ архивъ откупъ—и кабаки приумножились; наложена печать молчанія на суды земскіе, на суды уѣздные—и злодѣи не только не восторжествовали, но вострепстали пуще прежняго! А вѣдь какія были твердыни, и какого переполоха надлежало ожидать отъ ихъ паденія! И ничего! не только ничего, а какъ будто бы этихъ твердынь совсѣмъ не бывало! Фактъ этотъ до такой степени поразителенъ, что мы полагаемъ, что если будетъ признано излишнимъ упразднить казенныя палаты и особыя о земскихъ повинностяхъ присутствія, то и тогда не послѣдуетъ ни потоба, ни труса, то и этой невзгодѣ Россія подчинится съ благоразуміемъ и готовностью, достойными похвалы.

Сверхъ того, исторія всѣхъ временъ и народовъ доказываетъ довольно убѣдительно, что обиліе укрѣпленій всегда порождаетъ извѣстную долю подозрительности, и именно въ тѣ самыя минуты, когда подозрительность всего менѣе желательна. Теченіе жизни самое скромное можетъ набонецъ замѣтить, что противъ него умышляется что-то недоброе, и замѣтитъ это тѣмъ скорѣе, тѣмъ чаще напоминаютъ о томъ фальшивыми тревогами и искусственными страхами. Въ ту самую минуту, когда мы всего менѣе о томъ думаемъ, вдругъ съ поразительною ясностью выдвигается впередъ вопросъ: «за что-жь ты дерешься?» и, постепенно овладевая мыслями обывателя, становится въ упоръ всеѣмъ насущнымъ потребностямъ дня. И вотъ обыватель становится назойливъ и отчасти нахаленъ; хотя онъ еще не протестуетъ противъ оплеухъ, но уже хочетъ уяснить себѣ это явленіе, хочетъ дойти до сознанія, въ какихъ случаяхъ плюха съ обстоятельствами дѣла согласна и въ какихъ—нѣтъ. Казалось бы, что тутъ-то именно и ждать отъ твердынь всякой благодати, что вотъ тутъ-то онѣ и дадутъ отпоръ непрошеной обывательской любознательности, а выйдутъ совсѣмъ напротивъ: выходить, что въ этихъ-то случаяхъ и проявляется во всемъ блескѣ сугубая ихъ несостоятельность.

Во-первыхъ, вопросъ: «за что ты дерешься?» принадлежитъ къ тѣмъ изумительно яснымъ вопросамъ, которые въ самое короткое время приобрѣтаютъ неимоверное количество прозелитовъ. Во-вторыхъ, не слѣдуетъ упускать изъ вида, что въ подобныхъ обстоятельствахъ всегда немаловажную роль играетъ измѣна. Она незамѣтно проползаетъ въ самое сердце твердынь и ядомъ своимъ растлѣваетъ сердце самихъ палителей. Всѣ эти Жоржи, Пьеры, Анатолы и сосущіе палець Симоны оказываются далеко не столь благонадежными и твердыми въ вѣрѣ, какъ это предполагается. Какъ ни запирайте ихъ на замокъ, какъ ни ограждайте отъ соблазна, соблазнъ достигнетъ ихъ неизбежно. И вотъ возникаетъ свара и галдѣніе въ самомъ святилищѣ бонвивановъ; зарождается и растетъ мысль о предательствѣ; число дезертировъ съ каждымъ днемъ увеличивается; костюмъ ренегата становится *très élégant et très porté...* Въ одно прекрасное утро бонвиваны, подъ предводительствомъ Жоржа, съ распущенными знаменами и подъ звуки пѣсни:

A Provins, trou-la-la-lal!

выходятъ изъ укрѣпленнаго лагеря, и вслѣдъ за тѣмъ пресловутыя твердыни мгновенно покрываются паутиной и разрастаются репейникомъ.

Тѣмъ не менѣе, въ отношеніи къ нашимъ исторіографамъ, доводы самые убѣдительныя оказываются бесполезными, потому что они влекутся къ укрѣпленіямъ даже не по своей волѣ, а фаталстически.

Поговорите съ любымъ изъ губернскихъ исторіографовъ—что вы услышите отъ него?—вы услышите жалобы на то, что его положеніе недостаточно твердо; вы услышите назойливыя домогательства объ укрѣпленіи этого положенія; вы услышите нахальныя угрозы, что вселенная разрушится, если въ самомъ непродолжительномъ времени не будутъ приняты дѣйствительныя и энергическія по сему предмету мѣры! Въ виду этихъ суровыхъ сѣтованій и предсказаній, вы вглядываетесь и прислушиваетесь кругомъ и, къ удивленію, не видите ни одного движенія, не слышите ни одного звука, которые хотя въ самомалѣйшей степени давали бы поводъ для столь трагическихъ опасеній. Вы обращаете ваши взоры на исторіографа—и видите, что у него, сверхъ того, виситъ цѣлый кочанъ стрѣлъ за спиною, и руки вооружены увѣсистыми булыжниками. Стало-быть, есть тѣмъ и отпоръ дать. «Господи! да рожна, что ли, ему надобно?»—невольное спрашиваете вы себя.

Не удивляйтесь этому тоскливому голошенію; мы, коренные обитатели губернскихъ палестинъ, можемъ разъяснить вамъ это явленіе очень просто. Все дѣло въ томъ, что насъ, провинціальныхъ исторіографовъ, съ одной стороны удручаетъ весьма замѣчательная умственная неразвитость, а съ другой стороны не менѣе притѣсняетъ изнуренное преждевременнымъ чтеніемъ Поль-де-Кока воображеніе.

По Поль-де-Коку, жизнь человѣческая представляется въ видѣ цвѣтущей долины, и теченіе ея обусловливается самыми несложными мотивами. Обыкновенно какой-нибудь Альфредъ, ремесломъ, по-французски, бонвиванъ, а по-русски—шалопай, шатается по бѣлу свѣту, не держа въ головѣ никакой другой мысли, кромѣ мысли о повсемѣстномъ распространеніи ученія о бездѣлицѣ. И вотъ ему сначала встрѣчается Армансъ, потомъ встрѣчается Бланшь, потомъ Жюстинъ и множество другихъ ревностныхъ послѣдователей этого ученія. Онъ смакуетъ, порхаетъ съ цвѣтка на цвѣтокъ и съ каждой поочередно разыгрываетъ водовиль

на тему: dansons, buvons... et chantons! Наконецъ, однако, онъ пропивается до глѣ и къ довершенію всего занемогаетъ истощеніемъ силъ. Очевидно, ему надлежитъ пронасть; но Поль-де-Кокъ слишкомъ добродушенъ, чтобы допустить столь справедливую, но печальную развязку. И дѣйствительно, въ самую отчаянную минуту у изголовья Альфреда является хорошенькій мальчикъ, который своимъ старательнымъ уходомъ оказываетъ благотворное влияние на возобновленіе истощенныхъ силъ шалопаю. Послѣ довольно продолжительнаго любовнаго бездѣйствія, Альфредъ приходитъ въ себя, прикасается дрожащими руками къ хорошенькому мальчику и тутъ же начинаетъ чувствовать, какъ возвращаются къ нему способности селезня. Оказывается, что хорошенькій мальчикъ совсѣмъ не мальчикъ, а скромная, но грѣшная дѣвица Клемансъ, которая давно любила Альфреда и съ тайною грустью слѣдила за его истощающими здоровьемъ похождениями.

Вотъ и все. Незамысловато, но зато общедоступно и усноконтельно въ томъ отношеніи, что указываетъ въ перспективѣ легкую поправку распутства, въ лицѣ дѣвицы Клемансъ. Легко себѣ представить, какъ дѣйствуетъ такое чтеніе на человѣка, который былъ основательно подготовленъ къ нему домашнимъ подобнаго же рода воспитаніемъ. Во-первыхъ, онъ получаетъ убѣжденіе, что жизнь есть не что иное, какъ торжество бездѣяны; во-вторыхъ, онъ проникается мыслью, что для Альфредовъ ни въ чемъ не можетъ быть ни препонъ, ни отказа; въ-третьихъ, онъ приобретаетъ непреодолимое влеченіе къ легкому труду; въ-четвертыхъ, онъ окончательно растлѣваетъ и тотъ небольшой обрывокъ умственныхъ силъ, который составлялъ все паличное духовное богатство его. Вообразите же себѣ этого человѣка при первомъ столкновеніи съ дѣйствительною, а не шутовскою жизнью! Вообразите себѣ его въ ту минуту, когда въ головѣ его впервые зарождается подозрѣніе, что мѣръ населенъ не Клемансами и Юстиннами, а чѣмъ-то инымъ? Какъ долженъ онъ отнестись къ указаніямъ, требованіямъ и противорѣчіямъ жизни?

Очевидно, что сначала онъ отнесется къ этимъ невзгодамъ довольно легко. Онъ, подобно бабочкѣ, будетъ перелетать съ одного цвѣтка на другой, подобно наемной блудницѣ, будетъ расточать всякому встрѣчному поцѣлуи. Но вотъ наступаетъ періодъ истощенія; всѣ цвѣты перепробованы, всѣ поцѣлуи расцѣлованы, а невзгоды не унимаются,

переховатости нимало не сглаживаются. «Клемансъ! гдѣ ты?»—воскликаетъ онъ въ изнуреніи; но—увы!—Клемансъ не является на выручку, потому что она солгала классиками, въ дѣйствительности же ея нѣтъ и не бывало...

Увы! какъ бы хозяйственно ни устроились историографы въ своемъ укрѣпленномъ лагерѣ, положеніе ихъ не сдѣлается отъ этого ни менѣе уединеннымъ, ни менѣе безпомощнымъ. Человѣческая природа слишкомъ сложна, чтобы въ продолженіе неопредѣленнаго времени довольствоваться одною и тою же гнилою пищею. Какъ ни сладки трактаты о прелестяхъ бонвиванства, но съ теченіемъ времени они прѣдаются даже такимъ необширнымъ умамъ, каковы умы историографовъ. Тутъ, кромѣ неизмѣнности содержанія бесѣды, есть еще неизмѣнность приемовъ и замашекъ, которыми сопровождается бесѣда. Заранѣе известно, какой жести сдѣлаетъ Nicolas, какъ прищуритъ глаза Пьеръ, какъ облизнется Simon. Это становится подъ конецъ до того отвратительнымъ и невыносимымъ, что потребность освѣжить содержаніе жизни становится вопросомъ дня. Предлагаются различные просекты для узнанія историографскаго быта, стучелка замѣняется игрою въ rouge ou noir; но такъ какъ мозги шевелятся лѣниво, то изобрѣтательная способность оказывается ничтожною. Начинается скука, за скукой сплетни, наушничество, шпионство; историографы зѣваютъ, раскалываются и взаимно другъ друга поѣдаютъ.

Таковы конечные результаты торжества историографовъ въ провинціи.

Но все это только личная комедія; могутъ спросить, какъ отъзывается она на дѣлѣ? На этотъ вопросъ можно отвѣтить такъ: въ настоящее время въ провинціи никто ничего не дѣлаетъ. Пионеры дѣлаютъ мало потому, во-первыхъ, что орудія дѣйствія находятся въ ихъ валяніи, а, во-вторыхъ, потому, что дѣятельность ихъ почему-то постигается парализомъ. Историографы совсѣмъ не дѣлаютъ ничего, потому что ихъ назначеніе канцанировать и мѣшать дѣлать другимъ. Какимъ же образомъ идетъ какое бы то ни было дѣло? На это одинъ отвѣтъ: Провидѣніе...

Петербургская журналистика перѣдко въ довольно рѣзкихъ формахъ осуждала убѣжденія такъ-называемыхъ «постепеновцевъ» (къ нимъ всего ближе подходятъ тѣ люди, которыхъ мы разумѣемъ подъ именемъ пионеровъ). Не будемъ входить здѣсь въ разсмотрѣніе сущности этихъ убѣжденій; скажемъ одно: люди этихъ убѣжденій—тѣ самые,

противъ которыхъ въ настоящее время направлены самыя ядовитыя стрѣлы исторіографовъ. Лицо исторіографа немедленно покрывается пурпуромъ при одномъ видѣ постепеновца, и покрывается не безъ основанія, ибо въ постепеновцѣ онъ видитъ человѣка, которому самую судьбу предназначено отнять у него лакомые куски. Насколько основательно это послѣднее предположеніе—мы сказать не можемъ, но знаемъ, что въ немъ заключается весь смыслъ распри. Не та или другая сущность дѣла, не то или другое направленіе его, а именно лакомые куски составляютъ все содержаніе исторіографскихъ наѣздовъ съ ихъ темною свитой вольныхъ доносовъ и извѣщеній. Не жалкое ли это зрѣлище? не жалкіе ли нравы?

### Письмо пятое.

Изъ всего, изложеннаго въ предыдущихъ письмахъ, достаточно явствуетъ, что въ провинціи существуетъ немало препятствій, которыя въ значительной степени затрудняютъ правильное развитіе скромныхъ зачатковъ, положенныхъ въ основу русской жизни въ теченіе послѣдняго десятилѣтія. Препятствія эти, по нашему мнѣнію, заключаются, во-первыхъ, въ трудно объяснимомъ, но тѣмъ не менѣе весьма явственно ощущаемомъ недоброжелательствѣ къ этимъ зачаткамъ со стороны тѣхъ самыхъ лицъ, которыя, по всемъ видимостямъ, должны быть наиболѣе заинтересованы въ ихъ успѣхѣ; во-вторыхъ, въ исконномъ и неисправномъ свойствѣ нашихъ бюрократовъ всякое общее дѣло связывать съ своими личными интересами и повсюду усматривать посягательство на ихъ власть; и, въ-третьихъ, въ крайнемъ невѣжествѣ губернскихъ исторіографовъ, которое фаталистически обрекаетъ ихъ на праздность и заставляетъ прибѣгать къ пререканіямъ и суесловію, какъ къ единственной формѣ, дающей ихъ полусознательнымъ движеніямъ какой-то видъ дѣятельности.

Но, само собою разумѣется, все эти препятствія никакъ не могли бы имѣть той рѣшительной силы, какую они въ дѣйствительности имѣютъ, если бы рядомъ съ ними не существовало нѣчто другое, имѣющее корень въ самомъ складѣ губернской жизни и наносящее ей успѣхамъ ущербъ несравненно болѣе значительный, нежели негнѣное самопожраніе обзавившихся бюрократовъ второй степени.

По несповѣдимой волѣ судьбы, у насъ какъ-то всегда такъ случается, что никакое порядочное намѣреніе, никакая здоровая мысль не могутъ удержаться долгое время на первоначальной своей высотѣ. Намѣреніе находится еще въ зародышѣ, какъ уже къ нему со всѣхъ сторонъ устремляются разныя неполезныя примѣси и безцеремонно заявляютъ претензію на пользование предполагаемыми плодами его. Не успѣли вы порядкомъ оглядѣться въ новомъ порядкѣ, какъ уже замѣчаете, что въ немъ нѣчто помутилось. Вглядитесь пристальнѣе, и вы убѣдитесь, что тутъ суетится и хлопочетъ цѣлый легионъ разнообразнѣйшихъ чужеродныхъ элементовъ.

Съ этими чужеродными элементами происходитъ довольно странная исторія. Такъ какъ существованіе ихъ лишено всякой самостоятельности и находится въ тѣсной зависимости отъ болѣе или менѣе удовлетворительнаго состоянія тѣхъ предметовъ, которые доставляютъ имъ питаніе, то казалось бы, что самый простой здравый смыслъ требуетъ, чтобы отношенія паразитовъ къ этимъ предметамъ были основаны на строгой расчетливости, и чтобы въ дѣлѣ сосанія чужихъ соковъ была, по крайней мѣрѣ, соблюдаема извѣстная деликатность и экономія. На практикѣ однако-жъ всегда случается совершенно противное. Паразитъ непредусмотрителенъ и ограниченъ по преданію; ему не жалъ расходовать *чужіе* соки, потому что онъ не понимаетъ, что это вмѣстѣ съ тѣмъ и *его* соки. Онъ наѣдается всегда дѣсьта, т. е. до тѣхъ поръ, пока вмѣстить можетъ, потому что мысль о завтрашнемъ днѣ слишкомъ отвлечена, чтобы умѣститься въ его головѣ. Поэтому, если въ жизнь закрадываются чужеродные элементы, то зрѣлище, которое на первыхъ порахъ являетъ ихъ плотоядность, бываетъ понемногу изумительно. Запримѣтивъ въ какомъ бы то ни было общемъ дѣлѣ извѣстнаго рода мякоть, они нападаютъ на нее съ безразсудною прожорливостью саранчи, высасываютъ ее до тла, не сознавая и не предусматривая, что своимъ невосдержаніемъ они не только отнимаютъ у общаго дѣла самыя нужные соки (это-то, пожалуй, было бы имъ на руку!), но въ то же время нисколько не устраиваютъ и своихъ личныхъ маленькихъ дѣлъ.

Чужеродство—это вреднѣйшее наслѣдіе нашего прошлаго. Нельзя сказать, чтобы этотъ элементъ когда бы то ни было заявилъ міру о своей устойчивости, и чтобы вообще прошлое оправдывало необычайную живучесть его: напротивъ

того, онъ постоянно показывалъ себя до того разсыпчатымъ, рыхлымъ и неразсудительно-жаднымъ, что даже не сумѣлъ выработать самаго простого понятія, безъ котораго не можетъ существовать ничто сколько-нибудь претендующее на живучесть, — понятія о дисциплинѣ. Но есть у него своего рода драгоценное качество, замѣняющее и устойчивость, и дисциплину — это способность примелькаться, — и вотъ, благодаря этой простой и чисто страдательной способности, чужеядство сдѣлалось въ нашихъ глазахъ какъ будто даже не чужеядствомъ, а очень обыкновенной профессіей, которая не только не оскорбляетъ нашего нравственнаго чувства, но съ которой, напротивъ того, мы находимъ не лишнимъ, при всякомъ удобномъ случаѣ, считаться.

Съ одной стороны — способность примелькиваться, съ другой — способность ко всему привыкать, со всѣмъ сживаться — и вотъ въ итогѣ оказываются чудеса! Нельзя себѣ представить, какихъ неожиданныхъ результатовъ достигало иногда чужеядство при помощи одной мелькательной способности. Взору представлялась какая-то безпутная масса, въ которой незамѣтно было ни дѣйствительнаго порядка, ни обдуманной дисциплины, но которая была сильна единственно своими инстинктами. Проникнуть въ эту массу, застать ее на мѣстѣ преступления, уличить въ чемъ бы то ни было — не представлялось рѣшительно никакой возможности, потому что она съ неимоверной быстротой засасывала всякую шутку и тутъ же безслѣдно хоронила концы въ воду. Виноватыхъ не находилось, не потому, чтобы ихъ не существовало въ натурѣ и чтобы въ толпѣ чувствовалось оскуднѣе въ предателяхъ, а потому просто, что въ самомъ воздухѣ была разлита какая-то таинственная симпатія къ чужеядству и ко всему, что изъ него прорастать могло. Припомнимъ, какую бесплодностью всегда отличались самые грозные походы противъ многообразныхъ злоупотребленій, удручавшихъ русскую жизнь. При первомъ взглядѣ на паразитовъ, казалось: вотъ бросовые, ничтожные люди, которыхъ ничего не значить смять какъ угодно! — а на повѣрку выходило, что эти люди далеко не бросовые, но сильные своимъ аппетитомъ, съ которымъ тѣмъ болѣе надлежало считаться, что онъ замѣнялъ имъ и убѣжденія, и чувство гражданственности, и даже инстинкты касты!

Въ это недавнее время не рѣдкость было встрѣтить цѣ-

лы губерніи, въ которыхъ до такой степени буйствовала сила желудочныхъ страстей, что нельзя было повернуться, чтобы не встрѣтиться лицомъ къ лицу съ разверстымъ жѣвкомъ и щелкающими челюстями. Это были какія-то укрѣпленные преисподнія, въ которыхъ безъ вѣсти пропадали всякій человѣкъ, не обладающій твердыми желудочными убѣжденіями, въ которыхъ буквально совершались злодѣйства, не встрѣчая не только отпора, но даже робкаго протеста. Посылались туда всевозможные ревизоры и соглядатан, иногда даже съ заранѣе принятымъ намѣреніемъ во что бы то ни стало истребить, уничтожить, не оставить камня на камнѣ, но результаты никогда никакихъ не получалось. Все не чуждое дару слова — отъ рожденія было заражено чужеядствомъ; все, имѣющее силу и власть, пожеловлю и одинаково паутовало, глаголю и подкупало. Всѣ члены этой плетоядной массы задыхались подъ игомъ взаимной солидарности, въ основаніи которой лежало не сознаніе, а простой животный инстинктъ. Ревизоры прѣзжали — и сразу упирались въ стѣну, въ которую какъ ни стучи — ни до какого отвѣта не достигались..

Существовали особыя профессіи звѣрства, и въ каждой изъ нихъ допускалась большая или меньшая степень мастерства, въ каждой были свои виртуозы. Кто можетъ повѣрить, чтобы были виртуозы по части устраиванія внезапныхъ смертей? виртуозы по части подкидыванія мертвыхъ тѣлъ? виртуозы по части выдумыванія небывалыхъ преступленій? — а между тѣмъ они существовали достоверно; они пользовались въ обществѣ почетомъ и преимущественно передъ другими избирались членами и старшинами клубовъ. Кто повѣритъ, напримѣръ, чтобы въ губерніи могъ занимать видное мѣсто и виртуозничать человѣкъ, значащійся по всѣмъ документамъ умершимъ? — а между тѣмъ этотъ фактъ у всѣхъ на памяти, да и не одиночный какой-нибудь фактъ, но повторяющійся въ преданіяхъ очень многихъ мѣстностей, съ самыми незначительными вариантами. Кто повѣритъ, чтобы могли существовать такіе общественные кружки, въ которыхъ похвальбы воровствомъ и казнокрадствомъ служили бы единственнымъ содержаніемъ законечныхъ и никогда не надобѣдующихъ бесѣдъ, а между тѣмъ мы всѣ, люди того времени, были свидѣтелями, съ какою безцеремонностью и съ какимъ безсознательнымъ безстыдствомъ велись эти растлѣнные разговоры.

- Когда я былъ командиромъ...—начиналъ одинъ.
- Когда я былъ исправникомъ...—продолжалъ другой.
- Когда я былъ судьей...—перебивалъ третій.

И всякій, наперерывъ, спѣшилъ перешеголять своего сосѣда какою-нибудь матерюю мерзостью, всякій усиливался неопровержимыми фактами доказать, что не кто другой, а именно онъ и есть тотъ самый злодѣй и негодяй, которому мало мѣста на каторгѣ!

Казалось бы, что, въ виду такого рода громкихъ и яркихъ фактовъ, раскрытіе ихъ не должно было представлять особенныхъ затрудненій, но на практикѣ выходило совершенно наоборотъ. Во-первыхъ, изслѣдованіе всегда встрѣчалось въ этомъ случаѣ съ тою солидарностью, о которой говорено выше и сквозь которую тѣмъ труднѣе было пробиться, чѣмъ больше она обладала безсознательностью. Во-вторыхъ, существовало и еще одно обстоятельство, о которомъ излишне будетъ сказать здѣсь нѣсколько словъ.

Дѣло въ томъ, что, на случай излишней любознательности со стороны, у нашихъ губернскихъ виртуозовъ всегда хранились про запасъ извѣстные фортели, которые хотя и не блистали замысловатостью, но тѣмъ не менѣе достигали цѣли почти безъ промаха. Мы и теперь еще можемъ встрѣтить чуть ли не въ каждой губерніи не очень-то древнихъ старожилловъ, которые не прочь поразсказать намъ множество самыхъ характеристическихъ анекдотовъ по этой части. Главными и самыми простыми фортелями противъ излишней любознательности были: наивность, невѣдѣніе и забвеніе.

— А подайте-ка сюда дѣло объ обманномъ сведеніи отставнымъ майоромъ Негодяевымъ рощи, принадлежащей заштатному богословскому монастырю!—взываетъ ревизоръ къ оторопѣвшему канцелярскому стаду, прибавляя мысленно:—ну, теперь-то вы ужъ не отвертитесь отъ меня, крысы прожорливья!

Но крысы таинственно переглядывались между собой и наивно недоумѣвали.

— Дѣло... о сведеніи... рощи?...—произносила съ разстановкою какая-нибудь изъ крысъ побойчѣе.

— Ну, да; дѣло объ обманномъ сведеніи майоромъ Негодяевымъ рощи, принадлежащей заштатному богословскому монастырю!—внятно повторялъ ревизоръ..

— Дѣло...—опять шепчетъ крыса, какъ будто припоминала. Вся фізіономія, весь организмъ этой крысы дышитъ

такимъ наивнымъ удивленіемъ, какъ будто она сейчасъ только на свѣтъ Божій произошла, ничего не знаетъ и даже никакихъ прирожденныхъ идей о «такомъ обманномъ отставномъ майора Негодяева поступкѣ» не имѣетъ.

— Это точно-съ... такое дѣло было-съ!—выручаетъ другая канцелярская крыса:—только оно бывшимъ копистомъ Подгоняйчиковымъ неизвѣстно куда утрачено-съ!

Ревизоръ багровѣлъ, но сдерживался.

— А сдѣлано ли распоряженіе о возобновленіи дѣла?—спрашивалъ онъ.

— Какъ же-съ!—бойко отвѣчала крыса:—надъ самымъ этимъ Подгоняйчиковымъ и слѣдствіе въ то же время наряжено-съ... объ утратѣ, то-есть...

— Ну?

— Только самый этотъ Подгоняйчиковъ вскорѣ послѣ того волею Божіею помре...

Ревизоръ багровѣлъ пуще прежняго; слышалось легкое скрипѣніе зубами.

— Ну, а подайте мнѣ дѣло о расхищеніи тѣмъ же майоромъ Негодяевымъ принадлежащихъ приказу общественаго призрѣнія суммъ!—вопіялъ онъ.

Опять шопотъ, опять недоумѣніе. Вполголоса раздаются восклицанія; «да кого же?»—«што врать-то? нѣшто не помнишь?»—«да вотъ еще Михалъ Михалычъ спрашивалъ!»—«Михалъ Михалычъ справку брали!» и проч., и проч.

— Скоро ли?—топаль въ нетерпѣніи ревизоръ.

— Такое дѣло точно было-съ, только оно въ бывшій пожаръ вмѣстѣ съ прочими сгорѣло!—отвѣчала одна изъ крысъ.

И такимъ образомъ подвигалась впередъ вся ревизія. Одно дѣло сгорѣло, другое пропало, третьяго, какъ ни бились, не нашли, четвертое продано въ кабакъ въ качествѣ оберточной бумаги. И если-бъ еще не было сдѣлано никакихъ по сему предмету распоряженій! о, если-бъ не было но нѣтъ, всѣ распоряженія сдѣланы: о пропажѣ въ ту же минуту назначено слѣдствіе, а о возобновленіи дѣла со всѣми концами Россіи производится переписка.

— Странно!—скрипитъ ревизоръ зубами:—какія же у васъ дѣла есть?

— А вотъ-съ: дѣло о бунтѣ Тришки мордвина противъ предержавшихъ властей; дѣло объ оскорбленіи Васькой чувашениномъ словомъ и дѣйствіемъ капитанъ-исправника; дѣло о пограбленіи черемисиномъ Алешкою съ товарищи мѣдной гонзны... ведутся неупустительно-съ!

Ревизоръ углублялся, разсматривалъ продерзостныя дѣйствія Алешекъ и Васекъ и убѣждался, что дѣйствія эти преслѣдуются вполне неупустительно, что обложки у дѣлъ чистыя и нерванья, и описи при дѣлахъ исправныя. А зло-вредный оный майоръ Негодяевъ, который обманнымъ образомъ въ одну ночь увезъ на подводкахъ цѣлую роту, принадлежавшую заштатному богословскому монастырю, и нѣсколько лѣтъ сряду потихоньку воровалъ казенныя деньги, такъ-таки и выскользнулъ изъ-подъ ревизорскаго скальдезя!

Но этого мало: устраивались цѣлые пожары на случай ревизорской любознательности, и этотъ фактъ былъ однимъ изъ самыхъ оригинальныхъ, хотя и довольно обыденныхъ проявленій нашего чужаидства. У всѣхъ на памяти и всѣмъ вѣдомо, какъ сожигались цѣлые корпуса присутственныхъ мѣстъ, и приносились въ жертву чужаидной мамонѣ необозримыя вероха дѣлъ и бумага—и никто ни о чемъ не смѣлъ проронить слова! Когда же нафэжалъ ревизоръ, то все было гладко и чисто, какъ на ладони. Мало и этого: устраивались даже люди, у которыхъ языкъ говорилъ не въ мѣру. То «говорить» въ тюрьмѣ партійка арестантовъ, въ которой неко времени завелись такъ-называемыя «похвальбишки», то невзначай помнуть бока такъ-называемому «безпокойному», да такъ помнуть, что онъ долго послѣ того и другу и не-другу заказываетъ: «съ сильнымъ не борись!» и вотъ—какъ ни вергится ревизоръ, но нигдѣ ничего не усматриваетъ, кромѣ неуносительнаго веденія дѣлъ объ Алешкахъ-грабителяхъ и Васькахъ-оскорбителяхъ.

Таково-то было это канцелярско-обывательское чужаидство, съ которымъ мы до сихъ поръ ни подъ какимъ видомъ разминуться не можемъ.

— И, батюшка!—не въ рѣдкость слышать и нынче отъ обывателей-старожилковъ:—и языка-то, кажется, не достанетъ, если поразсказать, что въ прежніе годы бывало! Этотъ самый Негодяевъ-майоръ соберетъ, бывало, съ деревни всѣхъ дѣвокъ и бабъ, оголить ихъ какъ есть да и велить мужикамъ тѣхъ бабъ и дѣвокъ сѣкти!

— Что-жъ мужики?

— Что мужики! извѣстно, приказъ исполняютъ! Одинъ, было, этакой выискался, сѣчетъ это свою бабу да и говорить: «неладно ты, майоръ, эка дѣло затѣялъ!» — Что? — взревѣлъ на него майоръ. — «Ничего, говорить, только неладно ты, майоръ, эка дѣло затѣялъ!» А самъ знай бабу

сѣчетъ да сѣчетъ! Только какъ отняли у него эту бабу—глядь, анъ она мертвая! засѣкъ, значить!

— Что-жъ дальше?

— А дальше, значить, этого самаго мужика въ Сибирь за грубость сослали!

Всему этому безпутному, бессознательному и неужному злодѣйству, всѣмъ этимъ подвигамъ тьмы и бессмысленнаго варварства положило безвозвратный конецъ 19-е февраля. Какъ бы ни были обширны наши притязанія къ жизни, мы не можемъ не удивляться великости этого подвига. Разомъ освободить изъ плѣна египетскаго цѣлыя массы людей, разомъ заставить умолкнуть тѣ скорбныя стоны, которые раздавались изъ края въ край по всему лицу Россіи,—такое дѣло способно вдохнуть энтузіазмъ безпредѣльный! Но за работой освобожденія слѣдуетъ работа организаціи, и тутъ-то приходится намъ бороться съ препятствіями еще болѣе дѣйствительными, пожела даже тѣ, съ которыми мы борились во время трудной работы освобожденія.

Въ настоящемъ случаѣ, то-есть относительно реформъ послѣдняго десятилѣтія, чужаиднымъ элементомъ, тормозящимъ правильное ихъ развитіе, является пресловутое наше крѣпостничество, одѣвшееся, въ послѣднее время, въ мантію консерватизма.

Совершенно основательно думаютъ тѣ, которые утверждаютъ, что истина въ концѣ концовъ всегда торжествуетъ, и что, въ согласность этой аксіомѣ, несомнѣнно должно восторжествовать и все то, что исходитъ прямымъ и естественнымъ путемъ изъ дѣла освобожденія. Но не надо забывать, что и противная дѣлу сторона, то-есть чужаидство-крѣпостничество, также не остается въ бездѣйствіи. Оно не только не умерло, какъ это многіе утверждаютъ, но мало-по-малу обрасываетъ съ себя иго распущенности и начинаетъ уже толковать объ организаціи и дисциплинѣ. Имѣя это въ виду, мы не только не должны, но даже не имѣемъ права впадать въ безпечность.

Къ сожалѣнію, мы видимъ на практикѣ очень много такого, что прямо свидѣтельствуетъ о нашей опрометчивости и близорукости въ этомъ смыслѣ. Несмотря на то, что чужаидство доказало свой вредъ путемъ историческимъ, несмотря на то, что мы сами отлично сознаемъ этотъ вредъ и на каждомъ шагу, такъ сказать, осязаемъ его руками, это явленіе, какъ объяснено выше, до того уже примелькалось, что мы считаемъ невозможнымъ обойти его, не



вступивъ съ нимъ въ известнаго рода сдѣлки, и прито въ сдѣлки весьма рѣшительныя и нерѣдко компрометирующія самый смыслъ предпринятаго дѣла.

Задумывая какое-нибудь предпріятіе, мы на первыхъ же порахъ только о томъ и печалимся, какъ бы пристроить къ нему чужездство. Напрасно и совѣсть, и память шепчутъ намъ, что, идя объ руку съ чужездствомъ, мы дошли наконецъ до глухой стѣны; что, благодаря чужездству, гений народный, не развернувшись, уже увядаетъ; какъ будто, испивъ до дна чашу рабства, онъ въ то же время оставилъ въ ней и всѣ свои силы! Мы, конечно, не прочь согласиться съ этими доводами, но вмѣстѣ съ тѣмъ какъ будто такъ мало еще отрезвились, что не въ состояніи даже представить себѣ, какъ можетъ надъ нами такая бѣда стрястись, чтобъ жить намъ по простотѣ и безъ вредныхъ примѣсей. И вотъ мы ломаемъ многострадальныя головы, какинъ бы образомъ такъ ухитриться, чтобы и чужездство было не безъ дѣла, да и намѣренія наши оно вредило какъ можно менѣе...

Результатъ такихъ сдѣлокъ и колебаній очень простой: задача, разрѣшенія которой мы, на первыхъ порахъ, такъ ревностно добивались, постепенно утрачиваетъ свою опредѣлительность и, дѣлаясь добычей всевозможныхъ посягательствъ, проникается другимъ, иногда даже совершенно неожиданнымъ для насъ, смысломъ.

Чтобы сдѣлать нашу послѣднюю мысль болѣе ясною, да позволено будетъ прибѣгнуть къ сравненію. Оставимъ на минуту провинцію, перенесемъ воображеніемъ въ большіе, густо населенные центры, и мы безъ труда убѣдимся, что тамъ дѣло преобразования русской жизни имѣетъ совершенно иной ходъ, нежели въ нашихъ губернскихъ палестинахъ. Мнѣніе о невозможности одинаковаго во всѣхъ случаяхъ примѣненія того или другого принципа, мнѣніе о томъ, что понятіе о правдѣ есть понятіе относительное, что она одна для Ивана и другая для Петра,—всѣ эти диковинныя мнѣнія, столь неизбѣжно стоящія въ провинціи, не только не имѣютъ въ большихъ центрахъ обязательнаго авторитета, но нерѣдко вызываютъ даже противорѣчіе. Скажемъ болѣе: въ этихъ центрахъ дѣло овладѣваетъ исполнителями даже помимо ихъ воли; если же, за всѣмъ тѣмъ, и можно указать на примѣры уклоненія отъ истиннаго смысла задачи, то факты такого рода, во всякомъ случаѣ, не остаются безъ указанія и болѣе или менѣе правдиваго обсужде-

нія. Нерѣдко случается даже такъ, что исполнитель несомнѣнно чувствуетъ надъ собой известное тяготѣніе, которое такъ и нашептываетъ: да откинь же ты, милый человѣкъ, колѣнце, чтобы вѣдали добрые люди, каковы таковы въ русской землѣ реформы называются,—но колѣнце какъ-то не выкидывается, а сжечи и выкидывается, то вяло, и восторговъ ни откуда не вызываетъ. Теперь вернемся назадъ въ нашу родную провинцію, и первое, что поразитъ нашъ умственный взоръ—это наивная невыработанность понятій о правдѣ и правѣ. Въ этомъ отношеніи у насъ существуетъ такое вавилонское столпотвореніе, что правое и правда подраздѣляются чуть не на столько отдѣльных и совершенно другъ на друга непохожихъ видовъ, сколько существуетъ отдѣльныхъ субъектовъ, до которыхъ эти понятія касаться могутъ. Это словно проклятый какой-то маскарадъ, въ которомъ право для однихъ является началомъ утучняющимъ, для другихъ—изнуряющимъ и уничтожающимъ. И это нисколько не бросается въ глаза и не оскорбляетъ ничего нравственнаго чувства, потому что провинція до того закалилась въ произволѣ, что тотъ день считается чуть-чуть не потеряннымъ, который не былъ свидѣтелемъ одного изъ безчисленныхъ и длинныхъ проявленій его.

Отчего происходитъ такая разительная разница въ степени и способахъ примѣненія одного и того же начала—понять очень нетрудно. Явленіе это совершенно удовлетворительно объясняется тѣмъ, что въ большихъ центрахъ чужездству сравнительно все-таки отведено гораздо менѣе мѣста, нежели въ тѣхъ безчисленныхъ мурьяхъ, въ которыхъ оно не только не представляетъ камня въ морѣ, но скорѣе наоборотъ. Вслѣдствіе великаго разнообразія жизненныхъ условій, сосредоточенія на ограниченномъ пространствѣ всевозможныхъ формъ человѣческой дѣятельности и легкости обмѣна мыслей, самый уровень жизни дѣлается выше и въ то же время не допускаетъ тѣхъ разительныхъ пропусковъ, какіе замѣчаются нами въ провинціи. Рядомъ съ правами традиционными возникаютъ права новыя, предъ-являющія искъ о своемъ признаніи не передъ судомъ привычки и законснѣлаго предразсудка, а передъ судомъ разума и общественной совѣсти. Понятно, что въ кругу этихъ новыхъ соперничающихъ силъ чужездству не совсѣмъ-то ловко расправлять свои крылья во всю ширь, хотя бы искусственная обстановка и благоприятствовала такому рас-

правленію. Напротивъ того, провинціальная жизнь сплошь составлена изъ однихъ неровностей и пропусковъ, и вслѣдствіе того представляетъ такое множество пустыхъ мѣстъ, въ которыхъ изстари ничего дурного, кромѣ расправленія крыльевъ, не производилось, что, по самому простому разсчету, тутъ надлежитъ заботиться не столько объ умноженіи пустыхъ мѣстъ, сколько о сокращеніи ихъ.

Но такова наша несмѣлость передъ примелькавшимися явленіями жизни, что вмѣсто того, чтобы распутывать узелъ, мы направляемъ всѣ наши усилія къ тому, какъ бы покрѣпче затянуть его. Заявляя о своемъ стремленіи къ правдѣ общечеловѣческой, защищенной отъ наплыва чужаидныхъ примѣсей, мы въ то же время ставимъ ее въ такія условія, среди которыхъ она не можетъ свободно дышать. Признавши прежнія рамки жизни слишкомъ тѣсными для непрерывно увеличивающагося содержанія ея, мы тѣмъ не менѣе до того неохотно разстаемся съ ними, что люди неопытные и въ рамкахъ не свѣдущіе легко ошибаются и утверждаютъ, что никакихъ новыхъ рамокъ нѣтъ и не было, а остались прежнія, тѣ самыя, въ которыхъ такъ удобно было расправлять крылья.

И вотъ, благодаря чужаидству, общее дѣло русской жизни, дѣло ея преуспѣянія и развитія, становится дѣломъ домашнимъ. Если читатель припомнитъ дѣйствія мировыхъ посредниковъ при самомъ началѣ крестьянской реформы и сравнитъ ихъ съ дѣйствіями послѣдующими, то онъ безъ труда пойметъ, какая громадная легла тутъ разница. Эта разница—фактъ несомнѣнный, засвидѣтельствованный общимъ сознаніемъ, но будемъ ли мы правы, если причину этого факта станемъ искать безусловно въ какой-то мнимой неустойчивости русскаго человѣка, въ его неумѣннн спокойно начать дѣло и столь же спокойно довести его до конца? Очевидно, что предположеніе такого рода не только голословно, но даже и неправдоподобно. Во-первыхъ, кругъ дѣятельности мировыхъ посредниковъ вовсе не былъ такъ обширенъ и сложенъ, чтобы отъ нихъ требовалось какого-то сверхъестественнаго напряженія умственныхъ силъ; во-вторыхъ, дѣло само по себѣ такъ просто, намѣренія законодателя такъ ясны, что совсѣмъ не нужно быть героемъ, чтобы выполнить ихъ во всей точности. Вездѣ и всегда исполнителями являются люди, нисколько не претендующіе на гоніальность, но никто этимъ не смущается, да и дѣло отъ того нисколько не терпитъ. Отчего же только у насъ,

и у насъ однихъ, происходятъ сіи неожиданныя превращенія? Не оттого ли, что мы великіе мастера отыскивать во всякомъ дѣлѣ такую мякоть, которая позволяетъ намъ пріурочивать это дѣло для нашего личнаго, домашняго употребленія?

Но ежели мы мастера отыскивать эту мякоть, то естественно возникаетъ вопросъ: дѣйствительно ли это мастерство столь драгоценно, что необходимо его поощрять и воспитывать?

Та метаморфоза, которая произошла у всѣхъ на глазахъ съ учрежденіемъ мировыхъ посредниковъ, можетъ легко постигнуть и другіе зачатки развитія русской жизни. Въ послѣднее время провинціалъ охотно и чаще другихъ словъ повторяетъ прилагательное *вотчинный*, и повторяетъ его съ такою увѣренностью, которая невольнымъ образомъ заставитъ задуматься. Очень можетъ быть, что это увѣренность ни на чемъ не основанная и преувеличенная, и что въ будущемъ она окончится шпикомъ, но несомнѣнно, что въ *настоящемъ* она наноситъ дѣлу преуспѣянія вредъ явный и положительный.

Трудно себѣ представить зрѣлище болѣе поразительное, нежели зрѣлище добра, изнемогающаго въ мукахъ рожденія. Правда, какъ только показала въ провинцію лицо свое, такъ уже, такъ сказать, распалась на ся. Есть правда княжеская и графская, есть правда дворянская, правда чиновническая, правда мѣщанская, правда мужицкая. Титулярный совѣтникъ имѣетъ право на большую долю въ правдѣ противъ коллежскаго регистратора, дворянинъ—на большую противъ мѣщанина и мужика. Злосчастный ремесленникъ, обозвавшій дворянина *тучнымъ именемъ* мѣщанина, оказывается болѣе виновнымъ, нежели дворянинъ, угрожавшій этому ремесленнику палкой... Вотъ новый фазисъ, въ который вступаетъ дѣятельность пресловутаго чужаидства.

Всюду, куда вы ни обернетесь въ провинціи, всюду встрѣтитесь съ этимъ вѣдчнвымъ элементомъ, который, повидимому, поставилъ себѣ задачей заполнить вселенную. Сильный противъ безсилія, безсилый противъ силы, онъ обдѣлываетъ свои дѣла, вопреки истинѣ, вопреки свѣдѣтельству здраваго смысла. Тщетно собственная выгода подсказываетъ ему о необходимости уступокъ и соглашеній—онъ сосетъ, сосетъ и сосетъ, не сознавая, что въ то же время высасываетъ до тѣа и свои собственные соки...

Удивительно ли, что, чувствуя подь собой такое твердое основание, наши исконные губернские историографы не только не ускромнятся, но дерзают пуще прежнего? Представьте себе эти две силы: историографство и чужаждство, преспирающія друг друга объятія и заключающія твердый и ненарушимый (до первой кости) союзъ, и спросите себя: что может выйти изъ этого союза?

Въ будущемъ—конечно, ничего; но кто вознаградитъ за тѣ вѣдѣнья, которые наносятся въ настоящемъ?

### Письмо шестое.

Историки вѣряютъ, что Западная Римская имперія пала отъ изнѣженности нравовъ, а Византійская—отъ коварства царедворцевъ, которые ничего будто бы не дѣлали, а только коварствовали. Какъ бы то ни было; но паденію этому, во всякомъ случаѣ, предшествовалъ извѣстный вѣдншій фактъ. Явились съ востока гунны, лангобарды, османлысы и другіе челоуѣкообразные и сразу доказали то, чего не могъ доказать цѣлый рядъ Мессалиновъ, Агриппинъ и не менѣе замѣчательный рядъ иконописныхъ Никифоровъ и Евдокій. Не будь этого вѣдншняго факта, очень можетъ стать, что римляне и до сихъ поръ продолжали бы предаваться изнѣженности нравовъ, а византійцы—коварствовать, то-есть сплетничать, цѣловать въ плечико и подставлять другъ другу ножку.

Мы, провинціалы, историковъ не имѣемъ, но у насъ есть историографы (чиномъ выше), которые занимаются не столько исторіей нашего прошлаго, сколько предусмотрительными набѣгами въ наше будущее.

Если вѣрить этимъ глубокомысленнымъ людямъ, Россія должна погибнуть въ самомъ ближайшемъ времени, и погибнуть вихомолку, безъ всякаго вѣдншняго натиска, единственно силою собственныхъ пороковъ. Такъ что если, напримеръ, вы сегодня видите Россію, а завтра на этомъ самомъ мѣстѣ увидите пустое мѣсто, то не имѣете права даже удивляться этой пронажѣ, ибо она есть естественное слѣдствіе нашей заранѣе доказанной и предсказанной историографами развращенности.

Само собою разумѣется, что, по внутреннему убѣжденію историографовъ, главный нашъ порокъ, это — уничтоженіе

вѣдншности зависимости; но такъ какъ это порокъ секретный, о которомъ распространяться не всегда удобно, то найдемъ другой порокъ, не столь капитальный, но служащій для нашихъ историографскихъ философствованій немаловажнымъ подспорьемъ. Порокъ этотъ—пресловутое все-россійское пьянство.

Было время, когда надежды историографовъ на паденіе Россійской имперіи покоились преимущественно на грубости нравовъ. Предполагалось, что, тогчасъ по освобожденіи крестьянъ, русская земля немедленно запустѣетъ, что Ваньки будутъ сидѣть задравши на столъ ноги и бесѣдовать объ изящныхъ искусствахъ, что Тришки перестанутъ чистить сапоги и уваживать поля, что торговля упразднится, потому что не будетъ разносчиковъ, и т. д. «Кто будетъ сѣять, жать, варить и печь, кто будетъ шанки передъ нами ломать?»—спрашивали другъ друга испуганные историографы, и въ честь ихъ должно прибавить, что никому не пришло на мысль сказать: «мы будемъ сѣять! мы будемъ жать!» Однако надежды насчетъ грубости нравовъ не выгорѣли, отчасти, быть-можетъ, потому, что тогда еще бодрствовалъ откупъ (все-таки хоть какое-нибудь утѣшеніе), отчасти же потому, что все эти Ваньки и Тришки совсѣмъ не такъ воспитаны, чтобы сидѣть задравши на столъ ноги и бесѣдовать объ изящныхъ искусствахъ.

Потребовалось другое основание для историографскихъ погнбныхъ предсказаній, а такъ какъ жизнь никогда не скупились подачками подобнаго рода, и такъ какъ тутъ же кетати посядовало и упраздненіе откуповъ, то на смѣну грубости нравовъ естественнымъ образомъ явилось пьянство.

И подлинно, выпло кѣчто весьма подходящее.

Въ самомъ дѣлѣ, представьте себе страну, которой жители поголовно пьяны, въ которой господа съ утра до ночи пьютъ мадеру, а рабочій и прочій «подлый» народъ свуху:—какое будущее можетъ ожидать такую страну?

Представьте себе: въ этой странѣ есть правосудіе, но оно отправляется въ пьяномъ видѣ; есть армія, но она защицалотъ отечество въ пьяномъ видѣ; есть администрація, но она повелѣваетъ въ пьяномъ видѣ; есть наконецъ администруемые, но они повинуются въ пьяномъ видѣ... Вы, конечно, скажете, что все это не больше, какъ плоская и невѣроятная шутка, что это неаппо-волитебное представление, въ которомъ неожиданности и сверхъестественности превращеній дозволено замѣнить здравый смыслъ;—да, это

такъ, это дѣйствительно наглая и смѣха достойная шутка; но таковъ именно фонъ той картины, которую всласть рисуютъ передъ нами историографы.

Если вѣрить разсказамъ историографовъ, въ губерніяхъ нашихъ происходятъ чудеса. Описываются цѣлыя деревни, цѣлыя села замерзаютъ въ безсознательномъ положеніи. Удивительно, какъ только Богъ грѣхамъ терпитъ! Стыдъ забыть, понятіе о выкупныхъ платежахъ упразднилось; мужики бросилъ семью, перетаскавъ изъ дома все до послѣдней бечевки и ореть въ кабаки дурацкія пѣсни. Пресловутая мужицкая полоса лежитъ въ полѣ непаханною, и ежели на ней за всеѣмъ тѣмъ растеть рожь, то не та тучная рожь, которая однимъ своимъ видомъ свидѣтельствовала о непроборимой твердости россиянъ въ бѣдствіяхъ, а какал-то тощая, безпутная. Мѣсто семейныхъ добродѣтелей замѣнило кровосмѣшеніе, мѣсто сыновней почтительности—увѣче и убійство. Снохачи открыто пристають къ сыновнимъ женамъ и даже не свидѣтельствуются при этомъ историческими примѣрами; жены, безъ всякаго стыда, понимаются съ прохожими молодцами и не приводятъ въ свое оправданіе que c'est ainsi que cela se pratique dans le monde. Даже невинное дѣтство—и то не избѣгло общей участи распада; и оно слоняется по улицамъ, задеря хвосты и оскорбляя стыдливые взоры проезжающихъ историографовъ. Вдали виднѣется грозная фигура цѣловальника, сплосъ увѣнчанная синими и зелеными патентами.

— Où allons-nous? dieux! où allons-nous? — восклицаетъ встревоженный такою картиною историографъ.

— А вотъ, выньте мадеры, такъ оно виднѣе будетъ,—цинически отвѣчаетъ другой историографъ.

— Позвольте! Мы изстари были сильны нашими семейными добродѣтелями—такъ или нѣтъ?

— Это такъ. Наши бабушки... кромѣ какъ куафферовъ... ни-ни!

— Позвольте! Il ne s'agit pas de cela! рѣчь совсѣмъ не о рѣchés mignons нашихъ бабушекъ! Я васъ спрашиваю, были ли мы сильны нашими семейными добродѣтелями или нѣтъ?

— Что толковать! Ужъ насчетъ чего другого...

— Eh bien! je vous le donne en mille... благодаря этой отвратительной сивухѣ, теперь вы не насчитаете ни одной невинности на квадратную милю! Вы понимаете, куда это насъ ведетъ?

Историографы выпиваютъ по рюмкѣ и впадаютъ въ уныніе.

— Теперь другой вопросъ: не были ли мы сильны своимъ трудолюбіемъ, не поражали ли наши поля своимъ плодородіемъ? Eh bien! je vous le certifie: благодаря этой сивухѣ, мои поля шесть лѣтъ сряду лежатъ пустыя, и хотъ бы они ухомъ повели!

Выпиваютъ по другой рюмкѣ и снова впадаютъ въ уныніе.

— Третій вопросъ: какое будущее ожидаетъ нашу армию? Могутъ ли у насъ быть надежные солдаты? Спрашиваю я васъ: не были ли мы сильны необходимостью и натискомъ своихъ армій? Souvoroff! mais c'est un nom, qui à lui seul vaut bien une éperce! И вотъ, взгляните, благодаря сивухѣ, онъ уже съ пятилѣтняго возраста начинаетъ постепенно терять свою силу; ноги у него дрожатъ, грудь дѣлается впалого, глаза меркнутъ, открытость лица исчезаетъ... Какой можетъ выйти изъ него фрунтовикъ? какая можетъ быть въ немъ необходимость?

Новая рюмка; новое уныніе.

— Еще вопросъ: не были ли мы сильны своею субординаціей, своею безпрекословною готовностью исполнять приказанія старшихъ? Теперь послушайте, что пишутъ со всѣхъ сторонъ неправлики: «строптивость и грубость нравовъ,—пишутъ они:—поддерживаемая и развиваемая употребленіемъ горячихъ нанитковъ, есть то самое зло, которое въ наискорѣйшемъ времени російское государство въ бездну погнѣбели увлечь можетъ...» Joli?

Еще рюмка; еще уныніе.

— Pardon, mais il y a encore une question. Мы изстари были сильны своею торговлею. Наши предки еще съ Визанціей вели торговлю медомъ, воскомъ, звѣриными шкурами и щетиною... avec Byzance—vous concevez? Спрашиваю я васъ: куда дѣвалось все это баснословное богатство? Гдѣ этотъ медъ, этотъ воскъ, эта щетина... «Стальной щетиною сверкая...» куда все это ушло? Пойдите на нашу базарную площадь—что вы увидите?—лапти и веревки, веревки и лапти! Et notez bien, что наши предки изстари всегда ходили въ сапогахъ—и вдругъ... лапти! Куда же дѣвались эти звѣриныя шкуры, о которыхъ повѣствуютъ историкъ? Куда, какъ не въ кабаки, гдѣ онѣ ждуть своей очереди, вмѣстѣ съ пудовками хлѣба, дугами, шлеями, повинами и прочимъ скарбомъ мужицкаго хозяйства!

Рюмка.

— Où allons-nous? Кто будет платить подати? qui suffira aux besoins du budget? Исправники пишут: «в случае распространения пьянства, в уплату податей большое чувствуется затруднение и даже самый предборь...» Недоборы! чувствуете ли, понимаете ли, чѣмъ это пахнет!

И такъ далѣе, и такъ далѣе. Сколько вопросовъ, столько рюмокъ; сколько рюмокъ, столько вопросовъ. Количество тѣхъ и другихъ вполне солидарно и идетъ рука объ руку до тѣхъ поръ, пока бесѣдующіе окончательно не перестаютъ понимать другъ друга. Тогда начинается та общал, безобразная ламентация, смыслъ которой заключается въ томъ, что мы противъ всего устояли, все побѣдили, но не можемъ устоять противъ одного... противъ свухи!

Столичный читатель, конечно, воленъ вѣрить или не вѣрить существованію подобныхъ разговоровъ, но что они записаны со словъ самихъ ихъ авторовъ, въ томъ удостовѣрить всякій сколько-нибудь добросовѣстный провинціалъ. Всякому приходилось быть свидѣтелемъ и даже участникомъ подобныхъ бесѣдъ, и—увы!—нерѣдко даже случалось находить въ нихъ тѣнь человѣческаго смысла, а не исключительно свидѣтельство размягченія мозга!

Да; такова эта мадерорастивающая среда, что человѣку, хотя и не зараженному ею вполне, но не искушенному провинціальной опытностью, нелегко бываетъ совершенно отрубиться отъ ея позрѣній на жизнь. Всѣ эти бонвиваны, напоминающіе французскій водевилъ, переложенный на русскіе нравы, всѣ эти приѣзженные воспитанники Польде-Кока прежде всего бросаются въ глаза своимъ добродушіемъ, за которымъ довольно трудно бываетъ распознавать ту жестокую глупость, которая, по слововѣщанію, считается хуже воровства. Конечно, беззастѣнливая ламентация настолько очевидна, что поводовъ для дѣйствительныхъ сомнѣній относительно ихъ внутренней стоимости не можетъ даже существовать, но все-таки почему-то кажется, что сквозь массу преувеличеній и нелѣпостей просвѣчивается и малѣйшая частица истины.

Куда, въ самомъ дѣлѣ, дѣлась наша торговля медомъ, воскомъ, зѣфирными шкурами и щетиной?

Отчего нашъ мужикъ ходитъ въ лаптяхъ?

Отчего въ деревняхъ царствуетъ такое сплошное, поголовное невѣжество?

Отчего мужикъ почти никогда не ѣстъ мяса и даже скоромнаго масла?

Отчего почти ни одинъ не знаетъ, что такое постель?

Отчего во всѣхъ движеніяхъ мужика замѣчается что-то фаталистическое, не отмѣченное сознаниемъ? Отчего, если онъ идетъ впередъ, то его какъ-будто гонитъ какая-то невѣдомая сила, которую даже анализировать невозможно? Отчего онъ рождается какъ муха, и какъ муха же мретъ?

На всѣ эти вопросы исторіографы задали одно: все отъ нея, все отъ проклятой свухи (читай: все вследствие утраты права). Нѣкоторые изъ нихъ, въ своей наивной ограниченности, доходятъ до того, что въ регламентации распивочной продажи водки видятъ единственный способъ выйти изъ періода лаптей и вступить въ періодъ сапоговъ. О! если-бъ это было такъ! если-бъ было можно, съ помощью одного ограниченія числа кабаковъ, вселить въ людей довѣріе къ ихъ судьбѣ, возвысить ихъ нравственный уровень, сообщить имъ ту силу и бодрость, которые помогаютъ бороться и преодолевать желѣзные невзгоды жизни! если-бъ можно было доказать людямъ, что съ измѣненіемъ системы патентнаго сбора ихъ ждетъ въ перспективѣ тотъ отраднѣй, свѣтлѣйшій пунктъ, къ которому они несконно безлюдно стремятся! Какъ легка была бы наука человѣческаго существованія! и какіхъ ничтожныхъ усилій стоило бы разомъ покончить со всѣмъ безобразіемъ прошлаго, со всѣми неудачами настоящаго, со всѣми сомнительными видами будущаго!

Оставимъ на время въ сторонѣ нашихъ нелѣпыхъ исторіографовъ съ ихъ нелѣпыми воздыханіями и обратимся къ тому, что составляетъ дѣйствительную суть дѣла.

Едва ли, разумѣется, нужно доказывать, что не утраты права крѣпостного права обусловило существованіе тѣхъ вопросовъ, которые намѣчены выше. Только очень ограниченные и совсѣмъ глухие люди могутъ утверждать, что нашъ крестьянинъ или что мы, русскіе вообще, представляемъ въ общей человѣческой семьѣ такую особенную разновидность, на которую свобода оказываетъ дѣйствіе совершенно противоположное, нежели на прочихъ членовъ этой семьи. Нѣтъ нужды также утверждать, что предположеніе о пьянствѣ, какъ объ органическомъ пороцѣ дѣлага народа, есть предположеніе глупое, могущее возникнуть только подъ вліяніемъ паровъ мадеры. Подобнаго рода

ребяцкія клеветы свидѣтельствуютъ только о низкой степенн умственнаго развитія ихъ слагателей.

Тѣмъ не менѣе невозможно ни на минуту усомниться, что русскій мужикъ бѣденъ дѣйствительно, бѣденъ всѣми видами бѣдности, какіе только возможно себѣ представить, и—что всего хуже—бѣденъ сознаниемъ этой бѣдности.

Для того, чтобы понять, до какой степени настоятельны бываютъ нѣкоторыя нужды, необходимо или пройти сквозь нихъ, или, по крайней мѣрѣ, видѣть ихъ лицомъ къ лицу. Бываютъ очень запутанныя нравственныя положенія, по до постиженія ихъ можно дойти и безъ указаній личнаго опыта, съ помощью однихъ логическихъ выводовъ, по той простой причинѣ, что трудно назвать такую нравственную смуту, зерно которой, влияніемъ времени, не заносилось бы во внутреннее святилище каждаго современнаго человѣка. Совсѣмъ другое дѣло—смута матеріальная. Цивилизованному меньшинству она представляется въ видѣ такого исключительнаго и неразрѣшимаго положенія, которое, во всемъ своемъ объемѣ, можетъ существовать только въ сильно-настроенномъ воображеніи художника.

Мудрено представить себѣ то убожество, въ которомъ живутъ массы и которому онѣ, повидимому, вполне подчинились. Негодованіе, которое проникаетъ человѣка при видѣ явленій легковѣрія, одичалости и насильства, непрерывно сочащихся изъ сердца народныхъ массъ, невольно утихаетъ, когда собственными руками прикасаешься къ той проказѣ, которую онѣ заражены, и собственными легкими вдыхаешь струю той затхлой атмосферы, которую онѣ дышатъ. Самое ничтожное обстоятельство, мимо котораго мы, люди меньшинства, проходимъ не только не задумываясь, но просто безъ всякой мысли, влияетъ на жизнь бѣднаго труженика до того рѣшительно, что сразу парализуетъ въ немъ всякую энергию. Интересы, повидимому, грошовые, будучи взяты въ своей совокупности, составляютъ такую сумму, подъ бременемъ которой совершенно непрямѣнно погибаетъ членъ «несуществующаго» у насъ пролетаріата. Да, «пролетаріата» нѣтъ, но взгляните въ наши деревни, даже подстоличныя, и вы увидите сплошныя массы людей, для которыхъ, напримѣръ, вопросъ о лишней полукопейкѣ на фунтъ соли составляетъ предметъ мучительнѣйшихъ думъ и для которыхъ даже не существуетъ вовсе вопроса о матеріальныхъ удобствахъ; вы найдете тысячи безпріютныхъ бобылокъ, которыхъ весь

годовой бюджетъ заключается въ пятнадцати-двадцати рубляхъ, съ трудомъ вырабатываемыхъ мотаніемъ бумаги. А пролетаріата нѣтъ. Правда, что массы предполагаются грубыми и безчувственными, но тутъ однако возникаетъ вопросъ, что чему предшествуетъ: безчувственность ли обязательно отсутствію на столѣ соли, или наоборотъ? Намъ, людямъ, живущимъ особнякомъ отъ массъ, даже трудно себѣ представить, до какой наглости можетъ доходить это вѣчное притязаніе желудка, изъ-подъ гнета котораго ни на минуту не освобождается жизнь мужика; но тѣмъ не менѣе оно не выдумка, а одинъ изъ тѣхъ безспорныхъ и всѣмъ видимыхъ фактовъ, для подтвержденія которыхъ не требуется ссылаться на статистическія изслѣдованія.

Положеніе человѣка, фаталистически осужденнаго не думать ни о чемъ иномъ, какъ о средствахъ не умереть съ голода, не замерзнуть, не утонуть въ болотѣ и вообще «не пропасть какъ собака», есть одно изъ тѣхъ противоестественныхъ положеній, которыя настоятельно приковываютъ къ себѣ вниманіе мыслящаго человѣка. Это тѣ самыя первоначальныя нужды, при неудовлетвореніи которыхъ немислимо развитіе никакихъ иныхъ нуждъ. А въ развитіи этихъ «иныхъ» нуждъ вся сила. Если человѣкъ обезпеченъ, по малой мѣрѣ, отъ необходимости исключительно останавливать свое вниманіе на средствахъ примириться съ желудкомъ, онъ непременно пойдетъ далѣе, онъ прикуетъ свою мысль къ другимъ предметамъ и перенесетъ свои требованія въ высшую сферу. Сегодня онъ думаетъ только о хлѣбѣ матеріальномъ; завтра онъ уже будетъ думать о хлѣбѣ духовномъ; но, покада онъ не имѣетъ положительныхъ средствъ обезпечить свободу желудка, онъ, конечно, не предприметъ никакихъ мѣръ, чтобы обезпечить свободу мысли. Слѣдовательно, несправедливо и едва ли даже возможно ожидать, чтобы бѣдность духовная была побѣждена прежде, нежели будетъ побѣждена бѣдность матеріальная.

Конечно, такое предпріятіе заключаетъ въ себѣ трудности почти непреоборимыя. Человѣкъ массы мало того, что страдаетъ: онъ, сверхъ того, имѣетъ слабое сознаніе этого страданія; онъ смотритъ на него, какъ на прирожденный грѣхъ, съ которымъ не остается ничего другого дѣлать, какъ только нести его, насколько хватитъ силъ. Скажите ему, что обязанность не наѣдаться досыта, обязанность злѣбнуть, утонуть въ болотахъ и не въ мѣру напрягать

мышцы—вовсе не есть необходимый удѣлъ, что тут нѣтъ даже никакого предопредѣленія,—и вы увидите, что первое чувство, которое изобразится на его лицѣ при такомъ разъяреніи, будетъ чувство недоумѣнія. Не ясно ли, что, покуда такое недоумѣніе существуетъ, никакія намѣренія относительно измѣненія характера его судьбы не могутъ быть дѣйствительны?

— Куда я теперь дѣнусь! куда я дѣнусь!—голосила надняхъ при нашихъ глазахъ пѣкоторая баба, бѣгомъ устремляясь по дорогѣ и размахивая руками.

Оказалось, что мужа этой бабы раздавило мельничнымъ колесомъ, и она бѣжала на мельницу посмотреть, какъ его раздавило. За пою слѣдомъ бѣжала туда же чуть ли не вся деревня. Покойный былъ хозяинъ зажиточный, имѣлъ изрядный домъ и на міру былъ извѣстенъ, какъ человекъ ревнивый къ общественному дѣлу. По смерти его осталась вдова съ маленькими дѣтьми, и то относительно «благосостояніе», въ которомъ находилась эта семья, *въ одну минуту* рушилось. Вдова платить подати не могла, и слѣдовательно земля отъ семьи немедленно отбиралась (да она не имѣла и средствъ обрабатывать ее); мѣръ, съ своей стороны, несмотря «на радѣнье» покойника, смотрѣлъ на вдовыи слезы туно.

— Да, добышникъ былъ, царство небесное! — молвила дядя Митяй.

— Къ крестьянскому дѣлу радѣльщикъ былъ! — подтвердилъ дядя Митяй.

И пошли-себѣ дяди Митяи по домамъ, а вдова осталась одна съ своими слезами, приготовляясь на завтра же пачать изученіе той бѣдственной жизни, которая учитъ на двадцать рублей въ годъ прокормить себя и дѣтей, и въ концѣ которой (вотъ подлинно сладкіе-то плоды!) стоитъ для сына красная шапка, для дочери—названіе деревенской сахарницы, для нея самой — безконечное голодное мыканье по бѣлу-свѣту.

Можетъ ли эта баба о чемъ-нибудь думать? Можетъ ли она что-нибудь ощущать, кромѣ безотчетнаго, паническаго ужаса? Нѣтъ, она не можетъ ни думать, ни ощущать. Она не имѣетъ времени обсудить свое положеніе, размыслить о средствахъ выйти изъ него; она должна безъ оговорокъ принять его, какъ неизбѣжное, и прямо вступать въ ту колею, которую уже до нея проторили подобныя ей бѣблжж. Она не можетъ даже вдоволь наплакаться надъ тѣ-

ломъ своего добышника; да и тѣ немногія слезы, которыя она прольетъ по этому случаю, будутъ слезы не безкорыстныя, но оравленные мыслью: «на кого-то ты меня покинула? какъ-то я завтра хлѣба добуду себѣ съ дѣтьми малыши?»

Спросите теперь эту самую бабу, что она предполагаетъ съ собой дѣлать?

— А что дѣлать?—отвѣтитъ она:—стану бумагу мотать, а ребятонъ по міру посылать буду!.—И въ глазахъ ея не блеснетъ ни злобы, ни негодованія, съ языка ея не сорвется ни одной жалобы на этихъ дядей Митяевъ, которые оставляютъ ее безпомощною, а смежи по временамъ и поглаживаютъ старшаго ея сынишку по головѣ, то непременно съ тайной мыслью: «славный будетъ солдатъ!»

Вотъ истинная истина изъ жизни полудикой толпы. За эту истину мы, конечно, не имѣемъ особенныхъ основаній относиться къ толпѣ съ уваженіемъ—это правда; но отчего же тѣмъ не менѣе, обдумавши предметъ серьезно, мы не торопимся обвинять ее? Почему представленіе о толпѣ, несмотря на явную ея жестокость, дикость и неразвитость, имѣетъ для насъ нѣчто заманчивое и симпатичное? А вотъ почему.

Всѣ эти Митяи — народъ вовсе не злой и даже внутренно не испорченный; они равнодушно поглядываютъ на чужое несчастье совсѣмъ не по окаменѣлости сердечной, а просто потому, что и опытъ и исторія доказали имъ слишкомъ достаточно, что всѣ они равны передъ несчастьемъ, что каждый изъ нихъ имѣетъ одинаковыя шансы на всякаго рода невзгоду. Слѣдовательно никакой случай въ этомъ родѣ не только не удивляетъ, но даже не останавливаетъ надолго ихъ вниманія. Есть ли поводъ плакаться надъ чужою бѣдой, когда завтра та же бѣда можетъ стрястись надъ ними самими? Да есть ли еще и время плакать? Да и не страслась ли ужъ эта бѣда? не вѣковѣчная ли она спутница, которой и ждать даже совсѣмъ излѣпше?

Имѣемъ ли и мы, съ своей стороны, поводъ удивляться тому, что толпа до сихъ поръ сумѣла выработать изъ себя только слѣбое орудіе, при помощи котораго могутъ свободно проявлять себя въ мѣрѣ всевозможныхъ темпыя силы? Конечно, мы имѣли бы этотъ поводъ, но въ такомъ лишь случаѣ, если-бъ могли указать на существованіе какихъ-либо образовательныхъ элементовъ, участіе которыхъ было

бы способно подвинуть толпу на пути самосознания. Но этих элементов история нам не приготовила, а если они когда-нибудь и существовали (как силится доказать пф-которые), то, очевидно, корни их были слишком слабы, чтобы при помощи их можно было устоять даже против простой случайности.

Чѣмъ больше представляетъ извѣстное положеніе однообразія, тѣмъ меньше видится въ немъ посредствующихъ историческихъ построений, которыя бы свидѣтельствовали о постепенномъ измѣненіи и расширеніи формъ жизни, тѣмъ больше рискуемъ мы встрѣтить въ немъ всякаго рода трудностей. Если намъ даны два крайніе полюса, между которыми брошена безграничная гладкая степь, то очевидно, что утомительность пути по этой степи будетъ совершенно пропорціональна ея наготѣ. Какъ ни мало удовлетворяютъ чувству справедливости нѣкоторыя явленія и результаты исторической борьбы, но они важны тѣмъ, что облегчаютъ работу послѣдующихъ поколѣній и вырабатываютъ извѣстные средніе идеалы, доступъ къ которымъ несравненно меньше труденъ, нежели изнурительный бѣгъ по необозримому странству пустыни. Тутъ всякій шагъ впередъ приобретаетъ силу аксіомы, въ проверкѣ которой, для грядущихъ поколѣній, не предстоитъ уже никакой нужды. Въ голой степи нѣтъ мѣста для подобныхъ аксіомъ: тутъ все подлежитъ проверкѣ, утомительной работѣ сызнова. Конечно, мы вовсе не хотимъ этимъ сказать, что масса, находящаяся въ подобномъ положеніи, обязана создавать свою исторію съ начала; но мы будемъ совершенно правы, утверждая, что для этихъ массъ путь къ достиженію самосознания представляетъ безчисленное множество такихъ затрудненій, которыя, при другихъ историческихъ условіяхъ, были бы даже немислимы.

Да, русскій мужикъ бѣдѣнъ; но это еще не столько важно, какъ то, что онъ не сознаетъ своей бѣдности. Приди онъ къ этому сознанию — его дѣло было бы уже наполовину выиграно, и главныя причины нашего экономическаго неустройства, то-есть случайность, неожиданность, произволъ и т. д., устранились бы сами собою. Но что могло привести его къ этому сознанию? Гдѣ тѣ средніе, доступные его пониманію, идеалы, оперевшись на которые, онъ могъ бы помочь себѣ въ трудномъ странствованіи по житейскому морю? Ничто и нигдѣ. Повторяемъ: онъ не болѣе, какъ крайній полюсъ той безграничной голой степи, на которой

исторія не бросила ни одного этапа, ни одного освѣщающаго путь маяка...

Итакъ, главная и самая существенная причина бѣдности нашей народной массы заключается, по нашему мнѣнію, въ недостатокъ сознанія этой бѣдности; причина же этого послѣдняго явленія, очевидно, скрывается въ исторіи. Тѣ, которые негодуютъ на нашего крестьянина за то, что онъ ходитъ не въ сапогахъ, а въ лаптяхъ, за то, что онъ круглый годъ довольствуется пустыми пами да чернымъ хлѣбомъ, никогда даже не размышляли о томъ, что развитіе матеріальнаго довольства неминуемо влечетъ за собою и сознаніе иныхъ потребностей. Напрѣное, ежели бы они обсудили этотъ предметъ пристальнѣе, ежели бы они представили себѣ картину матеріальнаго довольства во всей ея полнотѣ, негодованіе ихъ значительно бы смягчилось. Они поняли бы, что особенной выгоды тутъ для нихъ нѣтъ. Но въ томъ-то и дѣло, что понятія этихъ господъ до того перепутались, что они даже утратили способность понимать и не могутъ дѣйствовать иначе, какъ подъ влияніемъ тѣхъ непосредственныхъ впечатлѣній, которыя испытываются ими въ данную минуту. И такимъ образомъ близорукость и несообразительность являются невольнымъ коррективомъ ехидному исторіографскому злопыхательству.

Съ этой точки зрѣнія, сѣтованія нашихъ губернскихъ исторіографовъ на грубость и безсознательность русскаго мужика не лишены даже нѣкоторой забавности. Куда дѣвалась наша торговля? спрашиваете вы, милостивые государи; но какое вамъ дѣло до нашей низменной мужицкой торговли? что, кромѣ древней Византіи, могъ пострадать отъ того, что она исчезла? Вы слѣдуете на то, что мужикъ не ходитъ въ сапогахъ? но сообразили ли вы, что субъектъ, обутый въ лаптяхъ, поворачивается всегда проворнѣе, нежели таковой же, обутый въ сапогахъ? Вы говорите, что мужикъ невѣжественъ? но подумали ли вы когда-нибудь, что невѣжественность и невѣжливость — понятія совсѣмъ не однозначателія, что нерѣдко они даже взаимно другъ друга исключаютъ? Опомнитесь, милостивые государи! Дойдите, по крайней мѣрѣ, хоть сами-то до сознанія того, объ чемъ вы сокрушаетесь и на что жалуетесь!

Картина, на которой мы изображаемъ мужика, конечно, вышла бы во сто кратъ занимательнѣе (да и во всѣхъ отношеніяхъ поучительнѣе), ежели бы вмѣсто того, чтобы безплодно обзывать мужика — мужикомъ, мы дали себѣ трудъ



доброевѣстно изобразить наши собственные исторіографскіе навады противъ этого самаго мужика. Но крайней мѣрѣ, мы убѣдились бы тогда, что слѣдуетъ дѣлать именно совершенно противное тому, что мы дѣлаемъ, чтобы дать русскому крестьянину возможность, безъ напряжения, перейти изъ періода лантей въ періодъ сапоговъ...

Итакъ, оказывается, что, несмотря на вѣковѣчное существованіе, масса успѣла воспитать въ себѣ только рабскіе тяготѣніе къ силѣ да еще бессознательно-равнодушное отношеніе не только къ общимъ интересамъ, но даже и къ тѣмъ, которые ближайшимъ образомъ затрагиваютъ ея собственную жизнь. Кто болѣе всего долженъ страдать отъ такого положенія? чьимъ интересамъ оно должно наносить ущербъ наиболѣе чувствительный? Очевидно, что, при отсутствіи сознанія въ самыхъ массахъ, наибольшая доля ущерба должна пасть на того, кто наименѣе свободенъ отъ пониманія тѣхъ послѣдствій, которыя влечетъ за собою предоставляемый имъ безусловный разгулъ. Какъ бы отрѣшено мы ни жили отъ жизни массъ, уровень этой послѣдней слѣшкомъ рѣшительно воздѣйствуетъ на уровень нашей собственной жизни, чтобы мы не чувствовали этого на каждомъ шагу. Мы не можемъ считать себя водворенными въ міръ законности, пока представленіе о законности не имѣетъ въ понятіяхъ массъ никакого опредѣленнаго смысла. Мы не имѣемъ основанія считать себя обезличенными отъ неожиданностей, покуда эти неожиданности будутъ имѣть въ массахъ свои добровольныя и всегда готовыя къ услугамъ орудія. Что можемъ мы сдѣлать съ нашимъ бѣднымъ одиночнымъ сознаніемъ, когда вокругъ насъ кипитъ ликующая бессознательность? На что намъ оно нужно, кромѣ того, чтобы во всей полнотѣ дать почувствовать всю горечь нашего одиночества?

Выше мы сказали, что всѣ эти дяди Митяи, которыми кишатъ наши палестины, вовсе не злой и не настолько испорченный народъ, какъ это кажется съ перваго взгляда. Это первый поводъ, сообщающій нашимъ отношеніямъ къ толпѣ характеръ симпатичности. Въ самомъ дѣлѣ, нельзя же выступать съ обвиненіемъ противъ того, что не имѣетъ никакихъ признаковъ вѣроятности; а въ этомъ смыслѣ бессознательность, конечно, принадлежитъ къ такимъ явленіямъ, относительно которыхъ гораздо приличнѣе сожалѣніе, нежели укоръ. Но есть еще и другой поводъ для симпатичности отношеній къ толпѣ — онъ заключается въ тѣхъ

внутреннихъ нитяхъ, которыя отъ самаго рожденія связываютъ насъ съ массами и которыя проходятъ потомъ неизмѣнно чрезъ все наше существованіе.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что извѣстныя движенія толпы могутъ поселать въ насъ чувство горечи. Но, погодя на толпу и создавая вполне свое право на это негодованіе, мы все-таки не можемъ скрыть отъ себя, что не въ другомъ чемъ-нибудь, а именно въ ней, въ этой бессознательной толпѣ, заключается единственное основаніе нашей собственной силы (или, лучше сказать, возможность ея), что безъ нея (безъ толпы), безъ ея участія и вниманія мы хуже, чѣмъ слабы—до насъ никому нѣтъ и не можетъ быть никакого дѣла. Въ этой зависимости отъ толпы, конечно, мало привлекательнаго (въ самомъ дѣлѣ, не горько ли зависѣть отъ чего-то бессмысленнаго, не имѣющаго никакого самосознанія?); но такъ какъ это фактъ глухой и неизбѣжный, то не подчиниться ему нѣтъ никакой возможности. Есть что-то фаталистическое въ томъ, что мы всѣ завитыя свѣтлыя думы наши посвящаемъ именно той забитой, малосмысленной и подчасъ жестокой толпѣ, что самый великій мыслитель, котораго мысль, повидимому, не можетъ имѣть ничего общаго съ мыслью толпы, именно ей отдаетъ лучшую часть своей дѣятельности. Да, тутъ есть своего рода фатализмъ, но не въ томъ смыслѣ, въ какомъ обыкновенно клеймятъ этимъ словомъ какое-нибудь положеніе, которое не хотятъ или не могутъ объяснить, а фатализмъ объясняемый тою общечеловѣческой основой, которая именно и составляетъ соединительное звено между перазвитою толпою и наиболѣе развитою отдѣльною человѣческою личностью.

Исторія показываетъ, что тѣ люди, которыхъ мы не безъ основанія называемъ лучшими, всегда съ особенною любовью обращались къ толпѣ, и что только тѣ политическіе и общественные акты получали дѣйствительное значеніе, которые имѣли въ виду толпу. Это вовсе не значитъ, чтобы эти люди идентифицировались толпѣ, чтобы они принимали ея инстинкты за руководящій законъ, а значить только, что мысль о толпѣ, какъ о конечной цѣли всякаго полезнаго человѣческаго дѣйствія, сообщала ихъ дѣятельности то живое содержаніе, котораго она не имѣла бы, если-бъ исключительно вращалась въ сферѣ отвлеченностей. Тутъ, въ этомъ служеніи толпѣ, имѣется даже очень ясный эгоистическій расчетъ, ибо, какъ бы мы ни были развиты и обез-

печены, мы все-таки до тѣхъ поръ не получимъ возможности быть нравственно-покойными и мирно наслаждаться нашимъ развитіемъ, покуда все, что насъ окружаетъ, не придетъ хотя въ нѣкоторое съ нами равновѣсіе относительно матеріальнаго и духовнаго благосостоянія. Человѣкъ нуждается въ обществѣ себѣ подобныхъ совѣтъ не по капризу, а потому, что природа его по преимуществу общительная. Слѣдовательно, стоя на недосыгаемой высотѣ, опть тѣмъ сильнѣе почувствуетъ свое одиночество, чѣмъ забитѣе и безответнѣе будетъ масса, которой чуждается его гордая мысль. И онъ, конечно, заглублять бы въ своемъ уединеніи, если-бы, къ счастью, толпа сама, на каждомъ шагу, не напоминала ему о себѣ, не указывала на зависимость его положенія и такимъ образомъ не выводила его изъ того одиночества, на которое онъ неразумно себя обрекъ.

Такимъ образомъ, какъ бы подчасъ ни казалась горька наша зависимость отъ толпы, мы все-таки едва ли стѣжались обвинять ее въ томъ, въ чемъ она совершенно неповинна. Вся наша умственная дѣятельность въ этомъ случаѣ должна быть обращена не къ обвиненіямъ, а исключительно къ тому, чтобы отыскать для массъ выходъ изъ той глубокой безсознательности, которая равно вредна для пихты, какъ и для насъ. Какія существуютъ средства, чтобы отыскать и указать такой выходъ, — объ этомъ мы покуда распространяться не будемъ и даже думаемъ, что средства тѣ откроются сами собою всякому человѣку, взирающему на народъ не съ высоты бессмысленнаго величія. Но не можемъ умолчать здѣсь о томъ основаніи всѣхъ средствъ, которое, по нашему мнѣнію, само по себѣ уже можетъ оказать весьма важное воспитательное дѣйствіе. Мы говоримъ о сближеніи съ народомъ, или, иными словами, о симпатическомъ отношеніи къ тѣмъ разнороднымъ и безчисленнымъ убожествамъ, которыя оцѣпляютъ его жизнь.

Много было у насъ писано и толковано о такъ-называемомъ сближеніи съ народомъ, и въ концѣ концовъ мы приняли только къ необходимости подвергнуть осмѣянію всѣ попытки, которыми дѣлались въ этомъ смыслѣ въ тѣхъ или другихъ пунктахъ нашихъ обширныхъ палестинъ. И въ самомъ дѣлѣ, поводовъ для смѣха было достаточно. Вездѣ на первомъ планѣ была какая-то меньшая братія, которую мы, съ самой серьезной наивностью, старались возвысить до себя посредствомъ сидѣнія на одинаковыхъ съ нами крес-

лажъ и сотрапезованія на одинаковыхъ съ нами тарелкахъ. Какъ мы ни стары, какъ ни велика наша опытность, однако мы ни до чего другого, кромѣ тарелокъ и стульевъ, не додумались. Въ равенствѣ тарелокъ мы уже видѣли какое-то начало, уравнивающее людей, а въ равенствѣ обѣденія усматривали какую-то эмблему, существованіе которой давало намъ поводъ надолго успокоиться отъ дальнѣйшихъ попытокъ въ этомъ родѣ.

Нигдѣ, ни въ одной изъ этихъ безчисленныхъ попытокъ, членъ народной массы не являлся — не въ качествѣ меньшей братіи, а просто въ качествѣ человѣка.

Всѣмъ намъ памяты эти полуремесленскія торжества, въ которыхъ преимущественно выражалось наше такъ-называемое сближеніе съ народомъ; всѣ мы твердо знаемъ, сколько было тутъ высказано чувствительныхъ и, пожалуй, даже искреннихъ словъ, сколько было приѣдено прекраснѣйшей провизіи и выпито вина, вина, вина... И всѣ мы никакого другого чувства изъ этихъ торжествъ не вынесли, кромѣ самаго тяжелаго. Отчего?

А оттого, милостивые государи, что мы и тогда очень хорошо понимали и теперь понимаемъ, что тутъ, въ самомъ благопріятномъ случаѣ, не присутствовало ничего другого, исключая минутнаго нервнаго раздраженія. Это была поэзія, это было мгновенно разыгравшееся вдохновеніе, влиянію котораго такъ охотно поддается русскій человѣкъ и которое такъ же быстро и такъ же безпричинно потухало, какъ и возбуждалось. Всѣ эти вольные художники, расшалаемые любовью къ народу, утихали и успокоивались немедленно, какъ только убирали со стола тарелки. Зрители, присутствовавшіе при рѣчахъ, которыя впору произнести иному влюбленному, не успѣвали опомниться, какъ уже повсюду усматривали одни обѣды. Омужиченные благородные ораторы удалялись предаваться новымъ вдохновеніямъ, облагороженные мужики уходили во-свои, мечтая о томъ, какого новаго пришибанія слѣдуетъ ожидать отъ разыгравшихся ораторовъ. Это было общее поголовное упоеніе звуками своего собственнаго голоса; это было торжество того неприличнаго лвленія, въ силу котораго Хлестаковъ могъ въ одно и то же время и понимать, что онъ говоритъ небывальщину, и искренно вѣрить этой небывальщинѣ. Ясно, что попытки такого рода не могли даже претендовать на названіе серьезныхъ.

Но, за всѣмъ тѣмъ, даже и онѣ не остались безслѣдными,

даже равенство тарелочное не вполне оказалось бесплодным. Вездѣ, гдѣ прошла эта ребяческая струя, оказалось, что человеческая совесть уже заручилась какимъ-то воспоминаніемъ, какимъ-то смутнымъ вожделѣніемъ. Какъ ни мало обижаетъ сидѣніе за однимъ столомъ и ѣда вилами, съдѣланными изъ одинаковаго металла, но и они къ чему-то обязываютъ, хоть къ тому, наприимѣръ, что нельзя развязно бить по лицу и обзывать курицынымъ сыномъ того самаго субъекта, который не дальше, какъ вчера, былъ нашимъ сотрапезникомъ и собутыльникомъ. Съ этой точки зрѣнія, всякая новая формальность, ставящаяся между мужикомъ и членомъ цивилизованнаго меньшинства, есть уже формальность не бесполезная, а могущая служить отправнымъ пунктомъ для многихъ другихъ, тоже небезплодныхъ, формальностей.

Тѣмъ несомнѣннѣе должны быть слѣды, которые имѣетъ оставить на себѣ то серьезное сближеніе, гдѣ народъ явится не въ качествѣ меньшей братіи, наряженной и приглаженной по-праздничному, а въ качествѣ собранія людей, выросшихъ въ мѣру взрослого человѣка. Сближеніе такого рода не имѣетъ въ себѣ ничего фантастическаго, это не славянофильское любованіе какими-то таинственными и всегда запечатанными клеймомъ безсознательности задачами, которыя суждено будто бы, въ ущербъ себѣ и вопреки здравому смыслу, выполнить русскому народу; это не ласкательство предразсудкамъ, жестокости и дикости, потому только, что они родились въ народѣ; нѣтъ, это просто изученіе народныхъ нуждъ и представлений, сложившихся болѣе или менѣе своеобразно, но все-таки принадлежащихъ несомнѣнно взрослому человеку.

Чтобы понять, что именно нужно народу, чего ему недостаетъ, необходимо поставить себя на его точку зрѣнія, а для этого не требуется ни нагибаться, ни кокетничать. Если кому-нибудь изъ читающихъ эти строки случалось быть въ положеніи человѣка, пораженнаго большимъ несчастьемъ, понесшаго тяжкую для сердца утрату, то онъ, безъ сомнѣнія, помнитъ, какъ тягостны и даже противны казались тѣ бесплодные утѣшенія, тѣ бессодержательныя соболаживанія, которыя сыпались на него по этому случаю со всѣхъ сторонъ, и какъ драгоценны были тѣ немногія попытки, которыя уяснили ему его положеніе и указывали практическій выходъ изъ него. Толпа народная

находится именно въ положеніи этого глубоко-огорченнаго человѣка, которому въ равной степени противны и бессознательныя утѣшенія, и пошлѣя, всегда лицемерныя, заигрыванія насчетъ претерпѣваемыхъ ихъ утратъ...

### Письмо седьмое.

У насъ до сихъ поръ не возникалъ еще вопросъ о томъ, можетъ ли и въ какой мѣрѣ провинція заявлять претензію на самостоятельность. Чувствуется ли, наприимѣръ, потребность въ мѣстныхъ органахъ печати? Возможно ли въ провинціи самостоятельное общественное мнѣніе? настолько ли дѣйствительны и живы мѣстные интересы, чтобы ради нихъ лучшія силы губернской интеллигенціи имѣли поводъ задерживаться въ провинціи, а не устремляться вонъ изъ нея, чтобы отыскивать для себя поприще болѣе обширное и дѣятельное?

Должно сознаться, что даже и въ настоящее время, когда уже начинаетъ мало-по-малу сказываться связь между центромъ и окрестностью, столичное общественное мнѣніе все еще смотритъ на провинцію, какъ на какой-то придатокъ, существующій не ради себя самого, а для удовлетворенія чьимъ, иногда даже весьма не близкимъ, цѣлямъ.

Такъ-называемая мысль провинціи, ея желанія, инстинкты предполагаются до такой степени общезвѣстными, что никому даже въ голову не приходитъ проверить—въ самомъ ли дѣлѣ эта общезвѣстность такова, какъ предполагается. Нѣтъ ли тутъ какой-нибудь игры словъ? Не слѣдуетъ ли, вмѣсто выраженія: «общезвѣстность», употребить болѣе подходящее: «обязательность»?

Что такое отношеніе столичнаго общественнаго мнѣнія къ провинціи существуетъ—это доказывается уже тѣмъ, что даже въ такихъ случаяхъ, когда первое почему-нибудь считаетъ лишнимъ, чтобы провинція подала свой голосъ въ известномъ вопросѣ, то оно ожидаетъ отъ этого голоса не проверки, а только подтвержденія. И факты никогда не обманывали подобныхъ ожиданій; напротивъ того, они постоянно и упорно подтверждали, что столичное мнѣніе имѣетъ полное право называть провинціальную мысль и общезвѣстной, и обязательною.

Испытайте мысль любого изъ столичныхъ бюрократовъ о провинціи, очистите эту мысль отъ тѣхъ оговорокъ, кото-

рым она почти всегда затемняется, и вы навѣрное прочтете такъ: провинція есть среда, въ которой собираются подати и налоги, необходимые для безостановочнаго дѣйствія центровъ. Испытайте мысль объ этомъ же предметѣ любого члена нашей празднишагающей интеллигенціи, и вы прочтете такъ: провинція есть то злчное мѣсто, изъ котораго извлекаются матеріальныя средства, необходимыя для удобнаго существованія въ столицѣ. Спросите наконецъ любого изъ исторіографовъ, преждевременно одрагльвиныхъ отъ волненій, испытанныхъ въ столичныхъ тащк-класссахъ, и въ настоящую минуту дѣлающихся наѣзды на наши провинціальныя палестины, — спросите ихъ, зачѣмъ они приволокли сюда свою дряблость и истасканность?—и вы навѣрное услышите отвѣтъ: падо же наконецъ отдохнуть! Даже кунцы, въ рукахъ которыхъ скапливалось въ былое время большинство мѣстныхъ капиталовъ и которые всегда охотно сживались съ родными гнѣздами, нынче, благодаря торговому космополитизму, знаютъ, куда обратиться дѣятельность, для которой провинція уже не представляетъ выгоднаго поприща. Правда, остается мужикъ, который непрежлему сидитъ крѣпко на мѣстѣ; но что же такое мужикъ, какъ не тягловая единица, которая постоянно производитъ и у которой постоянно же производимое болѣе или менѣе проходитъ между пальцевъ?

Все чувствующее въ себѣ силу неудержимо стремится вонъ изъ провинціи. Сами провинціальныя обыватели, повидному, совершенно искренно убѣждены, что провинція не что иное, какъ придатокъ, и что это самое приличное для нея положеніе. «У насъ просто, у насъ безъ хитрости, у насъ всякой борзой собацѣ мѣсто найдется», скажутъ вамъ одинъ, и вы почувствуете, что это слова не бросовыя, что они произносятся даже не съ ожесточеніемъ, а съ добродушиѣйшею искренностью. «У насъ скучалъ у насъ отъ нея одной не поглубить невозможно!» скажутъ другіе; но и въ этихъ словахъ вы не почувствуете ни озлобленія, ни ропота, а развѣ какую-то робкую, почти неузнанную иронию. «Ничего у насъ не подѣлаешь, да и дѣлать, привалаться, нечего», присовокупляютъ третьи и, если угодно, даже докажутъ фактически, что дѣлать дѣйствительно нечего. И наконецъ: «у насъ безъ того, чтобы не пить, пельзи...»

Нѣсколько разъ въ теченіе настоящихъ писемъ была выражена мысль, что современная провинція уже не пред-

ставляетъ собою того дремучаго лѣса, каковымъ она была въ прежнее и даже весьма недавнее время. Повидному, мысль эта противорѣчитъ мнѣнію, высказанному выше; но это противорѣчіе только кажущееся. Нѣтъ спора, внѣшнія формы провинціального быта улучшились, даже внутреннее его содержаніе значительно видоизмѣнилось; но никто не скажетъ, что это улучшение и измѣненіе выработалось провинціей самостоятельно, чтобы оно не было наслано на нее извнѣ, въ такую минуту, когда она меньше всего о томъ помышляла.

Жизнь обновилась, но по поводу этого обновленія провинція не выказала ни малѣйшей инициативы. Мало того: это обновленіе потребовалось въ нее *сводити* точно такимъ же порядкомъ, какъ вводится, напримѣръ, шестипольное хозяйство вмѣсто трехпольнаго. Раздѣлить каждое поле на-двое и начуть пахать, боронить и сѣять по-новому. Земля непосредственно не возражаетъ противъ нововведеній, но и не содѣйствуетъ имъ; то-есть, коли хотите, и у нея есть способъ откликаться на нововведенія земледѣльца посредствомъ урожая или неурожая, но это способъ чисто страдательный, свойственный ей неорганической природѣ. То же самое можно сказать и относительно провинціи, съ тою только разницею, что тутъ не можетъ быть рѣчи объ урожаяхъ или неурожаяхъ.

Мы живо помнимъ конецъ пятидесятыхъ и начало шестидесятыхъ годовъ; въ то время столичное общественное мнѣніе кипѣло и волновалось такъ-называемыми вопросами; кипѣла и волновалась ими и провинція. Но и въ этомъ, повидному, искреннемъ кипѣніи она на каждомъ шагѣ путалась въ противорѣчіяхъ: съ одной стороны преувеличивала, съ другой — пасовала; но ни въ томъ, ни въ другомъ случаѣ не сумѣла выказать одного: самостоятельной творческой способности. Провинціальный нервъ напрягался и ослабѣвалъ, повинаясь какой-то случайности, такъ что со стороны можно было залодозрѣть, нѣтъ ли тутъ какого-нибудь начальственнаго предписанія. Но предписанія никакого не было, а было одно: отсутствіе сознательности. Замутилось столичное общественное мнѣніе—замутилась за нимъ и провинція. Не потому замутилась, чтобы дошла до сознанія, что кипѣть довольно, а просто замутилась—да и все тутъ. И даже не постепенно произошла въ ней эта перемѣна, а вдругъ; вчерашніе рылые либералы прослулись либералами стыдливыми, и не могли ни другимъ, ни себѣ дать отчета, почему это такъ сдѣлалось.

Все это факты, совершившиеся на наших глазах. Высказала ли провинция по поводу их свое слово? выразила ли она хоть чѣмъ-нибудь, что ея мнѣніе не есть то заранѣе извѣстное и обязательное мнѣніе, узнавать о которомъ было бы совершенно лишнею формальностью, ведущею только къ проволочкѣ времени?

Нѣтъ; не высказала и не выразила ничего, потому что нѣтъ у нея главнаго условія, которое необходимо для жизни дѣятельной и полагающей починъ—нѣтъ самосознанія, а слѣдовательно нѣтъ и слова для выраженія его. Конечно, и въ провинціи вы можете встрѣтить—и даже нерѣдко—людей несомнѣнно талантливыхъ и даже эгергическихъ; но самая характеристическая черта этихъ талантливыхъ заключается въ томъ, что онѣ постоянно какъ будто торопятся и постоянно же чего-то ожидаютъ. Знаете ли, что собственно составляетъ предметъ этихъ тревожныхъ ожиданій? Увы! Это не болѣе и не менѣе, какъ прїѣздъ сановника, фангель-адъютанта или вообще лица власти имѣющаго. И совсѣмъ не потому, чтобы лицезрѣніе сихъ особъ заключало въ себѣ нѣчто необычайнаго лестнаго для дальновиднаго провинціала, а просто потому, что въ каждой «особѣ» талантливость усматриваетъ орудіе, которое можетъ извлечь ее изъ неизвѣстности, то-есть опять-таки вывести изъ провинціи. «Вотъ,—думаетъ талантливость:—прїѣдетъ W; сейчасъ я его плѣню и прїятно изумлю: онъ меня, я его, я...» И уже видитъ себя окруженною нѣкоторымъ бюрократическимъ ореоломъ и вносящею такъ-называемую новую струю въ разнообразный департаментскій соръ, вѣками накопленный въ столицахъ.

Таковы тайныя стремленія такъ-называемыхъ провинціальныхъ талантливыхъ. И наиву, и во снѣ онѣ видятъ одно: какъ бы развязаться съ провинціей. Имъ не улыбается мысль, что лучше быть первымъ въ деревнѣ, нежели вторымъ въ Римѣ; имъ не приходитъ въ голову даже то совершенно естественное предположеніе, что, сдѣлавшись участникомъ столичнаго движенія, онѣ не только не выскуютъ никакой новой струи, но сами утонутъ въ департаментскомъ сорѣ. Нѣтъ, онѣ фаталистически и безъ всякихъ соображеній вскутся вонъ изъ провинціи, всѣ интересы которой кажутся имъ и ограниченными и ничтожными.

Примѣры подобныхъ неудержимыхъ стремленій истинно поразительны; укажемъ здѣсь на одинъ изъ нихъ. Извѣстно,

что нигдѣ такъ не распространенъ классъ такъ-называемыхъ самоучекъ, какъ въ провинціи. Эти люди всѣ свои способности употребляютъ или на то, чтобы изобрѣтать изобрѣтенное, или на то, чтобы разрѣшать неразрѣшимое. Очень можетъ статься, что это личности въ своемъ родѣ весьма способныя, но не подлежитъ спору, что, въ то же время, нѣтъ на свѣтѣ породы людей болѣе бесполезной и болѣе бросающейся въ глаза своею неразвитостью. И что-жъ? попробуйте испытать сокровенную мысль одного изъ этихъ рѣшителей неразрѣшимаго, и вы навѣрное прочтете ее такъ: «а вотъ погоди! ужю, какъ открою квадратуру круга, въ ту-жъ минуту махну въ Петербургъ!» Вотъ, видите ли, даже эти недоразвившіеся организмы находятъ для себя провинцію слишкомъ тѣсною; даже они, почувствовавъ смутныя признаки умственнаго вожделѣнія, уже ищутъ для него попрѣща болѣе свободнаго и просторнаго!

Но ежели провинціальная жизнь представляетъ такъ мало интересовъ, что лучшія силы провинціи не имѣютъ повода задерживаться въ ней; ежели провинція постоянно много даетъ и постоянно же мало получаетъ въ возвратъ, то весьма естественно возникаетъ вопросъ: до какихъ поръ можетъ продолжаться подобный несоразмѣрный обмѣвъ услугъ, и не должна ли эта явная несоразмѣрность привести къ постепенному обѣднѣнію и даже разоренію той страны, которая, по обстоятельствамъ, поставлена въ болѣе невыгодное положеніе? Что это вопросъ дѣйствительный, а не призракъ, вызванный взволнованнымъ воображеніемъ,—въ этомъ легко убѣдитесь всякій, у кого есть глаза для сравненій и здравый смыслъ для вывода.

Всякій земледѣлецъ, даже рутинеръ, нынче хорошо понимаетъ, что, какъ бы ни были богаты производительныя силы земли, она постепенно обѣднѣетъ и даже совсѣмъ перестаетъ производить, если относительно нея принята система все брать и ничего не возвращать. Великій не совсѣмъ безумный помѣщикъ добраго стараго времени, желая извлекать выгоду изъ своего двороваго челоуѣка, никогда не упускалъ изъ вида, что достигнуть этой выгоды нельзя иначе, какъ предварительно вооруживъ этого двороваго средствомъ для добыванія нужнаго оброка. Съ этою цѣлью дворовыхъ людей съ малолѣтства обучали мастерствамъ; убогихъ же и калѣкъ, по малой мѣрѣ, снабжали сумою. Но и тутъ нерѣдко оказывалось, что челоуѣческая кожа не безъ конца растяжима, и что челоуѣческія мышцы

не могут безгранично напрягаться. Кажется, этих двух простых примеров весьма достаточно, чтобы доказать, что вообще в целой природе нет и не может быть такой благодатной сокровищницы, из которой можно было бы черпать, и только черпать.

Тьм не менѣ насъ не вразумляютъ ни свидѣтельства опыта, ни подсказыванія здраваго смысла. Мы ухитряемся воссоздать для себя мнѳологическій образъ древней фортуны, слѣпой и перазумной, но въ то же время никогда не истощающейся. Эта фортуна—провинція; она и слѣпа, и безсильна, и скудна начинаніями, по—о, чудо!—кошолъ ея дѣйствительно какъ будто не опоражняется, несмотря на то, что усилія, дѣлаемые въ видахъ этого опорожненія, не подлежатъ никакому сомнѣнію.

Какимъ образомъ происходитъ, что безплодіе производитъ плоды, а безсиліе даетъ силу—это объяснить довольно трудно. Впрочемъ, едва ли кто-нибудь и старается выяснитъ себѣ эту странную аномалію, ибо тутъ, повидимому, важенъ только непосредственный практическій результатъ. Что провинція слѣпа—это даже хорошо, потому что если бы на свѣтѣ все были люди зрячіе, они, пожалуй, и на солнцѣ не замедлили бы усмотрѣть пятна; что провинція пехитра на выдумки—и это недурно, потому что все наше несчастіе именно въ томъ и состоитъ, что мы желаемъ быть умнѣ умныхъ. Сущность не въ томъ, чтобы провинція представляла собой бодрую производительную силу, а въ томъ, чтобы такъ или иначе изъ нея дѣлало на украшеніе и вящую утѣху центровъ. И дѣзетъ.

Когда случается завести въ этомъ смыслѣ разговоръ съ нашими провинціальными исторіографами, то они обыкновенно только таращатъ глаза. Въ этихъ простыхъ соображеніяхъ все кажется имъ дикимъ, непривычнымъ, почти карбонарскимъ. Они положительно думаютъ, что производительность и распорядительность—два выраженія однозначія и легко замѣняющія одно другое, и что ежели первая прекращается или оскудѣваетъ, то не потому, что всякому напряженію имѣются извѣстные предѣлы, а просто по какому-то упорству со стороны производителей,—упорству, противъ котораго имѣется подъ руками ивѣтнѣшее средство, а именно, та самая пресловутая распорядительность, которая, по ихъ мнѣнію, можетъ замѣнить все.

Съ помощью этого бессмысленнаго выраженія, да еще съ помощью благоразумной строгости (тоже выраженіе не очень

богатое смысломъ), эти несчастные надѣются всего достигнуть: и проблесковъ народнаго генія, и разумаго распоряженія силами природы, и рѣкъ, текущихъ млекою и медомъ. По мнѣнію ихъ, стоить человѣка высѣчь, чтобы изъ него полѣзло всякое изобиліе плодовъ земныхъ; стоить продать у человѣка корову или лошадь, чтобы у него сейчасъ же, на мѣсто проданныхъ, явились двѣ коровы и двѣ лошади.

— Je voudrais bien voir!—тремать одинъ.

— Явится все-съ: и хлѣбъ-съ, и деньги!—повѣствуетъ другой.

— Какъ примутся, знаете, за нихъ вылогную... запоятъ-съ! откуда что возьмется!—угрожаетъ третій.

Напрасно вы будете доказывать, что ивнѣ, какъ результатъ распорядительности, ровно ничего не значить, что въ этомъ случаѣ выраженіе «откуда что возьмется», хотя и оправдываемое кажущимся успѣхомъ, все-таки не болѣе какъ миражъ, которому довѣряться опасно,—исторіографы будутъ въ отвѣтъ на ваши доводы только больше и больше сверкать глазами и издавать пейсные звуки. Это сверканіе глазъ, это вращаніе зрачками, эти звуки.. все это выѣстѣ взятое составляетъ такое зрѣлище, которое почти невозможно изобразить.

Такимъ образомъ предусмотрительность, съ одной стороны, и молчаніе, съ другой, производятъ то кажущееся отсутствіе затрудненій, которое вводитъ въ обманъ. Въ самомъ дѣлѣ, покуда будетъ возможность ссылаться на распорядительность или нераспорядительность, до тѣхъ поръ, конечно, никто не имѣетъ права предъявлять никакихъ претензій ни на дальновидность, ни на сообразительность, ни на глубокомысліе со стороны исторіографовъ. Они не видятъ—это правда; они не размышляютъ—и это опять правда; но они имѣютъ полное основаніе не видѣть и не размышлять—вѣдь и это не парадоксъ, а истинная истина. Если невиннѣйшая изъ дѣвицъ можетъ дать только то, что имѣетъ, то тьм болѣе должно быть примѣнимо это правило къ исторіографамъ, которые ужъ совсѣмъ ничего не могутъ дать, потому что ровно ничего не имѣютъ. Исторіографъ—человѣкъ ближайшихъ и непосредственныхъ средствъ, онъ не разсуждаетъ, не заглядываетъ въ даль, не пугается въ мысляхъ, а просто махаетъ жердью направо и налево. И когда жердь ушибаетъ, онъ не догадывается, что сдѣлалъ одно изъ тѣхъ глупыхъ дѣлъ, изъ которыхъ

даже для него лично ничего, кроме вреда, не выйдет, а просто уливается своим торжеством и, самодовольно восклицая: «га! опомнились!»—ставит до времени побѣдоносную жердь въ уголь.

Тѣмъ не менѣе постепенное отоцаніе провинціи уже начинаеть сказываться во всемъ. Чувствуется, что провинція какъ будто перестаетъ жить, что она расплывается на доходами, а капиталомъ. Повсюдная дороговизна свидѣтельствуеть, что даже выраженіе «откуда что возьмется» скоро сдѣлается предаемъ, сохранившимъ свой авторитетъ развѣ только въ глазахъ станovýchъ приставовъ и неправниковъ; всеобщее равнодушіе, апатія, лѣнь доказываютъ, что та же самая участь постигнетъ, ежели уже не постигла, плоды умственные. «Нѣтъ дѣятелей, нѣтъ денегъ, некуда идти!» жалуются люди, стоящіе у самаго источника провинціальной производительности, какъ матеріальной, такъ и умственной. Оказывается, стало-быть, что безмолвіе и отсутствіе инициативы вовсе не такое драгоценное явленіе, какъ можно было ожидать. Каждый провинціалъ чувствуеть, что въ его существованіе закралась небывалая доселѣ тяжесть; каждый видитъ себя опутаннымъ какими-то сѣтями которыхъ онъ ни распутать, ни разорвать не можетъ. Куда бы онъ ни ступилъ, вездѣ его нѣчто гнететь и глохеть, и въ то же время все—даже это гнетущее—такъ ему постыло, такъ противно, такъ само по себѣ ничтожно, что ни на что бы онъ не смотрѣлъ, ни къ чему бы не прикоснулся.

И вотъ поднимаются сѣтованія и припомнанія; пускаютъ въ ходъ обращенія къ прошлому, вѣчно памятнымъ блистательнымъ днямъ... назадъ назадъ!

Въ провинціи не въ рѣдкость и теперь встрѣтить апологистовъ добраго стараго времени. Огромное большинство подобныхъ апологистовъ, конечно, представляетъ собой ходячія вѣтряныя мельницы, которыя мелютъ всякій вздоръ, какой случайно попадетъ на языкъ; но есть и такіе, у которыхъ по временамъ прорываются нѣкоторые признаки мысли. Какъ и слѣдуетъ ожидать, апологисты эти вертятся исключительно около крѣпостного права, этого единственнаго явленія нашего прошлаго, которое представляло собой нѣчто сложившееся и окрѣпшее. По мнѣнію апологистовъ, крѣпостное право хотя и не въ полной мѣрѣ, но все-таки до извѣстной степени прикрывало жизнь отъ наѣздовъ, случайностей и сюрпризовъ.

— Прежде,—говорять апологисты крѣпостного права:—каждый, по крайней мѣрѣ, зналъ, гдѣ онъ находится; каждый имѣлъ возможность опредѣлить тѣ границы, въ которыхъ его не могъ постигнуть сюрпризъ. Оттого жизнь держалась тверже, и нельзя было не считаться съ нею; въ провинцію не набѣжали канканирующие сорванцы, которые даже и до того не могутъ додуматься, что человѣческая дѣятельность должна управляться мыслью, а не похотью. Бывали, конечно, и прежде люди нестерпимые—и даже, пожалуй, они составляли большинство,—но они все-таки знали, чего хотѣли, да и другихъ въ заблужденіе не вводили. Теперь же, куда ни взглянешь, кажется, и свободнѣе, и легче дышать стало, а не дышится, да и все тутъ! А отчего? Оттого, милостивые государи, что жизнь оголилась, что со всѣхъ сторонъ ее такъ и заноситъ всякаго рода неожиданностями.

Въ этомъ разсужденіи есть громадная и глубокая неправда, о которой будетъ сказано ниже; но съ точки зрѣнія непосредственныхъ результатовъ въ немъ все-таки слышится какое-то подобіе истины. Какъ ни ужасно представить себѣ жизнь, стоящую подъ защитой крѣпостного права, но еще невыносимѣе, еще больнѣе сознавать полное оголеніе жизни. Въ самомъ дѣлѣ, куда ни обратитъ взоры, вездѣ вы услышите жалобу на то, что жизнь вышла изъ старой колѣн, а новой колѣн не находитъ; вездѣ увидите людей, изнемогающихъ подъ игомъ неизвѣстности, ницующихъ къ чему-нибудь приурочиться и не находящихся убѣжища. Это до такой степени вѣрно, что даже тѣ, которымъ именно слѣдовало бы дышать легче, и тѣ пришли къ недоумѣнію: отчего, въ самомъ дѣлѣ, не дышится легче? Не рѣдкость даже встрѣчать бывшихъ крѣпостныхъ людей, которые со вздохомъ вспоминаютъ о крѣпостномъ правѣ. Ужели же они защищаютъ его? ужели они желали бы возвратиться къ нему? Конечно, нѣтъ; но такъ какъ обращеніе къ воспоминаніямъ прошлаго не выдумка, то поневолѣ приходитъ на мысль, что эти обращенія, эти вздохи вызываются совсѣмъ не прелестями упраздненнаго, а наготово настоящаго. Не могла крѣпостного права привлекать къ себѣ, а представленіе о томъ цвѣтѣ, который имѣлъ возрасти на этой могилѣ. Очевидно, что упраздненіе есть только односторонняя форма человѣческой дѣятельности; очевидно, что она составляетъ отрицаніе, которое, конечно, можетъ на время увлечь кажущимися перспекти-

вами, по которое, при продолжительномъ дѣйствіи, производить одно недоумѣніе. Никто, конечно, не станетъ защищать финансиста, который, вмѣсто того, чтобы отыскивать новые источники государственныхъ доходовъ и заботиться о сокращеніи государственныхъ расходовъ, предложилъ бы удовлетворить нужды бюджета посредствомъ безконечныхъ займовъ: но съ русскою провинціальною жизнью именно происходитъ нѣчто въ этомъ родѣ. Она ничего новаго не вырабатываетъ, ничего стараго не сокращаетъ (да и сократитъ-то, кажется, нечего), а живетъ какими-то заплатами, настолько темными, что никто не можетъ даже достоверно указать на ихъ источникъ.

Такимъ образомъ, съ одной стороны, освобожденіе жизни отъ путъ, ее связывающихъ, съ другой, вмѣсто ожидаемыхъ благотворныхъ результатовъ, несомнѣнное оскудѣніе жизни—вотъ печальная истина современнаго провинціального быта.

Откуда же происходитъ эта неприкрытость жизни? Гдѣ искать причину повального безсилія, которое заставляетъ человѣка останавливаться на половинѣ дороги, задерживаетъ его въ подробностяхъ и мелочахъ и не допускаетъ до обобщеній и выводовъ?

Вотъ тутъ-то именно мы и встречаемся съ тою вопиющею неправдой, о которой вскользь упомянуто выше и которую аналогисты крѣпостнаго права считаютъ за лучшее скрыть.

Дѣло въ томъ, что хотя крѣпостное право и давало жизни извѣстное прикрытіе, но прикрытіе это было только мнимое. Въ сущности, оно не только ничего не защищало, но, напротивъ того, систематически и на неопредѣленное время подрывало у жизни всякую возможность выработать себѣ какое-нибудь прикрытіе въ будущемъ. Случайность и неожиданность, лежащая въ его основѣ, служили защитой только тому, что само по себѣ было растлѣвающимъ началомъ жизни, тому, отъ чего жизни не было бы ни тепло, ни холодно, если-бы горькій фатализмъ не связывалъ здѣсь двѣ противоположныя сложности—упорный трудъ и не менѣе упорное бездѣлье, и не ставилъ первый въ зависимость отъ второго. Такого рода защита, пожалуй, и теперь есть—стоитъ только взглянуть на сытые и довольныя лица губернскихъ исторіографовъ, чтобы убѣдиться въ этомъ,—но результаты, къ которымъ она приводитъ, стали до такой степени ясны, что никому даже въ голову не приходитъ

назвать ихъ результатами. И прежде, какъ и нынѣ, производилъ никого не воспитывалъ, ничего положительнаго, добраго и плодотворнаго не достигалъ; и прежде, какъ и нынѣ, онъ былъ только параднымъ пугаломъ, за которымъ таился прахъ. И вотъ тѣ бросовыя, размалеванныя стѣнки, которыя казались намъ несокрушимыми укрѣпленіями, разлетѣлись при первомъ дуновеніи вѣтра и сразу обнаружили изумленному міру скрывавшееся за ними умственное и матеріальное убожество...

Есть ли же послѣ этого поводъ утверждать, что крѣпостное право что-то прикрывало, что-то ограждало? Нѣтъ, этого повода нѣтъ, и жизнь того времени была еще менѣе прикрыта, нежели нынѣшняя, только это не замѣчалось тѣми, которые, по своему положенію, одни и могли что-нибудь замѣчать. Искусственныя связи, которыми мы съ такими несмысленными усиліями старались сплотить наши разлѣзающіяся во все стороны немощи, хотя и могли временно ввести въ заблужденіе неопытныхъ, но дѣйствительной связи никогда не представляли. Не говоря уже о томъ, что въ этомъ случаѣ именовъ «связей» прикрывался простой гнетъ, который убивалъ въ самомъ зародышѣ всякій проблескъ народной самостоятельности, эти такъ-пазываемыя связи все общество дѣлили на двѣ половины, которыя равно другъ друга чуждались, а можетъ-быть, даже и равно другъ друга ненавидѣли. Можно ли назвать прикрытою такую жизнь, въ которой каждая составная часть идетъ врозь, въ которой нѣтъ ни силы, ни почва, ни поводовъ для энергій, въ которой все, что ни дѣлается, дѣлается безучастно, апатически, почти съ ненавистью?

Нѣтъ, но въ упраздненіи крѣпостнаго права слѣдуетъ искать причину современнаго орошенія нашей провинціальной жизни, а въ чемъ-то другомъ, и это другое едва ли не въ томъ состоитъ, что мы выраженію «крѣпостное право» придаемъ слишкомъ тѣсный и спеціальныя смыслъ.

Крѣпостное право не въ томъ только заключается, что тутъ съ одной стороны—господа, а съ другой—рабы. Это только внѣшняя и притомъ самая простая форма, въ которой выражается крѣпостничество. Гораздо важнѣе, когда это растлѣвающее начало залегаетъ въ нравы, когда оно поражаетъ умы, и вотъ въ этомъ-то смыслѣ все, что носитъ на себѣ печать произвола, все, что не мѣшаетъ проявленіямъ его дикости, можетъ быть столь же безошибочно названо тѣмъ именовъ, въ силу котораго какой-нибудь Ивашка



или Сёмка, ложась на ночь спать, не знали, чѣмъ они завтра встанутъ: ключниками ли, хранителями господскаго добра, или свинопасами.

Отвѣтимъ себѣ хоть разъ откровенно: знаемъ ли мы, бѣдные, неприкромленные провинціалы, чѣмъ встанемъ завтра съ постелей нашихъ? Знаемъ ли мы, что мы дѣлаемъ и для чего дѣлаемъ? Увѣрены ли мы, что наше разумное дѣйствіе дастъ и результатъ разумный, что дѣйствіе неразумное и послѣдствія будетъ имѣть соответствующія? Отвѣтимъ на эти вопросы и тогда уже спросимъ себя: ужели мы не погрызли по горло въ томъ самомъ крѣпостномъ правѣ, которое дѣлало такъ нестерпимымъ, по своей безалаберной шаткости, положеніе всевозможныхъ Ивашекъ и Сёмокъ?

Порокъ такъ-называемаго крѣпостнаго права не въ томъ одномъ состоитъ, что оно допускаетъ явно безправственнымъ отношеніи между людьми, а въ томъ, что при существованіи его невозможенъ успѣхъ, невозможна жизнь. Въ какихъ бы видахъ, подъ какими бы наименованіями ни проникло въ жизнь это разлагающее начало, оно постигнетъ свою жертву и доканаетъ ее во что бы то ни стало. Какъ хотите хитрите, придумывайте какіе угодно извороты, но когда источникъ изсякнетъ, то воды не будетъ—это несомнѣнно. Напрасно мы будемъ классифицировать наши пороки, напрасно будемъ отдѣлывать ихъ перегородами и отыскивать для каждого свое мѣсто—нѣтъ, это все дѣти одного и того же отца, и имя имъ всѣмъ: крѣпостное право. Не потому оголилась и оголяется жизнь, что крѣпостничество уничтожено, а потому, что оно еще дышитъ, буйствуетъ и живетъ между нами.

Намъ тяжело жить—это правда, намъ тяжело, нежели отцамъ нашимъ—и это опять правда; но не оттого со-всѣмъ, чтобы условія современной жизни измѣнились къ худшему, а оттого, что они *мало измѣнились къ лучшему*. Отцамъ нашимъ много помогало въ жизни безсознательное отношеніе къ ней; мы же хотя и не вышли совершенно изъ положенія безсознательности, но все-таки нѣсколько порастлелись. Это дѣлаетъ наши горести еще болѣе чувствительными, и хотя средствъ, чтобы выйти изъ произвола, мы еще не измыслили, но чувствуемъ, очень чувствуемъ, что не розами около насъ пахнетъ.

Какое заключеніе можно вывести изъ всего сказаннаго выше? Какое будущее ожидаетъ провинцію, ежели мате-

ріальныя и умственныя ея силы будутъ попрежнему устремляться къ—центрамъ? и возможно ли придумать такую комбинацію, которая остановила бы это стремленіе и задержала въ провинціи то, что необходимо для успѣховъ ея развитія?

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что ежели положеніе вещей въ провинціи останется въ томъ же видѣ, въ какомъ оно находится нынѣ, ежели всякая попытка внести въ мѣстную дѣятельность смыслъ будетъ и впредь приниматься нашими исторіографами за попытку подорвать общественныя основы, то провинція въ концѣ концовъ заглохнетъ и порастетъ рпейникомъ. Повторяемъ: несогласно съ законами здраваго разсудка: брать, брать и брать, и никогда ничего не возвращать. Несогласно съ справедливостью называть взаимнымъ обмѣномъ услугу такой обмѣнъ, когда одна сторона все получаетъ, а другая все отдаетъ, а ежели и получаетъ, то въ видѣ какого-нибудь канканирующаго исторіографа, то-есть опять-таки получаетъ убытокъ и огорченіе, а не прибыль и утѣху. Но какого же рода услугу могутъ оказать въ этомъ случаѣ центры своимъ окраинамъ, чтобы оживить ихъ?

— На первый разъ, по моему мнѣнію, совершенно достаточно будетъ, если услуга эта выразится въ четырехъ словахъ: не мѣшать жить провинціи...

Позволительно думать, что требованіе это не заключаетъ въ себѣ никакой притязательности. Мысль объ освобожденіи жизни отъ излишнихъ опекальствъ вовсе не новая; она составляетъ самый явственный и непремѣнный результатъ реформаторскихъ попытокъ послѣдняго времени. Что этотъ результатъ выясняется довольно туго, это еще не доказываетъ ни ненужности, ни даже преждевременности его, а доказываетъ только, что изъ жизни нашей не исчезла еще случайность, которая на каждомъ шагу потчуетъ насъ всевозможными сюрпризами. Пускай исторіографы буйствуютъ и преднамеренно или по глупости извращаютъ смыслъ того, что составляетъ драгоцѣннѣйшее достояніе современной жизни,—мы вѣримъ горячо и искренно, что истинный смыслъ реформы 19-го февраля не потеряется никогда.

Въ чемъ же должно заключаться осуществленіе выраженія «не мѣшать жить»? По нашему скромному мнѣнію, это осуществленіе заключается въ слѣдующемъ: какъ можно менѣе заниматься провинціей, не окружать ее цѣлью неловкихъ опекальствъ, которые только смущаютъ и залути-

вакоть общественное мнѣніе, и не пугаться (можно только не пугаться) при появленіи въ ней признаковъ самодѣятельности.

Намъ, провинціаламъ, очень часто указываютъ на современное земство, на бѣдность добытыхъ имъ результатовъ и на избыточную азбучность понятій, высказываемыхъ въ земскихъ собраніяхъ. Но причины этого явленія отчасти указаны уже въ предыдущихъ письмахъ. Это, во-первыхъ, тѣ пререканія, которыя встрѣтили земство въ самую минуту его появленія, а во-вторыхъ, тѣ непосильныя примѣны, которыя имѣютъ обыкновеніе привязываться у насъ къ каждому дѣлу и которыя не преминули привязаться къ земству. Есть, конечно, и другія, еще болѣе рѣшительныя причины, временно обрекающія земство на безспіе, но объ этихъ причинахъ находимъ благоразумнымъ до времени умолчать.

Не мѣшать жить! Повидимому, какой скромный и не-требовательный смыслъ заключаетъ въ себѣ это выраженіе! А между тѣмъ какъ оно выпрямляетъ человека, какою бодростью вливаетъ въ его сердце, какъ просвѣтляетъ его умъ! Не мѣшать жить! — да въдѣ это значитъ *разрѣшить* жить, искать, двигаться, дышать, шевелить мозгами! Шутка!

Мы очень хорошо понимаемъ, что мысли самыя простыя и естественныя всегда кажутся и самыми страшными; мы понимаемъ также, что простой взглядъ на вещи, при современной путаницѣ понятій, есть взглядъ наименѣе симпатичный. Но мы не можемъ забыть и то, что всякая путаница, даже самая любезная, должна имѣть свой предѣлъ, и что нежеланіемъ посмотреть ей въ глаза мы не устранимъ затрудненіе, а еще болѣе усложняемъ его.

### Письмо восьмое.

Говоря въ прошломъ письмѣ о чрезвычайной скудности творческой силы провинціи, а выразилъ мнѣніе, что причина этого явленія заключается въ томъ, что провинція исполонъ-вѣка только отдааетъ и ничего въ возвратъ не получаетъ, или получаетъ ненужный хламъ въ лицѣ канкапирующихъ исторіографовъ. Отсюда—равнодушіе провинціи даже къ тѣмъ интересамъ, которые ей всего болѣе близки;

отсюда — ея неспособность. И если еще нельзя сказать, что провинція совсѣмъ заснула, то можно сказать въ вѣрносъ, что она не вѣритъ своимъ силамъ и ждетъ поправки своихъ обстоятельствъ не отъ себя самой, а откуда-то издалека.

Очень можетъ быть, что многіе читатели увидѣли тутъ не болѣе какъ парадоксъ; но въ послѣднее время провинція сама взяла на себя трудъ придти на помощь выказанному выше мнѣнію. Передъ нами лежатъ нѣсколько сочиненій, имѣющихъ предметомъ характеристику провинціи и ея существеннѣйшихъ интересовъ. Сочиненія эти принадлежатъ лицамъ, близко знакомымъ съ ходомъ нашихъ провинціальныя дѣла, лицамъ, живущимъ въ провинціи и несомнѣнно принимающимъ самое дѣятельное участіе въ ея судьбахъ. Если даже они подтверждаютъ мнѣнія, выраженныя въ настоящихъ письмахъ, то можно сказать прямо, что мнѣнія эти нисколько не страдаютъ увеличеніемъ.

Что же мы видимъ въ сочиненіяхъ этихъ «свѣдущихъ людей» провинціи, какое поученіе можемъ мы извлечь изъ нихъ? А вотъ что прежде всего: сознаніе безспія провинціи, сознаніе ея неподготовленности къ пріятію удобствъ и преимуществъ самоуправленія.

Всѣмъ извѣстно, что провинція недавно обзавелась земствомъ; извѣстно также, что со стороны общественного мнѣнія земство встрѣтило скорѣе апологистовъ, нежели порицателей. Ничего не совершивъ, оно уже было возжелчено; будучи еще въ зародышѣ, оно предполагалось уже способнымъ оправдать нѣкоторыя надежды. Какія надежды? Чего именно могло ожидать русское общественное мнѣніе отъ этого новаго учрежденія?

Съ достовѣрностью можно сказать, что въ этомъ случаѣ первую роль играло слово «самоуправленіе». Произнесенное рядомъ со словомъ «земство», оно должно было оказывать магическое дѣйствіе. Оно обязывалось сдѣлать изъ провинціи нѣчто въ родѣ маленькаго земного рая, обязывалось поднять умственный и матеріальный уровень страны, способствовать сближенію и даже сліянію сословій, уничтожить злоупотребленія мѣстной администраціи, положить предѣлы ея притязаніямъ, — словомъ сказать, обловить провинціальную жизнь, сдѣлавъ ее возможною не для однихъ брюхопоклонниковъ, но и для людей, не чуждающихся интересовъ мысли. Нѣкоторые восторженныя умы шли да-

лѣе и возлагали на земство разные другія обязательства, какъ, напримѣръ: по освобожденію человѣческой личности отъ произвольныхъ передвиженій, наѣздовъ, наскоковъ, по огражденію домашняго очага и т. д. Эти послѣднія надежды были, конечно, и преувеличены, и преждевременны, но во всякомъ случаѣ казалось не невѣроятнымъ, что съ водвореніемъ земства хоть одно будетъ достигнуто: возможность жить и безъ помѣхи заниматься своимъ дѣломъ.

Но для того, чтобы отвѣтить на эти ожиданія мало-мальски достойнымъ образомъ, надлежало, чтобы земство съ самаго начала приняло свои задачи въ самомъ широкомъ смыслѣ. Суженіе задачъ вообще плохая школа для вновь вступающихъ учреждений. Когда мы говоримъ себѣ: теперь не мѣсто и не время обобщать и расширять вопросы; останемся при тѣхъ подробностяхъ, которыя у насъ подъ руками и которыхъ никто у насъ не оспариваетъ,—то на пути этомъ насъ очень скоро достигнутъ всякаго рода разочарованія. Во-первыхъ, мы убѣждаемся, что границы, существующія между общимъ и частнымъ, совсемъ не такъ строго опредѣлены, какъ это можетъ показаться съ перваго взгляда, и что, какъ бы мы ни усиливались изолировать то или другое частное явленіе, нашъ успѣхъ никогда не будетъ настолько великъ, чтобы исторгнуть изъ него ту интимную сущность, которая вводитъ его въ область общаго. Во-вторыхъ, увлекаясь исключительно подробностями, мы теряемъ изъ виду тѣ общія перспективы, которыя собственно и даютъ подробностямъ смыслъ и цѣну; поэтому мы дѣлаемъ дѣло, можетъ-быть, очень трудное и кропотливое, но во всякомъ случаѣ мало полезное, почти мертворожденное. Въ-третьихъ, наконецъ, мы удостоверяемся горькимъ опытомъ, что, не обезпечивъ широкой и прочной постановки вопросовъ, мы тѣмъ самымъ лишаемъ себя возможности свободно обсуждать и подробности. Въ результатѣ—или безпутное блужданіе безъ цѣли и плана, или непрерывный выходъ изъ тѣхъ границъ, которыя мы сами себѣ назначили, и непрерывное же самоводвореніе въ нихъ. Въ первомъ случаѣ мы будемъ заниматься подробностями не въ зависимости отъ той живой связи, которая соединяетъ ихъ, а по мѣрѣ того, какъ онѣ механически будутъ представляться нашему вниманію; во второмъ случаѣ мы будемъ вращаться въ заколдованномъ кругѣ полумѣръ и въ безплодномъ наблюденіи за самими собою.

Понятно, что такого рода перспектива можетъ привлечь

къ себѣ дѣятелей только на первыхъ порахъ, то-есть тогда, когда еще не вполне раскрылась ее сущность. Но чѣмъ болѣе разъясняется эта послѣдняя, чѣмъ рельефнѣе выступаютъ впередъ ея блужданія, сомнѣнія и оговорки, тѣмъ быстрѣ стихаетъ первоначальная горячность и уступаетъ мѣсто равнодушію.

Итакъ, повторяемъ: чтобы не впасть въ одну изъ упомянутыхъ выше крайностей, чтобы устроить земское дѣло на основаніяхъ дѣйствительно прочныхъ и плодотворныхъ, провинція должна была прежде всего остерегаться отъ какихъ бы то ни было суживаній. Посмотримъ же теперь, какъ она сама взглянула на свое призваніе въ этомъ случаѣ, что говоритъ она объ этомъ призваніи устами своихъ «свѣдущихъ людей».

Пунктъ первый—сознаніе въ неподготовленности. Исторія съ этою неподготовленностью—довольно забавная исторія: это своего рода несокрушимая крѣпость, въ которую мы, провинціалы, охотно укрываемся всякій разъ, когда приходится держать отвѣтъ передъ общественнымъ мнѣніемъ. О чемъ бы ни начался разговоръ, мы никогда не упустимъ оговориться, что мы невѣжды, что мы ни къ чему не подготовлены, что мы чуть-чуть не глупы. Это горькое хвастовство неумѣлостью могло бы принести въ отчаяніе, если-бы несостоятельность его слишкомъ ярко не бросалась въ глаза.

Когда, говоря о человѣкѣ, который никогда не испытывалъ на спинѣ своей воспитательнаго вліянія палки, мы утверждаемъ, что онъ не подготовленъ къ воспріятію его,—это будетъ вполне справедливо и пошито; но если мы ту же мысль перевернемъ, если мы скажемъ: вотъ человѣкъ, который всю жизнь ощущалъ дѣйствіе палки и котораго прекращеніе этого дѣйствія повергло въ смущеніе, — мы скажемъ положительную и очевидную нелѣпность. Существовало у насъ крѣпостное право, и крестьяне довольно продолжительное время пользовались имъ; но когда оно было уничтожено, то едва ли нашелся хоть одинъ человѣкъ, который оказался бы неподготовленнымъ къ этому уничтоженію. Точно то же произошло и относительно судебной реформы; новые суды принялись сразу и никого не нашли неподготовленнымъ.

Неужели и въ самомъ дѣлѣ нужно особенную подготовку, чтобы сразу освоиться съ такою, напримѣръ, вещью, какъ отиѣна тѣлесныхъ наказаній? Ужели это было такое благо,

въ которомъ можно прилѣпиться душою и разлука съ которымъ могла бы кому-нибудь стоить колебаний и борьбы? Нѣтъ, это не такъ. Есть вещи, разставаться съ которыми никогда не рано, точно такъ же какъ есть вещи, для непосредственнаго пользованія которыми не требуется быть ни философомъ, ни политико-экономомъ. Къ числу такихъ простыхъ вещей принадлежить несомнѣнно и то, что мы называемъ самоуправленіемъ. Чѣмъ больше мы будемъ расширять значеніе этого слова, тѣмъ менѣе рискуемъ впасть въ ошибку, потому что оно обнимаетъ собой всё свойства и потребности, которыя опредѣляютъ человѣка. Право на обезпеченность человѣческой личности и на свободу человѣческаго труда, право на неприкосновенность домашняго очага—все это точно такія же простые и удобопонятныя права, какъ и право считать деньги въ своемъ карманѣ, право носить черный или голубой сюртукъ. Чтобы пользоваться этими правами, не требуется ни особенной мудрости, ни чрезвычайныхъ усилій; нужно только, чтобы они были подъ руками.

Слѣдовательно жалобъ на неподготовленность къ самоуправленію едва ли можно принимать буквально. Скорѣе всего ихъ можно объяснить или извѣстною русскою пословицей: «и близко локоть, да не укусишь», или тѣмъ обстоятельствомъ, что мы, провинціалы, охотно ѣдимъ пирожковъ, когда намъ подадутъ его, а если не подадутъ, то довольствуемся и арестантскими щами съ несвѣжею солониной. Мы до того привыкли постепенно обижать себя, что въ концѣ концовъ обижались даже отъ стыда и теперь стоимъ въ раздумьѣ, точно ли мы способны рассудить, что жить безъ розогъ гораздо удобнѣе, нежели жить съ розгами?

Во всякомъ случаѣ, изъ этого невысокаго мнѣнія нашего о самихъ себѣ естественно выходитъ другой любимой нашъ тезисъ. «Ограниченность круга нашей дѣятельности,—говоримъ мы,—есть залогъ ея прочности». Истина соблазнительная, но едина ли она не сдѣлается еще болѣе соблазнительною, если мы выведемъ изъ нея всё логическія послѣдствія, которыми она такъ богата. Вѣдь тогда, пожалуй, окажется, что если совсѣмъ ничего не будетъ, то-есть никакого круга дѣятельности, то дѣло, пожалуй, сдѣлается еще прочнѣе...

Поощряя себя подобными изреченіями, мы приобретаемъ цѣлый арсеналъ недорогихъ истинъ, все достоинство которыхъ въ томъ заключается, чтобы огрѣдить насъ отъ

возникающихъ притязаній жизни и устроить то тихое и безмятежное житіе, память о которомъ завѣщена еще столь любезнымъ намъ крѣпостнымъ правомъ. Въ былое время существовалъ у насъ конекъ: патріархальность; теперь мы выдумали другой конекъ — обличеніе. Несмотря на кажущуюся разницу, и тотъ и другой ведутъ къ одному результату: къ тому, чтобы постепенно запутать дѣйствительные вопросы жизни, а на мѣсто ихъ выдвинуть впередъ безсодержательныя общія мѣста. Конечно, тихое и безмятежное житіе не лишено своей прелести, но спрашивается: можно ли остаться при немъ одномъ, не пожертвовать при этомъ самыми лучшими потребностями человѣческой природы?

Положа руку на сердце, имѣемъ ли мы поводъ сказать, что попринце, которое время и обстоятельства отвели для нашей дѣятельности, настолько пространно, что увеличеніе его угрожало бы намъ опасностью раскидаться и растеряться? Нѣтъ, понятию такого повода не имѣется, потому что предметы этой дѣятельности, въ настоящемъ составѣ ихъ, безъ малѣйшаго затрудненія можно пересчитать по пальцамъ, да и тутъ, навѣрное, останется нѣсколько пальцевъ лишнихъ. Все это такія крупныя подробности, которыя, быть-можетъ, дѣйствительно доставляютъ нѣкоторыя матеріальныя удобства, но которыя отнюдь не вносятъ ничего поваго въ умственную и нравственную жизнь массы. Это подробности слишкомъ низменныя, чтобы рѣшительно вліять на развитіе провинціального быта; не тому надобно удивляться, что онѣ, благодаря земству, представляются, сравнительно съ прежнимъ временемъ, въ лучшемъ видѣ, а тому, что для приведенія ихъ въ этотъ видъ потребовалась столь обширная комбинація силъ. Сельскій сходъ, волостной сходъ—вотъ достаточныя и вполне компетентныя единицы для такихъ немудреныхъ дѣлъ, какъ устройство грунтовой дороги, моста или перевоза въ извѣстномъ районѣ, или равномерное распредѣленіе квартирной и постоянной повинности...

Намъ возражать, конечно, что и волости, и сельскія общества (или замѣнявшая ихъ помѣщичья власть) существуютъ издавна, но земское хозяйство никогда не пользовалось ихъ содѣйствіемъ и ни на волосъ не подвинулось впередъ. Прекрасно: но вѣдь есть же какал-нибудь причина тому, что обыватель не видитъ достаточныхъ побужденій, чтобы заняться даже такимъ близкимъ дѣломъ, какъ мѣстная по-

винность, которая и прямо, и косвенно опутывает все его существование! Ему худо; онъ топить въ грязи своей возы; лошадь его ломаетъ ноги на неспирномъ и ветхомъ мосту; въ избѣ у него располагается постоемъ солдатъ, который, при самыхъ лучшихъ условіяхъ, все-таки составляетъ лишній ротъ—воля ваша, а надобны очень существенныя причины, чтобы молча переносить невыгоду подобнаго существованія. Не въ томъ ли онъ заключается, что онъ все уже отдалъ, что былъ въ силахъ отдать? не въ томъ ли, что у него нѣтъ ни времени, ни возможности убраться кругомъ себя, потому что на немъ *прежде всего* лежатъ исполненіе требованій, слывущихъ болѣе настоятельными, нежели его бросовое кочеечное хозяйство, хотя и касающіяся его лишь косвеннымъ образомъ?

Мы всѣ, добровольно или невольно, живемъ не для себя, и примѣровъ показной жизни намъ не занимать стать. Посетрите на любого чиновника, когда онъ находится на службѣ или въ гостяхъ: какъ на немъ все чисто, какъ онъ подтанутъ, приглаженъ, умытъ! Но загляните слѣдомъ за тѣмъ на тотъ скотный дворъ, въ которомъ онъ живетъ и который называетъ своимъ домомъ, и вы удивитесь поразительной метаморфозѣ, какая представится вашимъ взорамъ. Ужели же его руководить въ этомъ случаѣ какое-то трудно объяснимое пристрастіе къ нечистотѣ? Нѣтъ, скорѣе всего можно объяснить это превращеніе тѣмъ, что несчастный истратилъ послѣднія средства на поддержаніе наружнаго декорама, и затѣмъ, относительно всего остального, его заботитъ только мысль, какъ бы не пропасть и не слѣзнуть въ конецъ. Кто будетъ такъ смѣлъ, чтобы упрекнуть этого человѣка въ равнодушіи къ тому, что самымъ непосредственнымъ образомъ къ нему прикасается? Помните! да тутъ и равнодушія совсѣмъ никакого нѣтъ, а просто есть законъ горькой необходимости, котораго не отвратить никакія требованія о соблюденіи чистоты и опрятности!

Но не въ этомъ вопросъ. Фактъ совершился, и наблюдение за нѣкоторыми подробностями земскаго хозяйства перешло въ руки особаго учрежденія, называемаго земствомъ. Спрашивается: неужели же тутъ конецъ пути?

Увы! если провинція такъ упорно ссылается на свою неподготовленность, то это означаетъ отнюдь не дѣйствительную неподготовленность, а то, что она заранее истратила весь свой духовный и вещественный капиталъ и

истратила его совсѣмъ не для себя. При такой оголѣлости весьма естественно, что она страшится всякихъ новыхъ жертвъ, въ какомъ бы видѣ онѣ отъ нея ни требовались, и что въ каждомъ новомъ явленіи, втирающемся въ ея жизнь, она видитъ не что иное, какъ новую форму новыхъ жертвъ. Съ старинными неудобствами своей обстановки она примиряется совсѣмъ не потому, чтобы они были ей милы, а потому, что на приобрѣтеніе дѣйствительныхъ удобствъ у нея нѣтъ средствъ. Нельзя сказать даже, чтобы она не сознавала, въ чемъ заключается то зло, которое ее гложетъ; она очень хорошо видитъ, какъ уходятъ изъ нея, невѣдомо куда, ея умственные и общественные капиталы; но для того, чтобы поставить подобные вопросы яспо, не всегда можно обойтись безъ риска. Люди, рѣшающіеся на подобную постановку, очень часто бываютъ дурно припечтаны, а еще чаще дурно растолкованы. Ихъ называють мечтателями—слово, которое въ переводѣ почти равносильно разбойнику; ихъ обвиняють въ томъ, что они вносятъ смуту и резню туда, гдѣ до ихъ появленія все было тихо да гладко да Божья благодать. Перспектива всѣхъ этихъ удовольствій покоробитъ любого героя. «А не лучше ли, скажетъ онъ себѣ, бѣжать изъ этой постылой провинціи, а если не бѣжать совсѣмъ, то не укрыться ли подъ защитой неподготовленности?»... неподготовленности къ чему? Право, неловко и горько становится при одной мысли о тѣхъ простыхъ и общедоступныхъ благахъ, о которыхъ мы съ такою постыдною откровенностью говоримъ, что они представляють для насъ «зеленый виноградъ»!

Въ послѣднее время эта провинціальная оголѣлость сказала болѣе опредѣленнымъ образомъ: газеты наши все чаще и чаще оглашаются извѣстіями о неудачахъ, претерпѣваемыхъ земствомъ. Въ одномъ мѣстѣ земское собраніе совсѣмъ не состоялось, потому что не съѣхалось законнаго числа членовъ; въ другомъ мѣстѣ собраніе хотя и состоялось, но не докончило своихъ занятій, потому что часть членовъ разѣхалась прежде срока. Мы знаемъ случаи, когда гласныхъ разыскивали по городу, когда за ними посылали нарочныхъ, съ покорѣншею просьбою прибыть въ собраніе. Нѣтъ сомнѣнія, что радоваться такому положенію дѣлъ нельзя, но и видѣть тутъ поводъ для обвиненія кого бы то ни было въ постыдномъ равнодушіи тоже нѣтъ возможности. Мы, провинціалы, и безъ напоминаній слишкомъ скромны; но когда, несмотря на это похвальное ка-

чество, намъ только и дѣла, что напоминаютъ о скромности, да угрожаютъ тѣмъ, что мы раскидаемся и растеряемся, — мы естественно приходимъ къ заключенію, что вѣдь и въ самомъ дѣлѣ горячиться не нѣтъ-за чего. Всякій пойметъ, что подобныя напоминанія, если они не въ мѣру часты, дѣлаются даже противными; но, сверхъ того, мы можемъ встрѣтиться на этомъ поприщѣ съ другою опасностью: съ обвиненіемъ въ карбонаризмъ. Кому охота претерпѣвать такія награсливы, хотя бы, на примѣръ, по вопросу о распределеніи пунктовъ для стоичныхъ лошадей? Не ясно ли, что всякій благоразумный человѣкъ, при первомъ намекѣ на возможность подобной случайности, возьметъ

... въ охапку  
Кушакъ и шапку,

такъ какъ положительно нѣтъ ни славы, ни выгоды въ томъ, чтобы прослыть страдальцемъ по вопросу о стоичныхъ лошадяхъ...

Но неужели наша провинціальная гольгуба ни къ чему другому не выказала попользованія, кромѣ ограниченія и безъ того ограниченного круга дѣятельности? Нѣтъ, если взять «свидущимъ людямъ», она по временамъ не чуждается и политики — разумеется, скромной...

Область этой политики весьма разнообразна. Предметы ея суть: сближеніе сословій, стремленіе пристроить куда-нибудь дворянство (преимущественно однако-жъ «во главу») и отыскиваніе «великолѣпныхъ свойствъ русскаго народа: не помянуть зла и соединяться. Постараемся однако-жъ разобрать въ подробности сущность этихъ задачъ нашего провинціального политикаства.

Вопросъ о «сближеніи» или «слияніи» необходимо разсматривать въ связи съ вопросомъ о «великолѣпныхъ свойствахъ» русскаго народа, потому что ежели первый можетъ имѣть какую-нибудь силу, то исключительно только благодаря второму. Литература по вопросу о «сближеніяхъ» очень обширна; достаточно взглянуть въ любой журналъ, въ любую газету начала шестидесятихъ годовъ, чтобы непремѣнно встрѣтиться ежели не съ ясно формулированными предположеніями, то съ нѣкоторыми пожеланіями по этому предмету. Нѣтъ сомнѣнія, что въ свое время стремленія эти принесли извѣстную пользу. Одна второна падѣялась найти въ нихъ исходный пунктъ, изъ котораго со временемъ можетъ что-нибудь выработаться и косвеннымъ

образомъ пополнить понесенные внезапно ущербы; другою стороною они придали бодрость и винушили сознаніе (очень, впрочемъ, темное) того значенія, которое она не-ожидално для себя получала. Но дальнѣйшаго развитія стремленій все-таки не послѣдовало, а равно и трагатовъ сколько-нибудь полезныхъ по сему предмету издано не было, по той простой причинѣ, что какъ ни тискайте слово «сближеніе», никакого реальнаго представленія, ничего, кромѣ тавтологій «жалкихъ словъ», изъ него не выжмете.

Но люди неохотно расстаются съ своими мечтами, хотя бы онѣ представляли одинъ пустой звукъ. За недостаткомъ здоровой и реальной почвы, за отсутствіемъ общественныхъ и политическихъ интересовъ, они гоняются за звуками, приятно раздражающимъ слухъ, и думаютъ наполнить ими пустоту своего существованія.

Чтобы поставить вопросъ о сближеніи или слияніи на почву сколько-нибудь реальную, необходимо, чтобы онъ разрабатывался не трансцендентальнымъ какимъ-нибудь путемъ, а путемъ вещественнымъ, для всѣхъ виднымъ и осязательнымъ. Скажемъ болѣе: необходимо, чтобы о самыхъ этихъ выраженіяхъ не было помину, чтобы они были вычеркнуты и замѣнены другими, болѣе опредѣлительными.

Если Петръ или Павелъ объявляютъ во всеуслышаніе, что они «добрые», что они любятъ и жалѣютъ «сихъ малыхъ», то изъ этого объявленія покажется ничего еще не выходить, кромѣ сотрясенія воздуха. Они, конечно, могутъ подкрѣпить свое объявленіе тѣмъ, что, имѣя возможность быть грубыми съ меньшею братією, не воспользуются этою возможностью, но и это только сдѣлаетъ честь имъ лично, но особенныхъ плодовъ не принесетъ, по той причинѣ, что гуманное обращеніе съ людьми принадлежитъ къ числу тѣхъ простыхъ вещей, которыя всѣми, даже непривычными къ нему, сразу принимаются, какъ должное. Затѣмъ, если тѣ же Петръ и Павелъ, недовольные тощими результатами, полученными отъ ихъ объявленія, пожелають идти далѣе, то они уже обязаны прискаты для своихъ попользованій форму болѣе положительную. Вѣрнѣйшій путь, который представляется имъ въ этомъ случаѣ, есть путь болѣе равномернаго распределенія правъ и благъ. Но такъ какъ этотъ путь тернистый, который могъ совсѣмъ и не быть въ ихъ разсчетахъ, то существуетъ другой путь, хотъ

и не столь рѣшительный, но во всякомъ случаѣ приличный. Путь этотъ можно формулировать такъ: рѣшить однажды навсегда, что отношенія между людьми, въ какихъ бы положеніяхъ они ни находились, должны быть основаны на идеѣ *равноправности*.

При такомъ воззрѣніи на дѣло отношенія между людьми становятся совершенно ясными. Конечно, бесполезно было бы связывать съ подобнымъ положеніемъ понятіе о нормальности, но, по крайней мѣрѣ, оно не отуманиваетъ никакихъ глазъ, исключаетъ всякую идею о лицемѣрїи и допускаетъ борьбу и поправку. Несомнѣнно, что борьба съ организованной силой представляетъ очень мало утѣшительнаго, но все же она имѣетъ болѣе шансовъ успѣха, нежели борьба съ пустыми звуками или даже съ обманомъ, надѣвающимъ на себя лицемѣрную маску благосклонности.

Нѣтъ ничего хуже и несноснѣе того положенія, когда васъ куда-то заманиваютъ и при этомъ не сказываютъ, куда. Почему не сказываютъ?—потому отчасти, что сами не знаютъ, а отчасти и потому, что слишкомъ хорошо знаютъ. Кому пужно сближеніе? Для чего оно пужно? Разберитѣ эти вопросы внимательно, и вы убѣдитесь, во-первыхъ, что «сближеніе» въ данномъ случаѣ есть терминъ односторонній и, во-вторыхъ, что это терминъ или совсѣмъ пустой, или неблаговидный. Во всякомъ случаѣ, это терминъ вредный, ибо при его посредствѣ отрывается масса людей отъ дѣйствительныхъ интересовъ и дѣлается добычей интересовъ мнимыхъ; отнимается у производительнаго труда и приглашается къ празднованію.

Возможность сближенія есть дѣло вполне законное, но надобно, чтобы въ основѣ его лежала обоюдная свобода и обоюдная равноправность. Провинція говоритъ: этой возможности данъ широкій исходъ въ земствѣ и его органахъ; апологисты же сближенія прибавляютъ: «гласные отъ землевладѣльцевъ-помѣщиковъ и гласные отъ крестьянъ сѣли за однимъ столомъ, какъ будто вѣкъ за ними сидѣли, и занялись общими дѣлами, не помнящая прошлаго» («Голосъ изъ земства», стр. 9). Прекрасно. Но, во-первыхъ, гласные земскихъ собраній занимаются не теорїями сближеній, а какимъ ни на есть дѣломъ; во-вторыхъ, сословные элементы въ этихъ собраніяхъ распределены (практикою, а не закономъ) далеко не столь равномерно, чтобы можно было вывести положительное заключеніе, насколько послѣдовало

или не послѣдовало предполагаемое сближеніе; въ-третьихъ, наконецъ, чтобы убѣдиться въ дѣйствительности этого сближенія, нелишне было бы предварительно испытать гласныхъ отъ крестьянъ, хорошо ли они себя чувствуютъ, «сидя за однимъ столомъ съ гласными отъ землевладѣльцевъ-помѣщиковъ». И вотъ провинція проговаривается. «Всего важнѣе,—говоритъ она:—что дворяне-землевладѣльцы становятся во главѣ земства». Вотъ это такъ, это дѣйствительно важно. Но съ этого-то именно и надлежало начать разговоръ, а не запутывать его сѣтью вводныхъ предложеній, трактующихъ невѣдомо о чемъ.

Предположимъ однако-жъ, что вопросъ о сближеніяхъ какимъ-нибудь чудомъ дѣйствительно приводится къ разрѣшенію—какой результатъ предвидится получить отъ него? Результатъ одинъ: возвращеніе къ патріархальности и ко всемъ послѣдствіямъ, изъ нея вытекающимъ. Иного, при всемъ желаніи, придумать нельзя.

Нельзя, потому что нѣтъ довольно содержательнаго общаго дѣла, по поводу котораго могло бы произойти сближеніе. Современное дѣло, которое выставляетъ впередъ провинція, не можетъ быть этимъ поводомъ, покуда въ принципѣ его лежитъ опасеніе раскидаться и растеряться; другихъ же дѣлъ покажется не предвидится. Вотъ если бы провинція поставила себя къ разрѣшенію такой вопросъ: отчего она годъ отъ году бѣднѣетъ; отчего она живетъ не для себя и не своею, а заемствованною жизнью; отчего наконецъ исчезаютъ изъ нея ея умственные и вещественные капиталы; тогда, несомнѣнно, она получила бы и возможность, и поводъ для сближеній въ самыхъ обширныхъ размѣрахъ. Тогда, если-бъ попользованія ея и встрѣтили фіаско, она имѣла бы, по крайней мѣрѣ, дѣйствительное право упрекнуть кого слѣдуетъ въ неподготовленности и законности.

Но провинція очень хорошо понимаетъ, что такого содержательнаго и общаго дѣла нѣтъ, и потому всѣ надежды устремлены къ «великодушнымъ свойствамъ» русскаго народа. Эти свойства, на которыхъ основанъ весь процессъ слятельной операци, называются такъ: способность не помнить зла и соединяться. Постараемся придать этимъ темнымъ обидимъ мѣстамъ сколько-нибудь вразумительную и осязательную форму.

Какъ слѣдуетъ понимать «зло»? Есть ли это вѣчто такое, что необходимо и даже полезно помнить и въ какомъ

смыслъ помнить? или же относительно этого предмета во всякомъ смыслѣ должно руководствоваться словами поэта:

То, что было, то пройдетъ;  
Что пройдетъ, то будетъ мало...

Какъ бы мы ни старались ограничивать смыслъ употребляемыхъ нами словъ, но есть выраженія, относительно значенія которыхъ сомнѣнія невозможны. Къ числу такихъ выраженій принадлежатъ и «зло». Какъ ни укорачивайте его смыслъ, оно всегда будетъ означать совокупность такихъ явленій, которыя приносятъ вредъ обществу, останавливаютъ свободное и естественное развитіе народныхъ силъ, дѣлаютъ изъ людей автоматовъ, подчиняющихся не сознательной идеѣ добра и пользы, а ужасу, внушаемому гнетомъ преслѣдующей ихъ силы, и обрекаетъ полному устраненію творческой способности громаднаго количества людей. Вотъ дѣйствительный смыслъ слова «зло», и въ этомъ, конечно, смыслъ несомнѣнно понимаетъ его и провинція, когда хлопочетъ о «забвеніи зла». Это «зло» очень недавно называлось у насъ крѣпостнымъ правомъ и дѣйствительно заключало въ себѣ признаки, которые указаны выше.

Это зло, произведенное не Петромъ и не Иваномъ, а зло историческое, зло, разлитое въ цѣломъ порядкѣ вещей, поглощающее въ себѣ одинаково и Петра, и Ивана. Правильно ли и благоразумно ли настаивать на забвеніи такого зла? Не равносильно ли это требованію забыть уроки прощлаго, забыть исторію?

Источникъ подобныхъ настояній очень понятенъ. Несмотря на наши равнивыя старанія отдѣлать частное отъ общаго, мы безпрестанно смѣшиваемъ я то, и другое. Поэтому намъ кажется, что когда говорятъ о «злѣ», то непременно подразумеваютъ тутъ или Петра, или Ивана, которые были видимымъ олицетвореніемъ этого зла. Но это не такъ. Вмѣсто того, чтобы говорить: забудьте зло, слѣдуетъ выражаться проще: не мстите Ивану, не отплачивайте ему зломъ за зло. Но и тутъ мы понимаемъ подобныя увѣщанія только потому, что такого рода фразы, вслѣдствіе частаго и не совсѣмъ осмысленнаго употребленія, до того пріучили къ себѣ нашъ слухъ, что мы уже не формализуемся нелогичностью, которая въ нихъ заключается. Въ сущности Иванъ не имѣетъ никакой надобности ни въ прощеніи, ни даже въ молчаливомъ забвеніи зла. На объявленіе ему прощенія онъ съ полнымъ основаніемъ мо-

жетъ отвѣтить: «за что же вы стали бы мстить мнѣ? гдѣ ваше право для мести? развѣ я повиновался не тому же закону, какому повиновались и вы? развѣ я обязывался быть героемъ и одного себя поставить внѣ вліянія общаго закона? развѣ геройство не исключительное явленіе? развѣ большинство людей обязано къ чему-нибудь, кромѣ дѣла среднихъ?» И Иванъ, несомнѣнно, будетъ правъ, ибо массы хотѣ и могутъ по временамъ припоминать разнымъ Петрамъ и Иванамъ нѣкоторыя ихъ излишества, но случаи такихъ припоминаній такъ исключительны, что совершенно утопаютъ въ общемъ принципѣ забвенія. Въ дѣйствительности всѣ частныя ущербы давно схоронены и забыты, и сакея, напиримѣръ, помѣщикъ, исключенный съ крестьянами въ составъ одной и той же волости, ни подъ какимъ видомъ не увидится съ ними, то это имѣетъ прозойти не вслѣдствіе живой памяти прошедшаго, а вслѣдствіе полного несходства въ обстановкѣ и привычкахъ того и другого сословія.

Представленіе о злѣ сопрягается не съ Иванами и Петрами, а съ мыслью объ известномъ положеніи. А относительно этого послѣдняго вопросъ заключается не въ томъ, чтобы озлобиться и кипѣть, а въ томъ, чтобы на будущее время предотвратить возобновленіе зла подъ какими бы то ни было формами и наименованіями. Не къ ненависти и преслѣдованію призывается потерпѣвшая сторона, а къ осторожности и осмотрительности. Она на собственномъ опытѣ, собственной грудью убѣдилась, какія тяжкія послѣдствія могутъ содержать въ себѣ нѣкоторыя явленія жизни, и должна воспользоваться этимъ опытомъ, чтобы оградить себя отъ подобныхъ послѣдствій въ будущемъ. Не одну себя она ограждаетъ, поступая такимъ образомъ, а настоящее и будущее цѣлой страны. Отвѣтственность, лежащая на ней, слишкомъ серьезна, чтобы можно было рисковать ею за чечевичную похлебку, или изъ-за желанія добыть тихое безмятежное житіе, или даже... изъ-за чести сидѣть за какимъ-то «однимъ столомъ».

Изъ всего сказаннаго выше можно вывести заключеніе о степени великолѣпія тѣхъ свойствъ, на которыя возлагаетъ надежды провинція. Если они существуютъ на дѣлѣ, то это обстоятельство не только не можетъ служить предметомъ для восхищеній, но, напротивъ того, должно свидѣтельствовать о самомъ изумительномъ и безпримѣрномъ легкомысліи. Способность забыть—это не способность развиваться, это безнадежность въ будущемъ. Но этого



нѣтъ, этому невозможно повѣрить. Какъ-то легче дашится при мысли объ отсутствіи этого качества, нежели при мысли о его присутствіи. Конечно, твердыхъ доказательствъ ни за, ни противъ представить нельзя, ибо въ той путаницѣ понятій и отношеній, которая развивается передъ нашими глазами, трудно отличить, что составляетъ признаки способности забывать и что принадлежитъ простому равнодушію; но, какъ ни затруднителенъ выборъ между этими двумя альтернативами, будемъ думать, что равнодушію принадлежить здѣсь первое мѣсто. Это также не совсѣмъ утѣнительно, но все-таки лучше, нежели забвеніе вчерашняго дня.

Третій предметъ нашего провинціального политиканства составляютъ заботы объ устройствѣ дворянства. Можно даже сказать, что и прирученіе массъ, и открытіе въ нихъ великоблѣннаго свойства забвенія вчерашняго дня— все это не болѣе, какъ приличный подходъ къ главной задачѣ, долженствующей увѣнчать зданіе. Это фундаментъ, безъ котораго вся послѣдующая махинація не можетъ имѣть прочности.

Странное дѣло! покуда существовало крѣпостное право, никому не приходило въ голову усомниться въ существованіи русскаго дворянства. Это существованіе заявляло себя цѣлымъ рядомъ такихъ дѣйствій, которыя самаго непробуждающаго человѣка заставляли вѣрить. Дворянство имѣло свои собранія и своихъ представителей; оно рассуждало о своихъ нуждахъ; оно, въ извѣстной степени, имѣло право суда надъ своими членами, оно управляло не только своими дѣлами, но пользовалось значительной долей въ отправленіи дѣлъ общегосударственныхъ, имѣя въ своихъ рукахъ судъ и полицію. Трудно было не повѣрить тому, что всегда стояло какъ живое передъ глазами, то въ видѣ помѣщика, творящаго судъ и расправу, то въ видѣ исправника, творящаго судъ и расправу, то въ видѣ судьи или засѣдателя, творящихъ судъ и расправу. Это было сословіе, какъ бы предназначенное природой для суда и расправы; оно одно имѣло возможность предъявлять нѣкоторую силу среди общаго безсилія, нѣкоторую инициативу среди общаго безмолвія. Но главная и самая характеристическая черта, которая проходитъ сквозь всю исторію этой корпоративной силы, заключается все-таки въ томъ, что, однажды устроившись, она до самаго конца оставалась при этомъ устройствѣ, занимаясь повтореніемъ задовъ и ни разу не поставивъ себя вопроса, возможно ли для нея дальнѣйшее развитіе.

въ какомъ именно смыслѣ и въ какую сторону? Будущее для нея не существовало.

Но будущее имѣетъ за собой то неудобство, что оно непремѣнно является въ срокъ. Въ настоящемъ случаѣ оно пришло въ видѣ упраздненія крѣпостного права—и что же оказалось? Что одного удара было достаточно, чтобы ослабить всѣ связующія нити; что, вмѣстѣ съ исчезновеніемъ крѣпостного права, исчезло и дворянство!

Это говорить не нашъ одинокій голосъ; это говорятъ компетентные люди провинціи. Конечно, не слѣдуетъ понимать это исчезновеніе въ буквальномъ смыслѣ, но жалобы на то, что дворянство осталось какъ будто не при мѣстѣ, приобрѣтаютъ значительную долю основательности. «Дворянство,—пишетъ г. Кошелевъ:—перестало существовать на дѣлѣ... правда, оно еще собирается имѣть своихъ предводителей, свое депутатское собраніе, но собственно дѣлъ сколько-нибудь важныхъ у него не осталось никакихъ». Все это истинная правда, но какъ выйти изъ этого положенія? Какъ наполнить досугъ большого количества людей, какъ будто оставшихся за штатомъ? Ближе всего было бы сказать имъ: пользуйтесь тѣми правами, которыя всецѣло при васъ оставлены, пользуйтесь нашею сравнительною политическою зрѣлостью и помышляйте о себѣ сами; но оказывается, что это легче сказать, нежели исполнить. «Мы не подготовлены!—вопіетъ провинція:—насъ учили, что мы оплотъ! растолкуйте, по крайней мѣрѣ, что это за должность, и какія соединены съ нею права?» Вотъ невыгода туманныхъ опредѣленій. Казалось, хорошее слово «оплотъ», и было даже время, когда всѣ понимали его безъ толкованій, и вдругъ обнаружилось, что его даже объяснить нельзя! Обнаружилось, что, несмотря на скрывавшуюся за нимъ корпоративную связь, такихъ правъ, за которыя можно было бы удержаться, чтобы обставить ими новое положеніе, оно совсѣмъ не представляетъ.

Вслѣдствіе этого возникла потребность прибѣгнуть, для устройства этого положенія, къ искусственнымъ мѣрамъ, и первую желательную мѣру въ этомъ смыслѣ, конечно, представилась *притиска* къ чему-нибудь.

Провинція не можетъ понимать, не можетъ терпѣть человѣка, къ чему-нибудь не *притиса*ннаго. Куда же притисать? Казалось бы, всего естественнѣе для человѣка притисать его къ свободѣ, но тутъ встрѣчаются серьезныя, почти непреодолимыя препятствія. Что такое свобода?—

Это, по мнѣнію провинціи, какое-то странное положеніе между небомъ и землею, это безвоздушная пустота. Выпустить человѣка на свободу—значитъ подвергнуть его всевозможнымъ бѣдствіямъ и горькимъ случайностямъ; это все равно, что пустить его слоняться по свѣту безъ паспорта, заставить жить со дня на день въ вѣчныхъ поискахъ за кускомъ хлѣба. «Кто ты таковъ?—спросить его на первой заставѣ:—какъ твое имя и къ чему ты приписанъ?»—Я ни къ чему не приписанъ,—отвѣтитъ свободный человѣкъ:—по упущенію, я приписанъ къ свободѣ.—«Такъ, значитъ, ты непомнящій родства? взять его въ часты!»—скажетъ заставная стража, и скажетъ весьма основательно, ибо слыханное ли дѣло—встрѣтить человѣка, приписаннаго къ свободѣ?

Понятно, что такое неопредѣленное, почти тревожное положеніе не можетъ казаться привлекательнымъ нашей провинціальной интеллигенціи. Она привыкла, чтобы ея паспорта были безукоризненно чисты, чтобы, при появленіи ея на заставахъ, не раздавалось никакихъ другихъ восклицаній, кромѣ: «подвысы!» Да, надобно приписаться, надобно во что бы то ни стало. Куда? къ дворянскому собранію? но вѣдь у него даже дѣлъ никакихъ нѣтъ! Къ земству? но вѣдь мы и безъ того тамъ находимся? вѣдь никто насъ оттуда не выгоняетъ?

Въ томъ-то и дѣло, что приписка припискѣ рознь, что бываетъ приписка, на достиженіе которой нужно потратить немало времени, труда и способностей, и бываетъ другая приписка, которая приходитъ сама собою. Сверхъ того, надо приписаться не туда, куда Богъ пошлетъ, а именно «во главу», иначе намъ не придется. Не вѣдь вы сами же говорите, что земское дѣло—дѣло общее, сословное; это же явствуетъ и изъ смысла законодательства?—Да, это такъ, но посудите сами! образованность, матеріальная обеспеченность...—Очевидно однако-жъ, что всѣ эти оговорки очень плохо вяжутся съ сущностью вопроса. Образованность и матеріальная обеспеченность, конечно, представляютъ права на вниманіе, но онѣ никогда не считались въ числѣ сословныхъ принадлежностей и привилегій. По временамъ обстоятельства сосредоточиваютъ эти блага въ томъ или другомъ сословіи; но невозможно же допустить, чтобы они служили для прикрытія сословныхъ претензій. Передъ вами человѣкъ, который имѣетъ въ свою пользу преимущество образованности—это несомнѣнно дѣлаетъ ему честь; но было бы въ высшей степени странно, если-бъ онъ связывалъ съ

этимъ преимуществомъ какое-нибудь право, исходящее по изъ него самого, а напоминающее идею сословности...

Но возвратимся къ исходной точкѣ пастолцаго письма. Не можетъ подлежать сомнѣнію, что провинція сама признается въ своемъ безсиліи. Даже въ тѣхъ немногихъ случаяхъ, когда ей дѣйствительно приходится задуматься надъ мыслью о необходимости обновить свои силы, она приступаетъ въ дѣлу не прямо, а избобрѣгаетъ искусственную обстановку; не только не ведущую къ разрѣшенію возникающихъ вопросовъ, но положительно затемняющую ихъ. Понятно, что, при такомъ неумѣнн освободить свою мысль, свои взгляды на положеніе, она остается на одномъ мѣстѣ и не можетъ извлечь всѣхъ выгодъ даже изъ тѣхъ реформъ послѣдняго времени, которыя наиболѣе благоприятствуютъ ея развитію.

Крестьяне, между прочимъ, составляютъ одинъ изъ главныхъ элементовъ провинціальной интеллигенціи. Какъ были они «меньшею братіей», такъ и остались ею, несмотря на вновь открытыя «великолѣпныя свойства соединяться и не помнить зла». Они поголовно пьянствуютъ, они не выполняютъ принимаемыхъ ими на себя обязанностей, они допускаютъ безразсчетные раздѣлы семей; словомъ сказать, совершенно отбились отъ рукъ, приобрѣли привычку грубить и почти утратили человѣческій образъ, сохранивъ однако... «великолѣпныя свойства соединяться и не помнить зла». Не мѣшаетъ прибавить къ этому перечню, что, кромѣ того, они сохранили еще «великолѣпное свойство» уплачивать подати и отбывать натуральные повинности, и что всѣ расходы по части сближеній и сляній должны пасть не на кого иного, а на тѣхъ же пьяныхъ и отбившихся отъ рукъ крестьянъ. Мы охотно рисуемъ картины разврата русскаго крестьянина, а въ результатѣ оказывается, что нигдѣ не выпивается вина такъ мало, какъ въ Россіи, и что, въ большинствѣ случаевъ, отъ крестьянъ же идетъ инициатива относительно учрежденія сельскихъ школъ. Это должно было бы воздержать насъ отъ голословныхъ обвиненій.

Для того, чтобы лучше понять, въ какомъ видѣ представляется дѣйствительность общественное положеніе нашего крестьянина, возьмемъ для примѣра хоть вопросъ о правоспособности. Говорятъ, крестьянинъ правоспособенъ, и дѣйствительно, мы думаемъ, что правоспособность крестьянъ составляетъ одно изъ лучшихъ приобретеній, дан-

ныхъ реформою 19-го февраля. Затѣмъ спрашиваютъ: что же сдѣлали крестьяне изъ этой правоспособности? Какую пользу они извлекли изъ нея для себя и для общества? Этого одного вопроса бываетъ совершенно достаточно, чтобы возбудить цѣлый потокъ самыхъ непринужденныхъ шутокъ. Но позволяте, милостивые государи! Во-первыхъ, этотъ вопросъ можно предложить и не однимъ крестьянамъ, въ пользу которыхъ все-таки найдутся кое-какія оправданія, а и другимъ, для которыхъ возможность оправдаться гораздо труднѣе; а во-вторыхъ, ужели же не всѣмъ достаточно извѣстно, что слишкомъ часто намѣренія самыя добрыя и совершенно ясныя не ограждены отъ сюриризовъ самыхъ невѣроятныхъ и неожиданныхъ? Стѣнитъ только сослаться на такъ-называемыя мужицкіе бунты, чтобы убѣдиться въ томъ, въ какомъ тѣсномъ положеніи иногда находится крестьянская правоспособность.

Извѣстно, что у насъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ ежегодно происходитъ по нѣскольку бунтовъ. Это словно болѣзнь какая-то, или, пожалуй, просто дурная привычка. Во всякомъ случаѣ, это явленіе очень любопытное; но чтобы читатель не пришелъ отъ него въ отчаяніе и могъ убѣдиться, что «чортъ» совсѣмъ не такъ страшенъ, какъ его малюютъ», мы постараемся разсказать здѣсь одинъ примѣрный бунтъ, не въ томъ, разумѣется, видѣ, какъ его обыкновенно малюютъ, а въ томъ, какъ онъ зарождается и происходитъ въ дѣйствительности.

Въ силу упоминаемой выше правоспособности, крестьяне, какъ и всѣ вообще члены русской семьи, обладаютъ правомъ петиціи или ходатайства. Они могутъ терпѣть стѣсненія со стороны поставленныхъ для управленія ими лицъ, могутъ терпѣть ущербы влѣдствіе предпринимаемыхъ относительно ихъ и не оправдываемыхъ закономъ мѣръ; наконецъ, въ качествѣ людей, они могутъ даже ошибаться, то есть видѣть нарушение права тамъ, гдѣ его въ дѣйствительности нѣтъ, въ каковыя ошибки они впадаютъ, впрочемъ, весьма осмотрительно, ибо знаютъ, что отъ нихъ, и только отъ нихъ однихъ, требуется, чтобы они были мудры какъ зми и кротки какъ голуби. Состоя подъ ярмомъ общиннаго управленія, они всякую мѣру, всякое распоряженіе, а стало-быть, и всякое злоупотребленіе закона ощущаютъ живѣе, ибо ощущаютъ его, во-первыхъ, лично каждый за себя и, во-вторыхъ, за всю общину. Отсюда необходимость сходовъ, необходимость общаго совѣта; а

такъ какъ цѣлымъ обществомъ ходатайствовать неудобно и неучтиво, то изъ этого проистекаетъ надобность въ избраніи ходяковъ или ходатаевъ. Кажется, до сихъ поръ все идетъ законно, и ежели дѣло пойдетъ дальше своимъ естественнымъ путемъ, то никакого замѣнательства отъ подобныхъ ходатайствъ быть не должно. Если ходатаи правы—требуется удовлетворить ихъ; если неправы—слѣдуетъ отказать, употребивъ, конечно, нѣсколько лишнихъ минутъ, чтобы отказъ былъ выраженъ въ формѣ для нихъ вразумительной.

Но мы, провинціалы, смотримъ на это дѣло иначе, ибо у насъ на первомъ планѣ «принципы». Въ нашихъ глазахъ, крестьянинъ совсѣмъ не обыватель, а подчиненный. Ежели онъ правъ, то хотя и можно удовлетворить его, но или только въ половину, чтобы очень не возмечталъ, или не сейчасъ, а со временемъ, и во всякомъ случаѣ такъ, чтобы нельзя было примѣтить, что при этомъ обвиняется то лицо, на которое приносится жалоба. Обвинить начальника да въдѣ это значитъ нарушить основной принципъ! *Entendons-nous, que diable!* Можно со временемъ, при случаѣ, наединѣ замѣтить, распечь, можно даже отыскать какой-нибудь посторонній поводъ, чтобы приличнымъ образомъ отдѣлаться отъ неумѣлаго, но обвинить его тутъ... сейчасъ, въ глазахъ жалобщика—сохрани Боже! это значитъ поощрять бунты. Это значитъ прямо сказать бунтовщикамъ: бунтуйте, голубчики! мы сейчасъ все по-вашему сдѣлаемъ. Таковъ образъ дѣйствія, на случай правоты. Если же ходатаи неправы, то исторія упрощается еще больше. Разсуждать съ мужикомъ, доказывать, почему онъ неправъ, объяснять, что обычное право, которымъ онъ зачастую руководствуется, не всегда находится въ согласіи съ правомъ писаннымъ, что онъ въ извѣстныхъ случаяхъ обязанъ отказать отъ перваго и подчиниться второму,—все это далеко не въ нашихъ обычаяхъ. Это опять-таки значило бы поощрять бунты и вызывать къ непоновенію властямъ. Мы любимъ, чтобы насъ понимали сразу, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда мы сами себя не понимаемъ; а если насъ не понимаютъ, то гораздо легче простереть руки, нежели надсаживать грудь объясненіями.

Такимъ образомъ источникъ нашихъ бунтовъ намѣчивается самъ собою; онъ можетъ быть сформулированъ такъ: бунты происходятъ отъ невозможности вывести какое-либо поученіе изъ безмолвнаго или сопровождаемаго однослож-

ными звуками простиранія ружь. Затѣмъ уже начинается дальнѣйшее развитіе зародившагося бунта.

Возвращаются сконфуженные ходаки домой и ничего толкомъ рассказать не могутъ, кромѣ одного: всего довольно было! Однако общинники любознательны. Каждый изъ нихъ, взявъ порознь, можетъ быть, махнулъ бы рукой, но ихъ связываетъ общинное начало, которому дѣло до всего, даже до коробки крестьянской дѣвки.

Отвѣтъ: всего было довольно!—не можетъ удовлетворить общину. Этотъ отвѣтъ нимало не подвигаетъ впередъ ея дѣла, а это дѣло должно быть во что бы то ни стало подвинуто, потому что община не можетъ ни выжидать, ни извернуться! Во-первыхъ, она слишкомъ велика, чтобы извертываться какими-нибудь замѣняющими средствами; во-вторыхъ, она именно на то и община, чтобъ все въ ней было прочно и загодя опредѣлено. И вотъ община невольнымъ образомъ рѣшается продолжать свое домогательство, потому что ей лекуда уйти отъ него, потому что это домогательство завтра вновь встанетъ передъ нею въ той же силѣ, какъ и сегодня. Это служитъ поводомъ для выбора новыхъ ходаковъ; а такъ какъ неразвитый умъ прежде всего поражается количествомъ, то для пущей вѣрности число выборныхъ увеличивается. Но съ этими уже и не разговариваютъ, а прямо ведутъ въ кутузову, потому что новая настойчивость общины кажется уже не проступкомъ и недоразумѣніемъ, а явнымъ и сугубымъ посягательствомъ къ возмущенію противъ властей.

Но будемъ описывать дальнѣйшія перипетіи бунтовской драмы; онѣ извѣстны всякому, кто не на одну только минуту заглядывалъ въ провинцію, а жилъ въ ней и приматривался къ ея дѣламъ. Спрашивается: ужели въ этомъ фактѣ (одномъ изъ множества) можно видѣть хоть малый признакъ того, что называется самоуправленіемъ? и неужели не первая обязанность людей, произвольно или по праву называющихъ себя «лучшими», обратить вниманіе на освобожденіе провинціальной жизни отъ той нестерпимой рутины, которая наложена на нее исторіей, хотя бы это было даже въ ущербъ нѣкоторымъ несомнѣнно полезнымъ подробностямъ, составляющимъ нѣкій предметъ слѣпкомъ исключительной ихъ заботливости?

Но покажите довольно. Провинція говоритъ: «ограничимъ кругъ нашей дѣятельности, ибо, въ противномъ случаѣ, мы можемъ раскидаться и растеряться». И, говори

такимъ образомъ, она думаетъ, конечно, быть представительницею консервативнаго элемента, не подозревая, что послѣдній имѣетъ свои границы, переступивъ которыя онъ становится уже не консервативнымъ, а разрушающимъ и истощающимъ...

### Письмо девятое.

— Какъ дѣлается русская денга? Та русская денга, которая, съ одной стороны, служитъ на пополненіе общаго ящика, а съ другой стороны, на удовлетвореніе эстетическихъ потребностей досужихъ людей,—вотъ вопросъ, котораго отнюдь не слѣдуетъ предлагать нашимъ губернскимъ исторіографамъ. Они, навѣрное, отвѣтятъ, что денга родится въ голенищѣ мужицкаго сапога, или, по малой мѣрѣ, припалась у мужика въ шинѣ. Больше ничего эти люди не знаютъ, и, надо сказать правду, это неизреченное невѣжество страннымъ образомъ способствуетъ успѣху тѣхъ операцій, которыя совершаются ими. Обладай они хотя скуднымъ пониманіемъ того, что происходитъ вокругъ нихъ, внеси они въ свои дѣйствія, въ свои отношенія къ людямъ и къ дѣлу хотя малѣйшій признакъ сознательности, въ нихъ, безспорно, не сохранилось бы и сотой доли той развязности и безсовѣстной рѣшимости, которыя обуреваютъ ихъ теперь.

— Куда дѣвалась наша торговля?—вопрошають другъ друга исторіографы, встревоженные тѣмъ, что говядина поднялась съ трехъ до семи копеекъ на фунтъ:—помните ли, какое множество возовъ покрывало наши площади въ базарные дни, и какіе были вozy! чего-чего только на нихъ ни было! Куда все это дѣвалось? спрашиваю я васъ... je vous le demande un peu!

И, не ожидая отвѣта, котораго, впрочемъ, ни одинъ изъ этихъ несчастныхъ и дать не можетъ, присовокупляетъ:

— Ммерррзавцы!

Къ кому относится послѣднее восклицаніе—этого, разумеется, не сумѣетъ опредѣлить ни одинъ исторіографъ. Тутъ какая-то путаница, подъ которою скорѣе слѣдуетъ понимать общее, смутно чувствуемое положеніе вещей, нежели факты или лица. Тутъ и мужики примѣшались, и къ нигилистамъ имѣется какая-то темная прикосновенность, и еще о какихъ-то господахъ идетъ рѣчь, которые никогда,

впрочемъ, прямо не поименовываются, но известны подъ названіемъ «подлецовъ» и «измѣнниковъ».

Легкомысліе исторіографовъ, вообще, изумительно, но оно положительно не знаетъ предѣловъ, когда дѣло касается до причиненныхъ имъ обидъ. Въ этомъ случаѣ исторіографъ рѣшительно не знаетъ, на чемъ сосредоточить бродячую мысль свою; онъ мечется изъ стороны въ сторону, обвиняетъ, оправдываетъ, потомъ опять обвиняетъ, опять оправдываетъ. Ни къ какому положительному заключенію онъ никогда не приходитъ, такъ что можно подумать, что всю эту исторію отъ дня для того только и затѣялъ, чтобъ обнаружить встревоженное состояніе своей души.

— Нѣтъ! Это что—мужики!—говоритъ онъ съ налитыми мадерой глазами:—нашъ мужикъ добръ, смиренъ, просто-сердеченъ! Онъ отдастъ послѣднюю курицу, если видитъ, что отечество въ опасности! Vous comprenez?.. sa poule! sa dernière poule! Слѣдовательно не въ мужикахъ зло, а вотъ въ этихъ, въ волосатыхъ, да въ тѣхъ, что бѣгаютъ по ночамъ по Невскому съ стрижеными косами! Вотъ гдѣ корень всей смуты!

Черезъ минуту:

— Нѣтъ! Это что—нигилисты! Что онѣ бѣгаютъ по Невскому, стрижены — кому отъ того бѣда! Да по мнѣ хоть подошвы на головы завороты — еще видъ пріятнѣе будетъ! А вотъ гдѣ зло: въ этихъ «измѣнникахъ», которые своимъ коварствомъ, своею лестью... вотъ кого слѣдовало бы пробраты!

И еще черезъ минуту:

— И все-таки я утверждаю: весь корень зла въ мужикѣ! Тамъ что ни говорите, а около него вся смута вертится. Покуда онъ былъ въ ежовыхъ рукавицахъ, онъ былъ прекрасенъ. Онъ былъ трудолюбивъ, послушенъ и просто-сердеченъ. Онъ отдавалъ бы послѣднюю курицу... Vous comprenez?.. sa poule! sa dernière poule! чтобъ только выручить отечество въ минуту опасности! Теперь—куда все дѣвалось? спрашиваю я васъ: гдѣ у него, чорта съ два, эта *последняя* курица?

И вдругъ, какъ бы спохватившись:

— А все онѣ! все эти скверныя стрижки! Онѣ тамъ ходятъ, заворотивши подошвы, и прельщаютъ полицейскихъ, а мы *здѣсь* расхлебываемъ! И вотъ еще тѣ! эти подлецы и измѣнники!

Однимъ словомъ, это тотъ самый «порочный кругъ», въ

которомъ можно проблуждать всю жизнь и никогда не почувствовать ни малѣйшей неловкости. Какъ ни кинь—все ладно; какъ ни скажи—все хорошо.

А между тѣмъ вопросъ о томъ, какъ дѣлается русская денга, есть именно одинъ изъ тѣхъ, въ разрѣшеніи которыхъ заключается вся суть нашего провинціального существованія. Независимо отъ того, что процессъ варожденія и образованія денги самъ по себѣ очень интересенъ, разъясненіе его представляетъ единственный ключъ, съ помощью котораго мы можемъ проникнуть въ самое святнилице нашей провинціальной забитости. Чтобъ облегчить читателю этотъ трудъ, возьмемъ, на первый разъ, хоть одинъ изъ способовъ дѣланія русской денги, и именно тотъ, который преимущественно ставитъ втупикъ нашихъ исторіографовъ и который на официальномъ языкѣ известенъ подъ именемъ торговли и промысловъ.

Начать съ того, что наши исторіографы всѣ виды торговли смѣшиваютъ въ одно смутное и легко расплывающееся понятіе. Они судятъ о торговлѣ по тѣмъ пирогамъ, которые ѣдятъ по воскресеньямъ у градскихъ головъ, у оптовыхъ складчиковъ и, въ послѣднее время, у различныхъ прохожихъ молодцовъ, сдѣлавшихся, къ своему собственному изумленію, предпринимателями желѣзнодорожнаго дѣла. Вкусивъ пирога и слегка посоловивъ отъ изліяній исторіографъ разсуждаетъ такъ: «Стало-быть, торговля возможна, коль скоро этотъ почтенный негодянтъ угощаетъ меня такими отмытыми пирогами? Отчего же на площади дѣло имѣетъ совсѣмъ другой видъ? отчего тамъ, вмѣсто прежнихъ десяти-двадцати возовъ, стоитъ нынче какой-то одинъ тощій возишко? Не оттого ли, что этотъ почтенный негодянтъ—простой и добрый русскій человекъ, который и объ началствѣ думаетъ, и для себя копейку бережетъ, а тѣ, прочие—люди злы и развращенные, которые послѣднее свое добро тащатъ въ кабакъ?»

И, поокрещенный этимъ силлогизмомъ, онъ дѣлается шаловливымъ и пускается въ разспросы.

— Ну, а какъ, Иванъ Ивановичъ, — спрашиваетъ онъ своего амфитріона, подмигивая однимъ глазомъ:—если этакъ копнуть кубышечку-то... барышки, чай, изрядные окажутся?

— Что же собственно изволите желать знать, ваше растаковство?—спрашиваетъ, въ свою очередь, негодянтъ, не могущій сразу взять въ толкъ вопроса.

— Ну, напимѣръ, съ ведра... или, тамъ, съ булы?

— По малости, ваше растаковство. Конечно, благодарение Господу, безъ пользы не торгуемъ. Есть, ваше растаковство, такая пословица: съ голаго по ниткѣ—сытому рубашка! — заключаетъ негоціантъ, самъ умихаваясь своей остротѣ.

— *Voici le bon!*—воскликаетъ исторіографъ и, утѣшеный отвѣтомъ своего амфитріона, еще болѣе погружаетъ въ увѣренности, что развитіе торговли находится въ прямой зависимости отъ добросердечія и простоты нравовъ, и что люди, которые не торгуютъ и не занимаются промыслами, дѣлаютъ это просто на смѣхъ, потому что они «злые».

Нѣтъ спора, что исторіографъ въ этомъ случаѣ подкупленъ воззніями. Но дѣло не въ томъ, чѣмъ и какъ онъ подкупленъ, а въ томъ, что съ этой минуты его ни подъ какимъ видомъ не вышибашъ изъ позиціи. Онъ не понимаетъ, что дѣньга, о которой шла рѣчь въ разговорѣ съ негоціантомъ, совсѣмъ не та, по поводу которой у него щемитъ сердце. Эта послѣдняя дѣньга родится въ другомъ мѣстѣ и служитъ для сооруженія совершенно иного пирога, пирога абстрактнаго, котораго никто въ натурѣ не видалъ, но о которомъ всякій изъ членовъ такъ-называемой россійской интеллигенціи можетъ рассказать самыя мельчайшія подробности, точно такъ, какъ бы онъ вынулъ и водкою стоялъ между нами, вполне сервированный. Мы подходимъ къ этой функціи, закусываемъ, пьемъ, говоримъ *des amabilités*, immagинаемъ мѣропріятія... и—увъ!—все-таки не знаемъ, какъ этотъ пирогъ сооружается! Мы чувствуемъ только, что въ послѣднее время это сооруженіе пошло какъ-то вяло, и, не понимая, въ чемъ тутъ сила, прибѣгаемъ за объясненіями къ негоціантамъ, для которыхъ рѣшительно все равно, почему мы подкупаемъ на рынкѣ говядину и много ли терпимъ отъ того, что въ цѣломъ городѣ нѣтъ ремесленника, который былъ бы способенъ цѣпить пуговицу къ сюртуку.

Этотъ негоціантъ, съ которымъ такъ благодушно бесѣдуютъ наши исторіографы—нуль или почти нуль въ томъ отвлеченномъ пирогѣ, въ постройкѣ котораго мы преимущественно заинтересованы. «Шельза», о которой онъ такъ европею похваляется, есть его собственная, личная «шельза», и отъ нея въ общій пирогъ упадетъ развѣ микрокопическая крупинка, да и та упадетъ только для видимости, а въ сущности немедленно вновь займетъ мѣсто въ карманѣ

своего законнаго обладателя, да еще и не одна, а въ обществѣ многихъ другихъ крупницъ. Для того, чтобы видѣть наглядно, какъ дѣлается русская дѣньга, надобно оторваться отъ негоціантскаго пирога и отправиться вглубь, въ какую-нибудь Богомъ забытую Крапивну или въ утонувшій въ навозѣ Керенскъ, или, пожалуй, даже въ пѣвущій фабриками Егорьевскъ. Только тамъ можно настоящимъ образомъ насладиться зрѣлищемъ, какъ сооружается тотъ пресловутый всероссійскій пирогъ, который нѣкогда доставлялъ намъ столько радостей, а теперь служитъ источникомъ однихъ огорченій. Такъ мы и сдѣлаемъ, то-есть поѣдемъ не въ Крапивну, не въ Керенскъ и даже не въ Егорьевскъ (упаси насъ Богъ вступать въ канія-нибудь пререканія съ почтенными жителями этихъ городовъ!), а просто въ какую-нибудь называемую городомъ дыру, про которую и въ народѣ какъ будто сама собой складывается пословица: такой-то городъ (имя рекъ) чортъ три года искалъ, да такъ ни съ чѣмъ и отсталъ!

Лѣтомъ ѣхать хорошо. Воздухъ теплый, тракъ широкій, вольный; по бокамъ дороги зелѣютъ ракиты. Правда, что колеса экипажа безпрерывно врѣзываются въ колеи, что при вѣздахъ на каждый мостъ, на каждую трубу пугнику неизменно возбуждается всѣмъ вступренности, что наконецъ тончайшая пыль, то черная, то бурая, то желтая, забирается и въ глаза, и въ уши, и въ носъ; но оставимъ въ сторонѣ эти мелкія дорожныя неудобства и будемъ благодарить судьбу, позволившую предпринять наше путешествіе лѣтомъ, а не зимою. Справа и слѣва у насъ мелькаютъ города: Вотъ направо: городъ Соломенный, городъ Навозный; вотъ налево: городъ Млякиный, городъ Глуновъ. Заглянемъ въ него, благо мы тамъ уже бывали.

Мы много слышали о Глуновѣ изъ газетъ. Въ прошломъ году онъ устроилъ такую иллюминацію (не пожаръ, а настоящую иллюминацію изъ смоляныхъ бочекъ, плошекъ и шкаликовъ), отъ которой было небу жарко; въ третьемъ году онъ задалъ фейерверкъ (тоже настоящий); въ четвертомъ году какого-то заважскаго исторіографа такъ угостилъ и возвеселилъ, что тотъ послѣ этого десять станцій скакалъ сломя-голову и не могъ придти въ себя, откуда не при-скакалъ въ городъ Полоумновъ, гдѣ его опять угостили и возвеселили до потери сознания. Все это припоминается нами въ ту самую минуту, когда мы въѣжаемъ въ предмѣстье города. Оно не поражаетъ великолѣпіемъ; по объѣмъ

сторонамъ дороги стоятъ крошечныя избы, изрѣдка вымазанныя глиной и сплошь крытыя почернѣвшей соломой; улица довольно равномерно вымощена перебродившимъ и вытолченными навозомъ; колеса тонуть въ густой, непросяхающей массѣ; лошади едва передвигаютъ ноги; ямщики тикаетъ и хлещетъ влутомъ, потому что безъ этого средства онѣ навѣрное стануть. По сторонамъ также лежатъ кучи навоза, около которыхъ хлопотливо суетятся тощія куры: у воротъ, позѣвывая, стоятъ сердитые, съ насупленными бровями, мужики; около домовъ мечутся тощія, блѣдныя женщины. Русская женщина вездѣ одинакова: и въ городѣ, и въ деревнѣ; она вѣчно что-то ищетъ, какую-то потерянную булавку, и никакъ не можетъ умолчать, что находка этой булавки должна повести за собой спасеніе міра. Тамъ и сямъ видѣется вывѣска питейнаго дома и стоитъ почернѣвшій и покачнувшійся на сторону столъ, на которомъ положено нѣчто такое, чему нѣтъ имени: бублики не бублики, калачи не калачи, что-то сѣрое, блѣсоеватое, почти ископаемое...

— Такъ это-то вамъ городъ? — обращаетесь вы къ ямщику.

— Нѣтъ, это не городъ, — отвѣчаетъ онъ: — это только Поганая слобода! а городъ вонъ онъ — за мостомъ!

И дѣйствительно, меньше чѣмъ черезъ минуту вы переѣзжаете мостъ надъ рѣчкой, берега которой сплошь унизаны навозными кучами, и въѣзжаете въ городъ. Опять навозъ, опять экипажъ и лошади тонуть, съ тою только разницею, что прежде вы ѣхали по ровному мѣсту, а теперь приходится карабкаться по косоугору. Съ правой стороны косоугора, во рву, вьется та самая рѣчка, которую вы только-что переѣхали и отъ паденія въ которую съ крутизны косоугора вы защищены жидкимъ баласникомъ; впереди видѣется соборная колокольня, выкрашенная всердцемъ обывателей въ голубую краску; неподалеку отъ нея блѣдетъ зданіе присутственныхъ мѣстъ и неизбѣжный острогъ. Тѣ же бревенчатые домики, покрытые соломой, тотъ же навозъ, тѣ же покачнувшіеся столы, и вдругъ рядъ какихъ-то странныхъ построекъ, не то будокъ, не то шалашей. Это центръ города («le Kremlin», какъ выражаются исторіографы), это средоточіе его торговли. Тутъ вы можете во всякое время найти веревку, нѣсколько аршинъ ситцу, заржавѣвшую отъ времени колбасу, связку окаменѣлыхъ баранокъ, пару лаптей и проч. Тутъ же стоятъ

каменные хоромы купца Вѣлбрюхова, въ нижнемъ этажѣ которыхъ расположена бакалейная лавка, мучной лабазъ и ренсковый погребъ. Это тотъ самый негодяицъ Вѣлбрюховъ (le bon), у котораго мѣстные исторіографы ѣдятъ по праздникамъ пироги и который со всего собираетъ по малости. Едва вы въѣхали въ городъ, какъ уже видите конендѣ его. Иногда (если Глушовъ не чериоземный, а промышленный) за этимъ концомъ сипѣеть большая рѣка, знаменитая своими песчаными перекатами; если эта рѣка существуетъ, то по берегу оя устраивается набережная, обстроенная каменными домами, въ которыхъ ютятся тѣ же негодяицы Вѣлбрюховы, съ безконечнымъ числомъ складовъ, амбаровъ, воротъ, желѣзныхъ запоровъ и суетящихся людемъ приказчиковъ, рабочихъ и т. д.

Но вотъ и постоялый дворъ. Гостиницъ въ городѣ нѣтъ, а ежели и есть какія-то странныя заведенія, носящія это имя, то они отличаются именно тѣмъ, что въ нихъ невозможно пріютъ ни для чего живущаго. Дворъ довольно обширенъ и покрытъ навѣсомъ; темно, грязно, воняетъ. Среди общей тишины слышатся какіе-то особенные звуки: лошадь фыркаетъ, свинья взвизгнетъ, голубъ перенорхнетъ съ мѣста на мѣсто. Вы вступаете на крылечко, котораго половицы колеблются подъ ногами; затѣмъ темныя сѣни, въ углу которыхъ пыхтитъ самоваръ; затѣмъ рядъ сколоченныхъ изъ сосновыхъ досокъ дверей, неокрашенныхъ, необитыхъ; на одну изъ нихъ вамъ указываютъ. Вы въ горницѣ.

Нѣтъ ничего унылѣе, какъ русскій уѣздный городъ лѣтомъ, особливо часовъ съ десяти утра до шести пополудни, когда жаръ не то что падить, а словно лить съ неба и окачиваетъ человѣка съ головы до ногъ. Вы не увѣрены, что городъ не спитъ, но въ то же время не можете утверждать и того, что онъ спитъ, потому что повсюду слышится не до что движеніе, а какой-то странный шорохъ, какъ будто гдѣ-то кто-то роется... По временамъ въ окошко, около самаго вашего уха, совершенно неожиданно раздастся съ трудомъ окрикъ, вылетающій изъ пересохшаго горла:

— Клубнички... не надо ли?.. клубнички!

Передъ вами стоитъ баба въ бѣлой рубахѣ, въ такой же, испещренной красными узорами, юбкѣ и съ цвѣтною повязкой на головѣ. Она предлагаетъ черезъ створенное окно плетеную коробку краснобокой и пахучей лѣсной клубнички — а сама между тѣмъ отираетъ рукавомъ лѣтъ,

горошниками выступающий на лица. Очевидно, она рада остановиться у вашего окна, потому что тут она, по крайней мере, в тиши. Она ужь сь часъ шляется по улицамъ, заглядываетъ во всѣ окна, во всѣ двери и нигдѣ никого не видитъ, кромѣ лѣнливо вспаркивающихъ при ея приближеніи голубей. И вотъ наконецъ передъ нею живое существо, устроеннае около окна и какъ будто прислушивающееся къ преисполненной шороха тишинѣ...

— Что стоить? — спрашиваете вы бабу, не столько соблазненные видомъ захватанной клубники, сколько чтобы поюзать конецъ ея бесплодными странствованиямъ.

— Десять копеекъ, — отвѣчаетъ она, но такимъ голосомъ, какъ будто сама удивляется своей дерзости.

— Et jadis on ne payait ça que deux kopeks! — восклицаетъ вырванный тутъ же сляпо изъ-подъ земли исторіографъ: — и забудьте, что вѣдь онѣ торгуютъ безъ всякихъ патентовъ... ммрррзавки!

Вы колеблетесь. Первымъ вашимъ движениемъ было заплатить десять копеекъ, но теперь, послѣ словъ исторіографа, вамъ кажется, что дать сразу такую груду денегъ — значитъ либерализовать, значитъ баловать народъ и поселять въ немъ духъ революцій. Вамъ приходятъ въ голову тысячи сентенцій пресвятаго добраго времени о томъ, что состоянія наживаютъ копейками, о томъ, что копейку нужно беречь пуце глаза, и вы невольно начинаете выказывать неколебимую твердость души.

— Шесть копеекъ! — говорите вы, соображая, что десять да два — двѣнадцать, раздѣленные на два, составляютъ шесть.

— Батюшка! дай хоть восемь! — паничить тотъ же надтреснутый, словно силой выдавливаемый изъ горла голосъ.

На этотъ разъ либерализмъ торжествуетъ: восемь копеекъ выложены и отданы; баба улетываетъ домой, верстъ за пять, счастливая и утѣшенная. Нѣтъ сомнѣнія, она даже думаетъ, что порядкомъ-таки надула васъ. Легко ли дѣло! Она встала въ три часа утра, часа два пагубалась, собирая клубнику; потомъ, убранныя около дома, часъ шла въ городъ, болѣе часа шаялась по дворамъ и теперь употребить часъ, чтобы возвратиться домой... и восемь копеекъ! Такой результатъ хоть кому дать крылья! И, конечно, она отнюдь не пренебрежетъ этой благостыней и завтра же опять явится у вашего окна съ такою же ношей клубники, и если васъ уже не будетъ въ городѣ, то глубоко и горько вздохнетъ...

Это первый и самый простой видъ торговли, той торговли, которая именуется свободною и которая разрѣшается всякому, имѣющему возможность отдать пять-шесть часовъ времени за восемь-десять копеекъ.

Баба ушла. Опять не слышно человеческого голоса, опять тотъ же смущающій душу шорохъ. Напротивъ, черезъ улицу, въ деревянномъ некрашеномъ домѣ, бѣлится кисейная створчатая занавѣски, закрывающія только нижнія два стекла оконъ и засиженные мухами; сквозь занавѣски и поверхъ нихъ виднѣется какая-то масса, не то одѣвающаяся, не то раздѣвающаяся. Богъ вѣсть откуда, словно полоумная, бѣжить стремглавъ индѣйка, завидѣвшая, что вы что-то фдите и что-то кидаете въ окно. А солнце такъ и льетъ цѣлыя волны зноя.

— Ужъ я, братъ, не обману! ужъ коли я сказала, что животина хорошая, такъ бери съ Богомъ! — раздается голосъ на дворѣ.

Заслышавъ этотъ голосъ, вы покидаете «горницу» и отправляетесь на крыльцо. Въ уѣздномъ городѣ все пастораживаетъ чувства, все возбуждаетъ любопытство. Желаніе хоть что-нибудь высмотрѣть или услышать овладѣваетъ человѣкомъ неволью, когда кругомъ царствуетъ только безмолвіе. На дворѣ, подъ навѣсомъ, стоитъ на колышкахъ бородастый мѣшанинъ и рѣжетъ овцу. Онъ рѣжетъ ее потихоньку, не торопясь; порѣжетъ, воткнетъ ножъ въ навозъ, вздохнетъ и опять примется рѣзать. Хозяинъ овцы (онъ же и хозяинъ постоялаго двора) стоитъ подлѣ и смотритъ. Овца лежитъ смирно, до такой степени смирно, что въ вашу душу закрадывается ужасъ. Ее не нужно даже связать, чтобы рѣзать: она упрямится только тогда, когда ее выволакиваютъ изъ хлѣва, въ который ее предварительно загноютъ вмѣстѣ съ прочими подругами, предлагаемыми на выборъ. Но какъ скоро она уже на мѣстѣ, то безпрекословно ложится на бокъ, безпрекословно протягиваетъ вѣрхъ голову и ждетъ. Разъ... разъ... разъ... Показывается небольшая струйка крови, затѣмъ какая-то перфипительная корча... еще и еще... все кончено!

— Ишь! — говоритъ бывший хозяинъ овцы, взирая, какъ она подрыгиваетъ ногами.

Другія, выпущенныя изъ хлѣва, овцы не вдругъ идутъ за ворота, а останавливаются и какъ будто удивляются; какія-такія неслыханныя почести посыпались на ихъ недавнюю подругу.



— Смотри, гривенъ семь на животинѣ выгадаешь,—продолжаетъ хозяинъ и, какъ будто самъ дивясь своей умѣренности, прибавляетъ:—какое семь гривенъ! туть, братъ, рублемъ пахнетъ—вотъ что!

— Оно, конечно, рубликъ нажать можно,—отвѣчаетъ бородатый мѣщанинъ, распяливая свою жертву на доскахъ, перекинутыхъ черезъ прясла, и принимаясь тѣмъ же ножикомъ отдѣлывать пикуру отъ мяса:— да вѣдь тоже пить-ѣсть, Прохоръ Прохорычъ, нужно; опять же патентъ годовой взяли—его воротить тоже требуется.

Это ужъ торговля по патенту. Вы узнаете, что городъ Глуховъ, несмотря на иллюминаціи и фейерверки, почти не ѣсть говядины (въ особенности лѣтомъ), что мясниковъ однако въ городѣ довольно, и что рѣдкій изъ нихъ выручаетъ барыша больше, нежели на полтину въ день. Между тѣмъ на эту торговлю нужно выправить въ казні свидѣтельство мясничного торга, которое въ уѣздномъ городѣ стоитъ отъ 8-ми до 15-ти руб., да билетъ къ нему, цѣной отъ 2-хъ до 6-ти руб., и сверхъ того заплатить разные сборы въ городъ и земство.

— Заѣмъ же вы торгуете?—спрашиваете вы у этихъ своеобразныхъ негодяиновъ, изумленные ничтожностью результатовъ:—неужели нѣтъ другихъ способовъ зарабатывать деньги?

— А куда дѣваться, позволь тебя спросить!—отвѣтитъ вамъ одинъ:—намъ и утопиться-то негдѣ; потому наша рѣка и для этого даже не годится!

— Вѣдь мы, сударь, около рублишка ходимъ!—отвѣтитъ другой:—день не поѣшь, на другой поневолѣ начнешь поворачиваться! Убонну-то мы, сударь, только въ Свѣтло-Христово Воскресенье да объ Рождествѣ ѣдимъ!

— Вотъ хоть бы нашъ мясной торгъ!—вступаетъ мѣщанинъ, только-что зарѣзавшій овцу:—здѣсь, въ городѣ, говядину почестъ-то одинъ исправникъ и ѣсть! Зарѣзавъ теперича барана да и бейся съ нимъ два дня, а на третій, гляди, онъ и протухъ!

— Да вѣдь можно же отыскать какое-нибудь другое занятіе, болѣе прибыльное!—настаиваете вы.

— Ты выдь на улицу да и посмотри на всѣ на четыре стороны! можетъ, и найдешь что-нибудь, а намъ не слышать!

Бьетъ два часа; съ одной стороны одолеваетъ скука, съ другой стороны начинается вапоминать о себѣ голодь.

— Гдѣ бы у васъ въ городѣ пообѣдать?—спрашиваете вы у хозяина.

Онъ смотритъ на васъ такими изумленными глазами, какъ будто вы у него спросили, гдѣ бы достать взаимны миллионъ рублей.

— Гдѣ обѣдать?—смущенно повторяетъ онъ вашъ вопросъ.

— Да, вѣдь у васъ есть гостиница?

— Гостиница?... оно точно... только въ ней кушанья не готовятъ... Чай, водка—это имѣется!

— Самп-то вы что же nibудь да ѣдите?

— Самп?... ѣдимъ! Только вы нашего кушанья ѣсть не станете!—прибавляетъ онъ какимъ-то такимъ убѣжденнымъ тономъ, что у васъ мгновенно пропадетъ всякая охота узнавать, чѣмъ питается вашъ хозяинъ.

Вы узнаете, между прочимъ, что, года два тому назадъ, въ городѣ существовалъ клубъ, и тогда пріѣзжіи могъ раза два въ недѣлю найти себѣ обѣдъ, сжели понадасть въ счастливые дни; но клубъ существовалъ только три мѣсяца, потому что никто туда не ѣздилъ, а тѣ, которые ѣздили, не платили денегъ.

— Нельзя ли достать хоть хлѣба бѣлаго къ чаю?—спрашиваете вы, соглашаясь мало-по-малу на компромиссъ.

— Хлѣба?—опять повторяетъ хозяинъ:—хлѣбъ здѣсь по субботамъ поляки пекутъ, а теперь... да нѣтъ, вы нашего хлѣба ѣсть не станете!

— Какіе же это поляки пекутъ хлѣбъ?

— Да смыльные... пекутъ про себя, ну и прочіе пользуются...

Вы совершенно сконфужены. Вы спрашиваете себя: какъ существуетъ этотъ городъ? И какимъ образомъ случилось, что въ городѣ, имѣющемъ все-таки тысячу жителей, устраиваемъ по временамъ «премиленькія иллюминаціи», вы не можете для прожитія, чтобъ вдоволь не наголодаться?

Мимо города чуть ли не каждый день проходятъ гурты, ѣдутъ возы, нагруженные живностью, телятами и проч., а говядину (въ лѣтнее время) можно имѣть только въ базарный день, къ которому бьютъ какую-нибудь злосчастную корову, переставшую давать молоко. Все, что везется или гонится,—все это направляется въ Москву или въ Петербургъ, а несчастный городъ глядитъ и даже губъ не облизываетъ: такъ ужъ онъ свыкся съ мыслью, что все, что съѣдобно, удобно или пріятно, существуетъ не для него.

Если въ городѣ существуетъ рѣка, и вы любопытствуете, какъ идетъ рыбный промыселъ, вамъ отвѣтить, что рыбы совсѣмъ мало, и всядній объяснить вамъ это исчезновеніе по-своему.

— Съ тѣхъ поръ, какъ эти пароходы пошли, — скажетъ одинъ: — совсѣмъ у насъ въ рѣкѣ рыбы не стало.

— Что врешь-то! — возразитъ другой: — кабы пароходы разогнали рыбу, все-таки она куда бы нибудь дѣвалась, а то ей и вездѣ, по всей рѣкѣ, стало въ десять да въ двадцать разъ противъ прежняго меньше. А ты вотъ что лучше скажи: весной, молъ, ваше благородіе, въ то самое время, какъ ей икру метать, эту самую рыбу вылавливаютъ, ну и плодится она годъ отъ году меньше.

Во-вторыхъ, вамъ скажутъ, что хотя рыба въ садкахъ и есть, но не для мѣстнаго употребленія, а опять-таки для Москвы и для Петербурга, куда она ужъ и загодяжена.

— Что-жъ наконецъ тутъ дѣлать? — спрашиваете вы уже съ нѣкоторымъ любопытствомъ.

— Да кому у насъ, сударь, дѣлать-то? — отвѣтитъ вамъ: — развѣ что котъ у исправника столы бывають; а что про прочихъ жителей можно сказать одно: дѣлать, что Богъ пошлетъ.

И, подумавъ немного, непремѣнно присоветуютъ:

— Вы нашего кушанья и дѣлать-то, сударь, не станете!

Въ городѣ два училища: уѣздное и приходское, но что въ нихъ дѣлается — про то знаютъ только тѣ немногія дѣти, которыя посѣщаютъ ихъ; никто изъ взрослыхъ этимъ дѣломъ не интересуется. Нѣтъ ни клуба, ни библиотеки; читать нечего и негдѣ. Въ концѣ пятидесятихъ годовъ, когда всякій литераторъ-обыватель не плаче начинать свою корреспонденцію, какъ словами: «въ наше время, когда...», штатный смотритель училищъ завелъ-было кое-какую скудную библиотеку, и просвѣщеніе въ городѣ на мгновеніе просіяло; но въ 1862 году оно опять потухло, и просіялъ навозъ. Въ почтовой конторѣ получается нѣсколько экземпляровъ журналовъ и газетъ, но подписчиковъ, живущихъ въ городѣ, почти нѣтъ, а выписываютъ матеріалъ для чтенія только помѣщики, поспрашившіеся въ своихъ усадьбахъ.

Куда дѣваться? что дѣлать?

Седьмой часъ; жаръ начинается понемногу сдавать, хотя все еще пещетъ. Вы видѣли какое-то подобіе движенія въ третьемъ часу, когда приказные веревницей потянулись изъ присутственныхъ мѣстъ по домамъ стѣбывать того кушанья,

котораго вы «дѣлать не станете», и за ними, изъ тѣхъ же присутственныхъ мѣстъ, выбрело съ нятокъ мужиковъ, очевидно, искавшихъ себѣ удовольствія у мѣстной Оемиды. Почти такое же движеніе оказывается и теперь; опять ищутся приказные, но уже въ обратномъ смыслѣ: всѣ направляются изъ домовъ въ присутственные мѣста, для вечернихъ занятій. Выйдемъ и мы вь заглажномъ въ средоточіе мѣстныхъ торговыхъ интересовъ, въ такъ-называемые ряды.

Ряды эти состоятъ изъ одного-двухъ десятковъ деревянныхъ построекъ, потемнѣвшихъ отъ времени и сильно накренившихся на-бокъ; тамъ и сямъ расположены дощатые прилавки съ устроеными надъ ними отъ жары и непогоды навѣсами; у прилавковъ сидятъ старья и молодья торговки и что-то вяжутъ, переговариваясь между собою. Подъ столами, въ коробьяхъ и лукошкахъ, заключается запасной товаръ: на прилавкахъ тотъ товаръ, который предлагается покупателю. Первую роль играютъ гречневикъ, гороховый кисель и ржаной хлѣбъ. Сбоку: въ некалѣбленномъ чайникѣ — конопляное масло и въ кружкѣ — какое-то темное сладковатое мѣло, которое называется сусломъ. Когда покупатель желаетъ приобрести гречневикъ, торговка предварительно повалываетъ его въ рукавъ, польетъ масломъ и затѣмъ уже подаетъ потребителю. Очевидно, что это и есть то самое кушанье, о которомъ вамъ говорили, что «вы его, сударь, дѣлать не станете».

— Ну, что, какъ торгуете?

— Какая наша торговля! всѣхъ-то насъ собрать — десяти копейекъ дать не за что.

— А вы бы, старушки, поживѣ!

— Чего тутъ! еще зимой шинтѣ! мужики дѣлать — иной разъ и на полтину поторгуетъ, а лѣтомъ и вовсе худо. Да хорошо еще, какъ за день-то тебя не убьютъ кто-нибудь.

— Ужъ и убьютъ!

— А то какъ же! то чиновникъ палатеній на тебя налетитъ, то изъ думы, а тутъ еще полиція — штрафъ по-давай!

— Это значитъ, что вы не снабжаете себя своевременно документами! поймите, старушки, вѣдь это тоже не-хорошо!

— Нехорошо-то, нехорошо, что про то говорить. Только и тягости-то нынче очень ужъ велики стали.

— А какъ?

— Да вот какъ: ты вотъ видишь ли этотъ столикъ? такъ это, сударь, не столикъ называется, а «торговое помѣщеніе», и потому отдай за него въ думу два рубля. Потому чиновникъ палатскій дастъ тебѣ билетъ — этому заплати четыре рубля, потомъ въ земскую сорокъ копеекъ... а робать-то! робать-то! и на что только они, каторжные, на свѣтъ урождаются!

— Ну, вотъ видите ли, какое вамъ происхожденіе дѣлается! Вы, по-настоящему, билетъ-то еще въ декабрѣ прошлаго года должны были выправить, а вамъ чиновникъ выдалъ его уже въ маѣ, при повѣркѣ торговли. Штрафъ вѣдь за это съ васъ слѣдуетъ.

— И то взыскиваютъ. Только у насъ, баринъ, у всѣхъ-то вѣстѣ четырехъ рублей никогда не бываетъ, такъ намъ пожалуй что и все равно!

— Да вѣдь въ законѣ-то сказано: «если кто откроетъ безъ взятія свидѣтельство или билета промышленное заведеніе... то таковое должно быть немедленно закрыто». Какъ же не закрываютъ ваши «заведенія»?

— И закрывали! не одинъ разъ ужъ закрывали! «Ступайте, говорятъ, вонъ, плѣхи!» Ну, а мы тоже свое: куда, молъ, ваме благородіе, идти прикажете? насъ и земля-то не принимаетъ!

— Что-жъ «онъ»?

— Что! постоитъ-постоятъ, разведетъ руками, скажетъ: «курвы!» да и пойдетъ прочь.

Мы подходимъ напротивъ къ лавочкѣ, въ которой ведется такъ-называемый мелочной торгъ. Мѣшокъ съ крупною, другой съ ржаной мукою, третій съ мукою пшеничной второго или третьяго сорта; нѣсколько пучковъ веревокъ, связка гвоздей, обрѣзки желѣза, съ десятокъ фунтовъ салныхъ свѣчей, осколокъ сахару, банка, на днѣ которой разсыпанъ шмельный чай, кусокъ мыла, нѣсколько паръ вислицъ лантей—вотъ внутреннее убранство лавочки.

— Какъ поторговываете?

— На десять копеекъ товару-съ, на рубль хлопотъ-съ!

— Что такъ?

— Продажи нѣтъ-съ. Народъ, значить, обнищали. Ни-кому ничего не требуется-съ.

— Однако баринъ все же должны быть?

— Ужъ это разумѣется-съ; безъ барышновъ какъ же возможно! На полтину въ день торгуемъ, а ино мѣсто и рубль выручили!

— Какъ же вы дѣлаете? Какъ воспитываете дѣтей?

— Мрутъ тоже-съ. Стараемся, кажется, довольно, а все какъ-то надежды не видимъ. Годъ-то бьешься-бьешься, а къ концу либо ничего не останется, либо самъ еще Бѣлобрюхову задолжаешься!

— Станный однако у васъ городъ! не вѣсть, не вѣсть; пѣлые дни либо на солнцѣ печется, либо на морозѣ зябнетъ—и все не въ прокъ!

— Такъ ужъ ему, сударь, удалось! Осмѣлюсь доложить, что тягости наложены на насъ ужъ очень безпримѣрны!

— Напримѣръ?

— Какъ же-съ! Вотъ теперь за это пристанище въ думу пять рублей заплаги; за свидѣтельство въ казначейство десять рублей снеси, за билетъ къ нему четыре рубля, да въ земскую—рубль сорокъ. Деньги-то сколько вышло! Годъ-то торгуешь, а къ концу и разноси барышъ по мѣтарствамъ, да, пожалуй, еще на сторонѣ гдѣ-нибудь перехвати! Вонъ этимъ плѣхамъ рай, а не житье! — прибавляетъ мелочникъ, указывая на торговку: — а наша жизнь — какъ есть каторга!

— Чѣмъ же однако ихъ житье лучше вашего?

— Ихъ-то! да помилуйте! онѣ и патентовъ никакихъ не знаютъ: такъ, по-дворянски блаженствуютъ. Намеднишь палатскій чиновникъ пріѣзжалъ: борите, говорятъ, старушки, патенты! А на что намъ, говорятъ, твои патенты! мы и безъ нихъ съ голоду умереть свободны! Сволочи!

— А вамъ безъ патента нельзя?

— Намъ-съ? намъ это никогда невозможно. Потому у меня «заведеніе» настоящее, закрытое, съ дверями, какъ слѣдуетъ. Сейчас это пришелъ дунутатъ съ полицейскимъ, закрылъ двери, запечаталъ... куда я пошелъ? А имъ развѣ можно запретить! сегодня ты ее съ мѣста согналъ, а завтра она опять либо тутъ, либо на другомъ мѣстѣ чулокъ влжетъ! И какую онѣ, сударь, пакость намъ дѣлаютъ! такъ и рвутъ, такъ и рвутъ къ себѣ покупателя!

— Однако вѣдь онѣ совсѣмъ другимъ товаромъ торгуютъ!

— Да и мы бы ихнимъ товаромъ торговать стали, потому что товаръ нужный, ходкій; только противъ ихъ потрафить никакъ невозможно! Ты двѣ конейки, она полторы! сколько мы на нихъ жаловались — все толку нѣтъ! Вотъ тутъ, подѣлъ, соебѣдъ краснымъ товаромъ торгуешь, такъ противъ него такая же тесемница проявилась—не дастъ торговать да и шабашъ!

Таким образом идет мелочная розничная торговля. Всякий торговец непременно пожалуется на недостаток потребителей, на возрастание конкуренции и на тяжесть налогов. Всякий готов перервать горло своему соседу, пожаловаться, наобедничать, и в результате этой вражды, этой ненависти, при самых удачных обстоятельствах, получается полтина.

— И куда только покупатель дѣвался? словно онъ, сударь, съвозъ землю провалился! никому ничего не надо! — раздается со всехъ сторонъ.

Одинъ купецъ Бѣлобрюховъ не унываетъ. Въ его камельныхъ палатахъ вы можете найти все: тутъ и рѣсковый погребъ, тутъ и бакалейная лавка, а на дворѣ амбаровъ, амбаровъ! Но зато онъ объявляетъ капиталъ по второй гильдии и, вмѣстѣ до десяти помѣщеній, платитъ въ казну за одинъ свидѣтельство и билеты (по 1-му классу) сто тридцать пять рублей, за членовъ семейства (до десяти человѣкъ съпловой, братьевъ, дядей и проч., записанныхъ въ одинъ капиталъ) пятьдесятъ рублей, за двоухъ или троухъ приказчиковъ 2-го класса 15 рублей, а въ земскую управу около пятидесяти рублей, — всего, стало-быть, около двухсотъ пятидесяти рублей. Неоплачивши это, онъ можетъ дѣлать обороты на миллионы и радоваться на мѣртъ. Вожжй, сколько душъ угодно. Для него не существуетъ ни повышенія цѣны, ни пониженія; это торговецъ основательный («le bon»), и цѣны у него всегда настоящія. Рядомъ съ нимъ, въ его же домѣ, торгуетъ краснымъ товаромъ нѣкто Погодякинъ, который продаетъ въ годъ на тысячу рублей и тоже улаживаетъ до ста рублей въ годъ, потому что продаетъ ситецъ (товаръ купеческій) и, сверхъ того, записывается въ гильдію, чтобъ избавить семью отъ рекрутства.

— Кабы не рекрутство, — говоритъ онъ: — какой же чертъ толкалъ бы меня въ гильдію дѣзти!

Такимъ образомъ въ городѣ оказывается до пятидесяти гильдейскихъ капиталовъ, а въ сущности купцовъ только двое: Бѣлобрюховъ и Бѣлобоковъ. Они дѣлятъ и по буднямъ, и по праздникамъ щи, которыхъ «не продуетъ», широкъ и свиному; они сняты на перинахъ и съ перенюю не чувствуютъ даже клоновъ. Все остальное питается чуть не древесною корою и спитъ въ повалку на войлокѣ, а подчасъ и на той ветхой «люнотн», въ которой слоняется дичь.

Однако въ рядахъ больше дѣлать нечего; вездѣ бѣдность, завидующая бѣдности же и кланяющаяся въ полахъ богатству. Бѣдность разрозненная, забитая, разбѣгающаяся въ разсыпную при одномъ имени Бѣлобрюхова. Зато Бѣлобрюховъ устроилъ бульваръ по берегу рѣки, исправилъ какой-то въездъ, основалъ богадѣльню на десять человѣкъ, внесъ десять тысячъ на основаніе общественного банка и теперь серьезно помышляетъ о желѣзной дорогѣ. Граждане не нарадуются имъ и съ гордостью говорятъ, что и ихъ городъ будетъ въ скоромъ времени соединенъ желѣзными путями съ обѣими столицами.

— Что-жъ, павозъ, что ли, вы перевозить будете? — спрашиваете вы у черезчуръ расхваставшагося обывателя.

Обыватель очень чувствительно оскорбленъ вашимъ вопросомъ.

— Павозъ не павозъ, — говоритъ онъ: — а всякое произведеніе. Прямѣромъ, теперича, коноплю, рожь, овесъ, говядину, сало, ленъ, пеньку, веревку, рыбу, клѣй, солодъ, щетину, шерсть, ишину, свиней, медъ, воскъ, деготь, поташъ, мыло, смолу, хмель, спиртъ, шерсть, холстъ...

Онъ поименуетъ вамъ дѣлаю уйма разныхъ названій. Слушая эту разнообразную поменклатуру, вы изумитесь: но ежели вникнете въ сущность дѣла, то поймете, что все эти названія способны только испортить плетъ существующіе способы сообщенія и нисколько не напитать способовъ сообщенія усовершенствованныхъ.

— У насъ, сударь, третьяго-года такую иллюминацію задали — страсть! стало-быть, будетъ что перевозить! — прибавляетъ словоохотливый обыватель.

Но воротимся на постоянный дворъ. У воротъ высидало все хозяйское семейство и, позѣвивая, наслаждается вечерней сіестой. Съ чего они зѣваютъ? — думается вамъ: — неужто съ голоду? Тутъ же пріютилась какая-то темная, юркая фигура въ загасканномъ и мѣстамъ порванномъ сюртучикѣ, въ которой вы узнаете бывшего дворового господи Безпорточныхъ, Ардашку.

— Ва! Ардашоны! здорово!

— Здравія желаемъ, ваше высочество! — восклицаетъ Ардашоны, видимо желая выкинуть какой-нибудь артикулъ, но не успѣвае въ этомъ, по недостатку потребности для того физической силы.

Вы знаете Ардашона съ дѣтства. Онъ всегда былъ ма-

лый проворный и смелый; въ домѣ помѣщика онъ былъ очень хорошимъ портнымъ; и по оброку ходить, и въ наказаніе за всякія провинности быть высылаемъ въ деревню, гдѣ одѣвать и обшивать весь домъ. Никогда его не замѣтали пьянымъ, кромѣ, разумѣется, годовыхъ праздниковъ, которые онъ неизменно и неизбежно проводитъ безъ чувствъ.

— Золотыя у этого человѣка руки!—говорить про него господинъ Безпорочный:—и, кажется, ежели бы не чарочка да не женскій подолъ, никакому бы Шиллингу и Тейферу (знаменитые въ то время портные въ Москвѣ) передъ нимъ не встать!

Теперь этотъ человѣкъ очутился на волѣ, или, иными словами, онъ пущенъ въ пространство съ увольнительнымъ свидѣтельствомъ въ рукахъ и въ продраннымъ сюртучникѣ. Естественно онъ тотчасъ же устремился въ городъ. Но каково же было его изумленіе, когда онъ узналъ, что въ городѣ никому ничего не нужно; что тутъ никто не ѣсть, не пьетъ, не обувается, не одѣвается, и что, вдобавокъ, съ него требуютъ рубль серебромъ «на призраціе» да еще два съ полтиной за патенты!

— Ну, что, какъ дѣла?—спрашиваете вы его, но, оглядѣвши съ ногъ до головы его фигуру, начинаете понимать, что вопросъ ваши, по малой мѣрѣ, излишенъ.

— Что дѣла-съ! наши дѣла какъ сажа бѣла!

— Что такъ?

— Работать не дозволяютъ!

— Не можетъ быть!

— Точно такъ-съ. Намедлясь снужу я это въ квартирѣ, жилетку господину Бѣлобрюхову работаю. Вдругъ входитъ чиновникъ: «Ты что дѣлаешь?» Я даже самъ испугался, точно и не-вѣсть какое преступленіе дѣлаю.—Жилетку, говорю, для господина Бѣлобрюхова шью.—«А патенты, говоритъ, есть?»—Какой патенты?—Тутъ и, сударь, узналъ, что работать безъ патента воспрещается-съ, а цѣна ему два съ полтиной. Тутъ же и актъ объ этомъ составили, что я, значить, обманнымъ манеромъ работаю, а черезъ два мѣсяца вышло рѣшеніе: взять мнѣ патентъ и выскать, кромѣ того, другіе два съ полтиной, а до тѣхъ поръ «заведеніе» мое запечатать. Вотъ и все мое ремесло.

— Какое же заведеніе закрыть? магазинъ, что ли, у тебя былъ?

— Какой магазинъ! такъ, уголь напимать у одного мѣ-

щанина! Ужъ и мы съ полицейскимъ тогда дивились, какое такое заведеніе опечатать! Только полицейскіи все-таки вывернулись: «заведеніе, говоритъ, я твое опечатать не могу, а инструментъ отберу!» Было у меня тутъ иголки съ дюжиною—взялъ, завернулъ въ бумажку и запечаталъ; былъ кирничъ (родъ подушки, въ которую портные втыкаютъ иглы)—тоже взялъ и опечаталъ; даже къ столу, на которомъ я сидѣлъ, и къ тому приложили печать!

— А ты бы спросилъ: что-жъ тебѣ теперь дѣлать?

— И тѣ спрашивали. «Почему, говоритъ, теперь тебѣ другого дѣлать, кромѣ какъ въ кабакъ идти!»

— Чѣмъ же ты живешь?

— Чѣмъ живу-съ? кой-куда въ дома пошить зовутъ, тѣмъ и кормлюсь! А впрочемъ, какой у насъ городъ, только что зовется городомъ! Кто побогаче—нашей работой глушается, въ Москвѣ да въ Петербургѣ поровить аммуницію себѣ шить, а побѣднѣе, такъ и самъ иголкой ковырять можетъ.

— Видно, братъ, богатому вездѣ хорошо, а бѣдному вездѣ худо. Такъ ли?

— Такъ точно-съ. Только этимъ и обнадежены, отвѣчаетъ онъ и потомъ, спохватившись, что сказала глупость, продолжаетъ:—вотъ, сударь, что я хотѣлъ васъ спросить: какъ теперь же жить намъ будетъ?

— А что?

— Да вотъ-съ: третьяго года городъ-то нашъ горѣлъ, прошлаго года ничего, кромѣ лебеды, въ усадѣ не уродилось, а нынче, слышно, скотина вальма-валится.

— Богъ поможетъ, справитесь какъ-нибудь...

— Это точно-съ. Велика милость Божья.

— Подати будутъ заплачены? Не такъ ли?

— Это такъ-съ. Господинъ исправникъ на этотъ счетъ довольно строгъ. Какъ ни хоропись, а подѣ рубайкой всегда эта подать найдется!

— Нехорошо, Ардальонъ! Ругать, братецъ мой, это послѣднее дѣло.

— Ужъ на что хуже! Однако прощеніи просимъ, ваше высокоблагородіе.

Ардальонъ уходитъ. Уже совсѣмъ смерклось, а васъ одолеваетъ зѣвота. Все, что можно было высмотрѣть въ городѣ, все высмотрѣно. Два, три часа времени—вотъ все, что нужно, чтобы его внутренняя жизнь выступила наружу. Конечно, вечеромъ замѣтно какъ будто больше оживленія

на улицах: семейство исправника проѣхало въ долгиш; купецъ Бѣлобрюховъ пролетѣлъ на тысячномъ рысакѣ, запряженномъ въ одноколку; вереница чиновниковъ, съ папирсами въ зубахъ, потянулась къ бульвару, но все это словно во снѣ дѣлается. Чувствуешь, что этимъ людямъ жить надоѣло, что они вполне равнодушны къ дѣйствительности и живутъ мечтаніями. Даже не трудно угадать, о чемъ они мечтаютъ. Скоро наступитъ 1-е июля и послѣдуетъ розыгрышъ логерейнаго займа перваго выпуска. Люди, обладающіе хоть однимъ билетомъ, надѣются и строятъ планы, что они сдѣлаютъ, если на ихъ долю выпадетъ двѣсти тысячъ; люди, которые не обладаютъ ни однимъ билетомъ, тоже строятъ планы... что они сдѣлали бы, если-бъ на ихъ долю выпало двѣсти тысячъ. Люди компетентные увѣряютъ, что вся Россія только и живетъ пылъ этими надеждами...

Но вотъ и совсѣмъ смерзлось; по мѣстамъ замелькали въ окнахъ огни, но большинство домовъ тонетъ во мракѣ. ибо самая свѣча стѣнитъ денегъ, и хозяева не всегда могутъ дозволить себѣ эту роскошь. Городъ зѣваетъ, стелетъ армяки и полушубки...

Блохи, клопы, тараканы освѣжаютъ сонъ негомленнаго дневнымъ зносомъ рыцаря ломанаго гроша.

Зимой дѣло идетъ поживѣе. Навозъ, покрывающій площадь, показывать, что во временахъ здѣсь бываеетъ людно. Выѣсто одного гроша, торговецъ получаетъ два и три, но изъ грошей все-таки никакъ выйти не можетъ. Разъ десять въ день онъ перевернетъ этотъ заколдованный грошъ, и все-таки онъ очутится въ его карманѣ тѣмъ же грошомъ, частицу котораго необходимо отдѣлать въ обійіи лшнцѣ. И какъ онъ бьется изъ-за этого гроша, какъ ругается, какъ лѣтитъ и подличаетъ, какъ кочитъ своего сосѣда! Глядя со стороны, можно подумать, что дѣло идетъ объ обезпеченіи долгаго-долгаго будущаго, а не о томъ, чтобы какъ-нибудь свѣсть съ рукъ распрюклятый сегодншній день!

Это правда, что зимой торгъ живѣе и выгоднѣе, по въ то же время зимой и расходы больше. Хотя посадекій человекъ въ недавнее время и освобожденъ отъ подушной подати, но зато явилось много новыхъ повинностей, которыя нужно очистить именно въ декабрѣ и въ январѣ. Первое — государственная повинность; второе — налогъ съ

недвижимыхъ имуществъ, то-есть съ той хлѣбныи, въ которой онъ не столько живетъ, сколько, такъ сказать, хоронится отъ жизни; третье — патенты. А тутъ еще рекрутскій наборъ на дворѣ; если не приходится отвѣчать своею личностью, то во всякомъ случаѣ придется отвѣчать деньгами: на обмундированіе, на продовольствіе, на наградныя рекрутамъ, на вознагражденіе рекрутскихъ сдатчиковъ... Откуда взять? какъ извернуться? Волею-неволею придется отдѣлать ложку или двѣ отъ тѣхъ пустыхъ щей, которыми мѣщанинъ называетъ ежедневно свое несмытое брюхо, или отлить четверть шкалика отъ той сивушной порціи, на которую заглядываются его завидующіе глаза.

— Ниче мы, сударь, дровами никогда не тошимъ! — говорятъ вамъ въ одномъ мѣстѣ: — ниче у насъ шена да солома въ моду пошли. Было наше времечко! Царствование! пороскошествовали!

— Когда съ насъ подушныя брали, намъ невпримѣрь легче было! — говорятъ въ другомъ мѣстѣ: — первое дѣло, платили мы по общественной раскладкѣ; стало-быть, у кого засили больше, тотъ и дунитъ больше ошлачивалъ; второе дѣло: коли много ужъ очень недоимки накопывалось, такъ или голова, или другой благодѣтель, бывало, вышцется: нѣтъ-нѣтъ, да и внесетъ за общество! А ниче всякъ за себя одуваеся, патента-то никто тебѣ ужъ не кунитъ!

— А тутъ еще дворовыхъ голышѣй нагнали! — вопиють въ третьемъ мѣстѣ: —дохнуть отъ нихъ, кабыльсь, нельзя. Гдѣ прежде было два саножника, тамъ нынче ихъ двадцать два, и всѣ норовить на одномъ саногѣ заплату наставить!

И какую жизнь ведетъ этотъ дикій, озлобленный отъ голода народъ—это невозможно даже представить себѣ. Не говоря уже о тѣхъ черныхъ, покосившихся избушкахъ, въ которыхъ ютится большинство, посмотрите, какое зрѣлище представляетъ зимой самый лучшій постоялый дворъ, въ которомъ отдаются такъ-называемыя «чистыя комнаты»! Чернота, которая поражала васъ еще лѣтомъ, сдѣлалась еще чернѣе, увеличившись всею суммою грязи и слякоти, приносимой на сапогахъ, шубахъ, полушубкахъ, рукавицахъ и проч. Мокро, сколько, стѣны провиснуты сыростью, въ воздухѣ стоитъ паръ. И при этомъ запахъ — смѣсь всевозможныхъ отвратительныхъ воней, немислимыхъ ни въ какой тюрьмѣ. Тутъ и промозглая сметана, которая поставлена гдѣ-то подъ лавкой киснуть; тутъ и

овинна, и кислая капуста, и махорка, и телачий пометъ... Читатели! если вы когда-нибудь рѣшитесь ответливо представить себѣ эту картину паней провинціальной торговли и ремесленности, вамъ, навѣрное, сдѣлается если не страшно, то тошно.

### Письмо десятое.

Оставимъ на время вопросъ о томъ, какъ дѣлается русская денга, и обратимся къ другому, который въ настоящее время поглощаетъ все вниманіе провинціи и слѣдовательно имѣетъ за собой преимущество насущнаго интереса.

Вопросъ этотъ формулируется такъ: представляетъ ли строгость самостоятельную творческую силу въ отношеніи къ матеріальному и нравственному развитію народа? или, выражаясь точнѣе: возможно ли, съ помощью однихъ, такъ называемыхъ, рѣшительныхъ мѣръ, увеличить производительныя силы страны, повысить нравственный и умственный уровень ея жителей, устранить задержки въ фискальных сборахъ, поселить довѣріе и т. д.?

Какъ ни младенчески-наивны эти вопросы, но, къ сожалѣнію, въ жизненности ихъ невозможно усомниться. За ними стоитъ цѣлая исторія, и мы, провинціалы, безвыходно живемъ въ атмосферѣ, ими насыщенной. По временамъ безплодность подобныхъ задачъ дѣлается для насъ болѣе или менѣе ясною; но едва начинаютъ онѣ настоящимъ образомъ умирать, какъ вновь откуда-то является убѣжденіе въ ихъ необходимости, и съ новою энергіей онѣ заявляютъ о своемъ существованіи. Пускай одни утверждаютъ, что главный двигатель производительности есть капиталъ; пускай другіе приписываютъ это труду, третьи — знанію, усовершенствованнымъ способамъ производства, равномѣрному участію въ прибыляхъ и т. д. Мы, жители провинціи, стоимъ на одномъ: что производительность возрастаетъ и упадаетъ единственно по мѣрѣ того, какъ возрастаетъ и упадаетъ строгость. Проще не можетъ быть.

Надо сказать, впрочемъ, правду, что характеръ строгости подвергся въ послѣднее время значительному измѣненію. Когда-то въ провинціяхъ главнымъ господствовала строгость простодушная. Были такіе счастливыя, которымъ стоило выйти на улицу, чтобъ сказать себѣ: «все мое! и стихій мой!

и все, что множится, растетъ и дышитъ при содѣйствіи этихъ стихій, — все мое!» Нѣкоторые до того простырали свою строгость, что даже говорили: «моя наука, мой климатъ» и т. д., и никому не приходило въ голову возражать противъ такихъ похвальныхъ словъ. Эта безпрекословность порождала увѣренность; увѣренность же, съ своей стороны, значительно смягчала проявленія строгости. Теперь противъ прежняго сдѣлалось гораздо обременительнѣе. Тотъ же счастливыя выходитъ на улицу и уже сомнѣвается: точно ли все его? Но такъ какъ прежнее воледѣвіе еще не остыло, то необходимость признать известную долю конкретности за тѣмъ, въ чемъ предполагалась лишь способность мелькать или метаться, невольнымъ образомъ вносить во все vlastныя отношенія какой-то желчно-завистливый, почти что метильный характеръ. Прежняя добродушная строгость уже не удовлетворяетъ потребностей времени; мерещится что-то въ родѣ прекраснаго зданія, у котораго и въ основаніи положена строгость, и стѣны сложены изъ строгости, и крышу, то-есть вѣнецъ зданія, составляетъ строгость же.

Построить такое зданіе и засадить туда россиянь — вотъ идеаль, надъ которымъ мы въ настоящую минуту задумываемся. Разногласія на этотъ счетъ хотя и существуютъ, но незначительны. Одни призываютъ строгость потому, что вообще не могутъ совмѣстить себѣ существованіе съ существованіемъ другихъ; другіе, болѣе добродушные, призываютъ ту же строгость, какъ мѣру временную, при помощи которой должны, по ихъ мнѣнію, исчезнуть фантомы, которые все мрачнѣе и мрачнѣе рисуются на общемъ фонѣ жизни.

— Только на этотъ разъ! дайте только почувствовать, — но почувствовать сознательно и неуклонно, — что спасительное иго еще не упразднилось, и вы увидите, какъ быстро исчезнутъ неурядицы и смуты, которыя загромаждаютъ наше существованіе.

Вотъ рѣчи, которыя говорятся людьми совершенно незлобивыми. Но ежели спросить у этихъ ревнителей общественаго благополучія, что собственно они разумѣютъ подъ словомъ «неурядицы», то сквозь тьму всевозможныхъ запутанностей и оговорокъ вы различите, что это названіе прилагается безразлично ко всякому проявленію самостоятельности и правоспособности. Есть цѣлый классъ индигуумовъ, который, по мнѣнію теоретиковъ строгости, дол-

женъ, для собственнаго своего блага, сидѣть смиренно и ждать погоды. Такъ, напримеръ, ежели подрядчикъ притѣняется рабочихъ, и послѣдніе начинаютъ чувствовать это, имъ говорятъ: «пождитѣ, любезные! потерпите!» Если человѣкъ изнемогаетъ подъ бременемъ разнаго рода предвидѣнностей и начинаетъ доказывать ненормальность такого положенія, ему говорятъ: «нельзя же, мой милый, вдругъ! потерпи!» О чемъ бы ни высказывалось мнѣніе, на что бы ни приносилась жалоба, всему одно опредѣленіе: безыконый характеръ! на все одинъ отвѣтъ: «потерпи!» Сроковъ не назначается, уважительныхъ причинъ не приводится. Одно ясно: это присутствіе какого-то неслыханнаго ученія, въ силу котораго къ легальности нельзя придти иначе, какъ путемъ упрямства той же легальности.

Слушать подобныя разсужденія тяжело до крайности. Точно тѣни мечутся передъ глазами, точно проходитъ безобразное сновидѣніе. Положеніе слушающаго дѣлается ненормальнымъ до болѣзненности. Но итъ, это не тѣни и не порожденія кошмара— это живые и очень крѣпкіе организмы, въ которыхъ есть все (даже есть своеобразное добросердечіе), кромѣ разумнаго отношенія къ дѣйствительности. Это первобытные люди-самоучки, которые прикрываютъ свою наготу первымъ попавшимся древеснымъ листомъ, не зная и не желая знать, что на свѣтѣ уже придуманы другія одежды, гораздо болѣе приспособленныя къ удобствамъ чловѣка. Первобытный чловѣкъ неприспособленъ и еще менѣе изобрѣтателенъ. Дѣйствовать на сознаніе, убѣждать, доказывать и вообще «разговаривать»—все это представляется ему потерей времени. Зачѣмъ трудиться развязывать узелъ, когда его можно сразу разрубить? И, къ сожалѣнію, повторяемъ, это совсѣмъ не тѣни, а дѣйствительные организмы, которые имѣютъ полную возможность доказать свою несомнѣнную конкретность. И если невыносимо тяжело слушать ихъ беззабучныя разглагольствованія о пользѣ строгости, какъ живороднаго начала всякаго благополучія, то можно себя представить, въ какой мѣрѣ увеличивается эта тяжесть, когда приходится видѣть примѣненіе этихъ разглагольствій на практикѣ, когда приходится жить въ атмосферѣ, ими отравленной. А между тѣмъ можно сказать, что это почти насущный папъ хлѣбъ, что мы, жители провинціи, издавна никакой иной пищи не знаемъ, кромѣ строгости, которая уничтожаетъ насъ едва ли не выше самой широкой потребности.

Много сочиняется у насъ проэктовъ насчетъ возстановленія энергіи, но наибольшую популярностью пользуется тотъ, который предполагаетъ концентрировать эту энергію въ одномъ выѣстѣнницѣ. Безобразіе раздѣленія властей шлѣ въполнѣ сознано, но, къ сожалѣнію, не сознано, что въ этомъ раздѣленіи все-таки заключалось итъ что похожее на гарантію. И чувствую, что эти слова изумятъ читателя. Возможно ли, скажете вы, утверждать, что безмысленца можетъ представлять какое-то обезпеченіе? Да, милостивые государи, возможно. Бываютъ положенія, когда не только безмысленца, но даже прямое злоупотребленіе, въ родѣ, напримеръ, взяточничества, представляетъ обезпеченіе. Дѣло въ томъ, что чловѣческаія общества такъ устроены, что для процвѣтанія ихъ необходимо, чтобы единичный прозяволъ имѣлъ противобѣтъ, и ежели сравнивать положеніе, въ которомъ есть хоть какой-нибудь шансъ спасти что-либо отъ попятновеній широковѣщательности, съ такимъ, въ которомъ совсѣмъ нтъ такихъ шансовъ, то едва ли придется отдать предпочтеніе первому изъ нихъ, какъ бы ни велико было его внутреннее безобразіе.

Сжигая наши корабли окончательно и давая нашей дѣятельности направленіе исключительно (въ смыслѣ безпородной строгости), мы, конечно, можемъ достигнуть результатовъ очень неуточныхъ. Но, во-первыхъ, подобныя результаты едва ли будутъ въ нашихъ разсчетахъ и, во-вторыхъ, они еще менѣе подойдутъ къ среднему уровню чловѣческихъ желаній. Средній чловѣкъ, съ которымъ преимущественно приходится имѣть дѣло, всего болѣе цѣнитъ возможность свободно устраниваться и распорядиться въ той небольшой сферѣ, которую онъ привыкъ называть своею. Поэтому, если и можно убѣдить его, что образъ дѣйствій, наиболее враждебный этой возможности, есть, выѣтъ съ тѣмъ, и такой, который всего скорѣе сдѣлаетъ ее общаго достояніемъ, то это убѣжденіе будетъ чисто теоретическое. На практикѣ онъ будетъ всегда искать и отдавать предпочтеніе такимъ комбинаціямъ, которыя дѣлаютъ жизнь болѣе легкою и удобовыносимою. Коли хотите, это ошибка очень капитальная, но что же дѣлать, если въ натурѣ чловѣка не подставлять голову подъ удары, а защищать ее отъ нихъ?

Поэтому казалось бы болѣе рациональнымъ, покуда не отыщется дѣйствительно компетентная среда для противоявія широковѣщательности, не уничтожать, по крайней



мѣръ, тѣхъ противовѣсовъ, которые утвердились уже сами собою. Представьте себѣ балетъ, въ которомъ не было бы ни второстепенныхъ корифеевъ и корифеекъ, ни кордебалета, и въ которомъ на голомъ, обнаженномъ отъ декораций полу плясали бы только первый танцовщикъ и первая танцовщица? Конечно, такой балетъ показался бы для зрителей утомительнымъ, даже въ томъ случаѣ, если-бъ танцующій сюжетъ показалъ искусство самое неслыханное. Голдъ, безсвязно, и, главное, не видно, для чего сюжетъ пляшетъ. Но этого мало: плясаніе столь неестовое утомительно и для самого пляшущаго. Нѣкоторое время онъ пляшетъ съ увлеченіемъ, но подъ конецъ силы его истощаются, онъ начинаетъ утрачивать смыслъ своей пляски, начинать тяжело дышать и видимо тяготиться тѣмъ, что онъ одинъ занимаетъ всю ширину сцены. «Эй! кордебалетъ!» восклицаетъ онъ въ отчаяніи, но—увы!—кордебалетъ ужъ распушенъ, и на мѣсто его выступаютъ плотники, машинисты, устраниватели проваловъ, адоръ и т. п. Положимъ, что это сказаніе о балетѣ—не болѣе какъ притча, но примѣните ее къ настоящему случаю, т.-е. къ вопросу о концентрированіи широкѣйшаго, и вы увидите, что притча эта имѣетъ свой смыслъ.

Но такъ какъ чувство дѣйствительности, повидному, утрачено, то очень понятно, почему на мѣсто его такъ рѣшительно выступаетъ сознаніе строгости, и почему оно съ каждымъ днемъ приобретаетъ все болѣшую и болѣшую силу. Отсутствие дѣйствительной силы образуетъ пустоту, которую предполагается наполнить силою мнимой. Появляются люди безсильные, но озлобленные, которые ни о чемъ не хотятъ слышать, ничего не желаютъ знать, кромѣ одного: строгости. Нѣтъ ни прошедшаго, ни будущаго; есть лишь настоящее, которое имѣетъ въ виду послѣднюю куріцу, которое разсчитываетъ на чувствительность человѣческаго организма.

Предположимъ однако-жъ, что идеалы, къ которымъ мы стремимся, осуществились. Предположимъ, что широкѣйшаго утвердилось безраздѣльно и на прочномъ основаніи, что положеніе «паромъ покати» достигнуто, что смелки даже и тѣ слабые ниски, которые доселѣ нарушали общее безмолвіе. «Что-жъ дѣлать?»—вотъ вопросъ, который въ нѣдръ самого безмолвія возникаетъ совершенно естественно и неудержимо.

Какъ бы ни восхваляли строгость, все-таки это не болѣе, какъ форма, которую слѣдуетъ наполнить какими-нибудь

содержаніемъ, если мы желаемъ, чтобы она имѣла значеніе. Нѣкоторые даже думаютъ, что это совсѣмъ и не форма, а просто уклоненіе человѣческаго разума, до котораго здоровой жизни нѣтъ никакого дѣла. Но допустимъ, что говорящимъ такимъ образомъ суть утописты; сунимъ націю задачу до безконечности и спросимъ себя: давала ли, можетъ ли дать строгость какіе-либо иные результаты, кромѣ безмолвія? и, въ свою очередь, давало ли безмолвіе иные результаты, кромѣ общаго нравственнаго и матеріальнаго оскудѣнія?

Исторія отвѣчаетъ на эти вопросы отрицательно. Когда Чингисъ-Ханъ, Батый, Аттила и проч. проходили черезъ страну съ огнемъ и мечомъ, она не просіявала свѣтомъ наукъ, и рѣки ея не закипала ни млекою, ни медомъ—это фактъ неопровержимый. Напротивъ того, тамъ, гдѣ до ихъ прихода были города и селенія, гдѣ копошился человѣкъ и существовали полныя житницы, тамъ очутились голое, безмолвное мѣсто. Причина такого явленія весьма понятна. Всѣ названные нами люди ничего не приносили съ собою, кромѣ строгости; а такъ какъ строгость есть понятіе отвлеченное, которое никого не питаетъ, то и вышло, что они исполнили только ту половину своей предполагаемой задачи, которую они дѣйствительно способны исполнить, то-есть сожгли, разрушили, разорили, и затѣмъ пошли дальше и дальше, покуда имъ не сказали: довольно! Это «довольно!» имѣетъ свое значеніе, надъ которымъ не лишне размыслить. Если люди кричатъ извѣстному явленію «довольно!», то это значитъ, что оно имъ не надобно, что они могутъ гораздо лучше устроить свою жизнь, если его не будетъ. Пренебрегать подобными заявленіями нельзя уже потому, что мѣропріятіе самое строгое все же обрушивается не на комъ другомъ, а на людяхъ, и слѣдовательно ихъ мнѣніе въ этомъ дѣлѣ должно имѣть вѣсъ. Основываясь на этомъ, многіе полагаютъ даже, что выраженія въ родѣ: «строгость спасительна» или «строгость своевременна» суть выраженія, введенныя въ лексиконъ самовольно, безъ согласія тѣхъ, до которыхъ они относятся. Ибо если бы Чингисъ-Ханъ истреблялъ людей даже съ полезною цѣлью истребленія въ нихъ невѣжества, то и тогда онъ былъ бы неправъ, такъ какъ, съ истребленіемъ людей, какимъ же образомъ онъ могъ бы приступить къ насажденію просвѣщенія?

Представьте себѣ группу людей, изнемогающихъ подъ игомъ предрасудковъ и невѣжества. Эти люди довольству-

ются указаниями самого грубого эмпиризма и потому ничего не могут ни предвидеть, ни предотвратить; они ребяческим образом пользуются находящимися в них распоряженіи богатствами природы и следовательно извлекают из них так мало, что понятіе о дѣйствительных удобствах жизни не может даже существовать для них. Такое положеніе очень печально; но оно не безвыходно, потому что для него есть поправка въ распространеніи знанія. И вотъ къ этимъ несчастнымъ людямъ приходитъ человѣкъ просвѣщенный, обладающій массой полезныхъ знаній, и предлагаетъ подѣлиться съ ними имѣющимся у него запасомъ. Первое, что поразитъ его въ этомъ случаѣ, будетъ, конечно, то, что эти люди, несчастіе которыхъ, кажется, нѣтъ на свѣтѣ, еще не настолько однако-жъ несчастны, чтобы стремглавъ броситься въ его объятія и сказать: «благодѣтельствуи! мы все потерпѣть согласны!» Но, какъ ни огорчителенъ можетъ показаться подобный фактъ, все-таки благо будетъ просвѣтителю, если онъ въ этомъ колебаніи увидитъ только признакъ общаго всеѣмъ людямъ желанія сначала понять то, что предлагается, а потомъ уже, по мѣрѣ уразумѣнія, и принять предлагаемое. Но ежели онъ человѣкъ строгій, то колебаніе приметъ въ его глазахъ всѣ размеры преднамѣреннаго противодѣйствія и въ этомъ качествѣ, навѣрное, возбудитъ негодованіе. Послушный этому чувству, что онъ предприметъ? Ежели онъ начнетъ стрѣлять, то очевидно, что достигнетъ истребленія—и ничего больше. Ежели онъ воздержится отъ стрѣльбы, а только будетъ бить палкою, то и тогда его просвѣтительная миссія значительно задержится. Это до такой степени вѣрно, что нѣтъ въ мірѣ страны, въ которой разоренная мѣстность не называлась бы разоренною, а забытые люди—забытыми, и въ которой смыслъ этихъ названій означалъ бы что-нибудь лестное. Какъ хотите, а номенклатура эта имѣетъ свой смыслъ. Она означаетъ, что, въ какую бы цѣль ни было предпринято разореніе, изъ него ничего не можетъ выйти, кромѣ разоренія же, и что глубоко ошибаются тѣ, которые, устрояя у обывателя послѣднюю курицу, думаютъ, что вслѣдствіе этого у него ляжетъ двѣ.

Несмотря на столь жалкій результатъ, приведенный выше примѣръ однако-жъ еще слишкомъ благоприятенъ для строгости, чтобъ можно было остановиться на немъ. Роль просвѣтителя предполагается въ немъ принадлежащею человѣку, дѣйствительно обладающему знаніями. Но гораздо чаще

бываетъ, что человѣкъ считаетъ себя имѣющимъ право на широковѣщаніе совсѣмъ не вслѣдствіе вышшаго нравственнаго и умственнаго уровня, а только потому, что носить на плечахъ другого покрою одежду, нежели та, которую носятъ люди, подлежащіе напору просвѣтительной дѣятельности. Кто можетъ поручиться, что этотъ человѣкъ, изъ всѣхъ ходячихъ понятій о томъ, что для людей полезно и что бесполезно, принимаетъ именно то, которое наиболее соответствуетъ настоящимъ потребностямъ минуты? Кто будетъ такъ смѣлъ, чтобъ утверждать, что этотъ человѣкъ не невѣжественъ, не одностороненъ... наконецъ не глупъ? Развѣ право на широковѣщаніе не лотерея? развѣ всѣ эти Дарьи Петровны, Марьи Иваловны, Татьяны Федоровны, сжемикутно рождающія людей широковѣщательныхъ, обязывались клятвенно, что чада ихъ непремѣнно будутъ сердце-вѣдцами? Представьте же себѣ, что чадо это родилось со всѣми качествами человѣка непроницательнаго, и затѣмъ сообразите, что можетъ надѣлать этотъ непроницательный человѣкъ, какъ только почувствуетъ, что широковѣщанію его никакихъ границъ не полагается!

Картина просвѣтительно-окустошительныхъ подвиговъ, которымъ предаются люди, считающіе себя просвѣтителями потому только, что ходятъ въ пиджакахъ, а не въ зипунахъ, и пьютъ шампанское, а не сивуху, извѣстна каждому, кто хоть малое время жилъ въ провинціи. Это своего рода «Послѣдній день Помпея». Но каждый разъ, какъ приходится описывать эти подвиги, рука дрожитъ, и самая мысль нѣмѣетъ. Поэтому мы и не пытаемся описывать ихъ, а только спрашиваемъ: ужели мало того, что есть и чѣмъ мы и безъ того безспорно пользуемся? ужели есть еще необходимость прибавлять, усиливать, концентрировать?

Если отъ кого-нибудь требуютъ, чтобъ онъ исправно обрабатывалъ, на примѣръ, десятину земли, то всякій сколько-нибудь разумный человѣкъ согласится, что для этого надобно, во-первыхъ, чтобъ индивидуумъ, къ которому обращается требованіе, былъ знакомъ съ приемами обработки; во-вторыхъ, чтобъ у него былъ исправный инструментъ; въ-третьихъ, чтобъ онъ былъ до извѣстной степени заинтересованъ въ этомъ дѣлѣ. Представьте же себѣ, что вмѣсто этихъ условій человѣку предлагается только строгость, что ему не даютъ ни свѣдѣній, ни инструментовъ, ни вознагражденія, а только отъ времени до времени свѣжутъ. Насколько подвинется отъ этого обработка казенной десятины?

Конечно, мнѣ могутъ возразить, что примѣръ этотъ слишкомъ фантастиченъ, что дѣйствовать подобнымъ образомъ, то-есть въ сѣченіи видѣть замѣну матеріальныхъ и нравственныхъ посредничествъ, можетъ только человѣкъ совершенно безумный. Нѣтъ, милостивые государи, этого человѣка нельзя назвать вполне безумнымъ; онъ тотъ же неразвитой, выросшій въ извѣстныхъ привычкахъ, какъ и множество другихъ, которыхъ мы вовсе не разумѣемъ безумными. Сказать ли болѣе? едва ли это не тотъ самый индивидуумъ, о которомъ вы сами, милостивые государи, мечтаете и котораго имѣете въ виду въ тѣ сладкія минуты, когда власть обнѣяетъ мысль объ усиленіи и концентрированіи власти.

Да, это онъ. Вообразите себѣ, что власть концентрирована достаточно; что она простирается на всѣ дѣла рукъ человѣческихъ, что она опутала весь видимый и невидимый міръ,—что можетъ изъ этого выйти? Изъ этого выйдетъ то перемѣнное послѣдствіе, что она всюду будетъ совать свой носъ и всюду предъявлять требованія. Но міръ разнообразенъ, и столь же разнообразенъ характеръ человѣческой дѣятельности. Каждая отрасль этой дѣятельности представляетъ собою специальность, и для того, чтобы достигнуть правильнаго отношенія къ какой-нибудь изъ нихъ и быть судьей или наставникомъ, необходимо самому быть специалистомъ въ ней. Если этого нѣтъ, если во главѣ дѣла является человѣкъ, у котораго нѣтъ ничего, кромѣ энергіи, то ему остается только говорить: «поди туда, неведомо куда, подай то, неведомо что». И чѣмъ сильнѣе будетъ энергія, съ которою будутъ исходить подобныя распоряженія, тѣмъ сильнѣе будетъ путаница, потому что ничто такъ не затрудняетъ исполнителей, какъ зрѣлище человѣка, мечущагося во всѣ стороны и говорящаго невнятные слова. А такъ какъ путаница не успокаиваетъ, а напротивъ, еще болѣе возбуждаетъ энергію, то въ результатѣ перемѣнно окажется порочный кругъ, изъ котораго нѣтъ никакой возможности выбраться иначе, какъ посредствомъ генеральнаго обращенія людей въ стадо безсловесныхъ.

Этого-то, повидимому, и добиваются наши провинціальныя поборники единоначалій, концентрированій, усиленій и т. п. Достать такого специалиста, передъ строгостью котораго смозгали бы всѣ специалисты, добиться такого порядка вещей, который бы резюмировался въ одномъ словѣ: «молчать!»—вотъ завѣтная мечта, надъ которою ломаютъ

головы представители провинціальной интеллигенціи. Одинъ хлопочуть тутъ по невидѣнію, потому что такъ издавна заведено, что строгость считается творческимъ началомъ всевозможныхъ благополучій; другіе хлопочуть, мотая себѣ на усть и не безъ нѣкоторыхъ дальновидныхъ расчетовъ на будущія блага, отъ того произойти могутія. Но какъ тѣ, такъ и другіе равно упускаютъ изъ вида, что всякая спина принадлежитъ тому, кто ею обладаетъ, и что, слѣдовательно, только обладатель спины можетъ быть дѣйствительно компетентнымъ судьей относительно того, что она выноситъ.

### Письмо одиннадцатое.

Еще одно отступленіе.

Въ последнее время большою благосклонностью со стороны провинціаловъ пользуется то мнѣніе, что наши административныя и экономическія неудачи оттого происходятъ, что въ дѣлахъ большое участіе принимаютъ специалисты. Не думайте, впрочемъ, что бѣда усматривается тутъ въ томъ, что исключительное увлеченіе какою-нибудь специальною отраслью знанія или дѣятельности въ значительной степени ослабляетъ въ человѣкѣ способность къ обобщеніямъ и слѣдовательно дѣлаетъ его какъ бы чуждымъ всемъ явленіямъ жизни, кромѣ тѣхъ, которыя прямо входятъ въ сферу его специальности. Нѣтъ, мы, провинціалы, такъ далеко не ходимъ, и у насъ специалистомъ называется вообще всякій человѣкъ, обладающій какимъ бы то ни было знаніемъ, или, лучше сказать, всякій человѣкъ, умѣющій сдѣлать то дѣло, за которое онъ взялся.

По мнѣнію нашему, специалисты слишкомъ ужъ тонки: сразу и не поймешь, дѣло ли они дѣлаютъ или надуваютъ. При этомъ, когда специалистъ совершаетъ какія-либо дѣйствія, то думается, что онъ словно колдунъ. Станешь наблюдать за нимъ—ровно ничего не понимаешь; бросишь наблюдать—сдѣлается совѣстно: что же я-то, въ самомъ дѣлѣ, такое? ужели я и впрямь лишній человѣкъ? Все равно какъ съ математикомъ: задашь ему задачу—и уходи. Начнетъ онъ дѣлать свои выкладки, сидитъ, думаетъ, пишетъ, чертитъ—готово! Молодецъ математикъ! рѣшилъ. Однако-жъ кто его знаетъ, точно ли онъ рѣшилъ? А что если онъ даже не математикъ, а просто прохвостъ, притворившійся математикомъ? Развѣ такихъ примѣровъ не

бывало? Всё эти сомнения возникают вдруг, помимо нашей воли, и так они для нас обидны, так обидны, что даже сказать нельзя...

Разумеется, эта обида сейчас же облекается в соответствующую жалобу.

— Представьте себе, он там какую-то чертовщину плетет, а я, как дурак, должен смотреть на него! — негодуешь один.

— Да это еще что-сь! — разжигает другой: — намеднишь сидеть я это, сидеть — ну, одурь взяла! Подхожу, знаете, к нему: покажите, ради Христа, говорю, что вы тут кудесничаете? Что-же-сь! встал это, бестия, улыбается, подаст... Ну, посмотрел, плюнул и отошел.

Ишь, рвшаемь мы, ну их к Богу, этих специалистов! лучше хлеб съ водой есть да знать, что это действительно хлеб и вода, нежели смаковать какія-то хитро приготовленные яства, которые, ежели хорошенько их разобрать, окажутся, пожалуй, такою мерзостью, что потому всю жизнь тошнить будет!

Сверх того, нам кажется несколько подозрительным и то обстоятельство, что с тех пор, как завелись на Руси специалисты, какіе-то такіе длинные счета появляются стали, что невольно останавливавшиеся перед ними в священном ужасе. Так, например, благодаря специалистам, скоро на Руси совсем жилищ не будет. Старая жилища постепенно придут в ветхость, а новых никто строить не рвнется. Причина очень простая: сами мы ничего, кроме карточных домиков, строить не умеем, а ежели вздумаем обратиться к специалисту, то гибель наша неизбежна. Специалист докажет, что железная крыша непримр прочнее деревянной, что паркетные полы красивее простых крашенных, что дубовые рамы надежнее еловых или сосновых и т. д. Одно только упустить он из вида: что у вас в кармане всего один грош, да и то ломаный, и упустить это совершенно основательно, потому что, в сущности, слѣдить за положением вашего кармана совсем не его дѣло. Но и вы, заслушавшись его, тоже упустите это из вида, потому что очень уж он обстоятельно говорить.

— Помилуйте! — говорит он: — вѣдь дубь — это что? вѣдь он против какой-нибудь ели внятеро да вшестеро выстоит! сосчитайте же теперь, сколько денег-то у нас в кармане останется.

И вот, в этой крайности, вы непременно скажете себе: что-жъ, в самом дѣлѣ! человек я неученый, всю жизнь только водку пить да закусывалъ — куда мнѣ в такіе дѣла входить! Поручу-ка я мою постройку молодому человеку, который сквозь огонь и мѣдныя трубы прошел (это-то и есть специалист); он мнѣ все это обдѣлает, а я только буду жить да поживать! Но проходитъ мѣсяцъ, и вамъ подають счетъ — эге! Проходитъ другой мѣсяцъ — еще счет! Самыя изысканныя потребности войны предусмотрѣны; счастливое сочетание фестончиковъ съ амурчиками и вырѣзочками изумительно; вездѣ водопроводы, ватерклозеты... четыре ватерклозета для васъ, когда вы даже в одномъ никогда не ощущали потребности! Вы ничего ужъ не помните; вы позабыли, что на всѣ эти изысканности вамъ дано заранѣе безусловное согласіе; вы сознаете только, что вы нищій, котораго насильственно ведутъ в замасленном халатѣ, немилатаго, нечесаннаго, в какой-то палато; вы чувствуете, что съ вами озноб... И вот вы рвшааетесь на геройскій поступокъ: на половинѣ вы бросаете начатое дѣло и кос-какъ вѣнчаете зданіе соломенной крышей; вы съ омерзѣніемъ смотрите на малахитовую колонну, которая какъ-то одиноко (предполагалось прикупить и другую, да денегъ не достало) пріютилась у входа в ватерклозетъ, и отправляетесь в клубъ, чтобъ на досугѣ продать проклятію ученыхъ и специалистовъ, которые не умѣютъ угадать, что намъ ладобенъ хлебъ, а не палато.

Но этого еще недостаточно. В послѣднее время мы из достовѣрныхъ источниковъ узнали, что специалисты просто-на-просто исподволь революцію производятъ. Всякій изъ нихъ на что-нибудь да посягаетъ. Физиологи посягаютъ на безсмертіе души; химики посягаютъ на цѣльность матеріи, физики — на молнію и громъ и т. д. До сихъ поръ мы говорили: вот человекъ, вот заяцъ, вот ворона, вот налимъ — и были вполне убѣждены, что этнмъ сказано все, что о семъ предметѣ сказать надлежитъ. Теперь насъ в глаза увѣряють, что, говоря такимъ образомъ, мы ничего не высказываемъ, кромѣ названій, и что жить съ однимъ названіемъ ни подъ какимъ видомъ нельзя. Но ежели эти люди уже начали разлагать громъ небесный, то можно себя представить, какъ они поступаютъ относительно прочаго!

Самый лучший способъ избавиться отъ специалистовъ — это замѣнить ихъ кантонистами. Хотя и это тоже своего рода специальность, но она тѣмъ хороша, что ее можно во

всякое время и во все стороны распространить. Появился в настоящую минуту проект о заимствании специалистов капиталистами — не подлежит никакому сомнению, что они имели бы в провинциях успех громадный, именно потому, что они доступны всякому пониманию. Всякий знает навстречу, что любого капиталиста можно призвать, сказать ему: исследуй природу и человека! — и он исследует. Мало того, что исследует, но в то же время ни до каких подозрительных результатов не дойдет. Химик-специалист никогда не остановится во-время, а все хочет что-то исчерпать, до чего-то дойти; химик-капиталист, добивая до известной границы, не только сам благодарно отретировается, но и другим скажет: «цить!» Забьем в академиях сидеть Веры да Зиныны? гораздо лучше на их места посадить капиталиста Чиналдзе! Он в науку с быстротою молнии приведет к одному знаменателю и тем удовлетворительно докажет, что ничто человеческое ему не чуждо!

Одним словом, начало всех наших зол принимается не кому другому, а именно специалистам, то-есть людям, знающим и умным что-нибудь делать. С экономической точки зрения, всякий специалист — непременно вор; с точки зрения нравственно-политической — непременно революционер. И, что всего опаснее, ни под какими видом нельзя его уличить.

— Уже кружил он меня, кружил — до сих пор опомниться не могу!

Вот единственный критерий, с которым провинциал относится ко всякому знанию. Он чувствует, что жизнь его расклевывается, и относит это не к тому, что он ни к чему приступить не может, ничем сам себя помочь не в силах, а к тому, что явились люди, которые как-то так таинственно орудуют, что он вынужден только хлопать глазами да вынимать из кармана деньги. Положение действительно унижающее, но какое же имеет основание ставить его на счет знания, а не невежеству?

Мы, провинциалы, живо помним то время, когда в среде нашей сложилась знаменитая поговорка: «тык да ляп — и корабль». Всякий тогда приходил и объявлял себя способным повелевать стихиями. Пехотинцы ходили по морю, яко по суку; кавалеристы строили фортеции и ретраншементы, а гарнизонные офицеры, в свободное от постройки рекрутских полушубков время, выдумывали

порохъ. И казалось тогда, что все мнилось. Курьеры скакали, парочные летали, предписания опережали вѣтеръ. Понявши это была какая-то фантазмагорія исполнительности, о которой безъ слезъ вспомнить нельзя. Человѣкъ неучиный, рыбакъ, пастухъ — все это принимало на себя обязательство уловлять людей, и уловляло. Это были какія-то аностольскія времена, когда казалось, что изъ всѣхъ существующихъ специальностей специальность уловленія людей есть самая легчайшая. Но гораздо труднѣе оказывалось уловлять вещи, какъ, наприкладъ, достигнуть того, чтобы флоты не гнили, когда они ремонтируются одною исполнителнностью, чтобы ружья стрѣляли, когда у нихъ должностъ курка исполняетъ исполнителнность, чтобы фортеции не обрушивались, когда въ основаніе ихъ положена только исполнителнность.

Но намъ, провинциаламъ, ничего объ этомъ извѣстно не было, ибо мы и въ этомъ случаѣ, какъ и всегда, исполняли должностъ пятого колеса въ колесницѣ. Наше самолюбіе было польщено тѣмъ, что мимо насъ мчатся курьеры, скачутъ верховые и все что-то везутъ, что-то экстренное, не терпящее ни разсужденій, ни отлагательства.

— Чтѣ, любезный, флоты сооружать поспѣшаешь? — спрашивали мы курьера, наскоро перехватывавшаго на станціи.

— Точно такъ, ваше благородіе! — отвѣчалъ курьеръ, проглатывая кусокъ съ такою поспѣшностью, какъ будто это былъ не кусокъ чего-то съѣдобнаго, а раскаленный уголь.

— Поспѣшай, мой другъ, поспѣшай!

И мы были довольны. Пускай нашъ порохъ оказывался такимъ, что лучше было бы палить безъ пороху, все-таки мы видѣли, что люди не сидятъ праздно, не задумываются, а прямо берутъ, что попало подъ руку, и складываютъ въ одну кучу.

Теперь эта судорожная дѣятельность уже достаточно выяснилась и зарекомендовала себя; тѣмъ не менѣе возрѣнія, которымъ она дала начало, слишкомъ живучи, чтобы скоро уступить не только влиянію времени, но даже подтвержденіямъ опыта. Во-первыхъ, для толпы всегда очень выгодно признавать себя во всѣхъ отношеніяхъ компетентною; во-вторыхъ, она видитъ, что въ глазахъ ея во множествѣ совершаются глупыя дѣла, и мало-по-малу убѣждается, что глупость есть нормальный уровень всѣхъ

вообще дѣла. Какая надобность привлекать къ ихъ совершению какихъ-то избранныхъ людей? Ибо что такое, въ самомъ дѣлѣ, эти такъ-называемые избранные люди?—это тѣ самые, которые способны только усложнить и затруднить дѣло, а не разрѣшить его. Разрѣшить дѣло, то-есть устроить вѣтиски и генеральную надѣбу, можетъ въ надлежащемъ видѣ только вотъ этотъ молодецъ, который въ сію минуту идетъ по улицѣ и ковыряетъ въ носу. Позовите его, и вы не успеете оглянуться, какъ онъ—трахи!—и повернувшись, и вывернувшись, и перевернувшись!

— И совѣтовать, батюшка, ни у кого не спросить, а просто придеть, взглядомъ окинуть—и разрѣшить.

Съ точки зрѣнія воспоминаній прошлаго, эти рѣши не лишены известной доли основательности. Мы еще такъ недавно выдержали крѣпостное право, а сущность его, конечно, въ томъ и состояла, чтобъ упростить формы и отношенія до самыхъ крайнихъ предѣловъ. Когда въ человѣкѣ усматривается лишь матеріалъ, который можно, по усмотрѣнію, и скорчить, и вытянуть, тогда, разумѣется, не можетъ быть повода задумываться надъ тѣмъ, что слѣдуетъ предпринять, дабы успѣшнѣе уловлять людей. Всѣ люди отъ рожденія уже находятся въ западнѣ и даже не бьются въ ней, а только стараются какъ-нибудь половчѣе примоститься, чтобъ не очень сильно чувствовались вывихи, переломы и оглушенія. Арена дѣйствія настолько суживается, что сѣченіе представляется совершенно достаточнымъ средствомъ для урегулированія общественныхъ потребностей и стремленій. Хочу, чтобъ на этомъ мѣстѣ былъ городъ—и бысть; хочу, чтобъ была навилонская баня и будетъ.

Вопросъ въ томъ: возможно ли продолженіе подобныхъ воззрѣній съ упраздненіемъ крѣпостнаго права, то-есть съ наступленіемъ такого порядка вещей, при которомъ самый взглядъ на человека радикально измѣняется?

Что это дѣло возможное—насъ убѣждаетъ въ томъ дѣйствительность. Мнѣ скажутъ, можетъ-быть, что всякія ссылки на крѣпостное право въ настоящую минуту совершенно запоздалы, ибо даже самый заскорузлый провинциаль—и тотъ махнулъ на него рукой; но возраженіе это можетъ быть принято только съ оговоркою. Мы, дѣйствительно, примирились съ идеей, что крѣпостное право не существуетъ; но спросите любого, въ чемъ заключается это примиреніе, и вы, навѣрное, не добьетесь отвѣта сколько-нибудь яснаго.

Что внѣшняя сторона совершившагося акта волиѣ нами признана—это несомнѣнно; что мы до известной степени создали, что руки у насъ противъ прежняго стали гораздо короче—этого тоже отрицать нельзя. Но что-жъ изъ того, если мы нашими укороченными руками желаемъ махать точно такъ же, какъ бы онѣ были неукорочены?

Въ томъ-то и дѣло, что, кажется, только на внѣшности и прервались наши сознательныя отношенія къ этому дѣлу, и что ни одного изъ послѣдствій, которыми оно такъ богато, мы не провидѣли, а потому и признать добровольно не можемъ. Наши отношенія къ жизни остаются столь же запутанными, какъ и прежде; если одна часть ихъ и похерена (одна ли, впрочемъ, не механически только), то все остальное продолжаетъ держаться и воспитывать представленія самыя противорѣчивыя и другъ друга побивающія. И когда жизнь цѣлою цѣпью неудачъ протестуетъ противъ невѣжества, какъ творческой силы, мы нисколько не затрудняемся этимъ, но думаемъ, что это не больше, какъ начальственное послабленіе, которому очень легко пособить. Стоитъ только припугнуть хорошенько знаніе и обратиться съ усиленной просьбой ко всѣмъ невѣждамъ празднопатающимъ—и всѣ нужныя распоряженія по части уловленія вселенной будутъ неуничижительно приведены въ исполненіе!

Вотъ почему между нами и по сіе время въ такомъ ходу рассказы о дѣятеляхъ-кантопистахъ, которые въ былое время оказывались и исправными статистиками и исполнительными экономистами, и даже являлись небезыскусными по части философіи и астрономіи. Если исправники до сихъ поръ были соиздателями и руководителями нашей жизни, то почему же и впредь имъ въ сихъ должностяхъ не состоятъ? Какія такія новыя прихоти появились, чтобъ измѣнять этотъ порядокъ? Мужики, что ли, носъ начали задираютъ? Такъ на этотъ предметъ имѣются у исправниковъ такія полномочія, при посредствѣ которыхъ великій задирайка очень скоро пойметъ, что уши выше лба, и по упраздненіи крѣпостнаго права, расти не могутъ!

Со всѣмъ этимъ не согласиться нельзя, ибо у исправниковъ имѣется уполномочіи очень достаточно. Но есть ли надобность въ этихъ полномочіяхъ? Но приводятъ ли они къ какимъ-нибудь существеннымъ результатамъ?—вотъ въ чемъ вопросъ, вотъ что слѣдуетъ разрѣшить прежде, чѣмъ принимать угрожающіе тоны и зря кидаться впередъ съ кулаками, полными полномочій.

Никто не споритъ, что не только въ прошломъ, болѣе или менѣе отдаленномъ, но даже и въ сію минуту міръ полонъ кантонистами-статистиками и кантонистами-астрономами. Споръ идетъ лишь о томъ, въ какой мѣрѣ они полезны, и кажется, что опъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ кончиться въ пользу кантонистовъ. Даже приподнявши завѣсу давно минувшаго, мы все-таки убѣдимся, во-первыхъ, что ни одна составленная кантонистомъ статистика ни въ одномъ военно-учебномъ заведеніи никогда въ руководство принята не была, и во-вторыхъ, что всѣ академіи, какія когда-либо существовали, всегда отзывались о дѣятельности кантонистовъ на поприщѣ наукъ съ чрезвычайною сдержанностью, почти что съ холодностью. Каждый гимназистъ можетъ доказать кантонисту, что опъ или совраля или не понималъ, и что, по-настоящему, ему слѣдовало бы надѣть на голову кофякъ съ длинными ушами. Что возразитъ кантонистъ противъ такой аргументаціи? Смолчить ли?—но тогда какой же онъ будетъ патентованный статистикъ и астрономъ? Бросится ли на своего обличителя и начнетъ его истязать?—но тогда какая получится въ результатѣ статистика?

Изъ этой дилеммы выйти невозможно, какъ скоро однажды признано, что статистика есть фактъ, что наука о производствѣ цѣнностей и распредѣленія ихъ—тоже фактъ, и что астрономы не совсѣмъ напрасно доказываютъ, что земля обращается вокругъ солнца. Не признавъ же всего этого нельзя, во-первыхъ, потому, что есть очень много людей, для которыхъ это признаніе выгодно, а во-вторыхъ, потому, что если, напримѣръ, этого не признаетъ Иванъ, то признаютъ его сосѣди, а дѣло Ивана все-таки не выгоритъ. Ни знаніе, ни право, ни тѣ отношенія, которыя изъ нихъ вытекаютъ, ни въ какомъ случаѣ не могутъ быть спрятаны въ карманъ, подобно кукишу. Нѣтъ жель солиднаго кармана, который бы не порвался отъ тяжести подобной поклажи.

Раздѣляя одну и ту же задачу на двѣ половины, изъ которыхъ на одну соглашаться, а о другой игнорировать,—значитъ добровольно обманывать самихъ себя. Задача, которая стоитъ передъ нами, до такой степени захватываетъ насъ всѣми своими подробностями, что непризнание одной изъ нихъ вредитъ не столько цѣнности самой задачи, сколько общему уровню нашего собственного существованія. Если жизнь наша расклеивается, если новое или совсѣмъ не со-

здается, или создается туго, безъ всякаго соответствія даже съ самыми неприхотливыми потребностями, то вина этого заключается именно въ объясненной выше раздвоенности нашего взгляда. А мы, вмѣсто того, чтобы обратить вниманіе на ту роль, которую играютъ въ этомъ дѣлѣ наша недалекость, злобно подмѣчаемъ каждую неудачу, которую испытываетъ новое дѣло въ своихъ усиліяхъ встать на ноги. Всякій фактъ насилія радуется насъ безпримѣрно; всякое извѣстіе о потопганіи, посрамленіи и проч. производитъ восторгъ. Вотъ, напримѣръ, крѣпостное право хотъ и уничтожено, а тамъ-то и тамъ-то поступлено такъ, что хотъ бы и при крѣпостномъ правѣ такъ вѣюру. Или еще: новые суды хотъ и введены, однако тамъ-то и тамъ-то, какъ захотѣли, такъ и безъ судовъ расправу нашли. Разсказы такого рода приводятъ насъ въ восхищеніе. И такіе тутъ начинаются у насъ смѣхи и утѣхи, что у чувствительнаго человѣка волосы дыбомъ становятся, а человѣкъ нечувствительный въ изумленіи спрашиваетъ себя: надъ чѣмъ однако-жъ они смѣются?

Если мы вдумаемся хорошенько въ этотъ вопросъ, то убѣдимся, что это смѣхъ ограниченаго человѣка надъ собственною ограниченностью. Непривычка къ обобщеніямъ такъ велика въ насъ, что мы понимаемъ всякое нарушеніе правильнаго хода жизни только локализованно и никакъ не хотимъ сознаться, что это лишь звено цѣлой цѣпи. Система нарушенія имѣетъ свою горькую послѣдовательность, которая захватываетъ не одни непріятные намъ элементы, но подчасъ и насъ самихъ, ибо тутъ общимъ принципомъ является нарушеніе, передъ которымъ всѣ элементы равны. Мы слинкомъ надѣемся на то, что будто бы наше званіе фюфаномъ можетъ, во всякомъ случаѣ, оградить насъ отъ напастей. Нѣтъ, мы ограждены лишь настолько, насколько ограждено и все прочее, живущее съ нами рядомъ, или, лучше сказать, мѣра этого огражденія совершенно пропорціональна мѣрѣ пониженія общаго уровня системы нарушеній. Вѣдь было же время, когда если не всѣ поголовно были фюфанами, то, по крайней мѣрѣ, признавались таковыми, но развѣ это кого-нибудь ограждало?

При извѣстной степени осложненія жизни вопросъ о кантонистахъ-статистикахъ и кантонистахъ-финансистахъ приобретаетъ значеніе очень существенное. До тѣхъ поръ, пока права и обязанности сохраняютъ свою первоначальную грубую форму, кантонисты имѣютъ хотъ нѣкоторое основа-

ние признавать себя отвѣчающими потребностямъ минуты. Не то, чтобы они были полезны дѣйствительно, но пятія, которыя они кладутъ на общій фронтъ жизни, благодаря полезности послѣдняго, не настолько видны, чтобы возбуждать серьезныя опасенія. Но съ той минуты, когда для каждаго челоуѣка обязательнымъ образомъ выступаетъ необходимость опознаваться въ великомъ разнообразіи жизненныхъ явленій и соразмѣрять съ ихъ сущностью каждое дѣйствіе, имѣющее къ нимъ какое-нибудь отношеніе, — съ этой минуты никакое невѣжество, какъ бы оно ни было самолюбиво и предпримчиво, полезныхъ результатовъ достигнуть не можетъ. Чтобы извлечь, напримеръ, доходъ изъ известной статьи, надо прежде всего донскаться, что это за статья, какъ велика степень ея производительности и при какихъ условіяхъ эта послѣдняя можетъ быть усилена. Очевидно, что вопросы эти можетъ разрѣшить челоуѣкъ только знающій и мыслящій, и притомъ только тогда, когда онъ рѣшается ихъ не выныхавъ и не подъ давленіемъ страховъ, нагоняемыхъ слишкомъ рьяными камтонистами. Но ежели къ этой же статьѣ подойти съ крикомъ и гамомъ: подавай! — то она не только не дастъ больше того, что даетъ и давала, но, напротивъ того, постепенно оскудѣетъ, потому что система оглушенія и тутъ, какъ и вездѣ, можетъ проявить только безразсудную жадность, уравновѣшиваемую лишь безславіемъ.

Очень возможно, что примѣръ этотъ найденъ будетъ недоказательнымъ. Могутъ сказать, что и во времена крѣпостного права не считалось бесполезнымъ разумное отношеніе къ источникамъ производительности, и что каждому индивидууму изъ легіона «способныхъ и достойныхъ» непременно и безусловно поставлялось на видѣ, что «только благоразумная экономія и доброе смотрѣніе могутъ привести къ полезнымъ для государства послѣдствіямъ, безъ отягощенія народнаго». Не ясно ли, стало-быть, что благоразуміе и умѣлость и тогда уже предпочитались безумію и невѣжеству?

Да, это правда; здравый смыслъ заявляетъ свои требованія не со вчерашняго дня; онъ существовалъ во все время. Всегда призывалъ онъ къ благоразумію; всегда утверждалъ, что умѣлое обращеніе съ вещами полезнѣе, нежели обращеніе неумѣлое. Но какія были практическія послѣдствія этихъ призывовъ и утвержденій? — на этотъ вопросъ можно съ полною увѣренностью отвѣтить: послѣд-

ствія эти были вполнѣ недостаточныя. Для того, чтобы умѣлое обращеніе съ вещами сдѣлалось явленіемъ не исключительнымъ, не диковиннымъ, какъ это всегда случалось въ оныя времена, надобно, чтобы оно представляло единственное средство, которое обеспечивало бы спокойное существованіе общества, и чтобы средство это не могло быть замѣнено никакимъ другимъ. Сказать, что умѣлость и благоразуміе не бесполезны — значитъ сказать одну изъ тѣхъ *privia desideria*, которыя во множествѣ выпускаются въ обращеніе, именно потому, что дѣйствительная ихъ стоимость весьма невелика. Такъ что, если при этомъ не полагаются вѣсныхъ и твердыхъ преградъ для безумія, то выигрываютъ отъ похвалъ, произносимыхъ благоразумію, будетъ самый пустой. Первая неудача, недостатокъ терпѣнія, отсутствіе средствъ — все это представляетъ такую совокупность условій, которая дѣлаетъ переходъ отъ благоразумія къ безумію до крайности легкимъ. И переходъ этотъ сдѣлается невозможнымъ лишь тогда, когда самая жизнь отвѣтитъ отказомъ на притязанія самолюбиваго невѣжества, когда она наградитъ сторичею не того, кто ничего не имѣетъ ни за собой, ни передъ собой, кромѣ угрозы, а того, кто дѣйствительно нѣчто имѣетъ и можетъ.

Если подобное положеніе вещей еще не вполнѣ наступило для нашихъ провинцій, то, во всякомъ случаѣ, есть признаки, позволяющіе угадывать его приближеніе. Признаки эти, къ сожалѣнію, выражаются только въ неудачахъ, которыми такъ обильна современная жизнь, и въ той ея неуклейности, которая дѣлаетъ тщетными всякіе расчеты и сообщаетъ прискорбный характеръ колебанія всемъ дѣйствіямъ современнаго челоуѣка. Что обнаруживаютъ эти колебанія? ужаси они свалились къ намъ съ неба, безъ всякой связи съ жизнью? или они и впрямь выражаютъ только начальственное послабленіе? Нѣтъ, они доказываютъ, что первоначальные источники, которые питаютъ жизнь общества, до такой степени измѣнились въ своей сущности, что требуютъ совершенно иныхъ пріемовъ противъ тѣхъ, которые прежде казались удовлетворительными. Если бы прежніе пріемы были достаточны для урегулированія новаго положенія вещей, то вѣдь арсеналъ таковыхъ еще не уничтоженъ; однако-жь, несмотря на это, колебанія не кончаются, и жалобы на неудачи и затрудненія всякаго рода идутъ, все болѣе и болѣе возрастающія. Отчего-жь это? А оттого, милостивые государи, что въ насъ нѣтъ доста-



точной рѣшимости, чтобъ послѣдовательно вступить на воинный путь, что насъ все еще соблазняетъ арсеналь «прежнихъ пріемовъ», который и будетъ продолжать запутывать съображенія наши до тѣхъ поръ, пока мы окончательно не рѣшимся отвернуться отъ него.

Какъ ни больно, но придется же когда-нибудь сознаться, что вопросы жизни рѣшаются не строгостью, а умѣньемъ и знаніемъ, не единоличною прихотью, а обсужденіемъ. Не то больно, что сознаніе такого рода неизбежно, а то, что мы до сихъ поръ не можемъ отнестись къ этой неизбежности безъ бодреннаго, почти враждебнаго чувства. Въ сущности, какія особенныя радости принесла намъ эта хваленая строгость, этотъ пресловутый кантонистскій энциклопедизмъ, не развязывавшій, но разсѣкавшій всевозможныя узлы? Если мы вникнемъ въ этотъ вопросъ, то убѣдимся, что даже тѣ изъ насъ, которымъ дѣйствительно этотъ порядокъ вещей давалъ кое-какую поддержку, могли принимать ее съ спокойнымъ духомъ только до тѣхъ поръ, покуда они сами находились въ состояніи безсознательности...

Можно бы привести здѣсь множество примѣровъ безилія этого прискорбнаго энциклопедизма, можно бы доказать фактически, что онъ до сихъ поръ только бесплодно волновалъ общественное мнѣніе, а ни одного вопроса ни въ какую сторону никогда не разрѣшилъ. Но для того, чтобы убѣдиться въ этомъ, не требуется даже доказательствъ; достаточно дать волю самымъ поборникамъ энциклопедизма: каждый изъ нихъ, въ какіе-нибудь четверть часа времени, назоветъ по этому предмету такую кучу самыхъ вопиющихъ невозможностей, что вамъ останется только на досугъ разрѣшить вопросъ: какимъ же образомъ эти люди ухищряются жить?

### Письмо двѣнадцатое.

Одна изъ самыхъ яркихъ особенностей нашихъ захолустныхъ городковъ заключается въ томъ, что тамъ почти совсѣмъ нельзя встрѣтить посторонняго, наѣзжаго люда. Все, что ни видится на улицахъ, на площадяхъ, въ присутственныхъ мѣстахъ, въ лавкахъ—все это *тутошное*, живущее здѣсь только потому, что постепенно нагуляло себя какъ бы естественныя кандалы. Постороннему здѣсь нечего

дѣлать, а потому не зачѣмъ пріѣзжать. Это до такой степени вѣрно, что нѣтъ ни одного провинціала, который не сознавалъ бы этой истины и не взглянулъ бы удивленными глазами на пріѣзжаго, не слышащаго слова голову вонъ. Провинціальный городъ никогда ни для кого не служилъ цѣлью, а только стоялъ на пути, на томъ безконечномъ, постыломъ пути, который такъ, кажется, и перелетѣлъ бы, если-бъ были крылья. Заспаннѣй путешественникъ, зѣвая, выѣзжалъ изъ тарантаса, потягиваясь, напивался на станціи своего собственнаго чая, закусывалъ собственною провинціей, проглатывалъ рюмку собственной водки и мчался дальше куда-то *въ свое мѣсто*. Даже на соборѣ не засматривался, потому что всякій соборъ, такъ сказать, отъ рожденія стереотипномъ напечатлѣвъ въ сердцѣ каждаго русскаго прѣзжаго человѣка. Впереди у него есть *свое мѣсто*, съ своимъ неудобнымъ для обитанія домомъ, съ *своею* нестѣббной провинціей, со своими тараканами, клопами и прочею нечистью. Зачѣмъ же ему заглядываться на *чужую* нечисть?

Мѣстный обыватель понималъ эти соображенія и никогда не претендовалъ на прѣзжаго человѣка за то, что онъ ни о чемъ не разспрашивается, ни на что не глядитъ. Не о чемъ спрашивать, не на что глядѣть: все, что увидишь или узнаешь здѣсь — все это увидишь или узнаешь тамъ, *въ своемъ мѣстѣ*. Даже путешественникъ-специалистъ, командированный отъ какого-нибудь вѣдомства, а пожалуй, и отъ двухъ (у насъ путешествіе безъ командировки немислимо), и тотъ лишь для проформы останавливался на нѣсколько часовъ на почтовой станціи и для проформы же записывалъ въ свой ученый дневникъ: «Былъ въ городѣ Павозномъ и имѣлъ совѣщаніе съ хлѣбными торговцами, при чемъ оказалось, что хлѣба за границу и на внутренніе рынки отправляется множество (NB: *цифру проставить дома, по возвращеніи въ Петербургъ*); на станціи видѣлъ собственными глазами, что ящички бѣдятъ не только хлѣбъ безъ примѣса лебеды, но и вагрушки, имѣвшія очень вкусный видъ (NB: *по этому поводу пустить нѣчто таканное противъ нашихъ охранителей и прогрессистовъ, утверждающихъ, что близосостояніе народа находится въ упадкѣ*); сверхъ того, видѣлъ (NB: *самъ не видѣлъ, но написать, что видѣлъ*)— въ соборѣ хранится пуговица отъ мундира великаго князя Святослава Игоревича, потерянная во время битвы съ Цимисхіемъ. Пуговица мѣдная, свѣтлая, какъ бы снятая съ новѣйшей ливреи», и т. д.

Занесявши это, путешественник (съ учепю цѣлью) скакалъ дальше, въ городъ Пенасыть, за такую же надобностью, а по возвращеніи въ Петербургъ выпускалъ книжицу, съ громкимъ названіемъ: «Исслѣдованіе о хлѣбной торговлѣ въ Россіи», за которую получалъ премію или двѣ, смотря по тому, отъ одного или двухъ вѣдомствъ былъ командированъ.

Таково было еще въ недавнее время положеніе нашихъ провинціальныхъ городковъ относительно привлеченія пришлаго населенія; въ будущемъ оно едва ли обѣщаетъ сдѣлаться болѣе разнообразнымъ. Съ развитіемъ желѣзныхъ дорогъ всѣ заспаные люди, которые до настоящаго времени хоть лошадей перемѣняли на станціяхъ, конечно, устремятся въ *свое мѣсто* путемъ болѣе краткимъ и удобнымъ. И сдѣлаются эти городки еще болѣе пустынными, и побѣдутъ изъ нихъ *тутюшныя* люди, которые до сихъ поръ кое-какъ кормились около проѣзжаго человѣка, сбывая ему на двѣ конейки веревокъ да на копейку дегтя и по временамъ вытаскивая изъ невылазной пучины его застрянувшій тарантасъ.

Что-то будетъ! какія-то измѣненія принесутъ за собою эти новые пути, новыя экономическія условія, свободный трудъ, попытки самоуправленія и проч., и проч.! Возьмется ли провинціалъ за живое дѣло, дойдетъ ли до сознанія своего положенія или, по прежнему примѣрамъ, скреститъ руки и будетъ отводить душу въ изобрѣтеніи мѣткихъ, но совершенно праздныхъ эпитетовъ, которыми онъ креститъ собственную вялость и непригодность?

Но судьба не всегда бываетъ благосклонна къ людямъ и по временамъ предупредительно водворяетъ ихъ именно въ томъ мѣстѣ, куда не зачѣмъ прѣзжать. По большей части это случается какъ-то вдругъ. Человѣкъ наслаждается жизнью гдѣ-нибудь въ Разъѣзжей или Кабинетской улицѣ, строитъ планы, поднимаетъ завѣсу будущаго, и вдругъ, непосредственно изъ Разъѣзжей улицы, не только мыслы, но и тѣломъ переносится въ унылый городъ Пенасыть.

Я согласенъ, что это превращеніе не вполне обидно, и что его слѣдуетъ отнести къ числу волшебныхъ; но такъ какъ въ сей юдоли плача покуда еще очень не легко опредѣлить, гдѣ кончается волшебство и гдѣ начинается дѣйствительность, то люди компетентные утверждаютъ, что подобнаго рода превращенія не только возможны, но даже не вызываютъ особенныхъ удивленій.

Какъ бы то ни было, но представить себѣ человѣка, сваливающагося откуда-то издалека и независимо отъ собственной воли водворяющагося въ средѣ обывателей одного изъ такъ-называемыхъ «мирныхъ уголковъ», — очень не трудно. Гораздо труднѣе прослѣдить самый процессъ водворенія, ибо оно совершается не механически только, но и со всѣми нравственными послѣдствіями: съ укрощеніемъ, ступешкою и акклиматизированіемъ. Сталкиваются два элемента, ничего до сихъ поръ другъ о другѣ не знавшіе: пустынный Разъѣзжей улицы приходитъ въ сопряженіе съ пустыннымъ городомъ Пенасыть. Возвѣщаются и на первый разъ могутъ съ ясностью представить себѣ только одно: что имъ приходится жить вмѣстѣ. Очевидно однако-жъ, что это первое впечатлѣніе слишкомъ недостаточно, чтобы можно было остановиться на немъ. Очевидно, что со временемъ оно осложнится и для той и для другой стороны, что наступитъ минута, когда и акклиматизируемый человѣкъ и аборигенъ должны будутъ подойти другъ къ другу и постановить условія взаимнаго сожителства. Какія будутъ эти условія?

Въ разрѣшеніи этого вопроса заключается возможность дальнѣйшаго существованія этихъ подневольныхъ людей, изъ которыхъ одни связаны тѣмъ, что они отъ рожденія *тутюшныя*, а другіе — тѣмъ, что имъ предстоитъ, не будучи *тутюшными*, во что бы то ни стало сдѣлаться таковыми.

Что касается до человѣка, подлежащаго акклиматизаціи, то онъ долженъ испытывать не столько чувство враждебности, сколько чувство недоумѣнія. Для враждебнаго чувства еще нѣтъ непосредственнаго объекта, но для недоумѣнія есть поводы очень дѣйствительные: По крайней мѣрѣ, въ первую минуту по выброшеніи на берегъ, иначе не можетъ быть. Акклиматизируемый еще не умѣетъ объяснить себѣ, что именно находится у него передъ глазами: необитаемый ли островъ или что-нибудь другое. Что это не необитаемый островъ — въ этомъ его убѣждаетъ, во-первыхъ, мельканіе субъектовъ, носящихъ, подобно ему, человѣчeskій образъ, во-вторыхъ — ощущеніе близости исправника. Но что тутъ есть нѣчто, нѣбьющее и всѣ свойства необитаемаго острова, — это доказывается полнѣйшимъ отсутствіемъ удобства жизни, то-есть именно того, что всегда и вездѣ, помимо всѣхъ другихъ признаковъ, возвѣщаетъ о присутствіи творческой дѣятельности человѣка. Жилища не даютъ

дѣйствительнаго успокоенія; пища не даетъ дѣйствительной питательности; кругомъ слышатся какія-то непривычныя рѣчи; нѣтъ книгъ, нѣтъ ничего, что обезпечивало бы возможность дальнѣйшаго развитія; вездѣ видится нагота и неприкрытость. Рай Газъѣвской улицы—потерянный рай!—такъ и мечется въ глаза. Правда, онъ былъ изгнанъ изъ этого рая, что не совсѣмъ-таки свидѣтельствуетъ въ пользу его безопасности и безмятежія; но здѣсь... Здѣсь вѣдь онъ еще менѣе прикрытъ въ этомъ смыслѣ. Здѣсь его вверху тормашками поставятъ, и никто ничего не узнаетъ, не увидитъ, не услышитъ! Вотъ *онъ* идетъ, *онъ*, то-есть всякій, который имѣетъ возможность наметъ всякъ корпусомъ на судьбу подневольнаго человѣчества, — что-то у *него* въ головѣ? какая-то затѣя строится у *него* относительно его, бѣднаго, сваливагося съ неба, странника? Какой у *него* характеръ? какія привычки? Говорить, *онъ* человѣкъ не злой, но, можетъ-быть, *онъ* свосправенъ; можетъ-быть, у *него* есть въ головѣ какой-нибудь гвоздь?.. Тысяча мелочныхъ, но мучительныхъ и никогда прежде не являвшихся вопросовъ — станутъ неизвѣстно откуда, осаждаютъ голову и — увл! — растлѣваютъ сердце... А вѣдь это только первый приступъ; это только матеріальныя условія предстоящей жизни; это вопросъ о норѣ, нищѣ и возможности поддержать дѣло; что же придется загадывать дальше, когда пойдетъ рѣчь объ условіяхъ жизни умственной?

Таково первое ощущеніе, испытываемое одной стороной, — ощущеніе въ высшей степени горькое и тоскливое. Загадочность отовсюду, изъ всѣхъ норъ бѣжитъ навстрѣчу человѣку, а какъ она разыграется въ будущемъ—это тайна, надъ раскрытіемъ которой умъ будетъ работать до тѣхъ норъ, пока сѣбной случай не разрѣшитъ томленій подневольнаго человѣка въ ту или другую сторону. Говорятъ, что вездѣ можно найти хорошихъ людей; можетъ-быть, это и справедливо, но вѣдь справедливо и то, что хорошій человѣкъ тогда только дѣйствительно хорошъ, когда онъ хорошъ *по-нашему*. Это «по-нашему» отнюдь не означаетъ ни грубаго деспотизма съ одной стороны, ни рабскаго прилаживанья — съ другой; нѣтъ, тутъ скрывается довольно долгій и сложный процессъ, черезъ который незамѣтно проходятъ живыя существа, прежде нежели сдѣлаются другъ другу удобными. Дѣйствительная «хорошесть» представляетъ совокупность множества опредѣленій, хотя приблизительно общихъ объимъ сторонамъ: общность стремленій и идеа-

ловъ, равная степень развитости, одинаковая возможность найти другъ въ другѣ помощь и провѣрку и проч. «Хорошихъ» людей, то-есть людей добрыхъ, честныхъ и даже разумныхъ, дѣйствительно встрѣчается довольно, но всѣ они хороши по-своему. Какое дѣло намъ до хорошаго человѣка, съ которымъ мы не можемъ сказать слова, чтобъ не взглянуть другъ на друга въ недоумѣніи или не почувствовать необходимости въ безконечныхъ предварительныхъ объясненіяхъ? А именно, таковъ и есть хорошій человѣкъ провинціи. Онъ исключительно эмпирикъ; онъ не знаетъ болѣе того, что видитъ собственными глазами и осязаетъ собственными руками; а ежели и знаетъ нѣчто болѣе, то-есть объясняетъ себѣ явленія не однимъ путемъ эмпиризма, то, пожалуй, лучше бы не знать и не объяснять. Мнѣ былъ, напримѣръ, извѣстенъ одинъ очень хорошій человѣкъ, который былъ глубоко убѣжденъ, что у мужчины во лбу крестъ, а у женщины креста нѣтъ; а потому кликуши и порочныя встрѣчаются только между женщинами. И это былъ вонистину «хорошій» человѣкъ, то-есть человѣкъ никогда никого не обманувшій, не обидѣвшій и, помимо нѣкоторыхъ дурацкихъ убѣжденій, довольно бодро смотрѣвшій въ глаза жизни. Я согласенъ, что примѣръ этотъ рѣзокъ; но есть безчисленное множество примѣровъ, хотя и менѣе рѣзкихъ, но которые, въ сущности, отличаются отъ предыдущаго только тѣмъ, что обманываютъ кажуцимся приличіемъ своихъ формъ. Недаромъ же сама провинція сложила пословицу, что тотъ хорошій человѣкъ, который салыныхъ свѣчей не бьетъ и стекломъ не утирается. Очень возможно также, что всѣ эти хорошие люди могутъ со временемъ развиться, но вѣдь это ужъ совсѣмъ другой вопросъ, воспитательный. Говорить еще, что съ хорошимъ человѣкомъ, кромѣ одинаковаго умственнаго уровня, можно сойтись еще на почвѣ человѣчности; но и это, къ сожалѣнію, только отчасти справедливо, ибо отношенія, завязывающіяся исключительно на почвѣ человѣчности, никогда не бываютъ отношеніями полнаго равенства. Чувство человѣчности никогда не бываетъ свободно отъ примѣси благосклонности съ одной стороны и примѣси благоговѣнія—съ другой. Весьма похвально, ежели человѣкъ признаетъ человѣческое достоинство даже въ томъ изъ своихъ ближнихъ, съ которымъ онъ имѣетъ очень мало точекъ соприкосновенія; не меньше похвально, если онъ старается поднять этого ближняго до своего собственного нравственнаго и умственнаго уровня; но глазъ мало-мальски

проницательный без труда увидитъ, что тутъ уже есть усилие. Какой же можетъ быть послѣ этого вопросъ о равенствѣ? А вѣдь для человѣка, если онъ не звѣрь и не превозвысившійся въ чинахъ кантонистъ, равенство, въ смыслѣ общности, есть именно та самая вещь, которая желательна всего болѣе и безъ которой возможно только засильствованіе собственной природы.

Тѣмъ не менѣе чувство одиночества выносимо съ трудомъ. Постепенно охватывая и одолевая человѣка, оно извуряетъ его до того, что потребность исканія и даже созданія «хорошаго» человѣка заглушаетъ въ немъ все остальные потребности и соображенія. Посмотримъ же теперь, какъ относится къ акклиматизируемому человѣку та другая сторона подневольнаго человѣчества, среди которой ему назначено судьбой акклиматизироваться.

Можно почти утвердительно сказать, что отношенія этой стороны вполне сочувственны акклиматизируемому. Она не хочетъ знать о тѣхъ высшихъ соображеніяхъ, которыя бросили странника въ ея захолустье; она съ участіемъ смотритъ на его недоумѣніе, она *жалится* его. Во-первыхъ, какъ ни скудно ея собственное прошлое, но оно все-таки существуетъ, а потому она понимаетъ, что прошлое должно быть и у этого человѣка. И чѣмъ печальнѣе произошло разрывъ съ этимъ прошлымъ, тѣмъ онъ долженъ быть для него больнѣе. Во-вторыхъ, если не совсѣмъ ловко разставаться даже съ такимъ прошлымъ, въ которомъ ничего не отыщется, кромѣ воспоминаній о выѣденномъ яйцѣ, то тѣмъ тяжелѣе отказать отъ такого прошлаго, въ которомъ имѣлся интересъ дѣйствительный. А что этотъ интересъ былъ—это доказывается тѣмъ, что акклиматизируемый не самъ отъ него *оторвался*, а нашлось нужнымъ *оторвать* его отъ него. Въ-третьихъ, «тутошныхъ» людей поражаетъ то обстоятельство, что акклиматизируемый человѣкъ никакъ не можетъ сразу приладиться на новомъ мѣстѣ, не ходитъ и деть, а все какъ будто озирается, нацупывается, пробуетъ. Онъ дѣлаетъ видимыя усилія, чтобъ переломить себя и попасть въ тонъ *новой* дѣйствительности; но напряженность этихъ усилій наводитъ на соображенія очень чуткія и вѣрныя. Стало-быть, размышляютъ обыватели, ему *тамъ* лучше было, въ своемъ-то мѣстѣ, если онъ никакъ не можетъ съ своимъ сердцемъ совладать. И, сообразивъ это, начинаютъ *жалить* вдвое. Но есть еще и четвертая причина *жалить*—это темное, почти инстинктивное сознаніе, что и они,

обыватели, суть дѣти той же случайности, какъ и сей акклиматизируемый человѣкъ, и что если эта случайность однажды швырнула къ нимъ аэролитъ, то и для каждаго изъ нихъ можетъ тоже придти очередь быть аэролитомъ...

— Ахъ ты, касатикъ нашъ! тяжело тебѣ, поди, въ чулкахъ-то людяхъ!—хорошъ *жалитъ* обыватели, вдругъ преисполнившись любви и соболѣзнованія къ акклиматизируемому.

— Да вѣдь живете же вы! буду какъ-нибудь жить и я!—отвѣчаетъ «касатикъ» искусственно-твердымъ голосомъ.

— Гдѣ ужъ тебѣ! мы что! мы люди тутошныя! намъ, пожалуй, и бѣжать-то некуда!

Этотъ послѣдній доводъ, это горькое сознаніе подневольности со стороны людей, по наружности вполне свободныхъ, охватываетъ душу акклиматизируемаго какимъ-то страхомъ. До сей минуты онъ былъ увѣренъ, что нѣтъ на свѣтѣ хуже его положенія, нѣтъ несчастія горше его несчастія. И вотъ оказывается, что существуетъ несчастіе болѣе глубокое, несчастіе, преслѣдующее человѣка отъ колыбели до могилы и даже самимъ имъ признаваемое за нѣчто нормальное, неизбѣжное. Но, рядомъ со страхомъ, это открытіе производитъ и иное явленіе, значительно смягчающее его, а именно: оно рождаетъ и въ другой сторонѣ то самое *жалитие*, о которомъ уже упоминалось выше. Изъ обывательскихъ сердецъ это чувство переходитъ въ сердце акклиматизируемаго и немедленно даетъ живые ростки. Ни въ комъ и ни гдѣ онъ не только не видитъ озлобленія, но даже и тѣни предубѣжденія противъ себя. Самъ исправникъ, мужъ твердый въ бѣдствіяхъ, и тотъ, проходя мимо него, разгѣживая морщины на хмуромъ челѣ и съ какой-то почти ангельской улыбкой говоритъ:

— Что, молодецъ? поприлаживасясь? то-то! живи да оглядывайся!

Здѣсь я долженъ однако-жъ сдѣлать небольшую оговорку, чтобы не дать повода къ болѣе или менѣе злостнымъ толкованіямъ, на которыя такъ тароваты наши благонамѣренныя свистуны.

Я констатирую одинъ изъ далеко не мелкихъ фактовъ нашей современной провинціальной жизни, и констатирую его безъ преувеличенія. Я не говорю, что на акклиматизируемаго набрасываются звѣри; я не заставляю его пропадать съ голода и холода или изнывать подъ игомъ черзурь ревностнаго наблюденія. Напротивъ того, я ставлю

его въ самое благоприятное положеніе—въ положеніе чело-  
вѣка, къ которому устремлены искреннѣйшія симпатіи. *Новая*  
*дѣйствительность*, съ которою сталкивается акклиматизи-  
руемый челоѣкъ, вовсе не зубата, не кипитъ враждою и  
злобою—я охотно о томъ свидѣтельствую и заявляю. Но  
въ то же время я говорю: есть на свѣтѣ нѣчто болѣе злое,  
нежели самые злое звѣри, — это ничѣмъ невосполненное  
чувство одиночества, это ничѣмъ неутоленная тоска сердца,  
оторваннаго отъ своего прошлаго и не нашедшаго ницѣ  
въ настоящемъ. И нѣтъ того доброжелательства, нѣтъ тѣхъ  
сочувственныхъ словъ, которыя могли бы помочь этому  
вышему горю изъ всѣхъ горестей, когда-либо испытывав-  
мыхъ челоѣкомъ...

Съ другой стороны, я отнюдь не хочу утверждать, что  
акклиматизируемый челоѣкъ непремѣнно представляетъ со-  
бою высній организмъ относительно тѣхъ существъ, съ  
которыми свеза его судьба. Но я быль бы неправъ, если-бъ  
умолчалъ, что это челоѣкъ иныхъ привычекъ, иныхъ взгля-  
довъ на вещи. И если бы кто-нибудь предлагалъ мнѣ во-  
просъ: совершеннѣе ли эти привычки, чище ли эти взгляды,  
нежели тѣ, которые выработались въ средѣ провинціаль-  
наго захолустья, — я поступилъ бы недобросовѣстно, если  
бы далъ другой отвѣтъ, нежели: да, совершеннѣе, чище.  
Въ этомъ заявленіи нѣтъ даже ничего такого, что ставило  
бы акклиматизируемаго челоѣка на пьедесталъ, ибо отно-  
сительное совершенство, которымъ онъ пользуется, принад-  
лежитъ не столько ему лично, сколько той нной средѣ,  
воздухъ которой онъ запоситъ вмѣстѣ съ собою.

Сверхъ того, я ни слова не говорю о тѣхъ «выснихъ  
соображеніяхъ», которыя играютъ въ этомъ случаѣ очень  
немаловажную роль. Я не призванъ быть судьей этихъ со-  
ображеній и потому прохожу мимо нихъ молчаніемъ, кон-  
статируя лишь голый фактъ.

Затрудненія, которыя неизбежно сопрягаются съ отыски-  
ваніемъ «хорошихъ людей» въ провинціи, бываютъ двоя-  
каго рода. Первое заключается въ томъ, что, при настоя-  
щихъ условіяхъ, дѣло покоренія челоѣческихъ сердецъ  
возможно только тогда, когда оно ведется въ формахъ са-  
мыхъ сдержанныхъ и уклончивыхъ; второе—въ томъ, что  
челоѣкъ, занимающійся покореніемъ сердецъ, волею или  
нволею обязывается прежде всего открыть какое-нибудь  
посредствующее звено, которое связывало бы его личные  
идеалы съ тѣми, которые стоятъ у него на пути. Что

акклиматизируемый челоѣкъ обязывается вести свои поиски  
въ формахъ до крайности уклончивыхъ — это ни для кого  
не тайна. Невозможно отрицать, что каждое его дѣйствіе,  
каждое слово подвергаются комментаріямъ, въ которыхъ  
предвзятая мысль и подозрительность играютъ роль очень  
видную. Исключительный характеръ положенія ставитъ его  
открытымъ для всѣхъ взоровъ и предположеній. «Можетъ-  
быть, онъ и въ самомъ дѣлѣ какой-нибудь смутьянъ?»—не-  
вольнo спрашиваетъ себя обыватель, сбитый съ толку за-  
гадочною выѣшностью, облекающею фактъ появленія аккли-  
матизируемаго челоѣка; а наблюдающая власть даже и  
вопросами не задается, а прямо говоритъ: «да, смутьянъ».  
Хоть это нимало не вредитъ *жальнo*, разлитому во всѣхъ  
сердцахъ (обыкновенно этотъ предполагаемый смутьянъ—  
молодой челоѣкъ, а кто же смолodu не быть молоды!), но  
не вредитъ лишь подъ условіемъ строгой выдержки и смо-  
трѣнія въ оба. Этого мало: угрозы, которыми дѣйствительно  
около себя существованіе акклиматизируемаго челоѣка, въ  
весьма значительной степени усиливается еще угрозами не-  
существующими, невозможными. Предположимъ, что аккли-  
матизируемый челоѣкъ настолько благоразуменъ, что уже  
не ждетъ особенныхъ ласкъ отъ судьбы; но легкость, съ  
которою онъ на каждомъ шагу рискуетъ подвергаться все-  
возможнымъ ущемленіемъ и униженіямъ, невольнымъ обра-  
зомъ должна наводить его на соображенія далеко не свѣт-  
лаго свойства. Очень можетъ быть, что никто не восполь-  
зуется этою легкостью, но она существуетъ какъ возмож-  
ность, и этого достаточно, чтобы мысль самую смѣлую при-  
вести въ смущеніе. А отсюда слѣдствіе ясное: или необхо-  
димость уйти въ себя, или же не менѣе горькая необходи-  
мость взвѣшивать каждое слово, обезцвѣчивать его и со-  
общать ему двойной смыслъ. Понятно, какую неясностью  
и запутанностью должны страдать отношенія, которыя за-  
вязываются при подобныхъ условіяхъ.

Второе затрудненіе еще важнѣе. Звено, которое связы-  
ваетъ идеалы акклиматизируемаго челоѣка съ идеалами  
аборигена, такъ длинно, что невозможно утилизировать его  
иначе, какъ укоротивши его, а это—по крайней мѣрѣ для  
начала—возможно сдѣлать только съ явнымъ ущербомъ для  
первыхъ. Челоѣкъ, отдающій себя дѣлу воспитанія, весьма  
рѣдко принимаетъ въ расчетъ ту силу сопротивленія, ко-  
торую оказываетъ сторона воспитываемая, но суровая дѣй-  
ствительность не замедлитъ напомнить ему объ этомъ, и

напомнить самым разочарывающим образом. Тут дѣло не только въ терпѣливомъ повтореніи заговѣ, но и въ неисроверженіи лжей и фантазматорій, накопленныхъ эмпиризмомъ и суевѣріемъ. Тут дѣло идетъ не съ *tabula rasa*, а съ доскою, исписанною съ верху до низу каракулями очень опредѣленнаго свойства. Каждая изъ накопленныхъ лжей отстаивается тѣмъ съ большимъ упорствомъ, чѣмъ меньше имѣется разумныхъ основаній для поддержанія ея. И въ большей части случаевъ самое прикосновеніе къ лжи считается дерзостью, почти что святотатствомъ.

— Итъ, ты это оставь, — говоритъ обыватель: — это такъ ужъ отъ Бога положено.

И замѣтите, такимъ образомъ говоритъ обыватель, который считаетъ себя снисходительнымъ; меньше же снисходительный даже разговаривать не будетъ, а просто вытаращить глаза и пойдетъ строчить втихомолку просьбицу. Спрашивается: насколько же долженъ уমানить себя человѣкъ, отыскивающій хорошихъ людей, насколько онъ долженъ постушиться, обезличиться, покорить самого себя, чтобы провести какой-нибудь уровень между собою (и этими искомыми людьми)?

Сверхъ того, человѣкъ, который предпринимаетъ работу сближенія въ провинціи, долженъ сказать себѣ заранее, что это совсѣмъ не та работа, которую онъ велъ въ то время, когда онъ жилъ *въ своемъ мыслѣ*. Возможность опредѣленнаго формулированія мысля, спокойная постановка возраженій и спокойное же обсужденіе ихъ — вотъ характеристическія черты того взаимовоспитанія, которое тамъ, въ этой иной, болѣе благоприятной средѣ зрѣло и упрочивалось. Въ этомъ миновшемъ процессѣ самовоспитанія, не смотри на его недоконченность, уже существовало множество положеній, совершенно выработанныхъ и безспорныхъ, а это, въ свою очередь, устранило съ арены споровъ такъ называемыя азбучныя истины и дозволяло мысли сосредоточивать всѣ свои усилія на главной задачѣ. Ничего подобнаго не найдетъ акклиматизируемый человѣкъ въ новой дѣятельности, которая предстонтъ ему въ провинціи. Прежде всего на него градомъ несмыплотся возраженія, и притомъ возраженія торонаквыя и требующія столь же торонаквыя разъясненій. Малѣйшее колебаніе въ этомъ случаѣ надолго подрываетъ репутацію популяризатора и ставитъ его въ ряды легкомысленныхъ людей, о которыхъ, какъ извѣстно, въ провинціи, сложилось множество самыхъ смѣшныхъ пого-

ворекъ, въ родѣ: «не сули журавля въ небѣ», «не хвались, идучи на рать», и проч., и которыя въ каждомъ колебаніи падаютъ себѣ подтвержденіе.

— На посуль-то ты какъ на стуль, — подсмѣивается обыватель надъ замаявшимся популяризаторомъ: — а какъ до дѣла дошло — тутъ и итъ тебя!

Что же касается до безспорныхъ подготовительныхъ положеній, которыя такъ облегчаютъ дальнѣйшую работу мысля, то ихъ итъ вовсе. Тутъ все спорно, все надо начинать сызнова, надъ всѣмъ останавливаться, все разъяснить. А такъ какъ это трудъ дробный и утомительный, то время уходитъ безъ остатка, и въ концѣ концовъ популяризаторъ не безъ удивленія замѣчаетъ, что въ дѣлѣ собственнаго развитія онъ не сдѣлалъ ни шагу впередъ, — въ дѣлѣ же развитія ближнихъ достигъ лишь того, что приобрѣлъ право гражданственности для такихъ безконечно-малыхъ крупицъ, которыя онъ предполагалъ уже съ колыбели присущими каждому человѣку.

Ничтожество этого результата дѣйствуетъ тѣмъ поразительнѣе, что всякій акклиматизируемый человѣкъ непременно до мозга костей проникнуть любовью и сочувствіемъ къ массѣ. Работа, которая велась имъ еще тамъ, *въ своемъ мыслѣ*, никогда не имѣла въ виду ничего, кромѣ массы и ея кровныхъ интересовъ. Но вотъ является случай сдѣлать массу участницею этой работы, и съ перваго же шага возникаетъ безчисленное множество преткновеній. Масса не только не обладаетъ ни одною изъ элементарныхъ истинъ, составляющихъ необходимый отправный пунктъ для дальнѣйшихъ обобщеній, — она не знаетъ даже, отъ кого и какъ получить эти истины, гдѣ ея друзья, гдѣ ея враги. Тѣ тонкія, невидимыя нити, которыя связываютъ съ нею человѣка, живущаго въ обстановкѣ, вполнѣ отличной отъ ея обстановки, совершенно ускользаютъ отъ ея пониманія. Кто этотъ человѣкъ, который упалъ въ среду ея подобно аэрлиту? Съ какой стати онъ предпринимаетъ работу сближенія? Не вѣрнѣе ли предположить, что, благодаря особенностямъ воспитанія и всему складу прошлой жизни, у него не должно быть ни малѣйшаго интереса для поисковъ «хорошаго человѣка» между ними, бѣдными *тутюшными* людьми?

Всѣ эти сомнѣнія невольнымъ образомъ закрадываются въ массу и заставляютъ ее съ недовѣрчивостью относиться къ воспитательнымъ попыткамъ. Масса, конечно, и сама

чувствует, что она страдает и терпит лишения, но чтобы этими ея страданиями страдалъ человекъ, который всѣми условіями жизни поставленъ внѣ необходимости страдать и терпѣть лишения—это для нея непонятно ни съ какой стороны. Никогда она не видала подобныхъ примѣровъ; никогда не было у нея ни ревнителей, ни печальниковъ; а если таковыя были, то она, конечно, ничего не знала о нихъ. Все ревнительство ограничивалось случайно брошеннымъ словомъ, которое тутъ же и замирало, а вслѣдъ за нимъ и сами ревнители исчезали въ пучинѣ. Масса ни разу не испытала на себѣ ни одного отголоска этого ревнительства и продолжала протестовать противъ своихъ страданій единственнымъ оружіемъ, которое было у нея въ рукахъ: страданіями же или—много-много—частвыми нарушениями нѣкоторыхъ обязательныхъ для нея правилъ. И вдругъ она видитъ этихъ ревнителей воочію, видитъ ихъ проникающими въ самое сердце ея... Зачѣмъ? Зачѣмъ эти сравнительно изнѣженные, набалованные люди прикасаются къ ея страданіямъ, къ тѣмъ страданіямъ, которыя не суть ихъ страданія, но составляютъ исключительный удѣлъ лишь массы?

Вотъ какимъ образомъ разсуждаютъ «хорошіе люди» провинціи, «хорошіе» не въ ироническомъ смыслѣ, а въ дѣйствительномъ. Предоставляю читателю самому рѣшить, насколько подобныя разсужденія благоприятны для акклиматизируемаго человека.

Но, кромѣ повѣрья о томъ, что хорошіе люди вездѣ живутъ, есть еще другое повѣрье, утверждающее, что и для массы возможны минуты прозрѣнія. Противъ этого повѣрья возражать нельзя. Минуты прозрѣнія не только возможны, но составляютъ неизбежную страницу въ исторіи каждого народа. Однако для человека, взятаго изолированно, дѣло заключается не въ одной возможности подобныхъ минутъ, но и въ его личномъ отношеніи къ нимъ. Когда наступаютъ эти минуты? Для кого разступится мракъ, окутывающій лицо массы, и дастъ увидѣть это лицо просвѣтленнымъ,носящимъ плоть сознанія и рѣшимости? Слова нѣтъ, что даже отдаленная возможность чего-либо подобнаго можетъ поддерживать въ человекѣ героизмъ; но вѣдь герои не растутъ на свѣтѣ какъ грибы въ лѣсу, а сколько же есть людей не героевъ, а просто честныхъ, полезныхъ и наклонныхъ къ добру, для которыхъ эти вопросы суть вопросы утѣшенія или отчаянія?

Во всякомъ случаѣ, разрѣшенія этихъ вопросовъ пока мѣсть еще не предвидится. Въ громадѣ убитенныхъ, которую представляетъ собой масса и для которой, повидимому, нѣтъ въ настоящемъ никакого просвѣта, существуетъ какое-то неисповѣдимое тяготѣніе къ обьѣдающему ее со всѣхъ сторонъ злу, какой-то непреодолимый страхъ ко всему, что не разомъ, не по маню волшебства устраняетъ его. Сбитая съ пути разумныхъ отношеній къ окружающей природѣ, загнанная въ міръ чудесъ, эта громада отъ чуда ждетъ избавленія своего изъ земли египетской, и никакіе пророки въ мірѣ не убѣдятъ ее, что это избавленіе зависитъ отъ нея самой. И что-жъ это за пророки! Добро бы это были пророки, являющіеся на вершинѣ горы, среди блеска молній, а то пророки, ютящіеся въ самой низменности города. Непасытъ—пророки, набравшіе въ ротъ воды, озирающіеся по сторонамъ и объясняющіе склады! «Да дайте же шника этому пророку!» резонно замѣчаетъ капитанъ-неправникъ. «Накаливай его!»—словно эхо перекатывается изъ края въ край, въ массѣ убитенныхъ.

Существуютъ однако-жъ вопросы, къ которымъ масса не можетъ относиться иначе, какъ съ возбужденнымъ интересомъ. Это вопросы ближайшихъ пуждъ, изъ совокупности которыхъ слагается жизнь коренного обывателя и воздѣлывателя земли. На сценѣ—изнуряющая мысль о грошѣ; на сценѣ—вѣчная забота, вѣчная ступока, имѣющая въ предметъ завтрашній день. Мы знаемъ, что земля наша изобильна, а между тѣмъ всѣ статистики свидѣтельствуютъ, что въ цивилизованномъ мірѣ нѣтъ страны, которая потребляла бы такъ мало мяса. Мы знаемъ, что земля наша велика, а между тѣмъ нигдѣ коренной житель не живетъ такъ тѣсно, такъ сперто. Это не жилища, а логовища. Ночью въ избѣ русскаго мужика невозможно полчаса выдержать—до того она преисполнена всякаго рода мазмозвъ; а онъ настолько обдержался, что вѣкуетъ тутъ цѣлую жизнь. Нигдѣ работа такъ не тяжела, не бозотдышна, какъ у насъ. Рабочій человекъ каждый шагъ беретъ съ бою, каждую минуту борется съ препятствіями, потому что всѣ стихіи въ заговорѣ противъ него. Въ этомъ странномъ шалашѣ, называемомъ избою, онъ не защищенъ ни отъ чего. Онъ ѣсть пищу, лишенную питательности, и притомъ ѣсть безъ соли; онъ спитъ на голыхъ доскахъ, покрываясь собственною одеждою. Ученые свистуны, распевающіе по Россіи съ цѣлью разлчныхъ экономическихъ изслѣдованій, увѣряю-

щѣ, что русскаго человѣка тошнить отъ ѣды, и указывающіе на громадныя цифры заграничнаго отпуска, утверждаютъ самую безсовѣстную неправду. Ихъ поражаетъ не изобиліе, а перспектива суточныхъ, подъемныхъ и прогонныхъ денегъ.

Такого рода вопросы были бы, конечно, понятны и въ Патагоніи, но не надо забывать, что куда они представляются уму обнаженными отъ примыслиній и выводовъ, то самая удобопонимаемость ихъ можетъ припести мало пользы. А въ томъ-то и заключается дѣйствительное несчастье массъ, что онѣ не имѣютъ досуга для развитія, что онѣ живутъ только настоящею минутой, и что для огражденія настоящей минуты имъ выгоднѣе признать зло застывшимъ или, въ крайнемъ случаѣ, что-нибудь временно выторговать у него, нежели начать его прямое обличеніе.

— Врагъ силенъ, врагъ горами качаетъ!—говоритъ обыватель, изнуренный не борьбою со зломъ, а подчиненіемъ ему:—какъ бы только въ конецъ не убилъ!

И только. Затѣмъ, съ какой стороны ни подойдете къ провинціальному патагонцу, вы встрѣтите его до такой степени вооруженнымъ афоризмами, что во всемъ его организмѣ не найдете ни одной точки, которая была бы чуждымъ доступна, кромѣ безотчетнаго страха.

Такимъ образомъ исканіе «хорошаго человѣка», переходя отъ сомнѣнія къ сомнѣнію, почти всегда разрѣшается полнѣйшимъ фіаско. Но ежели фіаско вообще нигдѣ не происходитъ даромъ, то тѣмъ менѣе прощаетъ ему провинція.

Для обѣихъ сторонъ наступаетъ минута разочарованія. Акклиматизируемый человѣкъ замѣчаетъ, что каждая новая минута общенія приводитъ за собой только новый поводъ для недоумѣній. Азбука, которую онъ вынужденъ безпадежно повторять, до такой степени раздражаетъ его нервы, что въ глазахъ его даже затемняется смыслъ окружающей дѣйствительности. Родается вопросъ: къ чему начата вся эта комедія? растеть лгучее желаніе покончить все разомъ, сію минуту; вырываются движенія, которымъ лучше было бы остаться подъ спудомъ. Хотѣлось бы сдѣлать такъ, чтобы вся эта исторія забылась и порвалась сама собою; хотѣлось бы приютиться гдѣ-нибудь особнякомъ, запереться, уйти... Но простой разрывъ уже оказывается невозможнымъ, потому что и аборигенъ, въ свою очередь, поддѣлалъ борьбу, овладѣвшую акклиматизируемымъ, и слѣдитъ за нею съ интересомъ тѣмъ живѣйшимъ, чѣмъ слабѣе развита въ немъ

потребность слѣдить за своимъ собственнымъ внутреннимъ міромъ.

Какъ ни непосредственно чувство *жалѣнія*, оно никогда не остается надолго чувствомъ вполне безкорыстнымъ. «Жалѣющій» любитъ, чтобы «жалѣемый» цѣнилъ это чувство, чтобы онъ отвѣчалъ ему любезностью и, во всякомъ случаѣ, готовъ былъ разводить съ нимъ тары да бары. Непрошенный глазъ врывается въ жизнь акклиматизируемаго и наполняетъ ее безтолковѣйшею путаницей самородныхъ міросозерцаній. Затѣмъ являються попытки приручить, осѣлать и ободванить. Образуется убѣжденіе, что «хоть баринъ-то и притгокъ, однако поживетъ съ нами—авось и упрямается». Самолюбія становятся чуткими до болязненности, а мысль о современной неприкрытости акклиматизируемаго не только не укрощаетъ охоты къ нетруднымъ подвигамъ, но разжигаетъ ее больше и больше.

— Вся-то цѣна тебѣ грошъ—плюнуть да растереть!—а ты еще ломаешься!

Я не стану изображать здѣсь ни дальнѣйшаго хода этого страннаго процесса превращенія жалѣнія въ ненависть, ни картины оскорбленій и преслѣдованій, которыя являються неразлучными его спутниками. Трудно винить кого-нибудь въ такомъ фактѣ, который основывается исключительно на недоразумѣніи. Обѣ стороны дѣйствовали добросовѣстно. Благодушно подали другъ другу руки, еще благодушнѣе старались насиловать свои естественныя влеченія и привычки, и только тогда догадались, что имъ вовсе не слѣдовало сходиться, когда уже были перепробованы всѣ мотивы общенія, и ни одинъ не оказался достаточно жизнелюбнымъ, чтобы сдѣлаться дѣйствительно смирительнымъ звеномъ. Понятно, что, чѣмъ больше принесится жертвъ, тѣмъ живѣе чувствуется горечь неудачи; но нельзя не прибавить, что главнѣйшія узавленія этой горечи все-таки обрушиваются лишь на одну сторону: на акклиматизируемаго.

Такимъ образомъ въ покаянныхъ и узавленіяхъ (ихъ можно бы назвать безсовѣстными, если-бы они не были вполне бессознательны) уходятъ дни за днями, куда всеисцѣляющее время не умирить вражды и не изгладить самаго воспоминанія о выѣденномъ яйцѣ, которое послужило ей основаніемъ. Что принесетъ съ собой это умирненіе акклиматизируемому человѣку?

Предположите, съ одной стороны, что человѣкъ настолько покорился себѣ, что сдѣлался тише воды, ниже травы. По-



смотрите, какъ онъ ёжится, какъ онъ каждоминуто расширяется, то увядаетъ, какъ безпокойно онъ прислушивается и засматриваетъ въ глаза, какъ торопливы и, такъ сказать, укороченны всё его движенія! Но когда этотъ человекъ остается одинъ-на одинъ съ самимъ собою, когда въ немъ вдругъ пробуждается сознание проведеннаго дня, сколько долженъ онъ послать проклятій себѣ и судьбѣ! Какое мучительное чувство тоски, униженія, безвыходности должно овладѣть имъ! Вотъ онъ быстрыми шагами ходить по своему тѣсному логовищу; онъ думаетъ, и не знаетъ самъ, о чемъ думаетъ; онъ безпрестанно хватается за голову, какъ бы желая собрать свои мысли воедино. Но одна только мысль держитъ его крѣпко; это мысль: все кончено! Благотворное дѣло! какое возможно благотворное дѣло, когда въ головѣ свила гнѣздо только одна реальная мысль: все кончено! «Возьмите! вырвите! прекратите!» вопиетъ онъ въ тоскѣ, и безсладно замираетъ этотъ вопль среди внимающихъ ему четырехъ стѣнъ.

Съ другой стороны, предположите, что человекъ, еще не приступая къ процессу общенія, уже рѣшилъ, что одиночество есть единственная форма существованія, возможная въ его положенія. Онъ правъ: одиночество забавляетъ его отъ назойливости и даетъ возможность сохранить неприкосновеннымъ хотя тотъ запасъ, который приобрѣтитъ имъ въ прошедшемъ. Тѣмъ не менѣе все это нимало не утоляетъ горечи, которою переполнено его существованіе. Не говоря уже о томъ, что потребность общенности сама по себѣ есть живѣйшая потребность человека, не слѣдуетъ забывать, что тотъ умственный запасъ, который заготовленъ въ прошедшемъ, необходимо долженъ гложуть и засыпать по мѣрѣ того, какъ прекращается процессъ освѣженія и возобновленія его. При отсутствіи живой провѣрки мысли, человекъ ставится въ странное положеніе своего собственнаго оппонента и своего собственнаго защитника. Этотъ недостатокъ могъ бы отчасти быть устраненъ, если-бъ была *какая*, но въ нашихъ провинціальнахъ мурьяхъ очень много павозу и всего меньше книгъ. Остается, стало-быть, одинъ выходъ: переваривать и припоминать прошлое.

Но когда прошлое уже повторено и перебрано во всѣхъ подробностяхъ, когда мало-по-малу ослабѣваютъ и стираются даже мотивы, вызывающіе эти воспоминанія, тогда на арену выступаетъ все та же всеильная мысль: все кончено! Все кончено; жизнь прекратилась; будущее исчезло.

Я не говорю: жертвы безполезны; я говорю только, что доволнительно изумленіе. Люди и даже дѣла ихъ исчезаютъ на нашихъ глазахъ поистинѣ безпримѣрно. Точно въ яму, наполненную жидкою грязью, нырнуть, и сейчасъ же надъ ними все затянетъ и заливаетъ. Вчера еще были человекъ, а сегодня уже его нѣтъ. Не только изъ жизни, но даже изъ хрестоматій и курсовъ словесности исчезаютъ люди. И за каждымъ исчезновеніемъ — молчокъ. Грады и веси продолжаютъ процвѣтать: нѣкоторые изъ нихъ постепенно познаютъ пользу употребленія картофеля, другіе — постепенно же привыкаютъ къ мысли о необходимости оснопрививанія и проч. Но нигдѣ, навѣрное, не скажется потребность освобожденія мысли, того освобожденія, безъ котораго немислимо никакое умственное и матеріальное совершенствованіе.

Въ этомъ отношеніи вездѣ, куда ни обратитесь — молчокъ.

1868 г.

# ИТОГИ.

(1876 г.).

## ГЛАВА I.

Въ мундирной практикѣ всѣхъ странъ и народовъ существуетъ очень мудрое правило: когда издается новая форма, то полагается срокъ, въ теченіе котораго всякому вольно донашивать старый мундиръ. Дѣлается это, очевидно, въ томъ соображеніи, что новая форма почти всегда застаётъ человечество врасплохъ. Что такое мундиръ? имѣетъ ли онъ корни въ прошедшемъ? есть ли у него задатки, по которымъ можно было бы сдѣлать предположенія насчетъ его будущаго?— Ясно, что отвѣтъ на эти вопросы можетъ быть только отрицательный, а изъ этого уже само собою слѣдуетъ, что новаго мундира, хотя бы онъ былъ весь ничтъ, ни предвидѣть, ни приготовить къ воспріятію его въ будущемъ невозможно. А потому попечительные начальники и разсуждаютъ: пускай, молъ, добрые люди донашиваютъ старые мундиры, покуда мы еще недостаточно окрѣпли для воспріятія новыхъ. А для того, чтобы возмужаніе умовъ совершалось неукоснительно, назначаютъ, по усмотрѣнію своему, неотяготительные сроки, по истеченіи которыхъ новая форма уже окончательно дѣлается обязательною.

Такова цѣль упомянутого выше правила, но не таково, къ сожалѣнію, прилѣженіе его на практикѣ. Тутъ оно встрѣчается съ такими затрудненіями, которыя совершенно извращаютъ его смыслъ и даже отгѣсняютъ на задній планъ самый вопросъ о мундирахъ.

Покуда дѣлится процессъ водворенія новыхъ мундировъ, въ обществѣ происходитъ временное замѣшательство, вообще свойственное эпохамъ мундирнаго возрожденія. Солидные люди (консерваторы) жадно хватаются за опубликованные сроки и отстаиваютъ свои права; люди легкомысленные (прогрессисты), напротивъ того, сбѣгать какъ можно ско-

рѣе щегольнуть новыми погонями. Прогрессисты уже рѣют по улицамъ, облитые лучами вновь выпитыхъ воротниковъ, тогда какъ консерваторы уныло, но упорно влечаютъ свое существованіе, устремляя всѣ помыслы къ сокращеннымъ или удлинненнымъ фалдамъ, съ которыми росло, воспитывалось и укрѣплялось ихъ внутреннее мундирное чувство. Прогрессисты, «въ надеждѣ славы и добра», бѣгутъ впередъ, убѣжденные, что новымъ мундирамъ конца не будетъ, а консерваторы (они же и ретрограды) покачиваютъ головами, пронизируютъ и по временамъ даже почитительно огрызаются. «Укоротимъ фалды упростимъ лацкана!—и впередъ пасть ждетъ блаженство!»—восклицаютъ прогрессисты. «Тише! не вдругъ укорачивайте! помните, что еще можетъ наступить часъ удлиненія—и благо будетъ тому, кто не до конца себя окургузитъ!»—предостерегаютъ консерваторы.

Завязывается обмѣнъ мыслей, въ которомъ главную роль играть вопросъ: дозрѣли мы или не дозрѣли? Прогрессистамъ вопросъ этотъ, конечно, кажется не серьезнымъ, но по той настойчивости, съ которою онъ поддерживается консерваторами, опытный наблюдатель уже угадываетъ, что онъ поставленъ не даромъ. Мало того: знатоку человѣческаго сердца можетъ показаться, что даже въ самую минуту постановки вопроса можно уже провидѣть и формулировать предстоящее его разрѣшеніе.

Такіе знатоки человѣческаго сердца составляютъ явленіе очень прискорбное. Когда обрестъ царствуетъ или безграмотный энтузіазмъ, или худо скрываемое озлобленіе, какъ-то странно встрѣтиться съ человѣкомъ, который на вопросъ: «какой изъ двухъ мундировъ лучше?»—отвѣчаетъ: «оба лучше», и на этомъ прекращаетъ разговоръ. Во-первыхъ, отвѣтъ ни съ чѣмъ несообразенъ; во-вторыхъ, онъ заключаетъ въ себѣ косвенное отрицаніе мундирнаго принципа вообще. Можно порицать, но не отрицать. Изложите ваши соображенія, подвергните критикѣ кантики за кантикомъ, пуговицу за пуговицей, и, ежели хотите, не оставьте даже кантъ, пуговицы на пуговицы—все это выслушается со вниманіемъ, даже съ трепетомъ. Но отвѣчать: «оба лучше»—это значитъ смѣяться надъ тѣмъ, что наиболѣе дорого и священно; это значитъ ни во что считать самый фактъ возрожденія.

Нѣтъ ничего обиднѣе для человѣка, какъ внезапныя откровенія, съ помощью которыхъ онъ приходитъ къ ураз-

умѣнію ничтожества интересовъ, доголубъ занимавшихъ въ его жизни громадную роль. Онъ суетится, выходитъ изъ себя, проситъ разрѣшить дѣло по существу—и вдругъ ему навстрѣчу отвѣтъ: нѣтъ тутъ никакого дѣла, а слѣдовательно нѣтъ и существа его. Иногда онъ самъ собой доходитъ до подобныхъ откровеній; иногда они приходятъ къ нему извнѣ. Въ первомъ случаѣ онъ ожесточается противъ самого себя (шутка сказать! цѣлую жизнь носилъ мундиръ въ своемъ сердцѣ и вдругъ узналъ, что это только мундиръ—и ничего больше); во второмъ—еще болѣе ожесточается противъ внѣшней причины своего невольнаго отрезвленія. Онъ чувствуетъ себя уязвленнымъ и поруганнымъ; онъ не можетъ опомниться отъ негодованія; онъ усматриваетъ злостность и преднамѣренность; онъ считаетъ наконецъ себя въ правѣ потребовать отчета...

— Какая же ваша доктрина? не увертывайтесь! говорите! мы взвѣсимъ, обсудимъ, и ежели пойдемъ въ ней полезныя стороны, то примемъ ихъ во вниманіе!—воплетъ онъ, постепенно переходя отъ изумленія къ угрозѣ.

И ежели содержаніе отвѣта все-таки останется то же, т. е. что насчетъ мундировъ всякія доктрины представляются излишними, то этого достаточно, чтобъ вырвать вопль негодованія изъ всѣхъ сердецъ.

И вотъ вопросъ о мундирахъ вступаетъ въ новую фазу, или, лучше сказать, онъ даже какъ бы отстраняется, чтобы дать мѣсто вопросу болѣе существенному—вопросу объ отрицаніи и отрицателяхъ.

Этотъ послѣдній, но утвердившемуся въ обществѣ мнѣнію, служить единственнымъ препятствіемъ, вълѣдствіе котораго всѣ прочіе вопросы медленно подвигаются впередъ, а нѣкоторые даже чахнутъ въ самую минуту своего возникновенія. Въ самомъ дѣлѣ, что такое отрицаніе?—Это непризнаніе самаго существа тѣхъ вопросовъ, которые занимаютъ того или другого индивидуума. Но этого мало: отрицаніе есть въ то же время и непризнаніе полезныхъ свойствъ, предполагаемыхъ въ дѣятельности тружениковъ, которые корифан надъ разрѣшеніемъ упомянутыхъ вопросовъ и лелѣяли ихъ.

Все въ мѣрѣ создается потихоньку и помаленьку—на этомъ сходятся и прогрессисты и ретрограды, съ тою только разницей, что одни, въ сферѣ предпримчивости, идутъ на вершокъ дальше, другіе—на вершокъ короче. Въ обоихъ

случаяхъ область человѣческой дѣятельности встрѣчается съ безчисленнымъ множествомъ перетородокъ, и чѣмъ меньше захватываетъ въ ширь, тѣмъ прочнѣе и надежнѣе кажутся тѣ закладки, которыя полагаются въ основаніе самому дѣлу. Одинъ выдумываетъ пуговицу, другой — кантикъ, третій — воротникъ: смотришь — ахъ когда-нибудь и цѣлый мундиръ выйдетъ. Поступать такимъ образомъ повелѣваетъ благо-разуміе, совѣтуетъ самый законъ преуспѣянія. И всѣ дѣ-ствующіе на поприщѣ преуспѣянія такъ именно и посту-паютъ, то-есть: спорятъ, обмѣливаются мыслями, подвер-гаютъ критику ту или другую подробность, а въ случаѣ крайности даже озлобляются и предають другъ друга осмѣя-нію. Въ результатѣ оказывается прогрессъ, т. е. пуговица, погоня.

Отрицатели относятся къ подобному образу дѣйствій со-мнительно, то-есть не отвергаютъ его прямо, а проходятъ молчаніемъ. Вотъ это-то молчаніе и оскорбляетъ, ибо оно ватрогиваетъ не столько самое изобрѣтеніе, сколько изобрѣ-тателя. Самое рѣзкое противорѣчіе пропадетъ охотнѣе, пе-жели молчаніе, потому что противорѣчіе все-таки ставитъ оппонента на одну доску съ вопрошаемымъ. Напротивъ того, молчаніе устраняетъ самый предметъ спора, ставитъ возбуждающаго вопросъ въ положеніе человѣка, который горяча подастъ руку и вмѣсто пожатія встрѣчаетъ пустое мѣсто. *Inde ira*. «Какія же ваши доктрины по сему пред-мету?» — будетъ настаивать разогорченный возбудитель во-просовъ, и ежели отвѣтъ послѣдуетъ уклончивый, то не ограничится простымъ приставаніемъ, а сочтетъ себя въ правѣ подвергнуть отрицателя тщательнѣйшему изслѣдованію.

Тѣмъ не менѣе къ изслѣдованію приставается не безъ отговорокъ, въ числѣ которыхъ первое мѣсто, разумеется, отводится общему благу. Прежде всего выступаютъ впе-редъ затрудненія, встрѣчаемыя при разрѣшеніи вопросовъ жизни, вслѣдствіе досады, негодованія и другихъ преградъ, возбуждаемыхъ отрицательнымъ отношеніемъ къ этимъ во-просамъ. «Опомнитесь! что вы дѣлаете! Вѣдь вы, сами того не понимая, поддерживаете распространителей обскуран-тизма, враговъ прогресса!» — вызываютъ прогрессисты. «Вотъ онъ, настоящій-то прогрессъ! вотъ онъ къ чему приводитъ — къ равнодушію!» — хохочутъ въ свою очередь консерваторы и ретрограды, умышленно смѣшивая заблудшихъ овецъ, слу-чайно отторгнувшихся отъ ихъ стада, съ людьми, скромно идущими въ сторонѣ и скромно дѣлающими свое скромное

дѣло. Затѣмъ очень видную роль играетъ и то соображеніе, что вся эта масса отрицателей, которая держитъ себя без-участною свидѣтельницей мундирнаго возрожденія, есть масса совершенно потерпѣвшая для дѣла, ибо въ то время, какъ свѣтели и дѣятели хлопочутъ и выбиваются изъ силъ, одни «отрицатели» безмолвно проходятъ мимо и не хотятъ ударить пальцемъ о палецъ. «Что было бы, если-бъ каж-дый изъ этихъ людей выдумалъ по пуговицѣ, хотя по од-ной пуговицѣ! какая масса добра! какой свѣтъ! какое до-вольство!» — вопіютъ прогрессисты. «Что было бы, если-бъ каждый изъ этихъ людей употребилъ свои способности на защиту хотя одной старой пуговицы, — только одной!» — въ свою очередь вызываютъ ретрограды. И въ результатѣ этихъ обоюдныхъ воплей — вопросъ: «какая же ваша доктрина?»

Этотъ мучительный вопросъ повторяется постоянно и по-стоянно же остается безъ отвѣта. Безотвѣтность, въ свою очередь, заставляетъ предполагать одно изъ двухъ: или что у отрицателей совсѣмъ нѣтъ никакихъ доктринъ, или что они имѣютъ какія-то доктрины, но не хотятъ о нихъ повѣствовать.

Первое предположеніе, повидимому, самое выгодное для обѣихъ сторонъ. Для допрашивающей стороны оно выгодно потому, что ежели «отрицатель» не имѣетъ своихъ соб-ственныхъ выдумокъ, то, стало-быть, и опасаться его нѣтъ надобности. Это не отрицатель, а, напротивъ того, оплотъ. Для допрашиваемой стороны оно выгодно потому, что ежели предположеніе о немѣнѣи ея доктринъ утвердится на проч-номъ основаніи, то, стало-быть, упразднится поводъ для придиорокъ, подозрѣній и приставаній. Человѣкъ, который свободенъ отъ всякихъ притязаній къ жизни, есть человѣкъ самый доброкачественный. Такими людьми полны улицы, и къ нимъ никто не пристааетъ, никто ихъ ни въ чемъ не подозрѣваетъ, ибо всякій знаетъ, что ежели появятся но-вые погоны, то они первые усвоятъ ихъ со всею тщаель-ностью. Если сердца ихъ не будутъ при этомъ играть, если они недостаточно войдутъ во вкусъ, то это будетъ лишь признакъ ихъ неразвитости, а кто же когда-нибудь претендовалъ и сердился на неразвитость? Стало-быть, вы-года обоюдная: допрашивающіе освобождены отъ обяза-ности метать стрѣлы; допрашиваемые — отъ обязанности пе-сылывать дѣйствіе этихъ стрѣлъ на своихъ организамахъ...

Но, къ сожалѣнію, люди, принимающіе живое участіе въ мундирныхъ возрожденіяхъ, слишкомъ рѣдко становятся на

эту здоровую и спокойную точку зрѣнія. Въ большей части случаевъ они ощущаютъ какую-то необъяснимую потребность истязать и мучить себя, и, руководствуясь этою потребностью, даютъ обширный просторъ подозрѣнιάмъ, хотя бы основательность послѣднихъ ничѣмъ не оправдывалась. И вотъ, не-звѣсть откуда, является предположеніе, что отрицатели доподлинно обладаютъ нѣкоторою доктриною, но только, должно-быть, доктрина эта очень опасная, и потому они тщательно скрываютъ ее. Предположеніе это ведетъ за собою обязанность раскрыть и объяснить сущность скрываемой доктрины.

Но здѣсь сила желанія находится совершенно въ обратной пропорціи съ силою и твердостью отправного пункта.

Съ одной стороны, мотивы, опредѣляющіе желаніе, представляютъ общее мѣсто, которое трудно формулировать, съ другой—не болѣе ясности представляютъ и самый объектъ желанія. Вещественныхъ признаковъ, съ помощью которыхъ должно было бы опредѣлить искомую доктрину,—нѣтъ; руководящей нити, которая дала бы возможность отыскать эти признаки,—тоже нѣтъ. Принципы нравственности, общественной безопасности, политической необходимости—все это даетъ поводъ для безчисленнѣйшихъ толкованій, изъ которыхъ ни одно не согласуется съ другимъ, а слѣдовательно и не даетъ никакого дѣйствительнаго основанія для предпріянія наступательныхъ дѣйствій. Остается, стало-быть, наудачу произвести выемку души—авось-либо что-нибудь тамъ и найдется.

Однако-жъ для того, чтобъ произвести съ успѣхомъ подобную выемку, надобно все-таки знать, во-первыхъ, что такое душа, а во-вторыхъ, что въ ней искать надлежитъ. Но и тутъ все мракъ и полное отсутствіе регламентовъ. Удѣ мѣстопребываніе души?—ни прогрессисты, ни консерваторы указать не могутъ, хотя знаютъ, что это мѣстопребываніе гдѣ-то есть. А потому единственнымъ средствомъ, чтобъ отдѣлаться отъ этого вопроса, представляется произвольное оставленіе его безъ разсмотрѣнія. Въмѣсто того, чтобъ обмѣлывать душу, схватываютъ слова, сказанія налету, подмѣчаютъ позы, тѣлодвиженія, вымѣлываютъ образъ занятій и изъ этихъ обрывковъ создаютъ нѣчто цѣлое, долженствующее изображать собою искомую доктрину. Но такъ какъ уразумѣніе какой бы то ни было доктрины дается только тому, кто хоть съ какой-нибудь стороны прикосновененъ къ ней, то, несмотря на всевозможныя сгла-

живанія и сивики, выводы, получаемые путемъ собранія обрывковъ, принимаютъ характеръ фантастичности, противорѣчивости и даже неожиданности. Всякому, выслушивающему это спутанное изложеніе, дѣлается сразу повѣрнѣмъ, что ежели бы собиратель обрывковъ понималъ то, о чемъ онъ повѣствуетъ, то онъ о многомъ умолчалъ бы въ виду своихъ собственныхъ интересовъ, а о многомъ сказавъ бы совсѣмъ инымъ образомъ. И такимъ образомъ съ полною ясностью выступать только одно—это чувство не-прависти, которое всецѣло охватываетъ помыслы собирателя и которое заявляетъ о себѣ преувеличенными и совершенно произвольными заключеніями.

Ахъ! это чувство очень мучительное, ибо въ основаніи его лежитъ страхъ, и—что всего ужаснѣе—страхъ, имѣющій въ предметѣ опасность, которой величина и характеръ опредѣляются только величиною и характеромъ индивидуальныхъ, смутно сознаваемыхъ подозрѣній. Желая когда-нибудь человѣкъ является способнымъ быть творцомъ собственнаго индивидуальнаго внутренняго міра, не имѣющаго ничего общаго съ міромъ дѣйствительнымъ, то это именно въ минуту не-прависти, порождаемой ожидаемъ несознанныхъ опасностей. Все, до чего не дозрѣлъ и не додумался умъ, представляется исполненнымъ угрозы; а такъ какъ область этого недодуманнаго почти безгранична, и нѣтъ въ виду даже эмпирическихъ указаній, которыя помогали бы отыскать какія-нибудь свѣтящіяся точки въ этомъ темномъ пространствѣ, то великій новый шагъ приводитъ за собою только новое безпокойство, безъ надежды на умиротвореніе вскую мягущагося духа. Метать громы нужно, а въ кого и во имя чего слѣдуетъ ихъ метать—неизвѣстно. Что же остается?—остается метать ихъ, во-первыхъ, во имя темныхъ предчувствій, о чемъ-то подсказывающихъ, но ничего ясно не говорящихъ, и, во-вторыхъ, метать ихъ наугадъ въ разстилающееся впереди пространство, не зная, правые или виноватые сдѣлаются ихъ жертвою...

Предположите, на примѣръ, что корень доктрины, навлекшей на себя подозрѣніе, кроется въ естественнаніи. Покуда эта отрасль человѣческихъ знаній стояла особнякомъ, покуда вліяніе ея на общій строй жизни не выражалось фактически, это была какая-то заповѣдная область волшебствъ и секретовъ, въ которую никто близко не всматривался, полагая, что дѣйствительный міръ съ его горестями, превратностями и нуждами—самъ по себѣ, а міръ чудесъ, со-

ставляющий предмет естественных наук, — сам по себе. И вдруг завеса, разделявшая оба эти мира, падает, и — что всего неожиданный — одновременно с этим падением происходит и перетасовка названий, который дотолъ при-сваивала мирам рутина. Действительный мир оказывается миром чудесъ, мир чудесъ — действительнымъ, существующимъ и обращающимся въ силу естественныхъ и совершенно вразумительныхъ законовъ. Такое открытіе (особливо если оно сопряжено съ обобщеніями и критикою воззрѣній, служившихъ дотолъ отправными пунктами для человѣческой дѣятельности) можетъ для многихъ показаться черезчуръ смѣлымъ и даже экстравагантнымъ. Оно противорѣчитъ всѣмъ историческимъ наслосіямъ; оно указываетъ для умственной дѣятельности чловѣка совѣтъ другіе центры; оно предлагаетъ жизнь сначала. Со всѣмъ этимъ примириться не легко; но какъ же убѣдить людей, что два мира, стоявшіе доселѣ другъ отъ друга отдѣльно, такъ и должны оставаться до конца вѣковъ особнякомъ? Гдѣ взять доказательства для поддержанія этой темы? — Увы! мы всѣ, прогрессисты, консерваторы и ретрограды, — всѣ мы съ головы до ногъ эмпирики, знающие только преданіе, а никакъ не доказательства! Мы умѣемъ только ненавидѣть, а во имя чего ненавидимъ — даже самимъ собой отчета въ томъ отдать не можемъ!

Правильно или неправильно подвергаются нападкамъ такъ-называемые «отрицатели» — здѣсь разрѣшать не мѣсто. Но во всякомъ случаѣ въ этой странной борьбѣ замѣчательно тотъ фактъ, что одни борются, не зная, во имя чего, другіе — терпятъ борьбу, не зная, за что. Въ результатѣ: приостановка жизненнаго движенія, смѣненіе формы съ дѣломъ и полное господство процесса устраненія надъ процессомъ творчества.

Какъ ни мало существенно само по себѣ мундирное творчество, но и оно можетъ принести пользу. Если-бъ люди были искренно ему преданы, то они, по крайней мѣрѣ, проникались бы благоволеніемъ и къ другимъ ремесламъ и занятіямъ, признавали бы болѣе или менѣе близкую солидарность ихъ и, исходя изъ этого убѣжденія, изгнали бы изъ сердецъ своихъ сѣмена вражды и ненависти. Изобрѣтатель новыхъ воротниковъ подаль бы руку химикъ, потому что послѣдній можетъ объяснить наилучшій способъ золоченія; изобрѣтатель новыхъ ботфортовъ простеръ бы братскія объятія мозольному оператору, потому что послѣд-

ній можетъ дать благой совѣтъ, какая форма сапога можетъ предохранить отъ мозолей. И вотъ на землѣ осуществился бы рай, въ которомъ никто никому не мѣшалъ бы дѣлать дѣло, а каждый каждому оказывалъ бы помощь и содѣлствіе.

Распря повѣдомо за что затемняетъ смыслъ первоначальныхъ задачъ и даже устраняетъ ихъ изъ арены жизни. Сверхъ того она истощаетъ силы общества въ запятн въ высшей степени непронизводительномъ. Предположите въ этомъ обществѣ, столь охотно предающемуся безумной отвагѣ, минуту отрезвленія и спросите его: что ты сдѣлало? чѣмъ ты ознаменовало свое вступленіе на новый путь? «Я драгос!» отвѣтитъ оно, и Богъ знаетъ, сколько горечи прозвучитъ для него въ этомъ правдивомъ и имъ самимъ данномъ отвѣтѣ.

Но горечь была бы еще спасительною, ибо въ ней есть призывъ возврата, а въ возвратѣ всегда заключается возможность выхода болѣе или менѣе благоприятнаго. Въ болѣе части случаевъ безсознательно дерущееся общество и затѣмъ продолжаетъ драться съ тою же безсознательностью, какъ и прежде, не отрезвляясь и не отвѣчая ни на какіе вопросы до тѣхъ поръ, пока весь воздухъ не перенасытится пылью и прахомъ.

Здѣсь да позволено мнѣ будетъ небольшое отступленіе по поводу такъ-называемыхъ прогрессистовъ.

Это народъ очень загадочный, совмѣщающій съ чувствительностью души и слезливостью въ голосѣ непреодолимую страсть къ «куску».

Они постоянно скорбятъ и постоянно выставляютъ себя послѣднимъ убожникомъ, не выражая ясно, чего именно, но давая почувствовать, что чего-то очень хорошаго.

Обыкновенно они рекомендуютъ себя слѣдующимъ образомъ:

— Не обвиняйте насъ! Мы не все можемъ, что желаемъ! если бы вы знали, что намъ стоить отстоять самую малую часть добра, къ которому мы стремимся, вы отбили бы наши усилія, вы отдали бы полную справедливость нашему самоотверженію!

Или: — Поберегите насъ! Мы — послѣднее ваше убожничество! Не будь насъ — и то малое, что вы видите еще уцѣлѣвшимъ, погибло бы безъ возврата! Мы не можемъ дѣйствовать опредѣленно, потому что въ такомъ случаѣ должны

были бы совѣмъ отказаться отъ дѣятельной роли! Посудите сами, полезно ли это будетъ даже въ вашихъ интересахъ!

Голова изволнванъ, жестъ простъ и задушевенъ, вся глубина чувствъ такъ и просится паружу, а если къ этому присовокупить бѣлѣйшее и тончайшее бѣлье, безукоризненно-синюю одежду, прекрасныя руки и проч., то дѣйствіе получится поистинѣ неотразимое.

Странники моря житейскаго такъ и льнутъ къ прогрессистамъ, особливо въ минуты постигающихъ ихъ несчастій. И дѣйствительно, никто не сумѣетъ такъ утѣшить, сказать сочувственное слово, показать вдали перспективы.

— Когда наступитъ удобный моментъ... будьте увѣрены... а между тѣмъ призовите на помощь ваше мужество... все къ лучшему... несчастіе отрезвляетъ... сознайтесь, что и отрезвленія не всегда лишни... за всѣмъ тѣмъ, когда моментъ настанетъ, и т. д.

Странникъ моря житейскаго возвращается домой утѣшен-ный, окрыленный. Онъ даже и разсуждать начинаетъ какъ-то дерзко. Что такое это «несчастіе», которое за минуту передъ тѣмъ приводило его въ смущеніе? Это много, это сонъ, это прахъ, для исчезновенія котораго достаточно было одного дуновенія прекраснаго прогрессиста! Это греза давно минувшихъ временъ, которая едва-едва брезжится вдалекѣ! Духъ его не только не уналь, но окрылѣ еще больше, нежели до «несчастія»! Онъ начинаетъ строить планы; онъ вѣритъ въ будущее, надѣется выиграть двѣсти тысячъ, даже не обладая ни однимъ билетомъ выигранны-наго займа...

Но проходитъ моментъ за моментомъ, а будущее все ускользаетъ да ускользаетъ изъ рукъ. «Несчастіе» не брезжится гдѣ-то вдалекѣ, а глядитъ прямо въ глаза и съ каждою минутой все суровѣе и суровѣе. Чѣмъ легче окрылялись надежды, тѣмъ легче онѣ гаснутъ. Скверное сочетание легковѣрія и безпомощности представляется во всей наготѣ.

— О, прогрессисты!—восклицаетъ въ отчаяніи бѣдный странникъ моря житейскаго.

Увы! онъ неправъ только тѣмъ, что съ этого восклицанія ему слѣдовало бы начать, а не кончать имъ.

Прогрессистъ—такой же идеологъ, какъ и консерваторъ или ретроградъ, и душа его такъ же мало откликается на дѣло, какъ и душа самаго закорюзлаго ханжи-обскуранта. Какой же резонъ для него идти какимъ-то другимъ путемъ?

Никто не видалъ, чтобы прогрессистъ когда-нибудь чѣмъ-

набудь поступился, чтобы онъ усовершенствовалъ свою чувствительность до того, чтобы выпустить «кусокъ», который онъ разъ защемилъ зубами. Будучи отъ природы покрытъ скользкимъ веществомъ, онъ пользуется этимъ преимуществомъ, чтобы увертываться и скользить, но пользуется лишь до тѣхъ поръ, пока не зайдетъ рѣчь о «кускѣ». Напоминаніе о «кускѣ» производитъ въ немъ панику, а паника—цѣлый рядъ рѣшеній и дѣйствій, которымъ позавидовалъ бы наимнѣйшій изъ ретроградовъ.

Вся жизнь прогрессиста есть непрерывное и опасное сидѣніе между двумя стульями, и если онъ не испытываетъ невыгодныхъ послѣдствій этой опасности, то потому только, что, въ случаѣ надобности, онъ посидитъ какъ-нибудь и на-вѣсу. И должно отдать ему справедливость,—онъ такъ искусно сидитъ на-вѣсу, что многимъ кажется, что такъ именно и слѣдуетъ всегда сидѣть. И вотъ во всѣхъ сердцахъ зажигается удивленіе и создаются алтари; изъ всѣхъ устъ несется гимны и исповѣнія. А онъ между тѣмъ жуеетъ да жуеетъ свой «кусокъ» и даже не давится имъ...

Памятуя стихъ Пушкина:

Тѣмъ низкая истинъ мнѣ дорожо  
Насъ возвышающей обманъ,

—онъ окрыляетъ однихъ и кувьркается передъ другими. То-есть: съ одной стороны, приобретаетъ пламень благородныхъ сердецъ, съ другой—ласку и куски. Ласку онъ цѣнитъ плохо, «но кусокъ»... о! «куска» онъ не выпуститъ ни подъ какимъ вѣдомъ!

Кто захочетъ сдѣлать буквальное примѣненіе написанной выше картины мундирнаго возрожденія къ современному положенію нашего общества, тотъ, конечно, впадетъ въ немалое заблужденіе. Содержаніе нашего общественнаго возрожденія слишкомъ грубо по своимъ намѣреніямъ, чтобы сравненія въ этомъ родѣ могли быть допущены безъ явной несправедливости. Но дѣло не въ самой картинѣ, а въ томъ пути, которому послѣдовала жизнь въ процессѣ своего обновленія, и въ тѣхъ отрицательныхъ результатахъ, къ которымъ она привела благодаря избранному пути. Здѣсь встрѣчается уже многое, что прямо напоминаетъ пути и результаты, изображенные выше.

Источники замутились, задачи утратили первоначальный смыслъ; въ результатѣ—приостановка жизни, равнодушіе,



почти оффенсивные. Всякий, кто отдаст себе серьезный отчет в томъ, что происходит кругомъ него, долженъ будетъ сознаться, что трудно представить жизнь, болѣе сдавленную гнетомъ собственной жалости и бѣдности стремлений и идеаловъ.

Недавно мы были свидетелями періода довольно оживленнаго, который многими назывался періодомъ броженія. Были у насъ и прогрессисты, и консерваторы, и ретрограды. Первые пламенѣли, вторые балансировали, третьи сдерживались. Производился обмѣнъ мыслей, ставился вопросъ, дозрѣли мы или не дозрѣли, — и мгновенья незамѣтно летѣли за мгновеньями. Очень возможно, что весь этотъ переполохъ не заключалъ въ себѣ существеннаго содержанія, что онъ представлялъ собою легкомысленное цѣбеганье свѣтлорей, наивнѣшнихъ съ чужого голоса, но во всякомъ случаѣ лица не поражали сонливостью, не видно было той подавляющей скуки, которая такъ, кажется, и глантъ: снѣ люди погибли для радостей. Теперь даже этого вишняго оживленія незамѣтно. Нѣтъ ни прогрессистовъ, ни консерваторовъ, ни ретроградовъ, потому что россияне утратили самый вкусъ къ мундирамъ, и никто не можетъ сказать ничего положительнаго насчетъ того, какого ему шитья хочется.

А между тѣмъ пастушно время сѣянія; зерна по землѣ разсыпано множество, а индѣ даже молодые всходы пробиваются. Современный человѣкъ видитъ и это сѣянье и эти всходы, но временамъ оспаивается передъ ними и даже произноситъ сочувственное или неодобрительное слово. Но стѣнть прислушаться къ этому слову, чтобы убѣдиться, что въ немъ нѣтъ ни одной живой и ясной ноты. Тутъ звучитъ и неумѣлость, и легкомысленная словесность, и завѣщанная преданіемъ заученность — все, кромѣ страстности и сознанія личной прикосновенности къ дѣлу сѣянія. «Не мое дѣло, мнѣ какъ бы вотъ день прожить», говоритъ всякъ и каждый. Одно за другимъ проходятъ явленія, котерямъ, по вѣмъ видимостямъ, слѣдовало бы захватить самыя жизненные основы общества... ничуть не бывало! никто ничего не захватываетъ, ничто ничего не вызываетъ наружу. По поводу явленія самаго рѣшительнаго, литература непуститъ обычное формально-лирическое бормотаніе, уличная же публика вѣло перекинется двумя-тремя безсодержательными вопросами и вѣло же разбередется по домамъ, чтобы тамъ предаться вялымъ размышленіямъ...

Какъ скоро все это стихло, потухло, ступевалось! Что ни говорите, а эта быстрота утомленія — признакъ очень сомнительный. Не въ томъ опасность, что скоро потухло и стихло броженіе, которому мы были свидетелями, — Богъ съ нимъ, съ этимъ броженіемъ! — а въ томъ, что быстрота утомленія дѣлается какъ бы регуляторомъ жизни. Стало-быть, впереди видится нѣчто очень малое, ежели общество не трепещетъ, не напрягаетъ силъ, не самоотвергается, не впадаетъ въ ошибки, а только глядитъ въ одну случайно попавшуюся на глаза точку и думаетъ: «ахъ, кабы совѣтъ этихъ свѣтлорей не было!»

Говорятъ, что все это признаки очень здоровые; что страсти умиротворились, броженіе улеглось, колебанія выспались. Солідные люди усматриваютъ задатки такъ-называемаго трезваго отношенія къ жизни и пророчать нѣчто прочное, осмотрительное, исторонливое. Но качества этой трезвости болѣе чѣмъ сомнительны. Это безвкусная, безсодержательная трезвость, которая граничитъ съ полнымъ упадкомъ силъ. Какъ ни наивно было наше недавнее озлобленіе противъ запросовъ жизни, какъ ни мелочны были формы, въ которыхъ оно выражалось, — приходится пожалѣть и объ немъ. И тамъ было нѣчто, свидѣтельствовавшее, что нульсъ не пересталъ еще биться, и тамъ была возможность поступковъ, а слѣдовательно и возможность поправокъ, возвратовъ, раскаяній. И вдругъ — пустое мѣсто. Одно чувство господствуетъ и одолеваетъ: чувство пустоты, чувство непущности. У всѣхъ на языкѣ одна фраза: надо дѣло дѣлать, и у всѣхъ же въ головѣ одна мысль: «ахъ, кабы меня Богъ помиловалъ!» Все оконченло и сосредоточилось на одной мысли: какъ бы подцѣпить гроицъ и прожить насущный день. Не чувство жизни горитъ въ человѣкѣ, а коптитъ и чадитъ въ немъ чувство самаго грошоваго само-сохраненія. И жить не зачѣмъ, и умереть страшно. Не потому страшно, чтобы пугали сновидѣнія:

Умереть — уснуть...

— а потому, что умы до того сдавлены робостью, что никакое прямое рѣшеніе для нихъ недоступно. Человѣкъ не живетъ и не умираетъ, а перебрасываетъ самого себя изо дня въ день, безъ всякаго участія личнаго творчества.

Горечь отдѣльныхъ фактовъ не возбуждаетъ въ насъ ни симпатіи, ни отголоска; наплывъ случайности не вызываетъ нашего гнѣва; разрозненность явленій, отсутствіе связнаго

представления объ общемъ строй жизни, перерывы, провалы, колебания — ничто не можетъ пробить броню равнодушія, въ которую мы облеклись. «Но наше дѣло! — слышится со всѣхъ сторонъ: — довольо волнений, пусть страсти улягутся! пусть жизнь сама отвѣтитъ на собственные запросы свои!»

Глядя со стороны, можно подумать, что мы только-что вытерпѣли жестокою битву и теперь зализываемъ свои раны.

И дѣйствительно, битва, которую мы вытерпѣли, была очень жестокая. Это была знаменитая въ лѣтописяхъ битва противъ нигилистовъ, свистуновъ, космополитовъ и проч. Мы увлеклись ею до того, что забыли даже о задачкахъ, которыя насъ занимали, и изъ безсодержательнаго эпизода сдѣлали главную тему всей нашей жизни. И что же вышло? устранили ли мы что-нибудь? — нѣтъ, не устранили, потому что и устранить, въ сущности, было нечего. Приобрѣли ли? — нѣтъ, и не приобрѣли ничего, а напротивъ того, все утратили. Утратили вкусъ къ жизни, къ ея интересамъ... и даже къ ея разнообразнымъ мушкетерамъ.

И теперь, когда поле сраженія чисто, когда нигилисты и свистуны поражены, перамлены и разсѣяны, мы тщетно стараемся припомнить тѣ задачки, которыя занимали и волновали насъ въ оное время.

— О чемъ, бишь, мы производили обмѣнъ мыслей до этой баталии? — можетъ спросить любой изъ насъ и, навѣрное, не получитъ никакого другого отвѣта, кромѣ:

— Убей Богъ! — ничего изъ помню!

## Глава II.

Представьте себѣ, что въ самомъ разгарѣ сѣяній, которыми такъ обильна современная жизнь, въ ту минуту, когда вы, въ чаду прогресса, всего меньше разсчитываете на возможность возврата тѣхъ порядковъ, которые, по всѣмъ соображеніямъ, должны окончательно кануть въ вѣчность, вдругъ откуда-то повеетъ чѣмъ-то старымъ, знакомымъ, отчасти даже любезнымъ... Не безъ любознательности вглядываетесь вы впередъ, стараясь угадать, откуда потянуло знакомыми запахами, и, къ удивленію вашему, убѣждаетесь, что «старое» совсѣмъ не упразднилось, но стоитъ совершенно бодро, что оно смотритъ прямо въ глаза и даже какъ будто произируетъ. «Старайтесь, милые, сѣйте! — говорить оно: — а я тѣмъ временемъ поревную особю». Что можетъ означать подобный фактъ?

Нѣтъ сомнѣнія, что описанное выше чувство недоумѣнія испыталъ всякій, кто прочелъ обнародованные на-дняхъ въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» результаты недавней ревизіи Пермской губерніи. Но въ то же время не можетъ быть сомнѣнія и въ томъ, что результаты эти многимъ уяснили многое, что дотогѣ проходило совершенно для нихъ незамѣченнымъ.

Чтобы это послѣднее уясненіе было достигнуто, стѣбитъ лишь обратиться въ недавнему прошлому и спросить себя: какое значеніе въ то время имѣла ревизія, подобная той, которая постигла Пермскую губернію?

Значеніе это у всѣхъ на памяти — это было просто-напросто обличеніе невозможности жить. Когда въ какой-нибудь губерніи жить дѣлалось невозможно, назначалась ревизія, дабы всѣмъ вѣдомо было, что жить подлинно невозможно, что законъ упраздненъ, что мѣсто его занять даже не произволъ, а просто-напросто грабежъ, и что начальство, убѣдившись въ этомъ, принимаетъ мѣры, т.-е. назначаетъ ревизию. Нарядомъ ревизоръ, который прѣзжалъ на мѣсто съ полномочіемъ вязать и рѣшить, который выслушивалъ жалобы, разсматривалъ дѣла, собиралъ свѣдѣнія о нуждахъ края и о томъ, въ какой степени онѣ оставались безъ удовлетворенія, и въ концѣ концовъ ре-зюмировалъ свой трудъ такъ: да, дѣйствительно, жить было невозможно.

Тѣмъ не менѣе ревизіи возбуждались не часто и, развѣ возбужденныя, производили въ обществѣ говоръ. Не то казалось удивительнымъ, что понадобилось произвести ревизию, а то, что ревизія состоялась. Были люди (по-тогдашнему, «ябедники»), которые десятки лѣтъ вызывали ревизию и умирали, не дождавшись ея. Были другіе, которые цѣною неимоверныхъ и хитросплетенныхъ ябедничествъ вызывали наконецъ ревизию и считали себя счастливыми даже въ томъ случаѣ, если ревизія ничего другого имъ лично не приносила, кромѣ высылки въ другую губернію подъ характеристическимъ наименованіемъ «ябедниковъ», которое и оставалось за ними на всю жизнь. Это были тогдашніе старатели и ревнители. Въ нихъ, въ искаженной и изуродованной формѣ, воплощалась общественная совѣсть. Она подвергалась всевозможнымъ поруганіямъ и преслѣдованіямъ и все-таки продолжала свое обличительное дѣло. Какую роль въ этомъ дѣлѣ игралъ четвертакъ и какую — правда, разобрать довольно трудно; но, судя по тому, что

вся дѣятельность «ябедниковъ» была направлена исключительно противъ сильныхъ міра и не окрѣплялась особенными надеждами на успѣхъ, можно заключить, что въ ней все-таки главную роль играла скорѣе правда, нежели четвертакъ. Надо быть глубоко уязвленнымъ въ душѣ, надо перенести страшную массу обидъ и злоключеній, чтобы безнадежно стучать въ запертую дверь и по временамъ достигать даже того, что она отворялась. И ябедники стучались и выполняли свое призваніе вполне добросовѣстно, хотя имъ, конечно, небезызвѣстно было, что жить въ мирѣ съ властями все-таки выгоднѣе, нежели вопіять противъ нихъ къ небу...

Почему ревизіи назначались лишь въ самыхъ исключительныхъ и рѣдкихъ случаяхъ? На это было очень много причинъ. Во-первыхъ, всякая ревизія сопрягается съ обличеніями, не всегда удобными, и преждевременно возбуждаетъ вопросъ о невозможности жить въ такой средѣ, гдѣ эта невозможность, того гляди, еще не воплѣсь сорвалась. Требуется своего рода прощательность и тактъ, которыхъ предотвращали бы пагубныя смѣшенія между подлинною невозможностью и невозможностью такъ-себѣ... можетъ-быть, просто съ жиру. Не надо забывать, что возможность жить далеко не во всѣхъ случаяхъ измѣряется дѣйствительною стоимостью тѣхъ жизненныхъ благъ, которыми пользуется человекъ; напротивъ того, очень часто мѣриломъ ея служить лишь относительная упругость и сносливость субъекта, обреченнаго на жизнь. Одинъ говоритъ: «меня хоть на куски рѣжь — я и тогда живъ буду!» Другой идетъ дальше и считаетъ жизнь невыносимою даже въ томъ случаѣ, когда его незаслуженно называютъ курицинымъ сыномъ. Третій идетъ еще дальше и говоритъ: «заслужилъ или не заслужилъ я названіе курицына сына, все-таки не смѣй меня такъ называть, потому что въ противномъ случаѣ жизнь сдѣлается для меня невозможною». Ясно, что здѣсь первый человекъ понимаетъ «возможность жить» шире, нежели второй; второй шире, нежели третій. Стали-быть, весь вопросъ заключается въ томъ, удобно ли суживать подобныя понятія прежде, нежели сама практика укажетъ на необходимость подобаго суженія? А ревизія именно производитъ это суженіе, ибо, подвергая своему анализу вопросъ о неудобствахъ, сопряженныхъ съ невозможностью жить, она тѣмъ самымъ возбуждаетъ и другой, болѣе деликатный вопросъ: объ неудобствахъ, сопряженныхъ

съ возможностью жить. Мудрость вѣковъ всегда отвѣчала на всѣ эти вопросы отрицательно, то-есть что не слѣдуетъ поднимать изслѣдованій о томъ, какъ живетъ, до тѣхъ поръ, покуда кое-какъ живетъ. И дѣйствительно, сообразно съ этимъ извѣчнымъ правиломъ, всѣ ревизіи, то-есть изслѣдованія, предпринимались не прежде того, какъ возможность жить прекращалась въ самомъ широкомъ смыслѣ, то-есть тогда, когда люди останавливались даже передъ изреченіемъ: «рѣжь меня на куски!» и когда притомъ въ прекращеніи жизни совершенно ни для кого не оставалось никакого сомнѣнія. Если бы не было этого благоразумнаго правила, въ притязанія къ жизни непременно вторглось бы смѣшеніе, а быть-можетъ, даже и прихотливость. Переходы изъ перваго разряда во второй, изъ второго въ третій были бы не рѣдкостью, и притомъ переходы произвольные, возмутительные. Иной смогъ бы еще множество лѣтъ оставаться твердымъ въ бѣдствіяхъ, а тутъ, вида со стороны начальства потачку, возьметъ да и спихотничаетъ. «А семь-ка,— скажетъ онъ себѣ: — и я доложу, что мнѣ жить невозможно». И не только доложить, но даже представить несомнѣнныя тому доказательства. И такимъ образомъ вдругъ откроется, что множество людей жило (а можетъ-быть, и еще несчетное число лѣтъ жить бы могло), и вотъ теперь, благодаря ревизіи, начинаетъ вдругъ ощущать, что Божій міръ не милъ. И доказываетъ это такими фактами, передъ которыми совѣсть молчитъ.

Другая причина, обуславливающая рѣдкость ревизій, заключалась въ томъ, что ревизія, возбуждая вопросъ о правѣ на жизнь, косвеннымъ образомъ служила причиною прекращенія даже той доли жизни, которая извѣстна подъ именемъ отправленія текущихъ дѣлъ и которая, несмотря на злоупотребленія, все-таки кое-какъ пледась. Читатель, который былъ свидѣтелемъ переполоховъ, производимыхъ ревизіей, пойметъ, что мы хотимъ сказать. Передъ глазами его воскреснетъ вся лихорадочная обстановка, которая, при первой же вѣсти о ревизіи, вдругъ водворяется въ цѣломъ краѣ и характеризуется однимъ словомъ: трепеть. Трепетъ этотъ отнюдь не составляетъ частнаго явленія, къ которому можно было бы примѣнить классическое выраженіе французовъ: *que les méchants tremblent, que les bons se rassurent!* Нѣтъ; тутъ, по недоразумѣнію, трепещутъ всѣ: и злые и добрые. Злые трепещутъ потому, что имъ рядомъ несомнѣнныхъ фактовъ доказано будетъ, что

дѣйствія ихъ имѣли результатомъ невозможность жить. Добрые трепещутъ потому, что сомнѣваются, будутъ ли признаны вполнѣ достаточными тѣ доказательства невозможности жить, которыя они намѣреваются предъявить. Но, сверхъ того, есть и еще множество разнообразнѣйшихъ причинъ, производящихъ трепеть. Одни трепещутъ по преданію, другіе—оттого, что въ первый разъ встрѣчаются лицомъ къ лицу съ чрезмѣрно блестящимъ мундиромъ, третьи—оттого, что ихъ подавляетъ осанка, голосъ и т. д. Но когда человека объемяетъ трепеть (хотя бы и неосновательный), то онъ, очевидно, не только не можетъ быть благополученъ, но даже просто-на-просто оказывается внѣ всякой возможности занимать обычнымъ, будничнымъ своимъ дѣломъ. Въместо того, чтобъ торговать, печь пироги, воздѣлывать землю, онъ трепещетъ; вмѣсто того, чтобъ писать рѣшенія о томъ, сколько кому опустить надсѣжить, онъ трепещетъ. Всѣ трепещутъ: и жалобчики, и тѣ, на которыхъ приносятся жалобы.

Лица, на которыхъ жалуются, суть тѣ самыя, на обязанности которыхъ лежитъ отправленіе дѣла. Какъ только пройдетъ слухъ о ревизіи, такъ тотчасъ же они оставляютъ всякія попеченія о дѣлопроизводствѣ, начинаютъ служить молебны, выпинать задравныя просвиры и бесѣдовать съ собственною совѣстью. Наступаетъ эпоха угрызеній; изъ тѣмъ прошлаго выдѣляются призраки. Неподдежательно высѣченныя части тѣла, неподдежательно взятые гривенники такъ и мечутся въ глаза со всею обстановкою, при которой первыя были высѣчены, а вторыя взяты. И все это надобно объяснить такъ, чтобъ ревизующій полагъ, что тутъ нѣтъ ничего, кромѣ невинности, и что не только не было невозможности жить, но былъ рай. А объяснить это очень трудно, потому что ревизоръ, испуганный массою воплей и жалобъ, дѣлается придирчивъ и не довольствуется получаемъ, но требуетъ доказательствъ, что рай былъ точъ-въ-точъ такой, какой существовалъ древле на берегу Евфрата и Тигра. Это требованіе до такой степени чрезмѣрно, и ревизуемый чиновникъ чувствуетъ себя до того подавленнымъ имъ, что не можетъ содержать въ головѣ своей ни какой другой мысли, кромѣ мысли о необходимости сдѣлать себя бѣлѣе снѣга и затѣмъ ко всемъ наименованіямъ текущей жизни (которыя все-таки не прекращаются и удовольствіе которыхъ лежитъ на томъ же ревизуемомъ чиновникѣ, независимо отъ ревизіи) относится не только рав-

нодушно, но съ явнымъ нетерпѣніемъ и досадою. «Подождите!» «не до васъ!» — вотъ единственные отвѣты, возможные при подобномъ всеобщемъ переполохѣ. И ежели долготѣ правосудіе отправлялось неправо и медленно, то теперь не отправляется никакого правосудія: ни праваго, ни неправаго, ни скораго, ни нескораго. Вбѣгутъ, являются, объясняются, собираютъ справки, запираютъ, докладываютъ и облыжно и взаправду, словомъ—дѣлаютъ все, кромѣ дѣла, кромѣ даже той крохотной части дѣла, которая дѣлалась до тѣхъ поръ...

Какими ущербами отражается подобный переполохъ на сословіи жалобчиковъ—это извѣстно единому Богу. Но горечь ихъ разочарованія должна быть сильнѣе уже по тому одному, что саміи взглядъ ихъ на свойства и результаты ревизій въ высшей степени своеобразенъ. Наука администраціи говоритъ: всякое административное дѣйствіе сперва пускаетъ корни, потомъ идетъ въ штампъ, потомъ производитъ цвѣты и наконецъ плоды; но они, то-есть жалобчики, совсѣмъ не понимаютъ этой истины. Имъ, по невѣжеству, кажется, что у всякаго ревизора полны карманы плодовъ, и что, слѣдовательно, всѣ ихъ жалобы, какъ прошедшія, такъ и настоящія, должны быть удовлетворены немедленно, въ ту самую минуту, какъ полвится на горизонтѣ ревизоръ...

Наконецъ третья причина, вслѣдствіе которой ревизія предпринималась лишь въ крайнихъ случаяхъ, заключалась въ тѣхъ инстинктахъ роскоши и всякихъ излишествъ, которые какъ-то фаталистически пробуждались въ ревизуемой мѣстности при первой вѣсти о приближеніи ревизора. Подъ видомъ чествованія ревизора, предпринимался цѣлый рядъ волшебнѣйшихъ обрядовъ, блѣдныя примѣры которыхъ можно встрѣтить только во время дворянскихъ выборовъ. Балы слѣдовали за балами, обѣды за обѣдами. Женщины сверкали обнаженными плечами и увлекали роскошью походки; мужчины явственно проводили идею о супружеской спиходительности. Нынче, конечно, все это позмѣнилось, потому что и моща стала потощѣе, да и самыя провинности не настолько крупны, чтобъ требовать искупленія въ формѣ непрерывнаго обжорства; по существовало время—и оно недалеко,—когда упомянутыя выше волшебства были истинною. Существуетъ преданіе, что въ одной губерніи была даже выписана изъ сосѣдней губерніи дама, славившаяся своей любезностью и красотою, съ спеціальною цѣлью увеселять ревизора и смягчать его нравы...

Но, какъ ни вѣски описанныя выше неудобства, ревизіи все-таки назначались, потому что не было иного средства устранить распространіе невозможности жить. А распространіе это отъ времени до времени высказывалось съ такою рельефностью, что изумляло даже людей, и не легко поддающихся чувству удивленія...

Что же означала эта невозможность жить? что это было за явленіе? что поддерживало и питало его?

Существуетъ мнѣніе, что невозможность жить есть признакъ такого общественнаго строя, въ которомъ обязательная сила закона находится въ зависимости не отъ большей или меньшей ясности заключающихся въ немъ предписаній, а отъ примѣненій и толкованій, которыя являются обыкновенно независимо отъ закона, со стороны, и которыя ни предвидѣть, ни своевременно удовлетворить нельзя. Справедливость этого мнѣнія едва ли кто-нибудь будетъ отрицать. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что если не все благополучіе человѣка, то, по крайней мѣрѣ, весьма значительная часть его зависитъ отъ прочности и вразумительности его отношеній къ требованіямъ закона. Внутреннее содержаніе закона само по себѣ можетъ оказывать не всегда выгодное вліяніе на судьбу человѣка—это такъ; но если оно однажды объявлено обязательнымъ, то остается одно изъ двухъ: или устраивать жизнь такимъ образомъ, чтобы не выпасть въ противорѣчіе съ закономъ, или протестовать противъ приносимыхъ имъ стѣсненій на свой собственный рискъ. Во всякомъ случаѣ, здѣсь всего важнѣе, чтобы человѣкъ могъ исполнѣ ясно и опредѣлительно отдать себѣ отчетъ, чему надлежитъ подчиняться или противъ чего протестовать. Если это условіе не соблюдено, онъ лишается даже возможности подчиняться.

Предположите себѣ, напримѣръ, существованіе такого несуществующаго закона, который обязывалъ бы обозчиковъ сворачивать съ дорожной колеи въ сугробъ въ виду грядущаго на встрѣчу исправника. Какъ ни стѣснительнѣ этотъ законъ, но, въ виду его совершенной ясности и обязательности, обозчику предстояло бы: или останаться дома, дабы не подвергать себя встрѣчѣ съ исправникомъ; или заранѣе подчиниться сворачиванію въ сугробъ; или же наконецъ не оставаться дома и не сворачивать, рискуя подвергнуть себя вѣзмъ карамъ, за несворачиваніе въ сугробъ установленнымъ. Что можетъ быть яснѣе и вразумительнѣе такого положенія? Но оно разомъ утрачиваетъ свою вразуми-

тельность, какъ скоро требованіе о сворачиваніи предъявляется не закономъ, а какимъ-то частнымъ толкованіемъ, о которомъ нельзя даже опредѣлительно сказать, откуда и при какихъ условіяхъ оно выходитъ. Толкованія этого рода имѣютъ то неудобство, что они столь же разнообразны, сколь разнообразны наклонности и вкусы самихъ толкователей. Въ одномъ мѣстѣ провинившихся обозчиковъ раскладываютъ на снѣгу и тутъ же сбьютъ; въ другомъ, за то же преступленіе, тутъ же бьютъ по зубамъ; въ третьемъ—загоняютъ въ ближайшую сельскую расправу и тамъ арестуютъ на день, на два и т. д. Очевидно, что здѣсь не только признаки преступленія являются неудобопредвидимыми, но и самая кара, вызываемая неисполненіемъ внезапно возникшаго толкованія, принимаетъ формы прихотливыя или, лучше сказать, сочиненныя въ ту самую минуту, въ которую сочинено и самое толкованіе. Возможно ли при такихъ условіяхъ жить, то-есть предусматривать завтрашній день, обезпечивать свою спину, дѣлать сбереженія, предпринимать операціи и проч.?—отвѣтъ на этотъ вопросъ пусть подскажетъ собственное благоразуміе читателя.

Когда человѣкъ приступаетъ къ воздѣлыванію земли или предпринимаетъ торговый оборотъ и т. д., онъ заранѣе рассчитываетъ послѣдствія, какъ выгодныя, такъ и невыгодныя, которыя можетъ привести за собой его предпріятіе. И сообразно съ этими расчетами готовится къ встрѣчѣ этихъ послѣдствій. Но когда онъ выходитъ изъ дома въ гости и не въ состояніи заранѣе опредѣлить себѣ, какого рода сплетеніе обстоятельствъ можетъ привести его, вмѣсто гостей, въ кутузку, то ясно, что онъ долженъ себя чувствовать исполнѣ свободнымъ отъ какихъ бы то ни было расчетовъ и предвидѣній. И не только онъ, но и сосѣди, и присные его тоже освобождены отъ расчетовъ. Н вышель изъ дома и не возвращается—никто не пробуетъ даже отыскивать причину этого отсутствія, но все говорятъ просто: «должно-быть, съ исправникомъ на дорогѣ встрѣтился».

Какая польза рассчитывать, когда область, открытая для расчетовъ, до того безгранична и темна, что нельзя найти въ ней ни одного яснаго отправнаго пункта, и когда при этомъ на всякомъ мѣстѣ идетъ непрерывное сочиненіе толкованій, которыхъ ни подъ какимъ видомъ предусмотрѣть невозможно? Такого рода положеніе вещей свидѣ-

тельствовало не о случайной только безконтрольности, но о дѣлой системѣ, въ которой безконтрольность являлась господствующимъ началомъ. И вотъ, для того, чтобъ была хоть тѣнь контроля, предпринимались внезапныя ревизіи, начальственные погромы и т. д.

Что погромы совершали свое дѣло удовлетворительно—этого отрицать нельзя. Долго послѣ того чиновники ходили смиренные, ласковые, шелковые, какъ будто ихъ коснулась благодать. Но существо бюрократіи нисколько отъ этого не измѣнилось, потому что возможность внезапныхъ толкованій и сочиненій оставалась за нею всецѣло. И ежели, въ которое время по совершеніи погрома, толкованія производились въ смыслѣ благожелательномъ, то не было ругательства, чтобъ въ срокъ, болѣе или менѣе непродолжительный, эта благожелательность не отгнѣналась красками очень сомнительнаго свойства.

Погромъ обличалъ лавы, накопившіяся десятками лѣтъ, но за нимъ слѣдовали новые десятки лѣтъ, въ продолженіе которыхъ опять предстояло обширное поприще для всякаго рода накопленій...

Таково было значеніе ревизій въ недавнемъ прошломъ; и такова была непрочность достигаемыхъ ими результатовъ.

Въ нынѣшнемъ году минетъ десять лѣтъ со времени первой и притомъ важнѣйшей реформы въ ряду тѣхъ, которыя ознаменовали настоящее царствованіе. Существенное значеніе этихъ реформъ заключалось именно въ устраненіи возможности тѣхъ произвольныхъ примѣненій и толкованій, которыя ничего другого не производили, кромѣ невозможности жить. Послѣ крестьянской реформы, легкой въ основаніе всѣхъ дальнѣйшихъ успѣховъ нашей жизни, мы увидѣли реформу судебную и земскую. Первая обезличивала личность и достоинствѣ гражданъ, вторая полагала начало самоуправленію, то-есть контролю болѣе прочному, нежели тотъ, который достигался съ помощью ревизій и начальственныхъ погромовъ. Надобно было обладать скептицизмомъ самымъ отчаяннымъ, чтобы предполагать, что при столь плодотворныхъ задаткахъ можетъ повториться такое изумительное явленіе, какъ невозможность жить, и притомъ повториться съ тѣми же самыми признаками, которые характеризовали его въ былыя времена.

А между тѣмъ явленіе это повторилось, и притомъ не гдѣ-нибудь въ завоеванномъ краѣ; гдѣ ревность не по разуму можетъ найти толкователей, опирающихся на исклю-

чительныя условія мѣстности, а въ Пермской губерніи, гдѣ не слышно ни о столкновеніяхъ различныхъ національностей, ни о возбужденіи пагубныхъ страстей, ни о вторженіи вредныхъ и неблагонадежныхъ элементовъ (особенный видъ преступности, рекомендуемый г. академикомъ Безобразовымъ, но, по неясности признаковъ, до сихъ поръ въ уголовный кодексъ не внесенный). Въ эту благодатную страну ѣздить наши департаментскіе экономисты для обнаруженія богатствъ, скрывающихся въ недрахъ земли, и возвращаются оттуда, полные волшебныхъ сповѣ о рѣкахъ, текущихъ млекомъ и медомъ, о горахъ, изобилующихъ златомъ и самоцвѣтными камнями, о вѣковыхъ лѣсахъ, въ которыхъ кишатъ всевозможные звѣри и птицы, и т. д.

И въ этой-то волшебной странѣ вдругъ оказалась невозможность жить!

Это невѣроятно, но это такъ. Мало того, что упомянутая невозможность жить существовала здѣсь въ самомъ широкомъ смыслѣ, но—что всего замѣчательнѣе—условія общественнаго строя не указали иного способа устранить эту невозможность, кромѣ того, который существовалъ уже во времена дореформенныя. А между тѣмъ всѣ реформы въ ходу: реформы, ограждающія личность и достоинствѣ гражданъ, реформы, привлекающія общественное мнѣніе къ участию въ общественномъ контролѣ, реформы, освобождающія миллионы людей изъ плѣна, въ которомъ они находились въ теченіе столѣтій...

Что сей сонъ значитъ?

Но материалы, добытые ревизіей Пермской губерніи и обнародованные на-дняхъ въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ», до того поучительны, что читателю никакъ не лишнее будетъ познакомиться съ ними. Это знакомство, независимо отъ удовлетворенія его любознательности, дастъ возможность сдѣлать нѣкоторыя сопоставленія, которыя ни въ какомъ случаѣ не могутъ быть сочтены бесполезными.

Вотъ эти материалы въ краткомъ перечнѣ.

1) Законы, опредѣляющіе предѣлы дѣйствія cadaго отдѣльнаго агента административно-полицейской власти, были упразднены, а на мѣсто ихъ введены такъ-называемыя толкованія, въ основаніе которыхъ легли смутныя предчувствія и стремленіе предвосхитить начальственную мысль. Такимъ образомъ то, что въ высшихъ правительственныхъ сферахъ существовало лишь въ качествѣ проекта, въ Пермской губерніи было уже приведено въ исполненіе.

2) Цѣль, къ которой стремились эти толкованія, заключалась въ томъ, чтобы какъ можно болѣе усилить единоличную власть представителей центрального управленія и какъ можно болѣе сократить и ослабить власть коллегій, представляющихъ препоны административному бѣгу.

3) Въ согласность съ этою цѣлью, дѣла изъ губерскихъ присутственныхъ мѣстъ (непосредственно подчиненныхъ губернатору) произвольно переводились въ канцелярію губернатора, а изъ уѣздныхъ коллегій—въ канцелярію исправниковъ.

4) Приняты были мѣры, дабы вѣдомо было всѣмъ и каждому, что единоличная власть дѣйствительно усилена, а закопь и всякія другія препоны дѣйствительно упразднены. Въ этихъ видахъ указано или допущено было: а) не слѣдовать въ точности закопамъ объ арестѣ обвиняемыхъ, но, въ видахъ спокойствія края, арестовать и при недостаточныхъ уликахъ; б) не представлять сельскихъ должностныхъ лицъ къ наградамъ иначе, какъ по соглашенію съ исправниками; в) окружить исправниковъ конвоемъ изъ казаковъ; г) возбуждать, но-усмотрѣнію полиціи (или, что то же, исправника), даже такія дѣла, которыя могутъ начинаться лишь въ порядкѣ частнаго обвиненія или по заявленію духовнаго начальства.

Такова была теоретическая сторона этого несложнаго административнаго построянія. Практическое вліяніе его на мѣстные полицейскіе нравы обнаружилось слѣдующими характеристичными, но не весьма плодотворными результатами:

1) Почувствовавши усиленіе власти и стремясь дать ей еще болшую прочность и значеніе, полицейскіе агенты до того увлеклись дѣйствительнѣйшимъ, но ихъ мнѣнію, средствомъ упроченія, то-есть сѣченіемъ, что начали сѣчь и въ одиночку и массами, и съ отгѣнкомъ ироніи и серьезно. Верхотурскій исправникъ высѣкъ одного почтосодержателя и потомъ, на запросъ губернскаго правленія, отвѣчалъ, что сѣченіе произведено по собственному желанію пациента. Одинъ исправникъ высѣкъ разомъ сорокъ человекъ обозчиковъ за то, что они не свернули передъ нимъ съ дороги. Одинъ исправникъ жестоко избилъ нагайками двухъ ямщиковъ за то, что на лошадяхъ ихъ была худая сбруя. Одинъ помощникъ исправника высѣкъ мѣщанина (изъятаго, по закону, отъ тѣлеснаго наказанія) за то, что послѣдній не хотѣлъ отнестись къ нему свою шестнадцатилѣтнюю дочь...

2) Въ тѣхъ же видахъ, полицейскіе агенты производили

только такія исковыя дѣла, которыя нравились ихъ усмотрѣнію; тѣ же дѣла, которыя ихъ усмотрѣнію не нравились, оставляли безъ производства. Такъ, по взысканію государственнымъ банкомъ 24.000 р. съ одного богатаго купца полиція шесть лѣтъ не находила времени приступить къ описи имущества должника. Подобнымъ же или приблизительно подобнымъ же образомъ поступила она и въ другихъ двухъ случаяхъ, приведенныхъ въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ». Зато по иску другого купца она нѣсколько разъ захватывала металлы и механическія орудія Сысертскихъ заводовъ, хотя было извѣстно, что этими металлами и орудіями обеспечивался казенный долгъ. Многие, быть-можетъ, подумаютъ, что во всѣхъ этихъ дѣлахъ примѣшивались и посторонніе, не чуждые корысти, интересы; но такъ какъ на такое предположеніе нѣтъ никакихъ уликъ, то лучше всего объяснить эти дѣйствія безкорыстнымъ желаніемъ придать вѣщій блескъ власти. Вотъ, моля, каковъ я: хочу—произвожу, не хочу—не произвожу!

3) Въ тѣхъ же видахъ, полицейскіе агенты, при возникновеніи жалобъ на неправильность расчетовъ, производимыхъ горными заводами, разбирательствъ не производили, а просто-на-просто обзывали жалобщиковъ бунтовщиками и, утвердивъ ихъ въ этомъ званіи, поступали какъ съ таковыми, т. е. сѣкли.

3) Въ тѣхъ же видахъ, аресты производились на скорую руку, такъ, чтобы несомнѣнно было, что не по существу дѣла арестуется человекъ, а съ цѣлью приданія власти блеска. Такъ были по одному дѣлу арестованы двое убійцъ, а по разсмотрѣніи дѣла въ судѣ оказалось, что даже самаго факта убійства не существуетъ. Одинъ крестьянинъ, освобожденный судебнымъ слѣдователемъ, былъ снова посаженъ въ тюрьму полиціей. Другой крестьянинъ былъ найденъ въ острогѣ заключеннымъ неизвѣстно за что, когда и по какому дѣлу.

5) Въ тѣхъ же видахъ, полицейскіе агенты поощряли ссылку домашнимъ порядкомъ. За послѣдніе три года выслано изъ Пермской губерніи 1.100 человекъ по приговорамъ общества, «продиктованнымъ уѣздными и губерскими властями», да кромѣ того административнымъ порядкомъ сослано около 100 человекъ. При этомъ бывали распоряженія о ссылкѣ изъ-за Урала въ Москву!

6) Въ тѣхъ же видахъ, полицейскіе агенты вышнивались въ дѣла сельскихъ обществъ, а именно: а) сдавали отъ

себя подрядчикамъ отбываніе дорожной и подводной повинности взаменъ отправления ея натурой; б) рассматривали мірскіе приговоры о сдачѣ питейныхъ заведеній и указывали лицъ, которымъ кабаки должны быть сданы.

7) Въ тѣхъ же видахъ, полицейскіе агенты или вовсе не отвѣчали на запросы властей, или отвѣчали усиленіемъ мѣръ упроченія. Такъ, на примѣръ, къ верхотурскому исправнику былъ посланъ запросъ по жалобѣ купчихи Шадриной, поданной министру внутреннихъ дѣлъ; но исправникъ ничего на запросъ не отвѣтилъ, и дѣло было сочтено конченнымъ. Другой примѣръ еще поразительнѣе: при проѣздѣ великаго князя Владиміра Александровича, уполномоченный отъ крестьянъ Каслинской волости вмѣстѣ со старшиной подали его высочеству прошеніе съ жалобой на неисполненіе заводчиками условій и на притѣсненіе отъ мѣстныхъ властей. За это просители просидѣли въ тюрьмѣ два года, такъ какъ слѣдствіе, возбужденное по поводу этого прошенія, производилось не по предметамъ жалобы, а надъ подателями прошенія.

Таково было вліяніе теоріи усиленія единоличной власти на полицейскіе нравы. Что касается до вліянія той же теоріи собственно на населеніе губерній, то оно выразилось въ слѣдующихъ результатахъ:

1) Число уголовныхъ преступленій въ 1869 году оказалось въ четыре раза больше, чѣмъ въ 1867 году.

2) Изъ числа 65.785 человекъ, привлеченныхъ за послѣдніе три года къ слѣдствію, 30.184 человека вовсе освобождены судомъ, 24.376 человекъ оставлены въ подозрѣніи, и только одна шестая часть обвинена судомъ. Стало быть, пять шестыхъ воротились домой и несомнѣнно обогатили родныя селенія плодами острожной цивилизаціи.

3) Казенныя недоимки увеличились (доказательство, что сѣченіе не увеличиваетъ народной производительности, а, напротивъ того, истощаетъ ее), а въ одномя изъ уѣздовъ даже образовалось общество неплательщиковъ податей...

Вотъ что происходило въ одной изъ великорусскихъ губерній въ виду реформъ послѣдняго времени, вотъ къ какимъ неожиданнымъ итогамъ можетъ иногда придти жизнь.

Но итоги эти, въ виду той вѣрнѣйшей, хитросплетенной дѣятельности, которая кишитъ на каждомъ шагу и бьетъ въ глаза всякому, непосвященному въ ея тайны, не могутъ не возбуждать множество вопросовъ самаго болѣзненнаго свой-

ства. Вотъ нѣкоторые изъ этихъ вопросовъ, которые прежде всего представляются уму:

Пермская губернія представляетъ ли исключеніе относительно незащищенности жизни, или ту же самую незащищенность можно встрѣтить (если поискать прилежно) и въ другихъ однородныхъ съ нею мѣстностяхъ, какъ, на примѣръ, въ губерніяхъ: Пензенской, Курской, Орловской, Калужской, Рязанской и т. д.?

Гдѣ кроется источникъ этой незащищенности: въ самой ли жизни, упорствующей въ систематическомъ оголеніи существовавшихъ основъ своихъ, или въ чемъ-нибудь иномъ?

Отчего реформы, несомнѣнно плодотворныя, такъ туго входятъ въ жизнь, что кажутся какъ бы стоящими совершенно особнякомъ отъ дѣйствительныхъ примѣненій?

Отчего въ жизни нѣтъ широкаго основанія, которое одно можетъ сообщить характеръ правды и дѣйствительности всѣмъ отдѣльнымъ попыткамъ, дѣлаемымъ во имя освобожденія?

Отчего эти попытки имѣютъ характеръ разбросанности?

Откуда, наконецъ, эта апатія, которая поражаетъ всякаго при самомъ поверхностномъ взглядѣ на русское общество и о которой было достаточно говорено въ предыдущей нашей статьѣ.

Гдѣ же итоги?

Все это такіе вопросы, на которые несомнѣнно отвѣтитъ будущее.

### Глава III.

Ежели существуетъ способъ провѣрить степень развитія общества или, по крайней мѣрѣ, его способность къ развитію, то, конечно, этотъ способъ заключается въ уясненіи тѣхъ идеаловъ, которыми общество руководится въ данный историческій моментъ. Чему симпатизируетъ общество? чего оно желаетъ? къ чему стремится его мысль?—вотъ вопросы, которыхъ разрѣшеніе съ перваго же раза становится обязательнымъ для историка и изслѣдователя общественной жизни, такъ какъ только на немъ, на этомъ разрѣшеніи, могутъ быть основаны всѣ дальнѣйшіе приговоры и суженія. И благо тѣмъ обществамъ, которыя хоть какой-нибудь отвѣтъ дадутъ на эти вопросы; недобро тѣмъ, которыя никакого отвѣта на нихъ дать не могутъ.

Прежде всего, именно нуженъ отвѣтъ. Предположите об-



щество, слѣдующее въ своемъ развитіи самому ложному пути, общество, признающее своимъ идеаломъ обезпеченіе правъ меньшинства цѣною безправности массы,—вы, конечно, будете въ правѣ сказать, что этотъ идеалъ неудовлетворителенъ и даже опасенъ, но въ то же время вы все-таки должны будете сознаться, что передъ вами стоитъ не безразличная масса, а юридическое лицо, которое способно защищать свои убѣжденія и понимать силу и послѣдствія своихъ поступковъ. Тутъ есть возможность для порицанія, для опроверженій и споровъ, а слѣдовательно и для оцѣнки. Но предположите такое общество, которое не свидѣтельствуемъ ни о правильномъ, ни о ложномъ развитіи, которое просто-на-просто представляетъ массу бродячихъ элементовъ, не знающую никакихъ идеаловъ и въ то же время настолько компактную, что, въ смыслѣ орудія, она можетъ оказывать дѣйствіе очень рѣшительное,—и вы навѣрное скажете, что это общество или совсѣмъ безнадежно, или такое, которое не вышло еще изъ доисторической эпохи своего существованія.

Чтобы убѣдиться въ правильности этого приговора, стѣдуетъ только оглядѣться кругомъ себя и попристально вникнуть въ ежедневную практику личныхъ отношеній. Какіе люди представляются на практикѣ самыми бесполезными?—это люди, которые не имѣютъ яснаго отправнаго пункта для оцѣнки требованій жизни и опредѣленія своихъ отношеній къ ней. Съ какими людьми сношенія принимаютъ не только безсодержательный, но даже просто невыносимый характеръ?—опять-таки съ тѣми же, живущими безсознательною жизнью, людьми. Накопецъ какихъ людей всего болѣе есть основаніе опасаться?—и тутъ прежде всего бросаются въ глаза тѣ вялые и безцвѣтные субъекты, движенія которыхъ ничѣмъ не обуславливаются, кромѣ вспышекъ темперамента. Человѣку, который бродитъ, не видя передъ собой цѣли и не зная, куда онъ прибредетъ, невозможно довѣрить никакого общественнаго интереса. Съ человѣкомъ, который не въ силахъ ничего сказать, нельзя имѣть не только дѣятельнаго обмѣна мыслей, но даже и такого, къ которому было въ общаѣ приглашать поголовно всѣхъ гулящихъ русскихъ людей въ памятную для насъ эпоху все-россійскаго либерализма. На человѣка, который представляетъ собою пустое мѣсто, не только нельзя возлагать упованій, но даже остерегаться отъ него трудно, потому что никто не можетъ опредѣлить, что заползетъ въ эту пустоту

и что изъ нея выйдетъ, пріветственный ли звукъ, или змѣнное шипѣніе, или просто дурацкое мычаніе. Тутъ все загадка, и притомъ такая, на разрѣшеніе которой сколько бы ни потрагилось ума, все-таки никакой разгадки не получится. Самые антипатичныя другъ другу убѣжденія могутъ имѣть общую почву—почву разума, заблуждающагося или идущаго вѣрно, но при встрѣчѣ убѣжденія съ отсутствіемъ такового возможность общей почвы исчезаетъ совершенно, и человѣку убѣжденному, очутившемуся среди людей нетропутихъ сознаніемъ, остается только умолкнуть, предаться физиологическимъ отправлениямъ и выжидать, что будетъ дальше...

Такимъ образомъ вопросъ объ общественныхъ симпатіяхъ и идеалахъ выдвигается самъ собою и становится единственнѣйшимъ исходнымъ пунктомъ для правильнаго формулированія всѣхъ послѣдующихъ сужденій и оцѣнокъ.

Къ сожалѣнію, не дагѣ какъ по поводу француско-прусской войны, мы видѣли очень рѣзкій и замѣчательный примѣръ практическаго безсилія общественныхъ симпатій. Что общественное мнѣніе наше довольно живо интересовалось этимъ громаднымъ историческимъ фактомъ—это можетъ засвидѣтельствовать каждый, пережившій семь мѣсяцевъ, въ продолженіе которыхъ длилась война. Можно, пожалуй, засвидѣтельствовать даже, что общій тонъ симпатій былъ правильный, и что безчисленные ксы и зеты, встрѣчались другъ съ другомъ на улицѣ, разсуждали о текущихъ событіяхъ очень умно и «отрадно». Но какую же силу можетъ имѣть подобное свидѣтельство? оставляетъ ли оно по себѣ слѣды настолько прочныя, чтобы исторія могла сослаться на него и вывести изъ него вполнѣ достовѣрныя заключенія? Отвѣтъ на эти вопросы, кажется, не подлежитъ сомнѣнію: нѣтъ, никакой силы подобное свидѣтельство не имѣетъ, ибо въ основаніи его лежитъ не практическій фактъ, а только личныя наблюденія и оцѣнки. Для очевидцевъ-современниковъ еще можетъ быть несомнѣннымъ, что русское общество въ данную минуту жило подъ вліяніемъ извѣстныхъ интересовъ, что оно горячо принимало ихъ къ сердцу и волновалось ими; но вѣдь историкъ убѣждается въ живучести того или другаго явленія лишь тогда, когда въ основаніи его найдетъ практическій фактъ. Для современниковъ еще есть возможность привести въ нѣкоторый порядокъ массу встрѣчныхъ мнѣній и толковъ, имѣющихъ ходъ на улицѣ, и даже опредѣлить довольно вѣрно, въ

какую сторону склонились общественныя симпатіи; но для исторіи и тутъ не можетъ быть яснаго просвѣта, потому что она имѣетъ дѣло лишь съ голословнымъ преданіемъ, котораго не въ состояніи очистить отъ случайныхъ примѣсей. Положить, что, кромѣ преданія, имѣется еще свидѣтельство органовъ русской мысли и слова, но, говоря по совѣсти, это послѣднее свидѣтельство скорѣе говоритъ въ пользу безсилія, нежели силы нашихъ общественныхъ симпатій. Вѣдь дѣло не въ томъ, какъ мыслили объ известномъ предметѣ X. или Z., или что говорилось объ этомъ въ такомъ-то литературномъ органѣ, а въ томъ, какъ вліяли эти мнѣнія на общій усталовъ жизни. Какъ вліяли?—никакъ. Кого они поддержали и ободрили?—никого. Что же можетъ сказать исторія въ виду подобной безрезультатности общественныхъ симпатій?—Очевидно, она можетъ сказать одно: есть поводъ думать, что въ данную минуту въ такомъ-то вопросѣ симпатіи русскаго общества склонялись въ пользу такой-то стороны, но были ли эти симпатіи сознательны, или же онѣ составляли лишь плодъ легкомыслія—этого опредѣлить невозможно, потому что никакихъ практическихъ послѣдствій господствовавшаго въ то время общественнаго движенія—по документамъ не оказалось.

Между тѣмъ едва ли кто будетъ отрицать, что для насъ вопросъ о торжествѣ той или другой стороны въ упомянутой выше распрѣ есть вопросъ существенной важности. И притомъ не только съ точки зрѣнія общечеловѣческихъ интересовъ, которые тутъ замѣнаны и которыхъ пониманіе, быть-можетъ, не для всѣхъ доступно (а для общества, мимоходомъ сказать, они-то всего и важнѣе), но и съ точки зрѣнія политическо-государственной, которая мало кому недоступна. И общество наше чувствовало это и понимало, что между будущими политическими судьбами Россіи и тѣмъ или другимъ разрѣшеніемъ франко-германскаго вопроса имѣется связь очель существенная. Очевидцы-современники могутъ засвидѣтельствовать, что въ теченіе семи мѣсяцевъ нашъ воздухъ былъ буквально насыщенъ проектами всевозможныхъ союзовъ, наступательныхъ и оборонительныхъ войнъ, трактатовъ и т. д. Но для исторіи это движеніе, несмотря на свою несомнѣнность, все-таки должно остаться загадкой, по той простой причинѣ, что совершенно невозможно объяснить себѣ, почему движеніе, повидимому, сильное, такъ и осталось движеніемъ и, несмотря на жизненность своей подкладки, не оказало никакого практиче-

скаго давленія. И волею-неволею она должна будетъ заключить, что русское общество переживало времена доисторическія, къ которымъ никакія оцѣнки непримѣнимы.

Впрочемъ, о французско-германской распрѣ можно еще сказать (хотя и совершенно несправедливо), что это вопросъ для насъ посторонній; но сколько же есть такъ-называемыхъ внутреннихъ вопросовъ, которыхъ близости никто не можетъ отвергнуть и въ которыхъ тяготѣніе общественнаго мнѣнія чувствуется столь же слабо, какъ и въ вопросѣ французско-германскомъ. Возьмемъ для примѣра хоть вопросъ о классическомъ и реальномъ образованіи. Повидимому, здѣсь вторженіе общественнаго мнѣнія выразилось нѣсколько назойливо, нежели въ другихъ случаяхъ (превосходство реального образованія доказывалось даже самоубійствами); но чего же въ концѣ концовъ добилось общество, кромѣ горькаго сознанія своей назойливости и совершенной ея бесплодности?

Предположимъ однако-жь, что всѣ эти симпатіи и антипатіи представляютъ въ жизни общества нѣчто эпизодическое, что оно, независимо отъ нихъ, можетъ разрабатывать известныя историческія задачи, имѣющія значеніе абсолютное, а не переходящее. Какъ ни мало вразумительно это разграниченіе абсолютнаго и условнаго въ примѣненіи къ общественному организму, но допустимъ даже бессмыслицу, согласимся на минуту, что общество можетъ достигать извѣстныхъ цѣлей въ будущемъ даже и въ томъ случаѣ, когда оно на каждомъ шагѣ противорѣчитъ этимъ цѣлямъ въ настоящемъ и дѣлаетъ все возможное, чтобъ подорвать ихъ—все-таки прежде всего приходится разрѣшить вопросъ, въ чемъ же заключаются эти цѣли будущаго? чего желаетъ общество? Къ чему стремится его интимная мысль?

Но здѣсь мы больше чѣмъ гдѣ-либо вступаемъ въ область догадокъ и недоразумѣній. Навстрѣчу намъ возстаютъ цѣлая масса такъ-называемыхъ задачъ будущаго; но эта масса, къ сожалѣнію, сплошь состоитъ изъ однакъ общихъ мнѣствъ, и даже не изъ общихъ мнѣствъ, а просто изъ отрывочныхъ звуковъ. Одни видятъ загадку будущихъ русскихъ судебъ въ словѣ «цѣльность», другіе—въ словѣ «смирненіе», третьи—въ словѣ «любовь», четвертые наконецъ даже не даютъ себѣ труда порыться въ лексиконѣ, а просто-на-просто сулятъ слово новое, неслыханное. Какія возможны практическія примѣненія для всѣхъ этихъ загадочныхъ опредѣ-

лений? И ежели даже отложить въ сторону вопросъ о примѣненіяхъ насущныхъ, если представить себѣ, что общество обязано терпѣливо выносить временныя невзгоды и неудобства въ виду грядущихъ идеаловъ, то какой же идеалъ можетъ осуществитъ собой, на примѣръ, «смирненіе»? способно ли политически существовать общество или государство, поставившее себѣ цѣлью подобный идеалъ?

«Смирненіе» приводится здѣсь потому, что оно все-таки представляетъ идеалъ болѣе практической, нежели, на примѣръ, «цѣльность», «любовь», «новое слово» и т. п. «Смирненіе» не безъ примѣровъ въ прошломъ, а при извѣстной суммѣ усилій къ нему можно, пожалуй, придти и въ будущемъ. Самое совершенное, практическое примѣненіе этого идеала было уже осуществлено исторіей въ крѣпостномъ правѣ; но ежели взглянуть въ это явленіе попристальнѣе, то окажется, что даже въ его основѣ лежало не столько смирненіе, сколько принужденіе. Смирненіе было лишь исходнымъ пунктомъ, изъ котораго впоследствии распустилось пышнымъ цвѣткомъ крѣпостное право; по поддерживалось и питалось оно исключительно принужденіемъ. Если-бъ это было иначе, не предстояло бы надобности возбуждать вопросъ объ упраздненіи крѣпостного права, ибо смирненіе есть вещь, которая никогда никому не возбранилась да и возбранять ее выгоды нѣтъ. Но дѣло въ томъ, что смирненіе ни во что другое не можетъ развиваться, какъ только въ крѣпостное право; а слѣдовательно, ежели вновь возвести его на степенъ общественаго идеала, то придется опять быть свидѣтелемъ народненія крѣпостного права, а затѣмъ и опять хлопотать объ его упраздненіи. Сколько переполоховъ, хлопотъ, экзекуцій! Во имя чего? — не во имя того, чтобы впоследствии имѣть право сказать: этихъ людей сѣкли, дабы они умѣли пользоваться дарами природы и наслаждаться плодами матеріальнаго и нравственнаго обезпеченія, а для того, чтобы сказать: этихъ людей сѣкли, дабы они были смиренными. Что-жь дальше? Какія практическія послѣдствія этого идеала, кромя всеобщаго обезличенія и обнищанія? Стоитъ ли хлопотать изъ-за этого?

Но не въ томъ еще дѣло, что идеалы, на которые указываетъ общественное мнѣніе и литература, негодны, а въ томъ, что ежели, на примѣръ, говорятъ, что задача русскаго общества заключается въ осуществленіи «цѣльности» жизни, то вопросъ: въ чемъ же состоитъ задача русскаго общества?—все-таки остается открытымъ. Подобнаго признака

исторія не только не можетъ принять въ соображеніе при опредѣленіи стремленій и желаній общества въ данную минуту, но не имѣетъ права даже останавливаться на немъ. Въ глазахъ ея это не признакъ, а празднословіе—и ничего большаго. Поэтому все, что она можетъ сдѣлать въ виду подобныхъ отвѣтовъ,—это сказать: въ такую-то эпоху русское общество, быть-можетъ, и обладало какими-либо политическими и социальными идеалами, но, за невозможностью формулировать ихъ, ограничивалось лишь нѣкоторыми загадочными выраженіями, думая, конечно, замѣнить ими тѣ конкретныя представленія, которыя одни могутъ служить цѣлью для общественныхъ стремленій. Или, выражаясь точнѣе, общество обманывало само себя, окружая призраками свое настоящее и запутывая ими свое будущее.

Итакъ, несмотря на изобиліе отвѣтовъ, настоящаго, дѣльнаго отвѣта все-таки нѣтъ. Слѣдуетъ ли изъ этого заключать, что русское общество живетъ вовсе безъ желаній, безъ идеаловъ?—Само собой разумѣется, что нѣтъ, ибо допустить подобное предположеніе значило бы допустить исключеніе русскаго общества изъ общечеловѣческой семьи, а это было бы слѣшкомъ ужъ опрочетливо. Мы помнимъ даже одинъ моментъ (и очень недавній), когда можно было уловить очертанія нашихъ общественныхъ желаній и стремленій, но, къ сожалѣнію, моментъ этотъ былъ такъ коротокъ, что не успѣли мы оглянуться, какъ очертанія стерлись, а на мѣсто ихъ снова выступили: смирненіе, любовь, цѣльность да загадочное «новое слово». То-есть опять наступили времена доисторическія.

Тѣмъ не менѣе не слѣдуетъ забывать, что такой моментъ, когда общественныя желанія изъ области безформенности готовы были вступитъ на почву практическую, существовать несомнѣнно. И на первыхъ порахъ эти желанія выразились очень конкретно и ясно: въ упраздненіи крѣпостного права и въ учрежденіи правильнаго суда. Общія мѣста и заборнаго свойства слова были на время покинуты. Не было рѣчи ни о смирненіи, ни о цѣльности, ни о любви, потому что для пустословія нѣтъ мѣста тамъ, гдѣ предстоитъ прямое практическое дѣло.

Какое же однако можно вывести отсюда заключеніе относительно идеаловъ русскаго общества?

Покуда заключеніе можетъ быть только слѣдующее: что русскіе общественные идеалы не противорѣчатъ идеаламъ общечеловѣческимъ, и что они, точно такъ же, какъ и по-

сѣдніе, лежатъ на реальной почвѣ. Но въ чемъ именно заключается полнота этихъ идеаловъ и выяснится ли она когда-нибудь настолько, насколько, напримѣръ, выяснились идеалы французскаго общества,—это и по-днесъ остается загадкою.

Есть мнѣніе, довольно распространенное, которое указываетъ на послѣдніе успѣхи нашей жизни какъ на фактъ, свидѣтельствующій о достиженіи нами общественнаго идеала. Но, признавая всю несомнѣнность упомянутыхъ успѣховъ, всю благотворность ихъ вліянія на жизнь, едва ли можно остановиться на мысли о такой ихъ непреложности, которая позволила бы считать прогрессъ завершеннымъ. Сомнѣнія, которые при этомъ возникаютъ, совсѣмъ не плоды капризной и прихотливой мысли, но прямо вытекаютъ изъ практики. Жизнь хороша и привольна—слова нѣтъ; но все же нельзя не сознаться, что и въ этой привольной жизни кое-чего недостаетъ. Недостаетъ, напримѣръ, возможности знать, чего мы желаемъ, къ чему стремимся, чему симпатизируемъ. Допустимъ даже, что это требованіе прихотливое, но не забудемъ и того, что множество требованій, которыя считались прихотливыми относительно обществъ доисторическихъ, дѣлались совершенно законными и естественными, какъ скоро тѣ же самыя общества вступали въ историческій періодъ своего существованія.

Самый существенный интересъ для общества заключается въ познаніи самого себя, своихъ силъ, симпатій и цѣлей, а, пожалуй, даже и въ уясненіи искомого новаго слова. Это первый признакъ и притомъ единственное прочное доказательство его дѣйствительнаго вступленія на стезю исторической жизни. Обладаемъ ли мы этимъ самопознаніемъ? и еслии обладаемъ, то почему же оно высказывается до того несмѣнно, что высказъ этотъ не оставляется по себѣ никакихъ слѣдовъ?—Покуда этотъ вопросъ тяготеетъ надъ нами, мы едва ли будемъ правы, свидѣтельствуя во всеуслышаніе о нашемъ обновленіи.

Къ сожалѣнію, общество наше выдержало въ прошедшемъ такую тяжелую школу, что даже первые, частные признаки обновленія уже пресытили и утомили его. Влечущій на горизонтѣ лучезарный точки ослабили; шорохъ, произведенный зачатками движенія, оглушилъ. Простыя просьбы оно приняло за окончательную цѣль задачи своего существованія и, прорубивъ ихъ, успокоилось. Признаки этого успокоенія или, лучше сказать, утомленія мы уви-

димъ вездѣ, если будемъ смотрѣть непредубѣжденными глазами. Да это и неудивительно, потому что приступъ къ дѣлу никогда не можетъ быть равносильнымъ его разрѣшенію, а дѣятельность, вращающаяся исключительно около этого приступа и не идущая далѣе, никогда не удовлетворитъ настоятельнѣйшей и законнѣйшей потребности человѣка: потребности развитія. Слѣдовательно прежде всего необходимо, чтобы общество наше, несмотря на сдѣланныя уже имъ попытки въ смыслѣ обновленія, все-таки серьезно спросило себя: чего оно хочетъ, чему симпатизируетъ и къ чему стремится...

И вотъ, когда оно предложитъ себѣ этотъ вопросъ не для шутки, когда оно серьезно сочтетъ себя обязаннымъ отвѣтить на него, тогда можно будетъ опѣнить, каковъ будетъ этотъ отвѣтъ, и есть ли возможность видѣть въ немъ признакъ дѣйствительнаго обновленія...

#### Глава IV.

Стало-быть, ежели нѣтъ возможности формулировать, чего мы желаемъ, что любимъ, къ чему стремимся, и ежели притомъ (какъ это доказала ревизія Пермской губерніи), несмотря на благодѣянія реформъ, человѣкъ, выходя изъ дому съ твердымъ намѣреніемъ буквально исполнять всѣ требованія закона, все-таки не можетъ заранѣе опредѣлить, въ какомъ видѣ воротится опъ домой: вышѣннымъ или помилуванымъ, то понятное дѣло, что горячиться и поднимать волли энтузіазма не изъ чего.

Мы и не горячимся, но поступаемъ такъ, какъ бы и вѣкъ намъ предстояло не знать, будемъ ли мы вышѣны или помилуваны.

Столь резкое отношеніе къ сущѣ сего міра до крайности упрощаетъ наше положеніе. Оно вычеркиваетъ изъ нашего лексикона множество совсѣмъ ненужныхъ словъ («отвѣтственность», «обязанность» и т. п.); оно упраздняетъ всякія сомнѣнія насчетъ будущаго, слѣдовательно отгоняетъ отъ насъ и заботу, эту мучительницу человѣка, не переставшую преслѣдовать его съ той самой минуты, какъ только опъ начинаетъ сознавать свое положеніе. Мы никакихъ положеній не сознаемъ, а потому ни о чемъ не заботимся, ничего не боимся, ни къ чему не обязываемся и ни за что не отвѣчаемъ. Мы просто-на-просто «благопоучно почиваемъ».

Призовите на помощь самую крайнюю утѣшу, и вы не

найдете ничего, что могло бы сравниться с утопией, ежедневно развертывающейся перед вашими глазами. Жизнь, текущая по маслу, жизнь, сложившаяся так прочно, что стихии, ее составляющая, действуют с математической точностью, не перебывая и не перебивая друг друга, жизнь без забот, с одним пиением и танцами—развѣ это не утопия из утопий? Намъ страшатъ именами Кабе и Фурье, намъ представляютъ какое-то пугало въ видѣ фаланстера, а мы споконь вѣку живемъ въ фаланстерѣ и даже не чувствуемъ этого! Не чувствуемъ, потому что къ фаланстеру Фурье надо пройти черезъ множество разнообразныхъ общественныхъ комбинацій, составляющихъ принадлежность періода цивилизаціи, а нашъ фаланстеръ самъ подкрался къ намъ, помимо всякихъ комбинацій, и слѣдовательно достался, такъ сказать, даромъ, безъ всякой цивилизаціи...

То нравственное равновѣсіе, которое, по предложенію Фурье, достигается при посредствѣ гармонической игры страстей, давнымъ-давно нами достигнуто и воплощено путемъ гораздо кратчайшимъ: путемъ крѣпостного права. Не надо забывать, что хотя крѣпостное право не только не поощряло игру страстей, но даже безусловно преслѣдовало всякія азартныя игры, но это ограниченіе отнюдь не исключало возможности гармоніи. Страсти не играли, но взаимныя того регулировались, и такъ какъ регуляризація эта, для большей вѣрности, была сосредоточена въ одномъ лицѣ (помѣщикѣ), то весьма естественно, что для прочихъ членовъ крѣпостного фаланстера оставалось одно: равновѣсіе души. Идя другимъ путемъ, вступая въ храмъ гармоніи съ задняго крыльца, мы тѣмъ не менѣе имѣли полное право вѣрить, что главная цѣль нами достигнута. Это была дѣйствительная гармонія тишины, порядка и безопасности. Объ угрозахъ будущаго не могло быть и рѣчи, потому что когда люди уже стоятъ на точкѣ нравственнаго равновѣсія, тогда имъ море по колено, а слѣдовательно необезпеченность волюнѣ равняется обезпеченности. Если человѣкъ совершенно увѣренъ въ обезпеченности своего завтрашняго дня, то это все равно, какъ бы онъ былъ совершенно увѣренъ въ его обезпеченности. Увѣренность — вотъ главное; съ исчезновеніемъ ея начинается смута. Несчастіе человѣка, стоящаго между двумя фаланстерами, крѣпостнымъ и гармоническимъ, въ томъ собственно и заключается, что въ немъ уже поколебалась увѣренность, что

онъ уже можетъ нѣчто подозревать и о чемъ-то беспокоиться. Онъ еще не достигъ дѣйствительнаго нравственнаго равновѣсія, но въ то же время уже вышелъ изъ состоянія тѣла, перебрасываемаго изъ дня въ день по прихоти вѣтровъ. Ясно, что онъ долженъ быть несчастливимъ, и что несчастіе его начинается именно съ той минуты, когда ему приходится жить за свой собственный счетъ.

Поколебалась ли эта увѣренность въ современномъ русскомъ обществѣ? На этотъ вопросъ одни отвѣчаютъ утвердительно, другіе—отрицательно. Но разногласіе по вопросу существенному уже само по себѣ дурной признакъ. Стало-быть, дѣло это не для всѣхъ одинаково ясно, стало-быть, есть въ немъ нѣчто сомнительное, коль скоро возможна не только постановка вопроса, по его поводу, но и разнообразное ихъ разрѣшеніе. Допустимъ даже за вѣрное, что нѣкоторая свобода презрѣвать въ будущемъ и народилась, но если признаки этого народженія не настолько ясны, чтобъ устранить всякій поводъ игнорировать ихъ, то очевидно, что рѣшительный шагъ въ этомъ смыслѣ—еще вперед.

Утвердительный отвѣтъ въ пользу выхода изъ періода обезпеченной необезпеченности почти всегда исходитъ изъ лагеря нашихъ патентованныхъ прогрессистовъ. Это люди, преимущественно склоные идти впередъ «въ надеждѣ славы и добра». Ретрограды и консерваторы въ этихъ случаяхъ обыкновенно помалчиваютъ или коварно улыбаются.

Прогрессисты — люди восторженные и чувствительные. Уста ихъ легко наполняются болтовнею, сердца—вздохами, глаза — слезами. По самолюбивѣйшему поводу они готовы воскликнуть: «нынѣ отпущаени...»—но съ тѣмъ однако-жъ, чтобъ ихъ не отпустили. И такъ какъ ихъ дѣйствительно не отпускаютъ (это въ своемъ родѣ люди полезные, ибо ими гнилые заборы подпирать можно), то восторженность ихъ сердце въ все crescendo и crescendo, и подъ конецъ даже не всегда остается въ предѣлахъ опрятности. Начинаются безконечныя разговоры о какомъ-то знамени, которое слѣдуетъ держать твердо и бодро, и не менѣе безконечныя инсинуаціи насчетъ неблагонадежныхъ элементовъ, напыль въ которыхъ якобы не слѣдуетъ допускать...

Представьте себѣ двороваго человѣка, воспитаннаго въ суровой школѣ холопства, которому вдругъ подарили сюртукъ съ барскаго плеча,— и вы получаете ключъ къ раз-

гадѣ той хронической пламенности, которую обуреваются наши патентованные прогрессисты. До «сюртука» дворочный человекъ жилъ своею обычною, спокойною жизнью: онъ чистилъ ножи, подавалъ тарелки, топилъ печи — и во всемъ этомъ видѣлъ не что иное, какъ заурядное исполненіе той обязанности, которую *volens-nolens* онъ выполнить долженъ. И вдругъ въ его жизнь врывается «сюртукъ» и въ одно мгновеніе ока производитъ волшебное превращеніе не только въ наружномъ видѣ, но и во всемъ внутреннемъ существѣ двороваго человека. Онъ не ожидаль... онъ не былъ приготовленъ... онъ даже сомнѣвается, точно ли онъ достоинъ... А крокъ такъ и принимаетъ къ голавъ, а сердце такъ и саднитъ отъ наплыва какого-то невѣдомаго чувства. И вотъ, весь просвѣтленный и недоумѣвающій, онъ начинаетъ слагать гимнъ. Первые строфы гимна робки, а потому не вполне противорѣчатъ здравому смыслу; но тѣмъ дальше идетъ работа славословія, тѣмъ больше и больше опьяняется творецъ его, опьяняется не виномъ, а собственнымъ своимъ просвѣтленіемъ. Онъ говоритъ, что душа бессмертна, и что тарелку надлежитъ подавать съ благоговѣніемъ. Онъ не говоритъ, а кричитъ. Онъ называетъ себя червемъ ползучимъ; онъ свидѣтельствуетъ о своемъ недостойнствѣ и произноситъ клятвы, которыя могутъ ошанить не совсѣмъ осторожнаго прохожаго. Отъ окончательнаго кощунства спасаетъ его только чищеніе ножей, которое, къ счастью, не прекращаетъ своего дѣйствія. Оно одно приводитъ его въ себя и предохраняетъ его сердце отъ разрыва.

Примѣнито сейчасъ написанную картину къ современнымъ русскимъ прогрессистамъ — и вы поймете, что эти послѣдніе тоже получили «сюртукъ»; а такъ какъ онъ былъ ими незаслуженъ, то тотчасъ же захмѣляли. Ничтожество ихъ основныхъ притязаній къ жизни было таково, что свалившійся съ неба подарокъ разомъ исчерпалъ все содержаніе ихъ существованія. Въ строгомъ смыслѣ нельзя даже сказать, чтобы они когда-нибудь имѣли какія бы то ни было притязанія. Они наравнѣ съ прочими подавали тарелки и только по недоразумѣнію считали себя прикомандированными къ какимъ-то вопросамъ, преимущественно же къ вопросу о крѣпостномъ правѣ. Но въ этомъ случаѣ слово претіало имъ гораздо больше, нежели самая вещь, нежели та совокуиость разнообразнѣйшихъ отношеній, которая за этимъ словомъ скрывалась. Они ухитрились за-

межевать понятіе о крѣпостномъ правѣ въ самыя тѣсныя границы и сообщить ему чисто специальное значеніе, не имѣющее никакой органической связи съ общимъ строемъ жизни. Понятно, что при такой упрощенности запросовъ отвѣчать на нихъ, и даже съ нѣкоторой паддачею, не стоило большого труда. И дѣйствительно, отвѣтъ последовалъ скоро, но на первыхъ же порахъ наполнилъ сердца прогрессистовъ не торжествомъ, а какою-то странною смутю. Имъ и радостно было, что предметъ ихъ многолѣтняго будированія наконецъ осуществился, и въ то же время жалко было самаго процесса будированія, для котораго не было уже нищи. А между тѣмъ это будированье давало имъ хорошее положеніе въ обществѣ, окружало ихъ обаяніемъ и въ особенности располагало къ нимъ женскія сердца. Никогда оно не заключало въ себя ничего рѣзкаго, никогда не выходило изъ предѣловъ тихаго курьяканья благососпитанныхъ каплуновъ,—и вдругъ всякій поводъ для курьяканья исчезъ.

Вотъ тогда-то явились на выручку энтузіазмъ и сокращеніе о своемъ достоинствѣ. Старшки воспламенились, вскинулись и, не говоря дурного слова, стали обзывать себя червями ползучими, а прохожихъ упрекать въ неблагодарности. Они поняли, что питающійся восклицательными знаками энтузіазмъ столь же дешевъ, какъ и питавшееся восклицательными же знаками фрондерство,—и безъ оглядки пустились по новому пути. И благо имъ, потому что операція эта возстановила упавшій кредитъ ихъ и крѣпче прежняго утвердила ихъ положеніе въ обществѣ. Теперь они на всѣхъ перекресткахъ кричатъ: «мы и мечтать не смѣлимъ!»—и когда посторонніе люди просятъ ихъ успокоиться и придти въ себя, они на всѣ увѣщанія даютъ одинъ и тотъ же отвѣтъ: «мы и мечтать не смѣлимъ!»

Источникъ энтузіазма былъ искусственный, развитіе его—неожиданно; но восторженность имѣетъ то свойство, что питаетъ сама себя, и потому нѣрѣдко достигаетъ предѣловъ разнузданности. При такихъ условіяхъ, въ воображеніи прогрессистовъ происходить нѣчто подобное тому, что происходитъ въ природѣ въ лунную ночь, когда тѣли отъ предметовъ разрастаются до невѣроятныхъ размѣровъ, каналы кажутся акведуками, будки — дворцами, груды камней — монументами. «Мы и мечтать не смѣлимъ!» — этого одного достаточно, чтобы поставить вопросъ о чело-вѣческой автономіи въ споръ. Да, современный чело-

вѣсь уже вступили въ періодъ совершенполнѣтія и самостоятельной дѣятельности; онъ получилъ то, «о чемъ мы даже мечтать не смѣли», а потому на него же должна пасть и отвѣтственность за будущія его судьбы...

Такъ повѣствуютъ прогрессисты, и любопытно видѣть и слышать, какъ они бьютъ себя въ грудь, доказываютъ, перечисляютъ. Съ какимъ паничнымъ нахальствомъ даютъ они понять, что если бы не они, то общество осталось бы ни при чемъ; съ какимъ простодушнымъ лукавствомъ намекаютъ, что и въ будущемъ кой-чего отъ нихъ ожидать можно. Только не вдругъ—это главное; потому что если будемъ слишкомъ натягивать струны, то онѣ могутъ лопнуть.

Эти оговорки необходимы. «Не вдругъ!»—это цѣлая философская система; это гора будущаго, которая можетъ разродиться мнѣніемъ, но въ которой могутъ скрываться и алмазные копи. Ждите сколько угодно—«не вдругъ» всегда и на всѣ вопросы будетъ отвѣтомъ своевременнымъ и вполне философскимъ. Кто знаетъ, можетъ-быть, оно, это неизвѣстное, должно черезъ минуту разрѣшиться, а тутъ какой-нибудь нетерпѣливецъ, презрѣвшій теорію «не вдругъ», испортитъ все дѣло! Стало-быть, лучше всего ждать и вѣрить, вѣрить и ждать...

Но надо же знать, чего ждать. Если періодъ обезпеченной обезпеченности подлинно упразднился, то надо указать на несомнѣнные признаки этого упраздненія. Все это необходимо не въ видахъ удовлетворенія пустой прихоти людей, а въ видахъ утвержденія въ нихъ вѣрованій и надеждъ. И чтѣ же? Тутъ-то именно и высказывается ахиллесова пята нашихъ прогрессистовъ или, лучше сказать, тутъ-то каждый изъ нихъ всцѣло, всѣмъ существомъ своимъ, оказывается сплошною ахиллесовою пятою. «Мы и мечтать не смѣли!» говорятъ они, но развѣ это отвѣтъ? Вы не смѣли мечтать, — ну и продолжайте не смѣть, но отчего же не мечтать другимъ?

Приверженность къ восклицательнымъ знакамъ и стремленіе замѣнить ими опредѣленность и трезвость рѣчи составляютъ типическую черту нашихъ прогрессистовъ-энтузиастовъ. Несмотря на клятвенныя увѣренія, что все совершающееся и могущее совершиться какъ нельзя болѣе ясно,—людямъ, не развращеннымъ наукою восторженностью, не безъ основанія кажется, что это ясность мнимая, могущая существовать только въ такихъ головахъ, въ которыхъ никогда ни о чемъ дѣйствительно-яснаго предста-

вленія не было. И еще сдается, что всѣ эти quasi-восторженные субъекты суть не что иное, какъ порожніе сосуды, которые въ свое время наполнились будированіемъ, теперь наполняются энтузіазмомъ, а завтра будутъ наполняться... чѣмъ Богъ пошлетъ.

Какъ бы то ни было, но раздуванность энтузіазма отнимаетъ у нашей прогрессистской пропаганды всякую убѣдительность. Увѣренность, что русское общество безвозвратно вышло изъ состоянія небезпечности, въ которомъ оно находилось во время существованія крѣпостного равновѣсія души, встрѣчаетъ совѣсь не такъ много прозелитовъ, какъ это было бы желательнѣе. Жалѣть ли объ этомъ?—конечно, жалѣть.

Жалѣть объ этомъ слѣдуетъ тѣмъ болѣе, что рядомъ съ мнѣніемъ патентованныхъ прогрессистовъ существуютъ мнѣнія совершенно имъ противоположныя. Они утверждаютъ, что крѣпостной фаланстеризмъ продолжаетъ проникать собой всѣ явленія общественной жизни; что онъ только лишился прежняго плотнаго центра, но въ разлитомъ видѣ едва ли не представляетъ еще большую угрозу. Жалѣть ли о томъ, что подобныя мнѣнія существуютъ?—опять-таки само собой разумѣется, что жалѣть слѣдуетъ...

Но не надо забывать при этомъ, что существенная причина разногласія все-таки заключается въ томъ туманѣ, который окружаетъ вопросъ, самъ по себѣ очень простой и ясный. Вопросъ этотъ формулируется такъ: можетъ ли современный человѣкъ, независимо отъ угрозы, представляемой перспективою естественной смерти, провидѣть сегодня, чтѣ случится съ нимъ завтра? Разрѣшите этотъ вопросъ не голословными утвержденіями или отрицаніями, а на основаніи фактовъ, которыхъ конкретность не подлежитъ сомнѣнію, — и будьте увѣрены, что всѣ разногласія упадутъ сами собою.

Надняхъ мнѣ случилось провести вечеръ въ очень интересномъ обществѣ. Тутъ было цѣлыхъ четыре столоначальника; одинъ изъ нихъ служилъ въ департаментѣ недоумѣній и оговорокъ; другой — въ департаментѣ дивидендовъ и раздачъ; третій — въ департаментѣ изысканій источниковъ и наполненія безднъ. Народо все бодрый и прогрессистъ. Присутствовалъ еще дѣлопроизводитель изъ департамента любознательныхъ производствъ; но тотъ болѣе молчалъ и, подъ видомъ раскладыванія гранъ-пасьянса, съ большимъ тактомъ прилушивался.

Каждый из столоначальников удостоверять, что действительность в его департаментъ кипитъ. Одинъ разсказывалъ, что комиссія «по части приведенія въ надлежащій видъ оговорокъ» должна на-дняхъ выдать шестьдесятъ первый томъ своихъ трудовъ. Другой сообщалъ, что комиссія «о наилучшемъ и наименѣйшемъ пополненіи бездѣтъ», окончивъ сто первый томъ своихъ трудовъ, заключила: приступить къ новому разсмотрѣнію собранныхъ матеріаловъ и для сего образовать новую комиссію, старую же упразднить, сохранивъ членамъ ея присвоенные имъ оклады содержанія. Третій повѣствоваль, что хотя ихъ департаментъ нѣсколько отсталъ отъ прочихъ, но, со вступленіемъ новаго директора, комиссія «о преподааніи большей вразумительности и быстроты отказамъ» въ теченіе какого нибудь мѣсяца уже успѣла выработать обширный трудъ, подъ названіемъ: «Взглядъ на причины», который и будетъ на сихъ дняхъ отпечатанъ въ трехъ томахъ, съ пятнадцатю къ онымъ приложениями. Четвертый наконецъ обрадовалъ извѣстіемъ, что для оживленія работъ въ комиссіи «для разработки прочной системы раздачъ» приглашенъ, въ качествѣ эксперта отъ наукъ, одинъ извѣстный своею находчивостью экономистъ.

Все было, слѣдовательно, въ порядкѣ; молодые люди пламенѣли и порывались; я, съ своей стороны, смотрѣлъ на нихъ и радовался.

Вообще съ нѣкотораго времени я какъ-то чаще начинаю радоваться. Состоя членомъ нѣсколькихъ благотворительныхъ обществъ, я убѣдился, что человекъ—самъ творецъ собственныхъ несчастій. А такъ какъ дѣла мои идутъ прекрасно, то мало-по-малу въ мою душу проникла та ясность, то равновѣсіе, до которыхъ возвысился (въ комедіи Островскаго: «Доходное мѣсто») старикъ Юсовъ въ ту минуту, когда онъ произноситъ знаменитый монологъ, начинающійся словами: «я могу плясать!» Что мнѣ за дѣло до того, что есть люди, которые не могутъ плясать? Я могу плясать—и этимъ вопросъ о плясаніяхъ для меня совершенно исчерпывается. Ноша за мной не тянетъ, а потому я вижу цвѣтокъ—на цвѣтокъ радуюсь, прицу вижу—на птицу радуюсь. Вездѣ премудрость вижу. И не одобряю людей, которые не видятъ премудрости, а слѣдовательно и не пляшутъ. Стало-быть, ноша какал-нибудь у нихъ свади тянетъ, размышляю я и уже издали, завидя такого субъекта, кричу ему:

— Не одобряю, государь мой, не одобряю!

Итакъ, я сдѣлалъ и радовался, ибо, очевидно, ни за однимъ изъ этихъ бодрыхъ молодыхъ людей никакой копни не было. Когда всѣ новости были высказаны, мы не безъ труда сообразили, что если всѣ комиссіи приведутъ свои труды къ благополучному окончанію, то изъ этого можетъ произойти 666 томовъ полезнѣйшихъ матеріаловъ, которыми, конечно, не преминутъ воспользоваться другія комиссіи. Эти другія комиссіи подворгнутъ собранные матеріалы освѣженію и дополненію и въ свою очередь издадутъ 666 томовъ трудовъ, которыми въ свое время не преминутъ воспользоваться третьи комиссіи. Третьи же комиссіи...

Но здѣсь представленіе о безконечной пресмственности комиссій и непрерывности освѣженій и дополненій навело насъ на идею о вѣчности. Идею же о вѣчности зажгла души восторгомъ. Мы взошли съ мѣстъ и безъ всякаго законнаго основанія начали цѣловаться.

— А долгонько-таки придется вамъ канитель-то тянуть!—вдругъ вступился дѣлопроизводитель департамента любознательныхъ производствъ.

Мы не вдругъ поняли. Сначала даже, песело потирая руки, механически повторяли: «долгонько! долгонько!» Но потомъ однако-жъ сообразили, что въ замѣчаніи мрачнаго дѣлопроизводителя скорѣе скрывается иронія, нежели поощреніе нашимъ восторгамъ.

— А по-вашему какъ?—бросились мы къ нему.

— А по-моему вотъ какъ!

Онъ махнулъ ладонью руки сверху внизъ, какъ будто разсѣкалъ гордіевъ узелъ.

Тогда самъ собою возникъ вопросъ: можно ли вдругъ перевернуть міръ вверхъ дномъ? Тема была безконечная, какъ сама безконечность, слѣдовательно обмѣнъ мыслей лился рѣкою.

Столоначальники утверждали, что вдругъ нельзя, и доказывали это примѣромъ комиссій, которыя перевертываютъ міръ неподволь и лишь по зрѣломъ и внимательномъ обсужденіи. Дѣлопроизводитель, напротивъ того, утверждалъ, что можно, о комиссіяхъ же отзывался непочтительно, въ родѣ того, что онѣ, дескать, ничего не дѣлаютъ, а только въ проходномъ ряду пылью торгуютъ.

— Согласитесь однако, что ежели предварительно мы не приведемъ въ ясность всѣхъ оговорокъ, то движеніе



впередъ будетъ, по малой мѣрѣ, затруднено, а быть-можетъ, и совсѣмъ невозможно!—ораторствовалъ столоначальникъ департамента недодумѣннѣй и оговорокъ.

— А я съ своей стороны спрашиваю: если не будутъ преподаны совершенно ясныя и твердыя правила насчетъ наполненія безднъ, то какимъ же образомъ вы приведете оныя въ равновѣсїе съ источниками?—вопросалъ, въ свою очередь, столоначальникъ департамента изысканія источниковъ и наполненія безднъ.

— Никакимъ, да и не надо!—какъ-то грубо отрубилъ дѣлопроизводитель.

— Но балансъ, милостивый государь! во всякомъ дѣлѣ требуется балансъ! Съ одной стороны...

— Ну, да, съ одной стороны принимая во вниманіе, а съ другой стороны—имѣя въ виду... Знаемъ мы, какъ эти слюни-то распускаютъ. Вамъ это-то и любо!

Дѣлопроизводитель уверяя и утверждалъ, что въ средствахъ перевернуть міръ вверхъ дномъ никогда недостатка не имѣлось и не имѣется: была бы только охота. Взятъ, пришелъ и перевернулъ—безъ всякихъ комиссій.

— Безъ маазѣйшихъ-съ! — прогремѣлъ онъ, ворочая зрачками.

Я сидѣлъ и радовался. Съ одной стороны, мнѣ нравился этотъ смѣлый узлорѣшитель, который, согласно съ бывшими примѣрами, намѣревался единолично, безъ участія комиссій, обновить міръ; съ другой стороны, нравились также и эти степенные молодые люди, бодро вступившіе на стезю обновленія, но, въ виду могущихъ быть увлеченій, оставившіе его цѣлою сѣтью комиссій. А что всего больше нравилось—такъ это мысль, что пробѣдетъ какихъ-нибудь полчаса, и эти два элемента, повидимому, столь противоположные, сольются и будутъ, какъ ни въ чемъ не бывало, вмѣстѣ закусывать и пить водку!

«Побольше подобнѣхъ обмѣновъ мыслей,—думалъ я:—и дѣло нашего возрожденія будетъ упрочено навсегда!» Но въ то же время я чувствовалъ, что и мнѣ необходимо сказать свое слово, и именно слово примирительное, такое, съ помощью котораго человѣку было бы ловко пройти по середочкѣ. Поэтому, когда дѣло дошло до такихъ выраженій, какъ «выгѣденное яйцо», «шваль», «отребье» и т. п., я считалъ долгомъ вступиться.

— Позвольте, господа!—сказалъ я:—по моему мнѣнію, разпогласіе между вами совсѣмъ несущественно. Скажите,

что собственно вы утверждаете?—обратился я къ столоначальникамъ.

— Мы утверждаемъ, что нельзя вдругъ перевернуть міръ вверхъ дномъ!—очень рѣшительно отвѣчали они.

— Гм!.. вдругъ!!.. стало-быть, самый принципъ перевертыванья вы допускаете?... хорошо-съ. Вы-съ?—обратился я къ дѣлопроизводителю.

— А я говорю, что можно и должно!—отвѣчалъ онъ съ азартомъ.

— Гм!.. стало-быть, во всякомъ случаѣ, и вы, и вы—въ принципѣ допускаете, что перевернуть міръ вверхъ дномъ надлежитъ?

— Конечно... но...—запикался столоначальникъ.

— Стало-быть, васъ раздражаетъ слово «вдругъ»?

— Ну, да... конечно... но...

— Что тутъ еще толковать! — огрызнулся дѣлопроизводитель.

— Позвольте-съ. Но для того, чтобы міръ когда-нибудь былъ перевернутъ,—обратился я специально къ столоначальникамъ:—пужо же понемногу его перевертывать?..

Столоначальники разинули рты, но дѣлопроизводитель не далъ имъ говорить.

— Не понемому, а разомъ! сейчасъ! сію минуту!—выходилъ онъ изъ себя.

— Позвольте-съ. Предположимъ, что предпріятіе ваше увѣчалось успѣхомъ,—обратился я на сей разъ уже къ дѣлопроизводителю:—что вы взяли, пришли и перевернули міръ вверхъ дномъ!.. Дальше-съ?

Я нарочно остановился, чтобы видѣть, какой эффектъ производитъ мой диалектическій приемъ.

— Не мямлите, ради Христа!—раздражительно прервалъ меня мой оппонентъ.

— Какъ думаете вы: не получится ли у васъ въ результатѣ, что, вслѣдствіе слишкомъ быстро перевертыванья, міръ вновь очутится на старомъ мѣстѣ?

Я торжествовалъ. Каламбуръ мой удался какъ нельзя больше; столоначальники неистово хлопали въ ладоши, дѣлопроизводитель смутился. Тѣмъ не менѣе, для очищенія совѣсти, онъ все-таки упорствовалъ и совершенно уже голословно повторялъ:

— Нѣтъ! мы никогда съ вами не сойдемся!

— Итакъ,—продолжалъ я:—соглашеніе между вами, господа, не только возможно, но и легко. Признаемъ въ прин-

циль пользу перевертыванья и затѣмъ вооружимся лишь противъ тѣхъ злоупотребленій, которыя могутъ заключаться въ перевертываньи съ слишкомъ зрѣлымъ онаго обсужденіемъ, т.-е. противъ медленности, обнаруживаемой въ этомъ дѣлѣ нашими комиссіями. Для этого, мнѣ кажется, совершенно достаточно поставить за правило, чтобы комиссіи эти ограничивали количество своихъ трудовъ десятью томами... не больше-съ! и затѣмъ уже приступали къ перевертыванью безъ всякаго сомнѣнія!

— Гм!.. тогда и волки будутъ сыты, и овцы цѣлы!— задумчиво сказалъ столоначальникъ департамента дивидендовъ и раздачь.

— Это моя мысль!

Столоначальники согласились со мною безъ труда и тутъ же приступили къ начертанію проекта особой комиссіи «для преведанія править комиссіямъ, на разные случаи учреждаемымъ»; но дѣлопроизводитель, къ удивленію моему, все-таки упорствовалъ и продолжалъ голословно повторять:

— Цѣты! мы никогда съ вами не сойдемся!

Кто эти «мы»? отъ чьего имени говорить этотъ пользующійся довѣріемъ своего начальства чиновникъ?

Признаюсь, вопросъ этотъ немало меня интересовалъ... И, что же оказалось?

Оказалось, что мрачный дѣлопроизводитель служитъ въ департаментѣ любознательныхъ производствъ лишь по недоразумѣнію. Что, будучи разсматриваемъ отдѣльно отъ видундира, онъ — радикалъ. И наконецъ, что въ свободное отъ исполненія возлагаемыхъ на него порученій время онъ пишетъ обширное сочиненіе, подъ названіемъ: «Похвала Робеспьеру»...

Признаюсь!

Поклонниковъ доктора Панглоса, утверждающихъ, что все идетъ къ лучшему въ лучшемъ изъ міровъ, развелось нынче очень много. Не только у столоначальниковъ, но даже у будочниковъ въ умахъ одинъ вопросъ: «рожна, что ли, вамъ пужно?» И откуда они узнали, что кому-то чего-то пужно!

Тѣмъ не менѣе мы оставимъ будочниковъ въ сторонѣ, ибо провозглашеніе истины, въ родѣ сейчасъ приведенной истины о «рожнѣ», принадлежитъ къ шезлу ихъ обязанности. Но какимъ образомъ наша литература ухитрилась сдѣлать изъ себя сокровищницу той же панглосовской му-

дрости, которая занимаетъ и умы городскихъ, — это уже вопросъ гораздо болѣе трудный для разрѣшенія.

Здоровая традиція всякой литературы, претендующей на воспитательное значеніе, заключается въ подготовленіи почвы будущаго. Иаслѣдую нравственную природу человѣка, литература не можетъ не касаться и тѣхъ общественныхъ комбинацій, среди которыхъ человѣкъ проявляетъ свою творческую силу. Хотя, съ исторической точки зрѣнія, эти комбинаціи представляютъ не что иное, какъ созданіе самого человѣка, но то же историческое тяготѣніе сдѣлало ихъ настолько плотными и самостоятельными, что и онѣ, въ свою очередь, могутъ или вредить, или способствовать человѣческому развитію. Если-бъ источникъ творчества изсякъ, то человѣку оставалось бы сложить руки и съ покорностью ожидать ударовъ судьбы; но измѣняемость общественныхъ формъ, для всѣхъ видимая и несомнѣнная, доказываетъ совершенно противное и предсказываетъ человѣческому творчеству обширное будущее. Если современный человѣкъ злѣтъ, кровожаденъ, завистливъ и алченъ, если высшіе интересы человѣческой природы онъ подчиняетъ интересамъ второстепеннымъ, то это еще не устраняетъ возможности такой общественной комбинаціи, при которой эти свойства встрѣтятся нное примѣсивіе, а слѣдовательно примутъ и иную складку. Это некое, но такое некое, которое немало не противорѣчитъ элементамъ, составляющимъ человѣческую природу, ибо для всякаго наблюдателя общественныхъ явленій и теперь уже ясно, что одно и то же свойство на разныхъ ступеняхъ общественной іерархіи проявляетъ себя совершенно различнымъ образомъ, смотря по тому, въ какой обстановкѣ оно находится. Сдѣлать обвиненію этого некоего и, не успокоиваясь на тѣхъ формахъ, которыя уже выработала исторія, провидѣть нныя, которыя хотя еще не составляютъ наличнаго достоянія человѣка, но тѣмъ не менѣе не противорѣчатъ его природѣ и слѣдовательно рано или поздно могутъ сдѣлаться его достояніемъ,—въ этомъ заключается высшая задача литературы, сознающей свою дѣятельность плодотворною.

Литература провидитъ законы будущаго, воспроизводитъ образъ будущаго человѣка. Утопизмъ не лугаетъ ее, потому что онъ можетъ запугать и поставить втупикъ только улицу. Типы, созданные литературой, всегда идутъ далѣе тѣхъ, которые имѣютъ ходъ на рынкѣ, и потому-то именно они и кладутъ извѣстную печать даже на такое

общество, которое, повидимому, всецѣло находится подъ гнетомъ эмпирическихъ тревогъ и опасеній. Подъ влияніемъ этихъ новыхъ типовъ современный человѣкъ, незамѣтно для самого себя, получаетъ новыя привычки, ассимилируетъ себѣ новыя взгляды, приобретаетъ новую складку, однимъ словомъ—постепенно вырабатываетъ изъ себя новаго человѣка. Что было бы въ томъ случаѣ, если бы литература, забывъ о своихъ воспитательныхъ задачахъ, пошла по другому пути... хоть, на примѣръ, по пути бесплодныхъ обращеній къ прошлому?

Къ сожалѣнію, наша современная литература пошла именно по этому послѣднему пути, и потому ея воззрѣнія можно безъ малѣйшаго преувеличенія уподобить воззрѣніямъ будочниковъ, негодующихъ на исканіе какого-то рожна.

Въ общемъ ходѣ человѣческаго развитія подробности занимаютъ лишь второстепенное мѣсто; онѣ играютъ роль эпизодовъ, не имѣющихъ существеннаго влияния на канву и процессъ движенія. Въ современной русской литературѣ, напротивъ того, подробности занимаютъ первый планъ, а дѣйствительный смыслъ движенія до такой степени заслоняется ими, что жизнь представляется сложившеюся подъ гнетомъ какого-то неслыханнаго умопомраченія. Ненавистью и желью пропитано каждое слово современной русской литературы, и это горькое чувство могло бы имѣть очень опасныя для общества послѣдствія, если-бъ не было слишкомъ ясно, что въ основѣ его лежатъ тѣ бесплодныя обращенія къ прошедшему, которыя обуславливаются корыстными или наивнымъ непониманіемъ самыхъ простыхъ, общепризнанныхъ и естественныхъ законовъ человѣческаго развитія.

И на улицѣ, и въ литературѣ раздается одинъ вопль: довольно! Чего же довольно? набздовъ ли, устраненій ли, душевныхъ ли вымоговъ, проявленій ли безсознательности, произвола и дикости?—Нѣтъ, не этого. Довольно жертвъ, довольно усилий, направленныхъ къ тому, чтобы стать на стезю сознательности.

Только глубоко вкоренившись, такъ сказать, историческое презрѣніе къ самимъ себѣ, только вполнѣ безповоротное убѣжденіе, что мы не только въ настоящую минуту состоимъ въ должноти кадетовъ цивилизаціи, но и навсегда осуждены на эту роль, могло произвести подобный результатъ. Для всѣхъ (т. е., говоря трактирнымъ слогомъ,

для тѣхъ, которые почище)—цивилизациі съ ея благами, открытіями и движеніемъ; для насъ (т. е. для тѣхъ, которые еще рыломъ не вышли)—обрѣзки, помои и старое, заносенное бѣлье. И это проповѣдуется не на толкуемъ рынкѣ, не въ кабакахъ—тамъ бы куда ужъ ни шло!—а въ литературѣ...

Подобныя призывы озлобленности и систематическаго омраченія небезпримѣрны и въ другихъ странахъ; но тамъ они объясняются рѣшительностью политическихъ и социальныхъ кризисовъ, когда общественныя силы, подъ влияніемъ исключительной паники, всецѣло охватываются интересами и опасеніями данной минуты и такимъ образомъ на время теряютъ изъ вида руководящую нить будущаго. У насъ это, такъ сказать, естественная дань преисполненныхъ благодарнымъ энтузіазмомъ сердець. Предполагается, что мы, по самой природѣ своей, не имѣемъ правъ ни къ чему приступить, не исполнивъ предварительно танца благоговѣнія и вѣчной признательности. И вотъ, ежели мы, рассматривая какое-нибудь явленіе (послѣдствія котораго, не забудемъ, отразятся на насъ же самихъ), пробуемъ встать на одинъ съ нимъ уровень, то насъ прямо обвиняютъ въ черствости, неблагодарности и заносчивости. «Курицыны дѣти!»—восклицаютъ хоромъ прогрессисты-литераторы и прогрессисты-публицисты:—посмотрите! тоже топорчатся! шеи вытягиваютъ, на цыпочки становятся!»

На мой взглядъ, будочники въ этомъ случаѣ гораздо симпатичнѣе. Произнося свое сакраментальное: «рожна, что ли, нужно?»—они, во-первыхъ, дѣйствуютъ чисто-механически, т. е. просто производятъ порядокъ, и, во-вторыхъ, едва ли даже знаютъ, что именно слѣдуетъ разумѣть подъ словомъ: «рожна». Несмотря на грубость интонаціи, въ ихъ голосѣ можно иногда подмѣтить благодушіе, почти состраданіе къ человѣку, который ищетъ рожна и... находитъ его. Напротивъ, чувство, одушевляющее прогрессиста-публициста, со-всѣмъ другого свойства: тутъ нѣтъ и рѣчи о чемъ-нибудь примирительномъ. Для него презрительнѣе самый видъ «топорщащагося» человѣка, да и самое слово «топорщиться» именно съ тою цѣлью заимствовано изъ лексикона теплыхъ русскихъ словъ, дабы въ нарочито омерзительномъ видѣ изобразить претензію человѣка на человѣчскій образъ. Онъ прибѣгаетъ ко всевозможнымъ уподобленіямъ: городовыхъ именуешь орлами; людей, ищущихъ сбросить съ себя иго безсознательности—кротами, червями и грутями. Его изги-

басть, свертываетъ и коробитъ, какъ бересту, брошенную на огонь, и коробитъ не оттого, что онъ видитъ пришибленность, забитость и вольное ползание, а оттого, что въ глазахъ его происходитъ попытка сдѣлать человѣческій жестъ.

Откуда эта ненависть?!

Литераторъ-прогрессистъ самъ едва ли сумѣетъ объяснить себѣ причину этого явления. Онъ дѣйствуетъ подъ влияніемъ темперамента, который показываетъ ему, что русскій человѣкъ не имѣетъ права относиться къ явлениямъ жизни съ спокойствіемъ и достоинствомъ, но долженъ во всякомъ случаѣ и во что бы то ни стало благодарить. Если онъ не благодаритъ, то это значитъ, что онъ злокозниствуетъ; а если злокозниствуетъ, то значитъ, что самъ собой возникаетъ вопросъ о необходимости истребленія козней и интригъ. Собираются вольныя дружины, объявляется походъ и, за стукомъ мечей, забывается даже то тощее дѣло, по поводу котораго возникъ переполохъ. И все изъ-за того, что въ сердцахъ нѣтъ должной благодарности, или, говоря высокимъ слогаемъ, не замѣчается надлежащей теплоты чувствъ.

Предоставляется читателю самому судить, насколько возможно развитіе и разрѣшеніе общественныхъ вопросовъ при такомъ воспалительномъ отношеніи къ нимъ даже со стороны литературы, на которую многіе и до сихъ поръ смотрятъ какъ на выразительницу общественной совѣсти...

И вотъ итоги! итоги, въ дѣйствительности которыхъ едва ли можетъ усомниться кто-либо изъ современниковъ. И опять-таки повторяю: не въ кабакахъ, не на толкучихъ рынкахъ отразились эти итоги, а въ самомъ центрѣ всѣхъ жизненныхъ итоговъ—въ литературѣ.

Даже будочники проливаютъ слезы сожалѣнія при видѣ людей, ищущихъ рожна и обрѣгающихъ его, а въ литературѣ это зрѣлище вызываетъ только злобный крикъ: ату!

Естественное ли это дѣло? естественно ли, чтобъ литература являлась не воспитательницею и руководительницею общества въ его исканіяхъ идеаловъ будущаго, а обуздательницею и укротительницею?

Однако, какъ ни проповѣдайте, что перевернуть міръ вверхъ дномъ невозможно, а исподволь перевертывать все-таки приходится. Потому что, въ противномъ случаѣ, всегда найдутся люди, которые будутъ наткаться на рожна, а

зрѣлище этого натыканія едва ли можетъ для кого-нибудь составить пріятность.

Человѣкъ такъ ужъ устроенъ, что всякое новое приобретеніе, сдѣланное въ области знанія, ищетъ примѣнить къ себѣ, къ своему личному положенію. Это стремленіе прежде всего отражается на приобретеніяхъ будничныхъ, непосредственныхъ. Такъ, на примѣръ, ежели человѣкъ узнаетъ, что чистота и просторъ жилища, а равно достаточная и хорошая пища способствуютъ долголѣтію, то непременно будетъ домогаться, чтобъ это жизненное условіе было у него подъ рукою. Затѣмъ, ежели онъ узнаетъ, что тому же долголѣтію способствуетъ обладаніе и другими благами, болѣе отвѣченнаго свойства, то будетъ добиваться и ихъ. Вслѣдствіе этого многіе думаютъ, что всѣ усилія должны быть направлены къ тому, чтобы человѣкъ или вовсе не «зналъ», или узнавалъ сколь возможно поздно. Но это лишь пустая надежда, о которой даже и говорить не стоить. Гораздо болѣе вѣсу имѣетъ оговорка, утверждающая, что человѣкъ, во всякомъ случаѣ, обязывается дѣлать свои попытки на собственный счетъ и страхъ. Но и объ этой оговоркѣ покажется не можетъ быть рѣчи, ибо дѣло идетъ не о практическихъ попыткахъ, а лишь о постановкѣ вопросовъ на почву обобщеній. Или, говоря языкомъ болѣе любезнымъ для нашихъ прогрессистовъ-публицистовъ,—объ обмѣнѣ мыслей.

Да, рѣчь идетъ объ обобщеніяхъ—и ни о чемъ большемъ, ибо сепаратныя попытки довести свое личное положеніе до извѣстнаго уровня существовали съ незапамятныхъ временъ и никогда не возбуждали ничьей подозрительности. Онѣ имѣли мѣсто даже при крѣпостномъ правѣ, которое, не поощряя игры страстей, не препятствовало однако-жъ осуществленію ея въ частныхъ случаяхъ. У всѣхъ на памяти, что бывшіе помѣщики не только не воспрещали принадлежащимъ имъ крестьянамъ приобретать нѣкоторыя жизненные удобства, но и находили въ этомъ поводъ для удовлетворенія своего тщеславія.

— Вотъ какъ, каналья, живетъ! безъ щей съ говядиной и за обѣдъ не садится!—хвастались они передъ сосѣдями какимъ-нибудь Еремѣемъ, который, откладывая грошъ по грошу, купилъ себѣ право увеселять сердце помѣщика зрѣлищемъ «моего Еремѣя», хлебающего наварныя щи.

Очевидно, стало-быть, что подобная попытка признавалась и естественною, и непредосудительною. Отчего же тотъ же самый вопросъ усложняется, какъ только перенос-

сится на почву обобщений? Отвѣтъ на это обыкновенно дается такой: «помилуйте! да развѣ возможно всѣмъ?» И отвѣтъ этотъ кажется резоннымъ, не потому, чтобы онъ въ самомъ дѣлѣ былъ резоненъ, а потому, что слова «вдругъ» и «всѣ» оказываютъ на насъ точно такое же ошеломляющее дѣйствіе, какое въ комедіи Островскаго («Тяжелые дни») оказываютъ мудренныя слова въ родѣ «жупелтъ» и т. д.

«Нельзя вдругъ перевернуть міръ вверхъ дномъ». «Нельзя дать все и всѣмъ!» — вотъ несложный кодексъ житейской мудрости, на которомъ сходятся и ретрограды, и консерваторы, и прогрессисты, и никому изъ нихъ не приходитъ въ голову, что это кодексъ до того уже легкій, что опираться на него могутъ только такіе люди, у которыхъ ничего нѣтъ въ запасѣ, кромѣ истертыхъ и оглоданныхъ общихъ мѣствъ.

О томъ ли идетъ рѣчь, чтобы что-нибудь перевернуть, или у одного вѣчто отнять, а другого наградить? Нѣтъ, рѣчь идетъ объ отысканіи такихъ законовъ общежитія, которые могли бы умиротворить человѣчество — и больше ни о чемъ. Вопросы о перевертываніяхъ и отпошеніяхъ всецѣло принадлежать къ той практикѣ, которая уже и нынѣ предусматривается уголовными кодексами и слѣдовательно признается косвенно самими прогрессистами. Вопросы эти возбуждаются эмпирически на большихъ дорогахъ, а также въ формѣ простыхъ кражъ или кражъ со взломомъ, — что же можетъ быть общаго между ними и работою теоретической мысли?

Объектъ теоретической мысли не хаосъ и случайность, а порядокъ и законъ. Даже вырабатывая такъ-называемую утопію, она имѣетъ въ виду именно эту, а не другую какую-нибудь цѣль. При томъ общество достаточно обезпечено отъ чрезмѣрнаго наплыва утопій тѣмъ однимъ, что послѣднія не только никогда не господствуютъ безраздѣльно; но, напротивъ того, всегда состоятъ подъ самымъ строгимъ контролемъ всевозможныхъ, уличныхъ опасеній и тревогъ. Ужели этого обезпеченія мало? Ужели, въ виду фантастическихъ страховъ, внушаемыхъ ожиданіемъ наплыва утопій, можно считать болѣе опаснымъ и цѣлесообразнымъ, чтобы вопросы жизни разрѣшались хотя сепаратными, но тѣмъ не менѣе совершенно неправильными эмпирическими попытками на большихъ дорогахъ, въ родѣ тѣхъ, о которыхъ сейчасъ говорено и которыя требуютъ для своего осуществленія темной ночи, отмычекъ и взломовъ?

Нѣтъ, это невѣрно. Противъ подобнаго эмпиризма возрастетъ даже мой другъ Феденька Козелковъ, а я имѣю полное основаніе ссылаться на его авторитетъ, потому что этотъ человѣкъ уже почти администраторъ.

Я люблю Феденьку не за то, что онъ считаетъ себя прогрессистомъ (онъ какъ-то ужъ слишкомъ упорно настаиваетъ на своей принадлежности къ этому сословію), а за то, что онъ простодушенъ, и это простодушіе перѣдко внушаетъ ему мысли и дѣйствія достаточно доброкачественнаго свойства. Въ основаніи его административной системы лежатъ словцо, повидному, очень маленькое: «можно!» — но вникните пристальнѣе въ это слово, и вы убѣдитесь, что во всемъ русскомъ лексиконѣ нѣтъ его любезнѣе. «Можно!» — вѣдь это, такъ сказать, въ маломъ видѣ отпущеніе грѣховъ; это бальзамъ, пролитый на рану недоумѣній и недоумелія; это исцѣленіе недугующихъ и страждущихъ; это не соломинка какакая-нибудь, а цѣлый корабль, спасающій для спасенія погибающихъ! Вся жизнь человѣческая обращается между «можно» и «нельзя», и перегородка, которая вслѣдствіе этого дѣлитъ человѣческую жизнь на двѣ половины, служитъ источникомъ мучительнѣйшихъ истеричій, промаховъ и домогательствъ. И вдругъ эта перегородка, по манію Феденьки, исчезаетъ, и вмѣсто нея является ровное и значное пространство, по которому можно гулять безъ сомнѣнія... Шутка!

Конечно, Феденька не принадлежитъ къ числу орловъ, но ежели разсудить хладнокровно, то орловъ и безъ того такъ много, что врядъ ли присовокупленіе одного лишняго хитца можетъ послужить украшеніемъ. Сверхъ того у Феденьки имѣется и еще одинъ довольно крупный недостатокъ — это робость и даже, можно сказать, путаница въ понятіяхъ; но и это обстоятельство проходитъ незамѣтно, потому что слово: «можно!», которымъ путаница разрѣшается, покрываетъ ее до такой степени, что вмѣсто путаницы является даже цѣлая система.

И вотъ на-дняхъ, бесѣдуя съ Феденькой о его административныхъ надеждахъ (онъ непрерывно говорилъ о какомъ-то «краѣ» и, повидному, имѣлъ даже серьезныя основанія разсчитывать на осуществленіе своихъ мечтаній), я невольнымъ образомъ вынужденъ былъ коснуться и его административныхъ взглядовъ на жизнь.

— А какъ ты полагаешь, мой другъ, насчетъ хоть бы того, что вотъ иногда... не всегда, конечно, а иногда...

люди чувствуют потребность размышлять, сообщать друг другу свои наблюдения и открытия... вѣдь можно?—спросилъ я, конечно, не безъ робости, ибо очень хорошо понималъ, что вопросъ мой касается одной изъ самыхъ чувствительныхъ административныхъ явъ.

Онъ немного задумался, ибо не даѣе какъ того же дня утромъ выслушалъ, откуда слѣдуетъ, очень обстоятельное по сему предмету поученіе. Я зналъ объ этомъ и слѣдовательно имѣлъ очень основательный поводъ беспокоиться. Но, къ удовольствію моему, простодушіе моего друга и на сей разъ взяло верхъ.

— Знаешь, чтѣ я тебѣ скажу?—наконецъ произнесъ онъ (при этомъ я очень хорошо замѣтилъ, что изъ груди его вылетѣлъ вздохъ):—пускай размышляютъ, пусть даже разговариваютъ! Я положительно не вижу къ тому никакихъ препятствій!

— Подумаю однако-жъ, мой другъ, вѣдь изъ этого можетъ произойти удербъ... то-есть посягательство... ну, и прочее...—продолжалъ я испытывать Феденьку.

— Нѣтъ, ужъ чтѣ!... Христосъ съ ними!

— Гм!.. такъ, значить, по-твоему можно?

— Можно!

Тѣмъ не менѣе рана, произведенная утреннимъ поученіемъ, была еще слишкомъ остра; чтобъ не вызвать кое-какихъ оговорокъ. Феденька въ видимомъ волненіи ходилъ по комнатѣ, и я съ прискорбіемъ замѣчалъ, что каждый новый шагъ выдвигаетъ на сцену какое-нибудь новое привидѣніе.

— Признаюсь откровенно,—произнесъ онъ, останавливаясь предо мной:—я желалъ бы одного: пусть размышляютъ, пусть обмѣливаются мыслями, но... но такъ, чтобы никто этого не замѣтилъ!

Сгоряча я не понялъ всей оглушительности этой оговорки и даже радостно протянулъ ему обѣ руки, воскликнувъ:

— Ну, да! ну, само собой разумѣется... конечно!

Но черезъ минуту однако-жъ я спохватился и сталъ допрашивать Феденьку, какимъ же образомъ онъ предполагаетъ устроить, чтобъ люди откровенно сообщали друг другу свои мысли и чтобы, въ то же время, никто этого не замѣтилъ?

— Вѣдь это все равно что если-бъ твой будущій городской голова позвалъ тебя на пирогъ и требовалъ, чтобъ ты такимъ образомъ ѣлъ, чтобъ никто этого не замѣтилъ. Ты точно такъ же зовешь ихъ на пирогъ и...

— Нѣтъ! ты меня не понимаешь!—какъ-то брюзгливо превралъ меня Феденька:—я совсѣмъ не о томъ говорю! Я хочу только сказать, что было бы желательно, чтобы не всякому (онъ особенно наперъ на это слово)... tu comprends: не всякому... это было замѣтно!

Я понималъ. Мнѣ сдѣлалась ясно вся эта сложная и многохитрая система со всѣми ея развѣтвленіями, умолчаніями и оговорками. Я съ удивленіемъ смотрѣлъ на моего друга и готовъ былъ признать въ немъ искуссѣйшаго дипломата новѣйшаго времени (по части внутренней политики).

— Вѣдь они иногда очень дѣльными мысли имѣютъ,—продолжалъ между тѣмъ Феденька:—такія мысли, которыхъ пугаться рѣшительно нечего. На-дняхъ, на-примѣръ, я разговаривалъ съ какимъ-то «волосатымъ» насчетъ этого... самоуправленіемъ, кажется, оно называется?.. Ничего! Я думалъ, что онъ въ драку полѣзетъ, а онъ, напротивъ... такія мысли, что я со временемъ ихъ непременно въ какую-нибудь бумагу помѣщу! Parole d'honneur!

— Феденька! другъ мой!

— Вѣдь, по правдѣ-то сказать, мы все немножко социалисты... Вѣдь это, такъ сказать, наша національная подоплѣка. Le socialisme, la commune — c'est tout un! Разумѣется, съ разныхъ точекъ зрѣнія...

— Феденька! голубчикъ ты мой!

— Только вотъ, ежели ихъ дразнить, этихъ «волосатыхъ»... ну, тогда они дѣйствительно въ известной степени свирѣпѣютъ! Но и то лишь въ «известной степени», ибо окончательно свирѣпѣть и въ особенности проявлять эту свирѣпость имъ еще не разрѣшается... да! п-н-п-разрѣ-ша-ет-ся!

Мнѣ показалось, что, говоря эти послѣднія слова, Феденька даже на меня взглянулъ какъ-то угрожающе: до такой степени натура его была подвижна. Но черезъ минуту простодушіе вновь одержало побѣду; онъ началъ подробно развивать свою административную теорію и, въ горячности чувствъ, чуть-чуть не дошелъ до равновѣсія души.

— Я докажу на практикѣ,—ораторствовалъ онъ:—да-съ, на практикѣ докажу, какая неизмѣримая разница между администраторомъ, который овладѣваетъ самъ положеніемъ, и администраторомъ, которымъ (онъ подчеркнул: *тѣмъ*) овладѣваетъ положеніе!

Но я уже не слушал. Я спѣшилъ воспользоваться восторженнымъ настроеніемъ его души, чтобъ заручиться чѣмъ-нибудь солиднымъ.

— Итакъ, стало-быть, «можно»?

— Можно!—махнулъ онъ рукой, какъ бы давая понять, что онъ все уже разрѣшилъ, и болѣе беспокоить его мелочами не слѣдуетъ.

Ну, это, по крайней мѣрѣ, «итогъ»!—невольно подумалось мнѣ.

### Сонъ въ лѣтнюю ночь.

Юбилей удался какъ нельзя лучше. Сначала юбиляръ былъ сконфуженъ и даже прослезился, но наконецъ (нужно думать, что онъ уже окончательно былъ подъ вліяніемъ торжества) до того освоился съ своимъ положеніемъ, что обратился къ чествующимъ и во всеуслышаніе произнесъ: «Господа! благодарю васъ! но думаю, что если бы вы потрудились взглянуть въ ревизскія сказки любой деревни, то нашли бы множество людей, которые если не больше, то, по крайней мѣрѣ, столько же, какъ и я, заслужили право быть чествуемыми. И слѣдовательно всѣ эти юбилеи...»

И такъ далѣе. Затѣмъ юбиляръ зарыдалъ, и многимъ послышалось, что онъ сквозь всхлипыванія произнесъ слово: «наплевать!» Послѣ чего мы разошлись по домамъ.

Впрочемъ, за исключеніемъ этой маленькой неловкости, все шло какъ по маслу.

Юбилей, о которомъ шла рѣчь, былъ устроенъ нами въ честь нашего департаментскаго помощника экзекутора (кажется, что онъ въ то же время пользовался титуломъ главноуправляющаго клозетами). Ничего вообще въ ходу юбилей. Сначала праздновали юбилей генераловъ, отличившихся въ побѣдахъ neodолѣимъ; потомъ стали праздновать юбилей дѣйствительныхъ статскихъ совѣтникововъ, выказавшихъ неустрашимость въ перемѣщеніяхъ и увольненіяхъ; а наконецъ дошла до насъ вѣсть, что департаментъ всеобщихъ упомощраченій съ успѣхомъ отпраздновать юбилей своего архиваріуса. Вотъ тогда-то мы, чиновники департамента препонъ, и рѣшили: немедленно привлечь къ отвѣтственности по юбилейной части почтеннѣйшаго нашего помощника экзекутора, Максима Петровича Севастьянова.

Севастьяновъ, но правдѣ сказать, совѣмъ даже позабыть, что 15-го іюля 1875 года минеть пятьдесятъ лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ онъ облаченъ въ вицмундиръ министерства пренонъ и неудовлетвореній, и тридцать—съ той минуты, какъ онъ довѣріемъ начальства былъ призванъ на постъ помощника эзекутора, къ обязанности котораго главнѣйшимъ образомъ относился надзоръ за исправнымъ содержаніемъ департаментскихъ клозетовъ. Для него было, въ сущности, все равно, что пять, что пятьдесятъ лѣтъ, ибо клозеты, или замѣняющія ихъ установленія, одинаково существовали какъ въ первое пятилѣтіе его государственной дѣятельности, такъ и въ послѣдней. Онъ даже не понималъ, точно ли онъ когда-нибудь *первый разъ* надѣлъ на себя вицмундиръ, и не былъ ли онъ облаченъ въ него въ тотъ достопамятный день, когда сенатскій регистраторъ Морковниковъ и жена корабельнаго секретаря Огурцова воспринимали его отъ купели. Севастьяновъ былъ старикъ угрюмый и застѣчивый, на лицѣ котораго было, такъ сказать, неизгладимыми чертами изображено, что онъ выросъ въ уединеніи клозета. Въ справедливости этой мысли въ особенности удостовѣряло то, что онъ весь, т.-е. всѣ незакрытыя части его тѣла, поросъ волосами, такъ что издали онъ казался какъ бы подернутымъ пѣсевою сырого мѣста. Волоса выступали у него на вышуклостяхъ шеи, на пальцахъ, закрывали почти весь лобъ, вытѣзали изъ носа и изъ ушей, а борода его даже въ тѣ дни, когда онъ ее брилъ, была синяя-пресиняя. Лицо у него было пенельнаго цвѣта, глаза большыя, слезящіяся, какъ у человека, давно отвыкшаго отъ дневнаго свѣта. Такъ что когда ему сказали, что въ честь его готовится юбилей, то онъ смутился и покраснѣлъ. Да, говоря по совѣсти, и было отъ чего покраснѣть; ибо тридцатилѣтіе его съестія въ должности помощника эзекутора какъ разъ совпадало съ тридцатилѣтіемъ же реформы клозетовъ въ департаментѣ пренонъ (кажется, что по этому поводу даже и самая должность его была учреждена).

Заручившись согласіемъ предполагаемаго юбиляра, мы отправили депутацию къ директору департамента, который не только одобрилъ наше намѣреніе, но даже обѣщавъ къ серединѣ обѣда прислать поздравительную телеграмму. Съ своей стороны, вице-директоръ заявилъ, что лично приметъ участіе въ юбилейномъ торжествѣ и пригласитъ къ тому же всѣхъ начальниковъ отдѣленій. Тогда, на живую

руку, былъ составленъ краткій церемональ слѣдующаго содержанія:

1. 15-го сего іюля имѣеть исполниться пятьдесятъ лѣтъ со времени состоянія помощника эзекутора департамента пренонъ, Максима Петровича Севастьянова, на службѣ въ офицерскихъ чинахъ. Въ ознаменованіе сего событія устраивается обѣденное торжество въ одной изъ залъ Палкинскаго трактира (на углу Владимірской и Невскаго проспекта).

2. Чины департамента пренонъ, съ вице-директоромъ во главѣ, въ 5 часовъ пополудни, соберутся въ общемъ залѣ Палкинскаго трактира и будутъ тамъ ожидать виновника торжества.

3. Когда юбиляръ прибудеть, то вице-директоръ, подавъ ему руку, поведетъ въ предназначенный для торжества залъ, гдѣ участниковъ будетъ ожидать роскошно сервированный столъ.

4. По всуиленіи въ залъ, приступлено будетъ къ закускѣ, а по удовлетвореніи первыхъ позывовъ аппетита вице-директоръ предложитъ юбиляру за обѣденнымъ столомъ президентское мѣсто, самъ же сядетъ по правую его руку.

5. По лѣвую руку юбиляра займутъ мѣсто старшій изъ начальниковъ отдѣленій, а напротивъ — эзекуторъ, какъ непосредственный юбиляра начальникъ, лицо котораго, тоже не чуждое клозетовъ, должно непрестанно напоминать виновнику торжества объ истинномъ характерѣ его заслугъ на пользу отечества. Прочіе члены займутъ за столомъ мѣста по пристойности.

6. Во время обѣденнаго торжества имѣють быть предлагаемы тосты, произносимы рѣчи и прочитываемы поздравительныя телеграммы, при чемъ однако-жъ изъ пушекъ палимо не будетъ.

7. По окончаніи обѣда участвующіе въ торжествѣ перейдутъ въ сосѣдній залъ, гдѣ имъ будутъ предложены кофе, чай и ликеры. Съ этой минуты торжество принимаетъ характеръ семейный, и правила каковаго бы то ни было церемоналя перестаютъ быть обязательными.

Сверхъ того были приняты мѣры, чтобъ изъ провинцій, отъ подчиненныхъ мѣстъ и лицъ, присланы были ко дню юбилея поздравительныя телеграммы.

Повторяю: юбилей состоялся на славу. Юбиляръ возедалъ на президентскомъ мѣстѣ, вице-директоръ — по пра-



вую руку его и т. д. Послѣ ботвиньи прочтенъ былъ адресъ отъ имени департаментскихъ чиновниковъ, въ которомъ однакожь о клызетахъ не упоминалось, а говорилось о дѣятельномъ участіи юбиляра въ великой реформѣ замѣны курьерскихъ телѣжекъ пролѣтками. По выслушаніи этого адреса, вице-директоръ всталъ съ своего мѣста и торжественно провозгласилъ, что, вмѣсто громкихъ словъ, онъ публично цѣлуетъ любезнаго виновника торжества, желая тѣмъ заявить, что начальство никогда не оставалось равнодушнымъ къ его служебнымъ подвигамъ. Затѣмъ, по мѣрѣ разнесенія блюдъ, прочитываемы были поздравительныя телеграммы. Телеграмма директора департамента гласила: «Поздравляю любезнаго старичка и надѣюсь, что усерднымъ исполненіемъ обязанностей онъ и впредь не вынудитъ меня къ принятію противъ него мѣръ строгости. Директоръ Дуботолкъ-Увольняевъ». Телеграмма изъ Конотопа выражалась: «Поднимаю бокалъ за здоровье дорогого юбиляра. Увы! вотъ уже два дня, какъ напитокъ прекрасный Конотопа горитъ. Начальникъ конотопскихъ препонъ Свирѣловъ». Телеграмма изъ Ланшева: «Съ бокаломъ въ рукѣ шлю привѣтъ почтеннѣйшему Максиму Петровичу. Вчера сгорѣла половина Ланшева. Исправляющій должность начальника ланшевскихъ препонъ, помощникъ его Гвоздило». Телеграмма изъ Обояни: «Одинъ-на-одинъ съ бокаломъ вина возглашаю ура и многая лѣта высокочтимому юбиляру. Сегодня съ утра здѣсь свирѣствуетъ пожаръ; до сихъ поръ сгорѣло около ста домовъ. Извѣстный вамъ Скулобоевъ». А подъ самый конецъ обѣда пришла телеграмма изъ Θεодосіи, которая удивила всѣхъ своею загадочностью и имеемъ подписавшагося подъ нею. Содержаніе ея было слѣдующее: «При отличнѣйшей погодѣ (снужу въ одной рубашкѣ), въ виду плещущаго моря, съ бокаломъ въ рукахъ, восклицаю: да здравствуетъ! и никогда да не погибнетъ! Здравствуйте, почтеннѣйшій Максимъ Петровичъ! никогда не забуду вашего содѣяствія по доставленію мнѣ драгоценнѣйшихъ матеріаловъ къ исторіи русскихъ клызетовъ, первый корректурный листъ которой уже лежитъ передо мною. Пишу вашу біографію и помѣщу ее въ приготовляемый мною сборникъ біографій отличнѣйшихъ русскихъ людей. Два выпуска готовы. *Подписаль:* Вѣдровъ, старый воробей, одинъ изъ тѣхъ (спасшійся чудомъ), къ хвостамъ конихъ великая княгиня Ольга (вспомните трепарь, который 11-го іюля похотъ)

привязала зажженный трутъ и такимъ образомъ сожгла древній Коростень. За телеграмму уплачено изъ моей собственности восемь рублей, кои благоволите въ непродолжительномъ времени возвратить».

— Такъ вотъ вы съ какими знаменитостями знакомство ведете! — пошутить вице-директоръ, когда была прочтена замысловатая телеграмма.

— А много-таки этому господину Вѣдрову лѣтъ! — замѣтить старѣйшій изъ начальниковъ отдѣленія.

Начали считать, сколько прошло лѣтъ со времени сожженія Коростеня, но какъ учебника русской исторіи г. Погодина подъ руками не было, то ничего опредѣлительнаго сказать не могли.

— Старъ-старъ, а какъ былъ воробей, такъ воробьемъ и остался! — со вздохомъ сказалъ экзекуторъ.

Замѣчаніе это вызвало сначала общій смѣхъ, а потомъ и серьезныя размышленія о томъ, чѣмъ достославнѣе быть: старымъ ли воробьемъ или молодымъ, да орломъ. И такъ какъ во время этого орнитологическаго разговора вице-директоръ постоянно дѣлалъ иносказательныя движенія руками (какъ бы расправляя молодыхъ крылья), то было рѣшено, что удѣлъ молодого орла достославнѣе, нежели удѣлъ стараго воробья, хотя бы послѣдній былъ и изъ тѣхъ, которыхъ на мякини не обманешь.

— Сколько я на свѣтѣ ни живу — ни одного путнаго воробья на своемъ вѣку не видѣлъ! — сказалъ экзекуторъ: — сюда порхнетъ — клюнетъ... туда порхнетъ — клюнетъ... клюнетъ и чиркнетъ, словно и не вѣсть какое добро нашлетъ. А чтобы основательное что-нибудь затѣять — никогда! Я даже! такъ думаю, что онъ и самъ не разумѣетъ, что клюетъ и о чемъ чиркаетъ?

Такой судъ надъ воробьями всѣ нашли справедливымъ и, дабы подтвердить это заключеніе самымъ дѣломъ, сейчасъ провозгласили здоровье вице-директора, который въ отвѣтъ окончательно расправилъ крылья и обнялъ юбиляра.

Наконецъ обѣдъ кончился, и участники торжества перешли, согласно церемоніалу, въ другой залъ, гдѣ ихъ ожидали чай, кофе и ликеры. Тутъ, чувствуя себя уже достаточно выпившими, всѣ единодушно приступили къ юбиляру съ просьбой, чтобы онъ поразсказалъ кое-что изъ видѣннаго и слышаннаго имъ въ теченіе многолѣтней служебной карьеры. Нѣкоторое время юбиляръ находился въ недоумѣніи, какъ бы спрашивая себя: да что же бы

однако могъ видѣть и слышать? Но потомъ, сдѣлавши надъ собою нѣкоторое усиліе, онъ отыскалъ въ памяти нѣсколько очень интересныхъ воспоминаній, которыми и по-дѣлился съ нами.

— Скажу вамъ, господа, — такъ началъ онъ: — что всѣ мои начальники были, такъ сказать, на одно лицо: всѣ — генералы и всѣ начальники. Одно только отягчѣе вижу: прежнее начальство какъ будто проще было, а потомъ чѣмъ дальше, тѣмъ все больше и больше ожесточалось.

— Надѣюсь однако-жъ, любезнѣйшій, что замѣчаніе ваше не относится до нынѣшняго начальства? — перебилъ вице-директоръ, нѣсколько обиженный этимъ вступленіемъ.

— Про нынѣшнее начальство, ваше превосходительство, сказать ничего не могу, но вообще — это дѣйствительно, что старину начальники были обходительнѣе.

— Очень любопытно. Напримѣръ, генералъ-майоръ Безпортошнаго-Волка? ха-ха! — иронически замѣтилъ вице-директоръ.

— Ваше превосходительство! по человѣчеству-съ! — нимало не робѣя, возразилъ почтенный юбиляръ. — Конечно, они словами не дорожили; какое слово первое попадется на языкъ, то и выкинутъ, — да вѣдь тогда это въ модѣ было. И на парадахъ, и на смотрахъ, вездѣ эти слова доносились-съ! Зато, когда, бывало, опять въ свой видъ войдутъ, то даже очень обходительны были. Скажу, напримѣръ: любилъ они, этотъ самый генералъ Безпортош-ный-Волкъ, снину себѣ чесать, а объ стѣну пеловко-съ: неравно мундиръ замараютъ. Вотъ и кличутъ, бывало: «Севастьяновъ! встань, братецъ!» Ну, встанешь это, они прислонятся къ плечу, свое дѣло потихоньку о косякъ справятъ... Гдѣ, смѣю спросить, такого обхожденія нынче сущень? А что я истинную правду говорю, такъ вотъ Анисимъ Ивановичъ (эксекUTORъ) — живой человѣкъ, можетъ сейчасъ засвидѣтельствовать!

— Это такъ точно, при мнѣ, ваше превосходительство, сколько разъ бывало! — послѣдствіемъ подтвердитъ Анисимъ Ивановичъ.

— Такъ вотъ оно и помянешь добромъ старину! — продолжалъ юбиляръ, дѣлаясь болѣе и болѣе словоохотливымъ. — Многіе послѣ того были, которые тоже на слова вниманія не обращали, а такихъ, чтобъ съ подчиненнымъ обхожде-ніемъ имѣть, такихъ уже не было!

Юбиляръ вздохнулъ и нѣсколько минутъ сидѣлъ потупившись.

— Расскажу вамъ, напримѣръ, такой случай про того же Безпортошнаго-Волка, — вновь началъ онъ. — Купилъ онъ въ ту пору себѣ арапа въ услуженіе, а супруга ихняя, какъ на грѣхъ, возьми да и роди, черезъ десять мѣсяцевъ послѣ того, сына — чернаго-пречернаго! Туда-сюда, какъ да почему — къ кому, какъ бы вы думали, онъ въ этомъ важномъ семейномъ случаѣ за утѣшеніемъ обратился? — А вотъ къ этому самому Севастьянову, который имѣеть честь вашему превосходительству докладывать! Да-съ! Призываетъ это меня: «Севастьяновъ, говоритъ, мнѣ сына-арачонка жена принесла! Какъ ты думаешь, отчего?» Ну, я, знаете, обробѣлъ-было, да ужъ, видно, самъ Богъ мнѣ внушеніе свыше послалъ. — Должно-быть, говорю, ихъ пре-восходительство какой-нибудь табачной вывѣски, во время беременности, испугались. — А тогда, знаете, у всѣхъ табач-ныхъ магазиновъ такія вывѣски были, на которыхъ бѣлыя нарисованы арапы съ предлиннымъ чубукомъ въ рукахъ. Ну-съ, хорошо-съ. Выслушали они меня и смотрятъ во всѣ глаза, словно понять хотятъ. «Стой, говорятъ наконецъ, какъ же это такъ? На вывѣскахъ арапы съ чубуками пред-ставлены, а мой-то арапчонокъ безъ чубука?» Ну, какъ онъ это сказалъ, такъ я ужъ увидѣлъ, что дѣло въ шляпѣ. — Ежели только за этимъ, ваше превосходительство, дѣло стало, говорю, такъ вѣдь чубукъ не дорого стѣить, сей-часъ же можно купить и младенцу въ ручку вложить! — И что жъ бы вы думали? Постоялъ онъ это, постоялъ, подумалъ-подумалъ: «ну, говоритъ, будь ты проклята, купи чубукъ!» Только всего и сказалъ, и хотя, быть-можетъ, и попятъ, что тутъ дѣло не однимъ табакомъ пахнетъ, однако тѣмъ только и удовольствовался, что арапа въ дальнюю де-ревню сослалъ, а кучерамъ приказалъ, чтобъ на будущее время барыню мимо табачныхъ магазиновъ отнюдь не возили.

Рассказъ этотъ возбудилъ бы общую веселость, если бы не вице-директоръ, который намекъ, что онъ только ком-прометируетъ начальство и вовсе не относится къ дѣлу.

— Вы говорили о какой-то снисходительности, — сказалъ онъ: — но въ чемъ тутъ снисходительность? — рѣшительно не понимаю!

— А какъ же, ваше превосходительство! Въ такомъ, можно сказать, семейномъ дѣлѣ — и какое довѣріе! А вѣдь

намъ какъ это довѣрие дорого, ваше превосходительство! Ахъ, какъ дорого!

— Не понимаю... Ну, а другихъ исторій у васъ нѣтъ?

— Разскажи-ка намъ, какъ тебя баронъ Эспенштейнъ на колѣняхъ Богу молиться заставлялъ!—вступился Анисимъ Ивановичъ, проницески прищуривая въ нашу сторону однимъ глазомъ.

— Заставлялъ—это точно, что заставлялъ. Доложу вашему превосходительству, что этотъ самый баронъ Эспенштейнъ, до поступления въ нашъ департаментъ, губернаторомъ состоялъ и былъ лютеранинъ. И случись ему однажды на усмиреніи въ одномъ помѣщичьемъ имѣніи быть, и узнай онъ отъ господина помѣщика, что главный пауститель всей смуты сестъ мѣстный священникъ. Хорошо! Недолго, знаете, думая, созвалъ онъ сельскій сходъ, посылалъ за священникомъ и, какъ только тотъ явился: «вѣлѣпить, говорить, ему двѣсти!» Не успѣли это оглянуться: ахъ-ахъ-ахъ,—анъ рабу Божьему что слѣдуетъ ужъ и отпустили! И точно, какъ только мужички увидѣли, что пастыри ихъ въ новый чинъ пожаловали, сейчасъ же и бунтъ прекратили, пошли на барщину, выдали зачинщиковъ—словомъ, все какъ слѣдуетъ. Ѣдетъ нашъ баронъ обратно въ губернію, Ѣдетъ и радуется, что ему удалось кончить дѣло миромъ. Да вдругъ, знаете, среди радостей и внемнилось ему, что вѣдь онъ, собственно говоря, духовное лицо тѣлесному-то наказанію подвергъ! Вспомнилъ и обробѣлъ. Какъ быть? Какъ дѣлу пособить? Думалъ-думалъ да и выдумалъ. Приѣхалъ домой и притворился, что чуть живъ. День лежитъ, а на другой, говорятъ, ужъ и при смерти. И было, сказываютъ, ему тутъ видѣніе. Явился будто бы къ нему мужъ свѣтлый и сказалъ: «Карлъ Ивановичъ! прими православную вѣру!» Сейчасъ къ архіерею, а тотъ, натурально, радъ: легко ли, какую красную рыбу въ сѣти изловилъ! Однако радъ, а процедуру свою все-таки исполнял, ноѣхалъ къ болящему и просилъ его не свѣинить, а обдумать дѣло хорошенько. «Подумайте, говорить, ваше превосходительство! вѣдь съ старой-то вѣрою разставаться не то чтобы чтò! Это—не сапоги!»—Такъ куда тебѣ! Вскочилъ нашъ больной съ постели, какъ встрепанный, да самъ же всѣхъ и торопить: «Увидите, говорить, ваше пресвященство, что съ меня зтъ ересь, какъ съ гуся вода, соскочитъ!» Ну, послѣ этого въ одночасье и окружили милостиваго государя! Только покуда все это дѣлалось, а поплъ

между тѣмъ, трюхи-трюхи, да тоже въ губернію явился. Приѣхалъ и прямо къ архіерею. Да не тутъ-то было. Не только архіерей никакой защиты ему не оказали, а на него же разгнѣвался. «Тебя, говорить, Провидѣніе орудіемъ такого дѣла избрало; а ты, говорить, еще жаловаться смѣешь!»

На этомъ мѣстѣ разсказчика прервалъ взрывъ смѣха, въ которомъ удостоилъ принять участіе и вице-директоръ.

— Ну-съ, такъ вотъ этотъ самый баронъ Эспенштейнъ, вскорѣ послѣ своего присоединенія, и назначенъ былъ къ намъ директоромъ. И повѣрите ли, ваше превосходительство, такъ изъ него вышелъ ревнитель, что, похище другого православнаго. Самое первое распоряженіе, которое онъ сдѣлалъ, въ томъ состояло, чтобъ чиновники каждый день къ ранней обѣднѣ ходили, а по субботамъ и ко всеночной. И ходили-съ; потому что всѣ приходы, гдѣ кто жилъ, переписали и всѣмъ церковнымъ причтамъ о распоряженіи своемъ сообщили для наблюденія. Мало этого: созвалъ департаментскихъ чиновниковъ и объявилъ, что впредь за всякую вину у него такое наказаніе будетъ: виноватъ—становись на колѣни! И дѣйствительно, чуть чтò, бывало,—сейчасъ звонить: позвать такого-то!—и тутъ же, при себѣ въ кабинетѣ, и поставить поклоны отбивать. Очень это сначала обидно было, ну, а потомъ обошлось. И вѣдь знаете, ваше превосходительство, поставить онъ на поклоны, а самъ сидитъ и считаетъ: разъ—два, разъ—два. Грѣшный человекъ, мнѣ-таки больше всѣхъ доставалось: я и въ департаментскомъ кабинетѣ и на квартирѣ у него чуть не во всѣхъ комнатахъ стаивалъ. Бывало, чуть запахнеть—сейчасъ: «Севастьяновъ! чѣмъ пахнетъ?» Ну, иной разъ сробѣешь, не такъ объяснишь—«а! говорить, посмотримъ, какъ ты своего Бога любишь!» И такимъ манеромъ жили мы съ нимъ пять лѣтъ, покуда до самого государя объ его чуделесіяхъ не дошло. Ну, натурально, въ отставку подать велѣли. И что-жъ бы вы думали, ваше превосходительство, до того онъ этою вѣрою распалился, что пуще да пуще, глубже да глубже—взялъ да черезъ два года въ расколъ ушелъ! Потомъ попомъ раскольничьимъ, сказываютъ, сдѣлался—такъ въ скитахъ и умеръ!

— Отлично! безподобно! ура юбиляру! ура!—воскликнулъ вице-директоръ, подавая знакъ общему восторгу.

Веселой толпой подбѣжали мы къ виновнику торжества, схватили его на руки и начали деликатно подбрасывать въ

воздухъ. По окончаніи этого чествованія онъ, натурально, сдѣлался еще словоохотливѣе, и когда вице-директоръ сказалъ ему:—А жаль, что вы не пишете своихъ мемуаровъ! очень, очень жаль! И полагаю, что ни въ одной странѣ... Да, именно, ни въ одной странѣ ничего подобнаго этимъ мемуарамъ не могло бы появиться!—то онъ, уже никакъ не вызываемый, усладилъ насъ еще новымъ рассказомъ изъ служебной практики.

— А вотъ я вамъ, ваше превосходительство, про Балахона, про Ивана Иваныча, доложу,—началъ онъ.—При чемъ, знаете, эта реформа клозетная въ первый разъ была введена,—ну, а онъ, признаваясь сказать, сначала не понималъ: думалъ, что въ томъ и реформа состоитъ, чтобы какъ есть въ одеждѣ, такъ и.. Вотъ только однажды слышимъ мы крикъ, гамъ преужаснѣйшій: «Севастьяновъ! Севастьянова сюда! Мерзавецъ!»—говорить,—всегда у тебя по службѣ несправности!» Бѣгу, знаете, оправдываюсь, показываю—ну, понималъ! «Извини, братецъ», говорить.

— Хо-хо!—разразился вице-директоръ.

— Ха-ха!—грянули мы.

Что потомъ было, я рѣшительно не помню Кажется, что юбиляра разъ пять качали на рукахъ, и что онъ послѣ каждаго чествованія рассказывалъ новую исторію. Вино лилось рѣкой, тосты слѣдовали за тостами. И вдругъ, въ ту самую минуту, когда всѣ чувствовали себя какъ нельзя лучше, юбиляръ совершенно неожиданно началъ говорить какія-то странныя рѣчи.

— Господа!—обратился онъ къ намъ:—очень я вамъ благодаренъ. Утѣшили вы старика. И обѣдъ и все такое...

— Урррааа!—подхватили мы.

— Только вотъ что сдается мнѣ; если бы вы заглянули въ ревизскія сказки любой деревни, то, навѣрно, сказали бы себѣ: сколько есть на свѣтѣ почтенныхъ людей, которые всѣ юбилейные сроки пережили и которыхъ никто никогда и не подумалъ чествовать! Никто, господа, никогда!

На этомъ мѣстѣ юбиляръ остановился и заплакалъ.

— И, стало-быть, всѣ наши юбилей,—продолжалъ онъ съвозъ всхлищиванія:—всѣ наши юбилей—одна собачья комедія... Да, именно такъ. Всѣ эти юбилей, коли вы, напримеръ, не дѣлите истинныхъ заслугъ... всѣ эти, значить, юбилей не стоятъ выдѣннаго яйца! И, значить, надо плюнуть на нихъ да растереть!..

И онъ плюнулъ направо и растеръ лѣвой ногой.

Я возвратился домой усталый, до краевъ наполненный винными парами, и тотчасъ же легъ въ постель. Въроятно, впрочемъ, заключительная сцена юбилей произвела на меня сильное впечатлѣніе, потому что она пѣкоторое время мѣшала мнѣ заснуть и потомъ дала содержаніе тѣмъ словидніямъ, которые тревожили меня въ послѣдующую ночь.

Въ самомъ дѣлѣ, думалось мнѣ, сколько есть на свѣтѣ людей, существующихъ какъ бы для того только, чтобы имена ихъ числились въ ревизскихъ сказкахъ! И сколько между ними есть лицъ вполне почтенныхъ и добродѣтельныхъ, которыя и понятія не имѣютъ о томъ, что за штука «юбилей»? О нихъ ли въ газетахъ не пишутъ, ни въ трубы не трубятъ, но этого мало: сами сограждане ихъ, т.-е. односельчане, смотрятъ на нихъ, какъ на людей обыкновенныхъ, и ни во что не вмѣняютъ имъ ихъ добродѣтелей, какъ будто добродѣтель есть вещь столь обыденная, что и заслуги составлять не должна! И умираютъ эти люди въ забвеніи, не слышавъ ни стиховъ Майкова, ни прозы Погодина... Справедливо ли это?

Увы! люди культуры (нынче всѣ русскіе помѣщики, занимающіеся раскладываніемъ грапшасьянса, разумѣютъ себя таковыми) жестоки и педальловидны. Они считаютъ ни во что этотъ безконечный муравейникъ, который кишитъ у ихъ ногъ, за предѣлами культурнаго слоя, или, лучше сказать, считаютъ его созданнымъ для того, чтобы быть попираемымъ культурными ногами. И въ то же время они едва ли даже понимаютъ, что каждый изъ членовъ этого муравейника живетъ своею отдѣльною жизнью, имѣетъ свои характеристическія особенности, свои требованія, свои идеалы. Если бы они поняли это, они убѣдились бы, что ихъ собственная культурная жизнь именно отъ того дѣлается все болѣе и болѣе скудною, что для нея закрытъ цѣлый міръ явленій, стоящихъ внѣ всякаго культурнаго наблюденія. Сколько узнали бы мы благороднѣйшихъ біографій! Сколько ихъ отличнѣйшихъ подвиговъ могли бы мы быть свидѣтелями! И какъ расширился бы нашъ умственный горизонтъ! И много ли нужно, чтобы достигнуть этого?—Нужно только почаще заглядывать въ ревизскія сказки и отъ времени до времени дѣлать начальственныя распоряженія о празднованіи юбилеевъ. Тогда передъ нами обнаружатся вещи неслыханныя и невиданныя, и мы воочію увидимъ героевъ, о которыхъ не имѣли понятія... Повторю: тыните пальцемъ въ любое мѣсто ревизскихъ ска-

зотъ и вы, навѣрное, попадете въ человѣка, о которомъ гораздо больше можно поразсказать, нежели даже о Севастьяновѣ.

Я знаю, мнѣ скажутъ, что народъ не слѣдуетъ баловать—согласенъ! Но развѣ это баловство?—Нѣтъ, это только справедливосты! Сбѣгите—слова мѣтлы! Но будьте же и справедливы! Ибо, въ противномъ случаѣ, получится односторонность, которая можетъ произвести сначала уныніе, а потомъ, пожалуй, и ропотъ...

Да, мы, представители русской культуры, несправедливы. Но мы ли одни?—Увы! всегда, даже въ тѣхъ странахъ, гдѣ дѣйствительно существуетъ культура, и тамъ несправедливость преслѣдуетъ инъкультурнаго человѣка. Вамъ показываютъ разные запустѣлые шлоссы, въ которыхъ когда-то жили культурный человѣкъ и оставилъ слѣды своего культурнаго существованія. Въ этихъ шлоссахъ до-днесь благоговѣнно сохранены всѣ подробности канувшей въ вѣчность жизни, лучи которой нѣкогда согрѣвали вселенную. Вотъ комната, въ которой такая-то маркиграфиня занималась оргіями съ своими любовниками; вотъ знаменитая тѣмъ-то постель; вотъ часовня, въ которой та же маркиграфиня, утомленная оргіями, искупала свои грѣхи, носила вериги (вотъ и самыя вериги), бичевала себя, проводила ночи на голомъ полу (вотъ ея покаянная спальня), обѣдала съ восковыми куклами, представляющими святыхъ (и куклы эти уцѣлѣли); вотъ наконецъ подземелье, въ которое сажали нагрубившихъ подданныхъ—прекрасно! Знаніе домашняго быта канувшихъ въ вѣчность маркиграфинь, конечно, имѣетъ свой историческій интересъ; но спрашивается, почему же представители культуры такъ ревниво сохранили во всей ихъ неприкосновенности старыя дворцы и замки—и не позаботились о сохраненіи хотя одного экземпляра мужицкаго жилья, современнаго этимъ дворцамъ и замкамъ?

Но на этотъ вопросъ я уже не далъ отвѣта, ибо мгновенно заснулъ...

Мнѣ снилось, что я присуствую на сходкѣ въ селѣ Везкормицынѣ, и что мужики обсуждаютъ, не слѣдуетъ ли отпраздновать юбилей старика Мосенча, которому 15-го іюля имѣетъ исполниться ровно пятьдесятъ лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ онъ несетъ рабочее тягло. Впрочемъ, собственно говоря, мысль объ юбилеѣ принадлежитъ не крестьянамъ, а мѣстному сельскому учителю Крамольникову и мѣстному

же священнику (изъ молодыхъ) Возсіющему, который немало-таки успѣлъ стоило пустить ее въ ходъ и настолько заинтересовать мужичковъ, чтобъ по такому необыкновенному поводу была собрана сходка.

И Крамольниковъ и Возсіющій были соединены узамъ умѣреннаго либерализма и питали сладкую увѣренность, что слова: «потихоньку да полегоньку»—должны быть написаны на знамени истинно-разумнаго русскаго прогресса. Рядомъ каждодневныхъ дружескихъ бесѣдъ, въ которыхъ принимала сочувственное участіе и молодая попадья, они пришли къ убѣжденію, что почтенное крестьянское сословіе до тѣхъ поръ не займетъ принадлежащаго ему по праву мѣста въ государственной организаціи, пока въ немъ не развито чувство самоуваженія. Отсутствие этого чувства влечетъ за собой цѣлый рядъ прискорбныхъ административныхъ явленій, каковы: рылобитіе, скулобитіе, зубо-сокрушеніе, неряшливое употребленіе непечатныхъ словъ и т. д. Отчего становой приставъ никогда не позволитъ себѣ назвать благороднаго человѣка курицинымъ сыномъ? Оттого, что у благороднаго человѣка, такъ сказать, на лицѣ написано, что онъ уважаетъ себя! Тогда какъ у мужика, при современной его неразвитости, и спина и лицо составляютъ какъ бы постороннія вещи, на которыхъ всякій можетъ собственноручно расписываться. И это многихъ приводитъ въ соблазнъ и служитъ источникомъ дурныхъ административныхъ привычекъ, которыя, при частомъ повтореніи, могутъ дискредитировать самую власть.

Слѣдовательно прежде всего нужно воспитать въ мужикѣ чувство самоуваженія, а потомъ уже постепенно переходить къ развитію чувства своевременной уплаты податей и повинностей и т. д. Но затѣмъ самъ собой возникаетъ вопросъ: какъ возбудить это чувство самоуваженія, отъ котораго въ столь значительной степени зависитъ будущее всего крестьянскаго сословія? Словесными ли внушеніями и теоретическими собесѣдованіями или какими-нибудь символическими дѣйствіями, которыя, такъ сказать, практически давали бы чувствовать мужику, что за нимъ числятся извѣстныя заслуги передъ государствомъ?

Сообразивъ и взвѣсивъ доводы pro и contra, Крамольниковъ пришелъ къ тому заключенію, что слѣдуетъ отдать предпочтеніе послѣднему способу, какъ наиболѣе доступному для мужицкаго пониманія и притомъ безопасному.

— Понимаете,—объяснилъ онъ Возсіющему:—разго-

варивать много не слѣдуетъ; во-первыхъ, объ разговорахъ становой пронохать можетъ, а во-вторыхъ, и мужикъ на слова не очень понятливъ; а надо такъ устроить, чтобъ мужикъ самъ, изъ сѣвленія обстоятельствъ, уразумѣлъ, въ чемъ суть. Понимаете?

— Очевъ даже понимаю,—отвѣчалъ Возсіяющій.

И вотъ, на первый разъ, Крамольниковъ предложилъ устройство юбилейныхъ торжествъ въ пользу такихъ крестьянъ, которые отличились долготѣпю твердостью въ бѣдствіяхъ; а дабы одна эта заслуга не показалась подозрительною, то предполагалось присовокупить къ ней еще: непоколебимость въ уплатѣ подомокъ и неукоснительность въ исполненіи начальственныхъ требованій, *зотя бы даже и личныя законнаго основанія.*

— Чудесно! — воскликнулъ Возсіяющій: — а ежели къ сему присовокупить приращеніе къ церкви Божіей, то, кажется, уже ничего предосудительнаго не будетъ!

Именно такимъ субъектомъ, который въ одномъ своемъ лицѣ соединялъ и непоколебимость въ уплатѣ подомокъ, и безотвѣтность, и набожность, представлялся старикъ Моселчъ. Онъ никогда не выпирывалъ ераженій, пятьдесятъ лѣтъ сряду неутомимо обрабатывалъ свой земельный участокъ, самоотворженно выплачивалъ подушныя, былъ битъ и не ропталъ, раза три въ жизни сидѣлъ въ тюрьмѣ и никогда не понитересовался даже узнать, за что онъ посаженъ, пять разъ заморзаль, тонулъ и однажды былъ даже совсѣмъ задавленъ. И за всѣмъ тѣмъ—одышался. Однимъ словомъ, это былъ такой человекъ, по случаю котораго самая подозрительная административная фантазія не наша бы повода разыграться.

Остановившись на этомъ выборѣ и заручившись сочувствіемъ молоденькой попадьи, оба друга прониклись такимъ энтузіазмомъ, что начали цѣловаться, и порѣшили приступить къ дѣлу по возможности внезапно, дабы становой претавъ ни подь какимъ видомъ не могъ его разстронть.

— А впрочемъ, ежели придется и пострадать,—въ восторгѣ воскликнулъ Возсіяющій:—то и пострадать за такое дѣло не стыдно! Такъ ли, попадьа?

— Я, батя, за тобой—всюду! Въ Сибирь, такъ въ Сибирь... что-жъ! —отвѣтила попадьа, зарумянившись подь влияніемъ мысли, что и она нѣчто значить въ механикѣ, затѣваемой двумя друзьями.

Одинъ только человекъ приводилъ друзей въ нѣкоторое

смущеніе: это волостной писарь Дудочкинъ. Это былъ закоренѣлый консерваторъ, который, сверхъ того, подозрѣвался въ тайныхъ сношеніяхъ съ становымъ приставомъ, но дѣламъ внутренней политики. И дѣйствительно, сношенія эти существовали, и онъ не только не скрывалъ ихъ, но не однажды имѣлъ даже гражданское мужество прямо произнести слово: «допесу!» Но что было въ немъ всего опаснѣе—это то, что онъ всѣ свои доносы обуславливалъ преданностью консервативнымъ убѣжденіямъ (онъ кончилъ курсъ въ уѣздномъ училищѣ и потомъ служилъ писцомъ въ уѣздномъ судѣ, гдѣ и понабрался кое-какихъ словъ).

— Нашъ народъ—пеучь! все одно: что стадо свиней, что народъ нашъ!—безпрестанно повторялъ онъ, и притомъ съ такимъ торжествомъ, какъ будто обстоятельство это и не-вѣсть какой бальзамъ проливалъ въ его писарское сердце.

На сочувствіе этого человека надѣяться было невозможно, но необходимо было, по крайней мѣрѣ, добиться, доносить онъ или не доносить. Но едва Крамольниковъ изложилъ ему (и притомъ въ самомъ невинномъ и даже административно-привлекательномъ видѣ) предметъ своего предпріятія, какъ Дудочкинъ тотчасъ же загалдѣлъ.

— Нсучь нашъ народъ! свинья нашъ народъ! не чествовать, а пороть его слѣдуетъ.

— Но... не преувеличиваете ли вы, Асафъ Ивановичъ?—какъ-то неувѣренно возразилъ Крамольниковъ.

— Нимало не преувеличиваю, а прямо говорю: пороть надо!—утвердился на своемъ Дудочкинъ.

Какъ ни безнадежны были эти мнѣнія, но Крамольниковъ уже и тому былъ радъ, что Дудочкинъ, высказывая ихъ, оставался на теоретической высотѣ и ни разу не употребилъ слово: «доносъ». Разумѣется, друзья наши какъ нельзя лучше воспользовались этимъ обстоятельствомъ. Не вывода спора изъ сферы общихъ идей, они прибѣгли къ той остроумной тактикѣ, которая всегда отлично удавалась угрѣненнымъ инсерамамъ, а именно: объявили Дудочкину, что, хотя мнѣній его не раздѣляютъ, но тѣмъ не менѣе не могутъ его не уважать.

— Главное дѣло въ мнѣніяхъ—искренность,—деликатно замѣтилъ Крамольниковъ:—и вотъ это-то драгоценное качество и заставляетъ насъ уважать въ васъ противника добросовѣтнаго, хотя и неуступчиваго. Но позвольте

однако сказать вамъ, почтеннѣйшій Асафъ Ивановичъ: хотя дѣйствительно у всѣхъ благомыслящихъ людей цѣль должна быть одна, но вѣдь пути къ достиженію этой цѣли могутъ быть и различны!

— То-то, что ваши-то пути глуше! — отрѣзалъ Дудочкинъ.

— Отчего-жъ бы однако не попробовать?

— Попробуйте! мнѣ что! вы же въ дуракахъ будете!

— Такъ, стало-быть, пробовать не возбраняется?

Вопросъ былъ сдѣланъ настолько въ упоръ, что Дудочкинъ на минуту остался безмолвнымъ.

— То-есть вы... это насчетъ доноса, что ли?—произнесъ онъ наконецъ.

— Нѣтъ, не то чтобъ... а такъ... искренность убѣжденій, знаете...

— Ну, да ужъ что тутъ! Сказывай прямо, донесешь или не донесешь?—вступился Возсіюющій, который съ нѣкоторымъ нетерпѣніемъ относился къ политиканству своего друга.

— Эхъ, господа, пустое вы дѣло затѣяли! — вздохнулъ Дудочкинъ.

— Ты не вадихай, а говори прямо—донесешь или не донесешь?—настаивалъ Возсіюющій.

Дудочкинъ нѣкоторое время уклонился отъ яснаго отвѣта; но когда друзья вновь повторили, что уважаютъ въ немъ противника искреннаго и добросовѣстнаго, то онъ не выдержалъ напора лести и общалъ. Однако уже и тогда Возсіюющій замѣтилъ, что, давая слово не доносить, онъ, яко Иуда, скосилъ глаза на сторону.

Заручившись обещаніемъ писаря, друзья немедленно приступили къ пропагандѣ своей идеи между крестьянами; сказали одному мужичку, сказали другому, третьему—отъ всѣхъ получили одинъ отвѣтъ: «Мосенчъ—мужикъ старый». Тогда настояли на томъ, чтобъ въ ближайшее воскресенье, послѣ обѣдни, была созвана сходка для обсужденія на міру предложенія о введеніи между крестьянами села Безкормицына обычая празднованія юбилеевъ.

Въ воскресенье, за обѣдней, Возсіюющій сказалъ краткое поученіе о пользѣ юбилеевъ вообще и крестьянскихъ въ особенности.

— Отличнѣйшая польза, отъ юбилеевъ происходящая,—сказалъ батюшка:—несомнѣнна и всѣми древними народами единодушно была признаваема. Юбилей возвышаютъ

душу чествуемаго, ибо они предназначаются лишь для лицъ воспрославленныхъ и знаменитыхъ; а чья же душа не почувствуетъ паренія, ежели познаетъ себя прославленою и вознесенною? Но, возвышая душу чествуемаго, юбилей въ то же время возвышаетъ и души чествующихъ, ибо, чествуя чествуемаго, мы тѣмъ самымъ ставимъ и себя на высоту высокостоящаго и дѣлаемся сопричастниками прославленію прославляемаго. Итакъ, братіе, потщимся и т. д.

Послѣ обѣдни состоялась и сходка. На нес, въ качествѣ сторонниковъ юбилей, явились Крамольниковъ и Возсіюющій, по тутъ же присутствовалъ и противникъ торжества, Дудочкинъ, по обыкновенію своему восклицая:

— Неучь—нашъ народъ! Свинья—нашъ народъ!

Сходка, впрочемъ, шла довольно вяло, во-первыхъ, потому, что крестьяне не понимали самаго предмета сходки, т. е. слова «юбилей», а во-вторыхъ, потому, что, повидимому, они даже и не интересовались понятъ его.

— Юбилей, господа, есть торжество, имѣющее значеніе коммеморативное,—началъ Крамольниковъ.

— Въ воспоминаніе творимое,—пояснилъ Возсіюющій.

— Ну, да, въ воспоминаніе; и ежели, напримѣръ, лицо даже крестьянскаго сословія извѣстно своими добродѣтелями, или повиновеніемъ начальству, или исправною уплатою податей и повинностей...

— Или же усердно посѣщать церковь Божию, творить добро ближнему, почитаетъ Божіихъ угодниковъ,—добавилъ Возсіюющій.

— Ну, да, и угодниковъ; и ежели онъ все это неослабляючи выдерживаетъ въ теченіе извѣстнаго періода времени...

— Періодомъ называется опредѣленное число лѣтъ, напримѣръ, пятьдесятъ. Но не возбраняется праздновать юбилей даже черезъ пятьсотъ и черезъ тысячу лѣтъ.

— Ну, да; такъ вотъ, ежели кто все вышесказанное въ теченіе пятидесяти лѣтъ выдержалъ...

— И не возронталъ...

— То сограждане этого человѣка устраиваютъ въ честь его торжество, чествуя, въ лицѣ этого человѣка, добродѣтель, трудъ и безнедомочную уплату податей.

— «Торжество»—или, лучше сказать, трапезу; «сограждане»—или, лучше сказать, односельчане...

— Ну, да; односельчане. Затѣмъ, господа, дѣло заклю-

чается въ слѣдующемъ: черезъ два дня одному изъ вашихъ согражданъ, или односельчанъ, почтеннѣйшему крестьянину Ипполиту Моисеевичу, исполнится шестьдесятъ восемь лѣтъ жизни. Въ этотъ самый день, будучи восемнадцатилѣтнимъ юношей, онъ вступилъ въ законный бракъ съ почтеннѣйшей супругой своею Ариной Тимофеевной и тѣмъ самымъ возложилъ на плечи свои рабочес тягло. Въ теченіе этихъ пятидесяти лѣтъ онъ ни разу не отступилъ отъ правилъ истинной крестьянской жизни и безирекословно принималъ всѣ ея невзгоды, всегда въ трудахъ, всегда въ потѣ лица добывая хлѣбъ свой...

— И память церкви Божію...

— Онъ прокармливалъ семью свою, не щадя ни силъ, ни крови своей...

— И ложе супружеское нескверно содеража...

— Никогда не задерживалъ податей, сидѣлъ въ острогѣ, былъ битъ... однимъ словомъ, въ совершенствѣ исполнилъ то назначеніе, которое въ совѣтѣ судьбъ предопредѣлено...

— Въ чемъ я, какъ пастырь, всегда готовъ засвидѣтельствовать...

— Такъ вотъ, въ этотъ-то достопамятный день пятидесятилѣтн, говорю я, не худо бы намъ, собравшимъ за братской трапезой, отъ лица всего міра засвидѣтельствовать почтеннѣйшему Ипполиту Моисеевичу то уваженіе, которое мы всѣ, и каждый изъ насъ въ особенности, шитаемъ къ его добродѣтели. По теплomu нынѣшнему времени трапезу эту, я полагаю, приличнѣе всего было бы устроить на вольномъ воздухѣ.

По окончаніи этой рѣчи, въ толпѣ произошелъ смутный говоръ. Мужики недоумѣвали. Во-первыхъ, имъ казалось страннымъ, почему добродѣтельный мужикъ Мосенчъ, пятьдесятъ лѣтъ сряду работая безъ отдыха и самоотверженно платя казенныя подати, всегда былъ въ законѣ, а теперь, когда онъ отъ старости уже утратилъ способность быть добродѣтельнымъ, вдругъ понадобилось воздавать ему какую-то честь. Во-вторыхъ, они опасались, не было бы чего отъ начальства за то, что они будутъ на вольномъ воздухѣ добродѣтель чествовать.

— Да и не до праздниковъ намъ!.. Шестьдесятъ восемь лѣтъ Мосенчу—лѣгкое ли дѣло! Тягло съ него снимутъ—вотъ и праздникъ! На печи будетъ лежать—пусть и празднуютъ тамъ!

Однимъ словомъ, дѣло непремѣнно приняло бы неблаго-

приятный оборотъ, если бы Дудочкинъ своимъ легкомысленнымъ вмѣшательствомъ не поправилъ его. По своему обыкновенію, онъ былъ грубъ и не дорожилъ словами.

— Не чествовать,—кричалъ онъ во все горло:—а пороть ихъ надо! поррротъ!

Крестьяне смолкли и некого поглядѣли на бѣснующагося писаря.

— Да, порротъ!—не унимался онъ:—а вы думали что? Неучъ—народъ! Свиныя—народъ! Нашии кого чествовать! Мужики обидѣлись окончательно.

— Ты чего, ворона, каркаешь?—обратился къ писарю нѣкоторые сельчаки.

— Порротъ, говорю! ничего вамъ другого не надобно!

— А мы развѣ за то тебѣ жалованье платимъ, чтобъ ты насъ свиньями обзывалъ?

— Жалованье я не отъ васъ, а изъ конторы получаю; не ваше это жалованье, а мое заслуженное. А что вы свиньи—это всякій скажетъ! И начальство васъ такъ разумѣетъ... да!

— То-то «да»! Давало напелся! Вотъ мы тебѣ жалованье-то прекратимъ—и посмотримъ тогда, какъ ты будешь дакать да въ кулакъ свистать!

— Такъ васъ и спросили! «Жалованье прекратимъ»! Ахъ, испугали! Сдерутъ, голубяки, не посмотрятъ!

— Православные! да что-жъ онъ надъ нами куражится! Ахъ ты, собачій отпрыскъ! Не люди мы, что ли, въ самомъ дѣлѣ?

Общественное мнѣніе вдругъ сдѣлало крутой поворотъ. Предложеніе Крамольникова и Возсіяющаго, которое готово было зачахнуть, совсѣмъ неожиданно получило всѣ шансы успѣха.

Воспользовавшись колебаніями, вызванными писаремъ, изъ толпы выскочилъ «ловкій человѣкъ» и сразу сорвалъ сходку.

— Православные!—крикнулъ онъ:—что на краивное съмя глядѣть! Согласны, что ли?

— Что-жъ, коли-сжели Мосенчъ два ведра выставить...—понутили кто-то.

Но на этотъ разъ шутка не имѣла успѣха. Подъ вліяніемъ горькой обиды, нанесенной писаремъ, мужички раскуражились. Даже умудренные опытомъ старики—и тѣ, обратясь къ Дудочкину, сказали: «тебѣ бы, прохвосту, надобно насъ на добро научать—анъ ты, вмѣсто того, что сдѣлать—только міръ взбунтовать!»



И, несмотря ни на какія противодѣйствія и угрозы псаря, сходка опредѣлила предложеніе Крамольникова прилясть, но съ тѣмъ, чтобъ въ трапезѣ онъ лично принялъ участіе вмѣстѣ съ священникомъ, а въ случаѣ чего—быть за всѣхъ въ отвѣтъ, какъ смутитель и бунтовщикъ.

— Праздновать такъ праздновать—хуже мы, что ли, людей!—говорили мужички:—только ужъ ежели что, вы насъ, господа, не оставьте! Мосенчъ, милости просимъ! Просимъ, почтенный!

Мосенчъ прослезился и отвѣчалъ, что онъ отъ міра не прочь.

— Что міръ прикажетъ, я все исполнить должнъ,—сказалъ онъ:—и ежели, наиримѣръ, міръ велитъ...

— Ну, ладно, ладно! чего еще каинтель тяпуть! раскошелитесь, господа! Покуда еще что будетъ, а выпить смерть хочется!—крикнулъ кто-то.

Черезъ минуту послышалось звяканье мѣдяковъ, а черезъ двѣ — бойкій кабатчикъ, со штофомъ въ одной рукѣ и стаканомъ въ другой, уже порхалъ между рядами крестьянъ и поздравлялъ сходку съ благополучнымъ рѣшеніемъ дѣла.

Крамольниковъ и Возсіяющій шли со сходки по направлению къ поповской усадьбѣ. Первый былъ задумчивъ и какъ будто даже недоволенъ.

— Подгадили — таки подъ конецъ! — сказала онъ печально. — Ну, что бы, кажется, отнести къ почину великаго дѣла крестьянскаго самоуваженія трезвенно, съ достоинствомъ, благородно? Нѣтъ, нужно же вѣдь было обт этой проклятой водкѣ вспомнить!

— Да, таки не забыли,—усмѣхнулся Возсіяющій.

— Такъ это горько! такъ это горько, батюшка! за прогрессъ въ отчаяніе придти можно!

— Ну, Богъ милостивъ. И всегда первую пѣсенку зардѣвшись поютъ! Какое дѣло вначалѣ не прихрамывастъ!

— Нѣтъ, батюшка, если они ужъ теперь ведро потребовали, то что же 15-го июля будетъ?

— Никто какъ Богъ! Загадывать впередъ нечего, а вотъ объ чемъ подумать да и подумать надо: какъ бы и въ самомъ дѣлѣ Дудочкинъ не донесъ, что мы превратными толкованіями народъ смущаемъ!

Крамольниковъ какъ-то подозрительно и въ то же время грустно взглянулъ на Возсіяющаго.

— Ослабѣваете, батюшка?—спросилъ онъ слегка взволнованнымъ голосомъ.

— Ослабѣвать не ослабѣваю, а изъ-за пустяковъ тоже... Попадью жалко, Іона Васильчъ!

Подозрѣнія, высказанныя Возсіяющимъ относительно Дудочкина, даютъ новый полетъ моей сонной фантазіи. Она незамѣтно переноситъ меня на край села Безкормицына, въ небольшую, но довольно опрятную избу, въ которой, судя по отсутствію двора и хозяйственныхъ пристроекъ, долженъ жить одинокій человѣкъ. И дѣйствительно, здѣсь, въ узенькой горничѣ, за столомъ, закапаннымъ кашлями черниль и сала, при слабомъ мерцаніи нагорѣвшей свѣчи, сидитъ волостной писарь Дудочкинъ.

Увы! онъ не выдержалъ и строчить въ эту минуту такого сорта бумагу:

«Господину приставу 2-го стана NN уѣзда.  
Волостного писаря Безкормицынской волости,  
Асафа Иванова Дудочкина

«Доношеніе.

«Случилось сего числа въ нашемъ селѣ Безкормицынѣ происшествіе, или, лучше сказать, образъ мыслей, имѣющій свойство подозрительное и даже политическое. Села сего учитель школы, Іона Васильевъ Крамольниковъ и священникъ Стефанъ Матвѣевъ Возсіяющій, и прежде сего замѣченные мною въ превратныхъ толкованіяхъ, возымѣли намереніе «свернуть» въ свою пагубу и нѣкоторыхъ изъ здѣшнихъ крестьянъ. А именно: кромѣ установленныхъ правительствомъ воскресныхъ и табельныхъ дней, дерзостно придумали ввести еще праздновать добродѣтели и другимъ мужицкимъ якобы качествамъ. Для чего избрали крестьянина здѣшняго села, Ипполита Моисеева Голопятова, въ лицѣ котораго добродѣтель будто бы преимущественное дѣйствіе свое оказала. И хотя на предложеніе означенныхъ Крамольникова и Возсіяющаго присоединиться къ ихъ образу мыслей я формально отозвался, и даже имъ съ приказательностью совѣтовалъ отъ сего отстраниться и жить тихо, согласно съ правилами, правительствомъ въ разное время изданными, но они въ намѣреніи своемъ остались непреклонными и только просили о семъ вашему благородію не доносить. Я же отъ исполненія таковой ихъ просьбы воздержался. И затѣмъ, собравъ оныя лица въ

сель нашемъ, сего числа, самовольную сходку изъ наиболѣе буйныхъ и извѣстныхъ закоренѣлостью крестьянъ, дѣлали имъ о той добродѣтели явное предложеніе, каковое предложеніе о добродѣтели и прочихъ мужицкихъ свойствахъ сходка приняла съ благосклонностью, ассигновавъ на празднованіе два ведра вина, а съѣстное и хлѣбъ каждый долженъ принести съ собою по силѣ возможности. И 15-го сего іюля долженъ быть у насъ сей новый праздникъ, «добродѣтелию» называемый, и чѣмъ оный кончится и въ чемъ будетъ состоять—того заранѣе опредѣлить нельзя. А какъ ваше высокородіе строжайше изволили мнѣ наказывать, чтобъ, въ случаѣ появленія въ пашей волости образа мыслей, немедленно о семъ доносить, то симъ оное и восполняю, опасаясь, какъ бы отъ праздниковъ сихъ не произошло въ нашемъ селѣ расколѣвъ и тому подобныхъ безчиствъ, какъ уже и было тому примѣръ въ прошломъ году, когда солдатка показывала простое гусиное перо, увѣряя, что оно есть то самое, которымъ подлинная воля подписана, и тѣмъ положила основаніе новой сектѣ, «пѣрушниками» называемой. И мое мнѣніе таково, чтобъ мужикамъ потачки не давать, но дабы они впослѣдствіи не могли отговориться невинностью, то дать имъ покуражиться и весь упомянутый образъ мыслей выиолнить, а потомъ и накрыть съ полчинымъ по надлежащему.

*«Волостной писарь Асафъ Ивановъ Дудочкинъ».*

Сонъ продолжается...

Полдень. Въ затинѣхъ, на огородъ избы богатаго безкорытскаго крестьянина, Василія Егорова Бодрова, разставлено нѣсколько столовъ, за которыми сидятъ человѣкъ до тридцати домохозяевъ, чествующихъ своего односельца, Ипполита Моисеича Голопятова. Голопятовъ президентствуетъ; по правую руку его сидитъ Крамольниковъ, по лѣвую—сельскій староста Иванъ Матвѣевъ Лобачевъ; напротивъ—хозяинъ дома и сотскій. Возсіяющій воздержался; онъ явился къ началу трапезы, благословилъ яствіе и питье и удалился подъ предлогомъ, что не подобаетъ пастыреви вмѣшиваться въ дѣла міра сего...

Мужичья чинно хлебають изъ поставленныхъ передъ ними чашекъ. Хлебають и въ то же время оглядываются и прислушиваются. Виновникъ торжества, словно бы передъ причастіемъ, надѣлъ синій праздничный кафтанъ и чистую

блугу рубашку; прочіе участники тоже въ праздничныхъ одеждахъ. Неподалеку отъ пирующихъ, у сосѣдней амбарушки, собрались старухи-крестьянки и гурторять между собой; изъ-за огороднаго плетня выглядываетъ толпа ребятшекъ, болтающихъ въ воздухѣ рукавами; съ улицы доносится звонъ хороводной пѣсни.

Долгое время молчаніе царствуетъ за столами, какъ будто надъ сотрапезниками тяготѣетъ смутное опасеніе. Уклончивость Возсіяющаго всеми замѣчна, и многіе видятъ въ ней недобрый знакъ. Къ великой собственной досадѣ, и Крамольниковъ не можетъ свергнуть съ себя иго неловкаго безмолвія, скованнаго уста и ума присутствующихъ. Онъ было-приготовилъ цѣлую рѣчь, но думаетъ, что въ началѣ трапезы произнести ее преждевременно. Надо сначала завести простую крестьянскую бесѣду, и Крамольниковъ знаетъ, что достигнуть этого очень легко: стѣбитъ только пустить въ ходъ подходящее слово, но этого-то именно слова онъ и не находитъ. Наконецъ—однако-жъ онъ убѣждается, что долѣе ждать невозможно.

— Жать, Василій Егорычъ, начали?—обращается онъ къ хозяину огорода такимъ тономъ, словно бы ему клецями давили горло.

— Мы-то вчера съ жалами, а другіе хотятъ еще погодить,—отвѣчаетъ Василій Егорычъ, не безъ гордости оглядывая собравшихся.

— Чего-жъ бы, кажется, годить! На дворѣ жары стоятъ—самая бы пора за жнитво приниматься!

— Съ силами, значить, не собрались, Иона Васильичъ. У кого силы побольше, тотъ впередъ ушелъ; у кого поменьше силы—тотъ позади остался.

— Это, ваше здоровье, такъ точно,—подтверждаетъ и староста:—коли-ежели у кого сила есть, у того и въ полѣ и дома—вездѣ исправно. Ну, а безъ силы ничего не подѣлаешь.

— Чтѣ безъ силы подѣлаешь!—отзывается сотскій.

— А вы, Ипполитъ Моисеичъ, какъ? скоро ли думаете начать жать?—втягиваетъ Крамольниковъ въ бесѣду виновника торжества.

— Надо бы, сударь,—скромно отвѣчаетъ Моисеичъ:—вчера въ поле ходили: самая бы пора жать!

— У насъ же, ваше здоровье, рожь сыпкая, слабкая. День ты ее перелусти, анъ, глядишь, третье зерно на полѣе осталось,—объясняетъ Василій Егорычъ, еще гордо

оглядывая присутствующих и какъ бы говоря имъ: «зѣ-  
вайте, вороны! вотъ я ужь, какъ у насъ весь хлѣбъ вый-  
детъ, съ васъ же за четверикъ два возьму!»

— Не пойму я тутъ вотъ чего,—недоумѣваетъ Крамоль-  
никовъ:—вы вѣдь землю-то по тягламъ берете; сколько у  
кого тягловъ въ семьѣ, столько тотъ и земли беретъ,—стало-  
быть, по-настоящему, сила-то у каждаго должна быть ровная.

— То-то что неровная: у одного, значить, одна сила,  
а у другихъ—другая.

— Это такъ точно,—подтверждаетъ староста.

— Воля ваша, а я это не понимаю.

— А въ томъ тутъ и причина, что у меня, значить,  
помочь вчера жали. Купилъ я, напримѣръ, мужикамъ  
вина, бабамъ пива,—ко мнѣ всякій мужикъ съ радостью  
бабу пришлетъ. Ну, а какъ у другого силы нѣтъ—и на  
помочь къ нему идти не весело. Онъ бы и радъ въ свое  
время работу сработать—анъ у него другихъ дѣловъ по  
горло. Покуда съ сѣномъ возжается, покуда что—рожь-то  
и утекаетъ.

— Страсть какъ утекаетъ!

— Опять и то: теперича, коли-сжели я въ заснѣе во-  
шелъ—я за цѣлое дѣло изъ дому не шелохнусь. А другой,  
у котораго силы нѣтъ, тотъ раза два въ недѣль-то въ го-  
родъ съѣздитъ. Высушить сѣнца, пабѣтъ возокъ и ѣдетъ.  
Потому у него дома ѣсть нечего. Смотришь—анъ два дня  
изъ педѣли и вонъ.

Въ рядахъ пирующихъ проносится глубокой вздохъ.

— Такъ-то, ваше здоровье, и объ землѣ сказать надо:  
одному она въ пользу, а другой сю отягощается. У меня  
вотъ въ семьѣ только два работника числится, а я земли  
на десять душъ беру: пользу вижу. А у Мосенча пять  
душъ, а онъ всего на двѣ души земли беретъ.

Крамольниковъ вопросительно взглядываетъ на винов-  
ника торжества.

— Дѣйствительно...—скромно подтверждаетъ послѣдній.

— Странно! вѣдь ему бы, кажется, еще легко съ ма-  
лымъ-то количествомъ справиться?

— То-го, сударь, порядковъ вы нашихъ не знаете. Коли  
постоящей силы нѣтъ—ему и съ огородомъ однимъ не  
управиться. Народу у него числится много, а загляни къ  
нему въ избу—анъ нѣтъ никого. Старый да малый. Тотъ  
на фабрику ушелъ; другой въ извозчикахъ въ Москвѣ жи-  
ветъ; третьяго съ подводой сотскій выгналъ; четвертый на

помочь, хонъ бы примѣрно ко мнѣ, ушелъ. Свое-то дѣло  
и упадетъ. Надо бы ему еще вчера свою рожь жать, анъ  
гляднись—его бабы у меня зажинали.

— Затѣмъ же онъ на сторонѣ работаютъ, коли у нихъ  
и своя работа не ждетъ?

— Опять-таки, ваше здоровье, вся причина, что вы на-  
шихъ порядковъ не знаете.

Такъ-таки на томъ и утвердились: «не знаете нашихъ  
порядковъ»—и дѣло съ концомъ.

Бесѣда на минуту упадетъ, но на этотъ разъ уже самъ  
Василій Егорычъ возобновляетъ ее:

— А я вотъ объ чемъ, ваше здоровье, думаю,—обра-  
щается онъ къ Крамольникову:—какая тутъ есть причина,  
что батюшка къ намъ не пришелъ?

— Право, не знаю,—нерѣшительно отвѣчалъ Крамоль-  
никовъ.

— А я полагаю: не къ добру это! Самъ первымъ за-  
тѣйщикомъ былъ, да самъ же и на понятный дворъ, какъ  
до дѣла дошло. Не знаю, какъ вашему здоровью пока-  
жется, а по-моему, значить, невѣрный онъ человекъ.

— Признаться сказать,—вступается староста:—и я вчера  
къ батюшкѣ за совѣтомъ ходилъ: какъ, молъ, собираться  
или не собираться завтра мужикамъ?

— Ну?

— Чего! и руками замахалъ: «не знаю, говоритъ, ни-  
чего я не знаю! и что ты ко мнѣ пристаешь!» Сказано: не-  
вѣрный человекъ—невѣрный и есть!

Крамольниковъ потупился: постунокъ Возсіяющаго горь-  
кимъ упрекомъ падаетъ на его сердце.

— Онъ у насъ, ваше здоровье, и до воли самый не-  
вѣрный человекъ былъ!—говоритъ кто-то изъ толпы.—При-  
знаться, наослѣдяхъ-то мы не въ миру съ помѣщикомъ  
жили. Вотъ и пойдутъ, бывало, крестьяне къ батюшкѣ:  
какъ, молъ, батюшка, слѣдуетъ ли теперича крестьянамъ  
на барщину ходить? Ну, онъ и скоситъ-это глазами, словно  
какъ и не слѣдуетъ. А черезъ часъ времени—глядимъ,  
онъ ужъ у помѣщика очутился, ужъ съ нимъ шуры да  
муры завелъ.

— Такъ ужъ ты смотри, Иона Васильичъ!—предупре-  
ждаютъ Василій Егорычъ:—коли какой грѣхъ—ты въ  
отвѣтъ!

— Да чего вы боитесь? Что мы наконецъ дѣлаемъ?—  
пробуетъ ободрить присутствующихъ Крамольниковъ.

— Ничего не дѣлаемъ; такъ промежду себя собрались: а все-таки, какова пора ни мѣра, насъ вѣдь не поглядятъ.  
— За что же?

— А здорово живешь—вотъ за что! Никогда, молъ, такихъ дѣловъ не бывало—вотъ за что! Мужикъ, молъ, полагается въ своей избѣ праздники справлять, а тутъ нутка... вотъ за что! Писаренокъ вотъ тоже: давеча, отъ обѣдни идши, я съ нимъ встрѣтился—и не глядитъ, рыло воротитъ! Стало-быть, и у него на совѣсти что-ни-на-есть нечистое завелось!

Въ это время на улицѣ раздается свистъ.

— А вѣдь это онъ, это писаренокъ насвистываетъ! Гляньте-ко, ребята, не ѣдетъ ли по дорогѣ кто-нибудь?

— Чего глядѣть! И на колокольню Минайку сторожа поставилъ: чуть что, говорю, сейчасъ, Минайка, бѣгитъ!—успокаиваетъ общество староста.

— Такъ ты ужь сдѣлай милость, Юна Васильичъ! Присимъ тебя: какъ ежели что, такъ ты выходи впередъ: я, молъ, одинъ въ отвѣтъ!

Крамольникову дѣлается грустно, и слова Возсіяющаго: «не стѣнй изъ-за пустяковъ»—неволью приходять ему на мысль. Но онъ еще бодрится, и даже самое пегодование, возбуждаемое маловѣріемъ крестьянъ, проливаетъ какую-то храбрость въ его сердце.

— Сказалъ, что одинъ за всѣхъ въ отвѣтъ буду,—и буду въ отвѣтъ!—говоритъ онъ твердымъ и увѣреннымъ голосомъ:—и не боюсь! Никого я не боюсь, потому что и бояться мнѣ нечего.

— А если ты не боишься—такъ и слава Богу! И мы не боимся—намъ что! Когда ты одинъ въ отвѣтъ—стало-быть, мы у тебя все одно какъ у Христа за пазухой!

Крестьяне успокаиваются и слово бодрѣ принимаютъ за ложки. На столахъ появляется вторая переѣвна хлѣбова и по стакану вина. Крамольниковъ подмигиваетъ однимъ глазомъ Василию Егорычу, который встаетъ.

— Ну, Мосенчъ, будь здоровъ!—провоолашаетъ онъ:—пятьдесятъ лѣтъ для Бога и для людей старался, пострайся я еще столько же!

— Мосенчу! Палитъ Мосенчу!—раздается со всѣхъ сторонъ:—пятьдесятъ лѣтъ здравствовать!

Винючникъ торжества видимо взволнованъ, хотя и старается казаться спокойнымъ. Блѣдное старческое лицо его

кажется еще блѣднѣе и словно чище; онъ тоже встаетъ и на всѣ стороны кланяется.

— Благодаримъ на ласковомъ словѣ, православные!—произноситъ онъ слегка дрожащимъ голосомъ:—а чтобъ еще пятьдесятъ лѣтъ маяться—отъ этого уже увольте!

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! Пятьдесятъ лѣтъ да еще съ хвостикомы!—настаиваютъ ширующіе.

Здѣсь бы собственно и сказать Крамольникову приготовить рѣчь; но онъ разсчитываетъ, что времени впереди еще много, и потому рѣшается предварительно проэкзаменовывать юбиляра. Съ этою цѣлью онъ дѣлаетъ ему точъ-въ-точъ такой же допросъ, какой левкій прокуроръ обыкновенно дѣлаетъ на судѣ подсудимому, котораго онъ, въ интересахъ казны, желаетъ подкузьмить.

— А что, Исполнить Мосенчъ,—говоритъ онъ:—много-таки, я полагаю, вы на своемъ вѣку видовъ видѣли?

— Всего, сударь, было,—просто и скромно отвѣчаетъ юбиляръ.

— Онъ у насъ и въ огнѣ не горитъ, и въ водѣ не тонетъ!—подсмѣивается староста.

— Какъ и всѣ, Иванъ Матвѣичъ.

— Ну-съ, а скажите, правду ли говорятъ, что вы нѣскольکو разъ замерзали?—продолжаетъ Крамольниковъ.

— Было, сударь, и это.

— А скажите, пожалуйста, какое это чувство, когда замерзаешь?

— То-есть какъ это «чувство»?

— Ну, да, что вы чувствовали, когда съ вами это случилось?

— Что чувствовать? По началу зябко, а потомъ—ничего. Словно бы въ сонъ вдарить. Послѣ хуже, какъ отгаивать начнуть. Я въ Москвѣ два мѣсяца въ больницѣ пролежалъ—вотъ и пальца одного нѣтъ.

Онъ поднимаетъ правую руку, на которой дѣйствительно вмѣсто третьяго пальца оказывается дыра.

— Какъ же вы работаете съ такой рукой? Вѣдь, я думаю, неспособно?

— Приспособился, сударь.

— Намъ, ваше здоровье, нельзя не работать,—поставляетъ свое слово Василий Егорычъ:—другого и всего болѣсть изломаетъ, а все ему не работать нельзя.

— Мы на работѣ, сударь, лѣчимся,—отзывается какой-то мужичокъ изъ толпы:—у меня напередъ совѣтъ поясища

отнялась; встала это утромъ—что за чудо? Согнись—разогнись не могу; разогнись—согнуться невмочь. Взяла косу да отмахалъ ею четыре часа сряду—и болѣзнь какъ рукой сняло!

— Да и работы по нашему хозяйству довольно всякой найдется,—поясилеть староста:—ежели одну работу работать неспособно—другая есть. Косить не можешь—сѣно съ бабами вороши; пахать нельзя—боронить ступай. Работа всегда есть.

— Какъ не быть работѣ!—откликаются со всѣхъ сторонъ.

— А вотъ говорить, что вы однажды чуть не утонули,—вновь допрашиваетъ Крамольниковъ:—что вы при этомъ чувствовали?

— Тоже въ сонѣ вдаряетъ,—отвѣчалъ юбиляръ:—начала барахтаешься въ водѣ, выпрыгнуть хочешь, а потомъ ослабнешь. Покажется мягко таково. Только круги зеленые въ глазахъ—словно слово.

— По какому же случаю вы тонули?

— Съ подводой въ ту пору гоняли; подъ солдатъ: солдаты шли. Дѣло-то осенью было, паводокъ случился—не остерегся, стало-быть.

— Ну, а пожары у васъ въ домѣ бывали?

— Бывали, сударь. Разъ десятокъ пришлось—таки милость Божью видѣты!

— У него, ваше здоровье, даже сынъ въ пожаръ стогрѣлъ,—припоминаетъ кто-то изъ толпы.

— И какой мальчишкѣ былъ шустрый! Кормилецъ былъ бы теперь!—отзывается другой голосъ.

— Какъ же это такъ? Неужто снасти не могли?

— Ночью, сударь, пожаръ-то случился, а меня дома не было, въ Москву ѣздить...

— Прибѣгаютъ-это мужички на пожаръ,—говоритъ староста:—а ошъ, сердечный, мальчишечко-го, стоять въ ошѣ, въ самомъ, значить, въ полымѣ... Мы ему кричимъ: срыгня, милый, срыгни! А онъ только пучонками рубашонку раздуваетъ!

— Не смѣшилъ еще, значить!

— И вдругъ-это закружился...

При этомъ рассказѣ Мосенчъ встаетъ и набожно крестится. Губы его что-то шепчутъ. Всѣ присутствующіе вздыхаютъ, такъ что на минуту торжество грозитъ принять печальный характеръ. Къ счастью, Крамольниковъ, помня,

что ему предстоитъ еще кой-о-чемъ допросить юбиляра, не даетъ окрѣпнуть печальному настроенію.

— А вотъ въ тюрьмѣ вы за что были?—спрашиваетъ онъ.

— Такъ, сударь, Богу угодно было.

— Мы вѣдь въ старину-то бунтовщики были,—поясняетъ Василій Егорычъ:—съ помѣщиками все воевали. Ну, а онъ, какъ въ своей-то порѣ былъ, горячій тоже мужикъ былъ. Иной бы разъ и позади людей схорониться пужно; а онъ впередъ да впередъ. И на поселеніе сколько разъ его сылали хотѣли—да отъ этого Богъ однако миловалъ.

— Не допустилъ Царь Небесный на чужой сторонѣ помереть!

— А безпремѣнно бы его сослали,—договариваетъ староста:—коли бы ежели сами господа въ немъ нужды не видѣли.

— Вотъ что!

— Именно такъ. Лѣсенкомъ онъ у насъ въ вотчинѣ служилъ. Лѣса у насъ здѣсь, надо прямо сказать, большуце были, а онъ каждый кусть зналъ, и чтобъ срубить что-нибудь въ барскомъ лѣсу безъ спросу—и ни-ни! Прута унести не дастъ! Вотъ господамъ-то и жалко. Пробовали было, и не разъ, его смѣнять, да не въ пользу. Какъ только провѣдаютъ мужики, что Мосенча итъ,—смотришь, алъ на другой день и порубка.

— Ну-съ, а помѣщики... хорошо съ вами обращались?—продолжаетъ допрашивать Крамольниковъ.

— Бывало... всякое...—отвѣчаетъ юбиляръ уже уставымъ голосомъ. Очевидно, что если бы не невозмутимое природное благодушіе—онъ давно бы крикнулъ своему себе-сѣднику: отстань!

— У насъ, ваше здоровье, хорошие помѣщики были: шесть дней въ недѣлю на барщину, а остальные на себя—хонь—гуляй, хонь—работай!—шутить староста.

— А послѣдній помѣщикъ у насъ Василій Порфирычъ былъ, отъ котораго мы ужъ и на волю вышли,—говоритъ Василій Егорычъ:—такъ тотъ, бывало, по ночамъ у крестьянъ капусту съ огородовъ воровалъ! И чудородъ вѣдь! Бывало, подкараулишь его: хорошо ли, молъ, вы, Василій Порфирычъ, этакъ-то дѣлаете? Ну, онъ ничего, словно съ гуся вода: «что ты! что ты!»—говорить:—ничего я не дѣлаю, я только такъ...» И сейчасъ это маритъ назадъ и даже кочки, ежели которые срѣзавъ, отдастъ!

— Болѣзнь, стало-быть, у него такая была!—отзывается кто-то.

— Ну-съ, Исполнить Моисенчу, а расскажите-ка намъ теперь, какъ вы женились?—какъ-то особенно дружелюбно вопрошаетъ Крамольниковъ и даже похлопываетъ юбиляра по козырьку.

— Что же «женился»? Женился—и все тутъ!

— Нѣтъ, ужъ вы по порядку намъ расскажите: какъ вы склонность къ вашей нынѣшней супругѣ получили, или, быть-можетъ, вашъ бракъ состоялся не по любви, а подъ вліяніемъ какихъ-либо принудительныхъ мѣръ? Знаете, вѣдь въ прежнее время помѣщички...

— Года выжили; на тягло надо было сажать... Известно—женить.

— Нѣтъ, ужъ, сдѣлайте одолженіе, по порядку расскажите!

— Года выжили—ну, староста пришелъ. «У Тимооел, говорить, дочь-дѣвка есть». Ну—женился.

— У насъ, ваше здоровье, не спрашивали, любя или нелюба дѣвка. Тимю, чтобъ было—и весь разговоръ тутъ!—объясняетъ староста.

— Такъ-съ; а подати и оброки вы всегда исправно платили?

— Завсегда... ни одной, то-есть, полушки... И барщина, и оброкъ... какъ естъ!—отвѣчаетъ юбиляръ и словно даже приходитъ въ волненіе при этомъ воспоминаніи.

— И, вѣроятно, тяжелымъ трудомъ доставали вы эти деньги?

Юбиляръ молчитъ. Ясно, что его уже настолько задѣли за живое, что ему дѣлается противно. Но староста оказывается словоохотливѣе и по мѣрѣ разумнѣя своего удовлетворяетъ любознательности Крамольникова.

— Это насчетъ тягостей, что ли, ваше здоровье, спрашиваетъ онъ:—и не приведи Богъ! Каторжная наша жизнь—вотъ что! Вынь да положь—вотъ какая у насъ жизнь! А откуда вынь—никому это, значить, не любовнато. Прошлый годъ я цѣлую зиму сѣно въ Москву возилъ: у помѣщиковъ здѣсь по разности скупаль, а въ Москвѣ продавалъ. И Боже ты мой, сколько я тутъ мученья принялъ! Бѣдешъ эта тридцать верстѣ цѣлую ночь, и спять-то, и глаза-то, тебѣ слышть, и вѣтромъ лицо жегеть—смерть! Ну, цѣлковый-рунь выгадаешь, привезешь изъ Москвы. А вашему здоровью со стороны-то,

чай, кажется: вотъ, молъ, мужичокъ около возочка погуливаетъ!

— Ну, пѣтъ, мнѣ... я вѣдь и самъ...

— Знаемъ, что не дворянской крови, а все-таки... Вы изъ приказныхъ, что ли?

— Отецъ мой былъ канцелярскимъ служителемъ... и тоже...

— Тоже, чай, по кабакамъ мужикамъ просьбы писалъ—что ему? Въ кабаки свѣтло, тепло... Сидитъ да перомъ поскребывается. Ну, а наше дѣло почище будетъ! И вѣдь чудо это! Маемя мы, масемя, а все какъ будто гуляемъ!

— Наша должность такая, что все мы на вольномъ воздухѣ, — скромно поясняетъ юбиляръ: — оттого и кажется, будто гуляемъ

— Косимъ—гуляемъ, сѣно ворошимъ—гуляемъ, пашемъ—гуляемъ!—отзывается кто-то.

— А ты сочти, сколько верстѣ хоть бы на паличѣ этого гулянья на наши пай достанется. Въ лѣтній день мужику—это бѣдно—полдесятины вспахать нужно. Сколько это, по-твоему, верстѣ будетъ?

— Да верстѣ двадцать слишкомъ.

— Ты вотъ двадцать-то верстѣ въ день порожняемъ по гладкой дорогѣ пройдеши и то запыхаешься, а тутъ по паличѣ иди, да еще налягъ на соху-то, потому она неравно въбѣтсея!

Мужики смолкли, словно призадумались. Крамольниковъ тоже облакачивается рукой объ столъ и ерошитъ себѣ волосы. Онъ чувствуетъ, что теперь самое время произнести юбилейную рѣчь.

— Неприглядное ваше житье, господа! — говоритъ онъ.

— Какого еще житья хуже надо!

Крамольниковъ встаетъ, держа въ рукѣ стаканъ съ виномъ. Онъ, видимо, взволнованъ; лицо блѣдно, плечи вздрагиваютъ, руки трясутся, волосы стоятъ почти дыбомъ.

— Господа! — говоритъ онъ, задыхаясь: — пью за здоровье почтеннаго, изнуреннаго, но все еще не забитаго и бодратаго русскаго крестьянства! Да, неприглядное, горькое ваше житье, господа! Вы слышали сейчасъ показанія почтеннаго юбиляра, вы слышали свидѣтельство и другихъ, не менѣе почтенныхъ и свѣдущихъ лицъ — и изъ всѣхъ этихъ показаній и свидѣтельствъ явствуетъ одно: горькое, трудное житье русскаго крестьянина! Можно сказать даже

больше: его жизнь полна таких опасностей, которые неизвестны никакому другому сословию. Чтобы убедиться в этом, прослѣдимъ судьбу его съ самаго начала. Онъ родится и съ первыхъ минутъ своей жизни уже составляет не радость и утѣшеніе, но бремя для своихъ родителей! Да, бремя; ибо ежели впоследствии тѣ же родители будутъ имѣть въ народившемся малюткѣ кормильца и поддержку ихъ старости, то вначалѣ они видятъ въ немъ только лишній ротъ и обременительную заботу, отвлекающую отъ выполнения главной задачи ихъ жизни: поддержки того бѣднаго существованія, которое, такъ или иначе, они обязываются нести. Ребенокъ безпомощенъ: онъ требуетъ ухода и попеченій; но какой же уходъ можетъ дать ему его бѣдная мать? Согбенная подъ лучами паллящаго солнца, она подрываетъ свои силы надъ скудною полоскою ржи; покрытая перлами пота, она ворошитъ сѣно и помогаетъ достойному своему мужу навить его на возъ; она встаетъ съ зарею и для всей семьи приготовляетъ скудную трапезу; она ѣдетъ въ лѣсъ за дровами, въ лугъ за сѣномъ, задаетъ кормъ скотинѣ, убираетъ се... И все это время ребенокъ остается безъ призора, мокрый, безъ лица, ибо можно ли назвать пищею прокислую соску, которую ему суютъ въ ротъ, чтобъ онъ только не кричалъ? Упомянуть ли о болѣзняхъ, которыя вслѣдствіе всего этого такъ часто поражаютъ крестьянскихъ дѣтей? Удивляться ли смертности, необходимой спутницѣ этихъ болѣзней? Крупъ, скарлатина, оспа, головная водянка — всѣ бичи человѣчества стерегутъ несчастныхъ малютокъ и нерѣдко похищаютъ у жизни цѣлыя поколѣнія!.. Нѣтъ, не болѣзнямъ, не смертности нужно удивляться, а тому, что еще находятся отдѣльныя единицы, которыя, по счастливой случайности, остаются жить. Жить — для чего? Для того, господа, чтобъ и дальнѣйшее ихъ существованіе продолжало быть искупительною жертвою, приносимою на алтарь отечества! Проходитъ годъ, два, три, крестьянскій малютокъ настолько выросъ, что можетъ уже стоять на ногахъ и лепетать кой-какія слова. Какія попеченія окружаютъ его въ этомъ нѣжномъ и опасномъ возрастѣ? Мнѣ больно, господа, но я долженъ сказать, что ничего похожего на уходъ тутъ не существуетъ. Та нужда, которая съ ранняго утра выгоняетъ изъ дома родителей ребенка, косвеннымъ, но очень рѣшительнымъ образомъ отражается и на немъ самомъ. Онъ дѣлается, такъ сказать, гражданиномъ деревенской

улицы, товарищемъ птицъ и звѣрей, которые бродятъ по ней, настолько же лишеныя призора, насколько лишены его крестьянскій малютокъ. Сообразите, сколько опасностей ожидаетъ его тутъ? Хищный волкъ, бѣшеная собака, прожорливая свинья — все находитъ его беззащитнымъ, все угрожаетъ ему безвременной смертію! Еще на-двухъ у насъ былъ такой случай, что пѣтухъ выключилъ глаза у крестьянской дѣвочки. Гдѣ, спрашиваю я, въ какомъ словѣн можетъ случиться что-нибудь подобное? Но крестьянскій малютокъ живучъ; онъ бодро идетъ впередъ по усѣянной терніемъ жизненной тропѣ и посмѣивается надъ жаломъ смерти, вездѣ его преслѣдующимъ, вездѣ готовымъ его настигнуть. Поднявши рубашонку, иленина по грязи или взявъ съ непокрытой головой въ дорожной пыли подъ лучами паллящаго солнца, онъ растетъ... Я хотѣлъ бы сказать, что онъ растетъ, какъ крапива у забора, но, право, и это было бы слишкомъ роскошно для него, ибо едва ли найдется въ цѣлой природѣ такой злакъ, котораго возрастаніе могло бы быть приведено здѣсь, какъ мѣрило для сравненія. Тѣмъ не менѣе онъ растетъ и крѣпнеть, и восьми лѣтъ дѣлается уже небезполезнымъ членомъ своей семьи. Онъ помогаетъ родителямъ въ болѣе легкихъ работахъ, онъ ищетуетъ своихъ маленькихъ сестеръ и братьевъ, наконецъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ онъ даже приноситъ семьѣ извѣстный заработокъ. Этотъ заработокъ — святой, господа! Вы, вѣроятно, слышали отъ священника вашего о лептѣ вдовицы и, конечно, умилились надъ разсказомъ о ней! Но сообразите, во сколько разъ святѣе и умильтельнѣе эта другая лепта, которую я назову лептою русскаго крестьянскаго малютки? Древле Авраамъ во славу Господню готовился принести въ жертву сына своего Исаака, и ангель Господень остановилъ руку его. Русское крестьянство каждый день приноситъ эту жертву, и — увы! — останавливающейъ руку ангель не прилетаетъ къ нему! Древле пророкъ, оплакивая судьбу святаго города, восклицалъ въ смятеніи души своей: «да будетъ забвенна рука моя, аще забуду тебя, Иерусалиме!» Нынѣ я, какъ учитель дѣтей крестьянскихъ, проведеній сладчайшія минуты жизни своей въ общеніи съ ними, во всеуслышаніе восклицаю: дѣти! русскія дѣти! да будетъ забвенна десница моя, ежели забуду часы, проведенные съ вами! Господа! пью за здоровье крестьянскихъ русскихъ дѣтей!

Голосъ Крамольникова прервался: онъ былъ до того

взволновать, что едва держался на ногах. Старушки, приблизившись к пирующим, чтоб послушать, что учитель таторитъ, стояли пригорюнившись, а нѣкоторыя и прослезались. Мужики говорили: «ну, вотъ, и спасибо тебѣ, ване здоровье, что ребятишекъ нашихъ вспомнилъ!» Черезъ нѣсколько минутъ однако-жъ Крамольниковъ настолько успокоился, что могъ продолжать.

— Я не буду представлять вамъ здѣсь, господа, — сказалъ онъ: — полную картину перехода русскаго крестьянскаго ребенка отъ ребячества къ юношеству. Это заняло бы у насъ много времени, недостатокъ котораго заставляетъ меня останавливаться лишь на самыхъ характеристическихъ подробностяхъ предмета, насъ занимающаго. Итакъ, перейдемъ прямо къ крестьянину-юношѣ и прежде всего займемся судьбой русскаго крестьянки. Признаюсь откровенно, мое сердце сжимается при одномъ имени русскаго крестьянки и сжимается тѣмъ больше, что часть тѣхъ тяжелыхъ веригъ, которыя выпали на долю ея, идетъ отъ васъ самихъ, господа. Я знаю, что въ этомъ фактѣ не столько виноваты вы сами, сколько ване горе, нужда, но я знаю также, что одинаковость горя и равная степень нужды должна бы послужить поводомъ для круговой поруки несчастія, а не для притѣсненія однихъ несчастныхъ посредствомъ другихъ. Пора бы подумать объ этомъ, господа. Пора сказать себѣ: мы несчастны, слѣдовательно наша обязанность подать другъ другу руку, а не раздражать другъ друга. Нѣтъ ничего безотраднѣе, даже безпримѣрнѣе существованія русскаго крестьянки. Начать съ того, что у нея почти нѣтъ дѣвчества. То, о чемъ поется въ пѣсняхъ подъ именемъ дѣвческой воли, продолжается не болѣе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, т. е. отъ конца лѣтней страды до январскаго мясоѣда, въ которомъ обыкновенно вѣнчаются крестьянскія свадьбы. Лѣтомъ — она была отроковица, зимою — она уже жена и работница. Да, именно работница, и останется ею во всю жизнь, ибо только немногимъ русскимъ крестьянкамъ удастся цѣною долготѣннаго искуса страданій кушнуть себѣ въ старости положеніе главы дома. Мало радостей у крестьянина, а у нея и совсѣмъ нѣтъ ихъ. Крестьянинъ все-таки отлучается на заработки, слѣдовательно видитъ свѣтъ Божій, чувствуетъ себя дѣйствующимъ и отвѣтственнымъ лицомъ. Крестьянка — на всю жизнь прикована къ семьѣ, на всю жизнь осуждена на безотвѣтность. Сознаться, господа, что ване обращеніе съ

женами и матерями потому только не заслуживаетъ названія жестокаго, что оно слишкомъ уже вошло въ нравы. А между тѣмъ, не будь въ домахъ вашихъ этихъ вѣковыхъ печальницъ, этихъ неутомимыхъ охранительницъ бѣднаго крестьянскаго двора, — вы не имѣли бы даже и тѣхъ скудныхъ жизненныхъ удобствъ, которыми пользуетесь теперь. Если жилища ваши имѣютъ видъ человѣческихъ жилищъ, если въ нихъ свѣтло и тепло, то и этотъ свѣтъ и эта теплота исходятъ исключительно отъ нея, отъ этой загубленной русскаго женщины, о которой недаромъ русская пѣсня поетъ:

День — денная ты печальница,  
Ночь — ночная богомолца!  
Вѣковѣчная сухотница.

Если вы не умираете съ голоду, если видите дворы свои не расхищенными, если не пропадаютъ, какъ ничтожное быліе, ваши дѣти, — этимъ вы обязаны все той вѣковѣчной сухотницѣ! Исторія отмѣтила много видовъ геройства и самоотверженности, но забыла объ одномъ: о геройствѣ и самоотверженности русскаго крестьянскаго женщины. Это — скромное, безпримѣрное геройство, никогда не прекращающееся, не ослабѣвающее: ни при первомъ крикѣ пѣтеля, ни при третьемъ. Это — геройство, замкнутое въ тѣсныхъ предѣлахъ крестьянскаго двора, но всегда стоящее на стражѣ и готовое встрѣтить врага. Не забудьте, что женщина по самой природѣ своей — существо слабое, существо, обреченное на болѣзнь; но русская крестьянка въ этомъ случаѣ составляетъ какъ бы исключеніе: для нея не существуетъ ни болѣзни, ни слабости, не потому, чтобъ она ихъ не чувствовала, но потому, что она не имѣетъ права чувствовать. Я сейчасъ упоминалъ о случаѣ, когда пѣтухъ выключилъ глазъ дѣвочки Марешѣ. Въ это время мать ея, Надежда Петровна, была въ лѣсу, верстѣ за пять, и рубила дрова. Изнуренная тяжелой работой, тѣмъ не менѣе она бѣгомъ пробѣжала эти пять верстѣ, и никто даже не удивился этому подвигу, ибо всѣмъ полималъ, что именно такъ должна была поступить русская крестьянка. Я не говорю о томъ, что ваши женщины суть устроительницы домовъ вашихъ, что работы, которыя онѣ несутъ, немногимъ легче тѣхъ, которыя вы сами несете, но есть одно обстоятельство, еще болѣе горькое, болѣе безотрадное. Онѣ раздѣляютъ всѣ тяготы ваши, всѣ неудачи, невзгоды и несчастія — и никогда не дѣлятъ



ваших радостей или удовольствий. Вы имѣете хоть какіе-нибудь всѣсѣмейные интересы; вы встрѣчаетесь съ новыми людьми, съ новою обстановкой; вы наконецъ, какъ я уже сказалъ разъ, можете, за вашъ личный страхъ, бороться съ невзгодой. Крестьянка лишена всѣхъ этихъ преимуществъ. Она даже бороться не можетъ, а можетъ только втихомолку проливать слезы. Въ продолженіе всей ея жизни у нея постоянно что-нибудь да отнимаютъ. Замужество отнимаетъ у нея мать и отца, заработки — мужа, рекрутчина — сына, совершеннолѣтіе дочери — дочь. И на всѣ эти критическія слѣбной судьбы она можетъ отвѣтить только слезами! Кто видитъ эти слезы? Кто слышитъ, какъ онѣ льются капля по каплѣ, подтачивая драгоцѣннѣйшее человеческое существованіе? Ихъ видите и слышите только русскій крестьянскій малютка, но въ немъ онѣ оживляютъ нравственное чувство и полагаютъ въ его сердцѣ сѣмена любви и добра. Школа материнскихъ слезъ — добрая школа, господа, и не утратить вѣры въ свою силу тотъ, кто воспитался въ этой школѣ. Но вы, господа, — я обращаюсь теперь уже къ вамъ, — вы, главы крестьянскихъ семействъ, что дали вы вашимъ женамъ и матерямъ взаменъ ихъ самоотверженности и любви? Видѣли ли вы ихъ слезы, знаете ли о нихъ? Я знаю, вы настолько совѣстливы, что не нужно даже ждать вашего отвѣта на мой вопросъ; этотъ отвѣтъ, павѣрное, осудитъ васъ. По этому поводу позвольте мнѣ еще разъ возвратиться къ уже высказанной мною прежде мысли. Господи! васъ ожесточаетъ горе и вѣчно преслѣдующая нужда, и, конечно, это въ значительной степени облегчаетъ вашу вину; но знайте, что въ кругу одинаково несчастныхъ людей горе и нужда должны быть сличивающимъ звеномъ, а не сѣменемъ раздора. Иначе самое существованіе сдѣлается невозможнымъ, и печезнеть всякая надежда на лучшее будущее. Вблизиите пристальнѣе въ слова мои, проверьте ихъ судомъ собственной совѣсти, и вы, павѣрное, сами придете къ тому, что относительная слабость женщины должна вызывать не презрѣніе къ ней, а ласку и покровительство. Вотъ почему я пользуюсь этою братскою трапезой, чтобъ возгласить тостъ за улучшеніе участи русской крестьянской женщины, охраительницы, устронительницы русской крестьянской семьи Ура!

Проникое «ура» отвѣчаетъ на вызовъ Крамольникова. Несмотря на нѣкоторую витѣватость его рѣчи, крестьяне

поняли сущность ея. А крестьянки даже весело улыбаются и громко выражали свое удовольствіе учителю за урокъ, данный мужьямъ и сыновьямъ. Ободренный успѣхомъ, Крамольниковъ продолжалъ:

— Теперь приступаю къ главному предмету моей бесѣды съ вами — къ русскому крестьянину. Изъ объясненій почтеннаго вашего односельца, котораго мы нынѣ вкупѣ чувствуемъ, вы сами видите, сколько онъ поднятъ трудовъ и сколькимъ подвергался опасностямъ. Увы! этотъ примѣръ не единственныи и не исключительный: вы всѣ находитесь въ томъ же положеніи, какъ и почтеннѣйшій Ипполитъ Моисеичъ. Я не говорю уже о крѣпостномъ правѣ, порождающемъ помѣщиковъ, которые, злоупотребляя своимъ положеніемъ, требовали отъ крестьянъ шестидневной изнурительной барщины, для которыхъ тѣлесное наказаніе было общаю формою отвѣщеній къ крестьянину, которые наконецъ доходили до такого малодушія, что по ночамъ воровали изъ крестьянскихъ огородовъ овощи. Крѣпостное право умерло и больше не возвратится. Но даже и теперь, когда, по манію Державнаго Освободителя, цѣпи рабства спали съ васъ, освободились ли вы отъ тѣхъ тягостей и опасностей, которыя на каждомъ шагѣ осаждаютъ существованіе русскаго крестьянина? Изъ словъ Ипполита Моисеича видно, что онъ не разъ былъ на одинъ волосъ отъ смерти: онъ замерзаетъ и тонуть. Своей ли охотой и для своихъ ли дѣлъ онъ рисковалъ въ этихъ случаяхъ жизнью? Нѣтъ, онъ, конечно, предпочелъ бы остаться дома въ теплѣ, чѣмъ тащиться съ подводой въ зимнюю выюгу и въ весеннюю росепель. Нужда выгоняла его изъ домашняго тепла. Но этого мало: Ипполитъ Моисеичъ, сравнительно, даже не много рисковалъ, ибо, по самому роду своихъ занятій, онъ могъ подвергаться только опасностямъ извѣстнаго характера, и притомъ хотя съ трудомъ, но все-таки отвратимымъ. А есть занятія, которымъ предается все то же почтенное крестьянское сословіе и при которыхъ рискъ жизнью составляетъ, такъ сказать, обыкновенную и почти неизбѣжную принадлежность. Стоитъ побывать лѣтомъ въ любомъ городѣ, чтобъ увидѣть штукатуровъ и маляровъ, вислицихъ на воздухѣ въ утайхъ садкахъ, кровельщиковъ, ползающихъ по крышамъ четырехэтажныхъ домовъ, каменщиковъ, стучащихъ молотомъ на необозримой высотѣ, носильщиковъ, взбирающихся съ тяжелою ношей по выстроеннымъ на живую нитку лѣсамъ. Стоитъ пострелять

по нашимъ деревнямъ и болотамъ, чтобъ увидѣть землекоповъ, роющихъ въ нѣдрахъ земли, торфяниковъ, работающихъ по поясъ въ водѣ. Стоить посѣтить первую плавную фабрику, чтобъ увидѣть цѣлый муравейникъ людей, снующій между колесами машинъ, изъ которыхъ каждое въ одно мгновенье можетъ превратить челоѣка въ массу крови и мяса. Малѣйшая неловкость, ничтожнѣйшее неосторожное движеніе — и челоѣкъ перестаетъ существовать. Но этого мало, что онъ умираетъ; онъ не просто умираетъ, а умираетъ безслѣдно. Ибо это даже не челоѣкъ: при жизни — это рабочая единица, часто неизвѣстная и неизменна; по смерти — это «мертвое тѣло». Выбывъ рабочая единица изъ строя — не пройдетъ мгновения, какъ она уже замѣнена другою. Киньте камень въ воду — пустое пространство, которое при этомъ образуется въ массѣ воды, конечно, немедленно заливаема, но все-таки вы видите нѣкоторое время на поверхности кругъ, который свѣдѣтельствуетъ, что здѣсь нѣчто произошло. Смерть крестьянина, зарабатывающаго свой хлѣбъ и свои подати на чужбинѣ, даже этого круга не оставляетъ по себѣ... Ни дѣла, ни памяти... Спрошу у всѣхъ честныхъ людей: чье существованіе можно сравнить съ этимъ безмолвнымъ геройствомъ, наградой которому служить одно забвеніе? Намъ часто приходится въ примѣръ жизнь солдата и тѣ опасности, которыми она окружена. Я соглашусь, что существованіе солдата благородно и самоотверженно, но, клянусь, на каждую пожертвованную солдатскую жизнь приходится по меньшей мѣрѣ сто пожертвованныхъ крестьянскихъ жизней! И не забудьте при этомъ, что солдатъ долженъ принести извѣстный характеръ угрожающей ему опасности, что онъ жертвуетъ собою, понимая, что эта жертва должна принести извѣстные плоды. Крестьянинъ — ничего не знаетъ. Онъ идетъ впередъ, потому что ему идти больше некуда, идетъ впередъ — и никогда не имѣетъ увѣренности, развернется ли не развернется подъ нимъ земля... Но, скажутъ мнѣ, случайныя опасности не могутъ же служить мѣриломъ для оцѣнки чьей бы то ни было жизни. Случайности могутъ встрѣтиться вездѣ, и ударомъ грома одинаково поражаетъ челоѣка, къ какому бы званію онъ ни принадлежалъ. Прекрасно. Но возраженіе это, очевидно, терзаетъ всякую душу тамъ, гдѣ опасность, такъ сказать, составляетъ край угольный камень всего челоѣческаго существованія, гдѣ она постигаетъ челоѣка до того легко, что представляется

крестьяне

уже не случайностью, а какъ бы неразрывною частью всея жизненной обстановки. Ударъ грома, конечно, безразлично убиваетъ челоѣка всякаго званія, но каждому понятно, что, напримѣръ, пастухъ, проводящій цѣлые дни въ полѣ и въ лѣсу, легче подвергается опасности быть убитымъ грозой, нежели челоѣкъ, который во всякое время можетъ укрыться отъ непогоды подъ кровлей надсипаго жилища. Но допустимъ однако, что это возраженіе, само по себѣ неправо, должно быть уважено. Оставимъ мнѣ случайно-стей и взглянемъ на быть русскаго крестьянина внѣ этой сферы, въ кругу такихъ занятій, которыя ужъ никакъ не могутъ быть названы случайными, но представляютъ собой естественную обстановку всея его жизни. Занятія эти суть: пахота, бороньба, молотьба хлѣба, сѣнокосъ, отвозка сельскихъ произведеній на базаръ для продажи и т. д. Всѣ эти занятія, какъ справедливо выразился одинъ изъ почтенныхъ нашихъ односельчанъ, имѣютъ издали видъ гулянья, но спросимъ себя по совѣсти, такъ ли это? Нѣтъ, это не гулянье, ибо для того, чтобъ вспахать полдесятины земли (обыкновенный дневной крестьянскій урокъ), нужно пройти пѣшкомъ не меньше двадцати верстъ по почвѣ, въ которой вязнутъ ноги, пройти, упираясь всею тѣлою въ соху. Это — не гулянье, ибо для того, чтобъ скосить одну пятую десятины луга (тоже дневной урокъ), нужно сдѣлать безчисленное количество взмаховъ косы, при чемъ напряженіе челоѣческихъ мышцъ равняется, по малой мѣрѣ, напряженію, дѣлаемому при поднятіи двухпудовой тяжести. Это — не гулянье, потому что во время сопровожденія воза до базара стужа захватываетъ дыханіе, снѣгъ лѣнитъ глаза, не говоря уже о физической усталости, которая неизбежна при нашихъ разстояніяхъ и которая не полагается ни во что. А рубка дровъ? а пилака теса и досокъ? а земляныя работы? Однимъ словомъ, куда бы я ни обратился, какъ бы ни старался отыскать крестьянское занятіе сколько-нибудь льготное — я ничего не нахожу. Вся жизнь крестьянина есть сплошная страда, хотя онъ самъ почтительно именуетъ это лѣтомъ, хотя онъ нѣтъ, не только лѣтомъ (лѣто — это крестный путь крестьянина), но круглый годъ, и зиму, и осень, и весну — никогда онъ не освобождается отъ ига страды. О, господа! я — челоѣкъ уже въ лѣтахъ, и мнѣ стыдно плакать, но я чувствую, что слезы неудержимо подступаютъ къ глазамъ

моимъ! Онѣ грозятъ прервать мою рѣчь въ самомъ началѣ ея, ибо передо мной стоитъ еще вопросъ громадной важности, котораго я до сихъ поръ не коснулся,—вопросъ о томъ, какія радости, какія удобства и льготы купилъ себѣ русскій крестьянинъ цѣною столькихъ опасностей и непопулярныхъ трудовъ?

Къ сожалѣнью, окончаніе рѣчи Крамольникова осталось для меня тайною, ибо съ этой минуты сновидѣнія мои приняли рѣзко-хаотическій характеръ. Я помню, что кто-то стремглавъ прибѣжалъ и голосомъ, исполненнымъ ужаса, крикнулъ: «Вдуть! Вдуть!» Я помню, что за этимъ крикомъ послѣдовала невообразимая панника, среди которой Крамольниковъ остался невозмутимымъ, и мнѣ показадось даже, что на его губахъ играла улыбка. Я помню звонъ колокольчика и потомъ еще чей-то голосъ: «а, голубчики!»... Затѣмъ все исчезло...

Утромъ я всталъ съ головою болью, и первую мою мысль было: а нѣтъ ли еще какого-нибудь помощника архиваріуса или главпоначальствующаго надъ курьерскими лошадьми, котораго бы тоже можно было поддѣзывать по части юбилейныхъ торжествъ?

## Похороны.

Скучно жить на свѣтѣ, господа!  
Гоголь.

Мы уныло шли за траурными дрогами, изрѣдка только перебрасываясь отрывочными замѣчаніями. Быть-можетъ, намъ не о чемъ было бесѣдовать другъ съ другомъ (хотя почти всѣ, составлявшіе печальный кортежъ, были по профессіи литераторы), но, можетъ-быть, и самая обстановка, среди которой совершалась погребальная церемонія, располагала къ угрюмой сосредоточенности.

Хоронили Пимена Коршунова, русскаго литератора, не особенно знаменитаго, но и не вовсе безвѣстнаго—такъ, средней руки. Хоронили на счетъ семидесяти пяти рублей, которые ассигновалъ Литературный Фондъ, предварительно, впрочемъ, удостовѣрившись, что покойный пилъ водку только передъ обѣдомъ и «не предавался». Стояло хмурое октябрьское утро, но, благодаря наступившимъ морозамъ, на улицахъ было сухо и слегка скользко; низко, почти надъ самыми домами, стояла непроглядная масса сѣрыхъ облаковъ, изъ которыхъ поархивалъ первый снѣжокъ. Близины по крови у Коршунова не было; изъ близинъ по духу собралось на похороны четыре-пять сотрудниковъ газеты, въ которой, подъ конецъ жизни, участвовалъ покойный. Эти послѣдніе ближе жались къ гробу, но и ихъ горесть формулировалась какъ-то черезчуръ несложно, словно одна только мысль и представлялась уму: «вотъ и умеръ!» Вообще весь кортежъ состоялъ изъ пятнадцати-двадцати человекъ, разбившихся по группамъ. Всѣмъ было не по себѣ, всѣ шли понуривши голову, какъ будто каждый думалъ: «вотъ скоро надорвусь и я... да и надъ чѣмъ надорвусь!» Только какой-то проворный газетчикъ, ликуя подъ

влечательнѣемъ успѣшной розничной продажи, порхалъ отъ группы къ группѣ и тиниственно сообщалъ всѣмъ, и хотѣвшимъ и не хотѣвшимъ слушать: «вчера разошлось двадцать восемь тысячъ нумеровъ!»

На Театральной улицѣ, противъ дома, гдѣ помѣщается цензурное вѣдомство, отслужили литію. Самъ покойный пожелалъ этого и наканунѣ смерти говорилъ: «пускай хоть по поводу моего переселенія въ лучший міръ совершится сближеніе литературы съ цензурой!» Во время литіи цензурный сторожъ пронесъ въ ворота ведро алыхъ чернилъ, и кто-то громко, безъ предварительной цензуры, сострилъ: «вотъ писательская кровь, невинно-проливаемая!» Но и эта острота ни въ комъ не вызвала отголоска, и затѣмъ кортежъ убійственно-медленнымъ шагомъ потянулся дальше.

Чувство безконечной отчужденности и паготы овладѣвало всякимъ при взглядѣ на эту бѣдную обстановку. Думалось, что везуть какого-то отщепенца, до котораго никому изъ «публики» дѣла нѣтъ (а онъ именно для «публики»-то и жилъ и ради «публики» безвременно зачахъ и сошелъ въ могилу). Да и своихъ не особенно поразила эта потеря, потому что «свои» ужъ давно освоились съ могилами. Даже больше чѣмъ просто «отщепенство» тутъ видѣлось: казалось, что только по ошибочному неизреченному благосердію допущена эта бѣдная церемонія, предметомъ которой служила совершенно особенная и притомъ не вполне безопасная человѣческая разновидность, именуемая русскимъ писателемъ.

По мѣрѣ того, какъ дроги приближались къ мѣсту назначенія (Митрофаніевское кладбище), кортежъ, и безъ того немногочисленный, постепенно рѣдѣлъ. Одни разбрелись по попутнымъ кондитерскимъ и кухмистерскимъ, обѣщавшись «нагнать»,—и не нагнали; другіе окончателно возвратились по домамъ, мотивируя свое отсутствіе спѣшностью предстоящей срочной работы. У Обводнаго канала оказалось налицо не больше шести-семи человѣкъ, которые прежде не догадались, а теперь ужъ сошлись. Обстоятельство это однако-жъ послужило къ оживленію кортежа; оставшіеся скучились, и бесѣда между ними пошла бодрѣе. Но предметомъ этой бесѣды служилъ не Пименъ Коршунъ («онъ умеръ»—этими все было сказано), а тѣ, что наболѣло на душѣ у каждаго, что у всѣхъ на памяти свело въ могилу десятки надорвавшихся людей, что каждаго изъ пережившихъ преслѣдовало по цѣлѣмъ, устраняя всякую

мысль о возможности освободиться когда-нибудь отъ эта жгучей боли.

О, литература! о, змѣя-мачеха, всѣхъ этихъ отщепенцевъ! ты, посылала! ты, наполяющая оцгомъ и желчью сердца своихъ дѣятелей, ты, ты была предметомъ ихъ внезапно оживившагося собесѣдованія! Много сѣтованій, много гнѣва слышалось въ ихъ рѣчахъ, но еще больше безконечной любви къ посылному ремеслу и какой-то дѣтской увѣренности, что все-таки только тутъ, на этомъ тернистомъ пути, кишачемъ всевозможными гадами, можно спасти душу.

Разумѣется, начали со слуховъ, имѣвшихъ ближайшее прикосновеніе къ современности. Какое отношеніе можетъ имѣть эта животрепещущая современность къ литературѣ? Чего нужно ждать? Будетъ ли лучше? Всѣ эти вопросы какъ-то искони фаталистически тяготятъ надъ литературой, а по временамъ врываются въ нее съ особенною назойливостью. Натурально, что они переносились и сюда. Кто-то изъ собесѣдующихъ высказался, что лучший времена недалеко, и что въ виду этого требуется только осторожность и терпѣніе; но остальные отнеслись къ этимъ надеждамъ скептически, хотя терпѣть соглашались, потому что «не терпѣть»—нельзя. Одинъ даже такой высказался, который прямо объявилъ, что надѣяться можно только на розничную продажу, а больше ни на что; что современные условія литературнаго ремесла таковы, что самое существованіе литературы представляется чѣмъ-то несомнѣннымъ съ здравыми традиціями о внутреннемъ убѣжденіи; что вообще, если относительно массы смертныхъ принято говорить: «благо живущимъ», то, въ прирѣченіи къ русскимъ писателямъ, правильнѣе выразиться такъ: «благо умирающимъ и еще большее благо—умершимъ». Высказавши это, онъ указалъ рукой на колебавшійся впереди на дрогахъ гробъ, и это напоминаніе невольно вызвало у нѣкоторыхъ чуть замѣтную дрожь.

— Я не говорю уже о томъ,—продолжалъ расхрипавшійся ораторъ:—что мы терпимъ отъ голода и труса, что мы живемъ чуть не въ засадѣ, но мы не знаемъ даже, для чего и для кого мы пишемъ. Кто насъ слышитъ и что извлекаетъ отъ ельщаций изъ обращенія къ нему слова? Многіе изъ насъ готовы положить душу (да и дѣйствительно полагаютъ ее) «за други своя», а кто знаетъ объ этомъ? Кто отличитъ страстнаго литературнаго труженника

отъ легковѣсной литературной балалайки, которая, по случаю распутой подвижности темперамента, готова сватать себя любому проходящему? Кому вдомѣтъ, что гдѣ-то, въ какой-то лишенной свѣта и воздуха литературной порѣ, ежесекундно совершается жертвоприношение, при которомъ сердце истекаетъ кровью и сгораютъ многострадальная писательская душа подъ бременемъ непосильныхъ болей?

Рѣчь эта несомнѣнно страдала нѣкоторыми риторическими преувеличеніями, но сущность ея была небезосновательна. Стали разыскивать: что такое русская публика? Изъ какихъ элементовъ она составляется? Кто эти прекрасные незнакомцы, ради которыхъ русскій писатель волнуется въ своей конурѣ? Съ какими намѣреніями они подписываются на журналы, покупаютъ книги? Что они вычитываютъ въ этихъ книгахъ? Можетъ-быть, видятъ въ нихъ только пресловутую «фигу»? А можетъ-быть, кромѣ «фиги» и видѣтъ-то нечего?

— Ахъ, господа, господа!—вздохнулъ кто-то, когда дѣло дошло до «фиги», какъ мѣрила для оцѣнки содержанія русской книги.

Что современная русская литература небогата сплави— это, конечно, не поддается сомнѣнію. Но не въ этой относительной бѣдности скрывается главная бѣда. Есть нѣчто гнетущее, что при самомъ рожденіи кладетъ на русскую мысль своеобразную печать. Литература наша и до-днесь представляетъ два совершенно отличные типа: съ одной стороны—недоконченность, невысказанность, боязнь; съ другой стороны—такая ясность, которая равносильна наглости, доведенной до разврата. Очевидно, въ воздухѣ носится еще крѣпостное право. Оно провело заповѣдную черту, подъ которой похоронило громадное количество явлений и закупило наглухо цѣлыя міриады существованій, которыя быются гдѣ-то на днѣ, тисцено усиливаясь выйти на Божій свѣтъ. И оно же вызвало и пригрѣло безчисленное множество литературныхъ паразитовъ, которые съ изумительнымъ легкомысліемъ вливаютъ ядъ распутства въ русскій жизненный обиходъ.

Да, крѣпостное право упразднено, но еще не сказано своего послѣдняго слова. Это цѣлый громадный строй, который слишкомъ жизненъ, непроницающъ и силенъ, чтобы всчезнуть по первому маху. Обыкновенно, говоря о немъ, раздумываютъ только отношенія помѣщиковъ къ бывшимъ крѣ-

постнымъ людямъ, но тутъ только одна капля его. Эта капля слишкомъ специфически нашла, а потому и приковала исключительно къ себѣ вниманіе всѣхъ. Капля устранилась, а крѣпостное право осталось. Оно разлилось въ воздухѣ, осветило нравы, оно изобрѣло пути, связывающіи мысль, поразило умы и сердца дряблостью. Наконецъ оно же вызвало цѣлую орду прихлебателей-хищниковъ, которыхъ дѣятельность такъ блестяще выразилась въ безчисленныхъ воровствахъ, банкротствахъ и всякаго рода распутствахъ.

Само начальство изнемогаетъ подъ бременемъ борьбы съ этимъ недугомъ. Возьмемъ для примѣра хоть литературу: кажется, ей дана самая широкая свобода, а между тѣмъ она бьется и чувствуетъ себя точно въ канканѣ. Во всѣхъ странахъ, гдѣ существуетъ точь-въ-точь такая же свобода,—вездѣ литература процвѣтаетъ. А у насъ? У насъ мысль, несомнѣнно умѣренная, на которую въ цѣлой Европѣ смотрятъ какъ на что-то обиходное, заурядное,—у насъ эта самая мысль коломъ застряла въ головѣ писателя. Писатель не знаетъ, въ какія чернила обмакнуть перо, чтобы выразить ее, не знаетъ, въ какія ризы ее одѣть, чтобы она не вышла ужъ черезчуръ доступною. Кутасть-кутасть, обманываетъ всевозможными околичностями и аллегоріями и, только исполнивъ весь, такъ сказать, сложный маскарадный обрядъ, вздохнетъ свободно и возмолвить: «слава Богу, теперь, кажется, никто не замѣтитъ!»

Никто не замѣтитъ? А публика? И она тоже не замѣтитъ? Ужели есть на свѣтѣ обиды болѣе кровная, нежели это нескончаемое эзопство, до того вопиющее въ обиходѣ, что нерѣдко сама эзопствующій перестаетъ сознавать себя Эзопомъ.

Дойдя до этого заключенія, все отдали полную справедливость либеральнымъ намѣреніямъ начальства. Не начальство стѣсняетъ—оно, напротивъ, само неустанно хлопочетъ,—стѣсняетъ сама жизнь, пропитанная ингредиентами крѣпостного права. Что можетъ начальство противу разнообразныхъ и всемогущихъ вліяній, которыя, подобно бесчисленнымъ электрическимъ токамъ, со всѣхъ сторонъ устремляются къ одному центру—литературѣ? Что можетъ оно въ виду громовъ, готовыхъ разразиться каждоминутно и невѣдомо по какому поводу? Что можетъ оно, наконецъ, въ виду того литературнаго распутства, которое ревниво комментируетъ мысль противника, а по временамъ не откажется и прилагать?

Вотъ почему покойный Коршунъ никогда не ронялъ на литературное пачальство, хотя, какъ человекъ гриппный, иногда и любилъ ввести его въ заблужденіе.

— Поддержать, братъ, насъ некому — вотъ въ чемъ бѣда! — сколько разъ говаривалъ онъ мнѣ: — читатель у насъ какой-то совѣтъ особенный! Слово непомнящій родства: ни любовь его, ни негодованіе — ничто въ грошъ не ставится!

Когда я напоминалъ объ этихъ словахъ покойнаго, то всѣ опять принялись разыскивать, изъ какихъ элементовъ состоитъ русская читающая публика. Перечисляли-перечисляли (выходило какъ-то удивительно разношерстно по внутреннему содержанію и однообразно по костюму) и въ концѣ концовъ опустили руки. Въ заключеніе рьяный ораторъ, который такъ краснорѣчиво говорилъ о писательскихъ жертвоприношеніяхъ, какимъ-то болезненно-надорваннымъ голосомъ крикнулъ:

— Читатель! Русскій читатель! Защити!

Но возгласъ этотъ потерялся въ шумѣ деревьевъ, охраняющихъ Митрофаньевское кладбище.

Мы были у цѣли. Церковь была полна народа и гробовъ. Гробы были почти сплошь бѣдные, — только одна усонная раба Вожия Пульхерія, 1-й гильдія купчиха, смиренно возвышалась на катафалкѣ, противъ самаго алтаря, въ богато изукрашенной домовнѣ. По ея поводу за обѣденей пѣли «хорошіе» пѣвчіе, и благодаря этому обстоятельству и Пиментъ воспользовался сладкогласнымъ пѣніемъ. Мы скромно поставили нашего друга поодаль и терпѣливо ожидали очереди. Нашелся добрый батюшка, изъ недавно кончившихъ курсъ, который посвятилъ себя умершему литератору и сказалъ по поводу этой смерти, увѣчавшей отверженное существованіе, отличнѣйшее, полное глубокаго состраданія слово. О, Пиментъ! Если бы ты могъ изъ своей домовины слышать эти простые, полныя любви слова, ты, навѣрное, по великой своей скромности, воскликнулъ бы: «батюшка! я человекъ маленькій и, право, рискую изъ-за меня...»

Наконецъ мимо насъ провесаи съ парадомъ усоншую 1-й гильдія купчиху Пульхерію, и церковь мало-по-малу начала цустѣть. Вынесли и мы своего покойника, или довольно долго между рядами памятниковъ и рѣшетокъ и наконецъ нашли уголокъ, въ которомъ готова была свѣжая могила. Черезъ полчаса все было кончено.

Съ кладбища мы зашли-было въ одну изъ ближайшихъ кухмистерскихъ, гдѣ обыкновенно устраиваются поминальные торжества, но минутъ съ пять потолкались передъ буфетомъ, поглазѣли на собравшуюся публику и, не совершивъ возліанія, разбрелсь по домамъ.

Я зналъ Коршунова довольно хорошо. Это былъ человекъ всецѣло литературный, жившій одною жизнью съ русской литературой, не знавшій никакихъ интересовъ, кромѣ интересовъ литературы, не вкусившій ни одной радости, которая не имѣла бы источникомъ литературу. Онъ съ жадностью сѣдиль за всѣми подробностями литературнаго движенія, за всякой литературной полемикой; онъ ничего не зналъ, ни съ чѣмъ не хотѣлъ имѣть общенія, кромѣ литературы. Пимѣ этотъ типъ мало-по-малу исчезаетъ, но еще въ недавнее время такихъ людей встрѣчалось достаточно. Я не могу сказать навѣрно, насколько цѣнны и существенны были интересы, ихъ волновавшие, но навѣрное знаю, что, только благодаря ихъ горячей преданности, ихъ беззабѣтной, не поддавшейся никакимъ невзгодамъ любви, ихъ самоотверженному долготерпѣнію, русская литература не прекращала своего существованія.

Эти люди на весь міръ смотрѣли лишь постольку, поскольку онъ представлялъ матеріалъ для литературнаго воздѣйствія. Многие, даже въ то глухое время, надъ этимъ посмѣивались. Говорили: «Вы все съ вашими мизерными литературными интересиками поситесь. Ну, чѣмъ такое ваша литературная безсильная стражня въ сравненіи съ главнымъ и неуспяющимъ движеніемъ административнаго механизма! Вотъ гдѣ истинный центръ жизни, вотъ гдѣ настоящее творчество! А задача литературы — забавлять и безвреднымъ образомъ занимать досуги читателей».

Въ то время такого рода приговоры считались безапелляционными. Въ любомъ указѣ губернскаго правленія предполагалось больше творческой силы, нежели, напримѣръ, въ произведеніяхъ Гоголя. И точно: указъ губернскаго правленія объявлялъ о рекрутскомъ наборѣ, напоминалъ о современномъ вносѣ податей, предписывалъ о пополненіи продовольственныхъ запасовъ, предупреждалъ, угрожалъ, понуждалъ. Словомъ сказать, и прямо, и косвенно врѣзывался въ жизнь множества людей: одними давалъ возможность тучиѣмъ, другихъ заставлялъ вытягиваться въ струнку. Напротивъ того, дѣйствіе повѣсти Гоголя, относительно боль-

шности читателей, ограничивалось только взрывом хохота и только въ рѣдкихъ случаяхъ производило что-то похожее на отрезвление. Но для того, чтобъ оцѣнить это отрезвление, надобно было самому быть уже достаточно трезвымъ.

Коршуновъ и подобные ему очень хорошо понимали, какая область имъ отмежевана. Они никакъ не обижались мнѣніями о ничтожествѣ литературныхъ «интересничковъ», въ сравненіи съ величественнымъ воздѣйствіемъ административнаго механизма, а просто приняты ихъ къ свѣдѣнію. Но зато они ушли въ раковину и уже упорно не выходили изъ нея. Однажды убѣдившись, что жизнь есть администрація, они относились къ ней отчасти робко, отчасти какъ къ чему-то фантастическому, заповѣданному и неподдающемуся анализу. Сонное видѣніе, которое подчасъ могло воплотиться и ушибить,—вотъ въ чемъ заключалось представленіе о жизни въ понятіяхъ тогдашнихъ литературныхъ пустынныхъ.

Все существованіе литературнаго подвижника проходило въ этой отчужденности, посреди которой душа человѣческая не знала иного идола, кромѣ литературнаго «дѣлания». Всѣ жизненные силы и привязанности были сосредоточены тутъ, а остальной міръ близкихъ по крови и воспитанію представлялся какъ бы безсодержательною формою, которая напоминала о себѣ лишь въ качествѣ докучнаго спутника, навязаннаго слѣпою судьбою. Но эти не особенно блестящіе труженики были люди свободные духомъ и иногда чистые сердцемъ, въ которыхъ литература нуждалась едва ли не больше, не жалея въ личностяхъ, бьющихъ въ глаза своею блестящею одаренностью. Повторю: если бы ихъ не было, литература перестала бы существовать. Они имѣли безповоротныя привязанности и безповоротныя вражды; они и любили и ненавидѣли одинаково беззаветно и страстно. Тогдашняя литература какъ-то сама собой подѣлилась на два лагеря, при чемъ не допускалось ни смѣшеній, ни компромиссовъ, ни эклектизма. Говорять, что это было одностороннее; но лучше ли было бы, если бы существовала разносторонность, — въ этомъ позволительно усомниться. По крайней мѣрѣ довольно странно представить себѣ Вѣлиискаго, отъ времени до времени конюхивающаго съ Булгаричимъ табачокъ. Во всякомъ случаѣ, если это и была односторонность, то она спасала литературу отъ податливости. Ежели и въ наши дни тяготивіе къ дому терпимости составляетъ, по мнѣнію нѣкоторыхъ,

язву, которая подтачиваетъ лучшія основанія литературной профессіи, то можно себѣ представить, что было бы если бы это тяготивіе существовало—тогда?

Къ счастью, тогда была замкнутость — явленіе, конечно, не особенно плодотворное, но охранявшее литературный декорумъ и положившее начало нѣкоторымъ литературнымъ традиціямъ, на которыя не безъ пользы можно ссылаться и нынѣ. Право, не безъ пользы.

Коршуновъ проявлялся почти исключительно рецензіями. Да болѣе любезнаго сердцу дѣла и подыскать было невозможно, потому что въ то время въ отдѣлѣ критики и библиографіи сосредоточивалась вся жизнь литературы. Писать не былъ «критикомъ», но рецензентъ изъ него вышелъ отличный: цѣпкій, обладавшій фразой и умѣвшій прятать копцы въ воду. Тогдашнія рецензіи были своего рода руководяція статьи, имѣвшія предметомъ не столько разбираемую книгу, сколько высказать по ея поводу совершенно самостоятельныхъ мыслей. Краткость не была въ числѣ достоинствъ этихъ статей, но зато въ нихъ всегда что-нибудь «проводилось». Разумѣется, очень часто (даже болѣе чѣмъ часто) проводимое, благодаря безчисленнымъ покровамъ, часть которыми оно скрывалось, было понятно только членамъ «кружка», но — случайно — оно могло проникнуть и далѣе. Я заранѣе соглашаюсь, что теперь ни на одну изъ этихъ статей никто не сошлется, что имъ суждено поконтиться безмятежнымъ сномъ въ тѣхъ толстыхъ томахъ, гдѣ онѣ увидѣли свѣтъ; но иногда все-таки сдается, что не безслѣдны онѣ были. Въ свое время нѣкто надъ ними задумывался; въ свое время онѣ производили въ челоуѣческихъ душахъ извѣстное наслоеніе, и притомъ непродически и все въ одну и ту же сторону. Что нынче онѣ совсѣмъ-совсѣмъ ненужны — это безспорно, но тогда...

Не надо забывать, что тогда совсѣмъ другое было. Движенія имѣли меньше простора, но зато они были, такъ сказать, поноволѣ пріурочены, такъ что область ангельская рѣзко отличалась отъ области аггелъской. Журналовъ и книгъ было меньше, но между ними не было межешковъ, которые сегодня кажутъ кукишъ въ карманѣ, а завтра раболѣпствуютъ. И хоть я не буду утверждать это навѣрное, но кажется, что и читатель мало-по-малу узналъ, въ чемъ заключается секретъ тѣхъ безконечныхъ баснословій, которыми отличалась литература того времени.

Нѣчего и говорить, что Коршуновъ былъ бѣденъ, какъ

Ирь. Тогдашній журнальный гонораръ очень мало походилъ на нынѣшній, да сверхъ того и самое поле литературной дѣятельности было до крайности ограничено. Трапеза, предлагаемая однимъ или двумя органами печати (изъ наиболѣе распространенныхъ, потому что прочіе сами едва дышали), была слишкомъ скудна, чтобъ напитать всѣхъ желающихъ. Поэтому тѣ, которые почерпали средства къ жизни только въ литературномъ ремеслѣ, положительно бѣдствовали. Коршуновъ былъ блѣденъ и тощъ отъ недостаточнаго и худого питанія, но онъ не только не жаловался на это, но просто, кажется, забывалъ, что существуетъ вирогородъ. Его волновало совсѣмъ другое: невозможность высказаться.

Цензура того времени была строгая и притомъ разнообразная, разбросанная по всевозможнымъ вѣдомствамъ. Я не говорю, чтобы цензоръ были люди жестокіе, но они сами постоянно находились какъ бы на скамьѣ подсудимыхъ, потому что въ ихъ сторону отовсюду направлены были стрѣлы. Ежели прибавить къ этому, что, вслѣдствіе такой разбросанности цензуры, всякій (даже не цензоръ по профессіи) вычеркивалъ изъ корректуры или изъ рукописи все, что ему лично приходилось не по вкусу, то ясно будетъ, какъ мудро было проскользнуть.

Шипущая братія это знала, и потому всякій замахивался какъ можно шире, въ предвидѣніи, что ежели три четверти и будетъ выброшено, то все-таки хоть что-нибудь возвратится нетронутымъ. Даже Булгаринъ не пренебрегалъ этимъ приѣмомъ, потому что и въ отношеніи къ нему цензура была нелицеприятна. Конечно, никто не считалъ его «разбойникомъ пера», но такъ какъ и онъ могъ провратиться, то слѣдовательно и изъ-за него могла выйти «исторія». Сверхъ того, онъ былъ бѣльмою на глазу, потому что подсиживалъ писателей противоположнаго лагеря и, стало-быть, въ то же время подсиживалъ и цензуру, яко виновную въ слабости смотрѣніи. Цензоръ Крыловъ всѣмъ безразлично говорилъ: «я никакъ не желаю, чтобъ мнѣ изъ-за васъ лобъ забрили!» Это было очень похоже на шутку; но какая ужасная шутка! Когда Мусинъ-Пушкинъ былъ назначенъ попечителемъ учебнаго округа, то многіе цензоръ содрогались при одномъ именинаніи о немъ и зачеркивали всегда двѣ-три строки лишніе. Они усилялись попласть ему въ мысль, но вмѣсто того часто попадали на чауптвахту, откуда, какъ извѣстно, недалеко и до рекрут-

скаго присутствія. Это былъ тотъ самый Мусинъ-Пушкинъ, которому нѣкогда профессоръ Корловъ посвятилъ свой курсъ политическаго экономіи и въ посвященіи упомянулъ о всѣхъ чинахъ, должностяхъ, званіяхъ и орденахъ своего патрона. Вышла почти цѣлая страница, и я помню, что въ школѣ мы эту страницу пѣвали хоромъ на мотивъ «Вѣрую во единого». Вотъ какой это былъ строгій человекъ, что даже несомнѣнно либеральный партизанъ принципа laissez passer, laissez faire—и тотъ, какъ могъ, убожалъ его. Что же мудренаго, если корректура возвращалась къ автору не только изъязвленная и вся обшита красными чернилами, какъ кровью, но и доведенная почти до степени бормотанія. Въ тогдашнее время эти цензурныя проказы назывались «окошкми въ Европу».

Вотъ въ какомъ щекотливомъ положеніи находилась литература и какую изумительную школу обязывались пройти ея служители! Нынче все это замѣнено предостереженіями и арестомъ книгъ и журналовъ, что, конечно, несравненно удобнѣе.

И вотъ все, что не могло прорваться въ печать, высказывалось въ интимныхъ собесѣдованіяхъ, имѣвшихъ чисто-кружковой характеръ. Замкнутость и общія невзгоды удивительно какъ сближали людей. На эти бѣдные и скудные вечера такъ и тянуло. И несмотря на то, что почва для собесѣдованія имѣла характеръ чисто-отвлеченный, и что, благодаря общему единомыслію, критики почти не существовало, — все-таки скуки не чувствовалось. Участники расходились съ этихъ вечеровъ поздно, восторженные, полные ежели не намѣреній, то какой-то сладчайшей музыки. И будочники (городовыхъ тогда не было) не только не хватили ихъ, но добродушно улыбались, словно понимали, что эти люди совсѣмъ занапрасно терпятъ мѣку-мученскую отъ своего начальства, которое, въ свою очередь, такую же мѣку-мученскую терпитъ отъ своего начальства (это была цѣлая лѣстница). Да, тогдашніе будочники ничего не знали ни о подрываніи авторитетовъ, ни о потрясеніи основъ, о чемъ нынче всякій подчасокъ безъ малѣйшаго затрудненія на бобахъ разведетъ.

О, будочники и всѣхъ сортовъ квартальные добраго стараго времени! Да оскудѣетъ рука моя, если она напишетъ ледоброе слово о васъ! Миръ и благоволеніе да почіютъ надъ могилами вашими, если вы ужъ достигли пристани, и да удесятерится вашъ пансіонъ, если вы еще продолжаете пользоваться таковымъ.



Какъ бы то ни было, но Корнуновъ существовать. Три четверти этого существованія были поглощены вопросом: пройдетъ или не пройдетъ? Остальную четверть наполняли отвѣты: нѣтъ, не пройдетъ. Но иногда случалось нѣчто чудесное: прошло! совсѣмъ прошло! Это была радость; это были тѣ рѣдкіе солнечные, теплые дни, которые по временамъ прорываются и среди сумерокъ туманной петербургской осени.

Да, бывали сладкія минуты, доставляемыя и цензурою; но нужно было пройти сквозь цѣлый искусъ горячайшихъ испытаній, чтобъ ощутить эту случайную минутную сладость. Нынѣшняя печать не знаетъ такихъ минутъ, потому что она свободна.

Наконецъ наступила эпоха возрожденія. Радовались всѣ, а литература—по преимуществу. Изъ сферъ отвлеченныхъ, заоблачныхъ, она сходила на арену дѣйствительности, дѣлалась участницей жизненнаго праздника, будила общество, ставила вопросы и блюла за ихъ рѣшеніемъ. Да, блюла и даже дѣлала выговоры и замѣчанія. Отовсюду слысь сочувственные отголоски и присылались корреспонденціи, свѣдѣвшія довести до свѣдѣній блюстителей возрожденія, что

. . . . . зѣвъ проснулся,  
Весь проснулся, вѣткой каждой,  
Каждой птицей вострепнулся  
И весенней полною жаждой...

Литература гордилась этимъ пробужденіемъ, записывала на скрижаляхъ своихъ его признаки и приписывала себѣ инициативу его. Цензура, съ своей стороны, тоже не препятствовала общему веселью, хотя въ государственномъ бюджетѣ попрежнему назначалась соответствующая сумма на заготовленіе красныхъ чернилъ и карандашей. Въ концѣ концовъ веселье до того обострилось, что въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» г. Валентинъ Корнъ объявилъ прямо: «живемъ хорошо, а ожидаемъ—лучше», и съ этимъ девизомъ переехалъ въ Петербургъ, гдѣ и приступилъ къ редакціи «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей».

Пимель не то чтобъ порицалъ общее ликовавіе, а какъ бы держался въ сторонѣ отъ него. Это многимъ казалось страннымъ, а между прочимъ и мнѣ.

— Помилуй, голубчикъ,—говорилъ я ему:—какъ же ты не раздѣляешь общей радости! Сравни недавнее положеніе

русской литературы съ теперешнею почти свободой ея—и ты, конечно, сознаешься, что это ужъ не фантазматорія, а фактъ. Во-первыхъ, литература не имѣетъ надобности прибѣгать къ эзоповскимъ аллегоріямъ, а можетъ говорить яснымъ и выразительнымъ языкомъ. Во-вторыхъ, она смѣло выладываетъ пальцы въ родныя язвы и, не выжидая начальственныхъ по сему предмету мѣропріятій, сама предлагаетъ средства къ излеченію. Въ-третьихъ, она не только не трепещетъ передъ начальствомъ, но прямо сознаетъ себя силой, съ которой нельзя не считаться... Ужели это не побѣда?

На это онъ отвѣчалъ мнѣ не то уныло, не то загадочно:

— Такъ-то такъ, и я, конечно, вмѣстѣ съ прочими, очень признателенъ начальству за его благосклонную къ литературѣ снисходительность; но, признаюсь, одно обстоятельство тревожитъ меня.

— Что же тутъ можетъ тревожить?

— Боюсь я: гаду много въ литературѣ заведется. До сихъ поръ русскіе писатели держались особнякомъ; а если кто изъ нихъ и чувствовалъ въ себѣ поползновеніе къ податливости, то или совѣтился высказываться, или же принималъ, что въ результатѣ этой податливости можетъ быть только грошъ, такъ что, собственно говоря, и компрометировать себя не изъ чего. А теперь съ этой «практической ареной»—смотри какая скачка съ препятствіями пойдетъ! Изъ всѣхъ щелей бойцы вылезутъ, и всякій непременно будетъ добиваться, чтобъ ему дали возможность товаръ лицомъ показать! Ну, и насрамать.

Прежде всего это было несправедливо и даже какъ будто своекорыстно. Гадливость, высказанная Корнуновымъ относительно бойцовъ, выползающихъ изъ щелей, показалась мнѣ до того неожиданной, что въ головѣ моей невольно мелькнула мысль: ужъ не стоитъ ли онъ на стражѣ литературнаго единоторжія? Но не успѣлъ я надлежачимъ образомъ формулировать мой вопросъ, какъ онъ, Пимель, уже утащилъ его.

— Нѣтъ, я не объ этомъ,—сказалъ онъ совершенно наивно:—я не за кусокъ свой боюсь,—Христосъ съ ними, лускай конкурируютъ!—а за литературу. Право, за литературу!

— Но гдѣ же факты?—воскликнулъ я:—что даетъ поводъ сомнѣваться въ будущемъ нашей литературы?

— И фактами похвалиться не могу—времени для фак-

товъ еще мало, но имѣю предвидѣніе... Я вижу людей, лица которыхъ должны были бы потускнѣть, а между тѣмъ они сияютъ. Но мало того, что эти господа не чувствуютъ себя сконфуженными,—они, напротивъ, забѣгаютъ впередъ и о томъ только и думаютъ, какъ бы повычурнѣе лягнуть то, передъ чѣмъ они еще вчера, у всѣхъ на глазахъ, раболѣпствовали. Развѣ это не странно?

Въ виду подобныхъ предвидѣній, споръ, очевидно, утрачиваетъ всякую реальную почву, и поэтому возражать было бесполезно. Но, кромѣ того, оставался и еще вопросъ, который въ высшей степени тревожилъ меня: что же онъ, Пименъ, предполагаетъ дѣлать съ собой?

— Неужели же ты бросишь литературу?—спросилъ я.

— Нѣтъ, не брошу,—отвѣтилъ онъ:—во-первыхъ, дѣлаться мнѣ некуда; во-вторыхъ, чѣмъ же я лучше другихъ? а въ-третьихъ, и новость дѣла меня не страшитъ: стоять только привыкнуть да изловчиться—и все пойдетъ какъ по маслу. Вѣдь всѣ эти такъ-называемые «жизненные вопросы» таковы, что, право, любая курица можетъ о нихъ написать съ три короба руководящихъ статей.

— Да, но вѣдь и статьи въ такомъ случаѣ будутъ куринныя?

— А ты думалъ, что теперь потребуются статьи орлиныя?

Какъ ни странно были эти отвѣты, но они меня успокоили, потому что въ нихъ проглядывала покорность судьбѣ. Надо сказать при этомъ, что въ началѣ эпохи возрожденія Пименъ участвовалъ въ одномъ толстомъ журналѣ, но вскорѣ какъ-то такъ случилось, что журналъ прекратилъ существованіе, и вслѣдствіе этого представилась такая дилемма: или класть зубы на полку, или вступитъ на арену «живыхъ вопросовъ». Къ счастью, какъ разъ кетати, въ это самое время нашъ общій другъ, Меландръ Прелестновъ, затѣявъ въ Петербургѣ новую газету и устроивъ при ней Пимена въ качествѣ переводчика. Первые шаги Коршунова на этомъ повоѣ поприщѣ были, конечно, довольно робки и шершавы, но мало-по-малу онъ сталъ поправляться, поправляться—и черезъ мѣсяць такъ изловчился, что уже не оставалось желать ничего лучшаго. Однако, странное дѣло, всякій разъ, когда я принимался за чтеніе коршуновскихъ статей, меня почему-то такъ и обдавало какимъ-то специфическимъ куринымъ запахомъ...

Тѣмъ не менѣе, несмотря ни на возрожденіе, ни на куриный запахъ статей, Пименъ все-таки не утратилъ старой

привычки трепетать. Я помню, однажды онъ принесъ мнѣ статью, смыслъ которой заключался въ томъ, что ежели будочникъ накрылъ вора на мѣстѣ преступленія и не настолько физически силенъ, чтобъ одиночно стащить его въ кварталъ, то всякій мимоидущій обыватель немедленно обязывается оказать ему содѣйствіе. Статья была написана горячо, убѣжденно и даже нѣсколько назойливо, то-есть совоѣмъ такъ, какъ приличествуетъ страстно хлохчущей курицѣ. Положеніе слабосильнаго будочника, въ виду грозящей обществу опасности, было изображено такимъ перекатнымъ бурмицкимъ слогомъ (style perlé), какимъ умѣютъ писать только могиканы сороковыхъ годовъ; напротивъ того, обязанность мимоидущаго обывателя была обрисована кратко и отрывисто, штрихами рѣзкими, почти приказательными. Однимъ словомъ, такъ эта статейка была хороша, умѣстна и благовременна, что я тутъ же не преминулъ поздравить Пимена съ успѣхомъ.

И вдругъ онъ меня поразилъ.

— Хорошо-то хорошо,—сказалъ онъ:—я самъ понимаю, что по нашему мѣсту лучше не надо. Да вотъ въ чемъ штука: пройдетъ или не пройдетъ?

— Помилуй, любезный другъ!—разгорячился я:—да какое же наконецъ имѣешь ты право сомнѣваться въ этомъ? Могу удостовѣрить тебя, что не только пройдетъ, но даже, если позволительно такъ выразиться, пройдетъ съ удовольствіемъ!

— А помнишь, Булгаринъ говаривалъ: о дѣйствіяхъ и намѣреніяхъ начальства не слѣдуетъ отзываться не только въ смыслѣ порицанія, но *ниже въ смыслѣ похвалы*. Стало-быть, содѣйствіе слабосильному будочнику... Но позволь! прежде всего отвѣть мнѣ на вопросъ: имѣемъ ли мы право публично заявлять, что бываютъ слабосильные будочники?

— Почему же не заявить?

— Потому что это хотя и отдаленное, но тѣмъ не менѣе все-таки несомнѣнное порицаніе. Кто опредѣлитъ будочника?—квартальщикъ! Кто опредѣлитъ кварталнаго?—частный приставъ! А затѣмъ и пошло, и пошло. Вспомни-ка, какъ объ этомъ въ Булгаринѣ пишется?

— Тѣ Булгаринъ, а теперь...

— Нѣтъ, мой другъ, въ сущности, Булгаринъ отлично понималъ, въ чемъ тутъ суть. Ни порицанія, ни похвалы—вотъ истинный принципъ во всей чистотѣ. Потому что гдѣ есть похвала, тамъ есть ужъ разсужденіе, а гдѣ рассу-

жденіе—тамъ корень зла. Отъ разсужденія недалеко до анализа, отъ анализа—до порицанія. А потомъ пойдутъ несвоевременныя притязанія, подрыванія, потрясанія... Нашему брату-публицисту пужно азбуку-то эту пазнустъ зпаты!

— Какія однако-жь у тебя дѣлотноныя теоріи! Разумѣется, осторожность никогда не лишняя, но не слишкомъ ли ужъ ты пересолнилъ, голубчикъ? Вспомни, что теперь совсѣмъ другое время, что теперь всякое благонамѣренное указаніе, особливо ежели оно сдѣлано благовременно...

Однако, какъ я ни старался разувѣрить его, онъ такъ-таки и остался при своемъ: пройдетъ или не пройдетъ?

Разумѣется, прошло.

Вообще статьи его не только проходили, но и производили впечатлѣніе, такъ что одинъ статскій совѣтникъ искалъ даже случая познакомиться съ нимъ. Пимень самъ рассказывалъ мнѣ объ этомъ замѣчательномъ казусѣ.

— Принимай, братецъ, ко мнѣ на квартиру, рекомендую: статскій совѣтникъ Растопыриусъ. «Статьи ваши, говоритъ, превосходны, но, чтобъ онѣ окончательно сдѣлались образцовыми, необходимо привести ихъ въ соотвѣтствіе. Нужно, чтобъ мы познакомились съ нѣкоторыми видами и соображеніями, которые поставятъ васъ на настоящую точку. Не сдѣлаете ли вы, говоритъ, мнѣ честь пожаловать ко мнѣ на чашку чаю?»

Разумѣется, какъ человѣкъ робкій и подверженный начальству, Пимень не осмѣлился ослушаться. Онъ купилъ готовую фракную лару и пошелъ. Но тутъ произошло нѣчто неслыханное. Когда м-г Растопыриусъ подвелъ его къ м-ше Растопыриусъ, и когда послѣдняя протянула ему ручку, Пимень, вмѣсто того, чтобъ почтительно пожать эту ручку, бросился на хозяйку и обнялъ ее. И затѣмъ тотчасъ же упалъ въ обморокъ. Разумѣется, его немедленно же убрали. На этомъ попытка сближенія съ статскими совѣтниками и кончилась. Мало того: съ этихъ поръ Растопыриусъ даже открыто сталъ называть Пимена неблагонамѣреннымъ.

Но, кромѣ вопроса о томъ, пройдетъ или не пройдетъ, было и еще одно слово, которое не сходило у него съ языка.

— Гаду много! — непрерывно восклицалъ онъ: — гаду! гаду! гаду!

И называлъ по именамъ. Но, что всего хуже, я и самъ по временамъ становился втуникъ передъ его обличеніями. Дѣйствительно, хотя вполнѣ сформировавшихся, окон-

чательно созрѣвшихъ гадовъ въ то время еще пельзя было указать, но нѣчто намекающее ужъ было. Были, такъ сказать, гады ближайшаго будущаго, заявлявшіе въ настоящемъ только о безконечной продолжительности. Большинство ихъ копошилось въ газетахъ и, работая изо дня въ день, забывало сегодня, что говорило вчера, и заботилось лишь о томъ, чтобъ вышло бойко и залозисто. Понстиги это были совсѣмъ-совсѣмъ легкомысленные люди (по еще не распутные), хотя нѣкоторые изъ нихъ были несомнѣнно талантливы и пользовались извѣстностью.

Признаюсь, этими постоянными напоминаніями о гадахъ Пимень достаточно-таки смущалъ меня, а однажды даже поставилъ въ весьма щекотливое положеніе.

Подобно Пимену, и я, грѣшный человѣкъ, изрѣдка писывалъ передовыя статейки, но манера у меня была нѣсколько иная. Въ то время какъ Пимень мысленно облеталъ всю Европу и призывалъ во свидѣтельство древнія и новыя законодательства, чтобъ доказать, что будочникъ безъ свистковъ—все равно, что мужикъ безъ портковъ, я ту же мысль проводилъ товами двумя пониже. Я не прибѣгалъ къ громоздкой обстановкѣ; не блисталъ ученостью, но дѣйствовалъ по преимуществу съ помощью образовъ. Я изображалъ уныніе и безпомощность обывателей, отдаленныхъ на жертву грабителямъ, живописалъ отчаяніе будочника при видѣ безнаказанно убѣгающаго вора. и этой мрачной картинѣ противопоставлялъ другую, болѣе свѣтлую: картину спокойствія обывателей, достигаемаго однимъ введеніемъ свистка. И ежели «серьезныя» статьи Пимена находили многочисленныхъ сочувственниковъ, то и моя скромная манера имѣла своихъ поклонниковъ. У Пимена былъ статскій совѣтникъ Растопыриусъ (уроженецъ суровой Финляндіи), у меня—статскій совѣтникъ Раскаряка (уроженецъ благословенной Малороссіи), которому вдобавокъ уже дано было слово, что къ предстоящей Пасхѣ онъ будетъ произведенъ въ дѣйствительные статскіе совѣтники.

И вотъ однажды сидитъ у меня статскій совѣтникъ Раскаряка, и мы мирно бесѣдуемъ. Радуетъ происходящему, а въ будущемъ предаемъ сугубой радости. Онъ говоритъ:

— Но представьте, какія перспективы!

Я отвѣчаю:

— А за этими перспективами еще перспективы! И еще, и еще, и еще!

Словомъ сказать, жуируемъ.

Вдругъ вбѣгаетъ Пимель. Блѣденъ, волосы на головѣ растрепаны, глаза вылазуютъ изъ орбитъ, ничего не видятъ... Не видитъ даже статскаго совѣтника Раскаряку, который учтиво всталъ при появленіи его (чутьемъ узнавъ, что вошелъ публицистъ) и застылъ въ позѣ, ясно говорившей о готовности отрекомендоваться.

— Гады! гады! гады!—ниѣ себя рычалъ Пимель, держа себя за голову.

Первая мысль моя была: не прошло!

— Что такое? что случилось?—воскликнула я, бросаясь къ нему.

— На, читай!

Онъ подалъ мнѣ номеръ только-что начавшей выходить газеты «И шило бреетъ». Въ передовой статьѣ шла рѣчь о тѣхъ же самыхъ перспективахъ, о которыхъ мы только-что разговаривали съ статскимъ совѣтникомъ Раскарякою. Выразилось изумленіе передъ безконечностью перспективъ; бросался взглядъ на прошлое, и приподнималась завѣса будущаго; ставился вопросъ: выдержитъ ли наше молодое общество или не выдержитъ? Словомъ сказать, все виды и предположенія, сейчасъ проектированныя Раскарякою, были изложены почти съ буквальною точностью.

— Что-жъ тутъ такого... ужаснаго — изумился я:—не самъ ли ты, не даже какъ вчера, въ статьѣ о передачѣ пожарной части въ вѣдѣніе городскихъ думъ...

Но Пимель ничего не слышалъ и только восклицалъ:

— Ужасно, ужасно! ахъ, это ужасно!

Я привыкъ къ подобнымъ выходкамъ моего друга; но статскій совѣтникъ Раскаряка—не привыкъ. Онъ нѣкоторое время стоялъ въ перѣшности, словно прислушиваясь и соображая. И вдругъ онъ позеленѣлъ и какъ-то неприятно заерзалъ губами.

— Однако, милостивые государи, въ васъ блохъ-то еще довольно!—процѣдилъ онъ сквозь зубы и, не подавая мнѣ руки, гордо прослѣдовалъ въ переднюю.

Но чѣмъ же я-то тутъ виноватъ?!

Разумѣется, я не позволялъ себѣ ни одного слова упрека Пимелю, но въ глубинѣ души все-таки не могъ не сказать себѣ: такъ-то вотъ мы всегда! Безъ надобности раздражаемъ людей несвоевременными выходками, а послѣ жалуемся, что у насъ «не проходитъ»! А вѣдь отъ жалобъ, какъ извѣстно, одинъ шагъ и до раскаянія...

Къ удивленію моему, я впоследствии узналъ (Корниунъ самъ признался мнѣ въ этомъ), что точь-въ-точь такія же мысли волновали въ это время и Пимела, и что опъ, немедленно послѣ ухода Раскаряки, уже спохватился и началъ обдумывать на эту тему передовую статью для заграничнаго номера.

Я съ умысломъ останавливался на этомъ фактѣ, ибо онъ очень паидателент. Мы, писатели, вообще слишкомъ легко относимся къ статскимъ совѣтникамъ и подчасъ даже бываемъ склонны подтрунить надъ ними. Мы думаемъ, что статскій совѣтникъ—неважная птица, и что отъ нея литературѣ ни тепло, ни холодно. Но, къ сожалѣнію, это мнѣніе заключаетъ въ себѣ самое пагубное самообольщеніе.

Во-первыхъ, нѣтъ въ природѣ субъекта, относительно котораго русскій писатель могъ бы считать себя вполне безопаснымъ. Одни вліяютъ на него непосредственно, подвергая различнымъ непредвидѣностямъ и даже лишая средствъ къ пропитанію; другіе — вліяютъ посредственно, распространяя въ обществѣ слухи, что литература есть вертепъ, въ которомъ безчинствуютъ разбойники пера. Идетъ по улицѣ смѣшной прохожій, а ты, легкомысленный писатель, ужъ и цѣпляешься за него! А почему ты знаешь, какую тайну хранить въ себѣ этотъ смѣшной прохожій?!

Во-вторыхъ, что касается специально статскихъ совѣтниковъ, то отнюдь не слѣдуетъ забывать, что каждый изъ нихъ заключаетъ въ себѣ зерно дѣйствительнаго статскаго совѣтника, а дѣйствительный статскій совѣтникъ, въ свою очередь, предполагаетъ въ себѣ зародышъ такого пылнпаго цвѣта, одинъ видъ котораго можетъ сразу убить человѣка...

Все эти превращенія нужно предвидѣть, и вмѣсто того, чтобъ трунить надъ статскими совѣтниками, гораздо разсчетливѣе ихъ угождать, дабы они, взойдя на высоту величія и славы, помнили намъ это. Скажутъ, быть-можетъ, что изъ ста статскихъ совѣтниковъ девяносто девять, навѣрно, такъ и отцвѣтутъ въ этомъ чинѣ,—такъ стѣбитъ ли, дескать, съ ними церемониться? Допустимъ, что и такъ. Но если даже одинъ изъ сотни разовьется, какъ слѣдуетъ, то представьте, какое онъ дастъ отъ себя благоуханіе, и какъ это благоуханіе отзовется на литературѣ, смотря по тому, былъ ли расцвѣвшій субъектъ пренебреженъ или угоженъ въ скромномъ чинѣ статскаго совѣтника!

И еще скажу: прежде, нежели приступить къ насмѣлкамъ надъ статскимъ совѣтникомъ, необходимо соравнѣрить

свои силы и на всякий случай приготовить примичное отступленіе. Я не прорицаю раскаянія, но нахожу, что все-таки лучше вести себя такимъ образомъ, чтобъ и раскаяваться было не въ чемъ. Однако мы видимъ, что въ большинствѣ случаевъ (особенно въ газетномъ дѣлѣ) бываетъ совершенно наоборотъ. Иной газетчикъ одинъ разъ сгрубить, въ другой разъ сгрубить, видитъ, что ему сходить съ рукъ, а подписка между тѣмъ прибавляется, — начнетъ допускать даже прихоти. Все-то ему щемло, все не такъ, все надо переменить и даже вверхъ дномъ перевернуть. И вдругъ статскій совѣтникъ начинаетъ когти выпускать. Выпускаетъ-выпускаетъ... хлопъ! Какой, съ Божьею помощію, перевороты! Въ одно прекрасное утро читатель беретъ въ руки газету, въ надеждѣ, что статскаго совѣтника въ конецъ раскостятъ — и не вѣрять глазамъ своимъ. Оказывается, что въ одну ночь статскій совѣтникъ и выросъ, и похорошѣлъ, и поумнѣлъ, и что всѣхъ сомнѣвающихся въ этомъ слѣдуетъ признать людьми неблагонадежными и сокрушить.

Опять-таки повторяю: я и не говорю, что такіе возвраты на путь высокопочталаія неприличны или безсовѣстны. Но спрашивается: зачѣмъ предпринимать такія дѣйствія, въ конечномъ результатѣ которыхъ должна оказаться одна вонь?

Увы! Раскаряка высказалъ горькую истину! Много, ахъ какъ много водилось за Пименомъ блохъ! Непрерывно его щекоча и покусывая, эти блохи не давали его литературно-публицистическому дарованію развиваться въ томъ благовременномъ направленіи, которое во Франціи извѣстно подъ именемъ оппортунистскаго, а у насъ повсюду носятъ величку газетнаго легкаго поведенія.

Я знаю, впрочемъ, что Пименъ дѣлаетъ очень серьезныя усилія, чтобъ быть свободнымъ отъ блохъ. Всю жизнь находясь подъ гнетомъ нужды и зная твердо, что видъ легкаго поведенія нѣтъ дѣятельности, онъ затыкаетъ себѣ уши, чтобъ не слышать, зажималъ носъ, чтобъ не обонять, и закрывалъ глаза, чтобъ не видѣть. Обезнечивши себя такимъ образомъ, онъ строчилъ довольно свободно и привидѣлъ въ восторгъ статскаго совѣтника Раствошрѣуса. Но вдругъ, въ самомъ разгарѣ публицистическихъ затѣй, когда одна перспектива быстро смѣняется другою, когда въ нѣкоторомъ отдаленіи уже мелькаетъ чужъ не фалапстеръ (были же военныя поселенія), — его укусятъ «блоха». Пи-

мень вскакиваетъ какъ ужаленный, хратаетъ себя за голову, вопить: «это ужасно! ужасно!» — и бѣжитъ вонъ изъ дому. И нлется Богъ вѣсть гдѣ (быть-можетъ, на томъ самомъ Митрофаніевскомъ кладбищѣ, куда судьба привела его теперь) до тѣхъ поръ, пока «сладкая привычка жить» не возьметъ верхъ и не загонитъ опять домой, за постылый письменный столъ. Тогда онъ опять дѣлается смиренъ, опять начиналъ строчить и строчилъ до тѣхъ поръ, пока новая «блоха» не уязвила его...

Такъ и прошла вся эта жизнь.

Правда, что, благодаря усиліямъ, которыя Пименъ постоянно надъ собою дѣлалъ, «блохи» появлялись, сравнительно, довольно рѣдко; правда и то, что онъ ничгдѣ окрестъ не производилъ ни малѣйшей пертурбаціи; но вѣдь статскому совѣтнику Раскарякѣ нѣтъ дѣла ни до успій, ни до пертурбаціи; онъ догадывается, что «блохи» все-таки существуютъ, и говоритъ: «достаточно-таки еще въ васъ блохъ, милостивый Государь!»

Я помню, какъ Пименъ огорчился, когда нашъ другъ Менаандръ Прелестновъ впервые провозгласилъ въ своей газетѣ, что «наше время — не время широкихъ задачъ» (онъ сдѣлалъ это споряча, не предупредивъ Пимена).

— Слушай! читай! па, читай! — восклицалъ Коршунновъ, подавая мнѣ газеты: — говорилъ я тебѣ, что изъ этихъ «живыхъ вопросовъ» ничего, кромѣ распуцтва, не выйдетъ! Куда теперь идти?

Но я уже прежде прочелъ эту статью и, право, не нашелъ въ ней ничего «такого». Такъ, глупость — надо же о чемъ-нибудь писать! Поэтому я, насколько могъ, утѣшалъ Пимена.

— Ты преувеличиваешь, мой другъ! — говорилъ я. — Во-первыхъ, Менаандръ, открывая вопросъ о непригодности въ наше время «широкихъ задачъ», этимъ самымъ бросаетъ въ публику такую широкую задачу, надъ разрѣшеніемъ которой закружится не одна голова. Во-вторыхъ, если ты подозреваешь, что Менаандръ нарочно пустилъ фортель, чтобъ «прельстить», то это напрасно; онъ просто закидываетъ уду обществу мнѣнію и прочимъ газетчикамъ. Нужны ли широкія задачи или ненужны — это, конечно, бабушка на-двое сказала, но полемика по этому поводу навѣрное возникнетъ, и Менаандръ будетъ себѣ подъ сѣпію ея «украшать столбцы». Въ-третьихъ, наконецъ, никто тебѣ не мѣшаетъ въ завтрашнемъ номерѣ написать разъясненіе, какъ слѣдуетъ понимать и т. д.

Но горячая моя резона нисладо не утѣнили и поубѣдили его. Признаюсь, теперь, когда я разсуждаю хладнокровно, то понимаю и самъ, что Менандръ дѣйствительно поступилъ неладно. Въ известномъ смыслѣ для него было бы выгоднѣе поставить совѣтъ противоположный тезисъ, а именно: доказывать, что такъ какъ подробности и мелочи давно всѣмъ опротивѣли, то теперь-то и наступило настоящее время «широкихъ задачъ». Навѣрное «украшеніе столбцовъ» было бы достигнуто этимъ путемъ гораздо существеннѣе...

— И отъ кого вышла эта распутная фраза! — волновался Пимень:—отъ Менандра, котораго я считалъ послѣднимъ изъ могикановъ именно по части широкихъ задачъ («style perlé» — почему-то мелькнуло у меня въ головѣ)! Отъ Менандра, который зналъ лучшія времена русской литературы! Отъ Менандра, котораго всѣ обвиняли въ излишней цензурности и даже брезгливости! Отъ Менандра, который... Пѣть, это все отъ, все Гамбетта! Повѣрь, что лавры ораториста Гамбетты не дають Менандру спать.

Выказавшись такимъ образомъ и не вникая никакимъ убѣжденіямъ, онъ схватилъ шапку и убѣжалъ. Но все-таки, хоть частью, онъ послѣдовалъ-таки своимъ впечатлѣніямъ, потому что на другой день я уже читалъ въ газетѣ «разъяснительную» статью. Растолковывалось, что вчерашнее предостереженіе имѣло въ виду не тѣ широкія задачи, которыя дѣйствуя благотворно на умственный уровень общества, тѣмъ самымъ полагають начало полному развитію новыхъ и уже развѣшенныхъ формъ жизни, но тѣ, которыя имѣя лишь видъ «широкихъ задачъ», какъ волкъ въ овчарню, проникають въ публику съ цѣлью произвести въ ней замѣшательство. Статья принадлежала перу Пименя — и тоже... прошла! И чтѣ всего замѣчательнѣе — Менандръ сдѣлалъ къ этой статьѣ призываніе, гласившее такъ: «Мы и сами именно такъ и разумѣли наши вчерашнія слова, какъ понимаетъ ихъ нашъ почтенный сотрудникъ. *Ред.*»

Долгое время послѣ того Пимень не казалъ ко мнѣ глазъ: совѣстился. Но вотъ въ одно прекрасное утро онъ приближалъ ко мнѣ свѣтлый и радостный.

— Не прошло!

— Не можетъ быть!

— Не прошло и basta! не прошло! не прошло! не прошло!

— Да расскажи толкомъ, чтѣ такое случилось?

— Не прошло—вотъ и все! А какую, братецъ, я штуку

написалъ! Видь я... ну, просто самъ Растопыриусъ павѣрника простиалъ бы меня за невѣжество, совершенное надъ его женой, и оишь пригласилъ бы на чашку чаю! Да, есть Провидѣніе, есть! Рече безумецъ въ сердцѣ своемъ: ибствъ анъ оно—вотъ оно! Спасибо, спасибо, спасибо старикамъ! прихлопнули! Фу ты!

— Но ежели ты самъ сознаешь, что написалъ «штуку» — зачѣмъ ты ее писалъ?

— Не могу! не понимаю! Газета, братецъ,—это дьявольское навожденіе какое-то! Такъ тебя и тянетъ въ омутъ, такъ и пронизываетъ распутствомъ насквозь. Одуматься не дадутъ! передохнуть итъ средствъ! такъ и стоять надъ душой: сейчасъ! сію минуту! пожалуйста оригиналы! Ну, и...

— А Менандръ какъ принялъ это извѣстіе?

— Бѣдиль. Да только на извозчиковъ напрасно потрагился. Отвѣтили: «да послужить сіе вамъ урокомъ, что ежели порицанія не допускаются... безусловно, то и въ похвалахъ надлежитъ избѣгать излишней разпузданности!»

— Вотъ какъ!

— Да, братецъ, ни порицаній, ни похвалы! Я давно говорилъ: вотъ истинный принципъ во всей его чистотѣ!

— Стало-быть, ты въ статьѣ допустилъ «излишнюю разпузданность» въ похвалахъ?

Пимень, вмѣсто отвѣта, заалѣлся.

— О, Пимень! Пимень!

Начали мы вдвоемъ обдумывать, какимъ бы образомъ устранить на будущее время повтореніе подобныхъ казусовъ. Самымъ цѣлесообразнымъ средствомъ представлялось совѣтъ уйти изъ газетной атмосферы. Но куда? — вотъ вопросъ. Толстыхъ журналовъ мало, да и тамъ всѣ мѣста заняты, пердѣ унасть яблоку. Поступить на частную службу? — и тамъ переполисно до краевъ; люди, изъ-за пятисотъ рублей годовыхъ, готовы другъ съ другомъ на ножи...

— Вотъ кабы ты на фортепьянахъ умѣлъ, такъ въ тапѣры бы можно...—рискнулъ я пошутить.

— А чтѣ ты думаешь! важно было бы!

— Знаешь ли чтѣ? — не предложить ли газетчикамъ устроить по вечерамъ... ибчто въ родѣ фельетоновъ еа action? Ты бы, какъ передовникъ и, стало-быть, человекъ солядный, за буфетомъ стоялъ... отлично!

Но Пимень, вмѣсто отвѣта, только вздохнулъ: знакъ, что онъ начинаетъ впадать въ урюмость.

— Я, братецъ, не только въ танёры, но даже въ касиры на железнодорожную станцію не похужу, — наконецъ вымолвилъ онъ: — пробовалъ я это... помнишь, *тогда?* да не выгорѣло! Я двадцать лѣтъ ерду въ литературѣ вращаюсь, двадцать лѣтъ одною ею живу. И ничего другого не понимаю. Знаю, что изъ моей дѣятельности ничего не выходитъ, а все тянусь, все думаю: а вотъ погоди. Сны какіе-то наяву вижу — такъ и проходитъ день за днемъ. Это уместившее цыганство до того въѣдается, что нужно именно что-нибудь совсѣмъ чрезвычайное (вотъ какъ *тогда*), чтобы человѣкъ припелъ въ себя. Но если онъ и пойметъ, что вся его жизнь есть не болѣе, какъ безконечная цѣпь пустяковъ, — чѣмъ пользы въ томъ? Ну, пойметъ, и только. Ахъ, вѣдь у насъ даже «своего мѣста» нѣтъ, того «своего мѣста», куда всякій бѣжитъ, когда его достигнетъ бѣда!.. Вотъ я, напримѣръ. Особенными талантами природа меня не наградила; я не генералъ въ литературѣ, а простой солдатъ. Но вѣдь и солдатъ, если выслужилъ срокъ, въ правѣ воротиться въ «свое мѣсто» и тамъ забыть о солдатствѣ. А куда пойдетъ солдатъ-литераторъ? Литературное ремесло имѣетъ свойство до того оболванивать человѣка, что онъ вездѣ, кромѣ литературы, представляетъ только лишний ротъ. И у меня отецъ и мать есть (овецъ духовныхъ въ смоленской епархіи пасутъ и волюно ихъ питаются, — прибавилъ онъ въ скобкахъ), да зачѣмъ я къ нимъ пойду? Во-первыхъ, я и тамъ буду все о своемъ наскудствѣ толковать и бѣгать по помѣщикамъ, нельзя ли гдѣ газетки почитать; а во-вторыхъ, меня будетъ ежеминутно точить мысль, что я лишний ротъ, каковыхъ въ моей семьѣ не полагается. А ужъ какъ мнѣ опостылѣло литературное ремесло, если бы ты зналъ! такъ опостылѣло! такъ опостылѣло!

Пименъ въ волненіи нѣсколько разъ прошелся по комнатѣ.

— Иногда вся внутренность горитъ, — продолжалъ онъ: — саднитъ, ноетъ, сосетъ, не знаешь, куда дѣваться отъ тоски. Если бы слезы можно было выжать, легче бы было, да гдѣ ихъ взять. Нѣтъ, никогда этого не бывало! никогда, даже въ самые горькіе дни плѣненія вавилонскаго не знали такой мертвенной тоски, такого холоднаго отчаянія! «Наше время — не время широкихъ задачъ» — этикъ все сказано! Тутъ и скудоуміе, тутъ и распухство, и жеманіе сказать лѣчто пріятное... Ахъ!

— Слушай! надо же выходъ найти.

— Оставаться попрежнему въ вертепѣ — вотъ и выходить. Тянуть безконечную канитель невѣдомо о чемъ, распинаться невѣдомо по поводу чего, изучать невѣдомо чему, преслѣдовать невѣдомо какія цѣли, жить въ постоянномъ угарѣ, упразднить мысль и затѣмнить глаза пустословіемъ, балансировать между «съ одной стороны нужно сознаться» и «съ другой стороны нельзя не признаться» — вотъ удѣлъ современнаго литературнаго солдата! Другого ничего не выдумаешь. И когда, послѣ такого-то трудового дня, начнешь на сонъ грядущій припоминать, что было — ну, хоть убей, ничего не припомнишь! Чувствуешь только усталость физическую и затѣмъ обрывки, винегреть — и ничего больше. Даже для сновъ настоящаго матеріала нѣтъ.

Онъ отеръ потъ, выступившій на лбу, и остановился передо мной.

— Патроны наши, — сказалъ онъ: — тѣ на сонъ грядущій хоть съчетомъ барышей отъ розничной продажи записать, а мы?

Но тутъ онъ окончательно разошелся.

— Мы-то, мы-то, скажи, изъ-за чего себя пудимъ!

Да, были «блехи» у Пимена. Но чѣмъ пышнѣе расцвѣтала пресса, чѣмъ либеральнѣе становились ея замашки, тѣмъ смиреннѣе и какъ-то унылнѣе становился мой другъ. «Блехи» скрывались одна по одной и наконецъ пропали совсѣмъ. Онъ не ерошилъ волосъ, не восклицалъ въ тоскѣ: «ахъ, это ужасно!», а неумоимо и безропотно строчилъ съ утра до вечера, не чувствуя ни удовольствія, ни омерзѣнія...

Менандръ ступеневался. Но успѣвъ совладать съ «разпузданностью въ похвалахъ», онъ до того раздражилъ своими «паглыми» усиліями попасть въ тонъ минуты («всё это одна крокодилова притворство!» говорилъ про него статскій совѣтникъ Растопыривусъ), что вынужденъ былъ уступить мѣсто другимъ, болѣе споривстымъ дѣтелямъ. Сначала явилась либеральная газета «Чего изволите», затѣмъ — и еще болѣе либеральная: «И шило бреетъ». Но Пименъ до того уже потерялъ нюхъ, что не могъ отличать степеней либерализма, и безразлично работалъ то тутъ, то тамъ.

Онъ почти совсѣмъ пересталъ ходить ко мнѣ; я же посѣщалъ его довольно часто и всегда заставаля за работой.

— Не помѣшалъ ли я? — спросить я его однажды.

— Нѣтъ, какая помѣха! Работа такого сорта, что на всякомъ мѣстѣ можно точку поставити! Было бы пристойное количество «строчекъ», а объ остальномъ, то-есть о противорѣчяхъ, нелюностяхъ и даже пошлостяхъ, я давно уже не забочусь. Все равно читатель ежуётъ.

— О чемъ же ты пишешь? все, чай, о пресективахъ?

— Нѣтъ, о пресективахъ писать теперь ужъ черезчуръ широко. По-нашему, это называется «расплываться». Нынче мы больше по части патриотистики и пламени сердца, къ которымъ, ради оживленія столбцовъ, пристегивается и взнудываніе. Вотъ, на примѣръ, я написалъ статью: «Гдѣ корень зла?»—хочешь, прочту?

— Нѣтъ, ужъ не надо! Ахъ, Пимель, Пимель! зачѣмъ ты это пишешь?

— Какъ сказать, зачѣмъ! Знаю грамматику, синтаксисъ, учился правописанію, умѣю разставлять знаки препинанія— вотъ и пишу. Неужто же, обладая такими сокровищами, оставлять ихъ втунѣ?

— А знаешь ли, что я замѣтилъ. Прежде, бывало, хотъ ты и не подписывался подъ статьями, а я все-таки узнавала твою манеру. Прочтешь я скажешь: вотъ это Коршуновъ писалъ. И даже отгадаешь: а вотъ это словечко Менандръ лично отъ себя вывелъ! А нынче, какъ ни стараешься угадать—все статьи на одинъ манеръ пишутся!

— Это у насъ пошла метода завелась, съ тѣхъ поръ, какъ отъ передовика ничего, кромѣ правописанія, не требуется. Чтобъ всё какъ одинъ человекъ. Выгодно это, голубчикъ. Во-первыхъ, публика читаетъ и думаетъ: стало-быть, однако-жъ, у нихъ есть что-нибудь [за душой, коли они такъ сѣялись! А во-вторыхъ—дешево.

— Это почему?

— А потому, что если однажды дать извѣстный шаблонъ, то нѣтъ нужды дорожить сотрудничествомъ той или другой личности. Всякій встрѣчный можетъ любую статью написать, все равно какъ свадебныя приглашенія. Важнѣе всего — аккуратность, чтобъ не задерживать типографію. Поэтому и передовики нынѣшніе присмирѣли: знаютъ, что мѣсто свято пусто не будетъ. Прежде мы упирались, растабарывали объ убѣжденіяхъ, а нынче этого ужъ не полагается.

— Однако некрасиво вамъ положеніе!

— Покуда еще ничего, можно терпѣть, а вотъ въ ближайшемъ будущемъ... Я, на примѣръ, покуда еще не стѣс-

няюсь и почти совсѣмъ *туда* не хожу: покажешься на минуту, едашь, что слѣдуетъ—и былъ таковъ. А скоро, пожалуй, и прихоти заведутся: придется различные виды и соображенія выслушивать. А еще того горше: вѣчера для обмѣна мыслей устроить, да съ отставными полководцами, да съ «дипломатами», да съ рассказами изъ народнаго быта... Вотъ когда худо-то будетъ! Придется самолобіе хозяйки дома некотать, выслушивать полководческое фронтдерство и въ антрактахъ освѣжаться протухлыми побасенками!

— А развѣ есть ужъ признаки, предвѣщающіе что-нибудь подобное?

— Есть. На меня ужъ и теперь косятся, что мало разговариваю. На-дняхъ я *тамъ* былъ—сама выбѣжала. «Вы, говоритъ, Коршуновъ?»—Я, говорю.—«Ахъ, какой вы не-любезный!»

— Съ чего-жъ это она?

— Стало-быть, разговоръ былъ. Въ Аспазіи она къ нашему Периксу готовится—пу, и принимаетъ участіе. Да, терять меня покуда, любезный другъ, но только терять. А такъ какъ и ангельскому терпѣнію предѣлъ есть, то поневолѣ спрашиваешь себя: что будетъ, когда этотъ предѣлъ настанетъ? Разумѣется, стану просить милости. Не могу въ передовики—можетъ-быть, къ «намъ пишутъ» опредѣлять или «Тайства Мадридскаго двора» переводить велать. Все равно какъ въ домѣ терпимости: сперва гостей занимать заставляють, а потомъ, какъ розы-то отцвѣтутъ, начнутъ въ портерную за нивомъ посылать.

До этого однако не дошло, хотя мнѣ самому не разъ приходилось слушать отзывы: «ахъ, какой неприятный у Коршунова характеръ!» И не только Аспазія, но и самъ Периксъ отзывался такъ. Пимель имѣлъ даже по этому поводу объясненіе, но, къ счастью, успѣлъ доказать, что до его «характера» никому никакого дѣла нѣтъ. Я убѣжденъ однако-жъ, что едва ли бы онъ доказалъ это, если бы у него не было кой-какой опоры въ прошломъ. Ради этого прошлаго его, очевидно, шадилъ, ибо, какъ ни «разносторонни» современные дѣятели политики и литературы, но есть еще ниточка (очень тоненькая), которая связываетъ ихъ съ прошлымъ. Вотъ когда и они сойдутъ со сцены, то на ихъ мѣсто придутъ «новѣйшіе» дѣятели—этихъ ужъ ничто не будетъ связывать. Тогда, натурально, Коршуновыхъ выметутъ помеломъ.



Израдка, впрочем, и Пименъ оживлялся, и именно въ тѣхъ случаяхъ, когда у него накоплялся запасъ анекдотовъ о Периклахъ. Главное горе Перикловъ заключалось въ томъ, что они вѣчно были въ поискахъ за идеею, которую, впрочемъ, безразлично называли и идеею, и фортелемъ. Какую бы идею начать проводить? На какой бы фортель подняться?—вотъ задача, которую предстояло разрешить. Читатель капризней, и однообразныя статьи падаютъ ему. Однообразие можно допустить только въ исключительныхъ случаяхъ. Вотъ, напримеръ, во время войны—ахъ, какая розничная продажа была! По разъ исключительныя обстоятельства кончились, надо подниматься на фортель. И не одинъ фортель, а даже нѣсколько таковыхъ не худо найти.—Какъ вы, напримеръ, насчетъ либерализма полагаете? а? хорошо? Съ Богомъ, начинайте-ка рядъ статей! Или насчетъ святости подвига? а? Вѣдь подвигъ-то, батюшка, очищаетъ человѣка, даетъ его жизни смелость? Тиснемте-ка статейку... а? Главное, дремать не нужно да почаще оглядываться кругомъ. Да вотъ и еще тема... мирныя успѣхи! По возвращеніи съ поля брани это даже самое подходящее дѣло... въ ность бросится—а? Эту штуку пять лѣтъ хлебай—не расхлебашь! Начать хоть съ желѣзныхъ дорогъ... или лѣтъ, это ужъ старо! Простого начнемъ съ земледѣльческой промышленности! «Россия—страна земледѣльческая...» Это хоть тоже старо, но вмѣстѣ съ тѣмъ и всегда ново, потому что Россия, дѣйствительно, страна земледѣльческая; стало-быть, какъ ни вертись, а этой темѣ не миновать! Не въ томъ бѣда, что мы земледѣльцы, а въ томъ, что мы нашъ продуктъ въ зернѣ отпускаемъ... а? Отсюда, прямой выводъ: заводить маслобойни, винокурни, мельницы—главное, мельницы! А когда съ земледѣльческою промышленностью покончимъ, можно и за горнозаводскую промышленность взяться: рельсы, паровозы, пароходы, желѣзо листовое и прокатное, гвозди... Нужна ли покровительственная система или не нужна... а? Потомъ и до рубля доберемся... Ахъ, этотъ рубль! Сколько публицистическихъ усилий, сколько полемики потрачено, чтобъ онъ настоящимъ рублемъ смотрѣлъ, а онъ все на полтинники смахиваетъ! Придется, пожалуй, и пословнцу: «взглянулъ—словно рублемъ подарилъ» говорить такъ: взглянулъ, словно полтинникомъ подарилъ! Да, надо, надо какъ-нибудь этому горю помочь! И поможемъ, съ Божьей помощью... да! А наконецъ, когда наговоримся досыта, можно и заключеньце

сформулировать: впрочемъ, тутъ что бы мы ни говорили, мы знаемъ заранѣе, что наши слова все равно, что къ стѣнѣ горохъ... а? Какъ вы думаете? Хорошо будетъ? а?

Но какъ ни любопытны были эти анекдоты, а настоящей веселости въ нихъ все-таки не было. И самъ Коршунновъ, повидимому, сознавалъ это, потому что, истопивъ свой запасъ, онъ неизмѣнно заканчивалъ одною и тою же угрюмою фразою:

— И все эти фортели я обявываю, съ Божьей помощью, развиты!

Такимъ образомъ онъ промаячился года три сряду.

Одно было недурно: Коршунновъ получалъ хорошій гонораръ за свои работы. Но лишнихъ денегъ у него все-таки не бывало, потому что «свое мѣсто» поглощало, навѣрное, половину заработка.

Да, и у Коршуннова было «свое мѣсто», которое довольно часто напоминало ему себя. Отецъ Пимена былъ старъ и добывалъ мало, да и овцы, которыхъ онъ пасъ, имѣли волпу скудную. А семья была большая: семь дочерей при одномъ сынѣ, Пименѣ. На этого сына было сначала разсчитать, что онъ, по крайней мѣрѣ, хоть дьякономъ будетъ, а онъ вдругъ ускользнулъ. И долгое время, покуда Пименъ бѣдствовалъ, едва зарабатывая на хлѣбъ лично для себя, между нимъ и отцомъ шла ожесточенная полемика. Отецъ ужъ прискалъ сыну невѣсту и намѣтилъ дьяконское мѣсто, но сынъ бунтовалъ. Дѣло доходило до жалобъ и просьбъ о высылкѣ по этапу, вслѣдствіе чего Пименъ скрывался, не имѣя постоянного пристанища. Но наконецъ Пимену посчастливилось. Зарботокъ его увеличился, и онъ первая же «лишнія» деньги послать домой. Тогда его оставили въ покоѣ.

Въ «своемъ мѣстѣ» смекнули, что, несмотря на странное занятіе, Пименъ все-таки добытчикъ, и, разумеется, рѣшились пользоваться этимъ. Онъ чаще и чаще началъ получать отписки съ родины, и каждая неизменно заключала въ себѣ напоминаніе о деньгахъ. То сестру выдаютъ замужъ и надо готовить приданое, то коровушка пала, то милость Божья постигла—хлѣбъ градомъ вышло. Коршунновъ вытягивался въ штку, чтобъ удовлетворять этимъ требованіямъ, самъ же постоянно нуждался. Разумеется, онъ понималъ, что единственно на этихъ денежныхъ соображеніяхъ и держателя кровныхъ связей, по чувствовалъ ли онъ по этому поводу сердечную боль—это сказать трудно.

Вообще онъ упоминалъ о домашнемъ очагѣ рѣдко и сдержанно и никогда не порывался въ побѣвку домой, говоря, что прїездъ его только прибавитъ лишній ротъ въ семьѣ.

Но, кромѣ кровной связи, имѣлъ ли Пимель какую-нибудь вольную сердечную привязанность? Ощущалъ ли онъ, хотя въ молодые годы, то блаженное таинство сердца, которое ощущаетъ всякій юноша въ періодъ весенняго расцвѣтанія? Увы! эти вопросы даже въ голову никому не приходили—до такой степени своеобразною казалась личность Коршунова. Ходили, правда, анекдоты о якобы любовныхъ его похожденияхъ, но всѣ очень хорошо понимали, что это только анекдоты, скорѣе служившіе къ подтвержденію противнаго. Вообще на него смотрѣли, какъ на человека, для котораго вопросъ о сближеніи половъ составляетъ нѣчто совсѣмъ постороннее, его не касающееся. Даже когда возникъ такъ называемый женскій вопросъ—и тутъ онъ уклонился, не смотря на то, что этотъ вопросъ стоялъ на чисто-теоретической почвѣ. Иногда, впрочемъ, замѣчая, что онъ ужъ чересчуръ утрируетъ въ этомъ смыслѣ, я невольно нападалъ на мысль, что причина этого явленія заключается не столько въ холодности темперамента, сколько въ непреодолимой застѣпчивости. Повидимому, онъ слишкомъ настойчиво говорилъ себѣ, что такъ ужъ сложилась его жизнь. Бываютъ люди, которымъ на роду суждено глубокое и горькое заточеніе, и онъ принадлежалъ къ числу этихъ людей. Просто было почти нелѣпо вообразить его себѣ любящимъ и любимымъ. Пимель, смотрящій въ книжку, Пимель съ перомъ въ рукахъ—вогъ настоящій Пимель. Но Пимель тающій, налимый страстью къ женщинамъ, Пимель, пенчупщій признанія любви и просвѣтленный увѣренностью въ взаимности—помните, это какое-то баснословіе, это почти клевета!

Точно такъ же было и по части дружбы. Пимель вращался исключительно въ литературной средѣ, гдѣ во взаимныхъ отношеніяхъ примѣшивается очень значительная доля рационализма. Я не отрицаю, что связи влѣдствіе этого становятся болѣе прочными, но думаю, что въ то же время онѣ приобретаютъ окраску исключительно дѣловую и совершенно утрачиваютъ тотъ ласкающій элементъ, который такъ присущъ инстинктивной дружбѣ. Бываютъ однако-жъ минуты, когда человекъ имѣетъ право быть малодушнымъ, когда онъ чувствуетъ непреодолимую потребность жаловаться, роптать, проклинать, не соображая, глупо это или

умно; полезно или бесполезно,—и вотъ въ эти-то минуты ему необходимо, чтобъ дружеская рука сняла хоть часть того бремени, которое давитъ его. Ничего подобнаго Коршуновъ, положительно, не зналъ: онъ малодушествовалъ, жаловался и проклиналъ—въ пространство.

Онъ не былъ настолько силенъ и одаренъ, чтобъ составить около себя кружокъ, а слѣдовательно не могъ создать для себя и искусственной дружбы. Онъ самъ былъ по природѣ поклонникомъ, страстнымъ и беззаветно преданнымъ, но поклонниковъ не имѣлъ и пользовался только благосклоннымъ сочувствіемъ. Сверхъ того, составъ кружка, которому онъ былъ преданъ, часто мѣнялся; люди вымирали и исчезали, а наконецъ кружокъ и совсѣмъ распался. Приблизившись къ старости, Пимель очутился въ невѣдомой средѣ, окруженный незнакомыми людьми и все-таки вынужденный работать съ ними. Эти насильственные сближенія до того изнуряли его, что рѣдко онъ буквально ходилъ какъ потерянный.

Таковы были кровныя и вольныя связи Пимена. Совокупность ихъ составляла мученическое существованіе, хотя видимыхъ пытокъ и не было. Дома онъ видѣлъ голыя стѣны квартиры; въѣ дома—видѣлъ деревянныхъ людей. Развѣ можно представить себѣ пытку болѣе злостную?

И вотъ онъ умеръ. Умеръ въ одинъ день съ первой гильдиной кучихой Пульхеріей Конопатчиковой, которая спокойно и непотыдно отошла въ вѣчность, окруженная заботливыми попеченіями законныхъ наследниковъ. Пимель же и умеръ словно украдкой, такъ что о смерти его узнали отъ квартирной хозяйки, которая прежде всего побѣжала въ участокъ, а потомъ ударилась за деньгами въ Литерагурный Фондъ, потому что въ послѣднее время Коршуновъ почти совсѣмъ не работалъ.

На кладбищѣ громко говорили, что кучиха Конопатникова оставила шести сынамъ—каждому по двадцати пяти тысячъ, и тремъ дочерямъ—каждой по десятку. Да старшему сыну отказала лавку, а Вожіе благословеніе раздѣлила между всѣми поровну. Все это и батюшка въ своей предисловіи упомянулъ, не въ осужденіе усопшей, но въ похвалу. Чтѣ же оставилъ послѣ себя Пимель?

Страшно сказать, но ничего яснаго. Человекъ жилъ, неутомимо трудился, и по мѣрѣ того, какъ его трудъ привелся къ окончанію, онъ тутъ же и улетучивался.

Вотъ я сказалъ, что Пимень никогда участвовалъ въ творествѣ извѣстныхъ наслоеній, которыя, быть-можетъ, и не прошли безслѣдно. Но кто же разберетъ, что въ этихъ наслоеніяхъ принадлежитъ ему и что другимъ атомамъ общей рабочей массы? Да и кому охота возвращаться къ этимъ забытымъ наслоеніямъ, а тѣмъ болѣе разбираться въ нихъ?

Даже историкъ русской литературы и общественности— и тотъ не отыщетъ Пимена, потому что надъ рабочею массою всегда рветъ какое-нибудь выдающееся имя. Этому имени—и честь, и слава, и поклоненіе. И слава, и страданія, и подвигъ— все достойно вмѣнится ему въ сугубую похвалу. А Пимену даже поистинѣ мученическая его жизнь ни во что не вмѣняется, потому что о ней нигдѣ не упоминается и она нигдѣ не оставила слѣдовъ своей крови.

Я помню, онъ мнѣ говорилъ: «когда я умру, то на памятникѣ моемъ надобно написать: «литература освѣтила ему жизнь, но она же напоила ядомъ его сердце». Да, это надпись хорошая и вполне согласная съ истиной, но вопросъ въ томъ, будетъ ли когда-нибудь памятникъ на его могилѣ?

Допустимъ однако-жъ, что памятникъ—ужъ прихоть. Гораздо проще другой вопросъ: долго ли мы, ехоронившіе Пимена, будемъ ощущать, что смерть его оставила послѣ себя пустоту? Долго ли воспоминаніе о немъ будетъ жить между нами?

Онъ жилъ —и умеръ... Благо умершимъ!

### Дворянская хандра.

Я прѣхалъ въ деревню, чтобъ поселиться въ ней навсегда. Бхалъ я совсѣмъ не загѣмъ, чтобъ просвѣщать, распространять здравыя понятія о платежѣ недоимокъ, устранять неврожан и вообще способствовать улучшенію быта; не загѣмъ, чтобъ принять дѣятельное участіе въ распоряженіи земскими деньгами, и ужъ, конечно, не загѣмъ, чтобъ производить опыты по части сельскаго хозяйства. Просто чувствовалась потребность заживо имѣть гробъ— вотъ я и прѣхалъ.

Эта потребность была очень сильная, почти страстная. Но что всего страннѣе—она загорѣлась во мнѣ совсѣмъ не потому, чтобъ я прикончилъ какіе-то счеты съ жизнью, чтобъ я сдѣлалъ какое-то свое дѣло, а именно потому, что я ровно ничего не начиналъ и шикавшихъ у меня счетовъ назади не было. Умственное пустодумство удивительно какъ утомляетъ. Оно всегда сопряжено съ беспорядочною сутолокой, которая загромождаетъ жизнь разнообразнымъ цѣпкимъ хламомъ и самымъ предательскимъ образомъ вводитъ въ заблужденіе. Благодаря этой сутолокѣ, долго, очень долго думаетъ человекъ, что онъ вращается среди дѣйствительныхъ интересовъ, и даже представляетъ себя силою, дѣйствующимъ лицомъ. И вдругъ его словно освѣтитъ, перешибетъ пополамъ. И начнетъ ежемгновенно, неотступно, назойливо, и во снѣ и наяву, представляться одно: гробъ! гробъ! гробъ!

Я бхалъ однако-жъ не безъ опасеній. Я думалъ, что гробъ дается не разомъ, и что съ прѣздомъ моимъ начнется хотя и въ другомъ вкусѣ, но все-таки сутолока. Со стороны домохозяевъ возникнутъ требованія разъясненій, распоряженій и прочія сельскохозяйственные приставанія; со стороны мужиковъ—явятся подолзновенія по частн такъ-называемаго

спянія, въ которыхъ сыграютъ свою роль и вопросъ о пьянствѣ, и вопросъ о грамотности, и вопросъ о ссудоберегательныхъ кассахъ. И въ заключеніе, какъ наидѣйствительнѣйшій символъ спянія—ведро водки. Со всѣмъ этимъ, думалось мнѣ, придется вести борьбу, покуда наконецъ не воцарится настоящее безмолвіе, изъ котораго выдвинется настоящий гробъ. Но, къ моему благополучію, всѣ эти опасенія оказались преувеличенными.

Нынѣшняя деревня—не та, въ которой кшатъ ревизскія души, а та, которую представляетъ собой помѣщичья усадьба—истинный кладъ для гробонскателя. Въ нынѣшней деревнѣ вы не встрѣтите ни малѣйшей суеты, ни тѣни сельскохозяйственныхъ заботъ и волненій, а слѣдовательно—никакихъ вопросовъ и сомнѣній. Есть, разумѣется, уголки, въ которыхъ и донныѣ ютятся выжги и «колотятся изъ послѣдняго», но это исключенія. Общій характеръ—тишина и уединіе, которыя я называлъ бы самоотверженіемъ, если бы при этомъ не приходило на мысль представленіе о выкупныхъ свидѣтельствахъ. Урокъ дня, то-есть то, что нужно для пропитанія, протопленія и проч., исполняется какъ-то самъ собой, въ опредѣленный часъ, безъ шума, безъ бѣготни. Прежде стоить, бывало, стоять и надъ застоялыми, и надъ скотнымъ и птичьимъ дворами; нынче—благодать. Не только въ стѣнахъ помѣщичьяго дома, но и на дворѣ—ни звука, кромѣ такъ-называемыхъ голосовъ природы: завыванія вѣтра, шума деревьевъ, чириканья и карканья птицъ, лая собакъ и т. п. Иярѣдка доносится, правда, съ поселка (если онъ недалеко) хлопотливое галдѣніе ревизскихъ душъ, но и оно не нарушаетъ обязательной для всѣхъ (и живыхъ и мертвыхъ) гармоніи голосовъ природы, а, напротивъ, только дополняетъ ее и сливается съ нею. Можно (особливо если требованія комфорта довести до минимума) провести цѣлый день, не слыхавши звука человѣческаго голоса и самому не издавши такового. Ходить, думать, глядѣть въ окно и даже, по возможности, не читать. И лишь на самое короткое время зажигать огонь. Для чловѣка одинокаго и притомъ переносившаго неполадки—это своего рода кунель салоамская, приводящая за собой исцѣленіе отъ всѣхъ недуговъ.

Усадьба у меня старинная. Господскій домъ—громадный, выстроенный изъ такого отличнаго лѣса, что и теперь все вполне исправно. Просторно, пронасть воздуха и тепло. Когда-то на красномъ дворѣ, рядомъ съ домомъ, было на-

громождено множество всякаго рода службъ, но нынѣ всѣ эти постройки снесены отчасти по ветхости, а преимущественно за ненадобностью. Лѣтомъ на этихъ «нарушенныхъ» мѣстахъ растутъ непролазные массы крапивы и репейника, зимою—изъ-за снѣжныхъ наносовъ видѣются неправильныя кучи ломанаго кирпича и мокраго мусора. Въ сосѣдствѣ съ ними, но нѣсколько поодаль, словно монументъ, свидѣтельствующій о благополучномъ переходѣ отъ крѣпостныхъ порядковъ къ вольнонаемному труду, стоитъ небольшая, сложенная изъ тонкаго лѣса, скотный дворъ, въ которомъ помѣщаются двѣ коровы, двѣ лошади, домашній инструментъ и прочій приличествующій вольнонаемному труду сельскохозяйственный инвентарь. Впередѣ дома—цвѣточный (когда-то) садъ, съ зарушенными дорожками, покато спускающійся къ рѣчкѣ; зади дома—паркъ, состоящій паркъ, съ старинными могучими деревьями, которыхъ шумъ даже чловѣку, далеко не одержанному мизантропией, можетъ внушить мысль о гробѣ. Внизу, по теченію рѣчки—небольшая мельница, у зѣлющей двери которой вѣчно торчатъ засыпка, не знающій, куда дѣваться отъ праздности, такъ какъ, за общимъ оскудѣніемъ, помолецъ наѣзжаетъ рѣдко, да и то налегкѣ.

Понятно, что при такой внутрешней обстановкѣ прїѣздъ мой не могъ вызвать никакой особенной суматохи. Я напечалъ, что явлюсь тогда-то, и въ назначенное время все было готово къ моему пріему. Печи истоплены, стѣны и потолки обметены, полы вымыты, мебель разставлена въ старинномъ порядкѣ, даже обѣдъ изготовленъ. «Распоряженій» до такой степени не потребовалось, что когда я снялъ шубу (дѣло происходило въ половинѣ февраля), то мнѣ оставалось только сказать, что *покуда* мнѣ ничего не нужно. Домочадцы, встрѣтившіе меня, разошлись по своимъ угламъ; я слышалъ, какъ хлопнула сперва одна дверь, потомъ другая, третья, все глуше и глуше—и вдругъ я остался одинъ... И въ этой свѣтлой, большой и хорошо натопленной залѣ очутился лицомъ къ лицу съ гробомъ...

Точно такъ же не потребовалось никакой борьбы и по части «спянія». Еще на желѣзной дорогѣ одна сосѣдка по вагону, добродушная помѣщица, узнавши, что я намѣреваюсь возобновить порванную связь со старыми «прахамн», сошла долгомъ предупредить меня:

— Нынче, батюшка, отъ мужичка благодарности не спрашиваютъ. Равнодушные какіе-то они стали: ни помощи,

ни принёта. Все—на деньгахъ. Сколько слѣдуетъ ему по условію—получить и шабашъ. Спасибо не ждите.

Такъ, въ самомъ дѣлѣ, и оказалось. При самомъ въѣздѣ моемъ въ крестьянскій поселокъ (давно ли я былъ тутъ «въ отца мѣсто»?) я сейчасъ же убѣдился, что мое появленіе ни въ комъ ничего не пробудило. Ни благодарныхъ воспоминаній, ни отрадныхъ надеждъ, ни даже изумленій. Мужики, шившие у своихъ избъ дрова (въ этой мѣстности преобладаетъ дровиной промыселъ), на мгновение приподняли головы, очевидно, потому, что вниманіе ихъ было привлечено топотомъ мчавшихъ меня лошадей, и опять принявъ за свое дѣло. Я опасался снисканія шапокъ, но клоновъ (иногда даже въ воображеніи моемъ мелькали радостныя улыбки)—ничего не бывало! Точно муха передъ нами пролетѣла. И мужики показались мнѣ какіе-то новые. Прежніе были восторженными, слезоточивыми; нынѣшніе—равнодушными, зачерствѣлыми. Прежній мужикъ всеми внутренностями тянулъ къ барскому дому; нынѣшній—даже по надобности проходи мимо господской усадьбы, совершенно ее игнорируетъ, словно это не притягательное мѣсто, а только вѣха на пути. Бабы, качавши на мірекомъ колодѣ воду,—и тѣ не оторонѣли при моемъ внезапномъ появленіи, не оставили своего занятія, а только безучастно проводили глазами мои сани. И отлично. Все предположенія насчетъ «слияній» и ссудо-сберегательныхъ кассъ устранились разомъ. Не будетъ поцѣлуевъ, но не будетъ и подкузьмисній—ничего. Даже на традиціонное ведро водки, повидимому, расходовъ не потребуется. Прекрасно, прекрасно, прекрасно.

Но у меня вертѣлось въ головѣ еще одно опасеніе: я полагалъ, что возвращеніе въ домъ предковъ вызоветъ лично во мнѣ чувство умиленія. Воскреснуть въ памяти забытыя дѣтскія игры, встануть передъ глазами, какъ живыя, любезныя сердцу лица. Очевидно, это должно населить гробъ хотя и призраками, но все-таки помѣшаетъ ему быть настоящимъ гробомъ. Однако и тутъ обошлось благополучно. Чтобы закончить разомъ съ этимъ опасеніемъ, я тотчасъ же объѣхалъ весь домъ и остановился въ каждой комнатѣ, стараясь припомнить. Вотъ маленькая комната и въ ней длинный столъ, за которымъ она обыкновенно раскладывала изъ мѣдныхъ тазиковъ по банкамъ варенье; этотъ столъ и теперь стоитъ на старомъ мѣстѣ, и на поверхности его еще сохранились кружки, свидѣтельствующіе о пребывавшихъ тутъ нѣкогда банкахъ съ ва-

реньемъ; и сама маменька, словно живая, сидитъ вонъ на томъ кокапотъ креслѣ и держитъ въ рукахъ серебряную ложку... Вотъ маленькій кабинетъ (теперь онъ мой) и въ немъ небольшой четырехугольный столъ, съ разрисованною на верхней доскѣ нащечницею, передъ которымъ покойный, сидя въ обитомъ кожей вольтеровскомъ креслѣ, читывалъ «Московскія Вѣдомости»... Вотъ дѣвичья, въ которой лѣтомъ толпа горничныхъ, обляпленныхъ массаами мухъ, съ утра до вечера чистила ягоды, горохъ, грибы и проч., а зимой, тоже съ утра до вечера, раздавалось жужжаніе веретень... Вотъ дѣтская, въ противоположность другимъ комнатамъ, узенькая, низенькая, въ которой обитало великое множество клоновъ... Повторяю: я объѣхалъ все это и множество другихъ комнатъ (вотъ тутъ была спальня дѣдушки, когда онъ пріѣзжалъ въ деревню «въ гости»; вотъ тутъ рядомъ—спальня его «сударки», передъ которой подличалъ и ходилъ на заднихъ лапахъ весь домъ; вотъ тутъ жилъ когда-то дяденька «буинъ», котораго въ хоронія комнаты не пускали и который ѣдалъ изъ одной чашки съ собакой Трезоромъ; вотъ тутъ ютились тетеньки-сестрицы, къ которымъ я бѣгивалъ тайкомъ за мятными пряниками; вотъ тутъ поймали Генріету Карловну съ учителемъ Василиемъ Ивановичемъ и т. д.)—и, о чудо!—никакого умиленія не ощутилъ! Возвратился въ залъ, посмотрѣлъ въ окно—оттуда виднѣется рѣка, въ настоящее время скованная льдомъ, и опять-таки никакого умиленія! Кабинетъ, дѣтская, рѣка—все имена нарицательныя, которыя такъ и остались нарицательными. Отчего это? Оттого ли, что самыя воспоминанія, сопряженныя съ этими нарицательными именами, не заключаютъ въ себѣ ничего умилятельнаго, или оттого, что человѣкъ, перешибленный пополамъ, самъ по себѣ дѣлается недоступнымъ для чувствъ умиленія, такъ какъ между его дѣтствомъ и старчествомъ легла цѣлая пустота, которая поглотила все безъ остатка, кромѣ страстнаго желанія обрѣсти гробъ.

Какъ бы то ни было, но я помялъ, что гробъ найденъ, и что отнынѣ начинается существованіе, въ которое не вторгнутся ни сельскохозяйственные доклады, ни «слиянія», ни умиленія. Я наскоро пообедалъ, надѣлъ халатъ и медленно почувствовалъ себя спокойно, безмолвно, почти-что мертво!...

Впрочемъ, мнѣ все-таки не удалось лечь въ гробъ сразу. По обыкновенію, сейчасъ послѣ пріѣзда, пришелъ отреко-

мондовать сельский батюшка. Но и онъ оказался какой-то сосредоточенный, односложный, угнетенный, угрюмый, точно только затѣмъ и пришелъ, чтобъ посмотреть, какъ я улягусь въ гробу, а онъ меня потомъ отгивать начнетъ.

— На жителство... совсѣмъ?—началь онъ словно нехотя.

— Да, совсѣмъ.

— Великое это слово... «совсѣмъ»!

И махнулъ головой въ знакъ согласія.

— Просторно вамъ здѣсь однимъ будетъ!..

— Да, комнатъ много.

— Хозяйствовать не станете?

— Нѣтъ.

— И не надо!

Разговоръ на минуту прервался.

— Жизнь здѣсь...—началь онъ опять.

— Я не для «жизни».

— А коли не для «жизни», такъ настоящее мѣсто—здѣсь! Да... именно, именно здѣсь!

Онъ какъ-то тоскливо взглянулъ на меня, покачалъ головой, потомъ посмотрѣлъ на буфетный шкапъ и продолжалъ:

— Вотъ ежели въ этомъ разѣ водка... спаси Богъ!

— Не потребую. А вы?

— Спаси Богъ!

Опять молчаніе.

— Въ паркахъ—нужь отъ пѣтровъ; опять же воронки гябада вьютъ... Стави по ночамъ стучать будутъ! Проржавѣли, поди, петли-то...

— Не знаю, не спрашивалъ.

— Оторопь возьметъ, оторопь! Главное—стави на ночь плотно заперать!

— Прежде запирали; конечно, будутъ и теперь запираеть.

— Ну, съ Богомъ!

Онъ подавъ мнѣ руку и исчезъ... «Что-жъ! оторопь такъ оторопь—тѣмъ лучше», подумалось мнѣ. Она будетъ напоминать мнѣ прошлое: гдѣ я всю жизнь, если сказать по правдѣ, ничего, кромѣ оторопи, и не испытывать...

Впоследствии я узналъ, что здѣшній батюшка—отличнѣйшій человекъ. Водки не пьетъ дѣйствительно, устроилъ въ селѣ школу, въ которой безвозмездно учитъ крестьянскихъ дѣтей; съ мужичками живетъ въ ладахъ, читаетъ имъ по воскресеньямъ краткія поученія о томъ, како благоугодити Господеву, и за свадьбы беретъ по-божески, но придирается. Вообще обстановку имѣетъ скромную, почти

бѣдную. А смотритъ онъ угнетенно, потому что жена у него—фраитиха и сластѣна—ежеминутно его точитъ. То упрекнетъ, что онъ не по-людски одѣвается, «ходить, словно мельница крыльями машеть,—то ли дѣло у пастъ въ городу уланы стоять!», то ставитъ ему въ вину, что онъ кануны соблюдаетъ: «все у него либо преподобнаго Мартиниана, либо подѣ Тимосея-мученика!» А онъ ей въ отвѣтъ: «ты бы, дура, прежде смотрѣла!»

Меня на минуту заняла мысль: каково-то ему, человѣку скромному и, повидимому, даже чѣмъ-то проникнутому, жить въ селѣ Лисыи-Имы, въ норѣ, на цѣпи, съ глазу на глазъ съ понадею-сластѣной и фраитихой? И онъ на цѣпи, и она на цѣпи... Она скалитъ зубы и скачетъ, и онъ скалитъ зубы и скачетъ. И оба благодарятъ Провидѣніе, что у каждаго цѣпь настолько коротка, что не пускаетъ ихъ загрызть другъ друга. Этимъ и процвѣтаетъ семейный союзъ.

Если кто думаетъ, что вслѣдъ за этимъ вступленіемъ появится на сцену дворовая дѣвица (плодъ секретной любви покойнаго паленьки) и затѣмъ произойдетъ интереснѣйшее кровосмѣшеніе, или что изъ-подъ куста выпорхнетъ породистая помѣщичья дочка и подастъ поводъ къ пѣлому ряду пріятныхъ сценъ съ робками подѣлуями, трепетными пожатіями рукъ, трелями соловья и проч.,—тотъ пусть не читаетъ дальше этихъ признаній.

Ничего этого не будетъ: во-первыхъ, потому, что ничего подобнаго не было въ дѣйствительности, а во-вторыхъ, и потому, что я поставилъ себѣ задачей писать о гробѣ, только о гробѣ.

Мысль объ этомъ приличіишемъ, по настоящему времени, убѣжденію давно уже шевелилась во мнѣ и наконецъ вполне созрѣла по слѣдующему очень характерному случаю.

Не очень давно тому назадъ умершему православному человѣку нужно было отыскать приличное «последнее убѣжище». Разумеетсяъ, пошли переговоры съ кладбищенскими властями, и вотъ во время этихъ переговоровъ матушка-игуменя пѣкоого знаменитаго монастыря, на который указалъ знаменитый покойникъ еще при жизни, такимъ образомъ рекомендовала свой товаръ:

— У пастъ на монастырскомъ кладбищѣ—очень хорошо. Тишина, порядокъ, просторъ. И зимой-то придешь посмо-

тѣмъ—залюбишься, а лѣтомъ, какъ распустятся деревья—точно въ раю! И не вышетъ бы Совѣтую.

И, видя, что слова ея производятъ благопріятное впечатлѣніе, присовокупила:

— И еще тѣмъ у насъ хорошо, что для всѣхъ состояній такса уставлена—по-божески!—кому чтѣ требуется. И богатые люди, и средняго состоянія, и бѣдные—всѣхъ милости просимъ! И перваго класса мѣста, и втораго, и третьяго—все распределено, смотря кому какъ. Поближе къ благодати—и плата выше; подалше отъ благодати—и плата понижается. За церемоніаль плата особенно, и тоже по состоянію. Есть большая служба, есть средняя служба, есть и малая. Большое освѣщеніе, среднее и малое. Такъ же и насчетъ поминовеній. Пудить никого не пудимъ, а кто какъ любить, такъ для себя и выбирать. Совѣтую.

Вотъ тогда-то и блеснула у меня въ головѣ мысль: именно мнѣ это самое и нужно. Но такъ какъ всѣ эти неудобства я могъ получить хозяйственнымъ образомъ, то-есть у себя, въ своемъ собственномъ кладбищѣ, то ясно, что для меня былъ прямой расчетъ воспользоваться этимъ преимуществомъ. Тамъ, думалось мнѣ, я все найду: и мѣсто первѣйшаго класса (безвозмездно), и свой собственный готовый гробъ; а что касается до церемоніала, то навѣрное тамонія самая большая служба будетъ стоить вдвое дешевле, нежели здѣшняя самая малая.

Сверхъ того, мнѣ хотѣлось умереть безъ тревогъ, постепенно, и буде возможно, то естественною смертью. Я—человѣкъ прудражеудочный и притомъ робкій; мнѣ все кажется, что если я буду продолжать «соваться», какъ совался до сихъ поръ, то существованіе мое навѣрное пресѣчется самымъ неожиданнымъ и притомъ злокачественнымъ образомъ. Я знаю, что это страхъ ложный (на тѣхъ же похоронахъ знаменитаго человѣка одинъ изъ моихъ друзей, служащій въ департаментѣ возмездій и воздаяній, указывая на громадную толпу, окружавшую гробъ,—сказалъ мнѣ: «въ обществѣ говорятъ, будто бы мы не допускаемъ передовыхъ людей естественною смертью умирать,—вотъ вамъ блестящее опроверженіе этой гнусной клеветы!»), но чтѣ же дѣлать, если онъ до того присунъ мнѣ, что я освободиться отъ него не могу? Тогда какъ ежели я заблаговременно переселюсь въ «свой собственный гробъ»—навѣрное всякій страхъ напрасной смерти пройдетъ самъ собою, за немнѣніемъ пищи. «Соваться» мнѣ тамъ—неза-

чѣмъ, да и департаментъ возмездій и воздаяній будетъ далеко... Никто и не увидитъ, какъ я изищу, пронаду самымъ естественнымъ образомъ!

Съ любовью и не торомясь прилаживался я къ своему гробу и, признаюсь, не безъ удовольствія говорилъ себѣ: какъ это однако хорошо, что у меня свой собственный гробъ есть! Надоѣло «слоняться», «соваться» и вообще производить свойственныя досужему человѣку дѣйствія—взялъ, юркнулъ въ свой собственный гробъ и пропалъ въ немъ. А у другихъ, у «недосужихъ», этого нѣтъ. Вотъ онъ ѣдетъ зимникомъ по рѣкѣ, передъ самыми окнами моего дома, съ возомъ на мельницу—онъ и радъ бы юркнуть, да недосужно ему. И у него, пожалуй, есть свой собственный гробъ, тамъ, на селѣ; по это такой гробъ, въ которомъ не постепенно умирать, а ежемгновенно и безъ отдыха жить надо. Во-первыхъ, потому, что онъ, обитатель этого гроба,—ревизская душа, а, во-вторыхъ, потому, что жизнь сама по себѣ, помимо его воли, помимо разумія, даже помимо инстинктовъ самосохраненія, впицась да и не отпускаетъ его.

Какая это жизнь—это другой вопросъ. Я, по крайней мѣрѣ, увѣренъ, что въ эту самую минуту онъ глядитъ на мой гробъ и думаетъ: «вотъ гдѣ настоящая-то жизнь!» И всегда онъ такъ думалъ: и тогда, когда я «совался» и «пламенѣлъ», и теперь, когда я, истомленный «сованіями», исподволь прилаживаюсь къ гробу. Всегда онъ завидовалъ моей тоскѣ и моимъ изпываніямъ, называлъ ихъ жировыми и говорилъ: «хоть бы недѣлку такъ-то пожить!»

Я изнываю отъ тоски, отъ неудовлетворенной жажды поступковъ, наконецъ отъ стыда, а онъ думаетъ: «вотъ оно, хорошее-то житье!» И думаетъ правильно, потому что его-то собственное житье ужъ таково, что даже судальскимъ богомазамъ, этимъ присяжнымъ побразителямъ адскихъ мученій,—и тѣмъ не найти красокъ, чтобъ достойнымъ образомъ воспроизвести это житье!

Собственно говоря, только это вѣчно-присущее сравненіе между его гробомъ и моимъ и напоминаетъ ему обо мнѣ. Во всемъ остальномъ—ему до меня дѣла нѣтъ. Ни совѣтовъ ему моихъ не пужно, ни сочувствія. Въ томъ дѣлѣ, которое сопровождаетъ его жизненную агонію, я никакихъ поученій дать ему не могу, да и онъ самъ эти поученія встрѣтитъ съ нетерпѣніемъ, скажетъ: «уйди! не мѣшай!» Что же касается до сочувствія, то и тутъ послѣдуетъ тотъ

же отвѣтъ: «уйди не мѣшай!» Онъ не приметъ его за пропію только потому, что вообще ничего непрямое, инсказательнаго не разумѣетъ, а просто-на-просто подумаетъ, что мое сочувствіе есть обшкповенное интеллигентное «сованіе», только на этотъ разъ ужъ совѣтъ неумѣстно примѣненное. «И безъ тебя тошно,—а ты лѣзешь!»

Да, лучше ужъ не «соваться», а сидѣть смирно въ своемъ собственномъ гробу и потихоньку умирать. Слава Богу! напеленка съ маменькой, накапливая тальки да овчины, да прижимая къ рублю конейку, наколотили такъ достаточно, что даже всеокрушающая рука времени не успѣла уничтожить всего. Углы дома не отгнили, потолки не повалились, полы не перекошились—чего еще нужно! А главное, никто не мѣшаетъ, никто даже не подозрѣваетъ, что въ этомъ гробу кто-то копошится. Много такихъ гробовъ разбросано по окрестности, и о большинствѣ даже неизвѣстно, чьи они и шевелится ли въ нихъ кто-нибудь. И стоять они, постепенно чернѣя и осѣдая подъ влияніемъ времени и непогоды. Пройдетъ еще одно поколѣніе—даже гробовъ не будетъ, а просто-на-просто будутъ торчать по чернѣвшіе, безглазые черена.

При моемъ душевномъ настроеніи это было чрезвычайно удобно. Мнѣ именно нужно было исчезнуть такъ, чтобъ никто не отыскалъ. Я машинально повторялъ про себя старинное мудрое реченіе: «мертвые срама не имутъ»—и мысль, что нашлось наконецъ убѣжище, въ которомъ никто не постигнетъ меня, приводила меня въ восхищеніе.

Замѣчательная особенность: вотъ онъ, тотъ самый, который идетъ за возомъ на мельницу, онъ не только не понимаетъ моего недуга, но даже меня, человѣка изнемогающаго, считаетъ за привередника. Можетъ-быть, ему некогда разбираться, сколько постыднаго сорнаго налета на сѣло на жизнь, но можетъ быть и то, что его обычный *modus vivendi* ужъ таковъ, что самая способность что-нибудь различать притупилась. Бжели у человѣка съ младенческихъ пеленокъ единственный способъ передвиженія состоитъ въ томъ, что его перетаскиваютъ съ мѣста на мѣсто за волосы, то, конечно, онъ будетъ ощущать при этомъ физическую боль, но все-таки врядъ ли пойметъ, что этотъ способъ передвиженія ненормальный. Ненормальный—для кого? Вотъ для нихъ, для тѣхъ, которые худо ли, хорошо ли, а ползутъ-таки на собственныхъ ногахъ—можетъ-быть! Но для него—онъ нормальный, потому что

иначе какъ же могло бы случиться, чтобъ тасканіе за волосы совершалось среди бѣла-дня, у всѣхъ на виду, и ни у кого бы не перевернулось сердце при этомъ зрѣлищѣ!

Такъ-то и тутъ: не понимаетъ онъ да и только. Но быть свидѣтелемъ этого пониманія, видѣть, какъ оно расплодилось по всѣмъ жизненнымъ тропинкамъ и заполонило вселенную,—ужасно! Въ сущности, это собственно только и ужасно. Съ своимъ личнымъ, частнымъ недугомъ я, пожалуй, довольно легко бы совладалъ, а вотъ этотъ общій и частью даже мужской недугъ—онъ-то именно и составляетъ ту непосильную гиру, которая заставляетъ человѣка осѣдать все глубже и глубже, покуда онъ не очутится лицомъ къ лицу передъ отверстиемъ гробовъ.

Почему чужой недугъ претворяется въ свой собственный и даже хуже гнететъ—это отчасти объясняется бѣдшимъ или меньшимъ досужествомъ. Досужество даетъ человѣку возможность развертывать перспективы, отыскивать связующіе элементы. А какъ только начинаетъ чувствоваться связь между собою и «остальнымъ», такъ тотчасъ же дѣлается невыносимо больно. Горы чего-то несслыханнаго, какой-то безразсвѣтной мглы начинаютъ падвигаться со всѣхъ сторонъ и давить, и давить безъ конца. Чтобъ вынести эти горы на своихъ плечахъ, надо быть или очень сильнымъ, или—очень нахальнымъ. Робкимъ и слабымъ—не остается ничего больше, какъ исчезнуть.

Я устроился сразу и отлично: надѣлъ халатъ и замолчалъ. Комнатъ—цѣлая анфилада; можно ходить взадъ и впередъ до усталости. Ходишь и молчишь; даже въ головѣ настоящихъ мыслей нѣтъ, а мелькаетъ что-то неопредѣленное. Отрывки старыхъ воспоминаній, звуки... Прислуга является ко мнѣ рѣдко, въ опредѣленные часы, чтобъ сказать, что подано кушать, или принести стаканъ чаю. Были попытки завести разговоръ о томъ, что сегодня съ утра жжича жжить, или о томъ, что нынѣшнюю зиму волковы до ужаси много, въ деревнѣ днемъ по улицѣ бѣгаютъ; но такъ какъ съ моей стороны поспрешій не послѣдовало, то и эти неважные разговоры улеглись сами собою. Когда-то я интересовался вопросомъ объ одиночномъ заключеніи и даже съ жаромъ доказывалъ, что это—самый благородный способъ отмщенія нарушенной правды, потому, дескать, что онъ даетъ нарушителю возможность примириться съ самимъ собою. Вотъ какой я былъ... филантропъ! Какъ бы то ни было, но эта старинная предилекція, должно-быть,



и сказавшись теперь. Я нашел для себя именно одиночное заключение, — разумеется, смягченное алфиладою компатъ и возможностью во всякое время нарушить обрядъ молчания.

Только припесеть ли оно съ собой примиреніе? разбѣтъ ли мгу, которая такъ и виситъ надъ мною, несмотря на вѣшній свѣтъ и просторъ?—вотъ въ чемъ вопросъ.

Покажѣтъ однако я чувствую себя очень хорошо. По крайней мѣрѣ та страшная мысль, что я ничего не могу, ничего не знаю, что я—пятое колесо въ колесницѣ, которая разбила мою жизнь, уже не терзаетъ меня такъ жестоко, какъ прежде. Имѣя впереди только гробъ, мнѣ не нужно ни мочь, ни знать, а тѣмъ больше претендовать на званіе пеллишняго колеса: я и колесницы-то никакой не вижу. Какъ хотите, а это выигрываетъ. Мнѣ нужно одно: чтобъ молчаніе, объемяющее меня, не нарушалось ни единымъ призывомъ къ жизни. Мнѣ такъ довольно всякихъ «не могу», «не знаю», и понятіе о нихъ до того отожествляется въ моихъ глазахъ съ понятіемъ о жизни, что всякое напоминаніе о послѣдней представляется напоминаніемъ о первыхъ.

Но одиночество и само по себѣ имѣетъ втягивающую силу. Оно нашептываетъ думы, не имѣющія ничего общаго съ думами живыхъ людей. Что-то совершенно особенное; не скажу, чтобъ фантастическое или безсвязное, но никогда не кончающееся и притомъ доступное для безконечныхъ видоизмѣненій. Думы плывутъ безостановочно, сами собой, не беря старыхъ ранъ и не смущая тревогами будущаго. Для человѣка, перешибленнаго пополамъ и имѣющаго за плечами цѣлое бремя всевозможныхъ «сованій», одно воспоминаніе о которыхъ заставляетъ краснѣть,—это до того хорошо, что всякій перерывъ, всякое вѣдннее вторженіе кажется несноснымъ, тяжелымъ. Думаешь, что если бы среди этого одиночества вдругъ появился свѣтлый человѣкъ съ цѣлымъ запасомъ вѣстей изъ міра живыхъ—это не только не заинтересовало бы, но скорѣе даже огорчило бы меня. Я слушалъ бы только машинально, изъ приличія, но внутри у меня кипѣла бы все та же неясная работа безконечно тянущихся представленій, звучала бы все та же струна. Это бываетъ съ людьми, которые серьезно освоились съ одиночествомъ, да еще съ людьми, которыхъ поразила сильная мысль, что-то въ родѣ откровенія. Вся обденная жизнь проходить мимо этихъ людей, какъ бы не прикасаясь къ нимъ. Есть одна свѣтящаяся точка, въ

которую неизмѣнно впередъ ихъ взоръ, и этой одной точки совершенно достаточно, чтобъ наполнить ихъ существо до краевъ.

Однимъ словомъ, одиночество должно оказать мнѣ великую услугу: оно спасаетъ меня отъ жизни. Умирать хотя и тяжело, но во-время — не только необходимо, но и полезно, поучительно: я на этомъ стою. Я знаю, что вообще достойнѣе и сообразнѣе съ человѣческимъ назначеніемъ говорить: «благо живущимъ!» Но знаю также, что бываютъ такія изумительныя обстановки, въ которыхъ и умѣстнѣе, и приличнѣе говорить: «благо умирающимъ и еще большее благо — умершимъ!»

Ничего не знать, ничего не мочь, быть пятымъ колесомъ въ колесницѣ, при всякомъ удобномъ случаѣ слышать: «не твоего ума дѣло!»—развѣ подобными признаками можно характеризовать какое бы то ни было общественное положеніе?

Я охотно допускаю, что «смертный» по природѣ самолюбивъ и склоненъ къ самовнѣнію, но вѣдь отпоръ этому самовнѣнію даетъ сама жизнь или, лучше сказать, свободный процессъ ея. Этотъ процессъ, самъ по себѣ, каждого ставитъ на свое мѣсто, для каждого очерчиваетъ извѣстное пространство, за предѣлы котораго переходить не полагается. Для чего же понадобилось, независимо отъ минувшей жизненной оцѣнки, заранѣе встрѣчать человека словами: твой умъ безсиленъ, дриблѣ, неумѣстенъ?

И какимъ изумительнымъ логическимъ путемъ можно было дойти до построения такой отчаянной теоріи, которая убиваетъ жизнь въ самомъ зародышѣ и слѣдовательно даже тѣхъ жалкихъ практическихъ результатовъ, которыхъ отъ нея ожидаютъ, въ сущности дать не можетъ?

Право, это совсѣмъ не такой праздный вопросъ, какъ можетъ показаться съ перваго взгляда, и есть немало людей, которыхъ самая постановка его терзаетъ безмѣрно. Разумеется, и его можно разрѣшить сразу, безъ дальнѣйшихъ оговорокъ, юркнувши въ гробъ; но, во-первыхъ, какъ я уже сказалъ выше, не у всякаго есть въ распоряженіи удобный гробъ, а во-вторыхъ, говоря по совѣсти, развѣ гробъ — разрѣшеніе?

Говорятъ, что нискуда имѣется налицо, съ одной стороны, цѣлая масса людей, у которыхъ нѣтъ времени обратиться съ какимъ бы то ни было запросомъ къ самимъ

себя, а съ другой—достаточное количество индивидуумовъ, которые преднамѣренно чуждаются мерцающей совѣсти и не чувствуютъ отъ этого ни малѣйшаго ущерба, — до тѣхъ поръ не представляется даже повода принимать въ соображеніе, что существуютъ какія-то бродячія единицы, разбросанныя по лицу земли, безъ опоры, безъ связи, и умирающія отъ боли, каждая въ своемъ углу. Этого мало: на общественномъ рынкѣ пользуется неограниченнымъ кредитомъ цѣлая философская система, которая прямо утверждаетъ, что все существующее уже по тому одному разумно и законно, что оно существуетъ...

Я знаю, что эта философія никакихъ практическихъ результатовъ не дастъ, и что, вдобавокъ, ее всего приличнѣе назвать заплечною; но попробуйте-ка протестовать противъ нея! Попробуйте сломить это желѣзное кольцо, которое отъ начала вѣковъ сдавило человѣка и заставляетъ его фаталистически вертѣться въ пустотѣ! Увы! старинная мудрость завѣщала такое множество афоризмовъ, что изъ нихъ, камень по камню, сложилась цѣлая несокрушимая стѣна. Каждый изъ этихъ афоризмовъ утверждался на костяхъ человѣческихъ, запечатлѣвъ кровью, имѣетъ за собою цѣлую легенду подвижничества, протестовъ, воплей, смѣртей. Каждый изъ нихъ поражаетъ крайнею несообразностью, прикрытой, ради приличія, какой-то пошлою мѣткостью, но взгляните въ эту пошлость поглубже, и вы на вѣрное увидите на днѣ ея цѣлый мартирологъ.

Эти легенды воплей, этотъ мартирологъ — развѣ они не представляютъ достаточнаго фундамента, на которомъ какой угодно безосодержательный афоризмъ можетъ безспорно утвердить свое право на существованіе?

Вотъ отчетъ заплечная философія провозвѣщаетъ; у нея имѣются свады цѣлыя массы жертвъ. Но кромѣ того, ужасная сама по себѣ, она дѣлается еще болѣе ужасною вслѣдствіе того, что прежде всего вторгается въ домашній, будничныи обиходъ человѣка, становится на стражѣ его удобствъ и привычекъ, и только тогда, когда уже видитъ силу сопротивленія окончательно сломленною, погубляеть и душу. Отъ этого встрѣчается много людей, даже не чуждыхъ умственной гастрономіи, которые не только мечутся отъ тоски при произнесеніи заплечныхъ афоризмовъ, но и не чувствуютъ ни малѣйшей неловкости. Жизненный процессъ у этихъ людей раскалывается на двѣ половинны: въ одной—матеріальная гастрономія, въ другой—гастрономія

умственная, и ежели въ некоторое время обѣ эти гастрономіи живутъ какъ бы отдѣльною жизнью, то обыкновенно дѣло все-таки оканчивается тѣмъ, что онѣ до того перепутываются, что утрачивается всякое мѣрило для опредѣленія, гдѣ кончается одна и гдѣ начинается другая.

Я долго, слишкомъ долго руководился этой заплечной философіей, прежде чѣмъ мнѣ пришло на умъ, что она заплечная. Будучи тридцатилѣтнимъ балбесомъ, я, какъ ни въ чемъ не бывало, выслушивалъ афоризмы въ родѣ: «выше лба уши не растутъ», «по Сенькѣ шапка», «знай сверчокъ свой шестокъ»—и не только не находилъ тутъ никакого мартиролога, но даже восхищался ихъ мѣткостью. Да и время тогда было совсѣмъ особенное. То было время, когда люди бессмысленно глядѣли другъ другу въ глаза и не оцущали при этомъ ни малѣйшаго стыда; когда самая потребность мышленія представлялась презрительною, ненавистною, опасною: поневолѣ приходилось прибѣгать къ афоризмамъ, которые хотя по наружности представляли что-то похожее на продуктъ мышленія.

Наконецъ цѣль заплечной философіи истощилась, поставивъ самихъ приверженцевъ своихъ лицомъ къ лицу съ глухой стѣной. Почувствовалась потребность въ новыхъ девизахъ, не столь мѣткихъ, но зато болѣе снисходительныхъ. Эти девизы явились, и мы всѣ, непрерывно другъ передъ другомъ, бросились павстрѣчу имъ. То было время всеобщихъ «совалій». Насталъ моментъ, когда всѣхъ осветило солнце откровенія, когда представлялось, что чаша горечи переполнилась до краевъ, и что заплечный мастеръ задохнулся въ ней. Я заметался вмѣстѣ съ другими, но не отъ боли, а отъ тысячи неопредѣленныхъ порывовъ, которые вдругъ народились въ моей груди и потянули меня на просторъ. Все мое существо, казалось, очистилось, просвѣтлѣло; новая кровь катилась по жиламъ, и ради этой новой крови, ради ея сладкихъ волненій, я готовъ былъ забыть даже недавнее заплечное прошлое. «Зоветь!»—раздавалось со всѣхъ сторонъ, и хотя чудо признація заставляло себя ждать, но признаки, позволявшіе угадывать сердцемъ его близость, чуялись всюду...

Я вышелъ на призывъ очень бойко. Написавши на знамени: «ничто человѣческое мнѣ не чуждо», я искренно увѣровала, что вѣстину вступилъ въ область этого «человѣческаго». Я жаждалъ жить и въ особенности жаждалъ «участвовать». Но, несмотря на эту страстную жажду,

нельзя сказать, чтобъ я былъ черезчуръ требователенъ и нетерпѣливъ. Напротивъ, практика заплечной философіи уже настолько въѣлась въ меня, что я не только инстинктивно чувствовалъ, но даже понималъ, что «вдругъ» — невозможно.

«Не вдругъ!» — повторялъ я на всѣ лады, и повторялъ совершенно съ тѣмъ же энтузіазмомъ, съ какимъ выкрикивалъ и другой свой девизъ: «да здравствуетъ обновленіе!» Представлялось, что слова: «не вдругъ» — ничего не останавливаютъ, а только спасаютъ. И въ то же время хотѣлось уберечь дѣло обновленія отъ вліяній дурного глаза, выхолостить его на славу. Я зналъ, что у него множество ненавистниковъ, и воспамѣрился побѣдить ихъ терпѣиємъ и даже повадливіостью. Пусть знаютъ, пусть видятъ, твердилъ я, что мы ничьихъ интересовъ не затрогиваемъ и желаемъ лишь одного, чтобъ никто не потерялъ и чтобъ всѣ выиграли! Миѣ не приходило на мысль, что, твердя слишкомъ часто одно и то же «не вдругъ», я наконецъ могу при немъ одномъ и остаться. Нѣтъ, я этого не боялся, потому что былъ слишкомъ увѣренъ въ живучести своего порыва. Я вообще въ то время ничего не боялся: ни самоотверженно лѣзть впередъ, ни предусмотрительно кричать: «не вдругъ!»

Къ чему я тогда ни примазывался! Въ какомъ «хорошемъ» дѣлѣ ни предлагалъ своихъ услугъ! Всѣ тогдашніе вопросы были мои личными кровными вопросами. Я пламенѣлъ не только общою идеей гласности и устности (это была тогдашняя всеобщая панацея), но и всѣми ея деталями, и вездѣ предъявлялъ искренность, расторопность, готовность, радость. Утромъ я просыпался со словами: «сегодня намъ предстоитъ быть участниками новой радости, которая должна ознаменовать и упрочить наше молодое обновленіе»; ночью — мой первый сонъ начинался словами: «радость, которая еще сегодня утромъ составляла только предметъ гаданій нашихъ, свершилась»... Мои восторги были не только искренни, но и до того разнообразны, что я положительно не успѣвалъ съ ними во всѣ мѣста, куда они меня влекли, хотя быстрота моихъ мельканій по лагерю радостей и надеждъ была повстинѣ изумительна. И за всѣ эти мельканія я ничего не требовалъ, кромѣ счастья быть свидѣтелемъ общаго обновленія и скромно сознавать, что я тутъ былъ, медъ-пиво пить...

Я торжествовалъ и — что всего хуже, — принялъ мое

торжество за нѣчто серьезное. Дѣйствительно, на первыхъ порахъ мои «сованія» не только не встрѣтили отпора, но катились впередъ, отъ станціи до станціи, словно по покатоности. Въ лагерѣ радостей и надеждъ меня ожидали только объятія и сочувственныя улыбки. Я уже не говорю о второстепенныхъ дѣятеляхъ обновленія — эти положительно не могли нагордиться другъ другомъ, какъ половые Палкинскаго трактира въ ту минуту, когда хозяинъ пригласилъ француза-новара, — но даже въ средѣ самихъ «строителей» все говорило о ласкѣ, о поощреніи, о благосклонномъ снисхожденіи. Правда, что въ этомъ снисхожденіи чувствовался оттънокъ чего-то нехорошаго на изумленіе, но именно этотъ-то оттънокъ мы вносили въ пресмотрѣли. Если бы мы спохватились во-время, то убѣдились бы, что тутъ скрывается нѣчто во всякомъ случаѣ загадочное. Что собственно послужило поводомъ для этого изумленія: размѣры ли нашего слабоумія, разыграннаго до рѣзости, или гадливое опасеніе, что вотъ и это рѣзвищея слабоуміе, чего добраго, предъявитъ какія-то требованія?

Наконецъ, однако, мы надѣли. Года два сряду мы любовались другъ другомъ, на третій — любоваться было уже нечѣмъ. Мы весь свой багажъ разбросали разомъ и ничего не сумѣли подобрать, такъ что очутились совсѣмъ съ пустыми руками. Все измѣнилось кругомъ насъ: спросъ на наши услуги вдругъ понизился до минимума, снисходительныя улыбки превратились въ откровенно-кислосладкія; одни мы не измѣнились и продолжали выказывать назойливѣйшую готовность идти въ огонь и въ воду. Тогда, чтобъ отдѣлаться отъ насъ, потребовалось употребить насильство...

Что было потомъ — лучше не вспоминать. Скажу одно: человѣку, который гордо шелъ въ храмъ славы и вмѣсто того попалъ въ хлѣвъ, — и тому едва ли пришлось испытать столько горечи. Ошибки маршрута, особливо въ такихъ мѣстностяхъ, гдѣ и храмъ славы, и хлѣвъ стоятъ рядомъ, не представляютъ еще особенно мучительной неожиданности; но замѣна вчерашняго лихорадочнаго «сованія» сегодняшнимъ оцѣпенѣиємъ, это — болѣе, нежели неожиданность: это пѣвый переворотъ. Нитъ жизни порвана, привычки нарушены, всѣ планы, всѣ стремленія, все, чѣмъ жилъ человѣкъ, — все разомъ упразднено. Сколько жгучаго презрѣнія долженъ чувствовать человѣкъ къ самому себѣ

въ минуту совершенія этого переворота! Въдъ оны все тотъ же: дѣятельный, преданный, одушевленный — и вдругъ... За что?

За что! поймите, какая масса безпомощности, самоуничиженія, напрасныхъ уроковъ, безсильнаго ропота слышится въ одномъ этомъ вопросѣ!

Съ перваго раза нельзя даже понять, что такое случилось. «Выше лба уши не растутъ!» «Знай сверчокъ свой шестокъ»... Опять! опять эта постылая, ненавистная «мудрость вѣковъ!» Въ бывалое время она входила въ одно ухо и выходила въ другое; теперь — она хлещетъ по щекамъ! Все лицо горитъ, весь организмъ трясется. «Пятое колесо въ колесницѣ» — кто первый выдумалъ это чудовищное сравненіе? «Ничего не знаю», «ничего не могу» — кто возвелъ эти ужасныя слова въ доктрину? Куда бѣжать, куда провалиться отъ этихъ запечатанныхъ афоризмовъ? О «сованіяхъ», конечно, нечего и думать; но куда бѣжать?

И вотъ навстрѣчу выдвигается... гробъ!

Отлично, отлично, отлично!

Теперь самое существенное, это — довести мысль до той степени неопредѣленности, при которой она совпадаетъ съ жуужаніемъ. И затѣмъ — позабыть. Погрузиться со всѣмъ прошлымъ и настоящимъ на самое дно, такъ, чтобы выкарабкаться оттуда было нельзя, если бы даже и пришаа въ голову блажь опять лѣзть навстрѣчу стариннымъ сованіямъ.

Какъ я уже сказалъ выше, вѣщія обстановка съ самаго начала удивительно какъ благоприятствовала этому погруженію. Но чѣмъ дальше, тѣмъ лучше. Нѣтъ ни происшествій, ни даже простого благорастворенія воздухонъ — ничего такого, что вызвало бы попытку выйти изъ гроба. На дворѣ замѣчаются, правда, признаки весны, но не той свѣтлозарной, зажигающей весны, о которой повѣствуется въ книжкахъ, а какой-то мокрой, сопливой, кислой. Тяжелыя сѣрыя тучи повисли надъ домомъ, посадомъ и паркомъ и съ утра и до ночи сбываютъ на землю мокрый снѣгъ. Съ 1-го марта подулъ съ юго-запада вѣтеръ, но настоящаго тепла не принесъ, а только сырость да слякоть; иней, одѣвавшій паркъ узорчатою одеждою, сползъ, и деревья стоятъ голыя и беспорядочно хлещутъ по воздуху отяжелѣвшими вѣтвями; дорога исковеркалась и побурѣла; рѣка

покрылась полыньями; въ саду снѣгъ источило словно червоточиною, и по мѣстамъ обнаружилась взбухшая земля; люди ходятъ мокрые, иззябшіе, хмурые; деревня совѣтъ почернѣла. Говорится въ сказкахъ о жаворонкахъ, о волшебныхъ метаморфозахъ воскресенія природы, но ни жаворонковъ, ни воскресенія нѣтъ, а есть унылая картина неопрытнаго превращенія твердаго черепа зимы въ непролазныя хляби весны. Только воробьи суетливѣе прежняго хлопочутъ вокругъ гнѣздъ и неустовымъ крикомъ какъ бы возвѣщаютъ, что одна тоска, зимняя, кончилась, и началась другая тоска, весенняя.

Что же касается до происшествій, то я заранѣе рѣшился устраняться отъ нихъ и потому даже наблюденій никакихъ не дѣлаю. Иногда, впрочемъ, я подхожу къ окошку, гляжу на поселокъ, но особеннаго любопытства не ощущаю. Тамъ во множествѣ кишатъ черныя точки, погруженныя въ вѣчную страду. Кишатъ — и только. Борются — и не сознаютъ борьбы; устраняютъ, ухищляютъ — и не могутъ дать себѣ отчета: что и зачѣмъ? И не хотятъ знать ни высшихъ соображеній, ни высшихъ интересовъ, кромѣ, впрочемъ, одного, самаго высшаго: интереса фды. Конечно, я понимаю, что въ этомъ-то интересѣ и сила вся, но странная вещь! — какъ только я наталкиваюсь на него (а не натолкнуться — нельзя), такъ тотчасъ же чувствую непреодолимое желаніе обойти, замѣть. Разумѣется, впрочемъ, такъ обойти, чтобы никто этого не замѣтилъ...

Вообще я долженъ сознаться, что меня всегда гораздо сильнѣе трогалъ вопросъ о недостаткѣ такъ-называемыхъ «свободъ», нежели вопросъ о недостаткѣ фды. Фда — вещь неизмѣнная (трудно даже вообразить: какъ это нѣтъ фды!), а я воспитанъ въ традиціяхъ красивыхъ линий и интересъ исключительно спекулятивнаго свойства. Конечно, я не чуждъ и представленія о безкормицѣ, но не «такой». Въстѣ съ Генрихомъ IV я охотно желаю всѣмъ и каждому курцу въ супѣ, но именно курцу, а не ржалой хлѣбъ, хотя бы и безъ примѣси лебеды. Сверхъ того, я могу довольно легко представить себѣ и трагическую сторону безкормицы, но именно трагическую, красивую: вопли, стоны, проклятія, голодную смерть, а не обрядовое голоданіе, сопровождаемое почтительно сдерживаемымъ урчаніемъ въ животѣ и плаксивою суетою, направленною въ одну точку: во что бы то ни стало оборониться отъ смерти.

Тѣмъ не менѣе иногда мнѣ сдается, что — будь у меня,

вместо множества высших интересов, только один, самый высший — навѣрное, меня не грызла бы такая бѣшеная тоска. Очень возможно, что она замѣнилась бы болью еще болѣе жестокой, но у этой боли существовала бы реальная подкладка, на которую я могъ бы сослаться съ увѣренностью быть понятымъ. А теперь, съ своими «свободами», куда я пойду? Съ какими глазами покажусь я вотъ хоть на этой почернѣвшей отъ мужицкаго тука улицѣ, на которой день-денской все кипитъ, все кипитъ?

Поэтому-то я и не выхожу изъ гроба и не наблюдаю ни надъ чѣмъ. Нѣтъ у меня нужной для этого подготовки. Однако-жъ это не мѣшаетъ мнѣ утверждать по совѣсти, что хотя мои «высшіе интересы» — и не «самые высшіе», но все-таки они — не прихоть, не фалаберія, а дѣйствительная и стенищая боль сердца. И эта боль тѣмъ несноснѣе шемить меня, что я обязывалось глотать свою отраву безмолвно и въ одиночку.

Однажды, впрочемъ, я соблазнился и чуть-было совсѣмъ не выпрыгнуть изъ гроба. Вотъ по какому случаю. Пришелъ сельскій батюшка, весь встревоженный, и сообщил мнѣ, что на селѣ случилось происшествіе.

— Появился мужичокъ одинъ, изъ фабричныхъ, — рассказываетъ онъ: — нашъ онъ, коренной здѣшній, да не по-здѣшнему рѣчь ведетъ. Говоритъ: рука Божія якобы не надъ всеми равно благостно и равно попечительно простирается, но иныхъ угубжаетъ преизбыточно, а другихъ и отъ малаго немилостививѣ отстраняетъ...

— Воля ваша, батюшка, а тутъ что-то не такъ! — усомнился я.

— Ну, да, конечно, онъ по-своему, по-мужицкому, объясняетъ, а редакцію-то эту ужъ я...

— Понимаю. Что-жъ дальше?

— То-то вотъ: какъ въ этомъ разѣ поступить?

— То-есть какъ же такъ поступить?

— Дать ли дѣлу ходъ или такъ оставить?

— Батюшка! помилосердитесь.

— Признаться, я и самъ... Только вотъ мужички обижаются... Кабатчикъ, значить... въ личную себѣ обиду принять — ну, и прочихъ избунтовать!

Я заинтересовался и пошелъ на село. Передъ волостнымъ правленіемъ волновалась небольшая кучка народа, изъ которой неслись смутные крики. Но не успѣлъ я дойти до мѣста суднища, какъ приговоръ уже былъ объявленъ

и приводился въ исполненіе: виноватаго «стегали»: Здоровенный мужикина самъ слялъ съ себя портки, самъ легъ и самъ кричалъ: «честной міръ! господа честные! простите! не буду!» А впоследствии я, сверхъ того, узналъ, что только благодаря представительству батюшки дѣло кончилось такъ легко, и что — не будь этого представительства — кабатчикъ непременно бы настоялъ, чтобъ возмутителя его спокойствія отослали въ станъ.

Я возвратился домой и, признаюсь, нѣкоторое время чувствовалъ себя изрядно взбудораженнымъ. Помните! Я ужъ совсѣмъ было началъ «погружаться», а вмѣстѣ съ тѣмъ и самое представленіе о розгахъ уже стало помаленьку заливаться, и вдругъ... Да, братъ, «выше лба уши не растутъ!» — машинально повторилъ я и чуть-чуть не задохся вслѣдъ затѣмъ — до такой степени весь воздухъ, которымъ я дышалъ, казалось мнѣ, провонялъ, протухъ...

О чемъ собственно шла рѣчь? — объ фдѣ. Кажется, предметъ общепонятный и общедоступный, а между тѣмъ честной міръ рѣшеніемъ своимъ засидѣтельствовавъ, что и дѣла ему до него нѣтъ, что онъ не желаетъ даже, чтобъ его безоконали подобными разговорами. Что означаетъ этотъ фактъ? То ли, что міръ хотѣлъ «уважить» кабатчика? или то, что въ его представленіи вопросъ объ фдѣ сформулировался такъ: «Ишь, что у тебя подъ носомъ?»

Какъ бы то ни было, но отъ мысли, что заправскій узелъ все-таки тамъ, на посѣлкѣ, никакъ не уйдешь. Какъ ни взмывай крыльями вверхъ, ни стучи лбомъ объ землю, какъ ни кружишь въ пространствѣ, а посѣлка все-таки не миновать. Тамъ настоящій пупъ земли, тамъ разгадка всѣхъ жизненныхъ задачъ, тамъ ключъ къ разумнью не только прошедшаго и настоящаго, но и будущаго. И нужно пройти туда... но какъ же туда пройти, коль скоро тамъ только одно слово и произносится внятно: «стегать»?!

Во всякомъ случаѣ, кто не можетъ вмѣстить посѣлка, тотъ лучше пусть и не прикасается къ нему. Потому что иначе къ прежнимъ высшимъ мотивамъ тоски пришлось бы прибавить еще новый, самый высшій...

Такъ я и поступаю, то-есть стараюсь поступать. Я не хочу тоски, а хочу жить въ гробу безъ прошлаго, безъ будущаго, даже безъ настоящаго. Да, и безъ настоящаго, хотя это и кажется на первый взглядъ нелѣпымъ. Я убѣжденъ, что можно до такой степени убить въ себѣ чувство жизни, что самая реальная, осязательная дѣйствитель-

ность—и та не то что *покажется*, а вонстину едѣляется призрачною, неуловимою. Стѣны будутъ двигаться, полъ начнетъ колебаться подѣ ногами. Галлюцинація получится полная, но вѣдь только она и можетъ привести за собою настоящее, заправское забвеніе.

Чтобъ достигнуть этого результата, необходимо прежде всего отучиться отъ настоящихъ человѣческихъ мыслей и замѣнить ихъ другими, получеловѣческими. Во-первыхъ, это засвидѣлствуетъ о несомнѣнномъ поворотѣ въ сторону благонамѣренности, а во-вторыхъ, удивительно какъ помогаетъ жить, то-есть умирать. По началу, разумѣется, встрѣчаются затрудненія, но извѣстные механическіе приемы мигомъ упрощаютъ дѣла. Такъ, напримѣръ, настойчивымъ повтореніемъ вслухъ первой попавшей подѣ руку безсмыслицы можно развить какую угодно мысль.

Къ тому же у каждаго человѣка есть наготовѣ цѣлый запасъ исторій, которыя преимущественно щекочутъ его оживотненные инстинкты и потому нравятся. Несмотря на крайнюю несложность содержания, эти исторіи имѣютъ то драгоценное качество, что ихъ, по желанію, можно обставлять новыми и новыми деталями, вслѣдствіе чего онѣ никогда не кажутся ни залощенными, ни исчерпанными. Таковы, напримѣръ, исторіи любовныя. Какое свѣтлозарное облако можно соткать по такому простому поводу, какъ столкновеніе двухъ существъ, изъ которыхъ одно называется мужчиною, а другое—женщиною, и какими яркими, разнообразными колерами будетъ это облако отливать! Или другой примѣръ: процессъ личнаго обогащенія; и его тоже можно всякими огнями освѣтить. И сто тысячъ—богатство, и миллионъ—богатство, и сотня миллионъ—богатство. Затѣмъ: сначала идетъ процессъ накопленія (какой отличный случай для вмѣнательства элемента «чудеснаго!»), потомъ— процессъ распредѣленія... то-есть на себя, на свои собственные нужды, а отнюдь не... Понстинѣ, можно до такихъ complicationъ дойти, что сразу и не справиться съ ними! И еще примѣръ: исторіи сельскохозяйственныя. Самъ-другъ, самъ-семъ, самъ-двѣнадцать—какое разнообразіе! А съ другой стороны—цѣна продуктовъ можетъ быть—рубль, а можетъ быть—грошъ. Какъ тутъ быть? Попеволѣ приходится рыться въ воспоминаніяхъ объ экономическихъ обѣдахъ (эти воспоминанія не только можно, но и должно освѣжать какъ можно чаще). Словомъ сказать, является цѣлый міръ мыслей, думъ, представленій, не весьма цѣп-

ныхъ, получеловѣческихъ, но способныхъ воспринимать всякую произвольную деталь. Благодаря этому свойству не успѣешь и оглянуться, какъ образуется громадный клубокъ, передъ которымъ цѣлыя поколѣнія будутъ стоять въ изумленіи, покуда не придетъ «невѣжа» и не скажетъ «наплювать!»

Но когда-то это еще случится, а покамѣстъ ресурсъ все-таки есть. Я очень серьезно отнесся къ этой программѣ и рѣшился во что бы ни стало ее осуществить. И вотъ стѣны вокругъ меня зашатались, полъ заколебался подѣ ногами... Проблески стариннаго стыда, воспоминанія о высшихъ вопросахъ, представленіе о послѣдкѣхъ— все исчезло. Остались только зеленые круги въ глазахъ, какъ неизбежное послѣдствіе болѣзненной усталости.

Я знаю, мнѣ скажутъ, что это срамъ. Да, это срамъ, отвѣчу я, и даже высокой пробы; но онъ освобождаетъ меня отъ прошлаго, а въ данномъ случаѣ только это и требуется.

Я уже начиналъ совсѣмъ утрачивать чувство дѣйствительности, какъ нечаянный случай снова возвратилъ меня къ нему. Привязался ко мнѣ старикъ Дементычъ съ «докладомъ»: время-де погребъ набивать льдомъ. Нѣсколько дней сряду я только мычалъ въ отвѣтъ: «а! гы!» Наконецъ онъ, повидимому, испугался и почти во все горло проскальзывалъ свой вопросъ.

Вотъ по этому-то ничтожному поводу и завязался у насъ разговоръ.

— Отъ Ивана Михайлыча человѣкъ на мельницу прѣзжалъ; спрашивалъ, давно ли вы въ усадьбу прѣехали?— доложилъ Дементычъ.

— Отъ Ивана Михайлыча! помню! какъ же... помню, помню! Да неужто онъ живъ?—встрепенулся я.

— Живы-съ.

— Да вѣдь ему ужъ *тогда* было подѣ семьдесятъ—помнишь?

— Много имъ годовъ. А все до послѣдняго время здорovy были. Только въ прошломъ году, отъ несчастья въ отъ этихъ, словно кабы...

— Отъ какихъ несчастьевъ?

— Да съ молодыми господами что-то подѣбалось. Да и Марья Ивановна, дочка ихняя, померла. Теперь живутъ самъ-другъ съ младшею внучкой... въ родѣ какъ убогая-кая она... Поѣдете, что ли, провѣдать?

— Конечно, конечно... Какъ-нибудь... съѣзжу!

Дементычъ ушелъ, а я началъ приноминать. Это было лѣтъ двадцать тому назадъ, въ самый разгаръ моихъ «сованій». Иванъ Михайлычъ ужъ и тогда былъ старикъ старый. Какъ сейчасъ вижу его: длинный, прямой, худощавый, но ширококостный и плечистый, съ головой, остриженной подъ гребенку и украшенной окладистой сѣдой бородою, вѣчно въ застегнутомъ на все пуговицы черномъ сюртукѣ солиднаго покроя. Самъ лично онъ не «совался» — тогда не позволяли, — но сердцемъ и мыслью былъ неотлучно съ нами (насъ было-таки довольно). Мы были молоды, а онъ, казалось, вдвое моложе насъ. Онъ воодушевлялъ насъ, вселялъ въ насъ бодрость и вѣру — въ насъ, которые и сами были всецѣло сотканы изъ бодрости и вѣры! Въ его старческомъ сердцѣ словно цвѣтъ какой-то загадочный распустился; въ его старческихъ глазахъ — искрилось пламя. Никакихъ сомнѣній онъ не допускалъ, а тѣмъ болѣе — прови, къ которой былъ даже строгъ. И радовался такою безмѣрною радостью, какою можетъ радоваться только острожникъ, выдержавшій безконечно-долгій испускъ, утратившій всякую надежду на освобожденіе и вдругъ, волшебствомъ какимъ-то, очутившійся на волѣ. И мы чувствовали на себѣ силу этой радости и окружали старика всевозможными знаками уваженія. Чудно было видѣть, какъ сильный лучъ свѣта вдругъ освѣтилъ могильную плиту, но вмѣстѣ съ тѣмъ и необыкновенно отраднo. Казалось, плита поднялась и дала выходъ совсѣмъ новому, сильному человѣку, который не зналъ, какъ надыхаться, наглядѣться, наликоваться. Конца-края его ликовавію не было, потому что этотъ ожившій, согрѣтый лучомъ, мертвецъ создавалъ перспективы за перспективами, одна другой радостнѣе, лучшѣе...

Въ то время у него была дочь, еще довольно молодая. Красива ли была она или дурна, мнѣ какъ-то никогда не удавалось замѣтить; но я помню, что въ этой семьѣ всемъ было и уютно, и свѣтло, и тепло, и какъ-то особенно легко. Должно-быть, оттого, что въ ней царствовалъ какой-то удивительный ладъ. Всегда большой наплывъ постороннихъ — и ли малѣйшей суетлоки, всегда немолчный говоръ — и никакого надобнаго шума. Домъ этотъ служилъ средоточіемъ не потому, что туда можно было во всякое время уйти отъ нечего-дѣлать, а потому, что всякій надѣялся освѣжиться въ немъ. Удивительное дѣло, сколько тогда матеріала для безконечныхъ бесѣдъ было — шнче этого даже

представить себѣ нельзя! Точно все родились вновь и на каждомъ шагу обрѣтали совсѣмъ новые предметы, нужные, животрепещущіе, настоятельные. Да и, дѣйствительно, много было и животрепещущаго и настоятельнаго, да вотъ пришло что-то загадочное, чего и ждать, казалось, было нельзя; пришло и подкосило...

Впоследствии, когда всемъ мѣстнымъ «сованіямъ» (я забылъ сказать, что жилъ въ то время въ деревнѣ, гдѣ собственно и сосредоточивалась тогдашняя кипучая дѣятельность) былъ положенъ крутой и внезапный конецъ, и бросился вонъ изъ деревни и уѣхалъ «соваться» въ другія мѣста. А Иванъ Михайлычъ остался на мѣстѣ, и хотя цѣтокъ, случайно распустившійся въ его сердцѣ, завялъ значительно, но все-таки онъ продолжалъ заботливо охранять его корень, въ чаянн, что опять проглянутъ лучи и согрѣютъ его. Повторяю: въ качествѣ острожника, почувствовавшаго просторъ полей, онъ сдѣлался навентъ, какъ юноша, и какъ юноша же былъ доступенъ только впечатлѣніямъ радости и надежды. Я лично уже не видѣлся съ нимъ, но отъ постороннихъ слышалъ, что онъ точно такъ же, какъ и я, какъ и все мы, не одинъ разъ расцвѣталъ и не одинъ разъ увядалъ. Надежда — вещь слишкомъ привязчивая, чтобъ могла легко и скоро превратиться въ стыдъ. Но годъ или два тому назадъ Ивана Михайлыча постигло двойное несчастье: сперва умерла дочь, а потомъ случилось что-то загадочное съ внуками, которыхъ онъ вырастилъ и на которыхъ не могъ надыматься. По словамъ Дементыча, въ самое короткое время его такъ свернуло, что отъ прежняго бодрого и физически-сильнаго старика осталась одна развалина. Теперь онъ живетъ вдвоемъ съ удѣлѣвшею внучкой; оба думаютъ объ одномъ; оба чувствуютъ себя раздавленными и оба боятся проговориться другъ передъ другомъ. Именно только благодаря этой осторожности ихъ жизнь еще кое-какъ виситъ на волосѣ. Никто къ нимъ не ѣздитъ, да и некому: тѣ, которые когда-то составляли ихъ кругъ, давно ужъ разсыпались и ушли неизвестно куда. Вотъ я — воротился, вспомнилъ, что у меня случайно уцѣлѣлъ свой собственный гробъ, а другіе — гдѣ? Ужели все еще «суются» и пытаются пощечинными надеждами?

Воспоминанія эти встревожили меня. Съ недѣлю я не упоминалъ объ Иванѣ Михайлычѣ: все надѣялся, что какъ-нибудь обойдется. Въ моемъ безмолвіи всякая непредви-

дѣвность, всякій выходъ изъ предѣловъ программы не па шутку пугали меня. Конечно, я ни подъ какимъ видомъ не могъ освободиться приличнымъ образомъ отъ визита къ Ивану Михайлычу, но затѣмъ же спѣшить? И я не знаю, чѣмъ бы это кончилось, если бы не пришелъ ко мнѣ на выручку Деметричъ, который въ одно прекрасное послѣ-обѣда доложилъ, что заказываютъ лошадей.

Я фхаль съ замираніемъ сердца, словно ожидая, что мнѣ придется увидѣть нѣчто даже худшее, нежели гробъ. Сиротливо раскинулась по обѣимъ сторонамъ дороги родная равнина, обнаженная, расхищенная, точно послѣ погрома. При взглядѣ на эти далекія оголенные перспективы не рождалось никакой мысли, кромѣ одной: гдѣ же тутъ пріютъ? Кто тутъ живетъ? Зачѣмъ жить? Въ какихъ выраженіяхъ проклинаетъ часъ своего рожденія? Я никогда не былъ панегристомъ старыхъ порядковъ, но можно ли было представить себѣ даже во снѣ, что на смѣну прошлому придетъ такое настоящее? А сколько было радостей-то! Сколько надеждъ! Ахъ, эти радости! Есть же такіе углы въ Божьемъ мірѣ, гдѣ онѣ не оживляютъ, а только отравляютъ существованіе!

Наконецъ проѣхали перелѣсокъ (я не узналъ его: тутъ прежде былъ хорошій старинный лѣсъ), и изъ-за снѣжныхъ сугробовъ вынырнула усадьба Ивана Михайлыча. И прежде она была не изъ нарядныхъ, а теперь и вовсе глядѣла разореннымъ вороньимъ гнѣздомъ. Почернѣла, даже словно сторбилась. Я осторожно подѣхалъ къ заднему крыльцу (парадное было заколочено, и дорогу къ нему занесло снѣгомъ) и въ бывшей дѣвничей былъ встрѣченъ Юліей Петровной, внучкой Ивана Михайлыча.

Это была дѣвушка болѣзненная, маленькаго роста, горбатенькая. Лицо у нея—блѣдное, почти прозрачное, и эта прозрачность сообщала ему по временамъ свѣтящіяся точки. Смѣсь дѣтскаго и преждевременно состарѣвагося пора-жана въ этомъ лицѣ: глаза смотрѣли совѣмъ по-дѣтски, восторженно, какъ-то вдаль, дальше предмета, непосредственно стоящаго передъ глазами, а на вискахъ и на лбу ужъ легли старческія гѣбни. Даже голосъ ея звучалъ двойственно: въ общемъ онъ напоминалъ неустановившіяся голоса переходной эпохи 12—13-лѣтняго возраста, но по временамъ (даже слишкомъ часто) въ немъ прорывались такіе дряхлые звуки, что, слыша ихъ, вы невольно представляли себѣ цѣлую раздавленную жизнь.

Приняла она меня прилично, хотя и не особенно радостно. Можетъ-быть, долгая строго-удвиженная жизнь ужъ отучила ее отъ той привѣтливости, которою нѣкогда, казалось, были пропитаны даже стѣны этого дома.

— Дѣдушка васъ ждетъ, — сказала она, подавая мнѣ руку.

— Онъ здоровъ?

— Здоровъ, но не надо его волновать. Конечно, при встрѣчѣ послѣ долгой разлуки нельзя обойтись безъ воспоминаній, но есть предметы — вы меня понимаете? — которыхъ положительно не слѣдуетъ касаться. Онъ и безъ того слишкомъ о нихъ помнитъ.

Я напелъ Ивана Михайлыча въ столовой. Передо мной стоялъ прямой и длинный старикъ, до того худой и обнаженный отъ мускуловъ, что даже кости у него, казалось, усохли. Блѣдно-сѣрая голова, словно вхомя поросшая волосами, ничѣмъ бы не отличалась отъ головы мертвеца, если бы изъ глубокихъ глазныхъ впадинъ не выглядывали двѣ свѣтящіяся точки. Увидѣвъ меня, онъ протянулъ ко мнѣ свои длинные худыя руки.

— Пріѣхали?.. Куда?.. Ха-ха!—привѣтствовалъ онъ меня.

Я бросился къ нему, и вдругъ внутри у меня что-то нахлынуло, закипѣло, защемило. Я не ждалъ отъ него смѣха... Ужасная это, ужасная боль! Я весь вспыхнулъ, затрясся и, мучительно надрываясь отъ боли и въ то же время какъ бы усиливаясь освободиться отъ нея, крикнулъ:

— Ну, да, въ гробъ, въ гробъ, въ гробы!

Казалось, эта выходка поразила его. Онъ взялъ мою руку; одною рукою держалъ ее, а другою гладилъ, какъ бы желая успокоить.

— Ну, дайте, я на васъ посмотрю!—сказалъ онъ, подводя меня къ окну, и затѣмъ, внимательно осмотрѣвши, прибавилъ:— все въ порядкѣ. Теперь рассказывайте. А впрочемъ, что-жъ я! Прежде познакомьтесь. Юлія—внучка моя. Теперь она у меня одна...

Онъ спохватился и не кончилъ.

— Рассказывайте, рассказывайте!—повторилъ онъ.

Мнѣ всегда казалось, что я могу рассказать очень многое. Длинная жизнь, вся до краевъ наполненная «сованіями»;—есть, кажется, что поразказать. Но теперь, при этомъ, такъ сказать, ультиматумѣ, я вдругъ сталъ втуникъ. Не то чтобъ я позабылъ или застыдился;— ибѣтъ,



этого не было. Напротив, какъ нарочно, вся моя жизнь, со всеми деталями, пронеслась въ эту минуту предо мной; а что касается до стыда, то, право, онъ не могъ дѣлать никакого диссонанса въ домѣ, гдѣ и безъ того все говорило о стыдѣ. Нѣтъ, просто показалось нелюбопытнымъ, ненужнымъ.

— Рассказывать-то, вѣрно, нечего... ха-ха! — засмѣялся онъ.

— Пожалуй, что такъ,—согласился я.

— Это, сударь, бывастъ, особенно въ такихъ углахъ вседенной, гдѣ по части благочинія черезчуръ благополучно. Вспоминаешь-вспоминаешь и все какъ-то около одного предмета вертнись: около вывѣски съ надписью: «Управа благочинія»... ха-ха!

— Дѣйствительно, это воспоминаніе господствуетъ...

— Такъ-то господствуетъ, что я вотъ еще въ восемьсотъ четырнадцатомъ году (восемьдесятъ восемь лѣтъ, сударь, мнѣ!) началъ надеждами горѣть и потомъ все горѣлъ, все горѣлъ, а ежели начать рассказывать... Плюхи да плюхи, на каждомъ шагу плюхи... вотъ мерзость какая! Ну, дѣлать нечего, давайте смотрѣть другъ на друга и молчать. Юлія! ты у меня умная: скажи, вѣдь молчать—лучше?

— Да, дѣдушка, лучше.

— Я и говорю: лучше... ха-ха! Только я вотъ еще что говорю: молчаніе—вещь обоюдоострая; иногда оно помогаетъ забывать, а иногда—жжетъ, бередитъ. Точно вотъ слезы, которыхъ не можешь вылакать, или стыдъ, который, хочешь-не-хочешь, а долженъ глотать. Такъ ли, господинъ надеждоносецъ... ха-ха!

Я прислушивался къ его смѣху, и мнѣ положительно дѣлалось неловко. Хохочущій старикъ—право, это цѣлая трагедія. Какую нужно необятную боль, чтобы добраться до дна старческой дремоты, разбудить все скопившіяся тамъ боли, перебрать ихъ одну за одной и обострить—до хохота!

— Что касается до меня,—сказалъ я:—то я во всякомъ случаѣ полагаю, что молчаніе цѣлесообразнѣе. Съ помощью его мы извлекаемъ свой личный стыдъ изъ публичнаго обращенія и перестаемъ служить служившимъ. И, собственно, ради молчанія и воротился въ деревню.

— А вы изъ стыдящихся?—вдругъ прервала меня Юлія Петровна и такъ пристально взглянула на меня, что я неловко сконфузился.

— Она у насъ стыдящихся не одобряетъ, — съ своей стороны пояснилъ Иванъ Михайлычъ.

— Не одобряете? Но что же дѣлать, если результатъ всей жизни выражается словами: довольно жить?—возразилъ я.

— Она такихъ результатовъ не признаетъ. Не понимаетъ, что для насъ, старыхъ надеждоносцевъ... если мы и къ такимъ результатамъ приходимъ... и то ужъ заслуга... ха-ха!

Старикъ захохоталъ такимъ горькимъ и продолжительнымъ хохотомъ, что Юлія Петровна встревожилась.

— Дѣдушка! оставьте этотъ разговоръ! Онъ васъ волнуетъ!—обратилась она къ нему.

— Мудрая, а не въ силахъ понять, что у насъ другого разговора не можетъ быть! Ты говоришь: волнуетъ, а я, напротивъ, утверждаю: развлекаетъ, позволяетъ занимательно провести время... Такъ ли, сосѣдь?

— Не знаю, право...

— Нѣтъ, навѣрное. Вотъ, напримеръ, я говорю: какъ начиналось—и тѣмъ кончилось! Восклицаніе, кажется, не особенно мудрое, а между тѣмъ оно облегчаетъ меня! И я очень радъ, что есть человѣкъ, который меня пойметъ и выѣстъ со мной постыдится... Такъ вѣдь?

Онъ взглянулъ мнѣ въ глаза и ласково потрепалъ рукой по кофѣнкѣ.

— Если бы я молчалъ—эта мысль глодала бы мою внутренности, шла бы за мной по пятамъ. А теперь, сдѣлавши изъ нея составную часть *causerie de société*, я все равно что отъялъ у нея всякое значеніе. Оттого-то я и повторю: какъ начиналось и тѣмъ кончилось... ха-ха!

— Да начиналось ли?

— То-то вотъ... Она, впрочемъ, умная-то моя, не сомнѣвается. Не только «начиналось», а началось, говоритъ, и не вчера, а отъ начала вѣковъ. И придетъ, несомнѣнно придетъ Юлія! Вѣдь такъ?

— Такъ, дѣдушка, придетъ.

— Она и на насъ, стыдящихся, какъ-то особенно смотритъ. Нѣтъ въ родѣ Закхеевой смоковницы въ насъ видѣть... ха-ха!

— Дѣдушка, я никого не осуждаю! Я говорю только...

— Что нужно вѣрить?

— Ну, дѣдушка.

— И что есть люди, которые не падаютъ духомъ?

— Есть.

— Аминь!

— Аминь,—повторила Юлія Петровна.

Все умоляли, а старикъ понурить голову, словно задремать. Черезъ минуту однако-жь онъ вновь встрепенулся и взглянуть въ окно. Небо было ясно, и на краю небосвода разливался тихій свѣтъ вечерней зари.

— Сколько разъ, въ былыя времена,—словно про себя прошепталъ Иванъ Михайлычъ: — я провожалъ глазами эту зарю и говорилъ себѣ: завтра я опять увижу ее тамъ на востокъ.

— А теперь?

— А теперь говорю: сейчасъ она потухнетъ, и затѣмъ начнется ночь...

— Дѣдушка!

— Да, ночь... и навсегда! Ни надеждъ, ни «насъ возвышающихъ обмановъ»... ничего, кромѣ ночи!

— Нѣтъ, дѣдушка, этого не будетъ!

Я оглынулся и умилился. Глаза Юленьки горѣли; лицо ее было все какъ въ лучахъ; даже въ голоса слышались мощныя, звонкія ноты.

— Заря опять придетъ,—продолжала она:—и не только заря, но и солнце!

Старикъ махнулъ рукой вмѣсто отвѣта.

— Есть добрыя, не падающіе духомъ! Есть! И они увидятъ солнце, увидятъ, увидятъ, увидятъ!—повторила она.

Иванъ Михайлычъ быстро повернулся и протянулъ мнѣ руки.

— Ну, прощайте!—сказалъ онъ:—тяжело! Говорить мы ни о чемъ не умѣемъ, а только умѣемъ раздражать себя... Тяжело эти повторенія старой сказки объ упованіяхъ! Не задите ко мнѣ... не нужно! Не затѣмъ мы живемъ, чтобъ заниматься sauseries de société... Будемъ изнывать каждый въ своемъ углу... Довольно.

## ПОШЕХОНСКІЕ РАЗСКАЗЫ.

(1883—1884 гг.).

## Вечеръ первый.

Но Сенья и шанка.  
(Пословица).  
Андроны бдутъ.  
(Изреченіе).

Никогда не жилось мнѣ такъ весело, какъ въ то время, когда я служилъ въ Можайскомъ гусарскомъ полку. Удивительная тогда во всемъ простота царствовала. Ничего молодому человѣку и пожить-то въ свое удовольствіе нельзя, ежели, по крайности, хоть до тройного правила ариметики не прошелъ. Говорить тебѣ: какія ты можешь, скотина, удовольствія или огорченія испытывать, коль скоро ты даже именованныхъ чиселъ не знаешь! А прежде съ корнета ничего такого не спрашивали. Былъ бы вѣрный слуга отечеству, да по части женскаго пола чтобы все въ исправности состояло—вотъ и только. Передъ тѣмъ, кто этими качествами обладалъ, всѣ двери были настежь. Молодого человѣка ласкали, баловали, а частенько гдѣ-нибудь въ укромномъ уголку не обходилось и безъ посредничества плутишки амура, въ качествѣ третейскаго судьи. Ибо кому же изъ юныхъ вояковъ удовольствіе сіе не представлялось привлекательнымъ и полезнымъ?

Я только-что былъ произведенъ въ корнеты. Тѣлосложенія я былъ столь состоятельнаго, что могу сказать смѣло: всѣ дѣвицы смотрѣли на меня съ удовольствіемъ. Но такъ какъ маманька не позволяла мнѣ жениться, то я больше льнулъ къ дамамъ, между коими были преслащайшія, особливо одна чернышкая. Но и за всѣмъ тѣмъ, перебиралъ на склѣнѣ дней мои воспоминанія по сему предмету, я со вздохомъ восклицаю: сколь многого я не выполнялъ, а иное и совсѣмъ изъ виду упустилъ! Но теперь уже не воротить.

Полкъ нашъ, частенько-таки перекочевывалъ изъ губерній въ губернію, но нигдѣ по части женскаго продовольствія недостатка не ощущалось. Наконецъ однако-жъ на довольно продолжительное время расквартировали насъ въ К—омъ уѣздѣ Т—ской губерніи—тутъ ужъ не только мы, офицеры, но и солдатки вилотную пожурировали. Впоследствии, когда нантъ эскадронъ выступилъ въ походъ противъ турокъ, то бабы со всего села версты шестьдесятъ, подъ предлогомъ музыки, за нами шли и были... Вотъ какъ выразительно говоритъ иногда языкъ природы!

Эта была самая веселая етолика. Помѣщиковъ множество, и всѣ прегостепримные. У всякаго или жена, или дочери, или свояченицы, а иногда и то, и другое, и третье вмѣстѣ. У нѣкоторыхъ, сверхъ того, дульцины. Послѣднія хотя и безъ кринолиновъ, но у иной и принцессы природные дары не въ такой исправности. Юные воины переѣзжали изъ усадьбы въ усадьбу и катались какъ сыръ въ масле. Закуски и лакомства цѣлый день не сходили со стола, а кромѣ того: исковая охота, ѣзда съ барышнями на тройкахъ, рыбная ловля, прогулки въ лѣсу... А вечеромъ—танцы. Далеко за полночь, послѣ обильнаго ужина, въ залѣ начинались на полу перины, и всѣ спали вповалку. Случалось тутъ кое-что и пеладное, ну, да въ корнетскомъ чинѣ и осудить за сіе строго нельзя.

Вскорѣ однако-жъ наступила отмѣна крѣпостного права—и куда всѣ эти перины и дульцины дѣвались!

Юные помѣшники корнеты! по совѣсти васъ спрошу: не лучше ли симъ естественнымъ способомъ время проводить, нежели о сухихъ туманахъ спорить, отъ каковыхъ споровъ и до превратныхъ толкованій, пожалуй, недалеко.

Но въ глубокую осень и въ осеннюю ростепель случались дни, когда поневолѣ приходилось коротать время въ своемъ кружкѣ, на глазахъ старшихъ. О старшихъ вообще должно сказать, что они ѣздили къ сосѣднимъ помѣщикамъ только въ дни семейныхъ торжествъ, а прочее время собиравшись между собой, рѣзались въ штошь и шли пунши. Но были и такіе, которые въ карты не играли, а только пунши шли. Въ числѣ послѣднихъ былъ и пеладный майоръ Горбылевъ. Шлѣзъ онъ пунши безъ счета и надежды на омыненіе и во время питья любилъ поразсказать разную бѣвальщину. Майоромъ онъ служилъ съ исконовъ-вѣку, избѣдиль на вѣрномъ когѣ всю Россію, многое видѣлъ, но еще больше того не видалъ. Но главный интересъ его

разказовъ заключается въ томъ, что во всѣхъ обстоятельствахъ его жизни прямо или косвенно принимала участіе нечистая сила. То въ видѣ домового, то въ видѣ лѣшаго, то прямо въ видѣ чорта. А въдѣмъ, русалокъ и лѣшачихъ перевидалъ онъ безъ числа. И отъ всей этой нечисти, благодареніе Богу, благополучно избавился, кромѣ, впрочемъ, домового, который до самой смерти, послѣ пунша, его по ночамъ душилъ.

Мы, молодежь, съ увлеченіемъ внимали его безконечнымъ разказамъ, почерная въ нихъ полезная для себя указанія на случай встрѣчи съ лѣшнимъ или съ лѣшачихой. Вотъ, бывало, на дворѣ дождь, по дорогамъ невылазная грязь стоить, а мы забережемъ къ доброму старому майору, обсядемъ кругомъ и слушаемъ.

Нѣкоторые изъ его разказовъ я смелъ своевременнымъ публиковать. Давно бы мнѣ пора на сію стезю вступить, да все думалось: авось Богъ помилуетъ! Даже и теперь, когда сдѣлалось яснѣе, что по грѣхамъ моимъ надежды на помылованіе нѣтъ,—даже и теперь до послѣдней минуты колебался, чтѣ лучше публиковать: разказы майора Горбылева или «Поваренную книгу»?

Однако-жъ не рѣшился на послѣднее, потому что поваръ я уже совсѣмъ плохой. А послѣ разказовъ Горбылева, бытъ-можетъ, опубликую разказы ротмистра Возницына, а потомъ и прочіихъ господъ офицеровъ. Смотришь, время-то и пройдетъ \*).

#### Разказы майора Горбылева.

«Разкажу вамъ, господа, какъ я однажды съ чортомъ въ карты игралъ.

«Было время, когда я страстно карты любилъ. Съ утра до вечера штосы срѣзывалъ или банкъ металъ и, признаюсь, довольно-таки удачно. И такъ къ этой операціи привыкъ, что, даже походомъ идучи, не разъ на сдѣлѣ банкъ металъ.

«Вотъ только стояли мы въ Могилевской губерніи, въ мѣстечкѣ одномъ, и говорить мнѣ жидокъ: сегодня вечеромъ въ клубѣ польскій графъ будетъ. Прекрасно. При-

\* Къ сожалѣнію, и не выполнили этого намѣренія и увлекся въ другую сторону. Зато послѣдствія этого увлеченія были весьма дая мени депривіями.

хожу, вижу: действительно, новое лицо въ клубѣ появилось, а около него наша молодежь такъ и вьется. Одѣтъ франтомъ: на рубашкѣ брильянтоваыя запонки чуть не съ лѣсной орѣхъ; изъ себя—молодецъ.—Угодно? говорить.— Съ удовольствіемъ.

«И началъ онъ меня жарить. И самъ банкъ заложить, и мнѣ заложить предложить—бьетъ одну карту за другой да и шабашъ. А я, по несчастію, въ то время полковимъ казначеемъ былъ. Все, что принесъ съ собой, въ полчаса суетилъ, домой за подкрѣпленіемъ сходилъ—и опять только на полчаса хватило. Словомъ сказать, въ такой азартъ вошелъ, что и за казенный ящикъ принялся. А онъ сидитъ, только карты вскидываетъ да улыбается...

«Думалъ я сначала, не на шулера ли попалъ, однако, сколько ни слѣдилъ—чисто мечеть! Аккуратно, не сгибна, карта за картой, точно говорить: глядите! Одно только подозрительно: перчатокъ съ рукъ не снимаетъ, такъ въ нихъ и мечеть. А я между тѣмъ ужъ двадцать тысячъ проигралъ—неминуемое дѣло подъ судъ идти. Съ досады сталъ придираяться.—Извольте, говорю, перчатки снять!—«Это почему?»—«Да такъ, говорю, безъ перчатокъ вамъ ловчѣе будетъ!»—Слово за слово, онъ—меня, я—его... Схватилъ, знаете, во время перешалки, я его за руку, а у него-то—лана гусиная! Я такъ и обомлѣлъ, а онъ какъ загогочетъ! Да такъ это тоскливо да тяжело, что сколько тутъ ни было народу—все разомъ вонъ изъ клуба такъ и прыгнули!

«А я какъ вышлся обѣими руками въ лапу его, такъ и застылъ. И вижу, что у него и изо рта, и изъ носу, и изъ ушей змѣи поползали. А сзади—рыла мохнатая. Хочу крикнуть—языкъ не поворачивается; хочу крестное знаменіе сотворить—рукъ отцѣпить отъ него не могу. Наконецъ чувствую, что онъ меня самого куда-то тащитъ...

«И представьте себѣ, въ эту самую минуту, какъ мнѣ пропасть приходилось, вдругъ, на мое счастье, въ кухню пѣтуха принесли! Его на котлеты рѣзать хотѣли, а онъ возьми да и запой! Вижу: поблѣднѣлъ мой графъ, какъ мертвецъ, и зашатался. Шатался-шатался и, въ одну секунду, въ моихъ глазахъ словно въ воздухѣ растаялъ... Тутъ только и поглялъ, съ какимъ «графомъ» я въ карты игралъ.

«А денжки мои между тѣмъ на столѣ остались. Разумѣется, я сейчасъ же ихъ обобралъ и казенный ящикъ пополнялъ. А на другой день, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ

онъ металъ банкъ, подковку серебряную двухкопытную наняли. Это, значитъ, «онъ» впопыхахъ съ ноги потерялъ.

«Подковка эта и теперь у меня хранится, но съ тѣхъ поръ я только пуншъ пью, а карты въ руки не беру».

«А вскорѣ послѣ того и еще происшествіе со мной было. Стоялъ я въ это время ужъ въ Киевской губерніи, подъ Черныбыломъ.

«Ну, сами молоды, знаете, каково барану безъ ярочки жить. А Хиври, да Гапки, да Окен такъ мимо и шмыгаютъ, и все чернобровыя. Я въ то время пѣсеню зналъ: «и шумѣ, и гудѣ, дробень дождикъ идѣ»—сидишь, бывало, на крылечкѣ у хаты и поешь, а онѣ, шельмы, зубы скалятъ. Одну ушинуешь, другую... Вечеромъ ляжешь спать—смерть! Вотъ я одну и намѣтилъ.

«— Какъ тебя зовутъ?

«— Наталка.

«— Знаю. Наталка-Полтавка... у Нижпемъ на ярмарци пидавъ... Ну, такъ какъ же, Наталочка, будешь, что ли, со мной по малороссійски разговаривать?

«— Не знаю, говорить, чи буду, чи нѣтъ. Вамъ, пане, може, панечочку треба?

«— Ну ихъ! говорю. Що треба, що не треба... у всѣхъ у васъ секретъ-то одинъ. А ты ужъ приходи, такъ я тебѣ гривеничекъ пожертвую.

«Дѣйствительно, какъ только смерклося—пришла. Разумѣется, кровь во мнѣ такъ и кипитъ. Запaska—къ чорту, плахта—къ дьяволу... и ахъ, го-о-лубушка ты моя! И вдругъ... чувствую, что сзади у нея что-то шевелится...

«— Що сѣ такѣ?

«— А это, говорить, фистъ.

«— Какъ фистъ?

«— Вѣдьма же я, милосенькій, вѣдьма...

«Вотъ такъ праздникъ! Человѣкъ распорядился, совѣмъ уже себя, такъ сказать, предрасположилъ—и вдругъ вѣдьма, фистъ!..

«Являюсь на другой день къ полковнику. Докладываю. И что-жъ бы, вы думали, онъ мнѣ отвѣтилъ?

«— Ахъ, простофиля-корнетъ! не знаетъ, что въ Киевской губерніи каждой дивчинѣ, въ числѣ прочихъ даровъ природы, присвоется хвостъ! Стыдитесь, сударь!

«Разумѣется, съ тѣхъ поръ я ужъ не стѣснялся. Только,

бывало, скажешь: убери, голубушка, фисты! — и ничего. Все равно что без хвоста, что съ хвостомъ.

«Но Наталки я больше не видаю, а только слышалъ, что она, пришедши отъ меня, цѣлую ночь тосковала, а подь утро съѣла верхомъ на помеле и вылетѣла въ трубу».

Разсказавши это происшествіе, майоръ грустно поникъ головой и нѣкоторое время тихо-тихо напѣвалъ себѣ подь пѣсь: «И шумѣ, и гудѣ...» И вдругъ крупная слеза, какъ тяжелая капля дождя, громко шлепнулась въ его пупокъ.

«— Да,—проговорилъ онъ торжественно-взволнованнымъ голосомъ:—что тамъ ни утверждай философы, а безъ женскаго пола не проживешь. Царь Давидъ на что былъ,—и тотъ согрѣшилъ. А царь Соломонъ даже и очень. Впрочемъ, вы, молодые люди, лучше другихъ это знаете.

«И не только мы, родъ человѣческій, но даже животныя—и тѣ къ женскому полу непреодолимое стремленіе чувствуютъ.

«Знаю я одного общественнаго быка, такъ даже словъ не могу подобрать, какой это удивительный быкъ былъ! Точно человѣкъ!

«Надо вамъ сказать, что въ нашихъ деревняхъ быкъ—въ родѣ какъ должность общественная. Староста, сотскій, десятскій и быкъ. Въ иной деревнѣ ни сотскаго, ни десятскаго нѣтъ, а быкъ непремѣнно всегда и вездѣ. И содержится онъ на общественный счетъ, потому что онъ—геній-хранитель крестьянскаго стада, онъ—ручательство, что коровій родъ не изгибнетъ вовекъ. Ибо что значитъ корова безъ быка?

«Но, подобно людямъ, и быки бываютъ разныхъ достоинствъ. Бываютъ быки не большіе, но соловціе, и наоборотъ. Быкъ деревни Разуваевой принадлежалъ къ числу первыхъ. Онъ былъ такъ уменъ, что могъ бы получить аттестатъ зрѣлости, если-бъ не требовалось древнихъ языковъ. Пять лѣтъ сряду высоко держалъ онъ свое знамя и не только не думалъ положить оружіе, но даже нисколько не отяжелѣлъ. Мужички наравдаться не могли и жили за нимъ какъ за каменной стѣной. Какъ вдругъ у сосѣдняго помѣщика явилась корова Красавка, которая всѣ мужички упованія разсыпала въ прахъ.

«Разсыпать мужички упованія очень легко, господа. Ипогда мужичокъ совѣмъ ужъ подноситъ кусокъ къ губамъ—и вдругъ вмѣсто куска... признательность началь-

ства... Да и признательность-то не ему, а сборщику пода-тей. Или: шли бабы полюсу жать. Уповаютъ. И вдругъ откуда ни возьмись градъ... и опять однимъ упованіемъ въ жизни мужика стало меньше!

«А онъ и впрямь уповать продолжаетъ.

«Такъ было и въ этомъ случаѣ. Быкъ увидѣлъ Красавку нечаянно, когда она паслась за оврагомъ на пригоркѣ, слишкомъ за версту отъ того мѣста, гдѣ паслось крестьянское стадо. Въ одно мгновеніе участь его была рѣшена. Задравши хвостъ, уставившись рогами впередъ и взрывая копытами землю, онъ помчался черезъ поля и овраги, и не успѣлъ помѣшничій пастухъ ахнуть, какъ уже въ вѣренномъ ему стадѣ произошелъ общій переполохъ. Очевидно, что смѣлый поступокъ отважнаго чужанина произвелъ среди помѣшничьихъ коровъ глубокую сенсацію.

«На первый разъ однако-жь дѣло обошлось мирно. Помѣшникъ былъ человѣкъ добродушный, и рыцарскій поступокъ быка даже понравился ему. Но съ этихъ поръ поведение быка относительно своихъ довѣрителей совершенно измѣнилось. Напрасно послѣдніе изоцрялись гонять мирское стадо какъ можно дальше отъ помѣшничьяго, напрасно возмущенныя домохозяйки съѣли быка крапивой, напрасно сами коровы бодали его рогами,—ни одна не добилась отъ него ни малѣйшей ласки. По вечерамъ, когда стадо пригонялось въ деревню, быкъ убѣгалъ. И всегда въ одну сторону: въ помѣшничью усадьбу, гдѣ находилась его возлюбленная. Упрется рогами въ запертыя ворота скотнаго двора, рветъ копытами землю и реветъ! Прибѣгутъ за нимъ крестьяне-довѣрители, начнутъ жарить въ три кута, а онъ стоитъ и реветъ. И такимъ раздражающимъ голосомъ, что самъ добрый помѣшникъ выбѣжитъ и крикнетъ: — Шибче жарьте! вотъ такъ!

«Наконецъ пришлось убѣдиться, что единственною развязкой въ такомъ дѣлѣ можетъ быть только пожатъ...

«И что же потомъ оказалось?—что и соловціи крестьянскій быкъ, и корова Красавка—не что иное, какъ оборотни! А именно: поручикъ Потановъ и жена сосѣдняго помѣщика Красавина. Оба они были давнымъ-давно другъ въ друга влюблены, но, по обстоятельствамъ, соединиться не могли. Вотъ и придумали...»

«Вообще въ старину нечистой силы довольно было. Лѣса-то березли, да и болотъ было множество—такъ вотъ отсюда.

И если-бъ не это, то многого въ жизни совѣтъ было бы объяснить нельзя.

«Какъ, напримеръ, объясните вы слѣдующее происшествіе? Буду я однажды въ городъ на тарантасѣ, на почтовыхъ. Разумѣется, съ ямщикомъ калякаю.

«— Хорошо васъ хозяйитъ кормитъ?

«— Шцц, каша, а по праздникамъ пироги.

«— А съ женой согласпо живешь?

«— Мы другъ другу... вотъ и сейчасъ, приѣду домой, на печь полѣзу...

«Словомъ сказать, какъ обыкновенно. Знали мужики мой правъ и никогда не жаловались. Только въѣзжаемъ мы, знаете, въ лѣсу, а я возми да и прикурни маленько. И вдругъ чувствую, что мы ни съ мѣста. Открываю глаза— и что же вижу? Ни ямщика, ни лошадей, ни тарантаса— ничего! А я лежу подъ деревомъ на голой землѣ и плачу. Да-съ, плачу-съ.

«Натурально, удивился и понелъ, куда глаза глядятъ. Три дня сряду я по этому проклятому лѣсу плуталъ, только брусничкой питался. Заснуть—боюсь, присяду отдохнуть на минуту—пестрильнѣ такъ и подымаетъ: иду да иду! Наконецъ отоцалъ. Сѣлъ на камень и думаю: — Однако-жъ вѣдь я майоръ!—А тутъ изъ лѣсу кто-то какъ рявкнетъ: — майоръ! майоръ! майоръ!—Къ счастью, я вспомнилъ, что у меня на ремнѣ фляжка съ водкой. Думаю: булькну. Булькнулъ разъ, булькнулъ другой—слышу, и въ лѣсу кто-то булькаетъ. Однако булькалъ да булькалъ, да подѣ конецъ и заснулъ! Долго ли, коротко ли я спалъ, только проспалось: преспокойно лежу себѣ дома на походной постели!

«Такъ вотъ какіе перевороты въ самое короткое время случаются. Какимъ образомъ это объяснить?»

— А можетъ-быть, мало-мало выпито было?—съехидничалъ штабсъ-ротмистръ Возницынъ, который внутренно хотя и вѣрилъ въ чертей, но по временамъ любилъ хвастнуть скептицизмомъ.

— Выпито—это само по себѣ. Было выпито—это вѣрно. Но какимъ же образомъ объяснить, что я и въ тарантасѣ ѣхалъ, и съ ямщикомъ говорилъ?.. Вѣдь это все.. было? И вдругъ... лежу на землѣ!

— Да вотъ именно въ подпитіи. Ни въ тарантасѣ вы не ѣхали, ни на землѣ не сидѣли...

— Позвольте! но вѣдь я послѣ этого три дня въ лѣсу ходилъ! брусничкой питался!

— И по лѣсу не ходили, и бруснику не ѣли...

— Но какимъ образомъ объяснить, что я фляжку съ водкой выпилъ и потомъ дома въ собственной постели очутился! кто же нибудь меня туда перенесъ?

— Да просто вы накапулѣ выпили. Выпивши, легли въ постель, а на другое утро въ той же постели проснулись.

Майоръ задумался.

— Можетъ-быть, — наконецъ согласился онъ: — возможно!

Но было очевидно, что это согласіе стоило ему сильной нравственной борьбы.

«— Хорошо, — продолжалъ онъ: — положимъ, что тогда дѣйствительно.. Было выпито—это такъ. Но какимъ же образомъ вы объясните слѣдующій случай?

«Былъ у насъ полковой командиръ, полковникъ Золотилловъ. Лихой. Службу зналъ такъ, что словно на потахъ, бывало, разыгрываетъ. Въ приказахъ по корпусу — всегда первый, въ примѣрѣ другимъ. Полкъ — въ исправности; касса — налицо; ума — напата. Всякій Божій день — для всѣхъ господъ офицеровъ открытый столъ. Словомъ сказать, жили мы за нимъ какъ за каменной стѣной.

«Только перевели къ намъ въ полкъ изъ звенигородскихъ уланъ ротмистра одного. Кулытьянка прозывается. Явился Кулытьянка къ полку и первымъ дѣломъ, разумѣется, къ полковому командиру. Я въ это время полковымъ казна чеемъ былъ, съ утреннимъ рапортомъ у командира сидѣлъ и слѣдовательно самъ очевидцемъ былъ. Началъ это Кулытьянка рапортовать: — Имѣю честь... — и съ первыхъ же словъ перевралъ. Смотрю: вглядывается мой Кулытьянка въ командира, словно припомнить хочетъ. И вдругъ:

«— А вѣдь я, говорить, тебя узналъ!..

«Туда-сюда. Вспыхнулъ-было нагъ полковникъ: — Подѣ аресты! — и проч. А Кулытьянка, какъ ни въ чемъ не бывало, такъ и рѣжетъ:

«— Ты не торжонись, — говорить: — а скажи, помнишь ли, какъ ты съ своей лѣсначикою мой эскадронъ цѣлую недѣлю по лѣсу водилъ?

«И вотъ какъ хотите, такъ и судите. Въ моихъ глазахъ, въ одинъ моментъ, полковникъ Золотилловъ словно въ воз-

духъ растаялъ. И жена его тоже пропала; и книги, и приказы, и переписка — все. Бросились мы потомъ формуляръ полковничій искать — и формуляра нѣтъ. Ужъ писарь одинъ намъ сказывалъ: — Да вѣдь я спервоначала замѣтилъ, что въ формулярѣ было написано: «по окончаніи домашняго воспитанія, опредѣленъ на службу... въ армию!» — Такъ что же ты, курицынъ сынъ, молчалъ?

«Разумѣется, сейчасъ рапортъ, а намъ, вмѣсто него, на смѣну Домового прислали. Да такъ всю чертовщину постепенно и перебрали. И я все время казначеемъ служилъ».

— Ну, какъ вы этотъ случай объясните? — обратился къ намъ майоръ: — вѣдь это я ужъ собственными глазами видѣлъ?

Но волшебство было столь уже явно, что даже вольномысленный штабсъ-ротмистръ задумался. Однако-жъ выдержалъ-таки характеръ и возразилъ:

— Да выпито было. Ни Золотилова, ни Кулятьяки...

— Ну, нѣтъ; это, братъ, шалишь! Я при Золотиловѣ-то два года служилъ — неужто-жъ все время пьянъ былъ? Нѣтъ, а вотъ что лучше послушайте: вѣдь Кулятьяка-то послѣ этого сохнуть сталъ. Чахнулъ-чахнулъ, а наконецъ и совсѣмъ зачахъ. Говорятъ, будто сейчасъ послѣ этого пришла къ нему полковница и какое-то дѣло припомнила. Съ тѣхъ поръ и пошло на него, и пошло. Жениться задумалъ и къ свадьбѣ все приготовилъ, а самъ пропалъ. Мы ужъ и въ церковь собрались — хвалъ-похвалъ, гдѣ женихъ? Нѣтъ Кулятьяки, да и шабашъ. И что же потомъ оказалось? — что онъ трое сутокъ на сѣновалѣ проспалъ! Такъ дѣло и разстроилось. Въ другой разъ онъ же часы въ лотерею выигралъ, а когда пришелъ получать — оказалось, что и лотерея такой никогда не бывало. Какъ вы это объясните?

— Гм! — воскликнули мы въ одинъ голосъ.

— Да и на мою долю, по милости этого Кулятьяки, попало, — продолжалъ майоръ: — потому что я свидѣтелемъ этой сцены былъ. Не будь меня, полковникъ, можетъ-быть, какъ-нибудь обвертѣлъ бы Кулятьяку, ну, а при мнѣ — нельзя было. Вотъ онъ и мнѣ потомъ мстия. Я даже подозреваю, что польскаго графа-то этого, который меня въ карты-то обыгралъ, не кто другой, а именно полковникъ Золотиловъ подослалъ. А можетъ-быть, онъ самъ и оборотился графомъ.

— Весьма вѣроятно, — вынуждены были мы согласиться. — Да и одно ли это! Мало ли онъ разныхъ проказъ надо мной строилъ! Однажды я грибъ въ лѣсу увидѣлъ. Смотрю, подъ самой березой стоитъ боровикъ. Протянулъ-то руку, чтобы сорвать, а онъ на поларшина въ сторону. Я за нимъ, а онъ опять на поларшина въ сторону. Лазилъ-лазилъ, гляжу, а боровиковъ кругомъ видимо-невидимо. И всѣ крѣпкіе, ядреные, одинъ къ одному. Я — въ кучу, хочу хоть одинъ поймать — пусто! Наконецъ догадался, заклинанье прочелъ — вдругъ какъ зашипѣть боровики-то! Я — давай Богъ поги! И что же потомъ оказалось: — что я и въ лѣсу совсѣмъ не былъ, а преспокойно пилъ пуншъ у драгунскаго капитана Кедрова!

— То-то, что выпито-то было! — замѣтилъ вольномысленный штабсъ-ротмистръ Возницинъ.

Но мы ему не повѣрили.

«Вообще въ то время много необъяснимаго было. Бывало, ѣшь, пьешь, а между прочимъ боишься, какъ бы нечистую силу не проглотить».

«Всѣмъ извѣстны, папригафртъ, вяземскіе пряники; а знаете ли вы, отчего они прежде сладки были, а нынче въ нихъ вдвое противъ прежняго сласти убавилось? А я — знаю. Все отъ «этого»».

«Стояли мы въ восемьсотъ тридцать шестомъ году съ полкомъ въ Вязмѣ, а тамъ въ то время пряничница Прасковья Ивановна въ славіи была. Изъ себя — королева, тѣло — разсыпчатое, губы — алія, глаза — навывкатъ, груди — вотъ! Ну, и присталъ я къ ней:

«— Отчего, говорю, у тебя, Прасковья Ивановна, такіе пряники сладкіе? сахару, что ли, не жалѣешь?»

«— У меня, говоритъ, и безъ сахару сладки».

«— Что-жъ за причина?»

«— А это, говоритъ, тайность моя».

«И что-жъ наконецъ она мнѣ открыла?»

«— Ежели, говоритъ, я тебѣ, милый баринъ, мою тайность скажу, такъ ты послѣ того въ ротъ нашего пряника не возьмешь!»

«Разумѣется, я не настаивалъ».

«Послѣ одна-жъ и до начальства дѣло дошло: пряники сладки, а сахару не кладутъ. И распорядилось начальство, чтобы впередъ на каждомъ пряникѣ (на той сторонѣ, гдѣ картина) было отгиснуто: «Печатать дозволяется».



Цензоръ Вирюковъ». Съ тѣхъ поръ тайность какъ рукой спяло, но зато и сладости прежней нѣтъ.

«Но вы вообразите, сколько мы этой нечисти подъ видомъ сладости намотались!»

«Въ другой разъ въ Пензенской губерніи дѣло было. Приѣзжаю однажды на постоянный дворъ, голодный-преголодный, а хозяйка и говорить: «Пороселочка не угодно ли?» — Волоки! — Принесли. Лежитъ это пороселочекъ, какъ ребенокъ малый, ножки поджалъ, кожаца бѣлая, жирекъ... словомъ сказать, только-что не говоритъ!

«— Какъ это, спрашиваю, вы такъ отлично отпаивать ихъ умѣете?»

«— А у насъ, говорить, слово такое есть.

«— Какое слово?

«— А въ родѣ какъ проклятiе на себя наложить слѣдуетъ...

«Конечно, я не затруднился этимъ; но кто же можетъ сказать, кого и подѣ родомъ пороселочка съѣлъ?»

«Впрочемъ, Пензенская губернія вообще въ то время страну волшебствъ была. Куда, бывало, ни повернись — вездѣ либо Араповъ, либо Сабуровъ, а для разнообразія на каждой верстѣ по Загоскину да по Бекетову. И ссорятся, и мирятся — все промежду себя; Араповы на Сабуровыхъ женятся, Сабуровы — на Араповыхъ, а Бекетовы и Загоскины сами по себѣ плодятся. Чужой человекъ попадетъ — загрызуть. Однажды самого губернатора въ осаду держали за то, что онъ это волшебство разъяснить хотѣлъ. И выжили-таки. Ни дать, ни взять — Чурова долина.

«А нашенка-покойникъ вотъ еще что про Пензу рассказывалъ. Въ царствованіе блаженной памяти императрицы Екатерины II туда два губернатора съѣхались: одинъ Потемкинскій, а другой — Мамоновскій. Встали другъ передъ другомъ да и стоятъ: кто первый смигнетъ. Да, къ счастью, соборный протоиерей тутъ случился, съ приѣдомъ поздравлять пришелъ. Какъ только губернаторы его учуяли — смотрятъ, Потемкинскаго-то ужъ нѣтъ, а вмѣсто него — коршунъ! Покуда на него глядѣли, какъ онъ крыльями взмывалъ, а промежду ногъ черная кошка шмыгнула — и Мамоновскій, значить, исчезъ!

«А кабы не это, побѣдили бы они другъ друга да и управляли бы. А можетъ-быть, впрочемъ, и не разъ такіе управляли».

«Спросите вы меня, съ чего это я все объ чертахъ да о кикиморахъ рассказываю? Такъ я на это вотъ что скажу: такая у насъ жизнь волшебная, что самъ собою разговоръ въ этомъ родѣ складывается.

«Что такое эта чертовщина и въ какомъ смыслѣ ее понимать надлежитъ? — на это я опредѣлительнаго отвѣта дать не могу. Но вѣдь, съ другой стороны, ежели сказать наотрѣзъ: нѣтъ чертовщины! — а вдругъ она есть? Кто тогда въ дуракахъ будетъ?

«Зналъ я одного умнаго статскаго совѣтника, такъ тотъ прямо мнѣ сознался: «Вообще я въ нечистую силу не вѣрю; но ежели обстоятельства ея благоприятствуютъ, то не токмо самъ вѣрю, но и другимъ совѣтую».

«Однажды имѣлъ онъ тяжкое дѣло, да вдругъ узналъ, что оберъ-секретарь тамошній въ чертей вѣритъ. Вотъ и пустилъ онъ слухъ, будто бы въ Кіевѣ, на Лысой горѣ, онъ однажды съ вѣдьмой пошатались. Дошло это до оберъ-секретаря — пожелалъ объясниться лично.

«— Правда ли, говорить, что вы живую вѣдьму видѣли?

«— Истинная, ваше превосходительство, правда.

«— Расскажите.

«Ну, статскій совѣтникъ — во всехъ подроностяхъ. И какъ, и что. А оберъ-секретарь слушаетъ да только понынѣй вздрагиваетъ: хоть бы глазкомъ, молъ, взглянуть!

«И что-жъ бы вы думали! черезъ недѣлю рѣшеніе состоялось: отдать землю въ вѣчную собственность статскому совѣтнику. А земли-то, никакъ, вѣтъсотъ десятинъ было».

«И я самъ, признаться, однажды въ этомъ родѣ фортель въ ходъ пустилъ.

«Отличился я въ ту пору подѣ Севастополемъ — вотъ насъ, геросовъ, тутъ двадцать отобрали, привезли въ Петербургъ да Кокореву и препоручили. Онъ насъ днемъ по гуляньямъ водилъ, а ночью — чествовалъ. Привезеть, бывало, въ Павловскъ и водить по музыкѣ: «герои!» А публика смотритъ и повторяетъ: «герои!» Бабы въ нану честь дѣлали пикирки, ученые собранія устраивали: «герои приѣдутъ!» А нѣкоторыя дамы изъ важныхъ даже поодиначкѣ къ себѣ зывали: «такая-то тайная совѣтница проситъ героя NN пожаловать». Словомъ сказать, многіе изъ насъ при деньгахъ въ полкъ возвратились.

«И меня на одномъ балу старунка-графиня намѣтила:

«Сядьте, говорить, герой, возлѣ меня — вотъ такъ». Сѣлѣ.  
 «Расскажите, говорить, какъ вы Севастополь брали?» — Не брали, ваше сіятельство, а отстаивали. — «Это все равно. А впрочемъ, что-жъ объ этомъ на балу разговаривать; лучше въ мнѣ часокъ-другой на свободѣ посвятите. Да вотъ что: завтра я въ двѣнадцать часовъ утромъ дома буду, а мужъ въ свое учрежденіе уѣдетъ — милости просимъ, герой!»

«Гляжу я на нее: мѣста живого нѣтъ! приспособиться не къ чему! А съ другой стороны — графиня, и мужъ въ учрежденіи служить: какъ тутъ отказать?»

«На утро, ни живъ, ни мертвъ, а иду. Хуже чѣмъ въ сраженіе; потому въ сраженіе тебя посылаютъ, а тутъ — самъ иди! Явлюсь, а она, прахъ ее побори, на кушеткѣ лежитъ. Стукнулъ шпорами.

«— Приблизьтесь, говорить, герой!

«И вдругъ меня словно осветило.

«— Ваше сіятельство, — говорю: — вѣдь я лѣній-съ!

«Какъ она завизгнетъ! — Корнию! Прохору! Антипка! гоните его!

«И гнали они меня по Литейной, отъ пушечнаго двора вплоть до самаго Невскаго. Гонять и приговариваютъ: «герой!»

«А народъ шапки снимаетъ».

«А въ другой разъ со мной и въ противномъ смыслѣ случай произошелъ.

«Стояли мы однажды въ Полтавской губерніи: я тогда только-что въ корницы произведенъ былъ. Кровь такъ ходуномъ, бывало, и ходить, а смѣлости нѣтъ. Еще казачку простую, куда ни шло, уцѣпишь, а чуть мало-мальски пани или панночка — стоишь передъ ней какъ дуракъ да глаза таращишь.

«Между тѣмъ у помѣщика, у пана Холявы, жена была — краля писанная. И видѣлъ я, что я ей по праву пришелся. Каждый день, бывало, посланца за мной шлетъ. Приду — сейчасъ возлѣ себя посадить.

«— Любить палецъ корнетъ галушки?

«— Люблю, сударыня.

«— Може палецъ корнетъ и смоквы любить?

«— И смоквы, сударыня, люблю.

«Подадутъ и галушки и смоквы — я и то и другое въ одну минуту съѣмъ. А она смотритъ на меня и думаетъ: «сейчасъ онъ поѣстъ и декларацію сдѣлаетъ!» Не тутъ-то

было. Я какъ поѣмъ, такъ еще лучше робѣю. Посидимъ-посидимъ, до того насидимся, что она ужъ свирѣть похвать начнетъ.

«— Однако, — скажете: — глупый же вы, корнетъ!

«Не понимаю даже, какъ я ей не опротивѣлъ. Полагаю, что она больше изъ любопытства упорствовала. Видитъ, что дубину обринула, и думаетъ: что изъ этого выйдетъ?»

«Вотъ однажды, когда я навѣся галушекъ, она меня и спрашиваетъ:

«— А что, палецъ корнетъ: вы боитесь русалокъ?»

«— Боюсь, говорю.

«— Вотъ такъ ахвицеры!

«— То-есть, я говорю, настоящихъ русалокъ боюсь, а ежели которыя...

«— Молчите! и слушать больше не хочу! Вотъ что вы думаете... какихъ-то *ненастоящихъ* русалокъ! Такъ вотъ что вы сдѣлайте: вопъ тамъ въ пруду, въ камышахъ, каждое утро на зорькѣ русалка купается... «настоящая» русалка... слышите?

«Ушелъ. Цѣлую ночь глазъ не смыкалъ, дождался зорьки — и маршъ на пруду. Купаюсь, плаваю... вдругъ слышу: въ камышахъ замесестъло.

«— Кто тамъ?

«— Я, русалка...

Приди въ чертогъ ко мнѣ златой,  
 Приди, о князь мой дорогой!

«Тутъ ужъ и робость съ меня соскочила. палецъ бѣшеный ринулся я въ камыши и въ одну минуту выволокъ русалку на берегъ.

«Однако впоследствии никогда ни однимъ словомъ ей не намекалъ, что русалка «ненастоящая» была. Сидишь, бывало, сосешь леденца и скажешь:

«— А какъ вы полагаете, пани, придетъ завтра на зорькѣ русалка купаться?

«— А когда же она не приходитъ?

«Съ мѣсяць мы такимъ родомъ купались. Она — русалка; я — князь. Но что было бы послѣ, когда прудъ замерзъ — сказать не умѣю. Вѣроятно, мы какъ-нибудь устроились бы по-сухопутному.

«Но черезъ мѣсяць насъ угнали въ Костромскую губернію — вотъ куда!»

«Но бывають и настоящія русалки. У насъ въ полку еще одинъ майоръ былъ, такъ тотъ рассказывалъ, что отъ цѣлый годъ въ водяномъ дворѣ съ русалками прожилъ. И женили его тамъ. Главная русалка на тронѣ съ нимъ сидѣла, а прочія—прислуживали. А кормили его рыбой да раками. Сначала въ охотку было, а потомъ опротивѣло.

«И сколько ему хлопотъ это происшествіе надѣлало! Аблакаты напималъ, чтобъ бракъ-то этотъ недѣйствительнымъ признать!

«Ну, я, бывало, слушаю эти рассказы и думаю про себя: знаемъ мы этихъ «настоящихъ» русалокъ!

«А можетъ-быть, впрочемъ, онъ и съ «настоящей» русалкой жилъ. Потому что на свѣтѣ все такъ: здѣсь настоящее, а рядомъ—венастоящее... какъ тутъ отлчить? Ежели по рыбьему хвосту заключать, такъ и тутъ всяко бываетъ; иная и безъ хвоста, а въ лучшемъ видѣ русалка!»

«У насъ къ одному полковому командиру цѣлый мѣсяцъ каждый день нечистая сила въ образѣ блудницы являлась. Только-что, бывало, отпуститъ вечеромъ вѣстового, а она тутъ какъ тутъ. Головою киваетъ, плечами помахиваетъ, бедрами потрясается... И чтѣ же потомъ оказалось?—что это тетка юнкера Растопырева за племянника ходатайствовать приходила! А полковникъ между тѣмъ думалъ, что она чертовка,—и пальцемъ не прикоснулся къ ней!

«А въ это же самое время къ поручику Клятвину настоящая чертовка ходила, но онъ передъ ней не сробѣлъ.

«Какъ это объяснить?»

«Понинъ у насъ въ полку былъ — молоденькій! — такъ тотъ, бывало, отъ объясненій уклонялся. Обступая его юнкера молодые и начнутъ допрашивать:

«— Вы, батюшка, какъ насчетъ кибиморъ полагаете: ностныи онѣ или скоромныи?»

«А онъ только застыдится и пробормочетъ:

«— Увольте меня, господа!»

«Однако, когда съ полковникомъ это происшествіе случилось, и онъ долженъ былъ сознаться, что на свѣтѣ есть много такого, чего разумъ человѣскій постигнуть не въ состояніи. Иной всего только въ кадетскомъ корпусѣ воспитаніе получилъ, а потомъ, смотришь, изъ него министръ вышелъ—какъ это объяснить?»

«Лежишь иногда ночью въ кровати вдругъ шорохъ! или

идешь по лѣсу — хохотъ! съ ружьемъ по болоту пробираешься—лязгъ! Кто? что? какъ? почему?»

«А главное: сейчасъ видишь и слышишь, а сейчасъ — нѣтъ ничего...

«Однажды со мной такой случай былъ: только-что успѣлъ я со станціи выѣхать, какъ откуда ни возьмись цѣлое стадо статскихъ совѣтниковъ за нами погналось. Съ кокарами, при иппагахъ, какъ есть по формѣ. Насилу отъ нихъ уѣхали. А ямщикъ говоритъ, что это было стадо быковъ. Кто изъ насъ правъ? кто неправъ? По-моему, оба правы. Я правъ — потому что видѣлъ статскихъ совѣтниковъ въ то время, когда они статскими совѣтниками были, а ямщикъ правъ — потому что видѣлъ ихъ уже въ то время, когда они въ быковъ оборотились.

«Вообще превращенія эти какъ-то вдругъ совершаются. Въ Москвѣ мнѣ одного куница показывали: днемъ онъ куница, скобянымъ товаромъ торгуетъ, а ночью въ видѣ цыбной собаки собственную лавку стережетъ. А на утро — опять куница. Какъ сподручнѣе, такъ и орудуетъ».

«Встрѣтился я однажды на станціи съ майоромъ. Какъ есть, натуральный майоръ и съ бантомъ въ петлицѣ. Разъ говорилъ. То да сѣ.

«— Въ какомъ дѣлѣ изволили бантъ получить?»

«— Подъ Остроленкой.

«— Такъ-съ. И жаркое дѣло было?

«— Должно-быть, жаркое. А впрочемъ, былъ ли я тамъ — хоть убейте, не помню!

«Такъ вотъ какъ иногда бываетъ. И банты получаемъ, а за чтѣ — не знаемъ. Какъ это объяснить?»

«А другой случай такой былъ. Служилъ у насъ въ полку ротмистръ Коробейниковъ и заказалъ онъ себѣ новыя рейтузы. Только надѣлъ онъ эти рейтузы — и вдругъ сдѣлался невидимъ. Рейтузы и сидятъ, и стоятъ, и ходятъ, а Коробейникова нѣтъ какъ нѣтъ. И, главное, онъ самъ въ некоторое время объ этомъ не зналъ. Сидимъ мы однажды въ офицерской сборной и вдругъ видимъ: порожнія рейтузы идутъ! Можете себѣ представить общій испугъ!

«Теперь сообразите-ка: у одного рейтузы волшебныя, у другого — ментикъ, у третьяго — колетъ... весь полкъ волшебный! Амуниція налицо, а воиновъ нѣтъ!»

«Влазла в одну помбщицу, которая къ вахмистру на свиданіе ходила, а объ ней говорили, что лѣній ее по ночамъ въ лѣсъ уносятъ. А про другую помбщицу говорили, что она къ вахмистру бѣгаетъ, а на самомъ-то дѣлѣ ее лѣній въ лѣсъ уносили. И едвлазась она по времени какъ щетка худая, глаза большунціе, въ лицѣ ни кровинки, а губы красныя-раскрасныя. Черезъ девять мѣсяцевъ она лѣшонка принесла... да кудрявый какой!

«Вотъ какъ наружность иногда бываетъ обманчива!

«Поэтому я и не разсуждаю. Что знаю — того не скрываю, а чего не знаю, объ томъ такъ и говорю: не знаю.

«И всегда вспоминаю при этомъ слова мудраго статскаго совѣтника: «коли время стойтъ для чертей благоприятно — значить, хоть вѣрь, хоть не вѣрь, а все-таки говори: есть!» А когда же оно ужасъ, позвольте спросить, неблагоприятно?»

«Жили-были двѣ дѣвушки-сиротки и все говорили: — не вѣрять да не вѣрять! — А одинъ коллежскій совѣтникъ, изъ добровольцевъ, ихъ и подделушалъ: — Чему, сударини, не вѣрите?

«Туда-сюда. Оказалось на повѣрку, что онѣ и сами досконально не знаютъ, чему вѣрять, чему не вѣрять. Стоять передъ своимъ судіей да только ножками сучать. А онѣ и судья-то не настоящій былъ, такъ, со стороны какой-то взялся. И, несмотря на это, не только ихъ проэкзаменовалъ, да еще къ бабушкѣ въ деревню подъ надзоръ отправилъ.

«Много нынче черезъ это самое молодыхъ людей пропадаетъ. Сначала въ одно не вѣрять, потомъ въ другое, а наконецъ и въ третье. Иной бы въислѣдствіи и радъ повѣрить, да вѣтъ, братъ, шалишь! Близо къ локотъ, да не укусишь. И вотъ какъ дойдутъ они до предѣла — ихъ и помянуть: — извольте объяснить, въ какой силѣ и почему? — А какъ необъяснимое объяснить!

«И самъ въ молодыхъ лѣтахъ однажды этого духа набрался. Пришелъ, какъ смеркълось, на кладбище да и гаркнулъ: не вѣрю! А тутъ подъ идной статскій совѣтникъ Шенковскій лежалъ: — извольте, говорить, повторить! — И вдругъ-это всѣ могилы заневелились — лѣзутъ на меня отовсюду, да и шабашъ! У кого кабанья голова, у кого — коновья... Волки, медвѣди, охидны, амфи.

«И что же потомъ оказалось? — что при блаженной па-

мяти императрицы Катеринѣ II чиновниковъ тайной канцеляріи на этомъ кладбищѣ хоронили! Они меня и подсидили».

«Нынче съ самаго малаго возраста ужъ всѣмъ наукамъ учать. Клонъ, отъ земли не видать, — а его съ утра до вечера пичкаютъ. Въ наукѣ тоже, чай, всякія слова бываютъ; иное надо бы и пропустить, а у насъ не разбираютъ: всѣ слова сподрядъ учи! Точно въ Ростовѣ каплунамъ насильно въ зобъ кашу пальцемъ проталкиваютъ. Ну, мальчишко долбитъ-долбитъ да и закричитъ: — не вѣрю!

«А по-моему настоящая наука только одна: сиди у моря и жди погоды. Вывезетъ — хорошо; не вывезетъ — дожидайся случая. А между прочимъ поглядывай. Какова пора ни мѣра — не упусти, а упустилъ — старайся быть впередъ проворнѣе. Но паче всего помни, что жизни сей обстоятельства не нами устраиваются, а намъ надлежитъ только глядѣть въ оба.

«По наружности наука эта не трудная: ни азовъ, ни латини, ни ариметики. Однако ни въ какой другой наукѣ не случается столько эпизодовъ, какъ въ этой. Всю жизнь въ ней экзаменъ держать предсежить, а экзаминатора впередъ угадать нельзя. Сегодня ты къ одному экзаминатору приспособился, а завтра этотъ экзаминаторъ самъ въ экзаменуемые попалъ. Вотъ какова сей жизни превратность.

«И первое въ этой наукѣ правило — во все вѣрить. Спроситъ тебя: «Въ настоящихъ русалокъ вѣришь?» — Вѣрю. — «А въ ненастоящихъ русалокъ вѣришь?» — Вѣрю. — «Ну, живи!»

«Я самъ всегда этихъ правилъ въ жизни держался — оттого двадцатый годъ въ майорскомъ чинѣ состою. И буду ли когда-нибудь подполковникомъ — неизвестно».

«Прожилъ, господа, я свою жизнь: шестой десятокъ закачиваю. Молодость — почти совсѣмъ позабылъ, середку — тоже, а вотъ это помню: что и въ началѣ, и въ середкѣ — всегда пуншъ пилъ. Давно что-то я его пью. День между мальцевъ проскочить, а вечеромъ — пуншъ: съ нимъ и спать ляжешь. Вся жизнь тутъ. Былъ и подъ венгерцемъ, и въ Севастополѣ, и на поляка ходилъ, а что осталось — европите!

«Лѣтъ десятокъ тому назадъ собралось насъ въ полку пять человекъ добрыхъ товарищей; все однолѣтки и все

майоры. Соберемся, бывало, и пуншъ пьемъ. Штъ-то пьемъ, а разговоръ у насъ нѣтъ. Зеведемъ разговоръ—смотришь, сейчасъ ему и конецъ. И я съ вѣдьмой шабанилъ, и другою съ вѣдьмой шабанилъ; и я съ русалкой купался, и третій съ русалкой купался. У всѣхъ—одно. Однажды вздумали про сотвореніе міра говорить, такъ и то у всѣхъ одно и то же выходитъ. А пѣсни нѣтъ совѣстно. Скажутъ: захмелѣли майоры.

«Пріѣдешь, бывало, къ помѣщику въ гости—сейчасъ-это въ садъ поведутъ. Показываютъ, водятъ. «Вотъ это—аллея, а это—прудь». А ты только объ одномъ думаешь: скоро ли водку подадутъ.

«— Нравится вамъ?

«— Помилуйте!

«— Такъ не угодно ли въ поле, ишенячку посмотреть?»

«— Съ удовольствіемъ!

«Или въ клубъ на танцевальный вечеръ тебя нелегкая занесетъ. Сядешь въ уголь, а тутъ къ тебѣ предводительша подлетитъ.

«— Извольте, майоръ, кадрили со мной танцовать.

«— Съ удовольствіемъ-съ.

«— Нравится вамъ наши балы?

«— Помилуйте!

«— На будущей недѣлѣ я нынѣ въ пользу бѣдныхъ устраиваю—пріѣдете?

«— За честь считу-съ.

«Полковой командиръ у насъ женился, молодую жену привезъ. Натурально, обѣдъ. И меня, какъ сейчасъ помню, по правую руку около жены посадилъ.

«— Вамъ не случно подлѣ меня сидѣть?

«— Помилуйте-сы!

«— А ежели не случно, будемте разговаривать.

«— Съ удовольствіемъ-съ.

«Ни въ мужскомъ, ни въ женскомъ обществѣ—нигдѣ разговоръ нѣтъ. Познакомилъсь, бывало, съ дамочкой, подведутъ тебя къ ней, словно на трезвеляхъ:

«— Вы, майоръ, жевское общество любите?

«— Помилуйте, сударыня!

«— Въ такомъ случаѣ приходите почаще.

«— За честь считу-съ.

«Сядешь и молчишь. Вотъ она посидитъ-посидитъ, увидитъ, что малому-то не до разговоровъ, и молвить:

«— Приходите сегодня вечеромъ вѣнчъ въ ту бесѣдку...

«Тутъ словно какъ и оживишься... го-го-го!

«Скука. И самому скука и другимъ смерть. Придешь домой, а тамъ ужъ полную комнату скуки наполнило. Попробуешь думать—черезъ четверть часа готовъ: всѣ думы перебудалъ... Пупшу!

«Съ самой ранней молодости мы разгуль за веселье, а ѣрничество за любовь принимали, да такъ спозаранку и отличали. Изъ всѣхъ этихъ свѣтскихъ манеръ только и знали, что шпорами, бывало, щелкнешь.

«Отъ этого я никогда объ женитбѣ серьезно не думалъ. Начнешь, бывало, умомъ раскидывать: что бы мнѣ больше всего въ женѣ нравилось?—и непременно что-нибудь ординарное надумаешь. Такъ вѣдь для ординарнаго немного нужно: вынуть за ворота и сплестнуть. А чтобы обстано-вочка какая-нибудь, чтобы, наиримѣръ, постелька какъ слѣдуетъ, занавѣсочка, столикъ, самоварникъ, чай, кофе—«хорошо ли ты, мой другъ, почивалъ?»—этого и въ воображеніи не было. Растянешься на диванѣ, какъ одеръ, подъ головой замасленная кожаная подушка—и дрыхнешь. А въ передней, на голой доскѣ, девицкиль во снѣ стокетъ. Встанешь—и умываться не хочется. Чай девицкиль подастъ:—Чортъ тебя знаетъ, скотина, чего ты въ чай мѣшашь!»

«И все-таки скажу: лучше въ нашемъ званіи такъ прожить, нежели на семейную жизнь соблазниться. Иной не воздержится, женится—и что же выйдетъ? Дѣвочка-то, какъ замужь выходила, ровно огурчикъ была, а черезъ два-три мѣсяца, смотришь, она ужъ въ какихъ-то кацавейкахъ офицеровъ принимаетъ: опустилась, обвисла, трубку курить, верхомъ на стулѣ садится. Халда халдой».

«Въ послѣднее время начали при полкахъ исправныя библиотеки содержать. Это бы хорошо, да какъ себя, на старости лѣтъ, принудишь читать? Возьмешь газету—вездѣ словно концы рассказываютъ, а начала не знаешь. Воспитаніе-то я «домашнее» получилъ, а потомъ—прямо въ полкъ. Такъ даже стиховъ никакихъ не знаю. Помню, что подъ венгерца ходилъ, поляка два раза усмирялъ, съ туркой за ключи воевалъ, и французъ съ англичаниномъ помогали ему... Помню, потому что самъ тамъ былъ, а что и какъ—спросить не догадался. Начальство приказывало—вотъ и все. Поэтому, какъ стали насильно заставлять газеты читать, все и ницень: гдѣ же начало?

«Въ то время, какъ насъ пять майоровъ въ полку было, досталъ одинъ майоръ исторію Карамзина:—Далайте, братцы, читаты!—Какъ дошли мы до Святополка Окаяннаго, такъ оно на меня подѣйствовало, что я, и во снѣ и наяву, все бывало, Святополка Окаяннаго вижу. Кого ни встрѣчу, офицера, помѣщика, солдата—всѣмъ про него рассказываю. А черезъ недѣлю меня и самого стали Святополкомъ Окаяннымъ чествить. На этомъ и пошабаниль.

«Стоялъ я, еще въ чинѣ ротмистра, въ Орловской губерніи, въ деревнѣ у одного помѣщика. Богатый былъ, молодой и холостой. Вотъ и повадился я къ нему ходить. Хожу и все спрашиваю:—Отчего это мнѣ жить очошь скучно?»

«— Водку, говоритъ, пьете?»

«— Пью.

«— Клопнѣтесь на бильярдѣ умѣете дѣлать?»

«— Умѣю.

«— А географію знаете?»

«— Н-и-нетвердо.

«— Вотъ то-то и есть.

«И началъ онъ меня коротенько всякимъ наукамъ учить. Сегодня—одну науку расскажете, завтра—другую. А я приду въ полкъ да вахмистру пересказываю... И чтѣ же потомъ оказалось? Что все-то онъ мнѣ въ насмѣлку рассказывалъ!»

«Вы, господа, не смѣйтесь: охота-то, значить, во мнѣ была, да не ко двору пришлась. Былъ у насъ юнкеръ въ полку, служилъ исправно и вдругъ тосковать началъ. Тосковалъ-тосковалъ да и ушелъ въ университетъ. Отецъ узналъ, да арапникомъ—и опять въ полкъ. А онъ опять въ университетъ. Да до трехъ разъ. Такъ и бросилъ.

«И чтѣ же вышло? Я какъ тогда былъ майоръ, такъ и теперь майоръ, а онъ, съ годъ тому, въ генеральскомъ чинѣ, инселекторскій смотръ полку дѣлалъ. Изъ университета-то, изволите видѣть, опять въ юнкера поступилъ да въ академію, а оттуда и пошелъ, и пошелъ...

«Однако же на смогру узналъ меня.

«— Вы ли, майоръ?»

«— Онъ самый-съ.

«Потужилъ, покачалъ головой, поцѣловалъ и уѣхалъ. Я, признаться, понадѣялся, не произведутъ ли въ подполковники—да гдѣ ужъ!

«При моей охотѣ да кабы въ университетъ... Можетъ-быть, и я бы теперь генераломъ былъ».

«Служилъ я всегда исправно и часть свою въ порядкѣ содержалъ. Только два раза въ теченіе всего времени всѣсканіяжъ подвергался.

«Въ первый разъ—на абвахтѣ сидѣлъ. Купался я однажды съ русалкой, а какой-то озорникъ взялъ да амуницію мою въ кусты спряталъ. И, было, задворками да передѣлочкомъ на квартиру—ахъ навстрѣчу стадо. Какъ увидѣли коровы—словно взбѣаенились. Словомъ сказать, вынелъ скандалъ.

«Въ другой разъ—изъ трактира ночью шли. Идемъ и видимъ, что извозчики, прикурнувши на дрозкахъ, спятъ. «Разнуздаемте, господа, лошадей!» Разнуздали; отошли подальше, кричимъ: «извозчики!» Можете себѣ представить картину! Волжками дергаютъ, кнутомъ хлещутъ, лошади несутся какъ бѣшенныя... Однако съ однимъ извозчикомъ обошлось неблагополучно. На другое утро—къ полковнику. «Стыдитесь, корнетъ!»

Въ старину такіе поступки «шалостями молодыхъ людей» назывались. Окна въ трактирѣ перебить, будочника съ ума свести, купцу бороду спалить, при встрѣчѣ съ духовнымъ лицомъ заготовать—вотъ какія тогда удовольствія были. Однажды квартальный къ полицеймейстеру съ рапортомъ шелъ, такъ ему въ заднюю фалдочку кусокъ лимбургскаго сыру положили, а полицеймейстеръ за это свиной его назвалъ.

«Признаться сказать, теперь я и самъ удивляюсь, какія же это удовольствія!»

«А подь конецъ расскажу вамъ самое любопытное: какъ я одинъ разъ конституціи требовалъ.

«Было это въ то время, когда насъ, послѣ севастопольской кампаніи, въ видѣ героевъ, господину Кокореву поручили. Тогда по всей Россіи восторгъ былъ. Во-первыхъ, война кончилась, а во-вторыхъ, мягкость какая-то вездѣ разлилась. Курить на улицахъ было дозволено, усы, бороды носить. Съ этого началось. А главное, не возбранялось ни ходить, ни сидѣть, ни смѣяться, ни плакать. Хочу—хожу, хочу—свижу; хочу—молчу, а надѣло молчать—возьму да и поговорю. И никакого вреда отъ этого не было—ей Богу! словомъ сказать, такой неожиданный моментъ выдался, когда всѣ только удовольствіе испытывали.

«Разумѣется, не обходилось и безъ фалаберій. Одни говорили: нужно, чтобъ у мужика каждый день добрая чарка водки была; но были и такіе, которые прибавляли: а для прочіихъ чтобы конституція. Однако ни тѣхъ, ни другихъ не тревожили, а только на замѣчаніе брали.

«Мы, герои, вели себя очень скромно. И въ Эрмитажѣ побывали, и въ кунсткамерѣ, и въ Исаакиевскомъ свѣрь— тихо, благородно. Конечно, вечеромъ поспадѣ, подъ руководствомъ Василья Александровича, изрядно-таки накачивались, но по большей части насъ увозили для этого въ Ушаки \*). Отзвонимъ сутокъ двое да и опять въ Петербургъ свѣтленькіе воротимся.

«Вотъ однажды благодушествуемъ мы такимъ образомъ въ Ушакахъ и налакались-таки до предѣловъ. И началъ нашъ любезный хозяинъ объяснять: для чего, когда поѣдъ на станцію приходить, рабочіе подъ вагонами лазаютъ да объ колеса и шины постукиваютъ? — Для того, говоритъ, чтобы знать, все ли исправно, и нѣтъ ли гдѣ изъяна. А подобно сему, говоритъ, на будущее время и въ государственныхъ дѣлахъ поступать надлежитъ. На удаю-то не скакать, а сначала постучать; а ежели окажется трещина или раковина, то заплаточку положить, а потомъ ужъ ѣхать.

«Что же, стучать такъ стучать. Начали мы стучать, и что дальше, то больше. Одни говорятъ: на первый разъ достаточно чарки добраго вина; другіе говорятъ: этого мало, нужно конституцію... А въ томъ числѣ и я.

«Только находится промежъ насъ одинъ мужчина. Притворился онъ, будто лыка не вяжетъ, а самъ подъ-шефѣ пастоящимъ образомъ не былъ. Образина, можно прямо сказать, незаконная. Глаза — въ раскосъ, ротъ — на сторону; одна щека опухла, другая — словно сейчасъ изъ-подъ утюга. Но такъ было тогда всѣмъ хорошо, что мы даже передъ этими явками признаками не остереглись.

«Разумѣется, я проснулся и на другой же день все перезабылъ. И вдругъ, на третій день — къ генералу требуютъ.

«— Знаете вы, что такое конституція?

«— Никакъ нѣтъ, ваше превосходительство.

«— Почему же вы такъ ей желаете?

\*) Ушаки — ямъіе, принадлежавшее въ концѣ пятидесятыхъ годовъ г. Кокореву. Последняя станція отъ Петербурга передъ Любанью.

«— Не могу знать, ваше превосходительство.

«— Не можете знать... гм!.. Однако-жь припомните-ка... въ Ушакахъ?..

«— Виноватъ, ваше превосходительство.

«— То-то вотъ и есть. Значенія слова не знаете, а злоупотребляете имъ. Забудьте объ этомъ, мой другъ! Это васъ врагъ рода человеческого смутитъ!

«Съ этимъ и отнустить... это тотъ самый генералъ, который прежде безъ серьезнаго слова минуты обойтись не могъ, а теперь... «мой другъ»! Вотъ время какое волшебное было!

«Разумѣется, я на извозчика и домой. А дня черезъ три послѣ этого насъ, героевъ, по полкамъ водворили».

## Вечеръ второй.

Audiat et altera pars.

Не разъ случалось мнѣ слышать отъ людей благорасположенныхъ: зачѣмъ вы все изнанку да изнанку изображаете? вѣдь это и для начальства неприятно, да и по существу неправильно. Вы думаете, сладко начальству слышать: ты чего смотришь? ты зачѣмъ допускаешь? Какъ будто бы оно можетъ за чѣмъ-нибудь не усмотрѣтъ и чего-нибудь не допустить? А съ другой стороны, развѣ естественно, чтобы на свѣгѣ были одни мздоимцы, да прелюбодѣи, да предатели? Вѣдь мы давно бы изгибали всѣ до одинаго, если-бъ это было такъ! А вы попробуйте-ка взглянуть наоборотъ — можетъ-быть, и другое что-нибудь выйдетъ? Ну-те-ка, съ Богомъ... а?

Долго я не понималъ, въ чемъ заключается суть этихъ благожеланій, и потому не обращаю на нихъ вниманія. Съ легкомысліемъ, достойнымъ лучшей участи, я указывалъ на мздоимство Фейера, хищничество Дерунова и Разуваева, любострастіе майора Прыща, бессмысленное злопыхательство Угрюмъ-Бурчеева и проч., и, сознаюсь откровенно, почти никогда не приходило мнѣ на мысль, что рядомъ съ Фейерами, Прыщами и Угрюмъ-Бурчеевыми существуютъ Правдины, Добросердовы и Здравомысловы. Не потому не приходило, чтобъ я игнорировалъ или презиралъ этихъ людей, но потому, что мнѣ всегда казалось, что они и сами на себя смотреть какъ-то сомнительно. Какъ будто не знаютъ, дѣйствительно ли они люди, а не

призраки. Говорить начнутъ—словно ихъ тошнить; къ дѣлу приступятся—словно веревки по силѣ вытуть. Но въ особенности меня ставило втупикъ ихъ робкое отношеніе къ населяющей землю Простаковымъ и Скотининымъ,—отношеніе, не выразившееся не только ни однимъ горячимъ поступкомъ, но и ни однимъ искреннимъ словомъ. Въдѣ эти Правдины, говорилъ я себѣ, не какіе-нибудь обдѣленные, которымъ протесты не такъ-то легко сходятъ съ рукъ, а такіе же сильные міра, какъ и Скотинины. Какимъ же образомъ они могутъ смотрѣть на всевозможныя безчинства и даже злодѣянія необузданныхъ дикарей, и ограничиваются только тѣмъ, что пробормочутъ *изъ сторону* номенклатуру происходящихъ передъ ихъ глазами гнусностей? Какъ хотите, а это неестественно. Поэтому мнѣ казались сомнительными и самые Правдины, хотя я и зналъ, что они не только существуютъ, но и пользуются особливимъ отъ начальства довѣріемъ. Они *никого не трогаютъ*—вотъ ихъ главное право на почетную роль въ обществѣ и въ то же время ихъ жизненный девизъ. Они добродѣтельны, правдивы и здравомысленны—*для себя*; другимъ же отъ такихъ похвальныхъ качествъ—ни тепло, ни холодно. И бродятъ они по свѣту, получая присвоенныя *никому не трогающимъ* людямъ чины и ордена.

Все это я, впрочемъ, только объявляю, а отнюдь не оправдываюсь. Напротивъ того, въ послѣднее время я вполне убѣдился, что разсуждать легкомысленно и совершено понапрасну утруждалъ и огорчалъ начальство. Одно могу сказать себѣ въ утѣшеніе: огорчать начальство никогда не было въ моихъ правилахъ, и я никогда не дѣлалъ этого преднамѣренно. Въ чистотѣ души своей я думалъ, что содѣйствую, а на повѣрку оказалось, что я противодействую. Нужно было устроить такъ, чтобы Правдинъ побѣдилъ Скотинина, а я о Правдинѣ-то позабылъ, вслѣдствіе чего Скотининъ такъ и остался непобѣжденнымъ.

Теперь я рѣшился и самъ исправиться, и все мною написанное исправить. Къ счастью, разбираясь въ обширномъ матеріалѣ, накопленномъ моею памятью, я вижу, что это не составитъ для меня даже особеннаго труда. Въ этомъ матеріалѣ я нахожу такое количество драгоцѣннѣйшихъ фактовъ и отраднѣйшихъ образовъ, что съ моей стороны было бы даже непростительнымъ грѣхомъ, если бы я не познакомилъ съ ними моихъ читателей.

Пачну съ городничихъ.

### Городничіе-безсребреники.

Былъ одинъ городничій, который совсѣмъ взятокъ не бралъ, такъ что долгое время всѣ обыватели въ недоумѣніи были. Думали, что онъ нарочно сдерживается, чтобы въслѣдствіи учинить генеральный походъ. Но когда прошло довольно времени, и похода не было, то двинулся. «Какъ это—думалось всѣмъ—онъ насъ не грабитъ? и какъ онъ на свое жалованьишко съ семьей живетъ?» Жалованье же въ то время городничему полагалось чуть не семьсотъ на ассигнаціи, да и семейство при этомъ не возбранялось имѣть. А у этого самаго городничаго, кромѣ жены и оханки дѣтей, еще двѣ свояченицы жили, да теща, да племянникъ-дурачокъ. Всѣхъ надо было накормить, напоить, обути и одѣть. И онъ все это исполнялъ аккуратно, и даже пріятелей отъ времени до времени хлѣбомъ-солью угощалъ.

— Кузьма Петровичъ да какъ же ты изворачиваешься? взятокъ ты не берешь, а между тѣмъ всего у тебя въ изобиліи?—спрашивали его прочіе чины, которые хотя тоже взятокъ не брали, однако и не отказывались.

Но онъ долгое время уклонялся отъ объясненій и только загадочно отвѣчалъ:

— Слово у меня такое есть!

Наконецъ однако-жъ пристали къ нему такъ, что онъ рѣшился открыть свой секретъ.

— Когда меня на должность опредѣлили,—сказалъ онъ,—я на первыхъ порахъ чуть рукъ на себя не наложилъ. Жалованьишко малое, семья большая—какъ тутъ жить? Теща говорить: «надобно, Кузьма Петровичъ, взятки брать!» а я въ отвѣтъ: «поблагодарной!» Жена плачетъ: «самъ ты посуди, какъ безъ взятокъ семью прокормить!»—а я въ отвѣтъ: «покажи законъ, кому дозволяется взятки брать!» Словомъ сказать, уперся на своемъ, слышать ничего не хочу... Однако взятки не взятки, а пить-ѣсть надобно. Вотъ измолился я ангелу своему: Кузьма безсребреникъ, угоди мнѣ Волжій! научи, какъ мнѣ быть! Молюсь день, молюсь ночь—ничего. Молюсь еще день, еще ночь—опять ничего. На третью ночь чувствую, словно бы вѣтромъ на меня пахнуло—и вдругъ кто-то мнѣ въ ухо «слово» шепнулъ... Съ тѣхъ поръ я и поправился. Балыка на закуску захожу—сейчасъ: встань передо мной, какъ листъ передъ травой! баталейщикъ Вородавкинъ! чтобъ былъ ба-



лякъ!—смотришь, а онъ ужъ и на столѣ. Выйдетъ зашась чаю, сахару—кликну: встань передо мной, какъ листъ передъ травой! бакалейщикъ Зензивѣвъ! чтобъ былъ чай-сахаръ!—а онъ ужъ и тутъ какъ тутъ! Выйдутъ деньги—закричу: встань передо мной, какъ листъ передъ травой! господинъ откупщикъ! или вы своихъ обязанностей не знаете!—и деньги въ карманѣ! Такъ и живу! Взятокъ не беру, а всего у меня изобильно!

Открытіе это всёмо показалося настолько занимательнымъ, что и прочіе чины захотѣли воспользоваться имъ. И съ тѣхъ поръ ни въ городѣ, ни въ уѣздѣ у насъ никто взятокъ не бралъ, а всё были сыты, обуты, одѣты, а иногда и пьяны. Обыватели же гордились своими начальниками и говорили: у насъ взятокъ не берутъ! наши начальники «слово» знаютъ!

Одинъ городничій говаривалъ:

— Я одной рукой беру, а другой — отдаю! развѣ это взятка?

— Какъ же это выходитъ у васъ, Христофоръ Ивановичъ?—спрашивали его однажды сослуживцы, которые обѣими руками брали и ни одною не отдавали.

— Очень просто,—отвѣтилъ онъ.—Сейчасъ деньги получу и сейчасъ же на нихъ какое-нибудь произведение куплю. Стало-быть, что изъ народнаго обращенія выну, то и опять въ народное же обращеніе пушчу.

И когда всё подивились его мудрости, то прибавилъ:

— То же самое, что казна дѣлаетъ. Съ мужичковъ деньги беретъ да мужичкамъ же ихъ назадъ отдаетъ.

Съ тѣхъ поръ въ городѣ Добромысловѣ никто не говорилъ: «братъ взятки», а говорили: «пускать деньги въ народное обращеніе».

Одинъ городничій охотникъ былъ до рыбы. Придетъ на садокъ и скажетъ рыбнику:

— Стерлядки у тебя, я слышалъ, Герасимъ, хороши?

— Есть тотъ грѣхъ, вашескородіе.

— Уху соорудить можешь?

— Можно, вашескородіе.

— А вѣдь къ ухѣ-то, пожалуй, и обстановочку пристойную нужно?

— И это въ нашихъ рукахъ, вашескородіе.

— Валяй!

Съѣсть уху, выпить пристойную обстановку, цѣлкнетъ языкомъ и уйдетъ.

А Герасимъ ему вдогонку:

— Ангелы!

Городничій Ухватовъ во всей губерніи славился своимъ безкорыстіемъ.

Однажды вечеромъ пришли къ нему два мѣщанина съ взаимной претензіей.

Нашли они оба разомъ червонецъ. Одинъ говоритъ: «я первый увидѣлъ», другой: «а я первый поднялъ!» И оба требовали, чтобы Ухватовъ ихъ разсудилъ.

Тогда Ухватовъ сказалъ:

— Вотъ что, ребята. Положите вы этотъ червонецъ ко мнѣ на божницу. Если онъ почъ пролежитъ и цѣль останется—значитъ, вы оба правы и должны раздѣлить червонецъ пополамъ; если же онъ исчезнетъ, то, значитъ, вы оба неправы, и сама судьба не хочетъ, чтобы кто-нибудь изъ васъ воспользовался находкой.

Такъ и сдѣлали.

Прошла почъ, наступило утро: хватъ-похватъ—и нѣтъ червонца! Рѣшникъ такъ какъ червонецъ исчезъ—стало-быть, оба мѣщанина неправы.

Съ тѣхъ поръ и мѣщане и купцы валомъ повалили на судъ къ Ухватову. И онъ всё дѣла рѣшалъ по одному образцу. Но этого мало! даже тѣ чины, которые прежде дѣла рѣшали за взятки,—и тѣ перестали мздоимствовать и начали поступать по примѣру Ухватова.

А губернаторъ, узнавши о семъ, говорилъ: — Молодецъ Ухватовъ!

Одинъ городничій тоже славился безкорыстіемъ, а сверхъ того любилъ Богу молиться и ни одной церковной службы не пропускалъ. И Богъ ему за это посылалъ.

Увидѣвши, что городничій взятокъ не беретъ, а между тѣмъ шить-ѣсть ему надобно, обыватели скоро нашли средство, какъ этому дѣлу помочь. Кому до городничаго дѣло есть, тотъ купить просвирку, вырѣжетъ на донышкѣ мякнишъ да и сунетъ туда по силѣ-возможности: кто золотой, кто ассигнацію. А городничій просвирѣ всегда очень радъ. Начнетъ кушать и вдумгъ—ассигнація!

— Домлушка! дѣти! — кликнетъ онъ домочадцевъ: — посмотрите-ка, что намъ Богъ послалъ.

И всё радуются.

А однажды такъ въ рыбѣ четыре золотыхъ нашелъ — то-то было радости!

И что-жъ! даже тутъ нашлись завистники. Узнавъ стряпчий, что городничій просиры съ ассигнаціями фетъ,—стала доносомъ грозить. Но тутъ ужъ обыватели городничаго выручили: начали по двѣ просиры носить. Одну для городничаго, другую—для стряпчаго. И по двѣ рыбы.

И опять настала въ городѣ тишь да гладь, да Божья благодать.

Одинъ городничій дочь замужъ отдавалъ, а передъ этимъ онъ только-что взятки пересталъ брать. Говорила ему жена: «рано ты, Антошь Антонычъ, на покой собрался!»—а онъ не послушался. Задавила: «будетъ!»—и свадьбу дочери изъ вида упустила.

Вотъ, когда дѣло съ женихомъ ужъ сладилось, и надо было приданое готовить, жена и начала къ нему приставать: «говорила я тебѣ, что рано ты на покой собрался!» А черезъ часъ еще: «говорила я тебѣ...» Да такимъ образомъ черезъ часъ по ложкѣ. Долбила да долбила, и до того додолбилась, что ошалѣлъ городничій. Самому жалко стало.

И вотъ вамолился онъ: «Просвѣти, Боже, сердца краснорядцевъ, бакалейщиковъ, погребщиковъ, мясниковъ и рыбниковъ! И научи ихъ! Дабы не во взятку, но въ приношение, и не по принужденію, а отъ сердца полноты!»

И молитва его была тайная, только слышала ее квартальный надзиратель.

И что же! по прошло двухъ дней, какъ краснорядцы цѣлые вороха матерій городничихъ нанесли, погребщики—лишки съ винами, бакалейщики—кульки бакален всякой, а оккупники—тысячу рублей прислали!

Сыгралъ городничій свадьбу на славу и вслѣдъ затѣмъ въ отставку вышелъ. «Это, говоритъ, моя лебедяная пѣсня была!»

Вскорѣ послѣ этого онъ тутъ же подъ городомъ и имѣнице кунитъ, и теперь земскимъ дѣятелемъ по выборамъ служить и всѣмъ рассказываетъ, какъ онъ несчастливъ былъ, когда взятки бралъ, и какъ былъ потомъ вознагражденъ, когда пересталъ взятки брать.

— То ли дѣло,—говорить:—какъ на совѣсть-то ни пятнышка! Встрѣтись съ обывателемъ—прямо ему въ глаза смотришь!

Одинъ городничій плавать не умѣлъ, а купаться любилъ. Только пошелъ онъ однажды купаться и началъ тонуть, а мѣщанинъ, стоявшій на берегу, бросился въ воду и вытащилъ его. За это городничій далъ мѣщанину цѣлковый, но онъ отъ награды отказался, только рюмку водки выпилъ.

Прошло послѣ того много лѣтъ; мѣщанинъ проворовался и тоже сталъ тонуть. То-есть не въ рѣкѣ тонуть, а въ купели, называемой уложеніемъ о наказаніяхъ. Городничій же, вспоминая его прежнюю заслугу, не только изъ купели его вытащилъ, но и отказался отъ пяти рублей, которые мѣщанинъ хотѣлъ ему подарить изъ украденныхъ денегъ.

— Не надо мнѣ твоихъ денегъ,—сказалъ городничій:—сдѣлайся честнымъ человѣкомъ—вотъ чѣмъ ты меня лучше всего отблагодаришь.

— Рады стараться, вашескорodie!—отвѣчалъ воръ.

Одного городничаго спрашивали:

— Берете вы взятки, Иванъ Парамоничъ?

— Никогда!

Вотъ цѣлыхъ восемь характеристикъ. Я могъ бы представить и больше, но полагаю, что этого достаточно. Не буду, впрочемъ, преувеличивать. Безспорно, что были и между городничими взяточники (какъ о томъ устияя предація и до-днесъ свидѣтельствуютъ), но не всѣ. Вотъ это-то обшкнонено и опускается изъ виду господами обличителями. Сверхъ того многіе изъ бравныхъ взятки раскалялись, а это тоже необходимо принимать въ расчетъ для полноты картины. Вообще же, мнѣ кажется, слѣдуетъ принять за правило: описывать только то, что хорошо и благородно. Этому же правилу не лишне держаться и въ живописи: съ персонъ, обладающихъ фізіономіями чистыми и пріятными—писать портреты, а персонъ, обладающихъ фізіономіями нелицепріятными, обезображенными золотухой, осной, накомными сыпями и проч.—оставлять безъ портретовъ. Такой образъ дѣйствія и началству удовольствіе доставить, и самому описателю дастъ возможность многіе годы прожить благополучно. Какая польза напоминать о взяткахъ и обдираніяхъ, когда взятое давнымъ-давно проѣдено, а ободранное вновь заросло лучше прежняго? А еще того лучше: совѣмъ ничего не писать. Было

же время, когда ни о чемъ ничего не писали—и всё были благополучны. Потомъ наступило время, когда *обо всемъ* и *о се* начали писать—и «вотъ къ чему» привели! Такъ не пора ли опять на прежнюю колею вступить—можетъ-быть, и опять мы благополучны будемъ?

Вотъ это-то именно я теперь и попылъ.

— Для чего вы заводите рѣчь о чиновничьихъ добродѣтеляхъ, коли сами признаёте, что лучше совсѣмъ ничего объ нихъ не писать?—быть-можетъ, спроситъ меня благо-склонный читатель.—А для того, отвѣчу я, чтобы исправить мою репутацию. Сначала эту задачу выполняю, а потомъ и совсѣмъ брошу. Я знаю, что задача эта не весьма умная, но вѣдь глупыя дѣла бывають въ родѣ повѣтрія. Глупые фасоны вышли—вотъ и все. Но ежели глупые фасоны застрянутъ на неопредѣленное время, тогда, разумѣется, придется совсѣмъ бросить и бѣжать, куда глаза глядятъ...

Загѣмъ перехожу къ другимъ чинамъ, о доблестяхъ которыхъ тоже могу поразсказать достаточно.

Въ дореформенное время почти всё служебныя должности, и въ администраціи, и по судебному вѣдомству, занимались, въ губерніяхъ и уѣздахъ, по выбору отъ дворянства. Поэтому все было тогда благородно. Крѣпостное право тоже не мало этому способствовало, такъ какъ, благодаря ему, великіи благородный человѣкъ, въ сущности, былъ и должностнымъ лицомъ. Правиль насчетъ благородства никакихъ не было, а просто предполагалось, что отъ благородныхъ людей слѣдуетъ ожидать благородныхъ поступковъ. Все остальное дѣлалось само собой, въ силу нескончи сложившихся обстоятельствъ, и дѣлалось хорошо и прочно. Тишина была и благораствореніе. Протесты прорывались рѣдко—и оканчивались наказаніями на тѣлѣ; насильственные поступки совершались еще рѣже—и оканчивались отдачею въ солдаты, ссылкой въ Сибирь, каторгой и т. п. Благородные люди не входили другъ съ другомъ въ соглашеніе, и тѣмъ не менѣе гармонія была полная. Не было ни сѣздовъ, ни обмѣна мыслей, ни возбужденія и разрѣшенія вопросовъ, а всякій понималъ свое дѣло столь отлично, какъ будто сейчасъ со сѣзда пріѣхалъ. Каждый дѣйствовалъ за себя лично, но эти личныя дѣйствія сливались въ одномъ согласномъ хорѣ, въ которомъ ни единого диссонанса не было слышно. Удивительное это было

время, волшебное, и называлось оно *порядкомъ вещей*. Ничто въ родѣ громаднаго сосуда, въ которомъ безразлично были намышаны и лакомства, и свиное сало, и купоросное масло. Ничего разобрать было нельзя, но именно потому эта смѣсь и была такъ устойчива.

Неудивительно, что волшебныя эти времена оставили въ избранныхъ душахъ благодарныя воспоминанія. Еще менѣе удивительно, что въ средѣ этихъ избранниковъ прорывается стремленіе возстановить эти времена и возвратиться къ тому спокойному и величаво-благородному жизненному теченію, которое составляло ихъ существенное обаяніе. Кому не мило благородство? Кому не дорога тишина? Помните! да не изъ-за этого ли мы всё и бьемся?

Къ сожалѣнію, избранныки обыкновенно упоминають при этомъ о какомъ-то дворянскомъ принципѣ. Тогда, дескать, дворянскій принципъ господствовалъ—оттого и было всё такъ хорошо. Возстановимте опять этотъ принципъ—и опять будетъ всё такъ хорошо.

Но это не такъ. Во времена, о которыхъ идетъ рѣчь, никакихъ принциповъ не было—вотъ отчего было всё такъ хорошо. Это-то именно и называлось *порядкомъ вещей*. Существовала, какъ я уже сказалъ выше, смѣсь до того непроницаемая, что ни расчленивъ составныя ея элементы, ни анализировать ихъ было невозможно. Или нѣчто въ родѣ запертой пагоды, безъ окоя и дверей, въ которой хранились никому неизвѣстныя и недоступныя письма.

Повторяю: желаніе возвратитъ утерянный рай заслуживаетъ полнаго сочувствія, ибо нельзя себѣ представить ничего болѣе блаженнаго, нежели райское житіе. Но для того, чтобы достигнуть этой цѣли, прежде всего необходимо воздержаться отъ нѣкоторыхъ проявленій пылливости, которыя сами по себѣ составляютъ новшество, несомнѣстимое съ *порядкомъ вещей*. Мы ищемъ освободиться отъ новшествъ, замутившихъ нашу жизнь, и въ то же время сами прибѣгаемъ къ наиболее пагубному изъ этихъ новшествъ: къ пылливости—развѣ это логично?

Не надо пытаться проникнуть въ запертую пагodu, ибо проникновеніе предполагаетъ отпертую или даже—чего Боже сохрани!—взломанную дверь. Разъ что дверь отперта, или—чего Боже сохрани!—взломана, кто можетъ поручиться, что въ нее не войдутъ такіе «сторонніе люди», которые сразу разгадають смыслъ хранившихся въ пагодѣ писемъ и переведутъ ихъ на языкъ, но имѣющій ничего

загадочного? Равнымъ образомъ не слѣдуетъ заводить разговора и о принципахъ, потому что принципъ никогда не является въ одиночку, а всегда въ сопровожденіи цѣлой свиты. Мы будемъ хлопотать о возрожденіи и укрѣпленіи принципа дворянскаго, а рядомъ съ нимъ возникнетъ принципъ анти-дворянскій, о которомъ тоже будутъ хлопотать. А за этимъ принципомъ появятся и другіе принципы, о которыхъ тоже будутъ хлопотать. И выйдетъ въ результатѣ нѣчто совсѣмъ неожиданное, а именно: преслѣдуя идеалы тишины и благоустройства, мы вмѣсто нихъ получимъ борьбу, свару, междоусобіе...

Итакъ, «впередъ безъ страха и сомнѣнія!» Но осторожно. Ни пыливости, ни принциповъ. И, главное, чтобы безъ шума; чтобы никто ни о чемъ никому ни гу-гу. Чтобы какъ яичко въ Христовъ день: на, кундай! Великія предпріятія, какъ и великія мысли, въ тишинѣ эрѣютъ. Пререкалія же, а тѣмъ паче остревѣвшая полемика, пашквиль, пронизанная озлобленіемъ и ненавистью, только поублаютъ ихъ.

Но будетъ ли успѣхъ? — на это я вполне достовѣрнаго отвѣта дать не могу. Я могу только горѣть восторгомъ и признательностью, но отъ компетентности, въ смыслѣ разгадыванія загадокъ, уклоняюсь.

Одно меня смущаетъ: какъ поступить съ тѣми новыми явленіями и требованіями, которыя народились уже послѣ упраздненія «порядка вещей» и въ рамкахъ послѣдняго, судя по всѣмъ видимостямъ, втиснуты быть не могутъ?

Что дѣлать съ новыми судами, съ земскими учрежденіями, съ желѣзными дорогами, банками и т. п.?

Впрочемъ, съ судами уладиться еще легко. Судебный персоналъ размѣтить, причислить и отчислить. Адвокатовъ — расписать. А земство такъ даже очень радо будетъ. Опять свой перенъ, свой арбузъ, своя бууженина, свои повара, свои садовники, кучера, доважаліе... умирать не надо!

Но желѣзныя дороги? но банки? какъ съ ними поступить?

Совсѣмъ не слѣдовало бы желѣзныя дороги строить, да и банки не надо бы дозволить. Вотъ тогда былъ бы настоящий палладіумъ. Но такъ какъ дороги уже выстроены, а банки учреждены, то ничего съ этимъ не подѣлаешь.

Сколько суетолоки изъ-за однихъ желѣзныхъ дорогъ на Руси развелось! сколько кукуевскихъ катастрофъ! Сибирять, бѣгутъ, давятъ другъ друга, кричатъ караулъ, изрыгаютъ

ругательства... поѣхали! И вдругъ... паровозъ на дыбы! Навстрѣчу другой... прямо въ лобъ! Батюшки! да никакъ смерти!

Или банки: объявляешя нечагають, заманиваютъ, балансы подводятъ — къ намъ пожалуйте, къ намъ! Со всѣхъ концовъ рубли такъ и плывутъ! рубли потные, захватанные, вымученные! Поля несутъ свои сбереженія... попы! И вдругъ... трахъ!! Украси и убѣжали! деньги-то гдѣ же, деньги-то? Украси и убѣжали! Господи! да никакъ смерти!

Стоило ли дороги строить? стоило ли банки заводить?

А между тѣмъ какой запасъ распорядительности, ума и мышечной силы нужно имѣть, чтобы все это направить, за всѣмъ усмотрѣть? И все-таки ничего не направить и ни за чѣмъ не усмотрѣть... Сколько мѣки нужно принять, чтобы только по вагонамъ-то всѣхъ разсадить, а потомъ кого слѣдуетъ, за невѣжество, изъ вагоновъ высадить — да въ участокъ, да къ мировому!

Но этого мало. Во всѣхъ странахъ желѣзныя дороги для передвиженія служатъ, а у насъ, сверхъ того, и для воровства. Во всѣхъ странахъ банки для оплодотворенія основываются, а у насъ, сверхъ того, и для воровства.

Однако воровать вѣдь не дозволяется — это хоть у кого угодно спросите. Стало-быть, и за этимъ надобно присмотрѣть. Запустилъ еврей Мошка лапу — надобно его изловить и въ полицію съ полицнымъ представить. Загралъ Губошленовъ мозгами — надо эти вредные мозги изъ него вынуть и тоже куда слѣдуетъ представить.

Могъ ли «порядокъ вещей» удовлетворить этимъ требованіямъ? Увы! какъ это ни прискорбно для моего сердца, но я, не обинуясь, отвѣчаю: не могъ!

«Порядокъ вещей» исходилъ изъ тишины и безпрекословія. Всякая суетолока, всякое движеніе были противны самой природѣ его. Я думаю, что онъ даже «публику» не былъ бы въ состояніи чередомъ по вагонамъ разсадить. Всякій изъ этой «публики» чего-то своего ищетъ, всякій резоны представляетъ; а «порядокъ вещей» ни исконно, ни резоновъ не допускалъ. Что же касается до воровства, то объ немъ и говорить нечего. «Порядокъ вещей» вѣдалъ воровъ простыхъ, смиренныхъ и безпрекословныхъ, а попробуйте-ка изловить Мошку и Губошленова! Первый скажетъ: «я не воровалъ, а только лапу запустилъ»; второй: «я не воровалъ, а мозгами игралъ!» А неподальчку и адвокаты стоять, кассационныя рѣшенія подъ мышкой держать. — По-

пытайтесь доказать имъ, что «играть мозгами» — это-то и есть оно самое: «воровать»...

И не скажу, конечно, чтобы все это могъ предотвратить и «беспорядокъ вещей», но и «порядокъ»... Нѣтъ, для того, чтобы желѣзныя дороги были желѣзными дорогами, а банки — банками, что-то совсѣмъ особое нужно. А что именно — ей-Богу, не знаю.

На-дняхъ случилось мнѣ объ этомъ предметѣ бесѣдовать съ однимъ опытнымъ инженеромъ.

— Какъ вы думаете, Филаретъ Михайлычъ, — спросилъ я его: — отчего у васъ, въ особенности по вашей части, такое нещадное воровство пошло?

— Голубчики! да какъ же не воровать? — отвѣчалъ онъ: — во-первыхъ, плохо лежить; во-вторыхъ, всякому сладенно пожить хочется, а въ-третьихъ — вообще...

— Однако-жъ прежде о такихъ нечестныхъ воровствахъ не слыхать было?

— Прежде, мой другъ, вообще было тише. Дѣла были маленькія — и воровства маленькія. А нынче дѣла большія — и воровства пошлы большія. *Small crime.*

— Воля ваша, а это безобразно!

— Нельзя иначе: сама жизнь пошла въ ширь. Прежде и на три рубля можно было себѣ удовольствие доставить; а нынче, ежели у кого нѣтъ еію минуту въ кармапѣ пятьсотъ, тысячь рублей, того всѣ кокетки несчастливцемъ почитаютъ. Жиды, мой другъ, въ гору пошли, а около нихъ ужъ и наши привередничаютъ. А сверхъ того и монетная единица. Ассигнація вѣдь, мой другъ, у насъ — ну, а что такое ассигнація?

— Ну, что вы! вѣдь это тоже своего рода мѣнковой знакъ!

— Много ихъ ужъ очень. Такъ много, такъ много, что пригорняками ихъ во всѣ стороны швыряютъ, а все имъ конца-краю нѣтъ. Какъ ассигнацію-то «онъ» зажалъ въ руку, ему и кажется, что никакого тутъ воровства нѣтъ, а просто «ничьи деньги» проявились.

— Но вѣдь нужно же когда-нибудь положить предѣлы этой большой фантазіи!

— А какъ вамъ сказать? Въ старину, бывало, мы этого предѣла отъ смягченія нравовъ ждали. Молодо было, зелено. Думалось, что когда вообще нравственный уровень повысится, тогда и воровство само собой уничтожится.

— Ну-съ?

— Ну, и ждали. Годы ждали — нѣтъ смягченія нравовъ! Стали еще годы ждать — опять нѣтъ смягченія нравовъ!.. Да такъ нынче по-сейчасъ ждутъ.

— Но почему же его нѣтъ, этого смягченія нравовъ?

— Да формъ, должно-быть, такихъ еще не пародилось, при помощи которыхъ смягченіе нравовъ совершиться можетъ — только и всего.

— Допустимъ. Но развѣ, независимо отъ формъ, нельзя какія-нибудь мѣры придумать?

— Придумать, конечно, можно. Кары, на примѣръ, и притомъ самыя суровыя. Только вотъ насчетъ дѣйствія, которое эти мѣры возымѣть могутъ — сомнительно...

— Помилуйте! да вѣдь это гнусность, это наконецъ предательство! Вѣдь они Россію, отечество свое, эти негодяи, продаютъ! Не крадутъ они, а кровь сосутъ, жилы тянутъ! Висѣльницы мало за это!

— Висѣлица — это дѣйствительно средство радикальное. Но вопросъ, когда «его» вѣшать: *до* или *после*? Ежели, на примѣръ, инженера мостъ строить послать и предварительно повѣситъ — некому будетъ мостъ строить. Ежели дозволить ему *сперва* мостъ построить, а *потомъ* повѣситъ — какой же ему будетъ расчетъ стараться? Ахъ, голубчики! коли начать вѣшать, такъ вѣдь до Москвы, пожалуй, не пере-вѣшаешь!

— Ну, а вы сами, Филаретъ Михайлычъ... повинны? — полюбопытствовалъ я.

— Я? никогда! Копейкой казенной я не попользовался! Я вотъ какъ: копейку истратилъ — сейчасъ ее на бумажку записалъ, а къ вечеру ужъ отчетъ отдаю: смотри! Сохрани меня Богъ!

— Однако-жъ и вы... нечего сказать, чистенько живете! И обстановочка, и домикъ, и имѣньице, и все такое... А вѣдь у васъ, помнится, какъ на первую-то канавку вы вышли...

— Знаю: одни штаны были... — отвѣтилъ онъ скромно: — но мнѣ Богъ послалъ! Выроешь, бывало, канавку, воротиться домой, а жена говоритъ: «другъ мой! намъ Богъ пять тысячь послалъ!» Или мостокъ выстроишь, а жена опять навстрѣчу бѣжитъ: «другъ мой! намъ Богъ десять тысячь послалъ!» Помаленьку да потихоньку — глядишь, и обставился...

Но обратимся къ прерванному разсказу.

Первое мѣсто въ уѣздной чиновной іерархіи и прежде занимали, и теперь занимаютъ предводители дворянства. Но нынче завелась какіе-то «псазависимые», которые къ предводителямъ относятся довольно равнодушно, а въ прежнее время никакой независимости и въ заводѣ не было, такъ что предводитель дворянства въ своемъ уѣздѣ былъ поодиноку козырный тузъ. Онъ распоряжался земскою полиціей; онъ вліялъ на рѣшенія суда; онъ аттестовалъ уѣздныхъ чиновъ; онъ кормилъ губернатора во время ревизій. Черѣдко однако-жь между губернаторомъ и предводителемъ зарождалась «контра»; губернаторъ говорилъ: «я здѣсь хозяинъ», а предводитель говорилъ: «я самъ моего государя слуга!»—и расходились врагами. Тогда предводитель начиналъ мутить уѣздъ, и душевное равновѣсіе губернатора на время нарушалось. Въ подобныхъ случаяхъ на сцену обыкновенно выступалъ губернскаго предводитель, объявлялъ губернатору, что «такъ нельзя», что дворянство—«опора», и губернаторъ смирялся.

Какъ я уже объяснилъ выше, въ дореформенное время всего болѣе цѣнилась тишина. О такъ-называемомъ развитіи народныхъ силъ и народнаго гнія только въ литературѣ говорили, да и то шепоткомъ, а объ тишинѣ—вездѣ и вслухъ. Но тишина могла быть достигнута только подъ условіемъ духовнаго единенія властей. Такого единенія, при которомъ всѣ власти въ одну точку смотрятъ и ни о чемъ, кромѣ тишины, не думаютъ. Отвѣчали за эту тишину губернаторы; предводители же ни за что не отвѣчали, а только носили бѣлые штаны. И за всѣмъ тѣмъ, въ виду тишины, первые даже не вполне естественнымъ требованіямъ послѣднихъ вынуждены были уступать.

Тинъ дореформеннаго предводителя былъ довольно запутанный, и нельзя сказать, чтобъ русская литература выяснила его. Въ общемъ литература относилась къ нему не столько враждебно, сколько съ юмористической точки зрѣнія. Предводитель изображался неизбѣжно тучнымъ, съ ошарѣлымъ кадыкомъ и съ обширнымъ брюхомъ, въ которомъ безъ вѣсти пронадало всякое произведеніе природы, которое можно было ложкой или вилкой зацѣпнуть. Предполагалось, что предводитель непрерывно ѣсть, такъ что и на портретахъ онъ писался съ завязанною вокругъ шеи салфеткою, а не съ книжкой въ рукахъ. Равнымъ образомъ выдавалось за достовѣрное, что онъ не имѣетъ никакого

понятія о борьбѣ христіановъ съ карлистами, а изъ географіи знаетъ только имена тѣхъ городовъ, въ которыхъ что-нибудь закусывалось («а! Крестцы! это гдѣ мы поросенка холоднаго съ Семенъ-Иванычемъ ѣли! знаю!»). Что онъ упоренъ, глухъ къ убѣжденіямъ и вмѣстѣ простодушенъ. Что онъ не умѣетъ отличить правую руку отъ лѣвой, хотя крестное знаменіе творить правильно, правой рукой. Что онъ ругатель и на то, что изъ устъ выходитъ, не обращаетъ никакого вниманія. Что онъ способенъ проѣсть безчисленное количество наслѣдствъ, а кромѣ того жену и свояченицу. Что вообще это явленіе апокалиптическое, отъ вѣковъ уготавленное, неизбѣжное и неотвратимое. Въ родѣ стинетской тѣмы.

Вотъ въ какомъ видѣ дореформенный предводительскій тинъ возведенъ въ перлъ созданія даже такими несомнѣнно благосклоннымъ къ дворянству беллетристами, какъ Загоскинъ и Вегичевъ (авторъ «Семейства Холмскихъ»).

Несмотря однако-жь на всю талантливость и кажущуюся вѣрность подобныхъ художественныхъ воспроизведеній, я съ ними согласиться не могу. И я самъ немало виноватъ въ такого рода юмористическихъ изображеніяхъ, но теперь вполне сознаю свою ошибку. Были, конечно, «такіе» предводители, но не *все*. Audiatur et altera pars.

Я зналъ одного предводителя, который имѣлъ такія обаятельныя манеры и такой просвѣщенный умъ, что когда просилъ взаимнаго денегъ, то никто не въ силахъ былъ ему отказать. Такимъ образомъ онъ чуть не всей губерніи за-должалъ, и хотя не подавалъ ни малѣйшей надежды на уплату, но обаянія своего до конца не утратилъ.

Однажды прѣѣзжаетъ онъ къ извѣстному во всей губерніи сирягъ-помѣщику, къ которому онъ и самъ дотогѣ обращаться считалъ безполезнымъ. Скупецъ—какъ увидѣлъ изъ окошка предводительскій экипажъ, такъ сейчасъ же попятъ. Хотѣлъ зарѣзаться, но бритвы не нашелъ. Побѣждалъ приказать, чтобъ не принимали гостя,—а онъ ужъ въ залѣ стоитъ! Сѣли, начали говорить. Пята-шести фразъ другъ другу не сказали—и вдругъ:

— Денегъ, Иванъ Петровичъ! до зарѣзу денегъ нужно!

— Какія, вашество, у меня деньги!—заметался Иванъ Петровичъ.—ла хлѣбъ да на квасъ...

А онъ ему вмѣсто отвѣта—процентъ!

Процентъ да процентъ—такъ ошеломилъ сирягу, что онъ

сначала закуску велѣлъ подать, а немного погодя и въ шкатулку полъѣтъ.

Словомъ сказать, отъ кремня, который нищему никогда корки не подавалъ, цѣлый кусъ увезъ!

Но этого мало. Совершивъ этотъ подвигъ и понабравъ еще кой-гдѣ изрядную сумму денегъ, обаятельный предводитель... вдругъ исчезъ!

Туда-сюда. Сначала прошелъ слухъ, что его въ Баденъ-Баденъ за рулеткой видѣли, потомъ будто бы въ Парижъ, въ Ниццѣ, въ Монте-Карло... И наконецъ что-жъ оказалось?—что онъ послѣднія денежки спустилъ и гдѣ-то во Франціи, на границѣ Швейцаріи, гарсономъ въ ресторанъ поступилъ.

Разумѣется, русскіе путешественники валомъ-появились къ нему.

— Мемнонъ Захарычъ! ты?

— Онъ самый; садитесь-ка поближе, вотъ за этотъ столъ. Я вамъ такого чудъ-о-кресонъ подамъ, что вѣкъ будете Мемнонку поминать!

И точно: подастъ на славу и скажетъ:

— Если всего не одолѣете, такъ не плюйте въ тарелку, а мнѣ отдайте. Я крылышко съѣмъ.

Скажите по совѣсти: ну, какъ «своему брату» лишняго франка на водку не дать!

И давали ему, такъ что онъ во время «сезона» по 30—40 франковъ въ день получалъ. Но онъ былъ благодень, и деньги у него не держались.

И я его прощлямъ лѣтомъ видѣлъ въ Уши. Стоитъ на пристани съ салфеткой въ рукахъ и парохода поджидаетъ.

— Мемнонъ Захарычъ! какими судьбами!—воскликнулъ я.

— Политическій... — пробормоталъ онъ, слегка смущившись.

Однако-жъ я на эту удочку не поддавался.

— Стыдитесь, сударь,—сказалъ я ему строго:—чтѣ за-гѣяли! Да, по моему мнѣнію, лучше тысячу разъ чужія деньги изъ кармана украсть, нежели одинъ разъ въ политическое недораумѣніе впасть!

Такъ онъ и отошелъ, не солоно хлебавши. Даль я ему на водку франкъ—и баста.

Но чтѣ всего примѣчательнѣе: всю ясность ума сохранилъ. Какъ только начнутъ его кредиторы въ Уши лопить—онъ на пароходѣ въ Евіанъ, на французскій берегъ перецлѣветъ и тамъ пурбуары получаетъ. Какъ только

кредиторы въ Евіанъ квартиру перенесутъ—онъ пимыгъ въ Уши и былъ таковъ!

А говорятъ еще, что предводители правую руку отъ лѣвой отличить не умѣли! Да дай Богъ всякому!

Одинъ предводитель былъ такъ уменъ, что самъ своему аппетиту предѣлъ полагать. Поставятъ, бывало, передъ нимъ окорокъ—онъ половину съѣстъ и скажетъ:

— Баста, Сашка! остальное до завтра!

И больше ужъ не ѣтъ!

Благодаря этому онъ дожидъ до преклонныхъ лѣтъ и умеръ своею смертью, а не напрасною.

И дѣтямъ своимъ завѣщалъ: «лучше продолжительное время каждый день по полъ-окорока съѣдать, нежели за-разъ цѣлый окорокъ истребить и за это поплатиться жизнью».

Одинъ предводитель твердостью души отличался. Когда объявили эмансипацію, онъ у всѣхъ спрашивалъ:

— А какъ же наши права?

Насилу его убѣдили.

Одинъ предводитель видѣлъ во снѣ, что онъ на сосну влѣзъ, и что покуда онъ лѣзъ, у подошвы сосны цѣлое стадо волковъ собралось. Словомъ сказать, влѣзъ—влѣзъ, а съѣсть не смѣеть.

Проснувшись на утро, онъ хотѣлъ отгадать, чтѣ означаетъ этотъ сонъ, но не отгадалъ.

Посторонніе же, видя его усилія, говорили: «вотъ онъ хоть и предводитель, а какая въ немъ пытливость ума!»

Не стану далѣе множить примѣры, потому что я пишу не статистику предводительскихъ добродѣтелей, а только дѣлаю небольшія изъ нея извлеченія, доказывающія, какъ я до сихъ поръ былъ легкомысленъ и несправедливъ. Что же касается до взятокъ, то въ этомъ отношеніи предводители пользовались воистинъ заслуженною репутаціей безкорыстія. Исключеніе составляли лишь тѣ, которыя во время ополченія допускали замѣну въ ратническомъ саногѣ подошвы картономъ, а равнымъ образомъ тѣ, кои довольствовались ратниковъ гнилыми сухарями.

Были и такіе, но не всѣ.

О дореформенныхъ узѣдныхъ судьяхъ могу сказать лишь

немногое, ибо это были наименѣ блестящіе чины того времени.

Въ уѣздные судьи большею частью выбирались небогатые и смиренные помѣшники изъ отставныхъ военныхъ. Или французъ подъ Бородинымъ изувѣчилъ, или турокъ часть тѣла повредилъ—милости просимъ! Лишь бы разсудокъ не подлежалъ освидѣтельствванію, да и это соблюдалось только потому, что уѣздный стражничій (ежели онъ кляузникъ) можетъ донести. Вообще на присутствія уѣздныхъ судовъ того времени даже серьезные люди смотрѣли въ родѣ какъ на богадѣльни, но канцеляріи судовъ называли «звѣришницами». О секретаряхъ говорили: «мерзавцы!», а о писцахъ: «разбойники съ большой дороги!» И боялись ихъ. Да, впрочемъ, и можно ли было не опасаться людей, которые получали подлинникъ въ мѣсяцъ жалованья?

Подлинникъ въ мѣсяцъ! вѣдь въ самомъ дѣлѣ тутъ было что-то волшебное...

Такой взглядъ на уѣздные судьи обуславливался главнымъ образомъ тѣмъ, что для большинства дѣлъ они представляли лишь первую инстанцію. Думали: ежели уѣздный судъ нанутааетъ, то уголовная или гражданская палаты опять нанутааютъ, но затѣмъ дѣло поступитъ въ сенатъ, гдѣ ужъ и воздадутъ шимъ сшдше. Стало-быть, намлевать. Но для чего при такихъ условіяхъ существовали судьи и палаты?—этимъ вопросомъ никто не задавался, или, лучше сказать, махали на это дѣло рукою и говорили: «Христосъ съ нами!»

Несмотря на глухоту и другія увѣчья, уѣздные судьи въ большинствѣ случаевъ были люди добрые и сострадательные, а среди звѣришней обстановки, которая ихъ окружала, они просто казались чистыми голубями. Взятокъ имъ почти совсѣмъ не давали—секретари по дорогѣ все перехватывали—да убогому человѣку, по правдѣ сказать, немного и нужно. Развѣ что-нибудь изъ живности или изъ бакален, да и то не перваго сорта. Поэтому къ судьямъ рѣдко и въ гости ходили, да и ихъ въ гости рѣдко приглашали, такъ какъ въ карты они играли по такой «маленькой», что и счетъ свести трудно было.

Я помню, одному судѣ кто-то изъ тяжущихся, по неопытности, возъ мерзлой рыбы прислалъ—такъ не только всѣ этому дивились, но и самъ онъ оробѣлъ. Выбралъ для себя пару подлецниковъ, «а остальное, говорить, должно-быть, секретарю слѣдуетъ». И представьте, секретарь, не-

смотря на то, что ужъ свой возъ получить, и этотъ возъ—не посоветился—взялъ.

Нѣкоторые судьи прямо говорили тяжущимся: «зачѣмъ вы на насъ тратитесь! вѣдь все равно наше рѣшеніе уважено не будетъ! такъ лучше ужъ вы поберегите себя для гражданской палаты!» И что же, вмѣсто того, чтобъ умидиться надъ такой чертой самоотверженности, вмѣсто того, чтобъ сказать: «ну, Богъ съ тобой! будь сътъ и ты!»—большинство тяжущихся буквально слѣдовало поданному совѣту и даже приготовленнымъ уже подаркамъ давало другое назначеніе.

Положеніе уѣздныхъ судей было поистинѣ трагическое. Читаетъ, бывало, секретарь проектъ рѣшенія, а судья не понимаетъ. Такіе проекты тогда писались, что и въ здравомъ умѣ человѣку понять невозможно, а ежели кто раненъ, такъ гдѣ ужъ! Вотъ судья слушаетъ, слушаетъ, да и перекрестится. Думаешь, что его зѣвній обошелъ.

— Подписывать-то, Семенъ Семенычъ, можно ли?—взмолится онъ къ секретарю.

— Съ Богомъ, Сергѣй Христофорычъ! подписывайте безъ сомнѣнія!

— Ну, будемъ подписывать. Господи благослови.

Возьметъ перо въ правую руку, а лѣвою локоть придерживаетъ, чтобы перо не разскакалось. Выведетъ: «Узнай судья Вислаухавъ», и скажетъ:—Слава Богу!

Но въ особенноти съ уголовными приговорами маялись, потому что тамъ не только подписывать, но и *прописывать* нужно было. И прописывать-то все плети, да все треххвостыя, съ малою долею розгачей.

— Деяносто, что ли, Семенъ Семенычъ?

— Деяносто, Сергѣй Христофорычъ.

— А поменьше нельзя? пятьдесятъ, напримѣръ?

— По мнѣ хоть награду дайте. Все равно, уголовная палата сполна пропишетъ.

— Ну-ну, что ужъ! Господи благослови!

Или:

— А этому, Семенъ Семенычъ, ничего?

— Ничего, Сергѣй Христофорычъ.

— Ну, слава Богу. Господи благослови!

Пропишетъ, что слѣдуетъ, придетъ домой и женѣ разскажетъ:

— Вотъ, Ксена, я въ нынѣшнес утро, въ общей сложности, восемьсотъ пятьдесятъ штукъ прописалъ!



— А что же такое!—отвѣтитъ Ксепа:—это вѣдь ты не отъ себя! сами виноваты, что начальства не слушаются. Начальство имъ добра хочетъ, а они—натко!

— Плетей вѣдь восемьсотъ-то пятьдесятъ, а не припи-  
ковъ. А плети-то нынче ременные, да объ трехъ хвостахъ.  
Вотъ какъ подумаешь: трижды восемьсотъ—двѣ тысячи  
четыреста, да трижды пятьдесятъ—полтора ста, такъ оно...

— Ну-ну, жалѣйчики! ступай-ко водку пить, а то щи  
на столѣ простынуты!

И шель добрый судья водку пить и щи хлебать, пока  
не простыли. А по праздникамъ, кромѣ того, въ церковь  
ходилъ и пирогомъ лакомился.

Въ большинствѣ случаевъ уѣздные судьи были люди  
семейные. Жены у нихъ были старыя-престарыя и тоже  
добрыя. Въ сущности, вѣдь и Ксепа огорчалась, что ея  
Сергѣй Христофорычъ «прописываетъ», но утѣшала себя  
тѣмъ, что это онъ не отъ себя. «Сами виноваты, началь-  
ства не слушаютъ, а Сергѣй Христофорычъ развѣ можетъ!»

Секретарей судейши терять не могли и всегда пред-  
сестерегали мужей:

— Вотъ помани мое слово, ежели онъ тебя не под-  
ведетъ!

— Ахъ, матушка!

Дѣтей у судей бывало много, но дома они не зажива-  
лись. Съ раннихъ лѣтъ ихъ разговывали на казенный  
счетъ по кадетскимъ корпусамъ и по сиротскимъ инсти-  
тутамъ, а по пришествіи въ возрастъ они уже сами о себѣ  
промышляли.

Дома оставалось лишь какое-нибудь безпомощное суще-  
ство: или глухонѣмая дѣвица, или сынъ-дурачокъ.

Вообще типъ дореформеннаго судьи былъ однимъ изъ  
наиболѣе симпатичныхъ того времени, а необыкновенно  
малое содержаніе (даже по сравненію съ необыкновенно  
малыми содержаніями чиновъ другихъ вѣдомствъ), которое  
получали уѣздные судьи, дѣлало ихъ положеніе въ высшей  
степени трогательнымъ. И за всеѣмъ тѣмъ они не роптали  
и не завидовали.

Можно ли возвратиться къ этому типу отправленія пра-  
восудія и вновь водворить его въ нашу жизнь?—полагаю,  
что ежели приняться за дѣло чистенько и безъ шума, то  
можно. Во всякомъ случаѣ попытаться недурно. Но будетъ  
ли отъ этого польза?—ей Богу, не знаю.

Относительно исправниковъ и вообще чиновъ земской  
полиціи можно сказать то же самое, что и о городничихъ.  
Тѣ же общія положенія и тѣ же «истинныя происшествія».  
Предметы ихъ дѣятельности были одинаковыя, а стало-  
быть, и поводы для «истинныхъ происшествій» тоже оди-  
наковыя; только районъ, въ предѣлахъ котораго распоря-  
жались исправники, былъ обширнѣе.

Нареканій на земскую полицію дореформеннаго времени  
существовало немного, но возникали они болѣею частью  
по поводу станovýchъ приставовъ. Послѣдніе были дѣйстви-  
тельно не весьма доброкачественны, хотя тоже не все.  
Расквартированные по захолустьямъ, преимущественно въ  
селеніяхъ экономическихъ крестьянъ, вдали отъ образо-  
ваннаго общества и хорошихъ примѣровъ, эти люди не-  
рѣдко утрачивали человѣческій образъ, а вмѣстѣ съ нимъ  
и вѣру въ Провидѣніе и въ загробную жизнь. Не имѣя  
въ виду воздаянія, не понимая, что не только дѣйствія,  
но и мысли человѣческія не могутъ оставаться сокрытыми,  
они страшились лишь одного: чтобы о противозаконныхъ  
ихъ дѣйствіяхъ не было доведено до свѣдѣнія губернскаго  
начальства. Но и въ этомъ отношеніи они ежили и не  
были исполнѣ обеспечены, то стояли весьма благопріятно.  
Будучи опредѣляемы непосредственно центральною губерн-  
скою властью и олицетворяя собой единственный ея органъ  
въ уѣздѣ, они обыкновенно имѣли «руку» въ губернскихъ  
правленіяхъ, и пользовались этой зашитой не для бла-  
гихъ похвальныхъ цѣлей, но для удовлетворенія необу-  
данности страстей. Нерѣдко случалось, что сами губерна-  
торы втайнѣ имъ сочувствовали и называли ихъ излю-  
бленными чадами, а судей, исправниковъ и городничихъ  
(послѣдніе опредѣлялись комитетомъ о раненыхъ)—пасы-  
нками. Казалось бы, столь лестное довѣріе начальства  
должно было обязывать, но—увъ!—оно давало пищу только  
гордости и самолюбію. Подъ вліяніемъ сихъ чувствъ, ста-  
новые пристава въ скорости становились вмѣстителями  
всевозможныхъ нравственныхъ изъяновъ. Правосудіе и  
трезвость были чужды ихъ душамъ. Съ утра наполнен-  
ные виновными парами, они перекочевывали съ мѣста на  
мѣсто, отъ одной границы уѣзда до другой, ни о чемъ не  
помышляя, кромѣ вымогательства. Исправники же, видя  
безобразія станovýchъ, хотя и понимали, какъ это нехо-  
рошо, но были безсильны искоренить зло.

Въ старину зло искоренялось опредѣленіями и увольне-

ниями, да, кажется, и до сих пор теми же способами искореняется. Уволить такого-то пьяницу, а на его место определить такого-то пьяницу — вот и весь секрет. А так как становые пристава определялись и увольнялись губернской властью, и притом нередко в лице власти, облеченной доверием дворянства, то понятно, какой источник недоразумений возникал от столкновения этих двух противоположных доверий. Но этого-то именно и не понимали становые пристава, то-есть не понимали, как это прискорбно и вредит делу. Большинство их положительно не стояло на высоте своей задачи. Вместо того, чтобы оправдывать доверие начальства, оно компрометировало его; вместо того, чтобы подавать управляемым примеръ воздержанія, трудолюбія и охоты къ просвѣщенію, оно наполняло окрестность легендами, содержанием для которых служила несобуданность страстей, непреоборимая праздность и невѣжественность. А губернаторы, взирая на них как на излюбленных и увлекаясь теоретическими построениями, думали, что коль скоро у центральной власти имеются въ уздѣхъ свои собственные органы, то все обстоит благополучно. То-есть благополучіе, чѣмъ тогда, когда вместо становыхъ приставовъ при земскихъ судахъ состояли дворянскіе засѣдатели.

Пилу я эти строки, а воспоминаія такъ и плывутъ мнѣ навстрѣчу. Смотришь, бывало, въ окошко — вотъ она, гать-то, на двѣ версты растянулась! — и вдругъ на этой самой гати показывается крестьянская телѣжка шарой, а въ телѣжкѣ чье-то тѣло въ растяжку лежитъ. Это *его* везутъ, куроцапа. Имя такое *ему* было, для всѣхъ вразумительное. Давно ли это было? давно ли «порядокъ вещей» съ такою ясностью объ себѣ заявлялъ? И неужели мы такъ-таки и не воротимся къ нему?

Грустно.

Таковы были дореформенные становые пристава. Но, какъ я уже сказалъ выше, *не все*.

Я зналъ одного станового пристава, который, мучимый расканиемъ, удалился въ дѣсь. Долгое время онъ пытался тамъ влаками, не имѣя пристанища и не зная иного прикрытія, кромѣ старенькаго вицмундира, украшеннаго прищипкою за тридцать пять лѣтъ. Но по времени онъ выстроилъ въ самой чащѣ хижину, въ которой предположилъ спасти свою душу. Скоро объ этомъ провѣдали окрестные раскольники и начали стекаться къ нему. Разнесся слухъ, что

въ дѣсу поселился «мужъ свѣтъ», что отъ него распространяется благоуханіе, и что надъ хижинкой его (которую уже называли «келіей») по почамъ видѣтъ свѣтъ. Мало-по-малу въ дѣсу образовался раскольникій скитъ, въ которомъ бывшій становой былъ много лѣтъ настоятелемъ подъ именемъ блаженно-мздоимца Арсенія. Затѣмъ обитатели скита образовали особенный раскольникій толкъ, подъ названіемъ «мздоимцевскаго», а себя стали называть «мздоимцами», въ отличіе отъ «перемазанцевъ» и «перекувырканцевъ». Но въ эпоху гоненія полиція узнала о существованіи скита и нагрянула. Арсенія заковали въ кандалы и заточили въ дальній монастырь, а «мздоимцевъ» расселили по разнымъ мѣстамъ. Тамъ они всяко размножились: и съ помощью пропаганды, и естественнымъ путемъ сожитія. Такъ что теперь куда ни обернешь — вездѣ «мздоимцы». То-есть послѣдователи лже-блаженно-мздоимца Арсенія.

Я зналъ другого станового пристава, который долгое время пилъ безъ просыпъ, но потомъ вдругъ пересталъ и до конца жизни пилъ только квасъ.

Впрочемъ, признаюсь откровенно: только эти два примѣра я и зналъ. Но несомнѣнно, что падутся люди, которые подобнаго рода «истинныхъ пророковъ» немало знаютъ. Распубликованіемъ таковыхъ они премного мнилъ одолжать.

Обращаюсь къ исправникамъ.

*Общее положеніе.* Исправники, какъ облеченные доверіемъ господъ-дворянъ, вообще вели себя благородно.

— Намъ не съ кого брать, — говорилъ мнѣ одинъ исправникъ: — у насъ въ уздѣхъ все помѣщичьи: какъ съ своего брага возьмешь! Вотъ ежели выйдетъ случай, да съ временнымъ отдѣленіемъ въ экономическомъ селѣ удержишься — ну, тамъ дѣйствительно...

Такъ что ежели-бъ не было экономическихъ крестьянъ, да раздарили бы ихъ всѣхъ въ воздаяніе, то исправники были бы совсѣмъ псевдини.

Въ исправники избирались лица мужскаго пола въ двѣтъ лѣтъ и силъ, отъ подпоручичьяго до майорскаго чина включительно. Изъ нихъ итабсь-ротмистры и ротмистры представляли самую желательную исправническую среднюю величину. Молодость и присутствіе физической силы говорили объ отвагѣ, отвага же служила ручательствомъ, что доверіе господъ-дворянъ будетъ оправдано. При такихъ исправникахъ злые трепетали, а добрые продавались мирнымъ залятіямъ.

Одиль исправникъ хвалился, что у него въ уѣздѣ совсѣмъ воровъ нѣтъ.

— У меня нѣтъ воровъ и не будетъ,—говорилъ онъ:— потому что воръ знаетъ, что не подѣ судѣ, а ко мнѣ въ руки попадетъ.

— Что же вы съ нимъ дѣлаете, Никонъ Гаврилычъ?

— Да ужъ...

Онъ не договаривалъ, а только простирая руки. И всѣ безъ словъ понимали.

Другой исправникъ, допрашивая воровъ, надѣвалъ на нихъ такъ-называемый «стулъ» (железный ошейникъ съ прикрѣпленной къ нему железною цѣпью, которая, въ свою очередь, прикрѣплялась къ тяжелому обрубу бревна), и когда ему замѣчали, что подобные допросы называются допросами съ пристрастіемъ и законами воспреицаются, то онъ отвѣчалъ:

— Такъ, по-вашему, по головѣмъ надобно гладить? «Ивалъ Ивановичъ! вы, мой другъ, лошадь у Палтея Егорова украли?»—Нѣтъ, не я-съ.—«Не вы-съ? ахъ, извините, пожалуйста, что васъ понапрасну задержали. Милости просимъ на всѣ четыре стороны воруйте, сколько вашей душѣ угодно!» Ну, нѣтъ-съ, слуга покорный! Пускай филантропы въ уѣздномъ судѣ съ нами валадаются, а я... не могу-съ! По-моему: попался и... говори! Говори, каналья... расшибу! Всю подноготную, курицынъ сый, говори! Иначе какой же я былъ бы исправникъ!

Первый изъ приведенныхъ исправниковъ былъ штабсъ-ротмистръ, второй—ротмистръ. Слѣдовательно—въ самомъ соку. До штабсъ-ротмистрскаго чина еще мышцы въ человѣкѣ не вполнѣ крѣпки, а съ маюрскаго чина онъ ужъ слабѣть начинаютъ. Впрочемъ, нерѣдко и между поручиками хорошіе исправники удавались.

Въ исправникѣ даже вліятельные помѣщики нужду имѣли, а потому онъ былъ въ помѣщичьихъ домахъ всегда желаннымъ гостемъ. Помѣщики цѣнили въ немъ ротмистрскія статьи; помѣщики видѣли охрану и въ то же время добраго товарища. Пріѣдетъ исправникъ—и у всѣхъ на душѣ весело, даже въ дѣвчечьей пѣсни бойче раздаются. Во-первыхъ, онъ всякія вѣсти привезетъ: и изъ уѣзда, и изъ губерніи, и даже изъ столицъ. Въ старину и мировыя происшествія туго до помѣщичьихъ гнѣздъ доходили, а исправники изъ первыхъ рукъ, отъ почтмейстеровъ узнавали, да и развозили по уѣзду. Что Людоинъ-Фидлинъ на пре-

столю прародительскій вступилъ—это они первые узнали, а потомъ ужъ и помню. Что преосвященный Никодимъ по епархіи отправляется—это тоже они первые оцѣвѣстили, а равнымъ образомъ и то, что губернатору, того гляди, къ празднику ленту дадутъ. И все по-ихнему такъ и сбилось. Во-вторыхъ, исправническій пріѣздъ разомъ всѣ накопившіяся недоразумѣнія прекращалъ. Даже мимо, бывало, исправникъ пройдетъ—и все какъ рукой сниметъ. Тутъ розгами вспрыснуть, тамъ плеху дать, въ третьемъ мѣстѣ пальцемъ пригрозить—смотришь, и тихо. До пріѣзда что-то гдѣ-то охало, вздыхало, стонало—и вдругъ исцѣленіе получило. Простыя тогда болѣзни были—оттого и лѣкарства простыя проишывались.

Помѣщики принимали исправниковъ охотнѣе, нежели даже предводителей. Предводитель *честь дѣлалъ* своимъ пріѣздомъ, а исправникъ запросто, за панибрата пріѣзжалъ. Принять предводителя было начѣтисто: онъ и самъ вдвое противъ обыкновеннаго дворянина съѣсть, а еще больше того зря на тарелкѣ оставить; исправникъ же все чистешко подберетъ и тарелку точно сейчасъ вымытую съѣсть. Но въ особенности тяжело было разговоръ съ предводителемъ поддерживать: сидитъ, словно фаршированный, и зубами скрипитъ. И вдругъ слово скажетъ... ахъ, какое слово! Такъ и тутъ, бывало, исправникъ выручить. Объяснить, поправить—и опять всѣмъ весело!

Словомъ сказать, лихіе ребята были.

Взяты (за дѣла) исправники брали лишь въ крайнемъ случаѣ: ежели съ деньгами совсѣмъ матъ. Вообще же они довольствовались «положеніемъ». Было «положеніе» отъ откупщика, отъ земской гоньбы, отъ содержателей перепозовъ, отъ конторъ богатыхъ отсутствующихъ помѣщиковъ. Многіе изъ осѣдлыхъ помѣщиковъ посылали исправникамъ въ презентъ произведенія собственныхъ хозяйствъ.

И все шло тихо, исправно, благополучно. Точно въ рай. Но справились ли бы дореформенные исправники съ обстоятельствами пинѣшняго времени?—спроситъ меня читатель. На это я уже далъ отвѣтъ выше: врядъ ли бы справились; хотя попробовать можно.

Но вѣдь и пинѣшніе исправники... развѣ они справляются? нѣтъ, не справляются.

Такъ о чемъ же тутъ споръ?

Въ заключеніе мнѣ остается только упомянуть о почтмейстерахъ и урядныхъ стряпчихъ. Постараюсь быть краткимъ.

Почтмейстеры были напыи и любовзпательны. Географію знали недостаточнѣ и потому перѣдко засылали почту вмѣсто Вятки въ Кяхту—и наоборотъ. Но такое тогда волшебное время было, что даже отъ подобныхъ засылокъ никто чувствительнаго ущерба не ощущалъ. Вотъ что значитъ «порядокъ вещей».

Что касается до урядныхъ стряпчихъ, то они представляли собой въ древности то же самое начало, какое нынче представляютъ прокуроры и ихъ товарищи. Это одно ужъ служить для нихъ отъиной рекомендаціей.

### Вечеръ третій.

#### ВЪ ТРАКТИРѢ «ГРАЧИ».

##### Комната первая.

Въ седьмомъ часу вечера въ трактирѣ «Грачи» собрались три статскихіе совѣтника. Первый, Емельянъ Ивановичъ Пугачевъ, служилъ въ департаментѣ пересмотровъ и преусилній; второй, Порфирій Семеновъ Вожденскій—въ департаментѣ преюновъ, и наконецъ третій, Антошъ Юсевичъ Жюстмильбъ (сынъ учителя французской грамматики, принявшаго русское подданство)—въ департаментѣ огороковъ. Всѣ трое были начальники отдѣловъ, имѣли соответствующіе знанія отличія и пользовались, каждый по своему ведомству, довѣріемъ начальства.

Ежедневно они собирались въ «Грачахъ» въ тотъ часъ, когда обыкновенно кончались въ департаментахъ занятія. Бѣли рублевой обѣдъ и пріятельски бесѣдовали. Они были друзья, хотя въ характерахъ, въ образѣ мыслей и даже въ предметахъ ихъ служебныхъ занятій существовало довольно рѣзкое несходство. Пугачевъ былъ сангвиникъ, постоянно волновавшійся и вмѣстѣ съ своимъ департаментомъ всѣхъ звавшій впередъ. Даже въ трактирѣ онъ безстрашно восклицалъ: «свѣту! свѣту больше! вотъ въ чемъ наше спасеніе!»—и не разъ имѣлъ вслѣдствіе этого непріятныя объясненія, изъ которыхъ, впрочемъ, легко выпутывался благодаря заступничеству непосредственнаго начальства. Вожденскій былъ флегматикъ и консерваторъ, который на всякое преусилваніе смотрѣлъ, какъ на «опасную игру», и

вмѣсто всякихъ «пересмотровъ» предлагалъ одобренныя въ-ковнымъ опытомъ «ежовыя рукавицы». «Право, съ насъ и этого предовольно!»—высказывалъ онъ громко и развивалъ свою программу такъ резонно, что даже буфетчикъ за стойкой умилелся. Что касается до Жюстмильбъ, то онъ не былъ ни сангвиникъ, ни флегматикъ, не требовалъ ни свѣта, ни ежовыхъ рукавицъ, а вмѣстѣ съ своимъ департаментомъ надѣялся, что со временемъ все разъяснится. А когда все разъясняется, тогда и у начальства руки будутъ развязаны.

Но при собесѣдованіяхъ эти разногласія легко улаживались. Есть почва, на которой сходятся всѣ статскіе совѣтники вообще и на которой не было резона не сходятся и наименѣе статскимъ совѣтникамъ. Это—почва взаимнаго признанія. Пугачевъ, будучи ярымъ цоборникомъ преусилній, признавалъ однако-жъ, что и преюновъ, въ общей экономіи благоустройства, представляютъ небезполезный противовѣсъ; Вожденскій, съ своей стороны, дѣлалъ такую же уступку относительно преусилній («конечно, нельзя безъ того, чтобы иногда не прикинуть, но...»), а Жюстмильбъ слушалъ ихъ и радовался. Вслѣдствіе этого, какъ ни различествовали ихъ мнѣнія по существу, но по-ловымъ казалось, что всѣ они говорили одно и то же.

Сейчасъ Пугачевъ восклицаетъ:

— А я про что-жъ говорю! Я именно это самое всегда и утверждалъ.

И пойдетъ, и пойдетъ. Дальше да шире—конца краю нѣтъ. А черезъ пять минутъ, смотришь, уже восклицаетъ Вожденскій:

— А я про что-жъ говорю! Я именно это самое всегда и утверждалъ.

А Жюстмильбъ это на-руку, ибо онъ и подавно это самое всегда утверждалъ. И буфетнику, и лоловымъ—всѣмъ на-руку.

Словомъ сказать, люди были скромные и незлобивые, которые въ стѣнахъ своихъ департаментовъ какъ львы исполняли возложенныя на нихъ обязанности.

Долгое время проводили они въ сихъ невинныхъ занятіяхъ, взаимно другъ друга признавая и дополняя, и едва ли даже подозрѣвали, что разногласія ихъ когда-нибудь могутъ перейти въ распрю. Благоволеніе царствовало тогда въ воздухѣ; оно же переполняло и бюрократическія сердца. И такъ какъ преусилнія провозглашались во имя преюновъ,

а препоны во имя преуспѣлнѣй, то трудно было даже разоб-  
брать, гдѣ кончаются одні и начинаются другія...

Но въ послѣднее время нѣчто произошло. Какъ будто бы  
выяснилось, что преуспѣлнѣе есть преуспѣлнѣе, а препона  
есть препона. Что ни рядомъ идти, ни другъ друга попола-  
нять или поправлять они ни подъ какимъ видомъ не мо-  
гутъ, а могутъ только взаимно другъ друга уничтожать.  
Просіаніе это отразилось и въ сферѣ служебныхъ отноше-  
ній. Директоръ департамента преуспѣлнѣй, Рудинъ, и ди-  
ректоръ департамента препоны, Репетиловъ, вступили въ  
единоборство. Директоръ департамента оговорки, Мямлинъ,  
попробовалъ было предложить свое посредничество для  
умиротворенія борцовъ, но, убѣдившись, что благія его на-  
мѣренія могутъ быть истолкованы въ смыслѣ укрыватель-  
ства, замолчалъ. Или, лучше сказать—болѣе не смелъ замол-  
чать, а началъ умильно взглядывать на Репетилова. Само  
собою разумѣется, что при этомъ единоборствѣ, въ качествѣ  
обязательныхъ свидѣтелей, присутствовали Пугачевъ и  
Вожделенскій. Оба скрѣпляли (а въ большинствѣ случаевъ и  
сочиняли) самыя колючія бумаги, при чемъ Пугачевъ напря-  
галъ послѣднія усилія, входилъ въ лиризмъ, но не чу-  
ждался и ироніи, а Вожделенскій холодно и резонно подси-  
живалъ. Что же касается до Жюстмильѣ, то онъ выслуши-  
валъ каждого по очереди и каждого же по очереди удо-  
стоверялъ: «помилюйте! да я самъ всегда это утверждалъ!»

Разумѣется, эта канцелярская экзема высилала преим-  
ущественно на бумагѣ. Однако-жь и на офдѣленныхъ собесѣ-  
дованіяхъ она не могла не отразиться. Пріятели попреж-  
нему сходились и дружески диспутировали, но въ эти дис-  
путы уже закралась какая-то сложная и загадочная нота,  
въ составъ которой, съ одной стороны, входила горечь  
обманутыхъ надеждъ и ожиданіе грядущей бѣды, въ формѣ  
отставки или упрядненія, а съ другой—предвусиеніе ка-  
кого-то великаго торжества. И Пугачевъ и Вожделенскій  
пожали, что до сихъ поръ они держались на теоретиче-  
скихъ высотахъ, а теперь совсѣмъ неожиданно встрѣтились  
лицомъ къ лицу съ нѣкоторою загадочною практикой. Одинъ  
Жюстмильѣ плохо смекалъ и все убѣждалъ: «ахъ, господа!  
да объяснитесь же наконецъ!»

— Да вѣдь мы это такъ... съ точки зрѣнія... — разувѣ-  
рялъ его Пугачевъ.

— А то какъ же! разумѣется, съ точки зрѣнія! — под-  
тверждалъ и Вожделенскій.

Пріятель-расходился пріятелями, а на слѣдующій день,  
съ первой же ложкой щей, опять начинала звучать зага-  
дочная нота.

Однимъ словомъ, настала минута, когда въ головѣ у Пу-  
гачева привзглядѣ на Вожделенскаго сама собой сложи-  
лась мысль: «отъ руки этого человѣка мнѣ суждено при-  
нять смерть!» И, къ удивленію, та же мысль, хотя и въ  
менѣе отчетливой формѣ, начинала по временамъ заро-  
ждаться и въ головѣ Жюстмильѣ. Ибо и онъ уже догады-  
вался, что требованія растутъ и растутъ, а время бѣжитъ  
все быстрѣе и быстрѣе, такъ что, пожалуй, не успеешь и  
оглянуться, какъ вдругъ изъ всѣхъ удлиненныхъ мѣстъ  
раздастся вопль: «Оговорки!» Что такое «оговорки»?—это  
та же крамола, только одобренная двуязычьемъ и потому  
въ сто разъ болѣе опасная!

И Вожделенскій, очевидно, понималъ душевную смуту,  
обуревавшую этихъ людей, потому что глаза его смотрѣли  
какъ-то особенно ясно, словно говорили: точно такъ-съ.

Трактиръ «Грачи» гудѣлъ какъ улей. Сентябрь былъ  
еще въ срединѣ, но ненастный, студѣный, темный. Въ за-  
веденіи уже горѣли огни, когда наши статскіе совѣтники,  
голодные и замученные, ворвались въ буфетную и подошли  
къ стойкѣ. Пугачевъ былъ блѣденъ и положительно изну-  
ренъ. Онъ первно проглотилъ рюмку полынной, и когда  
буфетчикъ, вмѣсто селедки, подалъ ему закусить минюгу,  
то онъ оттолкнулъ блюдо рукой и нетерпѣливо замѣтилъ:

— Нора бы, кажется, помнть... не первый годъ!

Напротивъ, Вожделенскій, не торопясь, принялъ рюмку,  
посмотрѣлъ ее на свѣтъ, выпилъ и сказалъ:

— Послѣ трудовъ и водочки выпить не грѣхъ! Много  
пить—нехорошо, а рюмку-другую можно!

Что же касается до Жюстмильѣ, то хоть онъ вообще не  
чувствовалъ потребности въ передобѣденной рюмкѣ, но  
ради товарищей полрюмочки выпивалъ. Выпилъ и те-  
перь.

— Погода-то нынче! точно съ цѣпи сорвалась! — мол-  
вилъ Пугачевъ, прожевывая селедку.

— И погода и люди—все нынче съ цѣпи сорвалось! —  
сентенціозно отозвался Вожделенскій.

— Ужъ именно все! — подтвердилъ Пугачевъ: — и люди,  
и погода, и дѣла... А я что же говорю?

— И я это самое... И дѣла... да, и дѣла! — повторялъ

Вожделенский, особенно выразительно нажимая на словъ: «дѣла»...

— И прекрасно! стало-быть, и недоразумѣній никакихъ нѣтъ!—порадовался Жюстмильё.

Но Пугачевъ, по видимому, не обманывалъ себя насчетъ значенія сказанной Вожделенскимъ фразы. Потоптавшись съ минуту, онъ сказалъ:

— Будемъ, что ли, обѣдать?

Но спросилъ такимъ тономъ, какъ будто ждалъ, что вотъ-вотъ Вожделенскій скажетъ: «нѣтъ, я одного человѣчка поджидаю»—и затѣмъ уйдетъ въ другую комнату и съобѣдаетъ втихомолку одинъ.

Однако Вожделенскій не сдѣлалъ этого, а, напротивъ, съ обычнымъ дружелюбиемъ отвѣтилъ:

— За этиагъ пришли, такъ, разумѣется, надо обѣдать.

Лѣнныя щи прѣтели вычерпали быстро и молчаливо. Проглотивши послѣднюю ложку, Пугачевъ откинулся на спинку кресла и сказалъ:

— А департаментъ-то нашъ, кажется... ау!

— Что такъ?—откликнулся Вожделенскій какъ бы удивленно, но съ загадочной проницательностью.

— Да такъ... видимости нѣкоторыя проявляются... Будто ужъ вы и не знаете?

— Не знаю,—отрѣкся Вожделенскій.—О преобразованіяхъ, не скрою, слышалъ, а чтобы совѣтъ узаконить—объ этомъ не знаю.

— Ну, да, преобразованія... У насъ вѣдь всегда етъ преобразованія начинаются... Сначала тебя преобразуютъ, а потомъ и узаконяютъ.

— Не узаконяютъ-ся, а остепеняютъ, въ надлежащія рамки поставяютъ—это такъ! Это—бываетъ! Да вѣдь оно и не можетъ иначе быть.

— Совершенно справедливо,—согласился Жюстмильё.

— Въ чемъ же остепененіе-то будетъ состоятъ?

— А въ томъ и будетъ состоятъ, что служить такъ служить, а либеральничать такъ либеральничать. Только и всего.

Никогда еще Вожделенскій не говорилъ такъ опредѣлительно. Очевидно, онъ чувствовалъ подъ ногами вполнѣ твердую почву. Пугачевъ угрюмо сдвинулъ брови и потупился. Жюстмильё тоже какъ будто оторопѣлъ и смущенно уставился глазами въ зеленую массу протертаго цваселя, изъ которой торчали куски зачерствѣлой телятины (фрикандё).

«А, потому, можетъ-быть, и департаментъ оговорокъ остепеняетъ начнутъ!»—думалъ онъ, колегоньку вздрагивая.

— Нѣтъ же мы... худо служили?—спросилъ Пугачевъ послѣ минутнаго замѣшательства.

— Худо не худо, а не-бла-то-врс-мен-но!—отчеканилъ Вожделенскій и затѣмъ, повернувшись блонде съ фрикандё, осмотрѣлъ его со всѣхъ сторонъ, на мгновеніе поколебавшись, но наконецъ переспреснулся и запустилъ ложку въ гущу: съ Богомъ!

— Что такое «неблаговременно»? Это насчетъ проектовъ, что ли?—присталъ Пугачевъ.

— И насчетъ проектовъ и вообще. Общество волнуется.

— А я такъ думаю—совѣтъ напротивъ. Утѣшеніе подаемъ.

— Вы думаете такъ, а другіе думаютъ иначе. Вы говорите: утѣшеніе, а другіе говорятъ: вредъ.

— Въ чемъ же вредъ? Ежели обществу показываютъ перспективы, ежели ему даютъ понять, что потребности его имѣются въ виду... въ чемъ же тутъ, смѣю спросить, вредъ?

Пугачевъ былъ взволнованъ и возмущенъ голосъ; Вожделенскій, который вообще не любилъ «исторій», послѣдственно выманивалъ ножикомъ зеленую массу и молчалъ. Жюстмильё сидѣлъ какъ на иголкахъ, но на всякій случай посылалъ умилынные взоры въ сторону Вожделенскаго.

— Легко сказать: вредъ!—горячился Пугачевъ:—а что такое вредъ? Развѣ мы что-нибудь когда-нибудь предвзяли? развѣ мы что-нибудь когда-нибудь распространяли или поощряли? Въ чемъ заключалась наша задача?—она заключалась въ томъ, чтобы показывать обществу перспективы! Для чего нужны были перспективы?—для того, чтобы уберечь общество отъ химеръ и преувеличеній! Для того, чтобы его успокоить, обнадежить, утѣшить. Полагаю, что въ этомъ ничего неблаговременнаго нѣтъ!

— То-есть какъ вамъ сказать...—вставилъ свое слово Жюстмильё, но Пугачевъ не обратилъ на него никакого вниманія и даже сдѣлалъ рукою движеніе, словно досадную муху смахивая.

— Я думаю, что даже добрая политика такихъ указаній требуетъ,—продолжалъ онъ.—Необходимо, чтобы общество видѣло... чтобы оно, такъ сказать, въ надеждѣ было... Вы говорите: проекты. А позвольте спросить, какіе-такіе у насъ были проекты, которые бы, такъ сказать... ну, тамъ

волнение или движение, что ли... Слава Богу! тихо, смиренно, благородно!

— Ну, было-таки, Емельянъ Ивановичъ, было! что говорить!—понутили Вожделенскій, искрививъ ротъ въ улыбку.

Жюстмильё тоже искривилъ ротъ и даже одинъ глазъ прищурилъ. Очевидно, онъ силится что-то угадать. А может-быть, даже и угадалъ, что обычное его посредничество между спорящими сторонами едва ли на этотъ разъ будетъ благовременно.

— Что такое было?—гремѣлъ Пугачевъ:—это вы насчетъ *тѣхъ*, что ли? Такъ развѣ мы поощряли? развѣ мы покрывали? А что касается до перспективъ, такъ вѣдь и это въ тѣхъ же видахъ... Нельзя безъ перспективъ! пужно, чтобъ общество имѣло въ виду: вотъ, молъ, что для насъ... А тамъ какую перспективу въ ходъ пустить, а какую попридержать—это ужъ не мы! Наше дѣло—сообразить, изложить, представить, а потомъ...

— А потомъ ужъ «не мы»? — съехидничалъ Вожделенскій.

— Тамъ какъ хотите, смѣйтесь или не смѣйтесь, а я правильно говорю. Наше дѣло—машину завести: общество занять, нищу ему предоставить, а рѣшить, какая перспектива благовременна, а какая неблаговременна—это ужъ не отъ насъ зависитъ.

— А отъ кого же?

— Ну, тамъ...

— Мы, дескать, намутимъ, а вы—какъ знаете?.. Ахъ, господа, господа! Нѣтъ, это не такъ. По-моему, надо такъ: служить такъ служить, а мутить такъ мутить!

— Но вѣдь мы и служимъ. Развѣ мы противодѣствуемъ?

— Еще бы вы противодѣствовали! Не о противодѣствіи идетъ рѣчь, а о содѣствіи, сударь, о содѣствіи! Объ томъ, чтобъ у всѣхъ одинъ плачь, одна мысль, одна работа... вотъ объ чемъ!

— Но вѣдь и мы... развѣ вашъ департаментъ когда-нибудь примѣчалъ за нами? Напротивъ, мы всегда, можно сказать, всей душою... содѣствовали...

— Нашъ департаментъ «дѣломъ» занимается, а не фантазиями-съ. Поэтому вы ни содѣствія, ни противодѣствія оказывать ему не можете. И не требуется-съ... Такъ по крайней мѣрѣ я полагаю.

— Но мнѣ кажется, что, занимая общество перспективами, мы тѣмъ самымъ уже содѣствуемъ...

— Не полагаю-съ.

— Если я не ошибаюсь, то Емельянъ Ивановичъ хотѣлъ выразить...—вступился Жюстмильё.

— Я очень хорошо понимаю, что хотѣлъ выразить Емельянъ Ивановичъ,—сухо отрѣзалъ Вожделенскій:—но, къ сожалѣнію, доводы его не кажутся мнѣ убѣдительными...

И, откинувшись назадъ, онъ хлопнулъ Пугачева по коленкѣ и сказалъ:

— Старая система, батюшка, старая!

Водворилось минутное молчаніе, тѣмъ болѣе тягостное, что половой позамѣшался съ жаркимъ. Наконецъ принесли птицу, и у Пугачева вновь развязался языкъ.

— Не понимаю!—бормоталъ онъ:—департаментъ препонъ—самъ по себѣ, а нашъ департаментъ—самъ по себѣ... Сами вы всегда говорили... Департаментъ преуспѣвній указываетъ, а департаментъ препонъ сдерживаетъ и умѣряетъ... И наоборотъ.

— Старая система, батюшка, старая!—повторилъ Вожделенскій.

— Заладили одно: старая! Въ чемъ же новая-то ваша система состоитъ?

— А вотъ въ чемъ: служить такъ служить, а либеральничать такъ либеральничать.

Хотя Вожделенскій уже не впервые высказывался въ этомъ смыслѣ и въ этихъ самыхъ выраженіяхъ, но на этотъ разъ вышло какъ-то особенно ясно. Безъ перспективъ, а прямо къ дѣлу. Пугачевъ вдругъ почувствовалъ, что ему ужъ не очиститься. Да и Жюстмильё, съ своей стороны, страдальчески заметался.

«Навѣрное Вожделенскій завтра въ «Грачи» не придетъ,—блеснуло у него въ головѣ.—Да и вообще не видать его «Грачамъ» какъ ушей своихъ. Любопытно однако-жь, въ какой онъ трактиръ ходить будетъ?»

— Стало-быть, нельзя даже... А впрочемъ, что-жь! оно къ тому идетъ? — процѣдилъ сквозь зубы Пугачевъ и вздохнулъ.

— Да-съ, къ тому-съ.

— Одногъ я не понимаю: смели и пельзя, то все-таки почему же бы мы...

Пугачевъ залпулся, какъ бы вызывая Вожделенскаго на поощренье, но Вожделенскій ехидно молчалъ. Тогда онъ продолжалъ:

— Повторяю: совсѣмъ мы не въ томъ смыслѣ... не въ

вредномъ... Дать обществу пищу... отклонить его отъ вредныхъ увлеченій... кажется, это именно та самая задача, которую достигается... Если департаментъ препонъ самъ нѣтъ дѣломъ воздѣйствовать, то мы, съ своей стороны, косвенно...

— То-то что косвенно-то нѣтъ не полагается. Прямо.

— Что-жъ такое! прямо такъ прямо. Вѣдь это только такъ говорилось: «косвенно», а въ сущности оно и всегда было «прямо»...

— Ну-у? такъ ли, полно?

— А скелн и еще прямѣе нужно, такъ и прямѣе... — робко инсинувровалъ Пугачевъ.

— Ну, вотъ вы и объяснились, господа! — обрадовался Жюстмилье.

— Согласны и прямѣе-съ? — въ упоръ хихикалъ Вожделевскій, но такъ ядовито, что Пугачевъ во всемъ тѣлѣ почувствовалъ внезапную слабость.

— Гм!... станю-быть, намъ департаментъ — ау? — манинально произнесъ онъ упавшимъ голосомъ.

— Поговариваютъ-съ.

— Безъ преобразованій... прямо? — продолжалъ Пугачевъ, все больше и больше увядая.

— На-двое-съ. Одни говорятъ: реформу! другіе — прямо! Жюстмилье мучительно забрзала на стулѣ. Въ его сердцѣ окончательно поселилось предчувствіе. Нѣкоторое время однако-жъ онъ не рѣшался высказаться, но подъ конецъ его такъ прожгло, что онъ не выдержалъ.

— А объ насъ... не слыхать? — произнесъ онъ робко, какъ бы не довѣря собственнымъ словамъ.

— Въ частности — ничего, но вообще... — загадочно молвилъ Вожделевскій.

— Что же такое... вообще! Мы даже и не призывали... Къ обществу мы не обращались, перспективъ не показывали... — оправдывался Жюстмилье, въ пылу обурываго страха даже не догадывался, что онъ косвеннымъ образомъ и съ своей стороны формулируетъ обвиненіе противъ Пугачева.

— Слышали-съ? — ядовито обратился Вожделевскій къ Пугачеву: — вотъ и они понимаютъ... Они не «обращались», не «показывали»... А вашъ департаментъ...

И затѣмъ, отвѣчая Жюстмилье, прибавилъ:

— Я и не выдаю за вѣрное насчетъ вашего вѣдомства. Я говорю только, что вообще... Предрасположеніе такое

ничего въ сферахъ... Содѣйствіе требуется... прямо! А не то чтобы тамъ косвенно или, наприкладъ, ни туда, ни сюда...

Обѣдъ кончился. Пріятели выкурили по папиросѣ, и Вожделевскій почесалъ себѣ колѣнки, въ знакъ того, что пора и по-своему. Но Пугачевъ намеренно затягивалъ бесѣду: ему нужно было, во что бы то ни стало, дойти до конца...

— Нѣтъ, вы скажите... тамъ вѣдь шутить нельзя! — говорилъ онъ, волнуясь. — Мы тоже... конечно, обидѣтъ не долго! ну, что-жъ! въ заштатъ такъ въ заштатъ! Но за что? Развѣ насъ призывали? развѣ намъ приказывали? объяснили или намъ хоть разъ: вотъ это — такъ, а вотъ это — не такъ? Призовите! прикажите! Что-жъ! мы съ своей стороны...

— И мы съ своей стороны... — отозвался Жюстмилье.

— То-то что ни приывать, ни приказывать, ни объяснять не видится надобности. Шуму отъ этихъ призываньевъ да приказываньевъ много. Оказательство.

— Что-жъ такое: оказательство? — все больше и больше раздражался Пугачевъ. — Тутъ рѣчь объ участіи людей идетъ, а вы: оказательство!

— Не я, а власть имѣющіе.

— Нѣтъ, вы откройтесь. Вы объясните прямо: что за причина? ятѣ такое? почему? какъ?

— Чудакъ вы, Емельянъ Ивановичъ! — обращается ко мнѣ, точно я властенъ!

— Нѣтъ, вы можете! если вы не властны передѣлать, то можете предупредить, направить... Можете наконецъ зарекомендовать! А опять и еще: перереформирова предстоить или упраздненіе? Если только перереформирова, то можетъ-быть... Объяснитесь! А то натокъ напустили туману, да и на утѣкъ!

— Выбѣте отвѣта. Вожделевскій усиленно зачесалъ колѣнки и испустилъ звукъ, который ясно означалъ: надоѣлъ ты мнѣ, братецъ, хуже горькой рѣдины! И затѣмъ началъ потихоньку сниматься съ мѣста.

— Перереформирова или упраздненіе? — приставалъ Пугачевъ.

— Не знаю-съ, — сухо отвѣтилъ Вожделевскій, приближаясь къ выходу.

— Ну, и упраздняйте! — пустить ему велѣдъ Пугачевъ: — и упраздняйте! и упраздняйте! и упраздняйте!



Онъ обернулся, думая призвать Жюстмильё въ свидѣтели; но ловкій малый уже исчезъ, точно растаявъ въ воздухѣ.

На другой день, объ ту же пору, Жюстмильё прохаживался по Большой Морской, отъ угла Невского до штабной арки и обратно. Онъ явно кого-то поджидалъ и вглядывался въ сумерки. Дѣйствительно, черезъ четверть часа, со стороны Невского, показалась знакомая фигура статскаго совѣтника Вожделенскаго, и Жюстмильё мгновенно нырнулъ въ подъездъ Малоярославскаго трактира. Минуту спустя онъ, какъ ни въ чемъ не бывало, уже стоялъ у стойки и тыкалъ вилокъ въ блюдо съ килькой. Еще минута — и къ той же стойкѣ подошелъ Вожделенскій.

— Какими судьбами? — воскликнулъ послѣдній, завидѣвъ вчерашняго собесѣдника.

Жюстмильё всѣмъ своимъ женоподобнымъ, потертымъ лицомъ осклабился.

— Да тамъ-съ... — пролепеталъ онъ: — признаюсь, послѣ вчерашняго разговора... совсѣмъ мнѣ «Грачи» опротивѣли!

— Но почему же именно сюда?

— Предчувствіе-съ... — застѣнчиво намекнулъ Жюстмильё и снова осклабился.

— Благодарю! — отвѣтилъ Вожделенскій, протягивая руку: — милости просимъ! будемъ, по-старому, вдвоемъ капиталь разводить!

И затѣмъ, вспомнивъ о Пугачевѣ, любезно продолжалъ:

— А революціонеръ-то нашъ! поди, дожидается теперь! Перспективы, извольте видѣть, показывается! Общество заниматься хочеть! Теперь вотъ и спохватился, да поздно... Близо къ локотъ, да не укусишь... ахъ, братъ! Что-жь, рублевый, что ли, спросимъ?

— Сегодня ужъ мнѣ позвольте! — зашѣмнилъ Жюстмильё: — въ знакъ будущаго... И вообще... Человѣкъ! два полуторарублевыхъ! — крикнулъ онъ половому и, пошептавшись съ нимъ, прибавилъ вслухъ: — да чтобы заморозить... непрремѣнно!

— Никакъ вы кутить собрались! — ласково укорилъ Вожделенскій: — что-жь! отъ времени до времени это не безъ пользы. Постоянно пить пехорошо, но при случаѣ распить бутылочку-другую — это даже кровь долируетъ!

Черезъ четверть часа пріятели сидѣли за столомъ и оживленно бесѣдовали. Впрочемъ, говорили исключительно о днѣ

Вожделенскій, а Жюстмильё ласково смотрѣлъ ему въ глаза и распускалъ ротъ. Отъ времени до времени упоминалось о Пугачевѣ въ сопровожденіи нарицательнаго: «революціонеръ». Допускались предположенія: что-то «революціонеръ» теперь дѣласть? ждетъ, поди, а можетъ-быть, и ждать пересталъ, шпѣсть?

— Предупреждалъ я его, — ораторствовалъ Вожделенскій, владея въ учительный тонъ. — Эй, говорю, Емельянъ Ивановичъ! не слишкомъ ли, сударь, притко! Не послушался — вотъ на мое и вышел!

— А жалко почтенѣйшаго Емельяна Ивановича! хоть и по своей отчасти вины, а все-таки жалко! — лицемѣрилъ Жюстмильё, подливая въ стаканы шампанское.

— Это дѣлаетъ честь вашему доброму сердцу, сударь! — снисходительно подхватилъ Вожделенскій. — И я самъ иногда... по человѣчеству! Всѣ мы люди, всѣ человѣки... Такъ-то.

Жюстмильё весь, всѣмъ существомъ, такъ и расцвѣлъ отъ похвалы.

— Нельзя не жалѣть, — продолжалъ Вожделенскій: — человекъ еще въ порѣ, могъ бы пользу приносить... Кабы къ рукамъ, такъ даже прямо можно сказать: золотой человекъ!.. И вдругъ!

— И вдругъ! — какъ эхо повторилъ Жюстмильё.

Его самого мutilo. Хотя Вожделенскій вчера и не выказался опредѣленно насчетъ департамента оговорокъ, но все-таки кое-что залустилъ. Очевидно, что-то готовится. Но что именно, что? Переформировка или... Нѣкоторое время Жюстмильё робѣлъ и воздерживался отъ вопросовъ, но къ концу обѣда языкъ его самъ собой обнаружилъ душевную язву.

— Ну, а насчетъ нашего департамента... слышно? — пролепеталъ онъ, освѣщаясь замскивающей улыбкой.

— Поговариваютъ-съ, — кратко отрубалъ Вожделенскій. Жюстмильё мгновенно завялъ.

#### Комната вторая.

Павелъ Никитичъ Павланскій только-что возвратился изъ заграничной пѣздки. Человѣкъ онъ былъ среднякъ лѣтъ (скорѣе даже молодой), безсемейный, не предъявлявшій къ жизни чрезмѣрныхъ требованій и не честолюбивый. Служилъ онъ въ департаментѣ раздачъ и дивидендовъ и довольствовался скромною должностью столоначальника, ко-

торию занималъ чуть не десять лѣтъ сряду. Департаментъ этотъ изстари былъ либеральный, и—что особенно было дорого—чиновники его еще въ то время ходили на службу въ пиджакахъ и курили, при отпращиваніи обязанностей, папирсы, когда въ другихъ департаментахъ не шли дальше цѣстныхъ брюкъ при вице-кафтаныхъ, а курить позволяли себѣ только въ форточку. Это само по себѣ уже составляло приманку, но сверхъ того содержаніе здѣсь было погуще, лежели въ другихъ вѣдомствахъ, да къ концу года и нѣтъ общей массы дивидендовъ на долю каждаго перепала малая толка. Благодаря этимъ восполненіемъ, у Павлинскаго всегда водилась вольная денюга, которою онъ и пользовался, чтобы ежегодно дѣлать кратковременныя экскурсіи за границу. Въ концѣ іюля онъ перекидывалъ черезъ плечо дорожную сумку и садился въ вагонъ (непремѣнно 1-го класса), а въ началѣ сентября тѣмъ же порядкомъ вновь водворился въ департаментъ. Чаше всего онъ дѣлалъ эти экскурсіи на собственный коштъ, но иногда выпрашивалъ какую-нибудь командировку и получалъ отъ казны прогонныя, подъемныя и порціонныя. Пошатается нѣсколько недѣль по Германіи, наблюдаетъ, какъ дѣлаютъ папирсыныя гильзы въ Вадснъ-Вадснѣ, Эмсѣ, Гомбургѣ, и подъ конецъ непремѣнно недѣли на двѣ закатится въ Парижъ.

Въ нынѣшнемъ году ему удалось получить командировку. Предлагалось ему посѣтить Швейцарію и на мѣстѣ изслѣдовать, изъ какихъ элементовъ составляетъ тамошняя дивидендная масса и въ какой пропорціи она распределяется между швейцарскими властями. Съ этою цѣлью онъ цѣлый мѣсяцъ выжиалъ на Женевскомъ озерѣ, посѣтилъ Лозанну, Вевъ, Кларанъ, Монтрѣ и проч. (въ Женеву однако-жь не рискнулъ); но, къ сожалѣнію, вездѣ встрѣтился съ серьезными затрудненіями. На всемъ протяженіи Женевского озера по вопросу о раздачахъ и дивидендахъ царствовало познѣйшее невѣжество, почти хаосъ, такъ что на первый разъ онъ долженъ былъ ограничить свои дѣйствія лишь необходимыми разъясненіями и пропагандой. Плоды этой пропаганды приходилось наблюдать въ будущемъ году, что, впрочемъ, не особенно его огорчало, потому что въ перспективѣ обрисовывалась новая командировка съ новыми «восполненіями» отъ казны. Затѣмъ, выполнивъ свой долгъ добросовѣстно, Павлинскій, по обыкновенію, направилъ путь въ Парижъ. Пообѣдавъ у Вефура, у Вуазена, у Бребана, Машы, по въ «Café Américain» только «такъ

посидѣлъ», потому что показалось дорого. Видѣлъ «Peau d'âne», «M-lle Nitouche», «La princesse de Canaries», побывалъ въ «Excelsior», въ «Café des Ambassadeurs» и зашелъ въ «Contributions indirectes»—посмотрѣть, какъ тамъ «наше дѣло стоитъ». Наконецъ въ одинъ дождливый и темный вечеръ сѣлъ въ вагонъ и прикатилъ въ Петербургъ. На утро—въ департаментъ; обѣдать—въ «Грачѣ». Для человѣка, еще полнаго воспоминаніемъ о «Contributions indirectes» и о Вефурѣ, это былъ переходъ очень рѣзкій; но Павлинскій былъ человѣкъ бодрый и разсудительный, который легко мирился съ суровою дѣйствительностью и безропотно покорялся начертанному на дверяхъ департамента девизу: «Грачамъ—время, а Вефуру—часъ». Онъ понималъ, что иначе дивиденды никогда не были бы поставлены на томъ неизбѣжномъ основаніи, которое позволяло имъ съ честью выдерживать натискъ всѣхъ остальныхъ вѣдомствъ и даже завистливые намеки на фельдмаршальскія содержанія.

Первый сезонный обѣдъ сотоварищей по дивидендамъ былъ чрезвычайно оживленъ. Собралось человѣкъ шесть собесѣдниковъ, и такъ какъ дивиденды были заранѣе уже вычислены и обозначены, то у всѣхъ на душѣ было свѣтло, бодро и радостно. На радостяхъ потребовали «генеральскую закуску» и, по секрету отъ возвратившагося члена общей дивидендной семьи, заказали яру бутылочекъ шипучаго. Затѣмъ, въ ожиданіи ѣды, закурили папирсы, и всѣ лица расцвѣтились такими счастливыми улыбками, что и половые, глядя на господъ, стали улыбаться.

За обѣдомъ рѣчь держалъ по преимуществу Павлинскій. Онъ, не стѣняясь, называлъ Швейцарію «страною свободы» и подробно перечислялъ благодѣянія, которыя свобода распространяетъ вокругъ себя. Пароходы, желѣзныя дороги, телеграфы, телефоны—все это въ «свободныхъ» странахъ служитъ для общаго блага, а въ «несвободныхъ»—для пороковъ. А эти гостиницы-дворцы, подобныхъ которымъ нѣтъ въ цѣломъ мірѣ?.. А возможность свободного обмѣна мыслей? А личная обезпеченность, которая каждому даетъ право смѣло смотрѣть въ глаза будущему? А несмѣтными толпы иностранцевъ, которые добрую половину года наводняютъ страну свободы и тратятъ тамъ свои деньги? А конституція!?!

— Я провелъ почти мѣсяцъ въ Кларанѣ,—разсказывалъ Павлинскій:—и ни разу даже не почувствовалъ про-

цесса жизни. Жить—вот и все. Жить—потому, что никто не прелятствует жить, жить—потому, что не только сама себя чувствовала хорошо, но видѣть, что и другіе чувствуют себя хорошо. Жить въ одиночку—это все равно, что вихомолку бѣть, думая только о наполненіи желудка. Жить вмѣстѣ со всѣми—это участвовать *всѣми* силами и способностями души въ наслажденіи общими жизненными благами! Ничего нельзя себѣ представить благороднѣе и чище того душевнаго равновѣсія, которое чувствуешь при видѣ довольства, царствующаго кругомъ!

И затѣвъ, спустившись съ высотъ паренин, онъ прибавилъ:

— Встаешь утромъ, откроешь окно—изумительно! Небо—синее; озеро—голубое; прямо—Dent du Midi; влѣво—безподобная долина Роны, которую со всѣхъ сторонъ стерегутъ сѣдые великаны... Воздухъ—упонительный! теллота—поразительная! Спустишься вниз—кофей готовъ!

— Dent du Midi? форму зуба, что ли, онъ имѣетъ?—полюбопытствовалъ одинъ изъ собесѣдниковъ, Мозговитинъ.

— Какъ вамъ сказать... это не зубъ, а скорѣе цѣлый рядъ неровныхъ зубовъ. Одинъ разъ при мнѣ дагистъ у новы такой коренной зубъ вырвать... Когда середку горы окутаетъ облако, а сверху солнце свѣтитъ, то кажется, словно фантастическій замокъ, съ башнями и бойницами, на облакахъ повисъ... Изумительно! Пальнешся кофею—съ хлѣбомъ, съ ароматнымъ масломъ, съ настоящими сливками—гулять! Небо синее, озеро голубое, кругомъ озера—всего озера сплошь!—каменная набережная... Идешь—и не чувствуешь, что идешь! Что-то есть такое, что возвышаетъ, уноситъ, располагаетъ... Зайдешь въ лавку, купишь винограду—и опять гулять! Въ часъ завтракъ—по звонку. Послѣ завтрака—экскурсія. Иногда цѣшкомъ, иногда—въ шарабанѣ, иногда—по озеру. Кто хочетъ купаться—купается, кто хочетъ ловить рыбу—ловить. Свобода—полная. Окрестности—безподобныя. Глюонъ, Вепэ, Уши, Шильонъ, Евіамъ... Нынѣшнимъ лѣтомъ около Шильона, въ Hôtel Byron, Викторъ Гюго жилъ... маститый старикъ! А въ шесть часовъ—обѣдъ, опять по звонку! Обѣдаешь—а въ душѣ музыка!

— Вотъ это—жизнь!—въ восторгѣ отозвался Мозговитинъ, тоже столоначальникъ, хотя и не столь прикосновенный къ дивидендамъ, однако...

— А мы тутъ цѣлое лѣто въ Озерцахъ на Поклонную

тору глазѣли да проектъ о превращеніи пятикопеечныхъ гербовыхъ марокъ въ сорокакпеечныя сочинили!—съ горечью воскликнулъ третій столоначальникъ, Ловягинъ, преимущественно участвовавшій въ раздачахъ, а не въ дивидендахъ.

— Вы и въ Шильонѣ были?—спросилъ четвертый столоначальникъ, Глухаревъ, служившій въ отдѣленіи «гдѣ раки зимуютъ».

— Еще бы! Шильонскій узникъ! Байронъ! Тамъ и теперь на одной изъ колоннъ его автографъ показываютъ. И столбъ, къ которому былъ прикованъ «добродѣтельный гражданинъ» Бонивартъ, и углубленіе, которое онъ сдѣлалъ на плитномъ полу, ходя взадъ и впередъ въ одномъ и томъ же направленіи. Представьте себѣ желѣзную цѣпь, которая не позволяла ему стоять отъ столба дальше нежели на два аршина... И такимъ образомъ цѣпляхъ восемь лѣтъ! Восемь лѣтъ!

— За что же это его такъ?—полюбопытствовалъ пятый собесѣдникъ, Новинскій, который былъ только помощникомъ столоначальника и не успѣлъ еще погрязнуть въ дивидендахъ.

— Любилъ свободу и былъ добродѣтельный гражданинъ—вотъ и все! Для Савойскаго дома, который тогда владѣлъ этою частью Швейцаріи, этого было вполне достаточно.

— Для Савойскаго?!—изумленно переспросилъ собесѣдникъ, въ воображеніи которыхъ съ понятіемъ о Савойскомъ домѣ соединялось представленіе о Викторѣ-Эммануилѣ, о Кавурѣ, о Гарибальди и даже о Мадзини.—А теперь-то! теперь-то Савойскій домъ!

— Да, госнода, были времена, когда и Савойскій домъ вѣлъ себя не безукоризненно!—продолжалъ Навлинскій.—Въ томъ же Шильонскомъ замкѣ показываютъ, напримѣръ, высѣченное въ каменной скалѣ ложе съ каменнымъ изголовьемъ, на которомъ осужденные проводили послѣднюю ночь. А иногда ихъ обмалывали: объявляли прощеніе и вели темнымъ коридоромъ изъ тюрьмы. Но въ концѣ коридора былъ вырытъ колодець; осужденный оступался въ него и падалъ на громадныя похи, которые рѣзали его на куски.

— Однако...

— А теперь вокругъ этихъ самыхъ стѣнъ играть жизнь, ликуетъ свобода! А именемъ Бонивара назвать лучшей озерный пароходъ... Какой урокъ!

— Все оттого, что прежде тьма была, а теперь—свѣтъ!—рѣшилъ Ловягинъ. — А вонъ въ Озеркахъ хоть замка Шильонскаго нѣтъ, а все кажется, словно ты во-кругъ столба на цѣпи ходишь!

— Свѣтъ—это главное!—подтвердилъ и Мозговитинъ:—только трудно ему пробиться сквозь тучи... оттого и долгонько бываетъ ждать... Ну, а по нашей части какъ у нихъ?—обратился онъ къ Павлинскому.

— По нашей части, признаться, больше нежелан слабо. Представьте себѣ, отъ меня перваго тамъ услышали слово дивидендъ! Приѣхалъ я въ Кларанъ, осмотрѣлся чуточку, отдохнулъ—и сейчасъ же въ Лозанну, къ тамошнему окружному надзирателю. Спрашиваю: въ какомъ положеніи у васъ дивидендное дѣло? И что же бы вы думали? Онъ даже не понялъ!

— Не понялъ?

— Не понимаетъ да и все тутъ. Я туда-сюда, толковалъ ему, толковалъ... Одинъ отвѣтъ: «не можетъ быть!» Однако, немного погоди, началъ задумываться.

— Пробрало?

— Кажется, что такъ. Принялъ ко мнѣ въ Кларанъ, молча пожалъ мнѣ руку и ушелъ.

— Увидите, что тамъ теперь реформы начнутся!

— То-есть... какъ вамъ сказать!.. навѣрное утверждать не берусь. Слишкомъ сильна тамъ консервативная партія. Она непременно будетъ тормозить. Во всякомъ случаѣ это вопросъ настолько существенный, что въ будущемъ году я непременно опять отправлюсь въ Лозанну, чтобъ лично убѣдиться, какое дѣйствіе произвели мои разъясненія.

— Дай Богъ! Дай Богъ! А въ Парижѣ... конечно, тоже бывали?

— Еще бы! Быть за границей и не заѣхать въ Парижъ? Но въ какомъ они нынче трико женщины въ ферилахъ выводятъ—ну, просто... Одного не понимаю: затѣмъ трико?

— А у насъ надѣлать па *nos* мѣшокъ, да такой, что гороху четверикъ туда всыпать можно, да еще кнсен цѣлный ворохъ накутаютъ... догадывайся!

— Да, господа, Парижъ—это столица міра! Встанешь утромъ—и сейчасъ чувствуешь... Возьмите одни журналы: «Intransigeant», «Justice», «Combat»... такъ и брызжетъ! Прочитаешь—куда идти? Завтракать?—къ Бребану! *Garçon! la carte du jour! Filet de boeuf sauce béarnaise... c'est ça!*

Мягко и нѣжно и въ то же время серьезно. Подбутышки вина, на десертъ персикъ, кисть винограда—нигдѣ въ цѣломъ мірѣ подобныхъ фруктовъ нѣтъ! Позавтракавши—на бульваръ. Ходишь, флаируешь, осматриваешь въ окнахъ выставки, и вдругъ... «Вы—русскій?»—Русскій-есть.—«Пріятно познакомиться. А это моя жена, ма фамъ, Прасковья Ивановна». Слово за слово: «Не хотите ли отобѣдать вмѣстѣ?»—Съ удовольствіемъ. «А до обѣда къ Тр-тони пойдемъ, соломинку пососемъ...» Смотришь, утро и прошло. Отобѣдаешь, а вечеромъ въ театрѣ!

— Съ Прасковьей Ивановной?

— Ну, да... Какой вы однако-жъ, Ловягинъ! всегда что-нибудь заподозритъ... циникъ!..

Подобные разговоры изъ года въ годъ повторялись въ одной и той же силѣ, почти въ однихъ и тѣхъ же выраженіяхъ. Несомнѣнно, что столоначальники, которые ихъ вели, были люди благонамѣренные, либеральные и просвѣщенные; но жизнь русскаго культурнаго человѣка такъ странно сложилась, что онъ тогда только чувствуетъ себя вполне компетентно, когда рѣчь заходитъ объ ѣдѣ, объ атурахъ и дивидендахъ. Правда, что въ послѣднее время трагичныя собесѣдованія обогатились еще однимъ элементомъ: похвалами неуклонности; но ни Павлинскій, ни его товарищи этого элемента еще не допускали. И, по моему мнѣнію, хорошо дѣлали, ибо, право, лучше о вефуровскихъ шатобрилахъ разговаривать, нежели о неуклонности.

Разговоры о неуклонности—самые поскудные изъ всѣхъ. Они раздражаютъ, волнуютъ, вызываютъ на мысль о потасовкѣ. Сидитъ остервенившійся клезвникъ, точитъ изо рта пѣду и сулитъ всякія нелегкія... Какое такое ты полное право имѣешь, пагальный ядрило, осквернять мозги постороннихъ лицъ своимъ бѣшенымъ бормотаніемъ? гдѣ почерпнулъ ты смѣлость оподаять землю, которая тебя носитъ, время, въ которое ты живешь, стѣны, среди которыхъ ты точишь свою спону? откуда пришла къ тебѣ увѣренность въ безнаказанности? изъ какой упрямленной цели ты выходишь? затѣмъ?

Несомнѣнно, что современные собесѣдованія о неуклонности служатъ естественнымъ развитіемъ тѣхъ разговоровъ о бараньемъ рогѣ и ежовыхъ рукавицахъ, которые, лѣтъ двадцать тому назадъ, оглашали дореформенную Россію. Но какая разница въ манерѣ, въ силѣ и въ самомъ со-

держанин! В то время как прежде разговоры представляли собой простую безмыслицу и, подобно молнии, прорывавшейся тучу, являлись мимолетным взрывом наэлектризованного темперамента, нынешние сквернословные диалоги представляются уже выражением какой-то угрюмой системы, обдуманной в тиши уединенного мѣста, и не потухают мгновенно, а длятся, длятся без конца...

Во всякомъ случаѣ я отнюдь не осуждаю Павлинскаго и его товарищей ни за ихъ разговорное безсиліе, ни за то, что ихъ либерализмъ перепутался съ дивидендами и вследствие этого принялъ своеобразныя, пѣскольکو неуклюжія формы. Какъ уже сказано выше, явленія эти зависѣли не столько отъ нихъ самихъ, сколько отъ общаго бесодержательнаго уровня русской культурной жизни.

Но я положительно хвалю ихъ за то, что они никому не угрожаютъ и не сулятъ посягнхъ. По моему мнѣнію, между гражданами одной и той же страны не можетъ быть допускано ни трактирнаго подсиживания, ни угрожающей полемикѣ вообще. Обыватели обязаны сидѣть въ трактирахъ смиренно, а если иногда имъ приходится слышать произносимыя поблзости несочувственныя рѣчи, то они не должны забывать, что виновный въ произнесеніи таковыхъ рѣчей отвѣтственъ за нихъ передъ компетентною властью, а отнюдь не передъ трактирными завсегдатаями. Конечно, бываютъ рѣчи, отъ коихъ топшпитъ, но лучше топшоту перенести, нежели входить въ рискованныя трактирныя пререканія. Именно такъ и поступали Павлинскій съ товарищи. Когда надворный совѣтникъ Скорпионовъ, обѣдая въ ихъ сосѣдствѣ, провозглашалъ, что либераловъ слѣдуетъ топить въ рѣкѣ, они не только не сворачивали ему за это skull, но дѣлали видъ, что скорпионовскія рѣчи вовсе до нихъ не относятся. Вообще они вели себя въ этомъ дѣлѣ съ тѣмъ тонкимъ тактомъ, который всякому прозорливому столончальнику свойственъ. То-естъ не отрицали неуклонности, но и не шли къ ней навстрѣчу. Когда же передъ ними ставили этотъ вопросъ рѣзко и въ упоръ, то отзывались, что неуклонность находится въ другомъ вѣдомствѣ и слѣдовательно оцѣивъ ихъ не подсижить. И такимъ образомъ находили отговорку, которая служила имъ очень приличнымъ прикрытіемъ.

Тѣмъ не менѣе времена настолько созрѣли, что вопросъ о неуклонности принялъ нарочито назойливыя формы. Весь воздухъ до такой степени насытился неуклонностью, что

люди смиренные тщетно мечутся, изыскивая способы оттолкнуться. Неуклонность слѣдуетъ за ними по пятамъ въ образѣ жестоковѣщхъ кляузниковъ, которые съ беззавѣтнымъ нахальствомъ пропикаютъ и въ публичныя мѣста и въ частныя квартиры. Способность мыслить становится тяжелымъ бременемъ, а попытка формулировать какую бы то ни было мысль—рискомъ, не обещающимъ ничего хорошаго...

Я знаю, меня обвинять въ преувеличеніи. Скажутъ: хотя кляузники и существуютъ, но, въ сущности, они составляютъ очень мизерное меньшинство... Прекрасно, пусть будетъ такъ. Но, во-первыхъ, таково свойство кляузъ, что она и въ одиночку легко поражаетъ разрозненныя и слабыя массы; а во-вторыхъ, вѣдь и трихина прокрадывается въ организмъ лишь небольшими партіями, а какія она расползаетъ массы, какъ только найдетъ для себя благоприятную среду!

Какъ бы то ни было, но мирное собесѣдованіе столончальниковъ было возмущено самымъ страшнымъ образомъ.

Разсказавъ подробности своего заграничнаго путешествія и отдавъ дань похвалы соцу *soubise*, подаваемому у Бребанъ къ котлетамъ изъ *présalé*, Павлинскій очень любезно обратился къ товарищамъ съ вопросомъ:

— Ну, а вы, горемычные, какъ тутъ лѣтомъ пропекались?

Невиннѣе и естественнѣе этого вопроса ничего не могло быть. Невиннѣе—потому что ничего виновнаго онъ въ себѣ не заключалъ; естественнѣе—потому что самые элементарные законы общежитія требовали, чтобы въ отвѣтъ на выраженное друзьями доброжелательство заплатить имъ такимъ же доброжелательствомъ. Что же касается до выраженія: «горемычные», то хотя въ немъ и слышится нѣкоторая тривіальность, но такъ какъ въ законахъ не выражается требованія, чтобы для разговоровъ въ трактирѣ «Грачи» употреблялся высокій слогъ, то и въ этомъ отношеніи Павлинскій былъ, какъ говорится, «въ порядкѣ».

Но не такъ думалъ объ этомъ надворный совѣтникъ Скорпионовъ, который, какъ только слышалъ вопросъ Павлинскаго, такъ тотчасъ же залаялъ. На этотъ разъ онъ обѣдалъ съ титулярнымъ совѣтникомъ Аникой Таралгуловымъ, который, подобно Скорпионову, не имѣлъ «постоянныхъ» занятій, а добывалъ себѣ пропитаніе «похвальными поступками». Тѣмъ не менѣе, не имѣя правильныхъ способовъ существованія, ни тогъ, ни другой не имѣли и

правильнаго обѣда, а довольствовались чѣмъ поназо, преимущественно папирал на водку. На сей разъ Тарантуловъ ѣлъ подовый пирогъ, а Скорпионовъ—московскую селянку. Ъли и въ промежуткахъ между глотками выпускали охранительные звуки.

— А по-моему, такъ именно тѣ, по справедливости, «горемычными» назваться могутъ, кои по заграницамъ да по Парижамъ «горе мыкають»,—обратился Скорпионовъ къ Тарантулову, какъ бы продолжая «самостоятельный» разговоръ.

— Что такъ! а я, напротивъ, слыхалъ, что тѣ нынче «интеллигентными» себя величаютъ!—отозвался Аника, и такъ ему смѣшно показалось, что онъ не выдержалъ и захохоталъ:—ха-ха!

— Удивляюсь!—продолжалъ самостоятельно резонировать Скорпионовъ:—не тому удивляюсь, что развратъ этотъ нынѣ всюду взявъ проникъ, а тому, что никто не вступится. Кажется, только бы слово одно! Одно бы только словечко: братцы! вотъ они!—и всѣхъ бы этихъ интеллигентовъ...

— Ау?!—хихикнулъ Тарантуловъ.

Хотя Павлинскій старался показать, что онъ не слышитъ скорпионовскихъ рѣчей, но невольное волпненіе выдало его. И волненіе это очень характерно выразилось въ томъ, что онъ манинально и какъ-то растерянно повторилъ свой вопросъ:

— А вы, горемычные, какъ лѣтомъ пронекались?

Голосъ его звучалъ неспокойно; губы слегка поблѣднѣли; пожимъ, которымъ онъ разрѣзывалъ птицу, дрожалъ. Къ сожалѣнію, и между товарищами произошло нѣкоторое замѣнительство, такъ что они не могли утверждать, что скорпионовскій лай не коснулся ихъ.

— Что же мы!—смалодушничалъ Ловягинъ:—своимъ дѣломъ занимались—только и всего!

— Сквернословили!—поленилъ Скорпионовъ.

— Ладненько да смирененько—и не видали, какъ лѣто прошло!—присовокушилъ Мозговитинъ.

— Я въ Озеркахъ жилъ, Федоръ Федорычъ—въ Лиговѣ, Василій Иванычъ—въ Стрѣльнѣ, Иванъ Павлычъ—въ Лѣсномъ. Располземся къ обѣду, какъ раки въ разные стороны, а утромъ опять въ департаментъ къ своимъ дѣламъ обратимся.

— Только погода все лѣто ужасная стояла! по цблымъ

неблямъ солнца не видали!—не остерегся высказаться Повинскій,

— Гдѣ ужъ солнце въ Стрѣльпахъ да въ Озеркахъ видѣты!—самостоятельно съехидничалъ Скорпионовъ.—Оно, вишь, въ Женеву да въ Парижъ спряталось! И какъ это мы съ вами, Аника Иванычъ, и солнце, и звѣзды, и мѣсяцъ—все видѣли? Солнце какъ солнце!

— Мы съ вами не интеллигенты, Василіскъ Тимоеичъ,—объяснилъ Тарантуловъ:—интеллигенты-то на солнце въ подозрную трубу смотрять, а мы по-простецки—голыми глазами!

— Развѣ что такъ... Только ужъ такъ я на этихъ интеллигентовъ сердиты! Кажется, взялъ бы да...

— Д-да-а!?—видимо растерялся Ловягинъ, однако перемогъ себя и продолжалъ:—но ежели погода была и не вполне благоприятна, зато... Удивительно, какъ нынче тихо было! замѣчательно тихое лѣто!

А Глухаревъ, съ своей стороны, прибавилъ:

— Никогда прежде такъ тихо не бывало! Такъ тихо, что ежели кто не чувствовалъ за собою вины, то смѣло могъ надѣяться, что его не потревожатъ.

— А развѣ когда-нибудь прежде бывало, господинъ Глухаревъ, чтобы невпниныхъ тревожили?—возразилъ Скорпионовъ, безцеремонно врываясь въ пріятельскую бесѣду.

Павлинскаго передернуло. Ему слѣдовало совѣмъ не обращать вниманія на запросъ, но онъ, повидному, все еще находясь подъ игомъ воспоминаній о Dent du Midi, не выдержалъ и процѣдилъ сквозь зубы:

— Ахъ, какъ неприятно!

— Неприятно-съ?—подхватилъ Скорпионовъ.—Позвольте однако-жъ спросить, господинъ Павлинскій, кому больше неприятно: вамъ или вашимъ слушателямъ? Ежели васъ даже скромное напоминаніе о долгѣ приводитъ въ раздраженіе, то что же должны испытывать тѣ, коихъ вы оскорбляете, такъ сказать, въ глубинѣ священнѣйшихъ чувствъ?

На этотъ разъ Павлинскій смолчалъ и нервно торопился доѣсть жареную птицу.

— Какіе дивиденды—и какая неблагодарность?—продолжалъ Скорпионовъ:—подумали вы, господинъ Павлинскій, кто вамъ эти дивиденды присвоитъ? и на какой предметъ? Фельдмаршальское содержаніе получаете—а какъ выражаетесь... ахъ-ахъ-ахъ! Да если-бъ я... если бы мы, напрімѣръ,

съ Аникою Иванычемъ... при такомъ авантажѣ... да мы бы...

Тарантуловъ, услышавъ это предположеніе, такъ быстро уловилъ его себѣ, что даже застоналъ:

— Охъ!

Столоначальники молча дождались обѣды, торопя глазами пологого, чтобы поскорѣе подавалъ перемѣну. Однако-жь Новинскій, какъ человѣкъ еще молодой и горяченькій, не вытерпѣлъ и хотъ несмѣло, но все-таки достаточно громко сказалъ:

— Вотъ ужъ дѣйствительно... трихина!

Но Скорпионовъ и этимъ не смутился.

— «Трихина»-съ?—такъ, кажется, вы, господинъ Новинскій, изволили выразиться?—очень любезно отпарировалъ онъ:—слыхали-съ! Это червячки такіе миниатюрненькіе... въ вечернѣ бывають?.. Но если бы даже и червячки-съ! если бы и червячокъ правду высказалъ, такъ, по-моему, и отъ червячка не стыдно ее выслушать... Правда—вездѣ правда, и никакіе дивиденды ее неправдой не сдѣлають. Нище, я слышалъ, въ Москвѣ нѣкоторый человѣкъ проявился: сидитъ въ укромномъ мѣстѣ и все только правду говоритъ! А прохожіе идутъ мимо и слушаютъ! На то она и правда, чтобы великій ее слушали! А ежели кто добровольно не согласенъ правду слушать, противъ того можно и мѣры принять... Такъ ли я, Аника Иванычъ, говорю?

— Пррравильно! — раскатился Тарантуловъ могучимъ мокротнымъ басомъ.

— Правду, доложу вамъ, даже полезно отъ времени до времени выслушивать,—продолжалъ резонировать Скорпионовъ:—потому человѣкъ не всегда самъ за собой услѣдить можетъ. Иной и благонамѣренный, а смотришь—онъ ослабъ. Ну, такъ ослабъ, что еще немножко — хотъ па дѣль его сажай, такъ въ ту же пору! И вдругъ, въ такіихъ-то стѣпенныхъ обстоятельствахъ, онъ правду слышитъ. Слышитъ разъ, слышитъ другой... Въ трактиръ придетъ — правда! на службу придетъ—правда! домой придетъ—правда! А что, дескать, ужъ и впрямь не спаланчился ли я? Подумаетъ—подумаетъ, да взвѣситъ, да сообразитъ... смотришь, онъ и остепенился! Вотъ она, правда-то, что значитъ! Такъ ли я, Аника Иванычъ, говорю?

— Пррравильно!

— А вы меня трихиной изволили обозвать! Я, вѣстъ жальючи, правду говорю, а вы...

— Счетъ!—раздраженно крикнулъ Павлинскій.

— Спѣшите-съ!—уязвилъ было Скорпионовъ; но въ эту минуту Новинскаго постигло вдохновеніе.

— Что такъ рано, Павелъ Никитичъ? — обратился онъ къ Павлинскому:—вѣдь этакъ отъ нихъ, отъ князюшковъ, и дваться некуда будетъ. А мы вотъ что сдѣлаемъ. Господинъ Скорпионовъ! кажется, графинчикъ-то у васъ сиротой стойтъ?.. Такъ не хотите ли... отъ насъ? а? Человѣкъ! другой графинчикъ господину Скорпионову! Вы, кажется, очищенную пьете, господа?

— Обыкновенно употребляемъ очищенное вино; но ежели случится двойная померанцевая...

— Прекрасно. Графинъ двойной померанцевой! И два подовыхъ пирога!

Маневръ удался какъ нельзя лучше. Тѣмъ не менѣе онъ совершился настолько внезапно, что даже Скорпионовъ почувствовалъ себя не совѣмъ ловко.

— Обыкновенно... мы безвозмездно,—пробормоталъ онъ:—но ежели гостепрійство, и притомъ съ раскаяніемъ...

— Именно такъ: съ раскаяніемъ... Кушайте, господа, не стѣняйтесь!

Наступила временная тишина. Тарантуловъ быстро рвалъ пирога зубами и озирался по сторонамъ, какъ бы кто у него не отнялъ; Скорпионовъ чавкалъ понемножку, прихлебывая небольшими глоточками изъ рюмки. Столоначальники вздохнули свободно и кидали благодарные взгляды въ сторону Новинскаго, но прежній дивидендно-либеральный разговоръ уже не визался.

— Хорошо, господа, на Женевскомъ озерѣ было! небо—синее, озеро—голубое, прямо Dent du Midi, слѣва—Dent du Jura...—начать-было Павлинскій, но вспомнилъ, что онъ однажды уже все это рассказалъ, и остановился.

Кляуза сдѣлала-таки свое дѣло: либерализмъ былъ подѣченъ въ самомъ корнѣ...

Съели пирожное, выпили остатки шампанскаго и стали сниматься съ мѣстъ. Столоначальники, впрочемъ, не торопились и показывали видъ, что ничего особеннаго не произошло, кромѣ небольшого, свойственнаго трактирамъ, недоразумѣнія, которое тутъ же и уладилось, къ общему удовольствію.

Но, когда они были уже въ буфетной, Скорпионовъ пропѣлъ имъ вдогонку:

— Дивидендники!

А Новинский, принимая на подъездъ поздравленія отъ товарищей, говорилъ:

— Что прикажете дѣлать! Только водкой и можно влязуть глотку залить! Согласитесь, что, за отсутствіемъ другихъ, это тоже въ своемъ родѣ... обезпеченіе!

#### Комната третья.

Крамольниковъ (публицистъ и либрмансёръ) чувствовалъ себя въ этотъ день въ особенности возбужденно.

Съ нѣкоторыхъ поръ онъ «рѣшительно ничего не понималъ». До самой послѣдней минуты онъ думалъ, что существуетъ какое-то отверстіе, въ которое можно заглянуть и изъ котораго отъ времени до времени можетъ пахнуть воздухомъ. Если не ворота, то подворотня. Щелка наконецъ. И вдругъ даже щели—и тѣ исчезли. Законопачены, замазаны, притерты—вѣтъ вамъ щелей! И что всего обиднѣе: онъ даже сослѣдить не догадался, какимъ образомъ все это произошло. Наканунѣ еще думалъ: завтра утромъ пойду и посмотрю въ щелку! Приходитъ—гладко! Даже мѣсто, гдѣ была щелка, не можетъ опознать. И къ кому онъ ни обращался съ вопросомъ: кто замазалъ и по какому поводу?—все смотрѣли на него съ недоумѣніемъ и даже съ робостью, какъ бы говоря: ишь вѣдь, говорѣтъ, про что вспомнилъ! И отвѣчали вслухъ: «Проходи-ка, братъ, мимо! ни объ какихъ мы щеляхъ не слыхивали! всегда была здѣсь стѣна какъ стѣна!»

Будучи отъ природы любознательнъ, Крамольниковъ, натурально, заволновался. Любознательность вообще свойственна людямъ, которые еще не успѣли сдѣлаться живыми трупами, а онъ не безъ основанія причислялъ себя къ категоріи такихъ людей. Да, онъ не трупъ, онъ еще дышитъ, и легкія его требуютъ прилива свѣжаго воздуха. Въ тайникахъ души онъ простиралъ свои виды довольно далеко и не прочь былъ потребовать даже *всего*. Но такъ какъ онъ зналъ, что *остального* ему не дадутъ, то вынужденъ былъ удовольствоваться щелочкой. Онъ сдѣлалъ эту уступку скрѣпя сердце, но, разъ примирившись съ минимумомъ своихъ притязаній къ жизни—уже не допускалъ изъ него никакихъ урѣзокъ. «Щелка такъ щелка,—провозглашалъ онъ рѣзко:—но зато она моя... всецѣло! Ни лѣни, ни полнѣни, ни четверть лѣни!» И жилъ въ надеждѣ, что щелка останется неприкосновенною (а можетъ быть, со временемъ ее и расковырять будетъ можно), и что

она сумѣетъ отстоять ее отъ чьихъ бы то ни было притязаній...

Какое же было его огорченіе, когда онъ воочію убѣдился, что щелка—пустое дѣло, и что никому даже не интересно знать, согласенъ ли онъ на урѣзки или не согласенъ. Пришли, замазали и ушли.

Цѣлое утро онъ пробѣгалъ отъ одного знакомаго къ другому, протестуя и жалуясь.

— Представьте себѣ щелки-то вѣдь ужъ нѣтъ!—сообщалъ онъ одному.

— Да объясните же наконецъ, что такое произошло?—спрашивалъ у другого.

— Вѣдь это ужъ не фактъ, а волшебство! Волшебство! волшебство! волшебство!—повторялъ третьему.

И, даже идя по улицѣ, не стѣсняясь присутствіемъ городскихъ, повторялъ:

— Какое неслыханное варварство!

Наконецъ, измученный, съ растрепанными перьями, приближалъ въ семь часовъ въ «Грани», гдѣ имѣлъ обыкновеніе насыщаться. Не обѣдать и даже не бѣтъ, а именно только насыщаться.

Тутъ онъ встрѣтилъ цѣлую компанію знакомцевъ, такихъ же либрмансёровъ, какъ и онъ самъ, и не успѣлъ порядкомъ сѣсть на стулъ, какъ уже затрепѣлъ:

— Представьте себѣ—щелка-то замазана!.. Утромъ пришелъ, думаю: посмотрю! и вдругъ съ одной стороны—стѣна и съ другой—стѣна! Гдѣ щелка?—нѣтъ щелки!

— А вы только теперь догадались?—молвилъ одинъ знакомецъ.

— Ея ни вчера, ни третьяго-дня ужъ не было... давно!—сообщилъ другой.

— У васъ, должно-быть, празднаго времени много! Ищете Богъ знаетъ чего, говорите объ томъ, что было да и бывшемъ поросло!—подтрунилъ третій.

Крамольниковъ усѣлся и началъ глотать пинчу. Мужчина онъ былъ вальяжный, нуждавшійся въ питаніи, но глоталъ зря, не сознавая ни вкуса, ни даже свойства подаваемой ѣды, такъ что если-бы ему подали сладкій пирожокъ, намазанный горчицей, то онъ и его бы проглотилъ. Наконецъ, въ серединѣ обѣда, уничтоживъ цѣлую массу чернаго хлѣба, онъ почувствовалъ себя сытымъ и опомнился. Отставилъ приборъ, оглядѣлся, какъ бы припоминая, какъ онъ сюда попалъ, увидѣлъ знакомыя лица, вспомнилъ и опять затрепѣлъ:



— Представьте мое удивление! Гляжу, нишу—и ничего не вижу! Смотрю — навстрѣчу Семень Ивановичъ идетъ. Къ нему: «Семень Ивановичъ! батюшка! какимъ манеромъ? съ чего?» И что-жъ бы вы думали?—потоптался Семень Ивановичъ—шмыгъ отъ меня на другую сторону улицы! Я—къ Яковъ-Петровичу: «Яковъ Петровичъ! батюшка!»—Этотъ ужъ совсѣмъ дуракъ дуракомъ. «Стыдитесь!»—говорить.

— Ха-ха!—раздалось за столомъ.

Но посреди общаго хохота выдѣлился серьезный голосъ, который произнесъ:

— А вы, Крамольниковъ, будьте поосторожнѣе. Помните, что вѣдь здѣсь трактиръ.

Голосъ этотъ принадлежалъ несомнѣнному либретисеру Тебенькову, который тоже не прочь былъ въ щелочку посмотреть. Но такъ какъ онъ былъ малый мудрый, то, разъ убѣдившись, что щелка исчезла, онъ сказалъ себѣ: «ежели она исчезла, то, стало-быть, ея нѣтъ», и благоразумно воздержался отъ всякихъ изслѣдованій по этому предмету.

— Что такое «поосторожнѣе»? и что-жъ изъ того, что здѣсь трактиръ?—разгорячился Крамольниковъ.

— А то, во-первыхъ, что самое открытiе, которое васъ такъ поразило, уже указывать на необходимость осмотрительности; а во-вторыхъ, то, что въ трактирѣ всякаго гаду довольно.

— Осторожность да осмотрительность—только и слышите отъ васъ, Тебеньковъ!—вознегодовалъ Крамольниковъ:—докуда же наконецъ?.. И какое кому дѣло до гадовъ?.. Не преувеличиваете ли вы?.. Общество совсѣмъ не такъ низко стоитъ, чтобы сгибаться подъ ферулой какихъ-то «гадовъ»! Напротивъ, при всякомъ удобномъ случаѣ, оно наглядно доказываетъ, въ какую сторону влекутъ его симпатiи. Спрашивается: при такомъ общественномъ настроенiи, что значить какихъ-нибудь два-три гада, которые, дѣйствительно, могутъ проскочить?

— А то и значить, что, несмотря на свою численную слабость, эти два-три гада имѣютъ достаточно силы, чтобы всѣхъ здѣсь присутствующихъ въ осадѣ держать.

Несмотря на то, что Крамольниковъ былъ весь погруженъ въ свои сѣтованiя, слова Тебенькова остепеншили его. Онъ невольно оглядѣлъ комнату, въ которой они обѣдали, и, къ удовольствiю, убѣдился, что въ ней никого, кромѣ своей компанii, нѣтъ. Правда, изъ сосѣднихъ заглади,

справа и слева, доносились густое гудѣнiе, но, по мнѣнiю его, это гудѣнiе даже обезпечивало тайну интимной бесѣды.

— Яко тать въ понци,—прибавилъ Тебеньковъ, какъ бы угадывая его мысль.

— А коли такъ,—разгорячился Крамольниковъ:—то давайте вести разговоры, которые низшимъ органамъ свойственны! Ну-ка, благословясь: мму-у!

— Крамольниковъ, вы велики!—обидѣлся Тебеньковъ.

— А ежели и это вамъ кажется черезчуръ радикальнымъ, то займемся чѣмъ-нибудь приблизительнымъ. Напримеръ: какъ называется эта птица, которая поставлена на столѣ?

— Судя по могущественному тѣлосложенiю, надо бы быть глухарю,—сказалъ онъ.

— А по-моему, такъ это преклонныхъ лѣтъ самокля, —отозвался другой.

Догадка за догадкой, пришли къ заключенiю, что это коршунъ, который предварительно съѣлъ и глухаря и самокля, и загѣмъ, въ качествѣ чего-то средняго, попалъ въ трактиръ «Грани». Порѣшивши на этомъ, начали ѣсть и вскорѣ такъ освоились, что кто-то даже выразился: «право, хоть бы и еще такую же птицу!» Наѣвшись, закурили папирсы, спросили пива и стали уже настоящимъ образомъ разговаривать.

— Однажды я въ Тверской губернии лѣтомъ гостилъ, такъ дунелей ѣлъ—вотъ это такъ птица!—сообщилъ одинъ.

— А по-моему тетеревь, ежели онъ еще цыпленокъ, даже лучше дунеля будетъ!—отозвался другой.

— Тетеревь-то и не цыпленокъ, а просто «нонѣшнiй»... ежели, напримеръ, въ сентябрѣ...—возразилъ третiй:—приготовить его въ кастрюлькѣ да дать легонько вздохнуть—высокая это ѣда, господа!

Наговорившись о птицахъ, перешли къ пиву. Одинъ хвалилъ калинкиское; другой предпочиталъ «Баварiю»; третiй вспомнилъ о пивѣ Дамельсона въ Москвѣ, щелкнулъ языкомъ и прибавилъ: «Вотъ это такъ пиво было... дореформенное!»

Словомъ сказать, такъ увлеклись, что никто бы и не подумалъ, что люди ведутъ разговоры, высшимъ органамъ несвойственные. Одинъ Крамольниковъ нервно пожималъ плечами, приговаривая: «кашуны! ай да кашуны!» Наконецъ онъ не выдержалъ, всталъ съ мѣста и зашагалъ по комнатамъ.

— Растолкуйте вы мнѣ, мудрецы!—началь онъ, обращаясь къ пріятельской компаніи:—почему то, чему присвоивается названіе «правды» по ту сторону Вержболова, называется неправдой и превратнымъ толкованіемъ по сю сторону? почему то, чтѣ признается не только безопаснымъ, но даже благотворнымъ по ту сторону, становится опаснымъ и вреднымъ по сю сторону? почему люди, считающіеся надежнѣйшею поддержкою порядка—*тамъ*, являются *здѣсь* подрывателями, чуть не разбойниками? почему наконецъ одинъ и тотъ же человекъ какой-то пустой рѣчонкой, составляющей границу, расщѣкается на-двое? Почему-съ?

— Потому, вѣроятно, что въ Вержболовѣ—таможня, —сноскойно рѣшилъ Тебенъковъ.

— Не понимаю! Можетъ-быть, вы, по обыкновенію, изволите шутить... и, можетъ-быть, даже очень остроумно... Но я—не понимаю! Вообще я шутокъ не понимаю. Не понимаю-съ! не понимаю-съ!—повторилъ онъ раздраженно... Время, въ которое мы живемъ, такъ серьезно и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ сурово, что двусмысленности кажутся мнѣ неумѣстными. Да-съ, неумѣстными-съ.

— Но я и не думалъ шутить. Я говорю, что въ Вержболовѣ существуетъ таможня, точно такъ же, какъ сказали бы, что существуютъ таможни въ Кельнѣ, въ Аврикурѣ, въ Шаньи, въ Понтарье и проч. Вѣдь и по сю сторону, напротивъ, Аврипура жизненные условія имѣютъ совершенно иной характеръ, нежели по ту сторону...

— Не «совершенно иной», а «до извѣстной степени иной»—это такъ. Разница тутъ только въ размѣрахъ, а не въ сущности. Понятія объ общественномъ благѣ и общественномъ вредѣ, объ основахъ, на которыхъ покоится общественный порядокъ, общая безопасность и личная безопасность,—и тамъ и тутъ одни и тѣ же. А ежель политическія формы въ одномъ мѣстѣ шире, а въ другомъ уже, то, право, это вопросъ второстепенной важности. Средній человекъ не гонится за политической номенклатурой, а дорожитъ только реальными благами; но, разумѣется, не одними матеріальными благами, а и духовными. А такъ какъ къ числу послѣднихъ принадлежитъ...

— Ахъ, да знаемъ мы, чтѣ къ числу послѣднихъ принадлежитъ,—рѣзко прервалъ его Тебенъковъ:—не только знаемъ, но даже можемъ и вамъ предложить небезполезный по этому поводу совѣтъ. Оставьте вы эту бесплодную игру

въ вопросы и отвѣты! а если не можете совсѣмъ оставить, то отложите ее до болѣе благоприятнаго времени!

— Вы сказали: «до болѣе благоприятнаго времени»? Стало-быть, вы признаете, что нынѣшнее время...

— Ничего я не признаю, ни не признаю. Просто-напросто не желаю.

— Чего же вы не желаете, господинъ Тебенъковъ? и почему такъ скромно? Не доказываетъ ли это...

— Ничего не доказываетъ. Мы приплы сюда обѣдать, а не политическіе вопросы обсуждать. Не желаю—и будетъ съ васъ.

— Странно!

Крамольниковъ горько улыбнулся, раскрылъ ротъ, чтобы еще что-то сказать, но воздержался и принялся шагать взадъ и впередъ по комнатѣ.

— Въ Москвѣ я однажды дѣвицу видѣлъ...—раздался чей-то голосъ среди общаго молчанія.

— Позвольте-съ!—сурово прервалъ Крамольниковъ:—объ московской дѣвицѣ вы послѣ рассказываете, а теперь рѣчь вотъ объ чемъ. Позвольте васъ спросить, господа мудрецы: отчего прежде былъ Стяжъ, а теперь—нѣтъ его?

Крамольниковъ скрестилъ на груди руки и неукоснительно требовалъ отвѣта.

— Ахъ, Крамольниковъ!—произнесъ Тебенъковъ съ явнымъ оттѣнкомъ итерифіа.

— Знаю я, что я Крамольниковъ, но не въ этомъ дѣло. Скажите: почему еще такъ недавно обыватель самаго несомнѣнно-заскорузлага пошиба, развивая тезисъ о пользѣ ежовыхъ рукавицъ, всегда отговаривался: «Знаю, молъ, я, что ежовыя рукавицы не составляютъ послѣдняго слова науки, но чтѣ же дѣлать, если безъ нихъ нельзя обойтись? Подождите! Потерпите! Придетъ время, когда нецѣлесообразность этого средства обнаружится сама собою; но при настоящихъ условіяхъ оно представляетъ очень существенное подспорье. Временное, коли хотите, и даже... не вполне нравственное, но тѣмъ не менѣе несомнѣнное и необходимое!» Вотъ сколько нужно было отговорокъ, чтобы объяснить—не защитити, а только объяснить—ежовыя рукавицы! Почему, спрашиваю я васъ, этотъ заскорузлый человекъ не отстаивалъ ежовыхъ рукавицъ по существу, а только объяснялъ ихъ, какъ явленіе временное, допускаемое, такъ сказать, съ стѣсненнымъ сердцемъ? И почему онъ нынѣ обязываетъ прямо: «ежовыя рукавицы—и средство и цѣль!

кроме скрывающихся рукавиц ничего быть и не будет!» Почему-то? А потому, государи мои, что когда-то у этого обывателя стыд в глазах был, а теперь—и слёда его нет! Вот!»

Крамольников все больше и больше возвышал голос, а слушатели его все больше и больше жались и озирались по сторонам, не пытаясь сквозь открытые двери пространство, наполненное нестройными кулками завсегдаевы. Некоторые из слушателей даже заносили ноги, с намёром, при первом случае, улетнуть.

— Почему вы сами, господа,—не унимаете Крамольников:—еще так недавно с охотой вступали в собеседование по поводу самых горячих вопросов жизни, а теперь вы не только уклоняетесь от подобных вопросов, но прямо стараетесь заглушить в себе эту потребность разговорами, человеческому естеству несвойственными? Не потому ли, что прежде вы чувствовали в сердцах важнейших движений совести, а теперь—чувствуете только постыдные порывы самосохранения? Загнать позвольте еще один нескромный вопрос...

— Оставьте, Крамольников!—раздалось несколько голосов:—положительно, вы дѣлаетесь невозможны!

— Кто? я невозможны?—уже полным голосом возопил Крамольников:—я, который довел свои требования до минимума? я, который, в виду суровой действительности, добровольно отказался от завѣтных мечтаний жизни и подчинил их представлениям возможного, доступного и благовременного? я, который, подобно алчущему слену, искал чистых струй для утоления угнетавшей меня жажды и вместо того удовлетворял ее словами: подождите! потерпите! я, который, в надежде славы и добра, с восхищением повторял: наше время—не время широких задач! я, который, цѣлым рядом передовицъ, доказывал, что на первый раз мы обязываемся довольствоваться щелкой... с тѣмъ, разумеется, чтобы щелка, расширяясь въ строгой постепенности, образовала со временемъ соответствующее отверстие?? Я невозможенъ я?!

Онъ кричалъ такъ громко, что въ дверяхъ уже показались несколько ябедническихъ головъ. Въ рядахъ либрпассировъ обнаружилось серьезное беспокойство, чуть не смутеніе, и ноги ихъ рѣшительнѣе прежняго начали заноситься по направлению къ выходу. Замѣтивъ это движеніе, Крамольниковъ простеръ руки, какъ бы удерживая бѣгле-

цовъ. Въ этой позѣ онъ напоминалъ собой капельмейстера, который началъ назначенный въ программѣ Concertstück и уже не можетъ не довести его до конца. Всецѣло поглощенный горькими впечатлѣніями дня, онъ утратилъ всякое представление о времени и мѣстѣ. Ввернувъ глаза въ пространство, онъ, казалось, отыскалъ въ немъ какое-то лучезарное мельканіе, которое заставило его позабыть и о слушателяхъ, и объ инстинктахъ самосохраненія, заставлявшихъ этихъ слушателей смотрѣть на всякое «проявленіе» или «оказательство», какъ на скандалъ, который самъ по себѣ, помимо злобныхъ комментариевъ, можетъ запутать и обвинить цѣлую массу совѣтъ неприкосновенныхъ людей.

— Я каюсь!—блечевалъ онъ самъ себя:—я былъ малодушенъ! Мало того: я былъ... постыденъ! Я измѣнилъ большимъ убѣжденіямъ и примирился съ малыми... это нечестно! Вместо того, чтобы идти широкимъ вѣрнымъ путемъ, я предпочелъ окольные тропинки; вместо того, чтобы вступить на торжище жизни воротами, я удовольствовался заглядываніемъ въ щелку... какъ раба! Я думалъ, что это знаменуетъ мудрость, а на повѣрку вышло, что это была громадная, непоправимая глупость! Въ одно прекрасное утро щелка исчезла, и я остался безъ всего! Я наказанъ жестоко, но заслуженно! Ибо я былъ не только постыденъ, но и глупъ. Глупъ—вотъ что больше всего! Постыдность сама по себѣ можетъ служить даже залогомъ успѣха; глупость—можетъ служить залогомъ только безерочнаго ослѣванія! Постыдному человѣку, только при очень благоприятныхъ условіяхъ, могутъ сказать въ глаза: ты постыденъ! Глупому человѣку, при всякихъ условіяхъ, благовременно и безвременно, говорятъ: дуракъ! дуракъ! дуракъ! Вотъ именно такимъ дуракомъ я сознаю себя...

Онъ остановился, отыскавъ чей-то до половины наполненный стаканъ пива, залпомъ его выпилъ и продолжалъ, попрежнему вверяя глаза въ пространство:

— Тѣмъ не менѣе мнѣ кажется, что какъ ни обидна глупость, но при извѣстной обстановкѣ она можетъ служить смягчающимъ обстоятельствомъ. «Постыденъ, но безъ разумѣнія»—такой вердиктъ еще можно вынести! Но ежели вердиктъ гласитъ кратко: «постыденъ!» и только по неизреченному милосердію судей не прибавляется: «съ предварительно обдуманнѣмъ намѣреніемъ»—такого страшнаго вердикта положительно нельзя вынести! И хотя я никого прямо

не называю, къ кому могъ бы быть примененъ подобный жестокий вердиктъ, но все-таки приглянаю васъ обдумать мои слова, господа! Къ сожалѣнью, многие изъ васъ думаютъ, что можно до такой степени умалиться, ступившись, исчезнуть, что самая суровая дѣйствительность не выдержитъ и поступится хоть забвениемъ... Тщетная надежда, государи мои! Уступки и забвенія свойственны являющимся нарождающимся, но окрѣпшимъ и повѣреннымъ въ своемъ будущемъ, а не дѣйствительности, являющей за собою многолѣтнюю исторію. Дѣйствительность есть дѣйствительность и, въ силу своей общепризнанности, въ силу своего неконнаго торжества, она никогда и ничѣмъ не посягается и никогда ничего не забываетъ. Она вполнѣ послѣдовательно выполняетъ свою задачу, то-есть подчиняетъ себя все, находящееся въ районѣ ея кругозора, фасонируетъ все, что поддается ея дѣйствию, а неподдающееся—выбрасываетъ за бортъ. Вотъ будущность, которая предстаетъ. И вы не минуете ея, хотя и надѣетесь, что норы, въ которыхъ вы спрятались, *въ ожиданіи лучшаго дня*, не выдадутъ васъ. Выдадутъ, господа! Да и вы сами наконецъ не вытерпите насильственнаго заключенія и выйдете! И вотъ, когда это случится, передъ вами немедленно встанетъ все ваше робкое скудное прошлое, и встанетъ не въ видѣ укора въ скудости, какъ вы постыдно надѣетесь, а въ видѣ улыбки въ стремленіи къ потрясенію основъ! Все ваши подходы припомнятся вамъ, все ведомости будутъ сочтены. Тебеньковъ былъ несомнѣнно правъ, говоря, что одного-двухъ ябедниковъ совершенно достаточно, чтобъ держать въ осадѣ цѣлую массу людей; но онъ позабылъ прибавить, что если дѣйствительно сила ябеды такъ велика, то всякая попытка укрыться отъ нея является, по малой мѣрѣ, безплодною. Я не говорю уже о тѣхъ архи-ябедникахъ, которые, при посредствѣ печатнаго станка, всю Россію онутали своею подкупною клеветой и на могилу которыхъ потомство, вмѣсто монумента, уготоваешь основной колы; но сколько есть ябедниковъ третьестепенныхъ, захудалыхъ, которые, собственно говоря, не имѣютъ никакого ябедническаго авторитета, а только похваляются тѣмъ, что они ябедники!.. А вы передъ ними ступешьиваетесь и въ нихъ признаете какую-то силу, которая въ одну минуту можетъ васъ скомкать и проглотить!.. Стыдитесь, господа!.. Помните, что вы люди, и что не напрасно преда- ние отличаетъ человѣческій образъ отъ звѣринаго! Вспо-

мите, что въ извѣстныхъ случаяхъ отсутствіе мужества равняется предательству! Помните наконецъ...

Но тутъ Крамольниковъ круто оборвалъ. Случайно оторвавъ глаза отъ лучезарнаго пространства, къ которому они были прикованы, онъ спустилъ ихъ долу... Передъ нимъ стоялъ пустой столъ, загаженный шивыми пятнами. Собесѣдники, четверть часа тому назадъ сидѣвшіе тутъ, исчезли все до единого.

Взамѣнъ ихъ въ дверяхъ стояли Скорпионовъ и Тарантуловъ.

— Ахъ, господи! Крамольниковъ, какъ вы хорошо говорите,—въ умленіи воскликнулъ Скорпионовъ:—то-есть, такъ вы говорите! такъ говорите!.. вѣкъ бы васъ слушалъ и не наслушался бы!

## Вечеръ четвертый.

### ПОШЕХОНСКІЕ РЕФОРМАТОРЫ.

I.

Андрей Курзановъ.

Въ началѣ сороковыхъ годовъ въ семьѣ пошехонскаго мѣщанина Тихона Гордѣева Курзанова проявилась личность, сразу обратившая на себя общее вниманіе. Это былъ сынъ стараго Тихона, Андрей, молодой человекъ 20—22 лѣтъ.

Семья Курзановыхъ была бѣдная, смиренная и богобоязненная. Старый Тихонъ происходилъ изъ крѣпостныхъ и состоялъ въ дворнѣ помѣщика Веленицына въ качествѣ «живоннца». Все, что носило на себѣ слѣды масляной краски въ ослѣ Верховомъ, начинаая отъ половъ «нодь паркетъ» въ барской усадьбѣ и кончая портретной галлерей баръ, барчатъ и барышень, а также иконостасомъ сельской церкви,—все это было дѣломъ рукъ Тихона Курзанова. Въ тогдашнее время помѣщики любили украшать свои жилища произведеніями искусствъ, такъ что почти во всякомъ господскомъ домѣ можно было встрѣтить и «Иродіаду», держащую на блюдѣ голову Іоанна Крестителя, въ которую Иродъ тыкалъ вилокъ, и «Сусанну», лежащую въ обнаженномъ видѣ, съ двумя старцами на бокахъ, и «Дѣвуху съ тазикомъ и графинкомъ воды», и «Обѣдающихъ дураковъ» и т. д. Тихонъ и такія картины умѣлъ писать.

Человѣкъ онъ былъ смиренный и покорный, а въ своей специальности положительно неутомимый. Съ утра до вечера онъ готовъ былъ «писать», но зато ко всякой другой работѣ выказывалъ рѣшительную неспособность. Ни на спокость его, въ горячее время, послать было нельзя, ни даже въ лѣсъ за ягодами или за грибами — все равно, ничего не принесетъ. Да и господа были добрые, и хотя смутно, но понимали, что принужденіе можетъ только изнурить Тихона, а дѣлу не поможетъ. Поэтому, когда по дому не требовалось никакой масляной или живописной работы, то Тихона отпускали по оброку, который онъ и платилъ всегда аккуратно. Когда ему было уже лѣтъ около тридцати пяти, его женили на сѣиной дѣвушкѣ Аннушкѣ, которую тогда же обложили умѣренными тальками, а лѣтъ черезъ пять послѣ того баринъ Веденицынъ скончался и, умирая, почему-то вспомнилъ о Тихонѣ и заказалъ баринѣ Аннѣ Семеновнѣ дать ему волюную.

Вышедши на волю, Курзановъ поселился въ Пошехоньѣ и жилъ, какъ говорится, съ хлѣба на квасъ. Большой нужды не было, но не было и настоящей сытности. На недостатокъ заказовъ онъ не жаловался, но заказы были исключительно церковные, которые, какъ извѣстно, всегда оканчиваются словами: для Бога-то, чай, можно и уступить? И Тихонъ уступалъ до самой крайней степени, потому что и самъ понималъ, что для Бога не уступить нельзя. Аннушку Тихонъ любилъ, но, по странной особености всего своего душевнаго строя, какъ будто считалъ свое сожитіе съ нею дѣломъ грѣховнымъ, на которое онъ не рѣшился бы, если-бы не тяготѣла надъ нимъ всевластная рука крѣпостного права. Съ своей стороны и Аннушка любила его, однако-жь къ матеріальнымъ лишеніямъ относилась не совсѣмъ равнодушно и нерѣдко-таки поговаривала: «столько слава, что золотыя у Тихона руки, а круглый годъ мы съ нимъ по мытарствамъ ходимъ».

Андрей росъ тихо и одиоко. Это былъ мальчикъ впечатлительный, съ очень рѣзкими, почти болѣзненнымъ организмомъ. Съ ранняго дѣтства окруженный образами и книгами церковнаго обихода, онъ легко пристрастился къ божественному. Не пропускалъ ни одной церковной службы и въ особенности любилъ ходить на богомолья на сосѣднимъ пустынямъ и монастырямъ, гдѣ старшій Тихонъ имѣлъ почти постоянные заказы. Тишина, окружавшая эти молитвенныя общенія, умняла его и растворяла его дѣтское

сердце любовью. Тою тихою, ровною, несознаваемою, но разлитую во весь организмъ любовью ко *всему*, которая согрѣваетъ не только самого любящаго, но и весь окружающій его міръ. Не трепетозъ наполняли его въковыне сосновые боры, служащіе какъ бы преддверіемъ къ обителямъ, а сладко волновали все его существо смѣшаннымъ чувствомъ радости и жалѣнія. Ноги его утопали въ зыбучемъ пескѣ, а онъ чувствовалъ, что за плечами у него вырастаютъ крылья, которыя несутъ его, несутъ... И сердце ширится и рвется, и глаза, куда ни обратятся, ведаѣ нмъ навстрѣчу: свѣтъ, свѣтъ, свѣтъ... Потребность цѣловать землю выявлялась внезапно и неудержимо. Пастырь цѣловать ноги странниковъ и убогихъ, плакать, страдать, умереть...

Грамота далась ему легко, но ни къ какому другому ремеслу онъ охоты не проявилъ. Даже къ живописи отнесся равнодушно, потому что существо его было переполнено какимъ-то неизъяснимымъ просіяніемъ, которое не имѣло ни формы, ни очертаній, и слѣдовательно не поддавалось ни слову, ни кисти. Впрочемъ, отецъ и не удивлялъ его; онъ самъ имѣлъ природу, тождественную съ сыномъ, и желалъ «писать», то лишь по привычкѣ и ради нужды. Мать тоже не огорчалась виѣшнимъ бездѣйствіемъ сына, потому что провидѣла въ немъ будущаго «богомла», который не только себя, но и ихъ, стариковъ, со временемъ прокормитъ.

«Богомолы» въ старыя годы составляли особую касту, которой жилось сравнительно хорошо. Это были люди, посвящавшіе себя странствованіямъ и молитвеннымъ подвигамъ. Были между ними искренніе, подвижничавшіе ради подвижничества; но были и такіе, которые смотрѣли на свои скитанія какъ на выгодное ремесло. Последняя категория выдѣлялась чаще и была очень многочисленна. Ходили они обыкновенно въ полумонашеской одеждѣ, состоявшей изъ длиннаго чернаго полукафтана, подпоясываго широкимъ расшитымъ поясомъ, застегнутымъ на крючки. Волосы подстригали рѣдко; на головѣ носили высокія шапочки, на манеръ камилавокъ, и ходили, опираясь правой рукой на высокую трость, въ родѣ поповской. Старозавѣтные помѣшцы (а преимущественно ихъ жены и вообще женоскій полъ), рѣдко выѣзжавшіе изъ своихъ гнѣзды, охотно ихъ принимали и сажали за господскій столъ, угощали на гостинныхъ черникахъ и любили съ ними бесѣдовать. Предметомъ бесѣды обыкновенно служили разныя

алокрифическія сказанія: о хожденіи дуня по мытарствамъ; о томъ, какъ нѣкто, бывъ по ошибкѣ отозванъ отъ міра сего и потомъ вновь возвращенъ къ жизни, передавалъ сокровенныя подробности загробнаго существованія, конхъ бѣла очевидцемъ; о томъ, что будетъ на страшномъ судѣ, и какаа кого и за что ожидаетъ кара. Но въ область непосредственныхъ обличеній не пускались, а кары, повидимому, судили не весьма строгія, потому что домашній пошнщичій обиходъ отъ этихъ собосѣдованій не измѣнялся. Помшщичи вздыхали, плакали, но вслѣдъ затѣмъ слезы высыхали, и жизнь продолжала течъ своѣй обычной колесей. Вели себя «богомолья» по большей части скромно; сплетенъ не переносили, вещей лежанцихъ не утаивали и только изрѣдка залутовались въ дѣвичьихъ, какъ бы во свидѣтельство, что и у нихъ, какъ у прочихъ смертныхъ, плоть немощна. Но это имъ извиняли, потому что какъ же съ этимъ быть? Но главное, что въ нихъ восхнщало и умиляло,—это то, что большинство ихъ круглый годъ не вкушало скоромной пищи. Иные даже въ Свѣтлый праздникъ ограничивались тѣмъ, что пощлдутъ яичко, да и опять за рыбку да за грибки. Отъ этого постоянного воздержанія нѣкоторые изъ нихъ входили въ экстазъ и прорнщали. Предвщали венцы простыя, всѣмъ близкіи и понятныя: неурожай или изобиліе плодовъ земныхъ, ненастье или вѣдро, война или мирное житіе, угадывали полъ ребенка въ утробѣ матери и проч. Такіе прорнщатели особенно цествовались.

Вотъ на такое-то привольное житіе и расчитывала Аннушка для своего сына. Однако-жъ ожиданія ея сбылись только отчасти. Изъ Андрея дѣйствительно выработался богомольный и набожный юноша, но въ то же время умственный складъ его сформировался съ такими своеобразными особенностями, которыя рѣшительно не допускали его оставаться на почвѣ простого богомола-ремесленника. Не міръ алокрифическихъ сказаній плвлялъ его мысль, но міръ человеческихъ злоключеній, начиная отъ матеріальной неурядицы и кончая страданіями высшаго разряда. Люди, не получившіе никакой воспитательной подготовки, но въ то же время влекомые неудержимою силою къ свѣту, встрѣчаются нѣрѣдко въ низменныхъ слояхъ общества, но въ большинствѣ случаевъ эти личности впадаютъ въ экзальтацію и становятся чуть не душевно-больными. Къ счастью, Андрей Курзатовъ избѣжалъ этого. Онъ не сблался ни

юрндвымъ, ни бѣсповатымъ, ни прорнщателемъ, а остался обыкновеннымъ человекомъ, который павно и безъ раздраженія развивалъ мысли, не имѣвшія никакихъ точекъ прикосновенія съ сложившимся типомъ жизни. Изъ всего вычитаннаго, слышаннаго и видѣннаго онъ извлекъ особый нравственный кодексъ, который коротко выражалъ словами: «жить по-божески».

Выраженія такого рода настолько общи, что не даютъ повода для какихъ-либо непосредственныхъ выводовъ, да врядъ ли и самъ Андрей подозревалъ, что такіе выводы возможны. Но крайней мѣрѣ, онъ не настаивалъ на нихъ. Поэтому, въ большинствѣ случаевъ, выраженія эти остаются незамѣченными (не переведенными на культурно-чиновничій языкъ) или же сопричисляются къ массѣ тѣхъ мнимо-безсодержательныхъ афоризмовъ, которые отъ времени до времени изрекаетъ «непросвѣщенная чернь». Въ сущности однако-жъ они далеко не безсодержательны, и простые сердца отлично угадываютъ ихъ таинственный смыслъ. «Жить по-божески» значитъ жить по справедливости, никого не угнетая, всѣхъ любя и взаимно другъ друга прощая. Если хотите, непосредственныхъ прилженій и въ этой расчлененной программѣ не видится, но для чуткаго сердца простона она несомнѣнно исчерпываетъ всю сложность и все разнообразіе человѣческихъ отношеній.

Тѣмъ не менѣ въ то время простые сердца были слишкомъ задавлены, чтобы вслушиваться и вдумываться въ какія бы то ни было доужія рѣчи, и Андрею поневолѣ приходилось отыскивать для себя аудиторію исключительно среди представителей и представительницъ тогдашней пошехонской интеллигенціи, то-есть въ помшщичьей и чиновничьей средѣ.

И тутъ наибольшая часть вниманія шла со стороны женщинъ. Въ пользу Андрея говорила и его молодость, и мягкій, ласкающій голосъ, и задумчивые большіе глаза, и даже меланхолическое тѣлословіе. Онъ не говорилъ ни о пламени неугасимомъ, ни о чревѣ неусыпающемъ, ни о раскаленныхъ щипцахъ и сковородахъ, а сладко волновалъ сердца «справедливыми» словами. Къ словамъ этимъ по временамъ прислушивался и мужской полъ, и хотя не умилялся по ихъ поводу, но съ формальной стороны тоже не могъ не находить «справедливыми». Такъ что за Андреемъ Курзатовымъ, въ скоромъ времени, во всѣхъ захолустьяхъ

пошехонской интеллигенции утвердилась репутация «справедливого» человека.

Да иначе оно и не могло быть. Делать какы-нибудь посылки изъ общихъ, и притомъ совершенно туманныхъ, положений въ то время никому и на мысль не приходило, а что «справедливость» есть терминъ вполне почтенный и непререкаемый—въ этомъ никто сомнѣваться не дерзалъ. Объ этомъ и помимо Андрея слышали и въ церкви и на школьной скамьѣ—какой же наставникъ позволилъ бы себѣ не отдать дани похвалы самоотверженности, любви къ ближнему и прочимъ элементамъ, изъ которыхъ составляется «божеское» житіе?—и въ тѣхъ не частыхъ, но все-таки во временахъ прорывавшихся собесѣдованіяхъ, иногда даже въ среду, со всѣхъ сторонъ наглухо запертую, вдругъ невѣдомо откуда и какимъ образомъ ялетало свѣжее чувство, просвѣтлившее умы и умилавшее сердца.

Только вотъ въ глаза этой «справедливости» не видалъ, такъ это, пожалуй, придавало еще больше цѣны устнымъ бесѣдамъ о ней.

— Что значить жить по-божески?—спрашивала Андрей добрая пошвица Марья Ивановна, до которой палъ слухъ, что въ Пошехоньѣ объявился «блаженный», изрекающій «справедливыя» слова.

— А вотъ что: тебѣ кусокъ и ему кусокъ, и всѣмъ прочимъ по куску!—объяснилъ Андрей, въ шивной увѣренности, что въ его объясненіи не только нѣтъ ничего угрожающаго, но что вѣрнѣе всего угодно Богу житья не можетъ существовать.

Марья Ивановна выслушивала это объясненіе и тоже никакихъ угрозъ въ немъ не находила. Напротивъ того, думала: «вотъ кабы Богъ привелъ!»

— А мы-то, жадные!—печаловалась она:—все лоровимъ, какъ бы заграбастать да оттянуть. Все бы себѣ! все себѣ!

— Жадность, сударыня, тоже разная бываетъ. Иной отъ болѣзни жаденъ, другой отъ комплекціи. У насъ въ Пошехоньѣ купецъ есть, такъ онъ сколько ни вѣтъ, никакъ набѣться не можетъ. И въ Москву отъ своей болѣзни лѣчиться вѣздилъ, и въ Кіевъ по обѣщанью пѣшкомъ ходилъ,—не даетъ Богъ облегченья. Такую жадность нельзя выжить въ грѣхъ. А вотъ ежели кто «отъ себя» жаденъ, того ограничить должно.

— Ахъ, Андрюша, Андрюша! какъ же ты его ограничишь, коль скоро и граница и мѣра—все въ его собствен-

ныхъ рукахъ состоятъ? Ты ему: довольно, сударь! а онъ тебѣ: давай еще! Какъ ты *меня* ограничишь, коли всѣ кругомъ куски—все мои? одна я отъ папеньки получила, другой—съ аукціона купила, собственные денешки за него выложила? Какой хочю—тогъ возьму да и съѣмъ!

— И кушайте, сударыня! И не къ тому... Вы, сударыня, *по закону* купаете, а я говорю, какъ по-божески. *По закону* всякій около своего куска ходитъ, а *по-божески* вотъ какъ: тебѣ кусокъ и мнѣ кусокъ, и прочимъ по куску. Все чтобы сыты были.

— Хотъ бы часокъ этакъ-то пожить!—воскликнула Марья Ивановна и сладко задумывалась.

Сердце ея переполнялось благоволеніемъ, а мысли разбѣгались во всѣ стороны. Отъ Аришки перебѣгали къ Ипаткѣ, отъ Ипатки къ Антишкѣ... Все сыты! Даже Максимка пастухъ—и тогъ сытъ! А она смотритъ на нихъ и радуется...

Конечно, вспоминалось ей не разъ—и даже очень подробно вспоминалось,—какъ однажды у нихъ на усадьбѣ, обѣ масленицѣ, «буить бытъ»... Ужъ *они* ли въ ту пору не ѣли! И блиновъ-то *имъ!* и судачины-то *имъ!* и толокна-то и творогу! И что-жъ однако подъ конецъ мерзавцы сдѣлали! Въ самый процѣнный день дали имъ молочка похлебагъ... такъ, чуть-чуть съ кледецой... а они взяли, всѣмъ кагаломъ привалили къ господскому крыльцу да молоко-то въ снѣгъ и вылили... Вотъ вѣдь неблагодарность какая!

— А можетъ, это и отъ болѣзни или отъ комплекціи, какъ у того купца... Сколько въ него ни вали—все какъ въ прорву! Ну, и Христосъ съ вами, коли такъ... кушайте, батюшки, кушайте! Лучше пускай ужъ я... много ли мнѣ пужно?—супцу, да жарковца, да сладенькаго... У меня вѣдь «комплекціи-то» нѣтъ—вотъ я и сытъ! А прочее—пусть ужъ все имъ! И картофелю, и кашу, и хлѣба... всего! Пускай будутъ сыты... дармоуды ненасытныя! Вонъ Порфишка то и сейчасъ поперекъ себя толще ходитъ! И все-то ему мало! всѣмъ-то онъ жалуется, что съ толокна у него животъ подвело... вотъ такъ «комплекціи»!

Какъ бы то ни было, но первая подробность «божескаго житія» выяснилась достаточно: тебѣ кусокъ и мнѣ кусокъ, и прочимъ всѣмъ по куску. Такъ слѣдуетъ жить «по справедливости». Но ежели «все куски—мои», то—«кушайте, сударыни!» Хотя это и по «по-божески», но ничего съ этимъ не подѣлаешь. Тѣмъ-то и дорогъ былъ Андрюша.

что хоть «справедливые слова» у него изъ усть потокомъ текли, а никому отъ нихъ обидно не было...

Ватѣмъ постепенно выяснилась и другая подробность «божескаго житія».

— Коли кто хочетъ «по справедливости» жить, — говорилъ Андрей: — тотъ долженъ кичливость оставить. Чтобы ни рабовъ, ни данинниковъ, ни кабальныхъ людей — ничего такого чтобы не было. Всѣ въ равной другъ съ другомъ любви должны жить. И — тебѣ послужу, ты — мнѣ. У всѣхъ одинъ Богъ, и всѣхъ Онъ одною любовью любить и всѣхъ однимъ судомъ судить будетъ.

— А мы-то! А мы-то! грѣхи наши, грѣхи!

— Коли мы всѣ другъ друга въ равной любви содержать будемъ, то и огорченія наши прекратятся сами собой. И ненависть, и ссора, и ропотъ — все исчезнетъ, потому что все это отъ не любви, отъ неравенства. Однимъ честь, а другимъ — поношеніе, однимъ веселіе, а другимъ — скорбь. Какъ тутъ огорченію не быть?

— Что говорить! ужъ мы, дворяне, на что Богомъ и царемъ высканы, а и то, другъ на дружку глядя, ябь-пять да и позавидуемъ!

— Всѣ мы по естеству равны; всѣ Адамовымъ грѣхомъ въ адъ ввержены были и всѣ Христомъ Спасомъ Истиннымъ изъ ада освобождены. А ежели всѣ равны — стало быть, и одинаковая часть всѣмъ отъ Бога положена.

— Откуда же они взяли... рабы? — робко спрашивала Марья Ивановна: — Богъ не повелѣлъ, а ихъ видимо-невидимо. Въ господскихъ домахъ — господа, въ людскихъ да на скотныхъ — рабы... Господа приказываютъ, а рабы повинуются, тяготы несятъ...

— Въ старину, сударыня, это сдѣлалось. Не всѣ люди равной комплекціи рождаются; одинъ покрѣпче, другой послабѣе, а третій и вовсе разслабленный. Сильный-то слабѣе и покоряетъ. Да покоривши, взять да узломъ завязать. Теперь ни конда, ни начала этому узлу и не отыщешь!

— Ишь вѣдь что сдѣлалъ!

Марья Ивановна становилось жалко. Какъ это такъ? — думалось ей: — Христомъ Спасъ Истинный всѣхъ изъ ада освобождать, а «онъ» — ишь что сдѣлалъ! «Онъ»-то свое дѣло сдѣлалъ да и ушло — ники его да свини! — а она, между прочимъ, съ аукциона купила, собственными деньгами все до копейки заплатила... какъ теперь разсудить? «Ежели поступить «по-божески», такъ неужто же денегами

мож такъ-таки пропастъ долины?... Ежели же не по-божески поступить...»

— Барыни! головку причесать пожалуйте! — прервала ее мейганія горничная Анютка.

Перерывъ этотъ являлся очень кстати, ибо давалъ ей мыслямъ новое направление.

— Вотъ, Андриуша, я какова! — жаловалась она сама на себя: — и голову-то причесать сама не могу, все Анютка да Анютка! Анютка, прими! Анютка, подай! — а я сижу какъ царевна да руки-ноги протягиваю! И знаю, что всѣ мы одной природы, а не могу... Ни я одѣться сама, ни я умыться... словомъ сказать, безъ Анютки какъ безъ руки!

— Что-жъ такое, сударыня! И пускай Анютка потрудится... это ей и по закону вѣзается! Я вѣдь не противъ закона иду, а говорю, какъ по-божески...

Марья Ивановна удивлялась успокоенная и отдавала свою голову въ распоряженіе Анютки. Но въ это же время она уносила новую подробность «божескаго житія»: всѣ мы Христомъ Спасомъ Истиннымъ изъ ада освобождены, а «онъ» — ишь ты что сдѣлалъ! А она между тѣмъ съ аукциона купила... по закону!

Причесавшись, Марья Ивановна вновь возвращалась къ прерванной бесѣдѣ.

— Какъ же намъ душу-то спасти? — вотъ ты мнѣ что скажи! — безпокоилась она.

— За други свои полагай ее надо — вотъ и спасены! — отвѣчалъ онъ, нимало не затрудняясь.

Однако-жъ Марью Ивановну отвѣтъ этотъ застаивалъ неприготовленною.

— Какъ это... душу? — сомнѣвалась она: — словно бы ужъ... Хоть бы руку-ногу, а то... душу! Слыхала я, что въ пустыняхъ жилали люди, которые... А чтобы въ міру это было... не знаю!

— Въ пустынь молитва спасаетъ, а въ міру — жертва душевная. Коли мы всѣ въ разбойку по угламъ будемъ сидѣть да за шкуру свою дрожать — откуда же добро-то въ міръ придетъ?

— Ужъ и не знаю, какъ тебѣ спазать... Конечно, мало ли какия у людей «свои дѣла» бывають... иной на службѣ служить, другой по коммерческой части... но чтобы у кого-таковъ «занятіе» было, чтобы «душу» полагать... не знаю! И не слыхала и не видала... не знаю!



— Обиду ежели видите—заступитесь; нищету увидите—помогите; мѹку душевную видите—утѣшите. Вотъ это и значить душу за други свои полагать...

— И заступитесь, и утѣшите, и помогите!—уже дразнилась Марья Ивановна.—И помогите! и помогите! А коли помогалки-то, помощальники, у меня нѣтъ?

— На нѣтъ, сударыня, и суда нѣтъ.

— Ну, хорошо. Пускай по-твоему. Стало-быть, какъ встала съ утра, такъ я и бѣги, вытараща глаза? За одного—заступись, другому—помоги, третьяго—утѣши! А за меня-то кто беспокоиться будетъ?

— Другъ по дружкѣ, сударыня. Вы за всѣхъ, всѣ за насъ. Христосъ Спасъ Истинный крестное страданіе за насъ принялъ, а мы и побеспокоить себя не хотимъ!

— А ежели я... не могу! ну, нѣтъ во мнѣ этого, нѣтъ?

— А не можете, такъ и не нудьте себя, сударыня! Я вѣдь не то, чтобы чтѣ!

— И вотъ я тебѣ еще чтѣ скажу. Ну, положимъ! Положимъ, что я прятка. Туда—побѣгу, сюда—нось суну, въ третьемъ мѣстѣ—дымъ столбомъ подыму... Ай да Марья Ивановна! вотъ такъ Марья Ивановна! А ну, какъ мнѣ самой за это носъ утрутъ? Откуда, скажутъ, помощальница непрошенная выискалась? Какой такой, скажутъ, законъ есть, чтобы въ чужое дѣло свой носъ совать? А ну, ка, сказывай, какой я на эти слова отвѣтъ дамъ?

— По закону это, дѣйствительно, такъ... По закону каждый самъ по себѣ,—это лучше всего. Вѣдь я и противъ закона не вду, а только объясняю, что ежели по-божески...

— Знаю я, что «по-божески» хорошо... Ты вотъ по-божески да по-справедливому, а мы—по-грѣшному да по-человѣчьему! Ты слабость-то человѣчью ни во что не ставишь, а мы объ ней на всякъ частъ помнимъ! Куда ты ее, слабость-то нашу, дѣнешь?

Такимъ образомъ выяснялась и еще подробность «божескаго житія»: душу за ближняго полагать. Правда, что Марья Ивановна такъ и осталась при своемъ мнѣніи насчетъ практическаго примѣненія этого правила, но, благодаря взаимнымъ уступкамъ и разъясненіямъ, дѣло все-таки сложивалось легко. Собственно говоря, Андруша вѣдь никого не нудилъ, а только говорилъ: коли можете жить по-божески, то и душу по-божески спасайте, а коли не мо-

жете по-божески жить—спасайте душу «по закону». Такъ она именно и поступаетъ: «божеское житіе» имѣетъ въ «предметъ», а душу спасаетъ... «по закону»!

Тѣмъ-то и дорогъ былъ Андруша Марья Ивановнѣ, что онъ нудить не нудилъ, а между тѣмъ «справедливыя слова» говорилъ. И говорилъ ихъ въ такое время, когда у всѣхъ и на умѣ и на языкѣ только жестокия слова были. Сколько лѣтъ она за Кондратьемъ Кондратычемъ въ замужествѣ живетъ и ни одного-то «справедливаго» слова отъ него не слыжала! Все или водку пить, или табачище курить, или сквернословить, или на конюшнѣ араникомъ щелкаться! А ночью придетъ пьяный и дрыхнетъ. Въ этомъ вся ея жизнь прошла! Только отъ Андруши она и увидѣла свѣтъ. Поговоришь съ нимъ—словно какъ и очнешься. И объ душѣ вспомнишь, и о Богѣ... чувствуешь, по крайности, что не до конца очокался!

И не съ одною Марьей Ивановной бесѣдовала такимъ образомъ Андрей, а вообще любилъ по душѣ поговорить и, разговаривая, нерѣдко касался такихъ предметовъ, о которыхъ тогда никто и въ помышленіи не имѣлъ. Такимъ образомъ онъ уже въ сороковыхъ годахъ провидѣлъ и новыя суды, и земство, и даже свободу книгопечатанія.

О судахъ онъ такъ выражался:

— Нынче судья-то забьется въ мурью да и пишетъ, чтѣ ему хочется. Хочеть—завинтитъ, хочеть—бѣаѣ спѣта сдѣлаеть. А какъ на міру-то его судить заставить, такъ правда-то сама изъ него выскочитъ!

О земствѣ:

— Какъ возможно сравнить: чиновникъ ли по уѣзду распоряжается или самъ обыватель своимъ дѣломъ заправляетъ? Чиновнику—чтѣ? онъ прѣхалъ, взглянулъ, плюнулъ и уѣхалъ! А у обывателя каждая копейка на счету, и объ каждой у него сердце болитъ!

И наконецъ, кратко, о свободѣ книгопечатанія:

— И помните мое слово, ежели въ самой скорости волю книгопечатанія не объявятъ!

И дѣйствительно, такъ по-его внослѣдствіи все и сдѣлалось.

Но чтѣ всего замѣчательнѣе—ни пошехонскій судья, ни пошехонскіе чиновники, ни цензурное вѣдомство—никто на Андрея не претендовалъ. Потому что всѣ понимали, что онъ никого не нудитъ, а только «по-божески» разговариваетъ.

Словомъ сказать, въ самое короткое время молодой Курзановъ сдѣлался гордостью и украшеніемъ всего Пошехонскаго уѣзда. Самъ городничій, и тотъ любилъ послушать его. Призоветъ, бывало, и велитъ «справедливымъ слова» говорить. Скажетъ Андрей: «мигъ кусок!»—а городничій подтвердитъ:—правильно!—Скажетъ Андрей: «и всёхъ прочимъ по куску!»—а городничій опять подтвердитъ:—правильно!—Да и нельзя было не подтвердить, потому что такія же, приблизительно, слова городничій въ церкви по воскресеньямъ слыхалъ.

Этого мало: пріѣхалъ въ Пошехонье на ревизію губернаторъ и тоже пожелалъ на пошехонскую диговинку по-смотреть. И когда Андрей ему, въ присутствіи всёхъ уѣздныхъ чиновъ, свои «справедливыя слова» высказалъ, то онъ не только не пашель въ нихъ ничего предосудительнаго, но похвалилъ:

— Молодецъ Курзановъ!

Уѣздные же чины, пренеславившись радости, съ своей стороны, воскликнули:

— Это въ немъ, ваше превосходительство, божеское!

Долго ли, коротко ли такъ шло, а времена между тѣмъ измѣнились. И все къ лучшему. Началъ Андрею во слѣ старецъ являться. Придетъ, скажетъ:—эй, Андрей! какъ бы тебя за «справедливыя-то слова» не высѣкли!—и исчезнетъ.

Но Андрей вѣрилъ въ правоту своего дѣла и не боялся. Наконецъ наступилъ моментъ, когда просвѣщеніе, обойдя всё закоулки Россійской имперіи, коснулось и Пошехонья. Прежде всего оно сочло необходимымъ обрѣвизовать пошехонскую терминологию и затѣмъ, найдя въ ней болѣе или менѣе значительныя несправности, усердно принялось за очистку ея отъ ненужныхъ примѣсей. Въ числѣ прочихъ подверглись тщательной ревизіи и ходячіе разговоры о «божескомъ житіи». Просвѣщеніе не отвергало прямо проповѣди о «божескомъ житіи», но отводило ей мѣсто въ церквахъ и монастыряхъ, и притомъ преимущественно въ воскресные и табельные дни. «Когда царство небесное сдѣлается общимъ достоинствомъ,—писалось по этому поводу въ «Уединенномъ Пошехонцѣ», получившемъ внушенія чуть не изъ самаго городническаго правленія:—тогда и божеское житіе само собой возымѣетъ дѣйствіе. До тѣхъ же поръ пошехонскіе обыватели обязываются, не предвѣрая времени, стараться онаго житія достигнуть не разго-

ворами, а ревностнымъ исполненіемъ законнаго долга и возлагаемыхъ на нихъ начальствомъ порученій». А въ другой статьѣ тотъ же «Уединенный Пошехонецъ» объяснилъ слѣдующее: «Между прочими баснями, смущающими не-твердые обывательскіе умы, распространяется и таковая, будто бы только тѣ люди живутъ «по справедливости», кои въ основаніи своей жизни полагаютъ правило: «мигъ кусокъ, и тебѣ—кусокъ, и прочимъ всёхъ—по куску». Не отрицая, съ своей стороны, удовольствія, которое можетъ доставить общая сытость, мы считаемъ однако-жъ не лишнимъ предупредить увлекающихся, что ежели ихъ мечтаніямъ и суждено когда-нибудь осуществиться, то, навѣрное, ни одинъ изъ нихъ даже приблизительно не въ состояніи опредѣлить момента такового осуществленія. А посему представляется болѣе согласнымъ съ требованіями благоразумія, ежели обыватели, не предвѣрая событіямъ, положить въ основаніе своихъ дѣйствій правило не столь «сытое», но болѣе соответствующее духу нашего просвѣщеннаго времени, а именно: какой у кого кусокъ есть, тотъ пусть при ономъ и останется. Не имѣющій же куска да потщится на свой собственный коштъ пріобрѣсть таковой».

Это было уже не въ бровь, а прямо въ глазъ. Тѣмъ не менѣе Андрей не только не угомонился, но даже совершенно ничего не понялъ. Такова участь всёхъ вообще недомозковъ, полусловъ и полумѣртъ. «Уединенный Пошехонецъ» и самъ, видимо, колебался. Съ одной стороны—онъ какъ будто иронизировалъ, но съ другой—не отрицалъ прямо ни «сытости», ни «божескаго житія». Вообще, какъ говорится, ходилъ кругомъ да около. Поэтому обыватель не весьма догадливый не только не убѣждался его доводами, но находилъ ихъ положительнo слабыми. «Это опъ для удобства городническаго лукавить,—говорили сторонники «божескаго житія»:—хочеть, чтобъ городничему помыкать нами легче было!» И, утвердившись на этомъ, продолжали упорствовать въ своемъ заблужденіи.

А времена между тѣмъ продолжали зрѣть. И все къ лучшему.

Въ концѣ пятидесятихъ годовъ пріѣхалъ на городничество майоръ Стратиговъ. Правой ноги у него не было, а отъ лѣвой руки осталась только небольшая часть. А сверхъ того онъ и въ церковь рѣдко ходилъ, а слѣдовательно и о «справедливыхъ словахъ» совсѣмъ позабылъ. Но зато когда онъ бралъ въ правую руку костьль, то дрался имъ

замѣчательно больно. Приѣхавши на городничество, онъ вызвалъ Андрея Курзанова и велѣлъ ему «справедливыми слова» говорить. И когда послѣдній, въ наивной увѣренности, что въ этихъ словахъ ничего супротивнаго нѣтъ, высказалъ все, что у него было на душѣ, то Стратиговъ инстинктивно сжалъ въ рукѣ костыль, но, не предвѣряя событий, отъ немедленнаго боя воздержался, а только какъ-то загадочно метнулъ на него глазами и пробормоталъ: — Гм!.

А на другой день явилась въ «Уединенномъ Пошехонцѣ» передовица, которая разъяснила дѣло уже въ болѣе рѣшительномъ тонѣ. «Въ городѣ Пошехонѣ, — говорилось въ этой статьѣ: — появились личности, которыя открыто присвоиваютъ себѣ право говорить такъ-называемыя «справедливыя слова». Хотя по существу сн слова представляютъ собой образчики похвального умственного паренія, но тѣмъ не менѣе самая сила производимаго ими впечатлѣнія съ достаточностью указываетъ на то, сколь значительный вредъ можетъ произойти отъ невѣжественнаго или неискренняго съ ними обращенія. Исторія подаромъ свидѣтельствуешь, что не только у насъ въ Пошехонѣ, но и въ прочихъ странахъ образованнаго міра слова этой категоріи всегда находились въ вѣдѣніи подлежащихъ вѣдомствъ и особо препоставленныхъ на сей предметъ учрежденій. Если таково непрерываемое свидѣтельство исторіи, то не явствуетъ ли изъ онаго, что «справедливыя слова», по самой природѣ своей, должны считаться изъятыми изъ общаго обращенія, и что такое изъятіе должно быть принимаемо обывателями отнюдь не въ качествѣ стѣсненія ихъ въ выраженіи благородныхъ чувствъ, но лишь въ смыслѣ предостереженія, что и благородныя чувства могутъ имѣть послѣдствіемъ семаку въ мѣста не столь отдаленныя. А посему, если-бъ кто-либо изъ обывателей и былъ приведенъ въ такое состояніе, когда отъ избытка чувствъ уста глаголютъ, то и въ такомъ случаѣ представлялось бы полезнѣйшимъ, дабы онъ потребность сію удовлетворялъ у себя въ квартирѣ (однако-жъ не при гостяхъ) или въ другихъ пустынныхъ мѣстахъ, публичное же распубликованіе «справедливыхъ» и тому подобныхъ чувствъ предоставилъ бы лицамъ и мѣстамъ, особливо на сей конецъ уполномоченнымъ».

Однако-жъ Андрей и послѣ этого не смирился. Напротивъ, возымѣвъ дерзкое намѣреніе проникнуть въ самое

сердце полиціи, онъ началъ допимать «справедливыми словами» будочниковъ и дѣйствовалъ въ этомъ смыслѣ настолько успѣшно, что въ одно прекрасное утро искали пекали по всему Пошехонью «шпворота» и не нашли. И только ужъ на другой день самъ городничій, ходя по базару, едва успѣлъ его вновь осуществить.

Тогда Стратиговъ убѣдился, что наступило время истреблять «фаваберіи» посредствомъ выколачиванія. Онъ вновь призвалъ Курзанова и вновь велѣлъ ему «справедливыми слова» говорить. Когда же послѣдній, не подозрѣвая ловушки, съ обычной наивностью выложилъ все, что зналъ, то городничій, взявъ въ правую руку костыль, однократно ударилъ имъ Андрея между крылецъ, сказавъ:

— А остальное за мною!

И что-жъ! Андрей даже этимъ не отрезвился! Противъ всякаго ожиданія, онъ не вознегодовалъ, а весь проникъ состраданіемъ къ Стратигову, убѣжденный, что это въ немъ дѣйствуетъ болѣзнь.

— Ноги у него нѣтъ, — говоритъ: — руки вотъ съ остальнымъ осталось — ну, и можить его!

Черезъ день Стратиговъ опять вызвалъ Андрея и ударилъ его между крылецъ уже двукратно. Еще черезъ день — ударилъ троекратно. И наконецъ сталъ бить безъ счета и нещадно. Но Андрей попрежнему продолжалъ говорить «справедливыя слова» и все больше и больше проникался состраданіемъ къ колченомому городничему, котораго болѣзнь вынуждала прибѣгать къ костылю. Даже тогда, когда въ «Уединенномъ Пошехонцѣ» появилась статья, въ которой прямо требовалось, чтобы «справедливыя слова» произносились только въ нарочито-изготовленныхъ для сего помѣщеніяхъ, а отнюдь не на улицахъ и даже не въ частныхъ домахъ, гдѣ могутъ оныя слышать личности, къ уразумѣнію ихъ неприготовленныя, — даже тогда Андрей не помялъ, что и костыль городническій и журнальная передовица имѣютъ въ предметъ дѣйствія, имъ производимыя.

Самъ Стратиговъ изумился. «Ужъ дойму же я тебя, балбесъ! — кричалъ онъ въ изступленіи: — костыль объ тебя измочалю, а дойму!» И какъ сказалъ, такъ и поступилъ. И все-таки не допаялъ. Не донялъ, потому что никакой костыль не могъ вразумить Андрея, что слова, которыя въ нарочито-устраиваемыхъ помѣщеніяхъ считаются «справедливыми», въ другихъ мѣстахъ могутъ превратиться въ опасныя и «несправедливыя».

Какъ бы то ни было, но теорія искорененія «фамаберій» посредствомъ выколачиванія оказывалась исчерпанною. Намѣсто ея потребовалась другая теорія, болѣе состоятельная, и она не замедлила заявить о себѣ.

То была теорія обращенія къ почтеннѣйшей публикѣ. Насадителемъ ея явился исправникъ Октавіанъ Феликсовичъ Язвило, который, за упраздненіемъ городнической должности, соединилъ въ своемъ лицѣ высшую полицейскую власть по городу и по уѣзду.

Извильо былъ человекъ ловкій. Въ церкви онъ ужъ со всѣмъ никогда не бывалъ, а о «справедливыхъ словахъ» и не слыхивалъ. Взамѣнъ того онъ принесъ съ собою какія-то особенныя, совсѣмъ новыя слова. Онъ первый произнесъ въ Помехонѣ выраженіе: «основы» и первый же вполне опредѣленно формулировалъ мысль, что «справедливыя слова» суть зло, направленное къ потрясенію основъ».

И такъ какъ все предпринимаемое до тѣхъ поръ средства—въ формѣ враждашенія и выколачиванія, съ цѣлью локализовать зло въ нарочито-устроенныхъ помѣщеніяхъ—оказались безцѣльными, то Язвило пришелъ къ заключенію, что въ этомъ дѣлѣ потребны приемы гораздо болѣе сложныя, чуждыя этой заскорузлой рутинности, которая шла напроломъ и валилась на рожонъ.

Наиболѣе цѣлесообразнымъ изъ этихъ приемовъ представлялось ему спасительное междоусобіе. Съ него онъ и началъ. Раздѣливъ обывателей на двѣ категоріи—благонадежныхъ и неблагонадежныхъ, онъ прежде всего въ яркихъ чертахъ обрисовалъ тѣ опасности, которыми угрожаетъ распространеніе въ публикѣ заблужденій (такъ называлъ онъ прежія «справедливыя слова»), и затѣмъ призывалъ всѣхъ благонадежныхъ обывателей (на этотъ разъ онъ даже не усомнился употребить слово: «граждане») къ содѣйствію. Это была съ его стороны штука очень рискованная—кто знаетъ, что могло втемяшиться помехонцамъ въ голову по случаю этого «призыва»?—но «Уединенный Помехонецъ» и на этотъ разъ сослужилъ ему обычную службу. Въ обширной передовицѣ, растинувшейся на цѣлыхъ четыре нумера, онъ разъяснилъ: во-первыхъ, кого слѣдуетъ разумѣть подъ именемъ благонадежныхъ гражданъ; во-вторыхъ, что означаетъ выраженіе: «основы», почему они должны стоять неизменно; въ-третьихъ, въ какомъ смыслѣ должны быть понимаемы слова: «содѣйствіе общества»; и въ-четвертыхъ—какія хитрости употребляетъ злоумышленіе въ видахъ упразд-

ненія основъ, и какіе приемы необходимо этимъ хитро стямъ противопоставить, чтобы пересѣчь зло въ самомъ корнѣ.

Отвѣты на эти вопросы вкратцѣ заключались въ слѣдующемъ: «благонадежными» признавались лишь тѣ граждане, кои, «будучи довольны предопредѣленной имъ частью, благополучно подъ сѣнію начальственныхъ предписаній почиваютъ»; «неблагонадежными» же—тѣ, кои «по лѣности, цыганству, нерадѣнію или праздности будучи приведены въ уныніе, вмѣсто того, чтобы принимать мѣры къ собственному исправленію, продолжаютъ завистливымъ окомъ возжелѣтъ». Изъ числа «основъ» «Помехонецъ» въ особенности настаивалъ на собственности и совѣтовалъ защищать ее всѣми средствами. И не только отъ воровъ, грабителей и разбойниковъ, а всего болѣе отъ распространителей развратныхъ мыслей, которые за тѣмъ только «всѣхъ равными кусками потчуютъ, дабы собственную нерадивую праздность при семъ случаѣ утѣшить». Что же касается до «основъ» прочихъ сортовъ, то авторъ передовицы скромно сознавался, что въ полицейскомъ управленіи имѣются объ нихъ лишь весьма скудные свѣдѣнія, по что въ ближайшемъ будущемъ отъ ирслазскаго губернскаго правленія ожидается подробное по сему предмету разъясненіе. О «содѣйствіи» «Помехонецъ» выражался такъ: «но для того оно нужно, чтобы г. исправникъ потребность въ ономъ ощущалъ, а для того, дабы сами обыватели въ полезныхъ упражненіяхъ время препровождали». Относительно же хитростей, употребляемыхъ для потрясенія основъ, «Уединенный Помехонецъ» на первомъ планѣ ставилъ «льстивыя обфванія легкаго житія, сопровождаемыя возбужденіемъ дурныхъ страстей», и какъ противоодѣйствіе этимъ ухищреніямъ рекомендовалъ откровенное обращеніе къ Октавіану Феликсовичу Язвило.

Успѣхъ, достигнутый этой передовицей, былъ поразительный. Но надо сказать правду, что значительнѣйшею частью этого успѣха она была обязана упоминенію о собственности. Такъ какъ рѣдкій изъ помехонцевъ не сознавалъ себя обладателемъ хотя бы шила, то понятно, какой страхъ подобный собственникъ долженъ былъ ощущать, узнавъ, что кто-то имѣетъ на это шило претензію и собирается его отнять. Поднялось галдѣніе неслыханное. Сначала теребили преимущественно Андрея Курзанова (по нѣкоторымъ признакамъ догадались, что передовица имѣла въ виду именно его), но потомъ, въ общей суматохѣ, объ

немъ забыли и стали побивать каждый каждого. Владелец больного шила слалъ доносъ на обладателя малаго шила; обладатель суконныхъ штановъ уличалъ въ потрясательныхъ намѣреніяхъ обладателя штановъ панковыхъ. Мирный дотолѣ городъ загудѣлъ и заволновался, а «благонадежные» толпами осаждали полицейское управленіе и требовали скорой и немилостивой расправы съ «неблагонадежными».

Но Курзановъ все-таки продолжалъ не понимать. Не понималъ онъ, какое отношеніе имѣють «справедливыя слова» къ этой неожиданной пошехонской сумятицѣ, да и сами пошехонцы врядъ ли это понимали. Тѣмъ не менѣе житье Андрея въ эту пору было незавидное. Кого периодически то сажали въ кутузку, то освобождали отъ нея. Но онъ и этому не удивлялся, а называлъ сажаніе въ кутузку «дѣйствіемъ по закону», а освобожденіе изъ нея — «дѣйствіемъ по справедливости».

— Я не противъ закона иду, — говорилъ онъ Язвилю: — а говорю только, что коли ежели «по-божески»...

И такъ-таки на этомъ и устоялъ, несмотря на то, что въ теченіе года по крайней мѣрѣ шесть мѣсяцевъ провелъ въ кутузкѣ.

Язвилю торжествовать и уже завелъ-было книгу, въ которую постепенно вносилъ обывателей, на которыхъ само «содѣйствіе» указывало, какъ на неблагонадежныхъ. Однако-жь торжество это было недолгое. Главнымъ образомъ ошибка Язвиля заключалась въ томъ, что онъ никакъ не предполагалъ, чтобы ябеда, имѣ возбужденная, достигла такихъ несказанныхъ размѣровъ и припала столь разнообразныя формы. Пошехонцы до такой степени разревновались, что произошли самыя смѣлыя ожиданія. Вчерашній охранитель дѣлался сегодняшнимъ потрясателемъ; сегодняшний охранитель могъ быть завтрашнимъ. Язвилю бѣгалъ по городу какъ угорѣлый, ловилъ, хваталъ, но уже никакая лихорадочная дѣятельность не могла удовлетворить народной немезидѣ. Въ одно прекрасное утро оказалось, что изъ всего пошехонскаго населенія только онъ, Язвилю, да негласный руководитель ябедническаго движенія, Беркутовъ (о немъ зри ниже) остались незавищенными. Даже непремѣнный засѣдатель — и тотъ оказался потрясателемъ, потому что, получивши съ почты казенныя деньги, «обро- нилъ» ихъ по дорогѣ въ полицейское управленіе.

Тогда Язвилю отправился съ докладомъ въ губернію, гдѣ и былъ немедленно уволенъ отъ должности.

На мѣсто Язвиля пріѣхалъ въ Пошехонье капитанъ Груздевъ (новокрещенъ изъ черемисъ), который вновь возвратился къ простымъ и удобопонятнымъ распоряженіямъ, съ тѣмъ лишь присовокупленіемъ, что разъ навсегда устранилъ все колебанія и неясности, которыя въ прежнее время парализовали успѣхъ принимаемыхъ мѣръ.

Прібывши на мѣсто, онъ, по примѣру своихъ предшественковъ, велѣлъ привести Андрея Курзанова и приказалъ ему «справедливыя слова» говорить. Но едва началъ Андрей: «тебѣ—кусочъ и мнѣ—кусочъ», какъ Груздевъ на первыхъ же словахъ его перервалъ.

— Довольно! — сказалъ онъ твердо: — даю тебѣ два дня на исправленіе!

Черезъ два дня Курзановъ явился вновь; но такъ какъ, повидимому, умъ у него окончательно заложило, то и на этотъ разъ онъ началъ: «тебѣ—кусочъ, мнѣ—кусочъ»...

— Фити!

## II.

### Никаноръ Беркутовъ.

Все въ тотъ же самый періодъ времени, такъ сказать, параллельно съ Андреемъ Курзановымъ, расцвѣлъ по содѣйствію съ Пошехоньемъ, въ городѣ Тотмѣ (Вологодской губерніи), другой реформаторъ, Никаноръ Беркутовъ.

Въ этихъ людяхъ было разное: и отправная точка дѣятельности, и дальнѣйшія ихъ судьбы. Но одна черта была общая, которая и сообщила ихъ дѣятельности выдающійся характеръ: оба мысляли и говорили не такъ, какъ прочіе тотемцы и пошехонцы мыслятъ и говорятъ.

Беркутовъ былъ почетническій сынъ и родился въ одномъ изъ тотемскихъ захолустьевъ, гдѣ отецъ его служилъ пономаремъ при очень бѣдной приходской церкви. Въ дѣтствѣ Никаноръ никогда досыта не ѣдалъ, по зато по горло былъ сытъ побоями и колотушками, которыми щедро одѣляли его отецъ и мать. По одиннадцатому году сдалъ его въ тотемское духовное училище, гдѣ сытости не прибавилось, а тѣлесныя калѣчества, напротивъ, въ значительной мѣрѣ умножились. Учился онъ плохо, кончилъ курсъ въ училищѣ поздно и отъ перехода въ семинарію уклонился, а прямо поступилъ на службу писцомъ въ тотемскій земскій судъ на рублевое мѣсячное жалованье.

Лѣтъ десять сряду онъ мыкался то около суда, то по ставковому квартирантѣ, подстергая просителей, устраивая мелкія вымогательства, и кончилъ все-таки тѣмъ, что былъ за пьянство и вздорный характеръ выгнанъ изъ службы.

Принятое въ дѣтствѣ побой, а затѣмъ голодь и дальнѣйшія преслѣдованія судьбы развили въ Беркутовѣ угрюмость, которая постепенно развилась въ открытое чело-вѣкоенавистничество. Всѣхъ и за все онъ ненавидѣлъ. Богатыхъ—за то, что богаты, сильныхъ—за то, что сильны, бѣдныхъ—за то, что бѣдны, слабыхъ—за то, что слабы. Въ первыхъ онъ видѣлъ угнетателей, во вторыхъ—массу ничтожныхъ существъ, которыя ни ему, ни другимъ, ни даже самимъ себѣ не могли оказать ни защиты, ни поддержки. И всѣмъ по мѣрѣ силъ старался сдѣлать зло. Злоба ключомъ кинула въ его сердцѣ, злоба проказничаго чело-вѣка, къ которому никто добровольно не хочетъ прикоснуться. И онъ несомнѣнно задохся бы отъ ненависти, если бы не облегчалъ себя, всеминутно изрыгая потоки клеветническихъ и смрадныхъ словъ.

Тридцати лѣтъ отъ роду онъ уже имѣлъ наружность отживающаго старика. Сухой, словно извѣденный невѣдомыми внутренними бактеріями, съ сторбленною, какъ бы перепиленной спиною, съ трясущимися руками и ногами, съ морщинистымъ и желтымъ, какъ пергаментъ, лицомъ, онъ, казалось, всеминутно готовъ былъ разсыпаться въ прахъ. Но глаза свидѣтельствовали объ его живучести. Это были черныя юношескія глаза, которые горѣли въ своихъ глубокихъ впадинахъ сухимъ и горячимъ блескомъ, наводя на постороннихъ не страхъ и даже не удивленіе, а какую-то щемящую сухоту, какъ будто изъ этихъ глазъ изливался таинственный токъ, который и прочія сердца отравлялъ ненавистью, иссушившею самого Беркутова.

Съ утра до вечера бродилъ Беркутовъ по городскимъ улицамъ, грузно ступая ногами по грязи и опираясь на толстую суковатую палку, которою по временамъ онъ грозилъ, проходя мимо особенно ненавистныхъ ему домовъ. Въ кабаки и харчевни онъ заходилъ охотно, но не для пьянства (хотя и выпить былъ не прочь), а для подстрекательства. Тамъ онъ снималъ съ присутствующихъ формальный допросъ и, узнавъ о притѣсненіяхъ—все равно, дѣйствительныхъ или мнимыхъ,—тутъ же начиналъ дѣло. За труды отъ мады не отказывался, но бралъ умѣренно и житейскія свои потребности довелъ почти до минимума;

такъ что казалось даже удивительнымъ, какъ онъ и въ самомъ дѣлѣ не разсыпается въ прахъ.

Однако-жъ адвокатская специальность далеко не исчерпывала содержанія его дѣятельности. Самою существенною чертою этой дѣятельности, какъ сказано выше, являлась проповѣдь ненависти къ сильнымъ и презрѣнія къ слабымъ. И то и другое онъ выказывалъ громко и не стѣняясь. Сильные тогдашняго тотемскаго міра вообще были нѣсколько позамараны. Это были или мѣстные дворяне, почти сплошь мелкопомѣстные, которые тяготили своихъ крѣпостныхъ, выжимая изъ нихъ послѣдніе соки; или чиновники, которые въ то время во всей Россіи жили не столько казеннымъ жалованіемъ, сколько выдумками собственного изобрѣтенія. Это значительно облегчало Беркутову его пропаганду ненависти, такъ что, какъ ни горѣли представители мѣстной культуры желаніемъ допечь паглаго надругателя, но самая нерѣшительность и робкость, которыя они при этомъ выказывали, въ самомъ корнѣ парализовала ихъ усилія. Что же касается до презрѣнія къ слабымъ, то, конечно, въ этомъ отношеніи ни съ какой стороны препятствій для Беркутова возникнуть не могло.

Замѣчательно, что, несмотря на несомнѣнную каверзность его наружнаго вида, никто надъ Беркутовымъ не издѣвался. Даже мальчишки не бѣгали за нимъ толпами, не кричали и не дразнились, какъ это дѣлалось въ отношеніи другихъ, болѣе обыкновенныхъ пропойцевъ. Какъ будто они понимали, что въ этомъ трясущемся тѣлѣ заключена таинственная сила, которая можетъ въ одну минуту задавить и ихъ самихъ, и присвѣить ихъ, и то «праховосъ» устройство, около котораго дѣлилось ихъ существованіе. Взрослые же тотемцы почти поголовно снимали передъ Беркутовымъ картузы, что доставляло ему неизреченное наслажденіе, такъ какъ онъ зналъ, что не было той души во всемъ городѣ, которая не ненавидѣла бы его.

Ученіе Беркутова было очень просто и выражалось въ слѣдующихъ немпогихъ словахъ: «всѣхъ привести къ одному знаменателю». Именно такъ онъ и говорилъ, какъ бы свидѣтельствуя этимъ, что былъ въ унищѣ и не забылъ о дробяхъ.

Никакихъ разъясненій и развитій это ученіе не требовало. Все оно исчерпывалось въ своей краткой гнусности. Кого нужно было привести къ одному знаменателю?—всѣхъ. Но какими причинами?—по всѣмъ вообще. Что означало

слово: «знаменатель»?—все вообще, что заставляет человека страдать, корчиться от боли, извивать. И плющильный молоток, и «конки», и плеть, и пресловутый «третий пункт», и клевета, и нравственные мучительства и истязания—все на потребу! все в большей или меньшей степени равняет людей перед лицом «знаменателя».

Для чего это нужно?—Беркутовъ никогда на этот вопрос не отвѣчалъ; но видно было, что для него дѣло было вполне ясно. Можетъ-быть, ему представлялась безконечная пустыня, по которой рыскали звѣри и рвали другъ друга зубами. Или, быть-можетъ, передъ глазами его мелькали наполненный атомами хаосъ, изъ темной глубины котораго выступалъ сатана... Во всякомъ случаѣ едва ли даже лично самого себя онъ выдѣлялъ изъ той общей утрамбовки, которую долженъ былъ произвести «знаменатель», похаживая по обывательскимъ головамъ.

Повторяю однако-жъ: Беркутова весь городъ ненавидѣлъ, а въ томъ числѣ и лица, за которыхъ онъ по наружности заступался и отъ имени которыхъ вчиналъ пски и дѣла. Но всего болѣе ненавидѣлъ его чиновники, несмотря на то, что теорія приведенія къ одному знаменателю, по существу, вовсе не противорѣчила вѣльямъ того времени. Очевидно, что атмосфера до того была насыщена всевозможными знаменателями, что слышать это слово отъ какого-то случайнаго поганца стало вѣсьма нестерпимымъ. Поэтому, какъ ни боялись тотемскіе чины разоблаченій Беркутова и какъ ни ошеломляюще дѣйствовала эта боязнь на ихъ отношенія къ «поганцу», тѣмъ не менѣе они все-таки всецѣло старались его дожать.

Тотемскій городничій не разъ призывалъ Беркутова и угрожалъ ему:

— И отъ кого ты, поганецъ, уродился?—кричалъ онъ на него:—и какъ зсмыя тебя, демона, носить, какъ не задохнешься ты въ поскудствѣ своемъ? Вотъ погоди ужъ! сгною я тебя въ острогѣ! сгною, какъ пить дамъ!

И дѣйствительно, отъ времени до времени избобрѣталъ какую-нибудь выдумку и сажалъ Беркутова въ острогъ. А однажды даже и впрягъ едва не «сгноилъ» его въ тюрьмѣ. И вотъ по какому случаю.

Въ то время, относительно доносителей по первымъ двумъ пунктамъ, держались такого рода правила: коли любишь доносить, то люби и доказать свой доносъ (по пословицѣ: «любишь кататься люби и саночки возить»), а покуда не

докажешь—сиди въ острогѣ. Правило это, мудрое и человѣколюбивое, налагало на доносчиковъ известную узду и вполне оправдалось вакханаліями «слова и дѣла», которыя были еще у всѣхъ на памяти. Доносить было и сладко, и жутко. Сладко потому, что доносъ столь блестящій сразу ставилъ доносчика во мнѣніи согражданъ на недосыгаемую высоту; жутко — потому, что тотъ же доносъ, въ случаѣ неудачи, могъ низвергнуть своего автора на самое дно преисподней.

Начальство не любило блестящихъ доносчиковъ. Во-первыхъ, оно по природѣ своей охотѣе утирало слезы, нежели извлекало ихъ; во-вторыхъ, оно отлично понимало, что въ какой-нибудь Тотмѣ не только двухъ первыхъ, но и вообще никакихъ пунктовъ невозможно и предположить. Поэтому обиліе подобныхъ доносчиковъ считалось карою и вреднымъ усложненіемъ административнаго механизма. Въ доносчикахъ тѣмъ охотѣе видѣли безлокойныхъ и даже злонамѣренныхъ людей, что страсть къ доносамъ не ограничивалась какою-либо спеціальностью, но распространялась вообще на все и на всѣхъ. Первые два пункта представляли собой какъ бы лакомство, обыкновенною же пищею для доносовъ служили заурядные поступки уѣздныхъ и губернскихъ чиновъ. Понятно, что послѣдніе пользовались всякимъ случаемъ, чтобы подловить хотя тѣхъ шустрыхъ негодяевъ, которые самонадѣливо пускались въ санникомъ смѣлое плаваніе по безграничному океану ябедничества.

Именно такой грѣхъ случился и съ Беркутовымъ. Какимъ-то образомъ онъ не разсчиталъ себя и, вмѣсто пьедестала, очутился въ острогѣ. На этотъ разъ онъ засѣлъ тамъ уже не на недѣлю и не на мѣсяць, какъ прежде, а на цѣлые годы. Однако-жъ узы не только не пролили мира въ его озлобленную душу, но еще больше ожесточили ее. Если, съ одной стороны, ему періодически напоминали о представленіи доказательствъ, подтверждающихъ сдѣланный имъ доносъ, то, съ другой стороны, онъ отвѣчалъ на эти напоминанія усугубленіемъ ябеднической дѣятельности. Каждый день онъ являлся въ смотрительскую и оттуда наводнялъ присутственные мѣста доносимами и клеветами. Власти смутились. Вышло нѣчто совсѣмъ неожиданное. Заключение Беркутова въ острогъ не только не облегчило движенія административнаго механизма, но чуть было совсѣмъ не затормозило его. Беркутовъ на досугъ всѣхъ обвинялъ: не только людей, находящихся у кормила, но ихъ женъ, своя-

чипиць и снохъ. Чувствовалась потребность, во что бы то ни стало, развязать этотъ узелъ, и наконецъ его развязали тѣмъ, что административнымъ порядкомъ водворили ябедника въ Пошехонь.

Здѣсь его встрѣтилъ тотъ самый городничій, который такъ благосклонно выслушивалъ Андрея Курзалова и дивился его разуму. И встрѣтилъ, надо сказать правду, неблагосклонно.

— Ты у меня смотри!—кричалъ на Беркутова городничій:—ябедничать или доносы писать—и Боже тебя сохрани! У пастъ здѣсь покудова было смирно, такъ ежели что... сгною, поганца, въ острогѣ! какъ шить дамъ, сгною!

Беркутовъ угрюмо выслушалъ эту угрозу и отвѣтилъ на нее тѣмъ, что съ первой же почтой на всѣ пошехонскія власти послалъ обстоятельный доносъ.

И въ Пошехонь началась такая же суматоха, какъ въ Тотмѣ. Но такъ какъ Беркутовъ былъ уже «ябедникъ завѣдомый», то на этотъ разъ административный механизмъ былъ не особенно затрудненъ его дѣятельностью. Прошенія и ябеды его оставались безъ разсмотрѣнія и возвращались ему съ надписью. А городничій, узнавъ изъ этихъ прошеній, что онъ не только мздоимецъ, но и кровососъ, и возвращая ихъ носителю, говорилъ:

— Ужъ сгною я тебя въ острогѣ, поганецъ! убей меня Богъ, коли не сгною!

Беркутовъ задыхался и сохъ. Онъ сознавалъ себя въ положеніи пойманнаго вадка, на которомъ всякій могъ срывать зло, а онъ—ни на комъ. Хотя же онъ и продолжалъ гремять по всѣмъ кабакамъ, что все и всѣхъ необходимо привести къ одному знаменателю, по пошехонцы, убѣдившись, что начальство относится къ нему немилостиво, не только не довѣряли его словамъ, но даже не разъ содѣйствовали его заключенію въ клоповникъ, какъ возмутителя.

Долго ли, коротко ли такъ шло, но мало-по-малу времена измѣнились. И опять-таки къ лучшему.

На городничество прибылъ Стратиговъ и, несмотря на свое калѣчество, сразу понялъ, что Беркутовымъ можно отлично воспользоваться, ежели взяться за дѣло умѣючи. Онъ велѣлъ привести его и, указавъ на костыль, спросилъ:

— Видишь?

— Вижу,—отвѣтилъ Беркутовъ, и что-то въ родѣ улыбки впервые скользнуло на его губахъ.

— Ну, такъ вотъ что. Если ты про меня хоть одно

слово, хоть полслова—въ гробъ, поганца, заколочу! Ни подь судъ отдавать не буду, ни въ острогъ не посажу—самъ, собственными руками... слышалъ?

— Слышалъ. Что кричишь! — сфамиллярничалъ Беркутовъ.

— А коли слышалъ, такъ и намотай себѣ это на усъ. Ну, съ Богомъ! Каждое утро будь здѣсь. И чтобъ все, что въ городѣ... поплять?

На другой день въ «Уединенномъ Пошехонцѣ» появилась передовая статья, въ которой доказывалось, что ошибочно мы называемъ ябедниками и доносчиками тѣхъ, кои отъ усердія о происходящихъ въ городѣ вредностяхъ извѣщаютъ; и что, напротивъ, «всемѣрно необходимо оное рвеніе поощрять, дабы злодѣи и прочіе развратные люди, прежде нежели умыслить въ сердцахъ свою нагубу, напередъ знали, что городническое правленіе объ оной уже увѣдомлено и находится въ ожиданіи».

Передъ Беркутовымъ словно небеса разверзлись. Не то чтобы онъ извѣдалъ Стратигова изъ книжкиней въ его сердцѣ ненависти къ чловѣчеству вообще, но онъ надѣялся доказать ему эту ненависть впоследствии; теперь же рѣшился воспользоваться имъ, какъ подспорьемъ для осуществленія ученія о знаменателѣ. Въ теченіе какого-нибудь мѣсяца, благодаря его извѣстительному рвенію, Пошехонь наполнилось такими преступленіями, о которыхъ самое развуданное пошехонское воображеніе никогда не смѣло мечтать. И—что всего важнѣе—открыватель этихъ фантастическихъ преступленій назывался уже не доносчикомъ, а извѣстителемъ. Но этого мало: постепенно Стратиговъ такъ распалился ревностью, что уже не сдѣлался на свидѣтельство Беркутова, а просто говорилъ: «до свѣдѣнія моего дошло»—и дѣло съ концомъ.

Тѣмъ не менѣе дѣйствія Стратигова были настолько безтолковы и порывисты, что удовлетворить Беркутова не могли. Стратиговъ мздоимствовалъ, дрался и затѣмъ стихалъ, считая себя на время удовлетвореннымъ; Беркутовъ же стремился къ тому, чтобы постепенными мѣрами довести городъ до точки. «Сухоту сердечную лавести надо,—говорилъ онъ:—мглу непроевѣтную, чтобы ни злакамъ, ни плодамъ землянымъ, ни людямъ—ничему бы совершенія не было!»

Сверхъ того Стратиговъ не зналъ, что именно слѣдуетъ защищать и что преслѣдовать; хотя же Беркутовъ пони-



мать въ этомъ случаѣ по больше Стратигова, по все-таки чувствовать, что въ дѣйствіяхъ городничаго существуетъ какой-то изъянъ. Что нѣтъ у него ни ясно сознаниа дѣли, ни общаго плана, который устранялъ бы бесплодную суматоху, а прямо указывалъ бы, куда и зачѣмъ нужно идти. Простая драка, простое мадонство—развѣ за этимъ однимъ гнался Беркутовъ?

Настоящую суть дѣла взялъ на себя разъяснить Язвило (см. выше). Онъ первый изъ представителей власти призвалъ Беркутова благонамѣренѣйшимъ гражданиномъ и сдѣлалъ его своимъ излюбленнымъ человѣкомъ. Съ непрерываемою послѣдовательностью развилъ онъ передъ нимъ и свои дѣли, и свой планъ. Изъ этого изложенія Беркутовъ убѣдился: 1) что, направляя свою дѣятельность преимущественно въ сторону первыхъ двухъ пунктовъ, онъ, въ сущности, игралъ въ руку внутреннему врагу, ибо никакое самое придирчивое изслѣдованіе не въ состояніи было доказать, чтобы въ Пошехоньѣ могли существовать пункты, и слѣдовательно всѣ попытки въ этомъ смыслѣ могли произвестись только безплоднымъ замѣшательствомъ, которымъ внутренний врагъ и не преминетъ воспользоваться для своихъ дѣлей; 2) что идеалы первыхъ двухъ пунктовъ суть вообще идеалы устарѣлыя, обѣдныя результатами и притомъ сопряженныя съ личнымъ рискомъ, въ чемъ онъ, Беркутовъ, и имѣлъ случай убѣдиться лично на своихъ бокахъ; 3) что несравненно удобнѣйшимъ поводомъ для уловленій могутъ служить такъ-называемыя «основы», какъ по растяжимости понятія, ими выражаемаго, такъ и потому, что «основы» затрогиваютъ не столько умъ и чувства человѣка, сколько его шкуру, вслѣдствіе чего человѣкъ мгновенно впадаетъ въ безуміе и лѣзетъ на стѣну; и 4) что, оставивъ ябеду въ своей силѣ, необходимо дать ей другое наименованіе, и что наиболѣе подходящимъ въ этомъ смыслѣ терминомъ является «содѣйствіе общества», такъ какъ терминъ этотъ, независимо отъ благородства, которымъ онъ отличается, еще въ значительной мѣрѣ расширяетъ предѣлы самой ябеды.

Беркутовъ въ совершенствѣ понялъ наставленія своего принципа и въ особенности ту привилегію безнаказанности, которую они въ себѣ заключали. Не теряя времени, онъ отправился по всѣмъ кабакамъ, призывая къ содѣйствію всѣхъ, копъ за шкаликъ готовы были продать свою совѣсть. Благодаря объявленію воли вина, кабаковъ расплодилось

въ городѣ множество, и всѣ съ утра до вечера были полны народомъ. Окруженные со всѣхъ сторонъ винными парами, пошехонцы дѣлались обыкновенно нервные, чутки и проникательны. Поэтому, какъ только Беркутовъ объявилъ, что въ Пошехоньѣ водворился внутренний врагъ, который у обладателей шила отниметъ шило, а у обладателей штановъ — штаны, всѣ пропойцы такъ и ахнули. Тогда Беркутовъ растолковалъ, что надо не медля идти навстрѣчу врагу, дабы пристигнуть въ самомъ его убѣжищѣ,—и всѣ сейчасъ же ходко и горячо откликнулись на призывъ и огласили Пошехонье криками: «карауль! грабятъ!»

Первою жертвою системы «содѣйствія общества» палъ судебный слѣдователь; второю—мѣстный акцизный надзиратель. Затѣмъ жертвы начали попадаться массами. Беркутовъ съ утра растягивалъ сѣть и, зачухавъ въ ней цѣлую уйму «неблагонамѣренныхъ», представлялъ ихъ въ полицейское управленіе на зависящее распоряженіе.

Тѣмъ не менѣе, какъ ни ловокъ былъ Язвило въ дѣлѣ подсиживанія обывателей и какъ ни усердно помогалъ ему Беркутовъ—въ результатѣ все-таки получилась сумятица. Перинетія этой сумятицы описаны выше; здѣсь же слѣдуетъ прибавить, что Язвило до того увлекся своимъ «предпріятіемъ», что самъ позѣрилъ обилію скопившихся въ Пошехоньѣ горючихъ матеріаловъ и, испугавшись могущаго послѣдовать отъ сего для Россійской имперіи ущерба, совершенно искренно испрашивалъ у начальства благомысливаго разрѣшенія на срытіе города Пошехонья до основанія. Но на этотъ разъ Беркутовъ не только не раздѣляя мнѣнія Язвила, но даже послалъ на него доносъ, обзывая своего милостивца полякомъ и измѣнникомъ и обвиняя его въ произведеніи бесплодной суматохи, въ угоду «ржонду». При чемъ совершенно резонно присовокуплялъ, что ежели всѣхъ обывателей города Пошехонья безужно истребить, то кого же на будущее время сыскивать и на воюго сухоту наводить онъ будетъ?

Принять ли былъ во вниманіе беркутовскій доносъ и даже былъ ли онъ разсмотрѣнъ — неизвѣстно; но Язвило недолго наслаждался плодами произведеннаго имъ спасительнаго междоусобія. Начальство не только оставило безъ уваженія его ходатайство о срытіи Пошехонья, но его самого «за сію негнѣную зачѣю» уволило отъ должности.

На мѣсто Язвила назначенъ былъ Груздевъ.

Прибыть въ городъ, онъ созвалъ пошехонцевъ и молча угрозилъ имъ пальцемъ.

Затѣмъ, дабы сейчасъ же познакомить обывателей съ программю будующихъ своихъ дѣйствій, Андрея Курзанова истребилъ, а Беркутова возложилъ на лоно.

### Вечеръ пятый. ПОШЕХОНСКОЕ «ДѢЛО».

Будучи отъ рожденія пошехонскимъ гражданиномъ, я съ удовольствіемъ дѣлаю періодическія экскурсіи въ эту страну. Сколько лѣтъ я на свѣтѣ живу, столько же времени и знаю ее. Знаю ее крѣпостною, знаю и реформенною, знаю и теперь, готовою возродиться вновь, или, какъ нынче принято говорить, отъ мечталій перейти къ дѣлу. Замечались, видите, пошехонцы, закружились у нихъ буйныя головы—натурально, пора за дѣло молодцовъ засадить. Принимайтесь, господа, принимайтесь! а дальнѣе видно будетъ, какъ съ вами поступить.

Все мнѣ въ этой странѣ родственно и достолюбезно. Дороги мнѣ и выбухшіе ея пески, и болота, и хвойныя лѣса (увы! нынѣ значительно порѣдѣвшіе); но въ особенности мнѣ поселяющій ее людъ, простодушный, смиренный, слегка унылый, или, лучше сказать, какъ бы задумавшійся надъ разрѣшеніемъ какой-то непосильной задачи. Всегда онъ былъ такимъ, во всѣхъ положеніяхъ; всегда шелъ безотговорочно и впередъ и назадъ, принимая къ свѣдѣнію и руководству всевозможные уроки и задачи, и въ то же время какъ бы говоря себѣ: посмотримъ, какая-то изъ этого поваго хлѣба лебеда выйдетъ! Слышалась ли въ этомъ вопросѣ робкая иронія, или онъ былъ только невольнымъ выраженіемъ исполошившагося инстинкта самосохраненія—я не берусь объяснить. Но могу сказать достоверно, что когда водворялись новыя порядки и создавались новыя положенія, то они всегда находили пошехонца готовымъ приспособиться къ приносимой ими новой лебедѣ съ тою же податливостью, съ какою онъ искони приспособлялся къ лебедѣ всѣхъ временъ...

Случались, конечно, между пошехонцами и недоразумѣнія (приспособляются-приспособляются, да вдругъ и станутъ втулнѣть), или, какъ въ старину выражались, «бунты», но никто до сихъ поръ въ этихъ «бунтахъ» разобрался не

могъ. Что такое ихъ порождаетъ, экономическія ли причины, политическія ли, или религиозныя—ни одинъ компетентный исследователь пошехонской пародности на этотъ вопросъ ясно не отвѣтилъ. Хотя же господа исправники и утверждаютъ, что всѣ бунты происходятъ отъ зачинщиковъ, но, по моему мнѣнію, такое объясненіе черезчуръ уже просто, а потому и неимовѣрно. Поэтому я съ своей стороны предлагаю такую догадку: пошехонецъ бунтуетъ, когда у него шкура болитъ; но когда онъ, при посредствѣ вразумленій, убѣждается, что стѣнать только пересторѣтъ, и шкура отболитъ сама собою, тогда онъ бунтовать перестаетъ.

Бывали минуты, когда пошехонская страна приводила меня въ недоумѣніе; но такой минуты, когда бы сердце мое перестало болѣть по ней, я рѣшительно не запомню. Бѣдная эта страна,—ее надо любить. Ничто такъ естественно не вызываетъ любви, какъ бѣдность, угнетенность, скорбь и злосчастіе вообще. Любовь сама по себѣ есть чувство радостное и свѣтлое, но въ большинствѣ примѣненій въ нее громаднымъ элементомъ входитъ желаніе. Оно дѣлаетъ любовь дѣятельной и внушаетъ ей подвиги высокаго самоотверженія; оно наполняетъ человѣческую жизнь стравою и въ то же время заставляетъ человѣка стремиться къ этой стравѣ, жадать ея, видѣть въ ней завѣтнѣйшую цѣль лучшихъ помысловъ души. Даже совѣтъ дряблыя и закоченѣвшія сердца—и тѣ находятъ въ глубинахъ своихъ искру, которая не только побуждаетъ ихъ устремляться навстрѣчу злосчастію, но и ихъ самихъ согрѣваетъ и растворяетъ! Бѣдные! бѣдные! бѣдные!—вотъ мысль, которая можетъ переполнить все существо, переполнить до краевъ, не давая мѣста ни другой мысли, ни другому чувству. Эта робкая боль, сказывающаяся всюду, эти подавленные стоны, волной переливающіеся изъ края въ край,—могутъ замучить. Они призываютъ къ суду человѣческой совѣсти тѣни прошлаго; побуждаютъ ее разбираться въ томъ, что казалось позабытымъ, канувшимъ въ вѣчность; заставляютъ чего-то искать, какихъ-то лучей, на которыхъ можно было бы успокоиться... Искать, искать... и не находить. Не потому не находятъ, чтобы все прошлое было сплошнымъ темнымъ пятномъ, а потому, что нѣтъ того солнца, котораго лучи не погаскнѣли бы въ глубинахъ безразсвѣтной ночи, называемой человѣческимъ злосчастіемъ. Спрашивается: при такихъ неусыпающихъ мученіяхъ совѣсти

естественно ли, чтобы мысль переносилась на почву иных (хотя бы высших и мировых) вопросов, а не создала себя безповоротно прикованною къ тѣмъ непосредственнымъ отравамъ, которыя и свидѣтельства пропалаго, и перспективъ будущаго—все окутываютъ непроницаемымъ флеромъ?

Мы переживаемъ время суровыхъ, но безплодныхъ поученій. Всѣ какъ будто проснулись отъ пьянаго сна и впервые встрѣтились лицомъ къ лицу съ какою-то безнадежною, почти фантастическою дѣйствительностью. Отсюда—всеобщее изумленіе, поголовный страхъ. Именно только изумленіе и страхъ, потому что бросившійся въ глаза хаосъ не вызвалъ въ насъ рѣшимости разобраться въ немъ, не указалъ на необходимость отдѣлать слѣдствія отъ причинъ, согласовать накопившіяся жизненные противорѣчія и установить отправные пункты для будущаго жизнестроительства, а только пробудилъ какое-то спутанное чувство, которое и овладѣло умами съ неудержимою силой.

Спутанное чувство и формулу намло для себя спутанную. «Прочь мечтанія! прочь волшебные сны! прочь фразы! Пора наконецъ за дѣло взяться!»—вотъ эта формула. Какія мечтанія, какіе сны, какія фразы—неизвѣстно! Почему эти мечтанія, сны и фразы оказались безплодными: потому ли, что они сами въ себѣ не заключали зерна жизни, или потому, что это зерно было погублено сложившимися условіями,—тоже неизвѣстно. И наконецъ, въ чемъ заключается дѣло, за которое пора взяться,—и объ этомъ никто не говоритъ.

Однимъ словомъ, всѣ жалуются и вопіютъ, что «фраза» завла нась, всѣ настаиваютъ на ея истребленіи и всѣ на ея мѣсто предлагаютъ... такую же фразу! И въ довершеніе—фразу советамъ не новую, а засиженную, истрепанную, почти истлѣвшую подъ наслоеніями пыли и илѣсени. Фразу, которую въ любомъ архивѣ на любой полкѣ можно прочесть въ безконечномъ разнообразіи редакцій...

Тѣмъ не менѣе мысль о необходимости перехода отъ мечтаній къ «дѣлу», повидимому, оказалась настолько по плечу нашей «отрезвившейся» современности, что сомнѣваться въ предстоящей ей блестящей будущности нѣтъ возможности.

Во всѣхъ трактирахъ и харчевняхъ разомъ раздалось такое множество трезвенныхъ голосовъ, что въ общей су-

мятицѣ трудно различить, гдѣ кончается простое пустословіе и гдѣ начинается подсиживание. Всѣ требуютъ «дѣла», говорятъ о «дѣлѣ», получаютъ, убеждаютъ, негодуютъ на тему: дѣла, дѣла и дѣла! Публицисты едва поспѣваютъ формулировать народившіяся требованія, пожеланія и аспираціи. Одинъ восклицаетъ: «прочь дурныя фантазмагоріи, этотъ гнилой плодъ дурныхъ страстей! прочь несбыточные и неосуществимыя ожиданія! да проглянетъ лучъ свѣта въ темную ночь мечтаній! да восторжествуетъ здравый смыслъ!» Другой, положивъ руку на сердце, излагаетъ: «Эпоха мечтаній, повидимому, миновалась—и слава Богу! Злоба для измѣнила характеръ свой и изъ области блестящихъ, но туманныхъ порываній вывела общество въ область простаго, но яснаго и всѣмъ доступнаго дѣла. Будемъ же избрны этой вновь народившейся потребности общества и выѣсть со всѣми желающими отечеству процвѣтанія воскликнемъ: да исчезнутъ мечтанія! да здравствуетъ суровое, но плодотворное дѣло!» Третій наивпо подхватываетъ: «А что въ самомъ дѣлѣ! не попробовать ли намъ обвагиться къ дѣлу? Авось либо...» и т. д.

И затѣмъ, наговорившись досыта, и публицисты, и устные представители общественнаго задора, какъ бы обращаясь къ невидимому оппоненту, едиными устами возглашаютъ: «къ чему привели насъ мечтанія?—ни къ чему!» И вся окрестность вторитъ имъ: «ни къ чему!» И доли, и горы, и поля, и луга—все, какъ одинъ, вопіетъ: «ни къ чему! ни къ чему! ни къ чему!»

Но, какъ уже замѣчено выше, ни въ трактирахъ, ни въ публицистикѣ никто до сихъ поръ не обмолвился, въ чемъ же должно заключаться «дѣло», котораго вождѣютъ всѣ сердца; никто не назвалъ его по имени. Воображенію представляется нѣчто въ родѣ пирога, который покуда стоитъ въ духовомъ шкапу и поспѣваетъ. Когда онъ зарумянится, его вынуть и подать: кушайте!

Такіе внезапные вслохои человѣческой мысли въ особенноти любопытны въ психологическомъ отношеніи. Иной разъ думается, что слово сказано не понимаячи, —анъ оно сказано не только «понимаячи», но и съ намѣреніемъ подсидѣть; въ другой разъ—наоборотъ. Думаешь—думаешь, стараешься разобратъ, и все выходитъ: понимаючи—не понимаючи, не понимаючи—понимаячи. Самое лучшее въ такихъ случаяхъ—уйти отъ грѣха. Потому что если вокругъ всѣ скдономъ кричатъ: довольно мечтаній! довольно!—то тутъ

и самый скромный человек невольно скажет себя: а что из самого дѣла... авось...

— Объ «дѣлѣ» надо сказать такъ: какое дѣло и въ какое время! — говорилъ мифъ на-дняхъ отставной безыщабный совѣтникъ Рогоуля. — И дѣла надо требовать съ осторожностью. Иное дѣло на взглядъ совѣтъ плѣвое, а, смотришь, негодволь оно округляться начинаетъ. Округляется да округляется, и вдругъ — вонъ оно куда пошло!

Повторю однако-жь: представленіе о «дѣлѣ» не только не новость въ исторіи нашей цивилизаціи, но, напротивъ, составляетъ существеннѣйшую часть всего ея содержанія.

По крайней мѣрѣ такъ неконно было у насъ въ Пошехоньѣ. Благодаря отсутствію мечтаній, пошехонская страна поражала своей несокрушимостью; благодаря тому, что въ ней никогда не замѣчалось недостатка въ «дѣлѣ», — она удивляла изобиліемъ.

О несокрушимости пошехонской я говорить не буду, потому что считаю себя въ этомъ вопросѣ некомпетентнымъ, но о такъ-называемомъ пошехонскомъ изобиліи побесѣду съ охотою.

Многіе и до сихъ поръ повѣствуютъ, что было время, когда пошехонская страна кишѣла млекою и медою. «Арсеній Иванычъ, — говорятъ они: — при ста душахъ самъ-четыредесятъ за столъ каждый день садился — а какъ жила!» Или: «У Анны Мосевны всего одна ревизская дупа была, да и та бездѣтная, а жила же!» И, сдѣлавши эти посылки, считаютъ себя вноси́тъ правыми.

Что касается до меня, то хотя я остаюсь при особомъ мнѣніи насчетъ подлинности и размѣровъ пошехонскаго изобилія, но долженъ все-таки признать, что лѣтъ тридцать тому назадъ жилось здѣсь какъ будто ходяче. Дѣйстви-тельно что-то такое было въ родѣ полной чаши, напоми-навшей объ изобиліи. Но когда я спрашиваю себя, на чью собственную долю выпадало это изобиліе? — то, по совѣсти, вынужденъ сознаться, что оно выпадало только на долю потомковъ лейбкамнаницевъ, истонниковъ и прочихъ дружинниковъ, и что подлинныя пошехонцы участвовали въ немъ лишь воздыханіями. Какимъ же образомъ это привилегированное изобиліе достигалось тѣмъ, на долю которыхъ оно выпадало? — на этотъ вопросъ все Пошехонье, навѣрное, въ одинъ голосъ отвѣтитъ: «дѣломъ». Ибо старые дружинники не только понимали, въ чемъ состоитъ «дѣло», но и умѣли раздѣлить его на двѣ части. Сами взяли въ руки жезлъ, а

аборигенамъ предоставили проливать потъ и слезы. И дѣло не только шло какъ по маслу, но и творило подлинныя чудеса. Изъ конца въ конецъ кишѣла пошехонская земля слезами и потомъ, какъ рѣка въ полую воду, и, благодаря этому кишѣнію, пески превращались въ плодородныя ивы, болота — въ луга, а Анна Мосевна могла благодумствовать при одной ревизской дупѣ. И такъ ловко пользовались дружинники этимъ своеобразнымъ изобиліемъ, что и впрямь казалось, что ему конца-краю нѣтъ. Ужели это было мечтаніе, а не «дѣло»?

Въ началѣ пятидесятыхъ годовъ потомки лейбкамнаницевъ начали задумываться. Крѣпостное право было еще въ самомъ разгарѣ, но въ самой совѣсти счастливыхъ дружинниковъ произошло раздвоеніе. Ряды посѣдѣлыхъ въ бояхъ истонниковъ постепенно рѣдѣли и пополнялись молодыми дружинниками, которые не имѣли ни прежней цѣльности міросозерцанія, ни прежней жры въ крѣпостное право и его творческія силы. Это были люди колеблющіеся, не чуждые зачатковъ пробуждающейся совѣсти, но больше всего чистоплотные. Чуть-чуть въ то время «мечтанія» не заполонили «дѣла». Но Богъ спасъ. Новые дружинники слишкомъ много любили досугъ, лакомства и комфорта жизни, чтобы отказаться отъ «дѣла», которое ихъ доставляло. Натворивъ тьму-тѣмную всякаго рода несообразностей, то умывая руки и доказывая свою непричастность къ крѣпостному строю, то цѣпляясь за него, они, послѣ цѣлаго ряда безсильныхъ и живыхъ потугъ, пришли къ убѣжденію, что ихъ личное участіе въ пошехонскихъ судьбахъ можетъ только поколебать установившуюся традицію объ изобиліи пошехонской страны. И, убѣдившись въ этомъ, въ одно прекрасное утро, какъ тати, исчезли изъ наснаженныхъ предками гнѣздъ, предоставивъ довѣреннымъ Финагичамъ и Прохорычамъ продолжать исконное трезвенное пошехонское «дѣло», а плоды его высылать имъ по мѣсту жительства. И Финагичи не положили охулки на руку. Это было самое горькое время для пошехонцевъ-аборигеновъ, ибо они были обязаны дѣлать «дѣло» противъ прежняго вдвое: разъ — во имя интересовъ дружинника и два — во имя интересовъ его замѣстителя. Ужели и это было мечтаніе, а не «дѣло»?

Наконецъ, когда пошехонецъ окончательно весь вы-плетѣлъ, надорвался и отоцалъ, — наступило «время, всѣхъ освящающее». Изъ человека кабалнаго пошехонецъ вдругъ

шагнулъ въ «меньшіе братья». Противъ этой клячки онъ точно такъ же не прекословилъ, какъ не прекословилъ и противъ другихъ безчисленныхъ клячекъ, съ незапамятныхъ временъ на него сыпавшихся. И только тогда, когда увидѣлъ себя замураваннымъ въ «падѣль», какъ будто задумался. И опять, не то иронически, не то маниакально, спросилъ себя: «посмотримъ, какая изъ этого выйдетъ лебеда?»

Снова «мечтанія» едва не заполонили «дѣла». Но мечтанія странныя, чисто пошехонскія. А именно: чайли жито лопатами загребать, а по какому случаю — неизвестно. Разумѣется, случилось нѣчто совсѣмъ неожиданное: не пришлось не только за лопаты браться, но и на пригоршню жита не хватило.

Житницы дружинниковъ заустѣли, житницы «меньшихъ братьевъ» не наполнялись. Какимъ образомъ произошло явленіе столь изумительное, доказывавшее, что досугъ въѣсто изобилія приводитъ за собой скудость, — объ этомъ покуда не велѣно сказывать. Но достоверно, что оно совершилось у всѣхъ на глазахъ и удивило даже самихъ ничему не удивляющихся пошехонцевъ. Земля была все та же, и пошехонецъ на ней — все тотъ же, простодушный, во всякое время готовый источать потъ; но плоды земные словно стоворились: перестали дѣлать изъ земли да и шабантъ. Надо всѣмъ царить какой-то загадочный вопросъ, который, повидимому, связывалъ руки, мѣшалъ воздѣлывать, сѣять, жать.

Разрѣшеніе загадки, впрочемъ, не заставило себя ждать и осуществилось въ лицѣ Деруновыхъ, Колупаевыхъ и Рауваевыхъ. Эти шустрые люди отлично поняли, что «меньшіи братья» засовался, и что прежде всего его слѣдуетъ «остепенить». Или, говоря другими словами, необходимо дать пошехонскому поту такое примѣненіе, благодаря которому онъ ляжетъ бы столько же изобильно, какъ при крѣпостномъ правѣ, и въ то же время назывался бы «вольнымъ» пошехонскимъ потомъ. Но замѣчательно, что, принимая осуществленіе этой задачи, Колупаевы не принесли съ собой ничего, что могло бы хотя отчасти оправдать ихъ претензіи, — ни усовершенствованій, ни знаній, ни новыхъ приемовъ, а озаботились только объ одномъ: чтобы аборигенъ какъ можно аккуратно уперся лбомъ въ стѣну. Вотъ это-то именно они называли «дѣломъ». И не скрывали этого, но шли въ походъ, восклицая, подобно

нынешнимъ трезвеннымъ людямъ: «прочь мечтанія! прѣчь фразы! да здравствуетъ дѣло!»

И все, какъ нарочно, сложилось такъ, чтобы увѣличить ихъ предпріятіе успѣхомъ. И купленные за гроши западѣльные обрѣзки, и надѣлы, устроенные на манеръ западной, и распивочная продажа вина, — все устроилось на потребу потомку древнихъ гужеѣдовъ и на пагубу пональцу-кормильцу пошехонской земли. Въ скоромъ времени меньшіи братья увидѣли себя до такой степени изловленнымъ, что мысль о непрерывности даней, составлявшая основной элементъ его крѣпостного существованія, вновь предстала передъ нимъ, какъ единственный выходъ, приличествующій его злосчастью. И предстала тѣмъ съ болѣею ясностью и неизбежностью, что самый процессъ принесенія даней уже имелся вольнымъ, а не принудительнымъ. Очевидно, что и это было совсѣмъ не мечтаніе, но «дѣло», горше изъ всѣхъ «дѣлъ».

Тѣмъ не менѣе представленіе объ изобиліи пошехонской страны, однажды поколебленное, уже не возстановилось. До такой степени не возстановилось, что нынѣ многіе начинаютъ сомнѣваться, дѣйствительно ли оно когда-нибудь существовало, и не смѣнивали ли его съ изобиліемъ пошехонской мужицкой сипши. Сама земля явилась съ нѣмымъ протестомъ противъ насилій, которымъ подвергала ее колупаевская невѣжественная орда. Съ каждымъ годомъ нѣдра ея поступаютъ скуднѣе и скуднѣе, хотя кабальный пошехонецъ безъ усталы продѣлываетъ, за счетъ Колупаева, все тотъ же изнурительный процессъ, который продѣлывали его отцы и дѣды за счетъ счастливаго лейбкампанца... А Колупаевъ сидитъ, ничего не разумючи, за стойкой въ кабацѣ да по-дурачки покрикиваетъ: «довольно мечтаній! довольно фразы! за дѣло!»

Такимъ образомъ оказывается, что мысль о «дѣлѣ», которая такъ настойчиво волнуетъ современное русское общество, у насъ, въ Пошехоньѣ, не только не составляетъ новосты, но неконь служила единственнымъ составнымъ элементомъ, на которомъ созидалось и утверждалось наше пошехонское житіе. Такъ что ежели и случались экскурсіи въ область мечтаній и фразы, то экскурсіи эти занимали какъ разъ столько времени, сколько требовалось для того, чтобы переходъ отъ одной формы «дѣла» къ другой не казался чересчуръ рѣзкимъ.

Но что всего замѣчательнѣе — представленіе о «дѣлѣ» послѣ каждой экскурсіи не только не смягчалось, но стало повилось все суровѣе и суровѣе. Ибо, по старинному обычаю пошехонскому, всякая новая форма «дѣла» требовала не простого подчиненія ей, но подчиненія, сопровождаемаго приличествующимъ острененіемъ.

Я помню, въ одну изъ такихъ эпохъ, когда кратковременная экскурсія въ область мечтаній и фразъ только-что завершилась, пришлось мнѣ быть въ «своемъ мѣстѣ» по «своему дѣлу».

Не буду говорить о томъ, сколько разъ и съ какою силою скало мое сердце при видѣ родного гнѣзда, какъ нахнуло на меня ароматами юности, какъ я внезапно почувствовалъ себя добрѣе, бодрѣе, свѣжѣе и т. д. Обо всемъ этомъ неоднократно и болѣе искусными руками было засвидѣтельствовано въ русской литературѣ, и моя рука ни одного штриха въ этой картинѣ ни прибавить, ни убавить не можетъ. Начну прямо съ того, что въ «своемъ мѣстѣ» всякое дѣло дѣлается беспорядочно, урывками, или, лучше сказать, занятіе дѣломъ беретъ известную сумму минутъ, раздѣленныхъ между собою часами и сутками. Сегодня пришелъ Прохорычъ — онъ и согласенъ бы, да подумать надо; завтра пришелъ Фишагенчъ — этотъ и согласенъ, и несогласенъ, но во всякомъ случаѣ ему надо къ зятю за сорокъ верстъ съѣздить, чтобы рѣшительный отвѣтъ дать; на послѣзавтра ждали кунца Кабальникова, а онъ совсѣмъ не явился: «ломается, старый песъ, очумѣлъ отъ денегъ». Эти часовые и суточные промежутки, посвящаемые исключительно праздной ходьбѣ взадъ и впередъ по комнатамъ, тянутся необыкновенно томительно.

Чтобы скоротать время, можно бы сельскаго батюшку пригласить, но гражданскаго разговора онъ не понимаетъ, а о мужицкихъ дѣлахъ говорить брезгаетъ. Такъ что ежели нѣтъ на столѣ закуски (батюшка, для продолженія времени, въ каждый кусокъ не меньше двухъ разъ вилокъ тычетъ, какъ будто сразу захватить не можетъ), то обѣ стороны чувствуютъ себя стѣнительно.

Поэтому я очень обрадовался, узнавъ, что еще не всѣ бывшіе дружинники разбѣжались изъ своихъ гнѣздъ, и что во главѣ несбѣжавшихъ находится и старый мой знакомый, Артемій Клубковъ.

Я завидѣлъ Клубкова очень давно и въ весьма благоприятномъ, сравнительно, положеніи. Онъ служилъ при гу-

бернаторѣ чиновникомъ особыхъ порученій, но казенной службой не особенно отягощался (на него возлагали только такъ-называемыя «искотливыя» дѣла), преимущественно возлежалъ на логѣ у губернатора и выполнялъ порученія губернаторни. Сверхъ того онъ былъ великій мастеръ по части всякаго рода увеселеній, такъ что ни одинъ клубный балъ, ни одинъ загородный пикникъ, ни одинъ благотворительный спектакль не обходились безъ того, чтобы онъ не являлся главнымъ распорядителемъ. Наружность онъ имѣлъ довольно ординарную, но одѣвался чисто и знатно, кому и чѣмъ услужить. И въ то же время умѣлъ пользоваться привилегіями, которыя доставляли ему роль распорядителя увеселеній, съ тою же ловкостью, съ какою пользуется своими привилегіями первый балетный сюжетъ, на обязанности котораго лежить держать на вѣсу балерину въ то время, когда она всѣмъ корпусомъ изгибается, чтобы увидѣть свои собственные выткы. Поэтому между нимъ и губернскими дамочками установились какія-то особенныя, какъ бы служебныя отношенія, въ силу которыхъ послѣднія хотя и не увлекались имъ, но и противодействовать не дерзали.

— Клубковъ! вы мнѣ дадите роль въ «Отцѣ какихъ-то малю»?

— А какая будетъ за это награда?

— Ахъ, противный!

И вотъ, по манію Клубкова, безъ предварительныхъ ухаживаній и разговоровъ, дамочкинъ «семейный союзъ» разлетѣлся въ прахъ...

Всѣмъ этимъ относительно благополучіемъ Клубковъ былъ обязанъ исключительно самому себѣ или, лучше сказать, своимъ натуральнымъ качествамъ. Образование онъ получилъ «домашнее», то-есть, по достиженіи восемнадцати лѣтъ, прямо съ отеческой конюшни, перешелъ въ кавалерійскій полкъ юнкеромъ и тянулъ тамъ ляжку до поручичьяго чина, послѣ чего опредѣлился къ штатскимъ дѣламъ. Въ матеріальномъ отношеніи онъ тоже былъ плохо обезпеченъ, потому что отецъ его хотя и не былъ въ тѣсномъ смыслѣ слова мелкопомѣстнымъ (у него было 80 душъ крестьянъ при четырехстахъ десятинахъ земли), но дѣлиться съ сыномъ могъ лишь въ самыхъ ограниченныхъ размѣрахъ. Тѣмъ не менѣе у Артемія всегда водилась вольная денюга, и хотя нѣкоторые приписывали это его привилегированному положенію при губернаторѣ, но это

было только отчасти справедливо. Знаюкъ по лошадиной части, онъ занимался барышничествомъ и на этомъ дѣлѣ выгадывалъ въ свою пользу не одинъ лишній рубльничко.

Отецъ Клубкова былъ однимъ изъ тѣхъ прозорливыхъ помещенцевъ, которые всегда предпочитали «дѣло» мечтаніямъ. Онъ отлично понималъ, что въ жизни дружинника «дѣломъ» можетъ быть названо только то, что доставляетъ матеріальный прибытокъ, а въ жизни кабатнаго человѣка — только трудъ. Все остальное называлось мечтаніемъ и могло только мѣшать «дѣлу». Исходя изъ этого разсужденія, онъ разсчиталъ, что трудъ крѣпостного крестьянина до известной степени не изытатъ отъ мечтаній, и что только трудъ крѣпостного двороватаго человѣка всецѣло принадлежитъ помѣщику. Поэтому онъ, еще задолго до эмансипаціи, устроилъ у себя при усадьбѣ фаланстеръ, въ который и заточилъ всѣхъ крестьянъ, а вслѣдъ затѣмъ записалъ ихъ въ ревизію подъ наименованіемъ дворовыхъ. Выдумка была выгодная и удалась вполне. Во-первыхъ, и крестьянскія избы, и крестьянскіе животы — все пошло въ пользу Клубкова; а во-вторыхъ, вся рабочая сила имѣнія была у него теперь подъ рукою, и урвать хотя минуту изъ принадлежащаго помѣщику времени не стало возможности. Правда, что съ этихъ поръ клубковскіе крестьяне получили наименованіе «каторжныхъ», но самого Клубкова большинство сосѣднихъ дружинниковъ звало «умницею» и дѣлягой, и только очень немногіе называли «злодѣемъ».

Такъшло дѣло до упраздненія крѣпостного права. За это время Клубковъ успѣлъ довести свое хозяйство до возможно-цвѣтущаго состоянія и въ моментъ освобожденія, когда прочіе его собратья отчасти лукавили, отчасти ронтали, онъ съ самодовольствомъ видѣлъ, что лично для него крестьянскій вопросъ разрѣшился какъ бы самъ собою. Ни уставныхъ грамотъ онъ не составлялъ, ни надѣловъ не отрѣзывалъ, а спокойно воспользовался предоставленнымъ ему правомъ на двухлѣтній трудъ «дворовыхъ» людей и, по истеченіи льготнаго срока, распустилъ дворню и началъ жить по-новому.

Артемій въ это время еще служилъ и съ дѣяніямъ отца относился какъ-то загадочно. Въ большинствѣ случаевъ онъ избѣгалъ говорить объ немъ, но, въ сущности, очевидно, понималъ, что отецъ его дѣлаетъ «дѣло». Быть-можетъ, косвенно онъ даже содѣйствовалъ этому «дѣлу», такъ

какъ даже въ то суровое время устройство открытой каторги было вѣнцомъ не совсемъ обмолвленною и едва ли могло бы осуществиться безъ секретной поддержки. Затѣмъ прошло три-четыре года по упраздненіи крѣпостного права; Артемій Клубковъ вдругъ куда-то исчезъ. Говорили, что отецъ его умеръ, и что сынъ отправился въ «свое мѣсто» дѣлать «дѣла». Прибавляли, что онъ женился, облекся въ полушубокъ и завелъ въ самомъ господскомъ домѣ постоялый дворъ, съ продажей расписочно и на-выносъ, и при немъ лавку съ крестьянскимъ товаромъ. Что онъ самолично присутствуетъ въ кабацѣ, а жену посадилъ въ лавку, что поля содержитъ у него въ порядкѣ, какъ было при отцѣ, что вообще онъ исключительно поглощенъ «дѣломъ», а мечтаніями не только не увлекается, но совершенно ихъ игнорируетъ.

Приблизительно эти же свѣдѣнія получилъ и о Клубковѣ и теперь. Разспрашивая объ немъ старосту Андрея Иваныча, я узналъ, что Артемій положительно страхнулъ съ себя ветхаго человѣка и весь предался продажѣ и куплѣ. Имѣніе свое онъ ловко округлилъ, скупая у сосѣднихъ владѣльцевъ земельные обрѣзки, которые прилежали къ его дачѣ: Благодаря этому у него было теперь и лѣску довольно, и пустошныхъ покосцевъ вволю, а собственную землю онъ всю раздѣлялъ подъ пашню, которая приносила не убытокъ, а доходъ. Но главную прибыльную статью его бюджета составляло дробное ростовничество, которое онъ развелъ въ такихъ размѣрахъ, что чуть не всю округу зануталъ въ своихъ сѣтяхъ. Уму его всѣ удивлялись.

— Главная причина, — говорилъ староста Андрей Иванычъ: — на настоящее дѣло попалъ и настоящимъ маперомъ его ведетъ. Нѣтъ нужды, что баринъ.

И затѣмъ, развивая свой тезисъ дальше, продолжалъ:

— Онъ всякую вещь сначала понюхаетъ да на свѣтъ посмотритъ; а потомъ ужъ и настоящее мѣсто ей опредѣлитъ. Деготь ли, сало ли, яйцо, перо, мукъ — все онъ сейчасъ сообразитъ. И ежели что сказалъ — законъ. Сказалъ: рупь — рупь и бери; сказалъ: полтина — бери полтину. Вещь-то она, можетъ, два рубля стоить, а онъ ее за полтину приспособитъ. И одѣвается онъ по-русски, чтобы способнѣе было.

— Такъ это-то и есть настоящее «дѣло»?

— Оно самое. Нонче ужъ и господа моды-то бросялъ,

за дѣло принялись. Только не всё умѣють, а отъ умѣють. Вонъ Григорій Александрычъ — недалеко ходить — и жадности, и ненависти, всего въ немъ довольно, а не умѣють да и шабангъ.

— Да неужто Григорій Александрычъ еще живъ?

— Живъ, только ума въ немъ ни капли не осталось. Все мужичья воля взяла, одни скверныя слова оставила. Онъ бы давно, какъ комаръ, сгибъ, да Клубковъ его еще побаловываетъ: кой мучки, кой чайку-сахарку пришлетъ — этимъ и живетъ.

— А богатъ Клубковъ?

— Денегъ у него прорва, только всё распуцены. Весь капиталъ у него кругомъ да около, а онъ посередкѣ похаживаетъ. Вся наиа округа его. Ничего у насъ нынче собственнаго нѣтъ. Все равно какъ въ старину, когда крѣпостные были: захочетъ господинъ — твое; не захочетъ — вези или веди на господскій дворъ!

— Однако онъ васъ пристигъ-таки!

— Совсѣмъ окружилъ. Точно онъ каждого въ грѣхъ засталъ. Захочетъ — простить, захочетъ — выдать.

— И весело ему живется?

— Сначала, какъ прѣхалъ въ усадьбу, очень сердился. Все за то, что мужика на волю выпустили. «Въ кандалы бы, говорить, его законать надо, анъ вмѣсто того вонъ чтѣ сдѣлал!» Однако годика черезъ два осмотрѣлся, сталъ хвалить. «И хорошо, говорить, что ихъ на всё четыре стороны пустили: они сами себѣ прочнѣе прежнихъ кандалы выкують!»

— А семья у него велика?

— Жена да двое сыновъ — только и всего. Характеръ ему отъ родителя клубковскій достался — только гдѣ покойному противъ него! Старикъ все-таки хоть сколько-нибудь жалѣнья имѣлъ. Людички-то свои, крѣпостные, были, такъ ежели ихъ совсѣмъ-то покалѣчить — выгоды нѣтъ. А нынче они — вольные. Одного покалѣчить — другой, замѣсто его, изъ земли выростъ. Гдѣ спина, тамъ и вина.

Свидѣнія эти настолько меня заинтересовали, что на другой день, въ десять часовъ утра, я былъ уже въ Береговомъ (такъ называлась усадьба Клубкова).

Усадьба стояла особнякомъ, у самой большой дороги, обращаясь переднимъ фасадомъ къ тракту, а задомъ упираясь въ небольшое озеро, которое представляло ей съ этой стороны какъ бы натуральную защиту. И вправо, и

влѣво, и впереди тянулись поля, и ни одного даже тощаго лѣска верстъ на пять. Усадьба была видна издаиска, какъ на ладони, да и изъ нея во все стороны далеко видно было. Строснѣй имѣлось достаточно, и всё прочныя, одно къ одному. Характеръ построекъ былъ купеческій, средней руки, безъ претензій на красоту и даже на удобства, но зато съ соблюденіемъ всякаго рода охранительныхъ мѣръ. Главный жилой корпусъ представлялъ собой длинный бревенчатый срубъ, среднюю котораго занимала харчевня, а по бокамъ съ одной стороны — лавка, съ другой — жилое помѣщеніе самихъ хозяевъ. Во всякое помѣщеніе вело особое крыльцо; оконъ по фасаду было много, но небольшія (для тепла) и снабженныя ставнями, которыя закрывались желѣзными болтами. По бокамъ главнаго корпуса тянулись службы, которыя со стороны поля были обрѣты канавами. Вообще усадьба имѣла видъ четырехугольной цитадели, въ которую лихому человѣку проникнуть было очень трудно.

Когда я вошелъ, Клубковъ находился въ харчевнѣ одинъ и, наклонившись къ стойкѣ, дѣлалъ карандашомъ расчетъ. На немъ были надѣты новыя полушубокъ, расшитыя по груди въ строчку шелками (на дворѣ стоялъ октябрь въ началѣ), но волосы были причесаны по-нѣмецки, борода обрита, и глаза вооружены тонкими стальными очками.

Увидѣвши меня, онъ не то чтобы изумился, но какъ будто сейчасъ проснулся. И въ то же время въ глазахъ его уже просвѣчивала досада. Очень вѣроятно, что онъ звалъ о моемъ прѣздѣ въ имѣніе и даже рассчитывалъ на возможность моего посѣщенія, но «дѣло» до такой степени овладѣло всѣми его помыслами, что всякій «посторонній» случай, какъ бы онъ ни былъ естественъ, неизбежно застигалъ его врасплохъ.

— А вы меня застали, такъ сказать, среди самой процедуры моего дѣла! — привѣтствовалъ онъ меня, съ такимъ отсутствіемъ какого бы то ни было душевнаго движенія, какъ будто вчера только со мною разстался. Однако-жъ протянулъ мнѣ обѣ руки и поздоровался.

— Я, признаюсь, отвыкъ ужъ отъ общества, — продолжалъ онъ, слегка иронизируя: — да при такой обстановкѣ можетъ ли быть и рѣчь объ обществѣ... не правда ли? а?

— Обстановку всякій выбираетъ по желанію, — отвѣтилъ я, чтобъ сказать что-нибудь.

— Да, но «общество»... оно вѣдь обязываетъ. «Иль не



га де потрѣ съсѣтѣ», какъ говаривали наши р—скія дамочки... помните? Или, какъ нынче принято говорить: интеллигенція, правящіе классы... фу-ты важно!

Говоря это, онъ уже не произизировать, а сознательно себя завинчивалъ, и вдругъ словно самъ себя на мезель наступилъ.

— Ну, да вѣдь теперь — баста! — произнесъ онъ почти зловѣще: — теперь золотыс-то сны мшповали! Побаловались! кошачили! амины!

Однако взглянулъ на меня и какъ будто опомнился, что откуда я еще ни въ чемъ передъ нимъ не провинился.

— А впрочемъ, что-жъ это я вамъ... — сказалъ онъ, стихая. — Ну, да вѣдь и накипѣло же у меня! Тутъ дѣла по горло, не знаешь, какъ сладить, а кругомъ — празднословіе, праздномысліе, хвастовство!.. То расцѣптуютъ, то удавятъ... Какъ мы съ вами — однако-жъ давно... помните! *Ничего* тогда было! жилось! Тогда и теперь — сравните!

— Но вамъ и теперь, повидимому...

— Ничего; я лично не жалуюсь, но вообще... Поидемте однако, я въ свою хижину васъ сведу, съ бабой своей познакомя: она тоже въ полунубкѣ въ лавкѣ сидитъ... Антоны! — обратился онъ къ вошедшему батраку: — ты тутъ за меня посиди, а коли кто съ дѣломъ придетъ, говори: ужъ! Поидемте, поидемте! Я васъ дворомъ проведу! посмотрите, какіе у меня тамъ порядки.

Дворъ былъ просторный, свѣтлый и лѣписто выметенный. Заборъ перегораживалъ его на двѣ половины, изъ которыхъ въ одной помѣщались скотный и конный дворы, а въ другой, примыкавшей къ господскому жилью, — помѣщеніе для рабочихъ и амбары. Въ глубинѣ двора стояло пять-шесть крестьянскихъ подводъ, съ которыхъ производилась сѣпка всякаго рода сѣмени.

— Мужички лендѣ обмолотили, — сказалъ Клубковъ мягко: — сѣмечко отъ избытковъ везуть... А мы — покупаемъ:

Говоря это, онъ захватилъ горсть сѣмя и началъ пересыпать его изъ одной горсти въ другую, при чемъ ворошить по ладони пальцемъ, всматривался, подувать и т. д.

— Лендѣ чистенькій... ничего! — обратился онъ ко мнѣ. — Безъ костера. Только вотъ въ дѣлѣ будетъ ли споръ?

И для того, чтобы разрѣшить этотъ вопросъ, слизнулъ нѣсколько сѣмечекъ языкомъ и пожевалъ.

— Ничего, и масла будетъ въ мѣру. Ленное сѣмя — это,

я вамъ скажу, такая вещь, что съ нимъ глаза да и глаза надо. Какъ разъ, подлецы, съ пескомъ подсунуть!

Потомъ подошелъ къ другому возу: оказался овесъ.

— И овсецѣ обмолотили — тоже покупаемъ, — сказалъ онъ, раскалывая зубомъ зерно пополамъ: — ничего овсецкѣ! педурной! Зерно поленькое, сухое, только вотъ насчетъ чистоты...

Опять началось пересыпанье изъ горсти въ горсть, съ подуваніемъ, разсматриваніемъ на свѣтъ и проч. Нѣсколько разъ черпалъ онъ то въ томъ, то въ другомъ мѣшкѣ, доставая рукою до самого дна и повторяя одну и ту же процедуру. И вдругъ раздался грозный голосъ:

— Оставь!

— Артемій Иванычъ! родимый! — откликнулся кто-то изъ глубины.

— Знаю я давно, что я Артемій Иванычъ. Оставь. До праздничковъ у него не принимать — ни зерна! А потомъ — увидимъ! — сказалъ онъ батраку, занимавшемуся ссыпкой, и затѣмъ, обращаясь ко мнѣ, прибавилъ: — хочу добиться, чтобы не считали меня дуракомъ, курицыны сыны, не смѣли бы падувать. И добьюсь.

Такимъ же порядкомъ мы проинспектировали все везы, пока не добрались до хозяйскаго крыльца. Въ комнатахъ насъ ждалъ самоваръ и неизбежная закуска, но жены Клубкова не было.

— И не придетъ, — рассудилъ Клубковъ. — Про съсѣтѣ вспомнила и оробѣла. Человѣкъ, изволите видѣть, изъ самаго съсѣтѣ прѣбхалъ, а она въ полунубкѣ! Милости просимъ! чего прежде, водочки или чайку?

И, не дождавшись моего отвѣта, налилъ себѣ рюмку настоекъ и проглотилъ.

— А знаете ли что, — продолжалъ онъ наивно: — на первыхъ порахъ вамъ визитъ... какъ бы вамъ сказать... ну, просто мнѣ лишнимъ показался. Съ чего? что такое понадобилось? А теперь вотъ взглянуть на васъ — такъ на меня и хлынуло прошлымъ! И прегрѣшно. Со мной это и до сихъ поръ по временамъ бываетъ. Сидишь это, молчишь да молчишь, да расчеты дѣлаешь... и вдругъ откуда ни возьмись:

Скинъ-ка шапку, скинъ-ка шапку

Да пониже, да пониже, да пониже поклонись!

Помните, кадрили такая «на мотивы» была?.. И все передъ тобой какъ въявь: и музыка, и горящія люстры, и дамочки... Глуно, но приятно!

— Стало-быть, и мой визитъ на васъ такое же впечатлѣніе сдѣлалъ?

— Да, именно въ этомъ пріятномъ смыслѣ. Старое вспоминалось. Но сколькожъ мы безобразій съ тѣхъ поръ были свидетелями! чего наслушались! насмотрѣлись!

— Не знаю. Развѣ что-нибудь особенное произошло?

— Помилуйте! Начать хоть бы съ «меньшаго брата» — неужто это не безобразіе?! А устность и гласность? а обличенія? а скорый и милостивый судъ? Наконецъ: интеллигенція, обезпеченность, самоуправленіе, легальность, правовой порядокъ, иллюзіи, золотыя мечты, надежды, упованія, перспективы... вонъ вѣдь сколько! И все это мы видѣли собственными глазами, слышали собственными ушами!

— Такъ что-жъ такое! вѣдь не ослѣпили и не оглохли!

— Но зато панюхались. Нѣтъ, это не такъ. Пошлости-то надо оставить. Уши выше дѣла не растутъ. Хоть шиломъ шиты, а все-таки въ какомъ ни на есть государствѣ живемъ. Да-съ, въ государствѣ-съ.

Онъ дѣлался кратокъ и начиналъ впадать въ учительный тонъ. И смотрѣлъ на меня ужъ въ упоръ, какъ будто понять, гдѣ раки зимуютъ.

— Вамъ, можетъ-быть, непріятенъ этотъ разговоръ? — инсинировалъ онъ ехидно.

— Помилуйте! да мнѣ-то что-жъ! наплевать — только и всего! — смалодушничалъ я довольно развязно: — сегодня — гласность, завтра — безгласность, сегодня — перспективы, завтра — каменный мѣшокъ... сколько угодно! Помните, какъ въ какомъ-то водевилѣ поется:

Такъ и эдакъ, и вотъ эдакъ,  
И вотъ эдакъ, и вотъ такъ!

Всячески хорошо. Не понимаю, вы-то изъ чего безпокоитесь?

Однако-жъ развязность моя не только не плѣнила его, но даже заставила слегка нахмуриться.

— Ну, такъ давайте объ другомъ... — сказала онъ послѣ короткой паузы. — Помните, какъ мы въ Р... жили — вѣдь хорошо тогда было... право!

Начали припоминать, но вспомнилось немного. Прежде всего изъ глубины прошлаго выплыла хорошенькая мадамъ Первагина, которая любила съ мужчинами «картинки» смотрѣть; потомъ — старый помѣщикъ, который былъ тѣмъ замѣчательнѣе, что его всѣ звали «бѣлымъ арапомъ»; потомъ —

полицеймейстеръ, у котораго отъ умиленія расходились слезы фалды, когда онъ по начальству съ докладомъ являлся. Ничего особеннаго. Тѣмъ не менѣе мы оба старались испытывать удовольствіе и отъ времени до времени даже хохотали. Вспомнили кстати нѣскольکو «щекотливыхъ» дѣлъ — и опять хохотали. Однако-жъ разговоръ оказался до такой степени скуднымъ, что какъ мы ни длили его, но все-таки въ непродолжительномъ времени стали втупикъ. Начали курить папирсы; курили-курили, хлопали другъ друга по колѣнкѣ, смотрѣли другъ другу въ глаза, обмѣнивались краткими восклицаніями... ни взадъ, ни впередъ!

— А я съ тѣхъ поръ дѣломъ занялся, и вотъ, какъ видите! — не выдержалъ онъ и опять зачастилъ на старую тему: — да и всѣмъ вообще пора за дѣло! Пожуровали! побаловались! И будетъ.

— Какое же собственно дѣло васъ занимаетъ? — полюбопытствовалъ я.

— Работаю. Съ утра до вечера у меня минуты праздной нѣтъ. Я люблю дѣло; а кто его любитъ, у того оно всегда найдется. Въ мужики пошелъ! полунубокъ надѣлъ, косоворотку! сапоги ворванью смазываю... Исправникъ даже доносъ на меня сгоряча написалъ: думалъ, что я мужиковствовать собрался. Ну, нѣтъ! это — аттанде!

Онъ всталъ съ мѣста и началъ ходить по комнатѣ, видимо, сгорая нетерпѣніемъ высказаться.

— У меня нынче... — началъ онъ, волнуясь: — у меня ужъ полъ-уѣзда подъ пятой... Хочу — придавлю, хочу — вздохнуть дамъ. Сытость ихнюю я въ рукахъ держу... Видѣли на дворѣ амбары? — такъ вотъ тамъ ихняя сытость за тремя замками лежитъ...

— На что же она вамъ понадобилась?

— Чувствуютъ они ее преимущественно. Слова-то въ ухахъ не задерживаются, да и тѣлесныя поврежденія, и тѣ нынче не всегда надлежащее дѣйствіе оказываютъ... А вотъ ежели за желудокъ умѣючи взяться...

— Что такое вы говорите, Артемій Ивановичъ! — невольно вырвалось у меня при этомъ признаніи.

Онъ взглянулъ на меня изъ-подъ очковъ и усмѣхнулся.

— А вы изъ филантроповъ?

— Изъ филантроповъ или не изъ филантроповъ, а все-таки... Послушать васъ, такъ можно подумать, что вы за что-то мстите!

— Я не мщу, а дѣло дѣлаю. Разжитья торговлей заду-

мать. Покупаю—хочу купить дешево; продаю—хочу продать дорого. Желаю имѣть барышъ. А ежели вмѣсто барышей буду терпѣть убытки, то сейчасъ же свою машину по боку и шабангъ! Понятно?

— Какъ не понимать. Адвокатъ не для того по судамъ изиуряется, чтобы клиентов не находить; докторъ не для того практикуетъ, чтобы къ нему не обращались за помощью и т. д. Но при чемъ же тутъ мужицкая сытость?

— А при томъ, что она побуждаетъ дѣло дѣлать. По моему, дѣло для всѣхъ обязательно. Всякій долженъ именно «свое» дѣло дѣлать, а не забираться въ чужія хоромы, не мечтать. Да, государь мой! покойный батюшка получше насъ съ вами зналъ, какъ за «нихъ» взяться! И они не мечтали при немъ, а дѣлали дѣло, труднясь. А для мечтателей у него былъ—жезлъ-съ!

— Это батюшка вашъ, а вы...

— Знаю съ. Нѣтъ у меня жезла — это дѣйствительно. Но поэтому-то я и приспособляюсь. Жезла не имѣю, такъ въ родѣ того стараюсь найти. Посмотрите на «нихъ»! Ободраны! обглоданы! ни избы, ни телѣги, ни сохи... срамъ!

— А вамъ жаль?

— Срамъ-съ!

— Да вѣдь этакъ, пожалуй, окажется, что вы, стыда ради, не только не посягаете на общую сытость, а добиваетесь ея!

— Я-то? я знаю, чего добиваюсь. Остепенить насъ надо— вотъ что я говорю!

— Понимаю. Но мнѣ кажется, что въ этомъ смыслѣ и безъ того сдѣлано больше, чѣмъ надо. Вы сами сейчасъ сказали, что повсюду, куда ни обернись,—ни кола, ни двора... Чтѣ же можетъ быть степенить этого?

— Я не объ этомъ, а объ дѣлѣ... Мнѣ не колы и дворы ихъ нужны,—это они ужъ какъ знаютъ,—а дѣло!

Онъ, видимо, желалъ высказать свою мысль до конца, но въ то же время нѣчто его останавливало. Не совѣсть, а какая-то не совсѣмъ еще исчезнувшая боязнь сболтнуть что-нибудь лишнее. Въ итогѣ оказывались недомолвки и противорѣчія, которыя глубоко его раздражали.

— Но неужто «они» не работаютъ, а только празднуютъ?—удивился я.

— Празднуютъ-съ.

— Допустимъ. Предположите однако-жь, что мужикъ

пересталъ праздновать и всецѣло отдался «дѣлу»—должна же къ чему-нибудь эта метаморфоза его привести? Ну, напримеръ, хоть къ относительному довольству?.. Думаете ли вы, что тогда такъ же легко будетъ завладѣть его сытостью, какъ теперь?

— А куда же онъ дѣнется, позвольте спросить? откуда онъ довольство-то возьметъ?

— Очень просто: будетъ работать для себя и у себя.

— Это въ западныхъ-то въ ихнихъ?

Онъ занялся такимъ добродушнымъ смѣхомъ, что я и самъ догадался, что высказалъ нѣчто рискованное.

— Нѣтъ, это не такъ, — продолжалъ онъ: — не то вы совсѣмъ говорите. Никогда онъ отъ меня не уйдетъ и ни отъ кого, минуя меня, ничего не получитъ. Я не защищаю людей своего сословія. Слишкомъ много изъ нихъ въ трудную минуту выказали себя предателями и почти всѣ безъ исключенія — малодушными и непредусмотрительными. Но среди общей паники, среди общаго бѣгства, сама собою устроилась одна комбинація, которой предстоить громадное будущее въ смыслѣ оспененія. Эта комбинація—надѣльные западни. И хотя теперь ужъ видно, что ея плодами воспользуются совсѣмъ не тѣ, которые ее придумали, но во всякомъ случаѣ нѣкто воспользуется!

— Или, говоря другими словами: съ одной стороны, вы требуете непрестаннаго труда, а съ другой — радуетесь условіямъ, которыя дѣлаютъ примѣненіе труда почти безнадежнымъ... Что-жь, это тоже своего рода комбинація!

— Для труда всегда примѣненіе найдется. Вездѣ-съ. Не только свѣту въ окошкѣ, что крестьянскій надѣлъ. Куда ни обернитесь—вездѣ открытое попріще для труда. Я самъ лично не одной сотнѣ людей могу хлѣба дать. А надѣлъ только запутиваетъ. И это когда-нибудь для всѣхъ будетъ ясно.

— Когда-то еще будетъ!

— Ничего, мы и подождемъ. Мы умѣемъ ждать. А въ ожиданіи будемъ оспенять «ихъ» на собственный страхъ. И не боимся-съ. Мнѣ и ножомъ, и ружьемъ, и краснымъ пѣтухомъ грозили, а я и сію минуту цѣлѣхонекъ. Сначала грозились, потомъ бояться стали, а нынче ужъ и довѣріемъ ошастивливаютъ. Погодите немножко — чего добраго, и полюбятъ...

Ничего другого я добиться отъ него не могъ. Впрочемъ,

мысль его была всёма ясна, хотя онъ и опасался формулировать ее совершенно опредѣлительно. Впрочемъ, теперь, когда толки о «дѣлѣ» становятся все болѣе и болѣе настойчивыми, онъ высказываетъ свои пожеланія уже на чистоту. Какъ бы то ни было, но идеаль «дѣла», осуществленія котораго онъ домогался, представлялся ему снабженнымъ всеми атрибутами крѣпостного права. Около этой упраздненной формулы ютились всё его помыслы, и никакой иной комбинаціи онъ не только придумать, но и случайно представить себѣ не былъ въ состояніи. Но такъ какъ крѣпостное право было вооружено жезломъ, а у него жезла не было, то онъ и подыскивалъ замѣняющее средство. И нашелъ его въ формѣ непосредственнаго дѣйствія на человѣческую сытость.

Онъ не рассчиталъ двухъ вещей: во-первыхъ, что жезлъ въ большинствѣ случаевъ только ранилъ, тогда какъ придуманное имъ замѣняющее средство — калѣчить и погубляеть, и во-вторыхъ, что, разъ жезлъ выпалъ изъ рукъ за негодностью, гораздо выгоднѣе совсѣмъ объ немъ позабыть, нежели изнывать надъ присканіемъ замѣняющихъ средствъ одинаковаго съ нимъ воспитательнаго подѣиба.

Однимъ словомъ, онъ вопіялъ о «дѣлѣ» и въ то же время убивалъ силу, на обязанности которой лежало созданіе этого дѣла. И, вдобавокъ, на это убиваніе употреблялъ средство, которое точно такъ же ежеминутно могло выпасть у него изъ рукъ, какъ нѣкогда выпасть изъ рукъ «жезлъ»... Съ самаго того дня, въ который онъ сѣлъ на хозяйство, не было ни одной минуты, когда бы онъ не мечталъ объ дѣлѣ, не говорилъ себѣ: вотъ-вотъ сейчасъ оно придетъ... Но проходили годы, и «дѣло» не только не являлось на призывъ, но съ каждымъ часомъ все дальше и дальше уходило въ глубь. Однако-жь и это не вразумляло его, а только злило, и онъ продолжалъ ждать, продолжалъ говорить: вотъ сейчасъ...

Ждетъ онъ и по-днесъ. Что окрыляетъ его надежды? что заставляеть его, несмотря на вразумленія дѣйствительности, упорно смотрѣть въ одну и ту же фантастическую точку?— отвѣтить на эти вопросы не трудно. И для меня во всякомъ случаѣ несомнѣнно, что значительную роль въ этомъ упрямствѣ играетъ голая злость.

Злость, злость и злость... Непонятная, непреодолимая, съ одинаковою яростью гложущая и самого злеца, и пред-

метъ его озлобленія. Словно одна изъ казней египетскихъ, отъ которой некуда бѣжать. Вотъ единственный ясный мотивъ, который лежитъ во основаніи толковъ о «дѣлѣ». Онъ одинъ даетъ этимъ толкамъ жизнеспособность, одинъ сообщаетъ имъ какое-то подобіе убѣжденія и даже страстности, и помогаетъ уловлять прозелитовъ въ средѣ, наобумъ изрекающей самыя неожиданныя приговоры и не признающей себя отвѣтственною за нихъ.

Клубкова я долженъ однако-жь до известной степени выгородить: онъ, по крайней мѣрѣ, можетъ назваться по имени объектъ своихъ вождельній. Это объектъ несостоятельный, опороченный опытомъ и въ самомъ существѣ своемъ безп्राветный; но Клубковъ все-таки знаетъ его. Въ большинствѣ случаевъ и этого знанія нѣтъ. Вы видите массу сорвавшихся съ цѣпи людей, которые и на улицахъ и въ публичныхъ домахъ, и печатно и устно твердятъ объ «дѣлѣ» и которые, въ сущности, заражены лишь безименномъ бѣшенствомъ. И никакого отвѣта на вопросъ объ дѣлѣ эти люди дать не могутъ, кромѣ одного: или повторять на вѣру ихъ загадочное бормотанье, или слѣдуй по приглашенію въ участокъ...

Что-то тутъ есть ненормальное, почти странное. Посылая проклятія пустопорожней фразѣ, мы по горло окунаемся въ пучину другой, не менѣе пустопорожней фразы, но фразы посконной, неуклюжей, юродствующей. Я не поклонникъ фразы, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда она представляетъ собой образецъ чеканки и округленности; но въ то же время я не могу не сравнивать. Въ прежней фразѣ, отъ которой мы отрекаемся, все-таки слышалось нѣчто, хотя неясное, недосказанное, но не идущее въ разрѣзъ челоуѣческой природѣ. Прежняя фраза не давала разрѣшеній, не указывала ни прямыхъ цѣлей, ни путей для достиженія ихъ; но она не возмущала, не отравляла, не засоряла мозговъ. Нынѣшняя посконная фраза прежде всего противна челоуѣческому естеству. Надо перестать быть челоуѣкомъ, чтобъ формулировать ее не краснѣя. Отъ этого-то такъ часто слышится рядомъ съ нею напоминаніе объ участкѣ.

Въ этомъ смыслѣ староста Андрей Ивановичъ былъ совершенно правъ, говоря, что у Григорія Александрыча (который съ меньшимъ нетерпѣніемъ, какъ и Клубковъ, чего-то ждалъ, но только не зналъ, какъ провести время въ ожиданіи) ничего не осталось, кромѣ «скверныхъ словъ».

Проѣзжая отъ Клубкова домой, я и къ нему заѣхалъ. Старикъ до того уже опустился, что даже о крѣпостномъ правѣ позабылъ. Никакихъ идеаловъ онъ не лепѣлъ, никакихъ осуществленій не домогался, а только проклиналъ и ругался замѣчательно скверными словами. И всё ругательства неизмѣнно заканчивалъ словами: «а вотъ погодите! ужъ опять всѣхъ за дѣло засадятъ!»

Это было до того утомительно и однообразно, что я даже и въ споръ не вступалъ, а только ради шутки сказалъ:

— А помните ли, какъ въ старые годы пошехонцы счастья искали да въ трехъ соснахъ заблудились? Какъ бы и теперь того же не случилось! Поищутъ-поищутъ «дѣла», а кончатъ все-таки тѣмъ, что въ трехъ соснахъ заблудятся.

И представьте мое удивленіе: онъ не только не возразилъ мнѣ, но даже вполне меня одобрилъ.

— Именно такъ!—воскликнулъ онъ, по-дѣтски хлопая въ ладоши:—браво! въ трехъ соснахъ... это вѣрно! Именно, именно такъ и будетъ!

Очевидно, что онъ перепуталъ и радовался совѣмъ не тому. Но что касается до меня лично, то признаюсь откровенно, что только надежда на эту счастливую безалаберность и утѣшаетъ меня.

Годы уходятъ, а общественная мысль не только не просвѣтляется сознательнымъ отношеніемъ къ предстоящимъ жизненнымъ задачамъ, но все больше и больше занутывается въ массѣ безплодныхъ околичностей. И—что всего хуже—всецѣло проникается угрюмостью, нетерпимостью, челоѣко-неправистничествомъ. Фраза съ какою-то удручающею правильностью смѣняется фразою, и притомъ въ такой качественной постепенности, которая, въ виду фразы новоявленной, заставляетъ съ сожалѣніемъ вспоминать о фразѣ предыдущей, только-что признанной несостоятельною.

Неизбѣжность господства фразы надъ жизнью (мы даже изъ вопроса о безплодности фразы и необходимости «дѣла» ухитрились устроить «фразу») представляется до такой степени естественною, что большинство уже смотритъ на это явленіе какъ на законъ, не допускающій ни споровъ, ни возраженій, а требующій лишь безусловнаго подчиненія. Это предѣлъ, дальше котораго паденіе мыслительнаго уровня общества идти не можетъ. Начинается челоѣкое одностороннее торжество, въ которомъ пустомыслію изрекаетъ обя-

зательные афоризмы, сопровождаемые, со стороны наивныхъ, безпорядочными трубными звуками, а со стороны ловкихъ людей—всеми атрибутами нескрываемого хищничества. Какъ акклиматизироваться среди этой безмысленной, безстыжей оргіи? гдѣ найти силу, чтобы положить ей конецъ или хотя умѣрнить ея наглость? Увы! личные усилія разбиваются такъ легко, что даже самое восторженное самообольщеніе остановится передъ ничтожностью предстоящихъ результатовъ; а затѣмъ ни откуда—ни помощи, ни одобренія! Все кругомъ уже взято въ плѣнъ привычкою, все отжило, не живши, завяло, не испытавши цвѣтенія. Привычка съ изумительною быстротою овладѣла всеми помыслами и всѣхъ выручила изъ затрудненія. Привычка спасла сердца отъ негодованія, освободила совѣсть отъ упрековъ и во всѣ челоѣческія отношенія ввела проказу равнодушія. Равнодушіе—это своего рода благо, за которое цѣнятся, въ которомъ видятъ спасеніе. Ибо оно даетъ силу жить, не истекая кровью и не сознавая всей глубины переживаемаго злосчастія.

Благо равнодушнымъ! благо тѣмъ, которые въ сердечной вялости пахотятъ для себя миръ и успокоеніе! Личное ихъ благополучіе не только не подлежитъ спору, но можетъ считаться вполне обеспеченнымъ. А ничего другого имъ и не нужно. Но пусть же они знаютъ, что равнодушіе въ данномъ случаѣ обеспечиваетъ не только ихъ личное спокойствіе, но и беззачное торжество лгуновъ-челоѣко-на-вистниковъ. И сверхъ того оно на цѣлую среду, на цѣлую эпоху кладетъ печать безсилія, предательства и трусости.

Но, какъ ни громадно сомнѣе равнодушныхъ, населяющихъ вселенную, я ни въ какомъ случаѣ не могу причислить къ нему моего друга Крамоольникова. Напротивъ того, современные толки о непригодности мечтаний и необходимости «дѣла» до такой степени угнетаютъ его, что онъ даже не всегда соблюдаетъ надлежащую мѣру благоразумія въ выраженіи своихъ мнѣній объ этомъ предметѣ.

На-дняхъ спужу я утромъ въ трактирѣ «Ерши» и благодушествовую. Передо мной—большой подовый пирогъ, за нимъ — графинчикъ очищенной, сбоку — двусмысленной формы сосудъ, наполненный жижей. Помочу въ рюмкѣ усы—и закушу пирогомъ, потомъ опять помочу усы—и опять закушу, а въ промежуткахъ обдумываю: не спро-

силь ли ветчинки? Словомъ сказать, сижу и занимаюсь современнымъ «дѣломъ». И никто меня не трогаетъ. И я никого не трогаю, и меня никто не трогаетъ. Какъ вдругъ, откуда ни возьмись—Крамольниковъ!

Крамольниковъ—мой давній пріятель; но встрѣчаться съ нимъ въ публичныхъ мѣстахъ—сущее наказаніе. Къ сожалѣнію, онъ ужасно любитъ кочующую жизнь и съ утра до вечера всюду заглядываетъ. И всякій разъ, какъ онъ меня застигаетъ въ предѣлахъ моей квартиры, мнѣ приходится казаться, что было бы лучше, если-бъ онъ мимо прошелъ. Ибо хотя я не принадлежу къ числу безусловно равнодушныхъ, но мѣру благоразумія все-таки знаю. А Крамольниковъ не знаетъ ся; а потому, когда встрѣчаюсь съ нимъ при благородныхъ свидѣтеляхъ, то невольно приходитъ на мысль: ну, ужъ сегодня навѣрное участка не миновать!

Такъ было и теперь. Едва появился онъ на порогѣ, первая мысль, которая обѣнила меня, была такова: вотъ-вотъ онъ сейчасъ «ляпнетъ»!

— Насыщаетесь?—обратился онъ ко мнѣ, опускаясь на стулъ за тѣмъ же столомъ, за которымъ я завтракалъ.

— Ымъ.

— Буду ѣсть и я.—Человѣкъ! копченая сига!—А сколько я, батюшка, срамословія сегодня наслушался! удивительно, какъ только сквозь землю не провалился!

При этихъ словахъ сердце такъ и заглохло во мнѣ. Ну, непременно сейчасъ «ляпнетъ»!

— Сдѣлалъ шагъ—куча! другой—двѣ кучи! въ сторону кинулся—три кучи! Маневрировалъ—маневрировалъ—проходу нѣтъ! Наконецъ вижу: «Ерши»! Шмыгнулъ въ подъѣздъ, и вотъ онъ я!

— Удивляюсь, Крамольниковъ, какъ у васъ все это образно... И какъ это вы успѣваете! еще двѣнадцать часовъ нѣтъ, а вы ужъ и наслушались, и нанюхались?

— То-то, батюшка, что нынче ужъ натошакъ срамословятъ. Не поѣвши хлѣба Божьяго, такъ и пруть, и все съ захлебываніемъ, съ пѣной у рта, съ скатыми кулаками, точно на супостата въ походъ собрались и заранѣе тризну по немъ правятъ!

«Ляпнетъ!»—опять стукнуло у меня въ головѣ.

— Все какого-то «дѣла», представьте себѣ, требуютъ. «Довольно мечтаній!»—кричатъ:—не нужно фразы! дѣло подайте намъ! дѣло!» А нѣкоторые даже прибавляютъ: «настоящее».

— А вы?

— А я говорю: рожна намъ нужно—вотъ что!

— Но почему же? По-моему, «дѣло», ежели оно...

— Знаю, что дѣло, «ежели оно...» Да они вѣдь совѣтъ не объ томъ. Рожна они требуютъ, воистину только рожна! а «дѣло» тутъ—одинъ подвохъ.

— И опять-таки вы черезчуръ образно выражаетесь. Рожонъ, подвохъ—образно, но не убѣдительно!

— Постоите. Взгляните въ окошко—что вы видите? Вонъ мужчина въ кожаномъ фартукѣ сапоги тачаетъ—развѣ это не дѣло? Вонъ двое мужчинъ зеркало на головахъ по улицѣ несутъ—развѣ это не дѣло? Сейчасъ я въ банкирскую контору захожу; сидитъ мѣняло и, словно ученый скворецъ, твердитъ: купить-продать, продать-купить—развѣ это не дѣло? Чиновники отношенія, рапорты, предписанія пишутъ—надѣюсь, что это тоже дѣло! Объ чемъ же «они» скулятъ? чего требуютъ? кого хотятъ подсадить?

— А вотъ этого самого и требуютъ. Чтобы всѣ «своимъ» дѣломъ заняты были.

— Но гдѣ же наконецъ тѣ люди, которые не были бы какимъ-нибудь дѣломъ заняты?

— Какимъ-нибудь... А надобно, чтобы «своимъ»... Не какимъ-нибудь, а именно своимъ собственнымъ.

— Да вѣдь всякое дѣло есть въ то же время и свое собственное...

— Ну, пѣтъ, этого не скажите! Вотъ вы, напримѣръ...

— А я— сига копченая ѣмъ! неужто это мечтаніе? Копченый сигъ—и мечтаніе!.. пощадите! Но ежели и есть тутъ мечтаніе, то во всякомъ случаѣ не о такихъ «больныхъ фантазіяхъ» идетъ рѣчь, когда посылаются проклятія фразамъ и золотымъ снамъ! Напротивъ того, ежели я вмѣсто одного, двухъ сиговъ съѣмъ, то не только не назовутъ меня мечтателемъ, но даже въ заслугу мнѣ этотъ подвигъ вмѣнятъ.

— Но вотъ вы разговариваете...

— Разговариваю—потому что словесность имѣю. И пользуюсь ею, то-есть «дѣло» дѣлаю.

— Да вдобавокъ еще критикуете...

— А критикую потому, что одаренъ способностью мыслить. Не самъ себя одарилъ, а природа. Я же только пользуюсь этимъ даромъ, то-есть опять-таки дѣло дѣлаю.

— То-то что...

— И это знаю. Чего же, стало-быть, въ данномъ слу-

чаѣ домогаются? Очевидно, домогаются того, чтобы все шло сапоги, все носили на голове тяжести и все твердили: купить-продать, продать-купить. Вот это — «дѣло»; а говорить, критиковать, мыслить — мечтаніе! Вѣдь этого домогаются? такъ?

— По вѣдь это отчасти и правильно, потому что если-бы все занялись, напримеръ, шитьемъ сапоговъ..

— Было бы прекрасно? — допустимъ. Но въ такомъ случаѣ сами-то печальники «дѣла» зачѣмъ же не мычатъ, а разговариваютъ? зачѣмъ они мыслятъ? Потому что вѣдь даже къ тѣмъ паскуднымъ заключеніямъ, которыми они предъявляютъ, нельзя придти иначе, какъ при посредствѣ процесса мышленія!

— Крамольниковы! я съ вами согласенъ... разумеется, не вполне... Но согласитесь, что такой разговоръ въ «Бршахъ», когда кругомъ...

— Что такое «кругомъ»? Вездѣ надо говорить, государь мой! вездѣ-съ! Вотъ отлично! всякій бездѣльникъ будетъ и на улицѣ, и въ любой газетнѣ во всуслышальнѣ всеобщую каторгу проповѣдывать (себя-то онъ изъ каторги, конечно, исключитъ!), а мы, для которыхъ это блаженство уготовывается, мы будемъ молчать?.. А впрочемъ, позвольте! могу я изъ вашего графинчика одну капельку для себя налить? — совершенно неожиданно прервалъ онъ начатую діатрибу.

— Ахъ, сдѣлайте одолженіе!

— Такъ вотъ я и говорю: все эти вопли о вредѣ мечтаній и пользѣ «дѣла» — подвохъ, и кромѣ подвоха ничего въ нихъ нѣтъ. Встрѣтилъ я давеча Положилова; онъ тоже: «оставить надо мечтанія! за дѣло приниматься пора!..» Свинья! Слушалъ я, слушалъ, да и ляпнулъ: а знаете ли вы, говорю, что самый опасный мечтатель — вы-то и есть!

— Это почему?

— Да развѣ это не самое грубое, не самое противоположное мечтанію: человека, одареннаго даромъ слова — заставить молчать? человека, одареннаго способностью мыслить — заставить не мыслить?

— Не то чтобы совсемъ не мыслить, но мыслить здраво и благоотребно, — поправилъ я.

— А притомъ и благовременно. Вотъ это-то и есть мечтаніе. Можетъ ли Положиловъ указать мѣру здравости, благоотребности и благовременности? Въ состояніи ли онъ преподавать къ руководству хотя краткій списокъ здравыхъ,

благоотребныхъ и благовременныхъ мыслей? Можетъ ли онъ поручиться, что тутъ же, рядомъ съ нимъ, не объявится другой Положиловъ, который его благоотребность ему же въ непотребство вмѣнитъ и взаменъ того преподаетъ къ руководству своего собственного издѣлія чужь? Неужели эта регламентація благоотребности — не безумнѣйшее изъ всехъ мечтаній? И притомъ такое, на которомъ нельзя остановиться, чтобы не пройти сквозь цѣлую серію такихъ же безумныхъ мечтаній! Безуміе настойчиво, государь мой! оно не просто заявляетъ о себѣ, но не задумывается и надъ насиліемъ въ видахъ своего подтвержденія. Сегодня оно безуміе, на вѣтеръ лалоще, а завтра — безуміе, заставляющее выслушивать свой лай и принимать его къ руководству... Могу я еще капельку изъ графинчика позаимствоваться? Я не то чтобы жаждать, а такъ...

— Ахъ, сдѣлайте милость!

— Продолжаю... Подвохъ въ этомъ случаѣ въ томъ состоитъ, что понятіямъ самымъ обыденнымъ и общепризнаннымъ, при помощи подтасовки, сообщается загадочный смыслъ. Никто никогда не отрицалъ, что и пахарь, и носильщикъ, и сапожникъ заняты не мечтаніемъ, а дѣломъ. Этого рода «дѣло» для всехъ видимое, осязательное и до такой степени присущее всемъ формамъ человѣческаго общежитія, что никогда еще міръ не оскудѣвалъ имъ и не оскудѣетъ никогда. Стало-быть, указывать на него, какъ на какой-то новоявленный идеалъ, по меньшей мѣрѣ бесполезно. Да не объ немъ, очевидно, и рѣчь. Параллельно съ этимъ осязательнымъ дѣломъ, обеспечивающимъ матеріальное существованіе общества, идетъ другое дѣло, которое обезпечиваетъ его духовное существованіе. Вотъ на этомъ-то пунктѣ и разыгрывается тотъ изумительный турниръ, который, смотря по вліяніямъ времени, иногда сохраняетъ характеръ состязанія, но чаще прямо принимаетъ формы приказательнаго чревоущанія. Въ періоды состязанія просто ставится такъ: одни видятъ высшую задачу человѣческой дѣятельности въ содѣйствіи къ разрѣшенію вопросовъ всесторонняго человѣческаго развитія и эту задачу называютъ «дѣломъ»; другіе, напротивъ, не признавая необходимости человѣческаго развитія, ту же самую задачу называютъ мечтаніемъ, фразой. Въ періоды чревоущаній ряды защитниковъ высшихъ задачъ постепенно рѣдѣютъ и наконецъ совсемъ умолкаютъ; напротивъ того, чревоущатели смѣло выступаютъ впередъ и, не встрѣчая ни от-

куда препятствія, открываютъ односторонній бой, наполняя при этомъ веси и гради всеяческимъ сквернословіемъ и проклятіями. «Прочь мечтанія! за дѣло пора! за дѣло!» — раздается по всей линіи. Но какое же это «дѣло», къ которому такъ страстно несутся всѣ сердца? А вотъ какое: упраздненіе человѣческой мысли, доведеніе человѣческой рѣчи до степени бормотанія — только и всего. То-есть устраненіе тѣхъ именно качествъ, которыя человѣка дѣлаютъ человѣкомъ. А затѣмъ разсудите ужъ сами, кому въ данномъ случаѣ болѣе приличествуетъ кличка «мечтателей»: тѣмъ ли, которые, несмотря на мракъ, окутывающей будущае, все-таки не теряютъ изъ вида законовъ человѣческаго совершенствованія, или тѣмъ, которые осуждаютъ людей на то, чтобъ сидѣть, упершись лбомъ въ стѣну, и въ безмолвіи ожидать, пока она на нихъ повалится?

Очень возможно, что Крамольниковъ и дальше разглагольствовалъ бы на ту же тему, но въ эту минуту, очень кстати, въ комнату вошло новое лицо, въ которомъ и съ удовольствіемъ узналъ безшабашнаго совѣтника Дыбу. Оказалось, что Крамольниковъ — старый знакомый Дыбы, который былъ его начальникомъ въ ту пору, когда они оба служили въ департаментѣ пруссійской и перспективъ.

— А! господинъ фронтѣры! — привѣтствовалъ его Дыба: — все еще по части пруссійскій состязаться изволите?

Вмѣсто отвѣта Крамольниковъ вновь разсказалъ исторію слышанныхъ имъ въ это утро сквернословій и — что меня крайне изумило — не только не огорчилъ Дыбу своимъ разсказомъ, но даже удостоился отъ него поощренія.

— Дѣйствительно, — сказалъ Дыба: — смѣха достойно! Толкуютъ объ дѣлѣ, а какое оно и на какой предметъ — объяснить не могутъ. Вотъ мы...

Онъ слегка застыдился, крикнуть и проглотилъ для бодрости рюмку водки.

— А впрочемъ, съ другой стороны, — продолжалъ онъ, уже не краснѣя: — и дѣло, и не дѣло — все это и возможно, и достижимо, и даже... легко пресоборимо... Только вотъ людей нѣтъ — это такъ!

## Вечеръ шестой.

### Фантастическое отрезвленіе.

Собрались однажды пошехоны въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ во время дня, по свидѣтельству Костомарова, у нихъ «сѣверныя народоправства» происходили и гдѣ впоследствии, по совѣту «московскихъ кураторовъ», выстроены были сѣвѣжій домъ съ соотвѣтствующей каланчой. Собрались и стояли въ великомъ недоумѣніи.

Невѣдомая кака-то сила согнала ихъ сюда — и не срокомъ, не по уговору, а каждого лично за свой счетъ — какъ будто требуя, чтобъ они совершили нѣкоторое «сѣверное народоправство», въ которомъ якобы настояла безотлагательная нужда. Но такъ какъ «сѣверныя народоправства» давно сданы въ архивъ, куда допускается только Костомаровъ, то и самый цереміональ, которымъ они нѣкогда сопровождалась, оказался сгорѣвшимъ въ одинъ изъ бывшихъ пожаровъ, вмѣстѣ съ «скрижалями» и прочею пошехоною стариной. Слѣдовало ли при этомъ рѣчи держать и слѣдовало ли тѣ рѣчи слушать? или же всѣмъ разомъ говорить надлежало и никого никому не слушать? — Все это было когда-то установлено въ точности, но теперь, за давно прошедшимъ временемъ, никто ни объ чемъ не помнилъ. Да и говорить-то, признаться, разучились. Короче сказать, хотя и чувствовали пошехоны, что имъ необходимо «приступить», но какъ и къ чему приступить — не знали.

И еще они чувствовали, что ихъ что-то жжетъ, что гдѣ-то у нихъ чешется, и что вообще въ ихъ жизнь вторглась кака-то обида. Но чтѣ привело эту обиду и какъ отъ нея отвязаться — сказать не умѣли. Нужно кого-то къ отвѣту призвать, съ кѣмъ-то расправу учинить — вотъ чтѣ было вполне ясно; но въ какомъ направленіи чинить расправу и кого заставить отвѣтъ держать — этого зря опредѣлить было нельзя. А они именно только «зря» могли дѣйствовать. Потому что обида — вещь тонкая, незримая и невѣсомая. Она и по землѣ ползетъ, и на облакахъ летаетъ, и вихремъ ее примчить, и лихими людьми занесетъ — какъ ты тутъ пальцемъ на нее укажешь? Одна ушла, а на ея мѣсто другая слѣла; другая ушла — третья... Поди, угадывай, люди ли тутъ виноваты, или такъ само собой прилучилось? А не то, можетъ-быть, и дѣдушки наворожили. На-



ворожили да легли на погостъ, а впуки живи да растворый бѣдѣ ворота! Одно только несомнѣнно: до тѣхъ поръ ихъ источила обида, до тѣхъ поръ ихъ всяческая невзгода пристигла, что они, какъ полоумные, сами собой выбѣжали изъ домовъ и устремились къ каланчѣ. И, приближавши — не знали, зачѣмъ приближали.

Должно сказать, впрочемъ, что къ описанному выше недоумѣнію въ значительной мѣрѣ примѣшивались и опасенія. Никому не хотѣлось первому слово молвить, потому что каждый чувствовалъ, что за нимъ ой-ой блохъ много! Разинешь, пожалуй, ротъ, анъ тутъ тебя со всѣхъ сторонъ и обступятъ: «да никакъ ты самый обидчикъ и есть!» Куда ты тогда поспѣть?

Дѣло въ томъ, что хотя пошехонцы и отрезвились, но это произошло такъ недавно, что даже и посейчасъ они чувствовали себя съ ногъ до головы виноватыми. Много лѣтъ сряду они такъ козырили, что, со стороны глядя, можно было подумать, что у нихъ и не-вѣсть какіе запасы всякихъ «правовъ» напасены. А въ дѣйствительности оказалось одно легкомысліе. Не успѣли они оглянуться, какъ у нихъ простыми фосками всѣхъ до одного козырей выковыряли и оставили одинъ-на-одинъ съ обидой. Чтобъ уйти отъ этой обиды, они и отрезвленіе-то приняли. Думали, что какъ предстанутъ они, безкозырные, бездумные, обнаженные отъ прошедшаго и будущаго, такъ сейчасъ же все какъ по маслу у нихъ и пойдетъ, — анъ не пошло. Встала обида поперекъ горла, и ничѣмъ ее проскочить не заставишь. Если-бъ въ другихъ муниципалитетахъ отрезвленіе случилось, то обыватели сказали бы себѣ: нехорошо, конечно, мы сдѣлали, что безъ расчета въ игру вступили да и карты вдобавокъ всѣмъ показывали; но такъ какъ это ужъ дѣло прошлое и аханьемъ его не поправишь, то теперь надо объ томъ позаботиться, какъ бы и впредь пальцемъ въ небо не попадать. И, сказавши это, рѣшили бы такъ: коли есть обида, то надо именно за нее и взяться, а не кругомъ да около парить. Но въ Пошехоньѣ дѣло совсѣмъ иначе стало. Не мысль о будущемъ интересовала пошехонскія безшабашныя головы, а мечтанія о томъ, какіе бы они и по-днесъ сладкіе куски ѣли, кабы въ ту пору сразу всѣхъ тузовъ не отдали. Кто ихъ этихъ кусковъ лишилъ? кто тотъ лукавый, который ихъ въ искушеніе ввелъ? Подать его! разыскать! вотъ мы ему, сатанину соуду, плотку-то заткнемъ!

Ибо въ Пошехоньѣ такъ ужъ изстари повелось, что дѣло не волкъ — въ лѣсъ не убѣжитъ, а главнѣе всего надо счеты свести да рогами другъ изъ дружки кишки выпустить. Вотъ это и будетъ настоящее «дѣло». И дѣдушки пошехонскіе, вдуци на погостъ, сказывали, что при всякой бѣдѣ нужно первымъ дѣломъ «лукаваго» разыскать. Непремѣнно, дескать, полегчить отъ этого. Сначала бѣду какъ рукой снимать, а потомъ и пошло писать благополучіе...

Но тутъ именно и вышла заковычка, потому что всякій пошехонецъ болѣе или менѣе сознавалъ самого себя, этимъ «лукавымъ». Всякій въ свое время былъ ежели не защитникомъ, то пособникомъ или укрывателемъ. Дыбомъ волосы становятся при воспоминаніи о томъ, какія дѣла были, съ разрѣшенія начальства, пошехонцами содѣяны! Стояло, бывало, только крикнуть: господа пошехонцы! на абордажъ! — всѣ, очертя голову, такъ и лѣзутъ. Стоило молвить: а вѣдь городничій-то много противъ прежняго форсу сбавилъ, — всѣ такъ и прыснутъ со смѣху: нынче, молъ, небось... не прежнее время.

Кто лѣзъ? кто хохоталъ? кто кричалъ? — Всѣ лѣзли, всѣ хохотали, всѣ кричали! Какъ тутъ сосѣда обвиноватить, коли всякій самъ кругомъ виноватъ?

Это вѣдь только недавно опять сдѣлалось лѣно, что всякій сверчокъ долженъ знать свой шестокъ; а было времечко, когда пошехонцы и отъ пословицъ совсѣмъ-было отвыкли. Живутъ безъ пословицъ — и баста. Скажутъ имъ: «эй, господа! уши выше лба на растутъ!» — а они въ отвѣтъ: «такъ что-жъ что не растутъ! ушамъ и не слѣдуетъ выше лба расти! мы объ ухахъ и не думаемъ!» Да вотъ подѣ конецъ и узнали, что во всѣ времена ни о чемъ другомъ и рѣчи не было, кромѣ какъ объ ухахъ. Козырей-то истратили на то, чтобъ свои же карты бить, а какъ стало послѣ того и тѣсно, и бѣдно, и неловко — тутъ и сплехватилась: «кто тотъ лукавый, который насъ на игру науськалъ?»

Итакъ, собрались пошехонцы у каланчи и недоумѣвали. Одна мысль угнетала всѣхъ: вотъ мы и отрезвились, а все-таки легче намъ нѣтъ — долженъ же кто-нибудь быть этому причиненъ! А дальше прямой выводъ: безпремѣнно надобно того человѣка разыскать и горло ему перервать. Тогда всѣмъ будетъ легче. Но кому перервать и за что — на эти вопросы никто съ знаніемъ дѣла отвѣтить не могъ: воображенія не хватало. Перервать — только и все. Смо-

трѣли они на каланчу и ждали: не будетъ ли отъ нея какого-нибудь понятія? Но каланча, незыблемая и безучастная, глядѣла всѣмъ своимъ нескладнымъ столбомъ на пошехонское смятеніе и безмолвствовала. Ни звука отсюда не выходило, ни лица человѣческаго въ окнахъ не было видно. Только на самой вершинѣ ходилъ сторожъ дозоромъ, поигрывая отъ скуки пожарными сигналами, и думалъ: «нишъ вѣдь, и отрезвиться-то порядкомъ не умѣютъ!»

День былъ осенній, студеный, смурый. Въ такіе дни добрый хозяинъ дома сидитъ, по домашности исправляется, но пошехонцамъ не зачѣмъ дома сидѣть, потому что они давнымъ-давно всю домашность, до послѣдняго пера спустили. Какимъ манеромъ спустили? куда? — ништо въ ту пору не доглядѣлъ. Знаютъ только, что когда хватились — анъ нѣтъ ничего. Только и остался у нихъ, что инстинктъ, и этотъ инстинктъ влекъ ихъ туда, гдѣ въ оное время бунтовщиковъ съ раската сбрасывали. Задулъ вѣтеръ, полилъ дождикъ, а они все стояли и молчали. Думали: вотъ выйдетъ изъ каланчи городничій штабсъ-капитанъ Мазилка и начнетъ законъ разъяснять. А ежели закона нѣтъ, то хоть изъ пушки палить будетъ. Но Мазилка сидѣлъ въ каланчѣ и въ свою очередь думу думалъ.

Это былъ человѣкъ малаго роста и ульчннй, но храбрый. Коли кто передъ нимъ руки не по швамъ стоитъ, онъ такъ на него и скачетъ. Даже ежели большого роста человѣкъ, такъ и того дбстанетъ. Однако и онъ про «свѣрныя народоправства» вспомнилъ, какъ увидѣлъ, что пошехонецъ по всѣхъ улицъ такъ валомъ и валитъ къ каланчѣ. И чѣмъ смириѣ вели себя пошехонцы, чѣмъ глубже они отрезывались, стоя вокругъ каланчи, тѣмъ сильнѣе зрѣло въ немъ убѣжденіе, что въ этомъ-то именно «народоправства» и состоятъ. А сверхъ того вспомнилъ онъ и о томъ, что еще недавно въ газетѣ «Усдиненный Пошехонецъ» удостовѣряли, что стоитъ только здравому смыслу пошехонцевъ воспрянуть — и все пойдетъ какъ по маслу. Вспомнилъ и испугался: а пу, какъ взаправду примутся пошехонцы здравый смыслъ предъявлять?

Размысливши какъ слѣдуетъ, онъ заперъ ворота съѣзжаго дома, выкатилъ пожарную трубу и на всякій случай велѣлъ держать шпину наготовѣ. А самъ забрался въ дальній чуланъ и заперся на ключъ.

Часы проходили за часами, а пошехонцы все стояли, ждали, не разинетъ ли кто рта.

Двое изъ самыхъ горластыхъ — Иванъ Безродный да Безчастный Иванъ — даже совѣмъ-было раскрыли уста, но заткнули другъ на друга — и опять сомкнули. Очевидно, что тревога еще не дошла до той точки, когда отъ избытка чувствъ уста глаголютъ. Да и отваги надлежащей еще не было, той отваги, которая на вопросъ: кто здѣсь отступникъ? — помогаетъ съ легкимъ сердцемъ отвѣчать: вотъ онъ я.

Наконецъ истомились, назяблись и начали ждать, скоро ли смеркнется. На этотъ разъ обстоятельства благопріятствовали пошехонцамъ. Осенній день, и безъ того короткий, подъ вліяніемъ хмураго неба, сталъ меркнуть раньше обыкновеннаго. Часовъ около четырехъ во многихъ домахъ замелькали огни, а затѣмъ и Мазилка, оправившись отъ страха, высунуть голову изъ окна.

— «Народоправствъ» захотѣли? — гаркнулъ онъ во всю пасть: — здравый смыслъ проявить задумали?! Вотъ я вамъ ужд...

При этихъ словахъ ворота съѣзжаго дома заскригѣли, и обильная струя воды, пущенная изъ пожарной трубы, окатила и безъ того уже вымокшихъ нѣчевыхъ людей.

Законъ былъ объясненъ. Волна испустила вздохъ облегченія и начала расходиться. Но и за всѣмъ тѣмъ у всѣхъ одна мысль въ умѣ застыла: что-то завтра будетъ? какъ бы и завтра не пришлось опять туда же бѣжать...

Въ сущности, пошехонское отрезвленіе было столь же неожиданнымъ, какъ и недавнее пошехонское либеральное объясненіе.

Я знаю, что многіе отличнѣйшіе умы вѣрятъ, что какъ ни малоустойчиво Пошехонье, но все-таки сокровенныя и задушевныя симпатіи его обывателей устремлены къ свѣту, а не къ тѣмѣ. Я и самъ охотно этому вѣрю. Я вѣрю, что не только въ Пошехоньѣ, но и въ цѣломъ мірѣ благоволеніе преобладаетъ надъ злопыхательствомъ, и что въ концѣ концовъ послѣднее, всеконечно, изморомъ изноетъ. Но покуда злопыхательство даже въ минуты своего пораженія умѣетъ такъ ловко устроиться, что присутствіе его всегда всѣми чувствуется, тогда какъ благоволеніе въ подобныя минуты ступеньвается такъ, что объ немъ и слыхомъ не слышатъ. Вотъ разница. Поэтому «конецъ концовъ» представляется столь отдаленнымъ, что люди, для которыхъ живая жизнь не составляетъ праздной мечты, не считаютъ

даже возможным рассчитывать на него: придет «коноць», да не при насъ и не для насъ... Выводъ жестокой и отнюдь не героической; но развѣ кто-нибудь въ правѣ требовать, чтобы пошехонскія матери рождали сплошь героев?

А сверхъ того, меня еще больше смущаетъ та легкость, съ которою пошехонцы поддаются всякаго рода вѣяніямъ и которая мѣшаетъ имъ имѣть свою логически развивающуюся исторію. Если-бъ эти вѣянія были продуктомъ внутреннего процесса пошехонской жизни, то къ нему можно бы примѣнить принципъ вмѣляемости. Худы ли, хороши ли такіа вѣянія, но они представляютъ подлинную дѣйствительность, а не воздушное мечтаніе. Критика поможетъ разобраться въ самой худой дѣйствительности и въ ней самой отыскать необходимыя поправки. Но въ томъ-то и дѣло, что вѣянія, которымъ подчинялись пошехонцы, имѣли чисто внѣшній характеръ. Даже городничій Мазилка — и тотъ приѣзжаетъ, держа наготовѣ въ карманѣ какое-то вѣяніе, и пошехонцы безпрекословно подчиняются ему; даже газетчикъ Скомороховъ — и тотъ убѣжденъ, что всякаго пошехонца можно въ самое короткое время какъ угодно оболванить. И оболванивается.

Увы! упованія Мазилки не напрасны. Пошехонецъ, который еще такъ недавно во всеуслышаніе высрениія слова говорилъ, вдругъ, безъ всякаго колебанія, начинаетъ изречать какіе-то отрезвленные афоризмы, самая фактура которыхъ удостовѣряетъ, что они не могли въ ниномъ мѣстѣ начало воспріять, кромѣ какъ на стѣзжей. Нужды нѣтъ, что измѣнившаяся общественная рѣчь свидѣлствуетъ объ измѣненіи общественной мысли и въ недалекомъ будущемъ предвѣщаетъ — шутка сказать! — измѣненіе въ ихъ общественныхъ отношеніяхъ, — всѣ эти измѣненія совершаются такъ просто, принимаются такъ наивно, что Мазилкамъ приходится только радоваться. Ибо ежели и встрѣчаются среди пошехонцевъ люди, которыхъ подобныя измѣненія приводятъ въ недоумѣніе, то и они безъ труда уразумѣваютъ, что на свѣтѣ есть особаго рода компромиссъ, называемый Лицебріемъ, который поможетъ имъ какъ-нибудь приладиться къ общему нравственному и умственному уровню. И, уразумѣвши это, лицебрятъ и отступничаютъ безъ зазрѣнія совѣсти.

Вотъ отчего такъ трудно имѣть дѣло съ пошехонцами. Нельзя надѣяться на ихъ поддержку, нельзя рассчитывать, что обращенная къ нимъ рѣчь будетъ сегодня встрѣчена

съ тѣмъ же чувствомъ, какъ и вчера. Вчера существовало нѣкое слово, къ которому дѣлалъ массы жадно прислушивались; сегодня — это же самое слово служить не призваннымъ лозунгомъ, а сигналомъ къ общему бѣгству. Да хорошо еще, ежели только къ бѣгству, а не къ другой, болѣе жестокой, развязкѣ.

И, право, преобидное это дѣло. Этой силой приводить къ нулю, сжигать до тла самыя горячія надежды, обладать не что-либо устойчивое, крѣпкое, убѣжденное, а нѣчто мягкотѣлое, расплывчивое, подобно водѣ, отражающее все, что ни пройдетъ мимо. Но что еще обиднѣе: сами носители надеждъ не только подчиняются этому явленію, но даже не видятъ въ немъ никакой неожиданности. Развѣ это тоже не мягкотѣлость своего рода?

На-дняхъ именно пришлось встрѣтиться съ нѣкоторыми разновидностями этой пошехонской мягкотѣлости. Сперва простеца-пошехонца встрѣтилъ; спрашиваю: какъ дѣла? — и слышу въ отвѣтъ какія-то отрезвленные рѣчи: все послонцы да все дурачкія. Изумляюсь.

— Какъ же это такъ, спрашиваю: — словно бы вы еще недавно совсѣмъ другія слова говорили?

— Другія? Будто бы? А впрочемъ... Да надо же наконецъ и за умъ взяться! Пора! — отвѣчаетъ онъ, и отвѣчаетъ такъ естественно, какъ будто и въ самомъ дѣлѣ у него ума палата.

— Отрезвились?

— Да, отрезвились... пора! Все слова, одни слова...

— Понимаю: надо-ло? Въ чемъ однако-жъ безсловесное отрезвленіе ваше состоитъ?

— Да тамъ увидимъ. Не программы же въ самомъ дѣлѣ составлять? Видали мы эти программы, знаемъ! Достаточно и того, что «фраза» больше не будетъ... За умъ, батюшка, взялся! за умъ!

Только и всего; и больше ничего у него нѣтъ. И эти-то слова не его, а Мазилкины. Прованоса ихъ, онъ чмокнулъ миѣ ручкой и заковылялъ во-своихъ. И этому его Мазилка научилъ: не задерживайся, молъ, не калякай много! Да и произнесъ опъ ихъ какимъ-то раздвоеннымъ голосомъ: не то самъ надъ собой смѣялся, не то надо мною иронизировалъ. Тоже Мазилка научилъ: ты такъ калякай, чтобы во всякое время во всѣхъ смыслахъ понять было можно.

Словомъ сказать, какъ ни поверни отрезвленного пошехонца, отъ всякой части тѣла клоновникомъ пахнетъ.

Через двѣ-три минуты встрѣчаю мягкотѣлаго интеллигента. Огорченъ, но предвидѣль.

— Что? какъ?

— Ни сѣсть, ни встать!

— Вотъ бѣда-то!

— И-да... впрочемъ, это давно можно было предвидѣть!

На этотъ разъ я ужъ самъ чмокнулъ ручкой и пошелъ во-свояси. Но ему, вѣроятно, показалось, что я огорчился, и онъ догналъ меня.

— Ничего не подѣлаешь, — сказалъ онъ: — надо переждать, Мазилка сказывалъ, что ненадолго. Онъ вѣдь, Мазилка-то, и самъ...

Еще нѣсколько шаговъ — и еще пошехонецъ навстрѣчу. Этотъ какъ будто слегка ополоумѣлъ: озирается, нюхаетъ, ищетъ.

— Чего ищете?

— Да вотъ «человѣка» разыскиваемъ. Допросить, винить, надо.

— Какого такого «человѣка»?

— Виноватаго. Мазилка...

Я не слушала дальше. Опять и опять Мазилка. Ужасно! ужасно!

Я охотно признаю, что пошехонецъ еще не дошелъ до предательства, но онъ уже съ головы до ногъ опутанъ нитями апатии, индифферентизма и повадливости, которая для предательства представляютъ знатное подспорье. Въ такъ-называемую фразу онъ извѣрился; кинга ему опостылѣла; ни въ какомъ умственномъ возбужденіи онъ потребности не ощущаетъ. Есть у него Мазилка, которому «лучше видно», и больше ему ничего не надо. Подъ его эгидой онъ и бредетъ въ сумеркахъ, куда глаза глядятъ. И думаетъ, что живетъ.

Спрашивается: какъа вѣра въ «конецъ концовъ» устоитъ въ виду этого мягкотѣлаго организма, который только съ тѣхъ поръ и созналъ себя благополучнымъ, какъ утратилъ способность мыслить и словеса позабылъ?

Но возвращаюсь къ разсказу.

Воротились пошехонцы домой, вымокшіе, иззябшіе, сердитые. Нѣкоторые, впрочемъ, надѣялись, что во снѣ Богъ счастья пошлетъ; но такъ какъ легли спать на голодное брюхо, то сны видѣли дурные. То будто мохнатый звѣрь живогы у нихъ выдаетъ, то будто кушъ въ лотерею вы-

играли да лотерейный билетъ потеряли. Такъ ничего и не выслали. И на утро встали еще болѣе мрачные и обезкураженные.

Къ тому же и публицистъ Скомороховъ не молчалъ, а все пуще да пуще разжигалъ сердца пошехонцевъ. Именно въ это самое утро онъ разразился громовой передовицей:

«Говорятъ, что мы отрезвились, — писалъ онъ въ «Уединенномъ Пошехонцѣ»: — но есть два сорта отрезвленія: одно — страдательное, заключающееся въ пассивномъ уклоненіи отъ безчестныхъ приманокъ шутовскаго либерализма; другое — дѣятельное, которое преслѣдуетъ либерализмъ въ самомъ корнѣ, или, точнѣе, въ самыхъ носителяхъ этого шутовства. Первое изъ этихъ отрезвленій есть отрезвленіе неполное, робкое и въ практическомъ смыслѣ дающее лишь скудные результаты. Человѣкъ отрезвился, стряхнулъ съ себя иго отвратительной хмары, заслонявшей передъ его глазами здоровую дѣйствительность, сдѣлался преданнымъ и честнымъ членомъ своей муниципалитетъ — конечно, это прекрасно и заслуживаетъ всяческаго поощренія. Но можно ли сказать по совѣсти, что на этомъ одномъ и долженъ завершиться процессъ отрезвленія? Нѣтъ, всякій, кому дороги интересы Пошехонья, не можетъ не сознаться, что личное отрезвленіе есть только первый этапъ на пути отрезвленія дѣйствительнаго и плодотворнаго. Недаромъ «Norddeutsche Zeitung», говоря о нашей склонности къ чрезвычайнымъ полетамъ въ область преусиыянія, побуждаетъ насъ и впредь дѣйствовать въ томъ же направленіи. Недаромъ онъ усматриваетъ въ этомъ залогъ нашей способности выходить сухими изъ воды. Органъ желѣзнаго канцлера, который зорко слѣдитъ за каждымъ нѣжнымъ шагомъ, не можетъ въ данномъ случаѣ иначе и поступить. Онъ *долженъ* назвать силою тѣ, что, въ сущности, составляетъ нашу слабость: это его прямая выгода. Въ его интересахъ обольщать и убаюкивать насъ. Но мы обязаны стоять на-стражѣ противъ подобныхъ обольщеній; мы должны смотрѣть на нихъ какъ на засаду, устраняемую ловкимъ врагомъ съ цѣлью застигнуть насъ врасплохъ. Поэтому, сдѣлавши первый шагъ въ смыслѣ отрезвленія, мы обязываемся не ограничиваться имъ, но идти къ намѣченной цѣли неуклонно, не обходя ни одного указанія, представляемаго строгой логикой. А логика говоритъ такъ: только то отрезвленіе цѣлесообразно, которое имѣетъ характеръ дѣятельный.

«Насъ часто укоряютъ въ томъ, что мы слишкомъ охотно доверяемся «фразѣ», и надо сознаться, что укоръ этотъ вполне нами заслуженъ. Шутовская либеральная суматоха, которая и понынѣ еще не признаетъ себя побѣжденною, чуть-было навсегда не осудила насъ на безплодіе, въ смыслѣ саморазвитія. Да и навѣрное усилъ бы въ своемъ дерзкомъ предпріятіи, если-бъ случайность не выдвинула впередъ забытый и забитый пошехонскій здравый смыслъ и не дала ему возможности восторжествовать. Что торжество получилось полное и безспорное (и притомъ въ самое короткое время)—въ этомъ нынче уже никто не сомнѣвается; но не слѣдуетъ забывать, что торжество, вооружая насъ значительными правами, палагаетъ на насъ и обязанности. Какія же это обязанности? Въ чемъ должна заключаться главная задача осѣившаго насъ отрезвленія?—На эти вопросы мы можемъ дать только одинъ отвѣтъ: задача, намъ предстоящая, заключается въ томъ, чтобы отъ фразы перейти къ дѣлу. Не къ тому широкообъщательному, полному безплодныхъ оболыщенихъ дѣлу, благодаря которому мы двадцать пять лѣтъ кряду висѣли на воздухѣ, а къ тому простому, вразумительному и для всѣхъ доступному дѣлу, которое приглаголяетъ насъ не замыкаться въ личной благонамѣренности, но вывести эту послѣднюю на арену плодотворныхъ практическихъ примѣненій.

«И прежде всего намъ предстоитъ заявить безъ малѣйшихъ колебаній, что процессъ отрезвленія касается не только отдѣльныхъ индивидуумовъ, но *всѣхъ вообще обывателей, и притомъ въ равной степени.* Всѣ обязаны отрезвиться, даже тѣ, которые не чувствуютъ къ тому особенной склонности. Это необходимо для того, чтобы обезпечить задачи отрезвленія въ будущемъ. Задачъ этихъ куда мы не называемъ, но имѣемъ полное основаніе сказать, что ихъ предвидится немало, и притомъ совершенно неожиданныхъ. Надо своевременно и безъ остатка устранить все, что можетъ послужить препятствіемъ для всесторонняго разрѣшенія этихъ задачъ. Ибо отъ такого исхода зависитъ *общее благо*; а ежели кто не желаетъ этого общаго блага, тотъ, очевидно, не можетъ желать и своего собственнаго, личнаго блага. Такой отщепенецъ какъ бы говорить намъ: навѣргните меня изъ среды своей, ибо я одичалый членъ вашего обществія! Не щадите меня, ибо я и самъ каждымъ шагомъ своимъ доказываю, что не желаю вашей пощады! Спрашивается: справедливо ли мы

поступимъ, ежели не выполнимъ требованія, предъявляемаго намъ самимъ отщепенцемъ?

«Будемъ же справедливы, будемъ дѣлательны. Выйдемъ изъ нашей замкнутости, ибо въ настоящемъ случаѣ она представляется не только неряшливою, но и преступною. Пусть каждый въ каждомъ прослѣдитъ успѣхи, сдѣланные отрезвленіемъ; пусть каждый каждому предъявитъ тотъ обязательный *minimum*, неподчиненіе которому должно угрожать очень серьезными (а не мнимыми, какъ было до сихъ поръ) послѣдствіями для неподчиняющагося. Да исчезнетъ тьма, да восторжествуетъ свѣтъ! — вотъ девизъ, который долженъ отнынѣ руководить нами. Говорить о свободѣ совѣсти, о правѣ на свободу изслѣдованія — прекрасно! Мы первые готовы защищать всѣ эти свободы, но не тамъ, гдѣ идетъ рѣчь объ *общемъ благе*. Въ виду этой послѣдней цѣли всѣ свободы должны умолкнуть и потонуть въ *общемъ* и для всѣхъ одинаково обязательномъ единомысліи.

«*Viribus unitis res parvae crescunt.* Впередъ!»

Передовица была написана ловко, гладко, съ огонькомъ. Собственно говоря, это была диффамация, во время чтенія которой пошехонцы чувствовали, какъ во всемъ тѣлѣ разливался зудъ. Но какъ только чтеніе диффамации оканчивалось, такъ передъ ошеломленными читателями назойливо возставалъ вопросъ: что же симъ достигается? И они снова начинали перечитывать, и снова разливался у нихъ въ тѣлѣ зудъ. Во всякой строкѣ все было налицо: и подлежащее, и сказуемое, и связка; даже періоды, законченные и округленные, катились одинъ за другимъ какъ по маслу; одного только не было: что симъ достигается?

— Ахъ, волки ты ѣшь, зудень чесоточный! — бормотали озадаченные пошехонцы: — и безъ него тошно, а онъ... вишь какъ зудитъ!

Тѣмъ не менѣе требованія диффамации были настолько настоятельны, что медлить было небезопасно. Пришлось опять собираться къ каланчѣ, и притомъ съ мыслью, что на этотъ разъ, пожалуй, и не отмолчишься. Какъ примется ужъ каждый cadaго исповѣдывать да каждый каждому припоминать — такое ли пойдетъ самоѣдство, что только держись! Въ виду этого многіе думали: хоть бы Согожа (рѣка, на которой Пошехонье стоитъ) разлилась послѣ дождей да проходы и проѣзды затопила, или бы мостъ провалился! Но Согожа продолжала скромно журчать по дну оврага, а мостъ хоть и не являлъ надеждащей для дви-

жения прочности, но пошехонцы истари ужъ съ этимъ помирились: такъ-вскій!

А Мазилка въ это самое утро имѣлъ съ Скомороховымъ совѣщаніе. Мазилка смотрѣлъ на дѣло глубже и солиднѣе; Скомороховъ плавалъ мелко, но зато цѣпко хватался за подробности.

— Знаю я, что за вами блохъ много, — говорилъ Мазилка: — да не ваше, сироты, дѣло другъ надъ дружкой расправу чинить. Мое это дѣло. Я здѣсь начальникъ — я и помыкать вами буду. Захочу — сегодня расправлюсь; не захочу — до завтра отложу. А вы, сироты, должны ждать и ни въ худую, ни въ хорошую сторону на власть мою не наступать. И ты это непригоже, зудень чесоточный, дѣлаешь, что другъ противъ дружки однообщественниковъ патраряешь!

— Ваше высокородіе! позвольте съ полною откровенностью доложить! — взывалъ Скомороховъ.

— Изволь, братецъ!

Разумѣется, Скомороховъ тутъ же сердце свое, какъ на ладони, выложилъ. Выходило такъ, что непременно нужно общество пошехонское оживить. Не потому, чтобъ этого требовалъ интересъ казны, а потому, что, по обстоятельству, избивать этого невозможно.

— Коли мы общество не оживимъ, такъ оно само себя оживить, — развивалъ свою мысль проворный пошехонскій публицистъ: — потребность такая въ немъ народилась, и ничего ты съ ней не подѣлаешь. Прежде этого не бывало, а нынче спать-спять пошехонцы, да вдругъ и проснутся. Такъ ужъ пусть лучше мы сами оживимъ ихъ... въ предѣлахъ. Пускай другъ дружку пощипаютъ, вреда отъ этого не будетъ!

— Ты говоришь: «въ предѣлахъ» — а вдругъ оно за предѣлы поѣхало?

— На этотъ предметъ, ваше высокородіе, пожарную трубу въ готовности содержать надлежитъ.

— Я-то готовъ, да ты вотъ... Смотри ты у меня, сорванецъ! на языкъ у тебя медь, да на души-то... Петля, а не человекъ — вотъ ты что! Сколько разъ листья вонъ эта береза перемѣнила, столько же разъ и ты мѣнялся! Ну, да инъ быть по-твоему!

На этомъ совѣщаніе кончилось. Но Мазилка до такой степени были несимпатичны проекты объ оживленіи общества, что онъ не выдержалъ и вдогонку уходящему Скоморохову крикнулъ:

— Только помни, что согласія моего не было! Это ты меня, зудень, развудилъ, а я... не согласенъ!

Черезъ часъ послѣ этого площадь передъ каланчею уже кипѣла народомъ. Пошехонцы чуяли, что придется другъ друга изслѣдовать, и примѣривались. Но такъ какъ у всѣхъ былъ еще въ памяти недавній «шутовской либерализмъ», то приходилось дѣйствовать съ крайнею осторожностью. Заведеть пошехонедъ одинъ глазъ на сосѣда — инъ и ему навстрѣчу сосѣдній глазъ глядитъ. Ну, и спасуютъ оба, уставятся глазами въ пространство и глядятъ, словно на умѣ ничего канальскаго нѣтъ. Однако урывочками да ущипочками порядочно-таки высмотрѣли... Эхъ, кабы Мазилка разрешилъ «секретъ» ему объявлять! Приходите, моля, други милые, хоть днемъ, хоть ночью, за-всегда моя дверь петихоньку для васъ открыта! То-то бы народу повалило! Такъ нѣтъ вотъ: извольте расправляться всенародно... сами!

Для Скоморохова этотъ моментъ былъ рѣшительный. Каждый день онъ доказывалъ, что пошехонцы созрѣли, что торжество здраваго смысла вполне обезпечено; стало-быть, теперь приходилось подтвердить это на дѣлѣ. Поэтому онъ несказанно суетился, появляясь то въ одномъ, то въ другомъ концѣ толпы и ежесекундно взывая: «Кто про кого что знаетъ — сказывайте, православные, сказывайте!»

По-настоящему слѣдовало бы его, какъ перваго, который «пасть разинуть», въ щепы расщепать; но пошехонцы не только не сдѣлали этого, но даже поощряли вызовы безнабашнаго писаки робкими улыбками. Скомороховъ былъ не свой между ними. Онъ явился откуда-то изда-лека и, покуда пошехонцы хлопали на него глазами — усѣлся и сразу взялъ заснѣе. Всѣмъ онъ въ свое время былъ: и либераломъ и анти-либераломъ, и реформенникомъ и анти-реформенникомъ, и всегда съ улыбкомъ. Преднамеренно смѣшивая развитие съ измѣнкой, онъ утверждалъ, что только дураки не мѣняютъ убѣжденій, и разъ заручившись этимъ афоризмомъ безцеремонно самъ себя побивалъ всякій разъ, когда это по обстоятельствамъ требовалось. Опасность онъ представлялъ великую, ибо тайну каждаго пошехонца зналъ, съ каждымъ и реформенно, и анти-реформенно по душѣ бесѣдовалъ, и потому каждому прямо и безстыдно объявлялъ: ты меня не проведешь!

Однако пошехонцы не только не ободрились подъ влия-

нѣмъ вызывающихъ скомооровскихъ рѣчей, но еще пуще вчерашняго заробѣли. Они хотя и трепетали передъ Скомооровымъ, но въ то же время чувствовали къ нему непреодолимую гадливость. Они уже настолько отрезвились, чтобы понимать, что не просто негодный писачка передъ ними гарцуетъ, но еще не настолько созрѣли, чтобы признать его личность достолюбезною. Поэтому если у кого и чесался языкъ, чтобы вымолвить: «а ну-те, госнода атаманы, давайте сказывать... Господи, благослови!»—то скомооровскія подстрекательства скорѣе унимали, нежели раздражали этотъ зудъ. И очень возможно, что дѣло взаимнаго изслѣдованія советѣмъ бы не выгорѣло, если-бъ въ самую критическую минуту не показался вдали Иванъ Рыжій.

Рыжій опоздалъ на вѣче, да, признаться сказать, и теперь не спѣшилъ, а шелъ обыкновенной своею лѣнливой походкой, какъ будто напередъ зналъ, что никакого народоправства не будетъ. Это былъ смиренный и степенный обыватель, котораго политическiя убѣжденiя главнымъ образомъ въ томъ состояли, что ежели начальство, по унущенiю, и неправильно чего-нибудь требуетъ, то и тогда слѣдуетъ требованiе его безпрекословно выполнить. Во времена нынѣ эта теорiя представлялась не только безопасною, но даже обезпечивающею безнедонимый сборъ податей. Но уже и тогда находились пуристы, которые при словахъ: «ежели и неправильно начальство требуетъ»—сомнительно покачивали головами.

— То же бы ты, дуракъ, слово, да не такъ бы молдиль! — участливо предостерегали его и предлагали измѣнить редакцiю такъ: «всякое начальственное требованiе отъ природы правильно, а потому и слѣдуетъ его выполнить». Но онъ твердилъ: «по-моему — лучше!» и устоялъ на своемъ. Тѣмъ не менѣе до сихъ поръ ересь сходилла ему съ рукъ, и даже Скомооровъ какимъ-то образомъ ее проглядѣлъ. Но теперь, какъ увидѣли православные, что онъ «идеть не идетъ», а ногами «вавилонны выдѣлываетъ» да вдобавокъ еще руками машетъ, такъ и загорѣлись у всѣхъ сердца. Такъ и просіяло во всѣхъ умахъ: а вѣдь это онъ самый и есть!

— Иду! — откликнулся между тѣмъ Рыжій.

Часть отъ часу не легче: первый пастъ разинулъ (Скомоорова не считали). Онъ! онъ самый и есть! Что, бишь, онъ въ ту пору говорилъ? Какими такими бунтовскими рѣчами народъ сомущалъ?

Въ одно мгновенiе толпа поглотила Рыжаго и начала его перекидывать. Нѣкоторое время онъ мелькалъ, но потомъ вдругъ скрылся. Какого рода тутъ народоправство совершилось—неизвѣстно, но, къ счастью, Мазилка не дремалъ. Вторично отворились ворота сѣзжаго дома, и струя воды, болѣе обильная, нежели наканунѣ, окатила вѣчевыхъ людей.

Совершивши такое дѣло, пошехонцы сочли свою миссiю конченною. Взаимно поощряя другъ друга веселыми подзатыльниками, они отправились во-своихъ, въ полной увѣренности, что теперь, когда они уже фактически доказали свое отрезвленiе, они найдутъ дома не тюрьму съ водой, какъ наканунѣ, а ни съ убоной.

Но ни шей, ни убоины не было; даже тюрьма какъ будто убавилась. Задача усложилась самымъ безнадежнымъ образомъ.

Ибо пошехонская обида въ томъ главнымъ образомъ и состояла, что атаманы-молодцы ужъ давно ничего, кромѣ тюрьмы съ водой, не ѣдали. Разумѣется, встрѣчались въ этомъ смыслѣ и исключенiя—«особливо отмѣченные люди», какъ называли ихъ Скомооровъ,—но и тѣ прикидывались лазарями. По крайней мѣрѣ тюрьма была самымъ нагляднымъ фактомъ изъ всего, что заставляло пошехонцевъ роптать на судьбу. Убоина до того поднялась въ цѣнѣ, что даже въ сердцѣ «правящихъ классовъ» не всякiй могъ свободно распоряжаться ею. А было время—и большинство его помнило—когда и среднiй пошехонецъ мякоть ѣлъ самъ, а кости бросалъ собакамъ. Во многихъ семьяхъ были живы дѣдушки, которые передавали отошавшимъ внукамъ (и сами отошавшими желудками къ своимъ розсказанiямъ тоскливо прислушивались) почти баснословныя преданiя о древнемъ пошехонскомъ изобилии, когда свиньи, куры, утки и проч. свободно бродили по улицамъ, а домой возвращались только для превращенiя въ свѣдь. И все это пошехонцы сами ѣли: убьютъ скотину и ѣдятъ... сами. А полче ежели есть у кого личко, такъ онъ на него только поглядитъ да скорѣе на «элеваторъ» несетъ, а оттуда ужъ оно само собою на машину идетъ. Свистнула машина, и поминай какъ знали! Личко твое пѣмецъ съѣстъ, а ты за него денежки получи да другое личко неси! Смотришь, анъ рубль-то въ цѣнѣ и поправился!

Тѣмъ не менѣе относительно причинъ, обусловившихъ

всечеловечіе убоины, міѣнія раздѣлились. Пошехонцы-горланы, тѣ, которые на вѣчахъ голосъ имѣли, утверждали, что бѣда въ томъ, что все Пошехонье поголовно чуть не двадцать лѣтъ кряду въ эмпиреяхъ витало, а что подъ носомъ у него дѣлается — не видѣло. И что, слѣдовательно, жели отъ эмпиреевъ вполнѣ отрезвиться, то и оиѣтъ свинны съ утками всѣ улицы запрудятъ. Но бабы пошехонскія съ этимъ не соглашались. — Что-то мы объ эмпиреяхъ не слыхивали, — возражали оиѣ: — а вотъ что народъ нынче слабъ сталъ, послѣднюю тряпку изъ дому въ кабакъ тащить, такъ это мы знаемъ. Курочка-то еще не снеслась, а ужъ «оиѣтъ» надъ нею стойтъ, норовить, какъ бы яичко-то тепленькое къ кабатчику снести!

— Дуры вы, дуры! — кричали на нихъ мужики-горланы: — много вы смыслите! Кабы мы въ кабакъ не ходили, откуда бы казна-матушка деньгами разжизлась?

— Казна-матушка сама знаетъ, гдѣ раки зимуютъ, — отрывались бабы: — и безъ васъ, пропойцевъ, довольно найдется! А вы побольше работайте да бабѣ, съ цыпныхъ глазъ, поменьше калѣчите!

Но находились и такіе, которые говорили: отъ эмпиреевъ и отъ вина — отъ всего отрезвиться не штука; но вотъ штука, что потомъ дѣлать? Трезвому-то на голодный желудокъ, пожалуй, и еще толнѣе покажется — какъ тогда поступить?

Въ виду этихъ разногласій всякъ началъ предлагать свое. Одни говорили, что надо элеваторы устроить; другіе: устроить элеваторы — пойдетъ воровство. Одни говорили: транзитъ закрыть надо; другіе: закроется транзитъ — пойдетъ воровство. Одни говорили: всему причина Финляндія; другіе возражали: тронь Финляндію — пойдетъ воровство! Словомъ сказать, выходило такъ: что ни придумаешь — вездѣ окажется воровство. Но ни толку, ни убоины не выходило. Насилу-насилу старики уговорили расхоронившихся горлановъ.

— Уймитесь, атаманы-молодцы! — усовѣщевали они: — того гляди, вы все Пошехонье вверхъ дномъ перевернете! Прежде чѣмъ объ элеваторахъ-то думать, спросите-ка себя: точно ли вы *всѣ* отрезвились? нѣтъ ли еще за кѣмъ блохъ?

Этого же міѣнія былъ и Скморуховъ.

«Старики наши правы, — писалъ онъ на другой день послѣ приключенія съ Рыжикъ: — хотя отрезвленіе и провозглашается у насъ безспорно-совершившимся фактомъ

(не оиѣ ли, безсовѣстный, нѣсколько дней тому назадъ и провозгласилъ это!), но дѣйствительно ли мы всѣ отрезвились — на это и нынѣ никто, по совѣсти, утвердительно отвѣтить не можетъ. Напротивъ, можно скорѣе ожидать отрицательнаго отвѣта, а вчерашній случай съ Иваномъ Рыжикъ какъ нельзя убѣдительнѣе доказалъ это. Мы не отрицаемъ, что здравый смыслъ пошехонцевъ и на сей разъ восторжествовалъ, но тотъ же здравый смыслъ долженъ былъ подсказать имъ, что Рыжій не могъ злоумышлять одинъ, безъ пособниковъ и укрывателей, а между тѣмъ гдѣ эти пособники и укрыватели? Мы ихъ не видимъ по той простой причинѣ, что никто ихъ не искалъ. Нѣтъ, господа! одной жертвы недостаточно! Какъ ни прискорбно сознавать, что *общее благо* достигается только цѣною человѣческихъ жертвъ, но такъ какъ историческій опытъ возвелъ это правило на степень аксіомы, то не слѣдуетъ уже останавливаться ни передъ количествомъ, ни передъ качествомъ жертвъ. Многіе полагаютъ, что принадлежность къ «интеллигенціи», какъ смѣхотворно называютъ у насъ всякаго неокончившаго курсъ недоумка, обезпечиваетъ отъ изслѣдованія, но это теорія несправедливая. Это теорія, отрицающая свой вѣкъ и совершенно непримѣнимая въ такомъ глубоко-демократическомъ обществѣ, какъ пошехонское. У насъ исключеніе въ этомъ смыслѣ могутъ составлять лишь тѣ «особливо отмѣченные», которыхъ имена слишкомъ неразрывно связаны съ историческими судьбами Пошехонья, или же тѣ, кои постояннымъ трудомъ и отличными способностями приобрѣли выдающіяся по своимъ размѣрамъ матеріальныя средства. Но и эти исключенія допускаются единственно потому, что описанныя выше качества заключаютъ сами въ себѣ достаточный залогъ благонадежности. Затѣмъ *всѣ*, богатые и бѣдные, знатные и незнатные, интеллигентные и неинтеллигентные, *всѣ* должны подлежать изслѣдованію. И чѣмъ больше приведетъ за собой это изслѣдованіе искусственныхъ жертвъ, тѣмъ дѣйствительнѣе будутъ результаты».

Почитавши эту передовицу, сильнѣйшіе изъ горлановъ сейчасъ же пристроились къ сонму «особливо отмѣченныхъ» и затѣмъ устранили себя отъ дальнѣйшихъ хлопотъ по части отрезвленія. Испытывать же и истреблять другъ друга остались горланы средніе да та безымянная «горечь», которою кишѣли пошехонскіе пригороды и солдатскія слободки.



Поэтому третье пошехонское вѣче, состоявшееся у каланчи, было уже далеко не столь блестяще, какъ два предыдущія. Собралась по преимуществу рвань и дрань. Обманутые насчетъ плодотворныхъ послѣдствій вчерашней расправы съ Иваномъ Рыжинымъ, оставленные Мазилкою и несдерживаемые «особливо отмѣченными» людьми, пошехонцы всецѣло поддались злобнымъ внушеніямъ Скорморохова, который, какъ и наканунѣ, гоголемъ мелькалъ во всѣхъ мѣстахъ и съ пѣной у рта взывалъ къ отмщенію. Онъ и самъ не отдавалъ себѣ отчета, во имя чего онъ взываетъ, но чувствовалъ, что по мѣрѣ того, какъ съ его языка срываются пропикнутыя ядомъ слова, сердце его все больше и больше лютѣетъ. И сердце у него было порожице, и умъ подобный упрямой храминѣ, такъ что лютость во всякое время отыскивала въ нихъ свободное убѣжище и оттуда управляла всѣми его дѣйствіями.

Прислушиваясь къ его рѣчамъ, пошехонцы и съ своей стороны постепенно лютѣли. О вчерашней боязни взаимнаго самообличенія не было уже и рѣчи; напротивъ того, какая-то беззавѣтная смѣлость овладѣла всѣми умами. Казалось, всѣ понимали, что конецъ неизбеженъ, и что ежели послѣ этого «конца» уцѣлѣютъ лишь немногіе, зато у этихъ немногихъ будутъ и элеваторы, и транзитъ, и цѣль убійной.

Нѣкоторое время въ толпѣ раздавалось только глухое рокотаніе, но наконецъ атаманы-молодцы не выдержали и заговорили всѣ разомъ. Сначала раздалась праздная слова, потомъ пошла въ ходъ лжесвидѣтельства, а затѣмъ загремѣла и клевета. Клевета и по головамъ шла, и по землѣ ползла, и по-собачьи лаяла, и по-змѣиному шипѣла, наступая и уязвляя всякаго, кого по пути заставала врасплохъ. И по мѣрѣ того, какъ она разливалась своей лѣдью, толпа убывала и рѣдѣла. Но не въ бѣгствѣ обрѣтали пошехонцы спасеніе отъ нея, а на мѣстѣ таяли.

Явленіе это было такъ поразительно, что не могло не обратить на себя вниманія Мазилки. Забѣтывая, что ревизскія души невѣдомо куда исчезаютъ, онъ совершенно основательно встревожился, встрѣтившись лицомъ къ лицу съ вопросомъ: ежели людишки другъ друга перебьютъ безъ остатка, кто же будетъ чинить исполненіе по окладнымъ листамъ?

— А вы бы не всяко лыко въ строку, атаманы-молодцы!—крикнулъ онъ съ вышки каланчи:—пошныняли другъ дружку—и будетъ! Прочее можно и проѣстить!

Въ третій разъ ворота съѣзжаго дома заскригѣли, и въ третій разъ обильная струя воды окатила раскодившихся вѣчевыхъ людей.

Хоронили Ивана Рыжаго. Четыре мужика, съ бѣлыми новинами черезъ плечо, черезъ весь городъ несли къ кладбищу сосновую домовину, въ которой лежала жертва фалстастическаго пошехонскаго отрезвленія. Сначала за гробомъ шла только молодая вдова Рыжаго съ сиротами, но по мѣрѣ того, какъ погребальное шествіе подвигалось къ центру города, толпа за гробомъ росла и густѣла. Рыжій женился всего пять лѣтъ тому назадъ, но имѣлъ уже четырехъ дѣтей и былъ въ семьѣ единственнымъ добытчикомъ. Вдова его, красивая и кроткая женщина, въ одночасье потеряла и мужа и кормильца. Она усиливалась не плакать, но слезы сами собой лились изъ ея глазъ; она сдерживала рыданія, но тяжкіе, залушевные вопли сами собой вырывались у нея изъ груди. Она, очевидно, изнемогала отъ горя и боли, но такъ какъ ношатые шли шибко, то и она спѣшила за ними, спотыкаясь и неся въ одной рукѣ полуторагодовалаго ребенка, а другою рукой волоча за руку трехлѣтнюю дѣвочку, которая съ трудомъ поспѣвала за нею (грудной ребенокъ оставленъ былъ дома подъ надзоромъ старшей сестрѣнки).

Зрѣлище было необыкновенно унылое и само по себѣ, и по обстановкѣ. Осеннее небо, стягненное сѣрыми облаками, такъ низко опустилось надъ городомъ, что, казалось, собиралось его задавить. Изъ облаковъ свѣлся мелкій, по спорый дождь; навстрѣчу шествію дулъ холодный вѣтеръ, который крутиль и захлестывалъ старенькій покровъ, лежавшій на домовинѣ. Толпа шла за гробомъ угрюмая и сосредоточенно-безмолвная. Только «особливо отмѣченные» люди не присоединялись къ кортежу, но и они выходили изъ домовъ и набожно крестились. Мазилка, съ своей стороны, почтилъ память умершаго тѣмъ, что вышелъ на площадь во главѣ пожарныхъ и сдѣлалъ шествію подъ козырекъ.

Сознавала ли толпа въ эти скорбныя минуты, что смерть Рыжаго—дѣло ея рукъ, анализировала ли она этотъ фактъ, мелькалъ ли передъ нею призракъ потрясенной совѣсти—для нея самой эти вопросы были загадкой. Скорѣе всего она чувствовала себя подъ гнетомъ безотчетной и безысходной тоски, которая захватила ее всю, со всѣхъ сторонъ.

которая истребила въ ней мысль, забила воображеніе. Вчера, подъ напѣиємъ тоски, температура ея поднялась до истерическаго бѣшенства; сегодня то же самое напѣе разрѣшилось упадкомъ духа, уныніемъ, безсиліемъ. И что всего важнѣе—толпа даже не искала въ самой себѣ помощи прогнѣвъ удручающаго ее чувства, а только безпокойно озира-лась, какъ будто желая засвидѣтельствовать, что ее насковозь пронизала какая-то безыменная боль.

Когда шествіе достигло кладбища, церковная ограда едва могла вмѣстить толпу. День былъ будній, и потому обѣдни не пѣли; гробъ прямо поставили у края свѣже-вырытой могилы. Началось отпѣваніе, и когда клиръ запѣлъ: «Со святыми упокой»,—вся толпа, словно послушное эхо, повторяла за клиромъ щемилцій душу напѣвъ. Во многихъ мѣстахъ раздались истерическія рыданія и крики, которые въ концѣ истерзали сердца. Что-то громадное вдругъ поднялось отъ земли вокругъ этого бѣднаго гроба, словно сама земля вопіала о непосланіи невѣдомаго чуда...

И чудо совершилось: незамѣтное существованіе зауряднаго пошехонскаго обывателя нашло для себя аноеозъ—въ формѣ трупа.

Наконецъ замолкъ послѣдній звукъ, и толпа медленно сдвинулась съ кладбища...

-64670-1-

МУ Кондинское МЦЭС  
Центральная библиотека  
СОБКО



## Оглавленіе

X ТОМА.

	стр
Письма о провинціи. (1868—1870 гг.)	
Письмо первое . . . . .	5
» второе . . . . .	19
» третье . . . . .	31
» четвертое . . . . .	42
» пятое . . . . .	56
» шестое . . . . .	68
» седьмое . . . . .	85
» восьмое . . . . .	98
» девятое . . . . .	119
» десятое . . . . .	140
» одиннадцатое . . . . .	149
» двѣнадцатое . . . . .	160
Итоги . . . . .	179
Сонъ въ лѣтнюю ночь . . . . .	237
Похороны . . . . .	277
Дворянская хандра . . . . .	309

## Пошехонскіе разказы.

(1883—1884 гг.)

Вечеръ первый . . . . .	341
Разказы майора Горбылева . . . . .	343
Вечеръ второй . . . . .	365
Городничіе-безсребренники . . . . .	367
Вечеръ третій. Въ трактирѣ «Грачъ» . . . . .	
Комната первая . . . . .	390
Комната вторая . . . . .	401
Комната третья . . . . .	414
Вечеръ четвертый. Пошехонскіе реформаторы . . . . .	
I. Андрей Курзановъ . . . . .	423
II. Никаноръ Беркутовъ . . . . .	441
Вечеръ пятый. Пошехонское «дѣло» . . . . .	450
Вечеръ шестой. Фантастическое отрезвленіе . . . . .	479